А. А. Игнатьев

Пятьдесят лет в строю

А. А. Игнатьев

Пятьдесят лет в строю

1





А. А. Игнатьев

•

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ

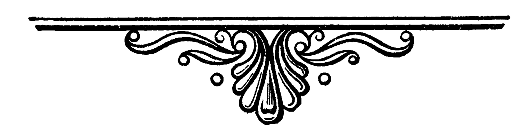


Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1955

ПОСВЯЩАЕТСЯ
СОВЕТСКОЙ
МОЛОДЕЖИ



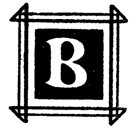
КНИГА
ПЕРВАЯ





Глава первая

СЕМЬЯ



Париже, после революции 1917 года, в мои руки попал документ, из которого я узнал свою родословную. Это был рескрипт Александра II правительствующему сенату от 19 июля 1878 года, возводивший моего деда, Павла Николаевича Игнатьева, со всем нисходящим потомством, к которому принадлежал и я, родившийся в 1877 году, «в графское Российской империи достоинство».

Из этого документа явствует, что Игнатьевы происходят «от древних черниговских бояр», ведущих начало от боярина Бяконта, перешедшего на службу московских царей в 1340 году.

Сын его, митрополит Алексий, состоял главным советником последовательно при трех князьях московских и начал, между прочим, постройку первой каменной стены вокруг Кремля (1366 г.).

Род Игнатьевых при московском дворе впоследствии не был в числе знатных, не подымаясь выше ранга сокольничих, а позднее стрельцов. Известно, что Васька Игнатьев был пытан и казнен на Лобном месте после укрощения Петром стрелецкого бунта.

Прадед мой, генерал-майор артиллерии, состоял в 1812 году комендантом крепости Бобруйск и с пятитысячным гарнизоном успешно оборонялся против двенадцатитысячного польского корпуса генерала Домбровского. Выйдя в отставку, генерал-майор рано умер, оставив вдову и единственного сына, Павла Николаевича — моего деда.

Павел Николаевич окончил Московский университет, что впоследствии выделяло его среди сослуживцев и повлияло на его служебную карьеру [1].

Рослый, статный, дед по выходе из университета попал в ту военную атмосферу, в которой жила Европа наполеоновской эпохи: он поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Преображенский полк, был зачислен в 1-ю, так называемую «цареву», роту и в чине прапорщика вступал в Париж в 1814 году.

Один день, или, точнее, даже одно утро — 14 декабря 1825 года — оказало решающее влияние на всю жизнь деда. Как рассказывала мне моя бабушка, дед, просвещенный офицер, вращался в кругу будущих декабристов, принесших из Франции багаж «вольтерианства» — русского вольнодумства. Однако накануне памятного дня он имел длинное объяснение со своей матерью, которая заставила его поклясться, что он будет «благоразумен» и не выступит против власти. И когда на следующий день взволнованный Николай вышел на подъезд Зимнего дворца, ближайший к Миллионной улице, то первой воинской частью, прибывшей на Дворцовую площадь в распоряжение нового царя, оказалась 1-я рота Преображенского полка, казармы которой были на Миллионной. Командовал этой ротой капитан Игнатьев.

— Поздравляю тебя флигель-адъютантом, — сказал тут же Николай.

В память этого дня дед всю жизнь оставался «почетным преображенцем». Об этом мне напомнили на маневрах 1898 года. Мой эскадрон кавалергардов был прикомандирован к Преображенскому полку. Пригласив нас к обеду в свою офицерскую палатку-столовую, преображенцы устроили мне сюрприз, поставив перед моим прибором старинную серебряную чарку, надпись на которой свидетельствовала, что она принадлежала моему деду.

За многие годы своей службы деду пришлось быть во главе самых различных государственных учреждений. Особенное значение имела его деятельность как директора Пажеского корпуса, в котором он воспитал многих выдающихся государственных людей эпохи Александра II, в том числе, например, Милютина; некоторые из его воспитанников, достигнув высоких государственных долж-

---

[1] Среди военных высшее образование в ту пору было редкостью.

ностей, оставались со своим старым директором в переписке, советуясь с ним по особо важным вопросам. До смерти своей он состоял почетным членом Военно-медицинской академии и президиума женских учебных заведений. И когда теперь по делам службы я бывал в стенах Военно-медицинской академии, то вспоминал, что создание этой академии имело в свое время целью освободить военно-врачебный персонал от немецкого засилья.

Закончил свою жизнь дед председателем комитета министров. Умер он в 1880 году.

Бабушка моя, Мария Ивановна Мальцова, дожившая до восьмидесяти пяти лет, была мудрой старухой. Никогда не забуду, как, будучи еще ребенком, я получил от нее наставления, руководившие мною всю жизнь.

— У тебя, Лешенька, сумбур в голове, — доказывала она, подводя меня к старинной шифоньерке, — вот посмотри, вся моя корреспонденция тут рассортирована, — объясняла бабушка, выдвигая малюсенькие ящички, — так и ты старайся все твои мысли и чувства ко мне, к отцу, к людям, к учению, к играм раскладывать в твоей головке по отдельным ящичкам. Вырастешь — тоже отделяй в один ящичек службу, в другой личные дела, в один семью, в другой — знакомых и друзей.

Еще за месяц до смерти, в обычных послеобеденных спорах со мной, ее голубые глаза светились той характерной энергией мальцовской семьи, что создала в России огромное дело Мальцовских заводов.

Я помню, как в детстве я встречал у бабушки ее брата, Сергея Ивановича Мальцова — благообразного чистенького старичка с седыми бачками, одетого по старинной парижской моде. Помню также семейное предание о том, как Сергей Иванович в молодости занимал у старшего брата деньги и прокучивал их в Париже, но когда в третий раз он попросил еще сто тысяч рублей, то, получив их с трудом, взялся за ум, вывез из Франции инженеров, специалистов по стеклу и хрусталю, и в короткий срок создал заводы в Гусь-Хрустальном. Брат его использовал еще ранее железнодорожную горячку 50-х годов и, при содействии французских капиталистов, создал дело вагоностроительных Мальцовских заводов. У Сергея Ивановича детей не было. Жил он одиноко, вставал всегда в пять часов, шел к ранней обедне и в семь часов садился за работу. Единственным его помощником был скромный,

молчаливый и необыкновенно трудолюбивый чиновник Юрий Степанович Нечаев. Близкие называли его до самой смерти уменьшительным именем Юша. Каково же было удивление всех родственников, когда после смерти Мальцова выяснилось, что все многомиллионное состояние завещано Юше.

Дядюшка написал в завещании, что заводское дело он считает дороже семейных отношений, а так как среди родственников — Игнатьевых и Мальцовых — нет никого, кто мог бы дело сохранить и вести дальше, то он оставляет свои богатства человеку простому, но зато дельному. И вот у Юши богатейший особняк на Сергиевской, с зимним садом, каскадами и фонтанами, лучшая кухня в Петербурге, приемы и обеды, на которые постепенно и не без труда и унижений Юше удалось привлечь несколько блестящих представителей придворно-великосветской среды. Тщеславию его не было пределов. Он взял себе, на роль приемного сына, юношу, князя Демидова, оставшегося сиротой, и, женив его на дочери министра двора графа Воронцова-Дашкова, достиг своей заветной цели — породнился с высшей аристократией. Не проходило года, чтобы Юша не получал новых придворных званий. Надо, однако, отдать ему справедливость: он на свой собственный счет построил и оборудовал поныне сохранившийся Музей изящных искусств в Москве. Все образцы греческого и римского зодчества и ваяния были лично им выбраны на местах, с них были сняты гипсовые копии, которые доставлялись водой через Одессу.

Старый холостяк, Юрий Степанович Нечаев-Мальцов умер во время мировой войны. Его завещание удивило всех не менее, чем завещание Сергея Ивановича. Все состояние он оставил второму сыну моего дяди — Павлу Николаевичу Игнатьеву, известному в ту пору министру народного просвещения. Неожиданно свалившимся богатством мой двоюродный брат воспользоваться, однако, не успел — произошла Октябрьская революция.

Павел Николаевич дожил свой век в далекой Канаде.

Дом бабушки — особняк в Петербурге на набережной Невы — в годы моего детства был для всей семьи каким-то священным центром. В этом доме-монастыре нам, детям, запрещалось шуметь и громко смеяться. Там невидимо витал дух деда, в запертый кабинет которого, сохранявшийся в неприкосновенности, нас впускали лишь

изредка, как в музей. Кабинет охранял бывший крепостной — камердинер деда, Василий Евсеевич, обязанностью которого было также содержание в чистоте домовой церкви и продажа в ней свечей во время богослужения.

В церковь допускались только дети и внуки бабушки, а в виде исключения — Юша со своими двумя сестрами, старыми, некрасивыми девами, щеголявшими в ярких шелках из Лиона. К семейным воскресным обедам Нечаевы, впрочем, «не допускались». На эти обеды обязаны были являться три семьи: старшего брата, Николая Павловича — семеро человек детей, сестры его, Ольги Павловны Зуровой — семеро детей, и младшего брата, нашего отца, Алексея Павловича — пятеро детей. Всего за стол садилось двадцать шесть человек. Явка не только к обедне по воскресеньям, но также и в субботу ко всенощной как для малых, так и для больших была обязательной. В церкви у всех были свои определенные места: старшая семья, Николая Павловича, стояла направо, а наша, младшая, налево. В таком же строгом порядке подходили все к кресту. После семьи шли служащие: буфетчик, выездной лакей — красавец Герман, красивший свои бакенбарды, пьяница-швейцар, кучер, две старые горничные и, последним, Василий Евсеевич. Пели в церкви за особую плату четыре солдата ближайшего Павловского гвардейского полка. В этом патриархальном мирке, который мы все называли «Гагаринской», по названию набережной, смирялась даже кипучая натура моего дяди Николая Павловича.

Когда-то Николай Павлович Игнатьев был гордостью семьи, а закончил он жизнь полунищим, разорившись на своих фантастических финансовых авантюрах. Владея сорока именьями, разбросанными по всему лицу земли русской, заложенными и перезаложенными, он в то же время, как рассказывал мне отец, был единственным членом Государственного совета, на жалование которого наложили арест.

Все, впрочем, в этом человеке было противоречиво. Блестяще окончив Пажеский корпус, получив по окончании Академии генерального штаба большую серебряную медаль, что являлось большой редкостью, Николай Павлович, не прослужив ни одного дня в строю, сразу был послан военным атташе в Лондон. Здесь, при осмотре военного музея, он «нечаянно» положил в карман унитарный

ружейный патрон, представлявший собой в то время военную новинку. После этого, конечно, пришлось покинуть Лондон. Вскоре, в 1858 году, Николай Павлович мчится на перекладных в далекую Бухару. Оставляя свой небольшой казачий конвой, он не задумываясь идет в качестве посла «белого царя» на прием бухарского эмира и за несбыточные посулы вырывает из его рук вассальный договор. Но и этого восточного приключенческого романа ему мало.

В 1860 году, двадцати восьми лет от роду, в чине полковника, он выступает представителем России в совместной с французами и англичанами экспедиции в Китай. Перед стенами Пекина он уговаривает союзников пойти на мирные переговоры с китайцами. Получив полномочия, он во главе взвода казаков с парламентерским флагом въезжает в Пекин, получает у китайских властителей подтверждение прав России на территорию на тихоокеанском побережье и ночью спешит с казаками через Монголию в Читу. Отсюда он телеграфирует в Петербург о новых приобретениях России. Назавтра он уже самый молодой генерал-адъютант в Русской империи и сотрудник канцлера Горчакова в качестве директора азиатского департамента министерства иностранных дел.

В 70-х годах Николай Павлович — посол России в Турции — первое лицо в Константинополе: он «защитник угнетенных братьев-славян». Он, не обращавший внимания даже на свежесть собственного военного мундира, считал необходимым, чтобы поднять престиж России, выстроить для посольства дворец. Это великолепное здание сохранилось и по сей день. России, мыслит он, нужны проливы, нужен, как когда-то Олегу, «щит на вратах Царьграда». Он действует требованиями, угрозами, связывается негласными путями с болгарскими и сербскими повстанцами и разжигает славянофильские течения в России. Это человек кипучей энергии, большого дипломатического ума, страстной убежденности в своих целях. Он с редкостным упорством и темпераментом пытался, несмотря на сопротивление западных держав, с одной стороны, и министра иностранных дел князя Горчакова, поддержанного самим царем, с другой, обеспечить полную самостоятельность русской политики на Босфоре, в Герцеговине и Болгарии, укрепить роль России как крупной европейской державы. Им оставлены интереснейшие до-

кладные записки, заключающие в себе ряд весьма поучительных мыслей и советов, касающихся дипломатической деятельности. Н. П. Игнатьеву принадлежит формула: «Выход из внутреннего моря (каковым представляется для нас Черное море) не может быть приравнен к праву входа в него судов не прибрежных государств». Несмотря на враждебное к нему отношение многих высокопоставленных лиц, ему поручается подготовка Сан-Стефанского мирного договора. Этот договор был заключен на весьма почетных для России условиях.

Но через год Николая Павловича в разгар его деятельности все же «сдают в архив». Разом ломается его дипломатическая карьера. Не он, а его личный враг, граф Петр Шувалов, назначается представителем России на Берлинском конгрессе. И вот все выгодные России пункты Сан-Стефанского договора аннулированы.

Устраненный от дипломатических дел, Николай Павлович нашел кратковременное применение своей неистощимой энергии во время пребывания в Нижнем-Новгороде. Из грязного рынка, который представляла собой в то время Нижегородская ярмарка, он в одно лето распланировал и построил те здания, в которых эта ярмарка и просуществовала до своего конца. Тут, на берегах Волги, он раскинул палатку и вел тот же образ жизни, к которому привык в степях Средней Азии и Монголии.

Заменив вскоре после этого Лорис-Меликова на посту министра внутренних дел, Николай Павлович оказался на работе, к которой совершенно не был подготовлен: ему пришлось знакомиться «на ходу» со всей сложной внутренней политикой России, согласовать непримиримые разногласия между прогрессивными кругами и черной реакцией.

Выход из противоречий, созданных реформами 60-х годов, он видит в старинных формах «русского парламентаризма», «Земских соборах», и в 1883 году представляет подробный проект на усмотрение Александра III, предлагая торжеством открытия Всероссийского собора ознаменовать дни коронования нового царя. Тот выслушивает его и как будто соглашается, но через несколько часов, вернувшись из Гатчинского дворца в Петербург, Николай Павлович получил собственноручную записку Александра III:

«Взвесив нашу утреннюю беседу, я пришел к убеждению, что вместе мы служить России не можем. Александр».

Так бросались в России энергичными людьми в то самое время, когда Победоносцев, хватаясь за свою лысую голову, восклицал: «Людей нет!»

Одни болгары не забыли Николая Павловича. Ежегодно русофильские партии в Болгарии посылали к нему тайных делегатов в его усадьбу Круподерницы Киевской губернии, и, как ни странно, король Фердинанд — личный его враг, позволил «произвести» себя в цари в тот год, когда Николая Павловича не стало.

Глава вторая

ОТЕЦ

Отец мой, Алексей Павлович, представлял по своему характеру полную противоположность старшему брату. Все его интересы были сосредоточены внутри России.

Родившись в 1842 году, мой отец уже семнадцати лет от роду окончил Пажеский корпус. Он получил разрешение вместо строевой части сразу поступить в Академию генерального штаба. После академии отец был назначен в лейб-гвардии гусарский полк, где вскоре получил в командование 2-й эскадрон.

Через несколько дней состоялось увольнение в запас выслуживших срок, — что являлось крупным событием, так как большинство, а в особенности взводные унтер-офицеры, служили в полку от двадцати до двадцати пяти лет. Командир полка, грозный седой полковник Татищев, встретив отца, безусого ротмистра, спросил:

— А кого ты, Игнатьев, думаешь назначить на место уходящего взводного третьего взвода?

— Унтер-офицера Петрова, — ответил отец.

— А почему именно Петрова?

— Он безукоризненного поведения, и вахмистр мне его рекомендует как хорошего человека.

— Эх, Алексей Павлович, — воскликнул Татищев, — хорошим людям по воскресным дням деньги в церкви собирать, а не взводными в гусарском полку быть!

Производство в гусарском полку всегда было головокружительно быстрым, так как дворянских состояний хва-

тало большинству офицеров лишь лет на пять. В полку оставались только служаки, как отец, или люди особенно богатые. Благодаря этому двадцати семи лет от роду отец был произведен уже в полковники и стал вторым помощником командира полка. Несколько месяцев спустя должен был уйти из полка старший полковник. Обычно в таких случаях полагался подарок от офицеров уходящему. Но на этот раз офицеры захотели применить тайное голосование для решения вопроса — быть ли подарку. Уходящего полковника они недолюбливали. Собрав офицеров, отец заявил, что тайного голосования в военной среде он не признает, что всякий офицер должен иметь мужество высказаться громко и что в знак протеста он лично заранее отказывается от традиционного подарка, который может быть предложен, когда придет очередь ему самому покидать полк.

Этого ждать пришлось недолго, так как весной того же года, на майском параде на Марсовом поле в Петербурге, Александр II обратился к отцу и, сильно картавя, заявил:

— Меня ос'амили мои ку'ляндские уланы. Назначаю тебя команди'ом полка.

Оказалось, что курляндцы в знак неудовольствия плохим обращением не ответили на приветствие своего командира полка, — родом из прибалтийских баронов. Немецкое засилие в командном составе нередко вызывало подобные проявления возмущения.

Выехав уже в уланской форме к новому месту службы в город Старицу, до которого от Твери надо было ехать на лошадях, отец встретил на тверском вокзале офицера Курляндского полка. Последний, представившись, начал длинный доклад про полковые офицерские интриги. Он, по его словам, «хотел остеречь нового командира полка от возможных ошибок».

Выслушав сплетню, отец предложил этому офицеру не возвращаться больше в полк, а уехать в «продолжительный отпуск». Весть об этом обогнала тройку отца, и в Старице оставалось только взять как можно скорее в руки командование.

Все рассчитывали, что дело начнется с традиционного парада и «опроса претензий», представлявшего собой всегда в царской армии одну пустую формальность. Каково же было удивление почтенных ротмистров, когда

новый командир полка заявил, что он хочет начать с осмотра отдельных эскадронов. Казарм в ту пору в армии было мало, и люди с лошадьми располагались по крестьянским дворам. Перед каждым двором стоял шест с соломенным украшением и с кистями, число которых обозначало число коней во дворе. Войдя в первую конюшню, где стоял десяток улан, отец поздоровался. Люди бодро ответили, после чего он тут же спросил их о причинах недовольства командованием. Объехав к обеду все расположение полка и пригласив офицеров к обеду, отец, после первых рюмок водки, вызвал к себе трубача и велел трубить тревогу. Полк лихо произвел полковое учение. Авторитет командира был восстановлен.

На лагерные сборы полк ежегодно ходил походным порядком из Старицы в Москву, располагаясь в окрестностях Ходынского поля. Отец всегда водил полк сам, и мать моя вспоминала, с каким девичьим трепетом она смотрела на своего будущего мужа, когда он с трубачами входил во главе полка в имение ее дяди Мещерского — Лотошино.

Армейским полком отец командовал дольше обычного срока — свыше пяти лет — и, получив блестящую аттестацию, был неожиданно для себя назначен командиром первого полка гвардейской кавалерии — кавалергардов. Здесь он столкнулся с тем особым замкнутым кругом высшего петербургского света, часть которого составляли офицеры кавалергардского полка.

Многие офицеры гвардии по существу ничего общего с военной службой не имели. Вызывает раз Алексей Павлович одного из таких «милых штатских» в военном мундире и спрашивает:

— Я вот не знаю, какое бы вам дело поручить. Подумайте хорошенько сами и зайдите ко мне через неделю.

— Я бы мог, господин полковник, отвозить полковой штандарт во дворец, — ответил офицер после семидневного размышления.

Отцу после этого оставалось лишь посоветовать своему подчиненному «сесть на землю» в принадлежавшем ему богатом имении.

— Честь имею явиться, — докладывал по-военному, тридцать лет спустя, этот бывший кавалергард, обратившийся в почтенного отца семейства, — я на всю жизнь остался вам признателен за ваш добрый совет!

Два других офицера остались тоже в хороших отношениях с Алексеем Павловичем, несмотря на то, что он потребовал их одновременного ухода из полка. Причина была уважительная: один из них отбил жену у другого.

Кавалерийский полк представлял собою в те времена хоть и небольшой, но сложный организм. Помимо строевой подготовки, подбора конского состава, забот о довольствии людей, о воспитании кадров командного состава, — командиру полка надо было помнить также о полковой швальне, хлебопекарне, наконец о школе мальчиков-кантонистов и приюте девочек — детей сверхсрочных.

Расстаться со всем этим миром отцу, как он рассказывал мне, было нелегко, но участие в комиссиях по выработке новых уставов выдвинуло его на штабную работу. В 1882 году он был назначен начальником штаба гвардейского корпуса. На этой должности он смог еще шире проявить свои административные способности, реорганизовать лагерь в Красном Селе, — снабдив его водопроводом, шоссейными дорогами, и придать ему в общем тот вид, в котором он и оставался до самой революции.

Отец обладал удивительной памятью и всю жизнь помнил по фамилиям не только вахмистров, но даже взводных унтер-офицеров своего бывшего полка, что меня всегда поражало. В конце жизни он в Питере почти во всех министерствах, дворцах и домах чувствовал себя как дома, так как всюду встречал швейцаров и прислугу из числа рекомендованных им в свое время солдат и писарей.

С воцарением Александра III в армии произошли большие перемены. Александр II любил военное дело, был близок к гвардии, лично знал большинство офицеров. Его преемник, испуганный грозным призраком революции, заперся в своей Гатчине. Он не любил парадов и военных церемоний, с трудом ездил верхом. Отойдя от военных интересов, он предоставил своему брату Владимиру Александровичу заниматься гвардейским корпусом.

Под лозунгом «самодержавие и народность» наступил период «упрощения» и «руссификации», выразившейся в армии введением новой формы — мундиров в виде полукафтанов, цветных кушаков, барашковых шапок, шаровар и т. п.

На первом придворном приеме, когда все начальники, числившиеся в свите, должны были быть в новой свитской

форме, командир конной гвардии князь Барятинский появился в мундире полка, а на полученные от министра двора замечания ответил, что «мужицкой формы он носить не намерен». В результате ему пришлось провести остаток жизни в Париже.

Великий князь Владимир Александрович не нашел моего отца подходящим сотрудником для нового курса и взял себе начальником штаба Бобрикова, прославившегося впоследствии на посту финляндского генерал-губернатора своей грубой и жестокой руссификаторской политикой.

Военная карьера Алексея Павловича оказалась надломленной, и ему пришлось отчислиться в свиту, то есть по существу оказаться не у дел.

По счастливому стечению обстоятельств он встретился с министром внутренних дел графом Толстым, искавшим в военных кругах людей на ответственные гражданские посты. Он предложил отцу пост генерал-губернатора и командующего войсками Восточной Сибири; предложение это в ту пору для большинства представителей петербургского высшего света равнялось «почетной ссылке».

До Иркутска месяц пути, за Уралом ни одной ни железной, ни шоссейной дороги, в России надо расстаться с престарелой матерью, с собой везти трех малолетних детей, из которых мне, старшему, едва минуло семь лет. Нужно было надолго оторваться от светской петербургской среды. Все это не задержало решения отца.

Он выехал, как я сам уже помню, во главе целой экспедиции, в которую входили будущие крупные администраторы и военные начальники Восточной Сибири.

Свежие люди, прибывшие с отцом, стали налаживать жизнь края, в котором к тому времени не были введены даже судебные и административные реформы Александра II. Полковник Бобырь устанавливал границу с Китаем, инженер Розен приводил в порядок тысячи километров главных путевых артерий, на Лене и Ангаре строились первые пароходы, и, наконец, специальные разведывательные отряды производили первые изыскания для великой сибирской железнодорожной магистрали.

Были в этом краю такие места, как, например, Тунка, Киренский округ, Якутск и Алдан, куда начальники края вообще никогда не выезжали и где в полной безнака-

занности процветала разбойничья деятельность местной администрации.

Приезжает мой отец однажды в лютый мороз на почтовой тройке в волостное правление. Здесь, заведя беседу с волостным писарем, спрашивает, сколько тот зарабатывает в год. Оказывается — восемнадцать тысяч золотых рублей: волостного писаря «прикармливали» два-три окрестных золотопромышленника.

Резолюция Алексея Павловича была проста. Не запрашивая питерских канцелярий, он тут же, на карте, разделил чересчур «богатую» волость между тремя соседними.

В Иркутске дом генерал-губернатора объединил самых различных людей, начиная от богатеев-золотопромышленников и кончая интеллигентами из ссыльно-поселенцев и скромными офицерами резервного батальона. Молодежь танцевала, старшие играли в карты.

Одним из молодых танцоров был сын богатейшего золотопромышленника Второва. Когда для него наступил срок отбывания воинской повинности, он нашел выход, представившийся иркутскому обществу вполне нормальным, а именно — зачислился народным учителем в одно из ближайших сел, что по закону освобождало от воинской службы. Каково же было возмущение купеческой знати, когда по приказу начальника края молодому Второву все же пришлось облечься в серую шинель. Впоследствии он стал тем известным Второвым, что ворочал промышленностью в Москве. Здесь, через двадцать лет, явившись к отцу, он благодарил его за полученный в молодости урок.

Отец провел в Сибири около шести лет и всю жизнь вспоминал об этих годах как о счастливейшем и наиболее плодотворном периоде своей жизни.

В 1888 году отец неожиданно был вызван в Петербург и назначен товарищем министра внутренних дел. Не успел он, однако, доехать до столицы, как узнал про новое свое назначение — киевским, подольским и волынским генерал-губернатором, что окончательно удаляло его от придворной и военной жизни.

В новой должности он продолжал постоянно разъезжать по краю, осведомляясь обо всем на местах.

С трудом ему удавалось налаживать отношения с польскими панами. В одном из сел Волынской губернии

крестьянский сход постановил снять с православной церкви герб польского помещика. Тот не согласился, и дело дошло до отца, распорядившегося исполнить желание схода. Помещик обжаловал решение генерал-губернатора в сенат, куда отцу пришлось ехать для объяснений. Это было тем труднее, что в канцеляриях сената сидело в то время много поляков.

Но главным «служебным преступлением» отца была организованная им постройка Кременецкого шоссе и других стратегических шоссейных дорог по системе натуральной повинности, заменявшей для крестьян денежные налоги. Бездорожье в пограничной полосе было таково, что даже командующий войсками Михаил Иванович Драгомиров решил откинуть в сторону междуведомственную склоку и поддержать в этом вопросе генерал-губернатора, просившего в свое распоряжение специалистов из инженерных войск. Осенью, по окончании уборки свеклы, все местные крестьяне выходили со своими подводами на работы по дорожному строительству.

Факт превышения власти был налицо (замена денежного налога натуральной повинностью), и сенат с трудом согласился «помиловать» отца. Проще было, конечно, отделаться сдачей работ подрядчику и оставаться при тех мостах, о которых Сипягин, министр внутренних дел, рассказывал такой анекдот: на земском мосту проваливается пристяжная помещичьей тройки; кучер зовет на помощь мужика, переезжающего на телеге ту же речку вброд, но мужик кричит снизу: «А куда тебя, дурака, несло? Аль не видел, что мост?»

Служба отца на посту генерал-губернатора закончилась приемом Николая II в Киеве в 1896 году, после коронования. Я сам, только что произведенный в офицеры, был свидетелем всех торжеств, закончившихся пышной иллюминацией на Днепре. Характерным, по сравнению с приемами в других городах, было то, что Крещатик и другие городские магистрали наводнили толпы крестьян в свитках. Оказалось, что они приехали со всех трех губерний — Киевской, Подольской и Волынской как представители волостей. Это были «надежные» мужики, привезенные полицией в город, чтобы создать видимость всенародной встречи царя, а также для того, чтобы предупредить возможность революционных вспышек.

Николай II сказал по этому поводу: «Как отрадно не видеть полиции».

Вскоре отец переехал в Петербург, став членом Государственного совета. Он был выбран в законодательную комиссию, в которую обычно военные не назначались. Здесь он столкнулся с политикой Витте, который как-то со свойственной ему грубоватостью заявил, что «достаточно Витте сказать *да,* чтобы Алексей Павлович сказал *нет*».

Главным объектом противоречий было введение золотой валюты, мера, которую отец считал не соответствующей интересам земледельческой России и облегчающей порабощение русской промышленности и торговли иностранным капиталом.

В большинстве вопросов Алексей Павлович оставался в меньшинстве и нередко с некоторой гордостью показывал мне свою подпись в кратком списке меньшинства. Актуальной из этих подписей осталась только та, которой он протестовал против плана Витте о проведении Китайско-Восточной железной дороги через Харбин, заявляя, что проведение жизненной для нас артерии по чужой территории может рано или поздно повлечь к конфликтам.

Благодаря поддержке Витте главным советником по дальневосточным делам при Николае II сделался никому до этого не известный Безобразов, некогда служивший в кавалергардском полку под начальством отца. Безобразов получает высокое звание статс-секретаря, имеет у царя особые доклады, берет в свои негласные помощники Вонлярлярского, тоже отставного полковника кавалергардского полка, и приступает к организации различных авантюристических обществ, которые, по образцу английских, субсидируемых государством, компаний, должны были разрабатывать какие-то неведомые богатства на Востоке. Все это возмущало отца.

Разразившаяся вскоре русско-японская война тяжело отразилась на Алексее Павловиче, тем более что он постоянно получал известия непосредственно с фронта: в моих письмах-дневниках, пересылавшихся с военным фельдъегерем. Когда я вернулся из Маньчжурии, я застал отца в очень подавленном состоянии.

Не одну ночь проговорили мы с ним наедине о внутреннем положении, созданном военным поражением и революцией. Он с болью в душе сознавал ничтожество

Николая II и мечтал о «сильном» царе, который-де сможет укрепить пошатнувшийся монархический строй.

Кадетскую партию и все петербургское общество он считал оторванными от России и русского народа, который, по его мнению, оставался верным монархии. Банки — как состоящие на службе иностранного капитала — считал растлителями государственности и исключение делал только для Волжско-Камского банка, считая его русским, видимо, потому, что в этот банк не входили иностранные капиталы. Презирая как ненужную уступку манифест 17 октября, он все-таки — с болью в сердце, но и с гордостью — нес государственное знамя при открытии 1-й Государственной думы.

— Мы попали в тупик, — говаривал он мне, — и придется, пожалуй, пойти в Царское с военной силой и потребовать реформ.

Как мне помнится, реформы эти сводились к укреплению монархического принципа. Спасение он видел в возрождении старинных русских форм управления, с самодержавной властью царя и зависимыми только от царя начальниками областей. Для осуществления этих принципов он был готов даже на государственный переворот.

— Вот и думаю, — говорил он мне, — можно положиться из пехоты на вторую гвардейскую дивизию, как на менее привилегированную, а из кавалерии — на полки, которые мне лично доверяют: кавалергардов, гусар, кирасир, пожалуй казаков.

Он показал мне однажды список кандидатов на министерские посты в будущем правительстве.

Эти беседы велись у нас с отцом в его тихом кабинете поздней ночью, когда весь дом уже спал крепким сном.

Как далеко зашел отец в осуществлении своих планов дворцового переворота — я не знаю. Одно для меня бесспорно: какие-то слухи, может быть и неясные, дошли тогда до правящих сфер. Отношения с двором и правительством у отца все более портились. Чья-то рука направляла начавшуюся травлю в так называемой бульварной прессе, вроде «Биржевки» и «Петербургской газеты». Здесь стали появляться карикатуры на отца как на председателя какой-то таинственной и в действительности не существовавшей «Звездной палаты».

Я жил в Париже, когда в европейских газетах прочел телеграфное сообщение о покушении на Алексея Павловича Игнатьева. Это сообщение оказалось ложным, но пророческим.

Возвратившись в Петербург в конце сентября 1906 года, я застал отца постаревшим, усталым и еще более отчаявшимся. Государственный совет потерял для него всякий интерес. «В Петербурге мне делать больше нечего», — говорил отец.

Он подробно рассказывал мне, как на старости лет выставил свою кандидатуру в земские гласные Ржевского уезда и как, будучи выбран председателем контрольной комиссии, работал с двумя старшинами на постоялом дворе над земским бюджетом в двадцать семь тысяч рублей. Когда он решил баллотироваться в тверские губернские гласные, ему прислали угрожающее письмо с нарисованным черепом и костьми, требовавшее от него отказаться от своей кандидатуры, — «пожалев жену и детей».

Зная наперед, что отец мне откажет, я робко предложил сопровождать его в Тверь.

— У тебя своя служба, — ответил он.

В Твери при отце неотлучно состоял его преданный друг, управляющий Григорий Дмитриевич, и командированный мною бесстрашный мой вестовой в японскую войну Павлюковец.

В письме из Твери, полученном моей матерью уже после смерти отца, он описывал рыжего человека с подвязанной щекой, сопровождавшего его на отдельном извозчике от вокзала до гостиницы, — это был агент охранки.

Точно так же лишь после смерти отца я узнал от Григория Дмитриевича, что околоточный, его свояк, стоявший у черного хода дворянского собрания, был неожиданно и против воли снят с поста за час до совершения убийства; местная полиция сослалась на приказ свыше.

В помещение собрания никто из людей, на которых Григорий Дмитриевич возлагал охрану отца, впущен не был — и тоже якобы по указанию, полученному из Петербурга.

В пять часов, в перерыв собрания, отец пил чай в небольшом буфете, в кругу гласных.

Убийца, поднявшись беспрепятственно по черной лестнице, никем не охранявшейся, зашел за прилавок буфета

и выпустил в отца пять отравленных пуль в упор, после чего бросился бежать через соседнюю с буфетом бильярдную, но был схвачен.

...Стояла глухая, темная, морозная ночь, когда я ввел в большой зал тверского дворянского собрания мою мать. В углу стоял гроб.

Подали высочайшую телеграмму за подписью «Николай».

— Я сама отвечу, — сказала мать.

«Благодарю ваше величество. Бог рассудит всех. Графиня Игнатьева», — написала она. Я не сразу решился отправить эту телеграмму, потому что в ней содержался дерзкий смысл — намек на организаторов убийства, звучавший почти как угроза самому царю.

Хоронили отца с воинскими почестями в родном ему кавалергардском полку, офицеры которого были очень оскорблены отказом царя прибыть на похороны.

Газеты ограничились помещением официального сообщения:

«9-го декабря 1906 года, в $5^1/_4$ ч. дня, в перерыве губернского земского собрания убит пятью пулями наповал генерал-адъютант, член Государственного совета граф Алексей Павлович Игнатьев. Убийца — член боевой дружины эсеров, Ильинский, задержан».

Сопоставляя все обстоятельства, сопровождавшие убийство отца, я еще тогда пришел к твердому убеждению, разделявшемуся и моей матерью, что убийство если не было организовано охранкой, то во всяком случае произошло с ее ведома.

Спустя некоторое время Николай II нашел нужным сделать какой-то жест по отношению к семье покойного. Мы все — трое братьев — получили повестки для высочайшего приема в Царском Селе.

После краткого разговора стоя царь, подавая мне на прощанье руку и заискивающе всматриваясь в мои глаза, сказал:

— Надеюсь, что на вас, Игнатьев, я всегда смогу положиться!

Что-то нестерпимо горькое и обидное подступило к горлу, но я, сдерживая себя дисциплиной, лишь ответил:

— Игнатьевы всегда верно служили России!

Глава третья

ДЕТСКИЕ ГОДЫ

Я родился в казармах кавалергардского полка, на Захарьевской улице, в Санкт-Петербурге, в 1877 году, и первым моим головным убором была белая солдатская бескозырка с красным околышем этого полка.

С комнатой, в которой я родился, превращенной в гостиную, я познакомился двадцать лет спустя, когда представлялся как офицер этого же полка его новому командиру.

Первыми и любимыми игрушками у нас с моим младшим братом Павлом были деревянные лошадки-качалки. Они были мастей будущих наших полков: у меня — гнедая кавалергардская, а у брата — серая гусарская. Скоро появились и оловянные солдатики, изготовлявшиеся тогда в Германии с большим искусством. Они продавались коробочками по пятьдесят и сто фигур и точно изображали все европейские армии, в том числе и русскую гвардию. Постепенно совершенствуя «игру в солдатики», мы с братом довели ее до того, что, когда нам было десять — двенадцать лет, действовали уже с соблюдением некоторых законов тактики. У нас был большой стол, на котором мы из песка делали рельеф местности, отмечая леса — елочками, всякие преграды — краской. Войска передвигались по определенной мерке, конница с двойной скоростью; артиллерийский огонь мы вели по открытым целям на определенную мерку, и он давал двадцать пять процентов потерь и т. д.

Неизгладимое впечатление производил на нас журнал «Всемирная иллюстрация» — те номера его, которые были посвящены русско-турецкой войне 1877—1878 года: детское воображение было потрясено картинками, изображавшими страшных янычар и геройские подвиги наших войск под Плевной во главе с «белым генералом» Скобелевым.

Сильным впечатлением моего детства было волнение, вызванное в доме убийством Александра II. Отца неожиданно потребовали во дворец, и мы его не видели несколько дней. Мать и все знакомые оделись в черные траурные платья с крепом, нам же объяснили, что какие-то «разбойники» разорвали в клочки священную особу царя-освободителя.

Портреты Александра II, обрамленные черной рамкой, еще долгие годы приходилось видеть в красном углу крестьянских изб рядом с иконами.

Ученье началось с азбуки на кубиках и чтения вслух сказки о «Рыбаке и рыбке». Но самые серьезные уроки давала нам — по закону божьему — наша строгая мать. Она происходила из совершенно чуждой Игнатьевым среды — из помещичьего дома князей Мещерских, гордившихся тем, что «никогда и никому не служили». Она познакомила отца с деревенской жизнью, увлекла столичного служаку сельским хозяйством и в домашнюю жизнь внесла элементы провинциальной простоты. Ни положение жены генерал-губернатора, ни чванный петербургский свет, ни цивилизованный Париж не смогли сломить Софьи Сергеевны, и она всему предпочитала самовар, за которым любила посидеть с русским платком на голове.

Естественно, что она прежде всего стремилась сделать меня «хорошим христианином». Слезы первой исповеди, скорбь страстной недели, таинственность и святость храма — все это долго еще жило в моей душе.

Нравственные догмы, внушенные мне с детства, были догмами религии. Больше того, мне всячески прививали идею, сохранившуюся в моем сознании до зрелых лет, что быть русским — значит быть православным, и чем ближе ты к церкви, тем ближе ты к своему народу, так как она «естественно и просто» засыпает пропасть между помещиком и мужиком, между генералом и солдатом.

— Здравствуйте, православные, — говаривал отец, обращаясь к крестьянам и снимая перед сходом военную фуражку со своей лысой головы.

Правда, когда я стал старше, отец объяснял мне отношения между помещиком и крестьянином несколько иначе:

— Никогда не забывай, что мужик при всех условиях смотрит на нас как на узурпаторов, захвативших принадлежащую им землю.

Отец выучил меня читать свободно по-славянски, и я был горд тем, что читаю шестопсалмие лучше псаломщиков.

Всем остальным нашим воспитанием занималась наша дорогая Стеша, бывшая воспитанница приюта принца Ольденбургского, жившая в семье, как «своя». Это была культурная русская девушка. Она читала нам стихотворе-

ния Кольцова и Некрасова, толковала нам смысл произведений этих народных поэтов.

В раннем детстве мы проводили лето с отцом в лагере, в Красном Селе. Припоминаю, что особое мое внимание привлекали полковой штандарт и литавры, полученные кавалергардским полком за Бородино. К этим реликвиям, как к святыне, мне строго запрещалось прикасаться.

Помню прекрасный дворцовый сад в Красном Селе. К нему примыкали двухэтажный деревянный дворец командира гвардейского корпуса графа Павла Андреевича Шувалова и дом начальника штаба — моего отца. Нам и детям Шуваловых разрешалось гулять в саду. Здесь, в аллеях сада, мы с чувством восхищения и зависти смотрели на наших сверстников — Кирилла и Бориса Владимировичей — великих князей, галопировавших на прекрасных пони. К этим «августейшим детям» мы и подходить близко не смели.

В летние вечера в парк, расположенный на возвышенности, доносились песни терских и кубанских казаков. Казаки составляли личный конвой царя, и формой у них был алый чекмень. По утрам мы выбегали по шоссе навстречу полкам гвардейской кавалерии, под звуки трубачей отправлявшимся на учения. Кавалергарды на гнедых конях, конная гвардия на вороных, кирасиры императрицы в касках и кирасах — на рыжих. Как восхищал нас вид конных полков! Оказаться на коне, быть таким же, как эти красавцы, — казалось несбыточной мечтой.

Военные картины, увлекавшие нас в Красном Селе летом, воскресали перед нами и в зимние вечера в Петербурге, когда после обеда отец садился за рояль и пел с нами русские и солдатские песни.

Затянет, бывало, отец одну из своих любимых:

Что за песни, вот песни распевает наша Русь,
Уж как хочешь, брат, хоть тресни, так не спеть тебе, француз.

А потом мы своими детскими голосами выводили разудалую:

Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваши деды?
Наши деды — громкие победы, вот где наши деды.

К этой же эпохе раннего детства, то есть к началу восьмидесятых годов, относится и мое первое знакомство с русской деревней.

Это было родовое имение, унаследованное отцом после смерти деда, — Чертолино, Тверской губернии, Ржевского уезда, Лаптевской волости и, как значилось в крепостных документах, «прихода св. Тройцы, что на реке Сишке».

Там отец проводил с нами все свои служебные отпуска, и туда же съезжались мы, будучи уже взрослыми.

Чертолино — это моя дорогая родина.

С радостью сбрасывал я с себя офицерский мундир и накрахмаленную рубашку и, заменив их косовороткой, бежал в чертолинский парк. Там, с крутого берега Сишки, заросшего вековыми пахучими елями, видна, на другом берегу, деревня Половинино. Большой желтый квадрат зреющей ржи, изумрудный Воронцовский луг и полосатые поля крестьянских яровых; темнозеленые полоски картошки чередуются с палевыми полосками овса и голубоватыми полосками льна.

На косогоре, как бы в воздухе, красная кирпичная церковь, московская пятиглавка, а на горизонте — синева лесов, тихие пустоши, летом пахнущие сеном, а к осени мокрым листом и грибами.

На всю жизнь запечатлелся в моей памяти этот дорогой уголок родины. Никакие красоты в иных странах не могли вытеснить из моего сердца привязанности к русской природе.

И жаль мне людей, которые чувствуют по-иному. Они, верно, не жили, как я, в живописных истоках Волги и не чувствовали всего величия русской деревенской жизни, прежней жизни русского народа во всей ее неприглядности и темноте. Там же, в Чертолине, я осознал и счастье служить этому народу, в котором природная рассудительность и сметка восполняли культурную отсталость, а стремление к правде и справедливости создавали почву для достижения высших человеческих идеалов.

Оно, это чувство неразрывной связи с чертолинским народом, послужило мне самой сильной нравственной поддержкой в те тяжелые дни, когда я жил на чужбине один, преследуемый всей русской эмиграцией.

— Да перед кем же вы в конце концов чувствуете себя ответственным? — спросил меня в Париже французский премьер-министр Клемансо после октябрьского переворота, когда узнал, что я — русский военный атташе — от-

казываюсь признавать белых и в то же время хлопочу о делах наших бригад во Франции.

— Да перед сходом наших тверских крестьян, — ответил я французскому премьеру. — Они, эти мужики, наверно спросят меня: что я сделал в свое время для их собратьев, революционных солдат особых русских бригад во Франции?

Маклаков называл это «демагогией», но не смог вырвать из моей головы память о наших кузнецовских, смердинских и карповских мужиках, с коими были связаны в прежнем лучшие минуты здоровой, трудовой, деревенской жизни.

Живя в Париже и читая уже много лет спустя о «кулаках», я мысленно видел старшину Владимира с цепью на шее, осанистого, хитрого, молчаливого, сознающего свое превосходство; или церковного старосту Владимира Конашевского в зайцевской церкви: он ставит свечки, истово крестится и при каждом поклоне заглядывает из-под локтя назад на приход, которому должен показывать пример благочестия, — в нищем Конашеве из пятнадцати дворов у него одного изба в три сруба с резью.

А «середняками» я представлял себе наших соседей карповских, работавших полвремени у себя, а полвремени у нас, снимая на обработку картофельные или льняные десятины. У них было по одной-две коровы, по одной-две лошади, не то что у кузнецовских, которые поставляли мощный обоз для зимней возки морозовского леса или нашего спирта.

А бедняки — это вся смердинская голытьба, что ежедневно заходила в усадьбу за работой и артелью брала подряд то на расчистку леса, то на копку канав или силосных ям; это загадочный угрюмый великан Павел Воронцовский, не обрабатывавший даже собственного надела, безлошадный, занятый обычно ловлей раков, первый участник в пуске нашей паровой молотилки и усовершенствованной сноповязалки. Он презирал полужизнь, полусмерть своих односельчан, которые его побаивались, считая, что у него просто «не все дома».

Управляющим Чертолина, исполнителем всех заданий отца был его бывший денщик Григорий Дмитриевич Яковенко, покоривший в свое время сердце горничной Дуняши; Дуняша превратилась в Авдотью Александровну и

получила от крестьян достойную своего нрава кличку «погода».

Григорий Дмитриевич был для нас роднее родственников, а тем более друзей.

Вторым в этом ряду постоянных служащих отца был кучер Борис, носивший на кафтане колодку с медалями и «георгием» за турецкую войну. Родом из-под Саратова, этот богатырь с чувствительным и нежным сердцем переживал с нашей семьей все ее горести и радости. Встречает, бывало, меня на станции в Ржеве и уже на платформе зажимает в свои могучие объятия. Перед подъездом темно-серая тройка. В корню Купчик, на правой пристяжной хитрый Боец, на левой красавица с огненным глазом Строга, все доморощенные от крупных донских кобыл и городских хреновских рысаков. Дорога длинная — тридцать верст. На пароме через Волгу Борис поит из шайки коней, сам пьет и меня угощает, уверяя, что волжская вода — «сама жизнь». Солнце печет. Торопиться некуда, и под нежный звон бубенцов Борис тихо напевает не «кабацкую», а настоящую ямщицкую «Тройку». Потом начинает вспоминать про турецкую войну, про чудеса Царьграда, куда впустили из всей русской армии только его роту Преображенского полка, а попав на свою любимую тему о «политике», объясняет, что всему виноват исконный наш враг, «проклятая англичанка», стоявшая за спиной турок.

Мы приехали в Чертолино в первый раз в 80-х годах, в эпоху, когда многие помещики, лишившись незадолго до этого дарового крестьянского труда, бросили свои родовые гнезда. Чертолино, как многие имения в ту пору, было в полном запустении.

Самым сохранившимся зданием оказался винокуренный завод, но и его мы нашли без крыши и без окон. Старый барский дом наполовину сгорел, и вся обстановка исчезла.

Два-три первых лета мы жили среди развалин, ночуя под сохранившейся лестницей.

На девятьсот десятин имения — запашки было не более сорока десятин; их ковыряли сохами соседние крестьяне. Старики еще помнили о барщине и вздыхали по ней, потому что «освобождение» лишило их и этого источника существования.

— Тогда, — говорили мужики, — при бабке твоей, и леса, и луга, все было общее, а теперь, после дележа, и деваться некуды...

Народ этот был одет в самотканные лиловатые рубашки и полосатые голубые портки, ходил босой или в лаптях, а старики — в валенках.

Около нашего дома ежедневно толклись женщины с кричащими младенцами, приходившие к моей матери за лекарствами вроде хины или валериановых капель. Ближайшие доктор и аптека были в тридцати верстах, во Ржеве.

Я помню открытие первой школы, построенной отцом.

Я помню, как за отремонтированной ригой собрались карповские и смердинские взглянуть на необычайную выдумку — шведский одноконный плуг, клавший ровный маслянистый пласт красного суглинка.

— Нам непригоже, — говорили старики, — ты, Ляксей Павлович, всю глину снизу подымешь, и никакого хлеба не уродится.

Как рано я постиг значение севооборотов и безвыходность крестьянского хозяйства на надельной земле и трехполке!

За право пастбища воронцовские убирали смежный с ними наш луг. За пользование сухостоем для дров карповские производили расчистку нашего леса. Не проходило году, чтобы часть нашей ржи не отдавали взаймы крестьянам, не имевшим не только семян, но даже хлеба для прокормления если не с рождества, то с поста.

С детства я знал по именам и отчествам большинство окрестных крестьян и поочередно с моим братом и сестрой получал частые приглашения на крестины. Отказываться запрещалось отцом, и приходилось терять добрые полдня на сиденье в душных избах за угощением. Крестники и крестницы так же легко умирали, как и рождались, и никто не делал из этого никакого события.

Мы очень любили полевые работы. Если б не уроки иностранных языков, музыки, рисования, которыми нас мучили во время летних каникул, мы с братом все дни проводили бы на покосе, на пахоте, на уборке хлеба. У каждого из нас была своя лошадь, телега, коса с оселком, и нам казалось чем-то диким и недостойным развлекаться какими-либо играми в то время, как вокруг все трудятся.

Самым жарким временем был, конечно, покос, и тут уж приходилось идти на поклон к мужикам. Обычно Григорий Дмитриевич просил отца послать меня в ту или другую деревню уговорить крестьян приехать к нам в «толоку». Когда я был маленьким, то ездил на беговых дрожках с Григорием Дмитриевичем, а позже уже самостоятельно отправлялся и для переговоров со сходами и на дележку сена на отдаленные пустоша.

И сколько я радостных и веселых минут в жизни ни пережил, никогда они не смогли стереть из памяти шуток и прибауток наших здоровых кузнецовских девок, закидывавших меня сеном, когда я не успевал навивать как следует очередной воз.

Вспоминая с величайшей благодарностью все, что дала мне деревенская жизнь, я не могу также не учесть того ценнейшего опыта жизненных наблюдений, который я приобрел в детстве из-за служебных перемещений моего отца. В то время как большинство петербургских детей высшего общества обречено было жить в узком кругу интересов Летнего сада, Таврического катка, прогулок по набережной Невы — мне довелось уже в раннем детстве познать необъятные просторы и разнообразие природы моей родины. Когда мне стукнуло семь лет, мирная жизнь нашей квартиры на Надеждинской была нарушена сборами в Восточную Сибирь, куда отец получил назначение.

Все с этой минуты стало полно глубочайших впечатлений.

Прежде всего сборы и укладка десятков громадных ящиков с сотнями бутылок вина и тарелок, тысячами стаканов, серебром и прочей домашней утварью.

Среди сена и соломы шло сплошное столпотворение, и главным действующим лицом оказался кучер Борис, который со своей исполинской силой «все мог». В кабинете у отца мы рассматривали альбомы в красках с изображением остяков, бурят, якутов, самоедов и верить не могли, когда Стеша нам объясняла, что мы будем жить среди всех этих совсем не русских людей.

Проводы носили душераздирающий характер. На напутственном молебне все рыдали. Мы, казалось, переселялись в другой мир.

Первой остановкой была Москва. Часовня у Иверских ворот, толпа, «святые» Спасские ворота в Кремле, таинственный Чудов монастырь, где поклонялись мощам свя-

тителя Алексия, «нашего предка», если верить официальной родословной.

Завтрак у Тестова — половые в белых рубашках с малиновыми поясами и волшебный орган, за стеклом которого вращались какие-то блестящие колокольчики. Угощаемся круглыми расстегаями с вязигой, ухой из ершей и белой, как снег, ярославской телятиной...

Домик бабушки матери, Софьи Петровны Апраксиной, на Спиридоновке — деревянный, одноэтажный, — тишина. Все «молятся богу», говорят рассудительно, все друг друга знают до четвертого колена.

Стояли мы в номерах Варгина, что на площади рядом с нынешним Моссоветом. К отцу заходят люди разных возрастов и званий, в чистеньких поддевках и русских косоворотках. Ничего подобного я в Петербурге не видел.

Из Москвы провожают нас тоже со слезами, длинными напутствиями и благословениями.

Ночь в поезде. На вокзале в Нижнем-Новгороде встречает губернатор, чудодей генерал Баранов. Он везет нас прямо в свой новенький деревянный дворец, в самый центр ярмарочного города, куда он ежегодно переселяется на все время ярмарки.

На главной широкой аллее пестрая и шумная толпа. Русские поддевки теряются среди ярких бухарских халатов, татарских тюбетеек, цыганских пестрых нарядов. Монотонные подвывания продавцов смешиваются с задорными вальсами шарманок. В застекленных галереях, среди гор пушнины, дешевых туркменских ковров, игрушек, колесных скатов, красуются богатейшие витрины с серебряными изделиями Хлебникова, Овчинникова, а также с уральскими каменными изделиями и чугунным художественным литьем.

За двое суток все так умаялись от осмотра ярмарки, что почувствовали себя как в раю на пароходе, который вез нас по тихим водам Волги и Камы.

Однообразный шум пароходных колес сливался с унылым голосом человека, погружавшего в воду длинный шест.

— Шесть, пять с половиной! — выкрикивал он.

Но вот:

— Три с половиной!

Это значит — мель, ход назад, легкое смятение... Так день и ночь.

Главным развлечением была погрузка дров и покупка с лодок живых осетров и стерлядей.

Перед закатом солнца наступала торжественная минута молчания. Пассажиры третьего класса, татары, выходили на палубу, расстилали свои коврики и, обратясь к востоку, молились на не понятном нам языке не известному нам богу...

Ученье наше не прерывалось в пути, и я должен был вести дневник дорожных впечатлений.

Пермь была конечным пунктом нашего пятидневного путешествия на пароходе. Отсюда начиналась недостроенная еще железная дорога на Тюмень через Екатеринбург.

Мы выехали из Перми в поезде. Через несколько часов поезд, еле двигавшийся среди гор, остановился у каменного столба. Все вышли из вагонов, чтобы взглянуть на надписи: с одной стороны — «Европа», с другой — «Азия».

Я недоумевал — в чем тут разница?

Екатеринбург совсем свел меня с ума. Я впервые увидел заводы, о существовании которых не имел никакого понятия. Мне показали, как в песочные формы льют красный жидкий чугун, как мальчики, чуть-чуть старше меня, бегут и тянут за собой красные нити и ленты железа; как в другом месте, где-то около воды, в полутемных бараках полируют уже пятый год какую-то грандиозную вазу из драгоценного красного орлеца. Это была императорская гранильная мастерская. На улице под навесами расположились точильщики и продавцы уральских изделий. Какой-то подросток на моих глазах отшлифовал лапоть из горного льна.

И вот сразу после Екатеринбурга я понял, как тяжко очутиться в далекой Азии. Мы лежали с братом и сестрой в полной темноте, задыхаясь от запаха свежей юфти, и нас било друг о друга беспрерывно до рассвета, — то был кошмарный закрытый тарантас, везший нас по непролазной грязи до Тюмени. Этот город оставил у меня впечатление неимоверной нищеты и скуки.

После обеда стали грузиться на пароход. Мимо отца, стоявшего на косогоре, шли колонны ссыльных в серых халатах, с наполовину обритыми головами. Часть шла

в кандалах, с бубновыми тузами на спинах. Тузы были разных цветов, и мне объяснили, что красные — убийцы, желтые — воры и т. д.

Отдельно от остальных арестантов шел осужденный за какую-то громкую аферу старый банкир с семьей; как все привилегированные, он не был одет в халат, и голова у него не была побрита.

Баржа, на палубе которой, за решеткой, разместились все эти люди, была прицеплена к пароходу и на каждой остановке подходила вплотную к нашему борту — для погрузки дров.

Оборванные остяки шныряли в утлых ладьях вокруг баржи и продавали рыбу и хлеб, просовывая свой товар сквозь решетки. Особое отделение — за сеткой вместо решетки — занимали привилегированные преступники.

Мрачным призраком вошла в мое детское сознание эта баржа, спутник наш в течение долгих восьми дней водного сибирского пути. Кандалы звенели, люди в серых халатах за решеткой шумели, пели свои, тягучие как стон, песни, — бывало жутко.

Твердо-натвердо вызубрил я названия рек, по которым шел наш пароход: Тура, Тобол, Иртыш, Обь и Томь; но как я ни старался, так и не нашел различия в бесконечных пустынных берегах этих рек.

На всем пути лишь один город — Тобольск, с бревенчатой мостовой и черными лачугами, над которыми высится памятник с величественной фигурой Ермака Тимофеевича, покорителя Сибири.

Но вот и мрачный Томск, от которого начинался самый тяжелый этап — тысяча пятьсот верст на лошадях. Каких только страданий не был он свидетелем, этот путь!

Мы, конечно, могли увидеть только то, что открывало взору отдернутое боковое полотнище тарантаса. Вот партия арестантов, человек в двести, под охраной нескольких конвойных при шашках и револьверах. Сзади несколько телег, на которых сидят женщины, сопровождающие мужей в ссылку. К ночи партия должна доплестись до станции, где ждет ее покосившаяся черная пересыльная тюрьма.

Вот большой обоз, который через силу тянут худые лошаденки. Едущий впереди нас лихой исправник, расчищая дорогу, перестарался, и телеги завалились в канаву. Сколько усилий потребуется, чтобы их вытащить!

На дороге встречаются одиночки-пешеходы, они убегают в тайгу, прячутся при виде нашего каравана. Это беглые, они пробуют пробраться на Урал, они пьют капорский чай, цветы которого покрывали розовой пеленой все лесные вырубки. Ночью дежурная изба в каждой деревне выставит для них за окно пищу.

По тому же тракту из Сибири постоянно двигались караваны с золотом, состоявшие из легких тряских тарантасов; на облучке, рядом с ямщиком, сидел конвойный, а на сидении — счастливцы — чиновники и их семьи, пользующиеся оказией, чтобы добраться до России.

Слитки с золотом лежали под сиденьями.

В наш громоздкий тарантас впрягали вместо тройки по шесть-семь лошадей в ряд, так что нам с братом видны были лишь отлетки, то есть крайние пристяжные, пристегнутые на длинных веревочных постромках к задней оси тарантаса. Эти отлетки, разных мастей и роста, сменявшиеся на каждой почтовой станции, очень нас занимали. То они вязли в непролазных топях близ Нижнеудинска и Ачинска, то неслись, как птицы, по накатанному большаку под Красноярском. К этому городу, первому из входивших в восточное генерал-губернаторство, наш тарантасный поезд из шести экипажей подкатил, когда было уже темно.

Пыльные, грязные, вылезли мы из нашей кибитки и очутились в каменном двухэтажном «дворце» купца Гадалова, освещенном электрическим светом, которого я никогда до тех пор не видал. Ведь в Питере еще только хвастались новыми керосиновыми горелками. Никогда мы также не ходили и по таким роскошным мозаичным полам, как в том зале, где губернатор и все местное начальство представлялись отцу. Мы подглядывали эту церемонию, сменяя друг друга у щелки дверцы. Ночью нас поедали клопы.

Но вот на десятый день пути от Томска, на двадцать восьмой день пути от Москвы, — мы у таинственного далекого Иркутска.

В шести верстах от города, у Вознесенского монастыря, нас встречает вся городская и служебная знать. Городской голова, Владимир Платонович Сукачев, элегантный господин во фраке и в очках, произнеся красивую речь, подносит хлеб-соль. Чиновники в старинных мундирных фраках, при шпагах, по очереди подходят и,

подобострастно кланяясь, представляются. Но главный в этой толпе — золотопромышленник миллионер Сиверс, местный божок. Он гладко выбрит, с седыми бачками и одет по последней моде. В бутоньерке его безупречного фрака — живой цветок из собственной оранжереи. Во главе духовенства — преосвященный Вениамин, архиепископ Иркутский и Ачинский. Коренастый, мужиковатый старик с хитрым пронизывающим взглядом, — это был коренной сибиряк, любивший говорить, что «самые умные люди живут в Сибири».

Наступала уже ночь, когда мы переправлялись через Ангару на пароме-«самолете». Бросив тарантасы, в городских рессорных колясках — «совсем как в России» — мы подъехали к генерал-губернаторскому дому, перед которым был выстроен почетный караул. Оркестр играл разученный в честь отца кавалергардский марш.

Началась наша жизнь в казенном белом доме.

Я должен был к весне подготовиться в первый класс классической гимназии. Кроме того, я обучался рисованию, французскому языку, игре на рояли, а также столярному делу — отец подарил нам с братом прекрасный верстак, который поставили у нас в классной.

На втором году нашего пребывания в Иркутске к другим предметам, которые нам преподавались, прибавились латинский язык и география, а к внеклассным занятиям — военная гимнастика, для обучения которой два раза в неделю приходил унтер-офицер.

Расписание занятий составлял всегда сам отец. Вставать в восемь часов утра. Утром — два-три урока. Завтрак вместе с «большими» между двенадцатью и часом дня. Прогулка до трех-четырех часов. Обед с «большими», и от восьми до девяти, а позже и до десяти — самостоятельное приготовление уроков в своей классной комнате. Это расписание выполнялось неукоснительно.

В ту пору арифметика была для меня самым трудным предметом, а над задачником я проливал столько слез, что отец говорил обо мне: «глаза на мокром месте». Страдал я нередко и за обедом, когда не умел ответить на вопрос отца на французском, а впоследствии и на немецком языке.

Эта преувеличенная чувствительность старшего сына глубоко огорчала отца. Она не поддавалась исправлению. В конце концов он пришел к выводу о необходимости для

меня перейти в кадетский корпус, чтобы закалить характер и укрепить волю. Но это произошло уже не в Иркутске.

Жизнь в Сибири благодаря своеобразию окружающей обстановки и простоте нравов немало помогла общему нашему развитию.

Неподалеку от генерал-губернаторского дома помещалась центральная золотоплавильня. Как-то отец взял меня туда. Я помню большой зал с огромной высокой печью, в которую великан-каторжанин вводил графитовые формы с золотым песком. Через несколько минут печь снова открывалась, великан в толстом войлочном халате и деревянных кеньгах вытаскивал из адского пламени красные кирпичи; их заливали водой, и они сразу покрывались коркой черного шлака.

Я стоял в нескольких шагах от отца, окруженного начальством.

— Здорово, Смирнов! — крикнул отец.

Каторжанин оказался бывшим взводным лейб-эскадрона кавалергардского полка. Выяснилось, что, вернувшись с военной службы в деревню, Смирнов был обвинен в убийстве. На старых солдат, терявших за время многолетней службы связи с односельчанами, было удобно все валить.

По ходатайству отца сенат пересмотрел дело, и впоследствии Смирнов захаживал к нам в Питере.

По другую сторону генерал-губернаторского дома помещались новый дом Географического общества и величественное белое здание института благородных девиц. Но так как настоящих «благородных» в Сибири было мало, то в нем обучались купеческие дочки, а также дочери ссыльно-поселенцев дворянского происхождения. Впрочем, в Иркутске очень мало интересовались происхождением, и в доме родителей весело танцевали и евреи Кальмееры, и гвардейские адъютанты отца, и богатые золотопромышленники, и интеллигенты — ссыльно-поселенцы, и скромные офицеры резервного батальона. Такое пестрое общество ни в одном губернском городе центральной России, а тем более в Петербурге, — было немыслимо.

Зимой главным развлечением был каток. Пока не станет красавица Ангара, то есть до января, мы пользовались гостеприимством юнкеров, которые имели свой каток во дворе училища. Здесь разбивали бурятскую юрту для

обогревания катающихся. А с января мы ежедневно бегали на Ангару, на голубом стеклянном льду которой конек оставлял едва заметный след.

Под знойным солнцем Ляояна, двадцать лет спустя — в русско-японскую войну, встретил я в Красноярском Сибирском полку почтенных капитанов, вспоминавших наши молодые годы в Иркутске — катания на Ангаре, танцы, поездки на Байкал.

Для прогулки нас почти постоянно посылали за какими-нибудь покупками — то в подвал к татарам, у которых, несмотря на сорокаградусные морозы, всегда можно было найти и яблоки и виноград в бочках, наполненных пробковыми опилками; то — на базар за замороженным молоком; или, летом, — на живорыбный садок, где при нас потрошили рыбу и вынимали свежую икру.

Сильное впечатление производила на нас Китайская улица, находившаяся почти в центре, близ городской часовни. Много позже пришлось мне познакомиться с китайскими улицами Мукдена, и я убедился, что китайцы жили в Иркутске, почти ни в чем не изменяя своим исконным обычаям и нравам. В 80-х годах китайцы торговали в Иркутске морожеными фруктами, китайским сахаром, сладостями, фарфором и шелковыми изделиями. Удовольствие от посещения их лачуг отравлялось постоянным и сильным запахом опиума и жареного бобового масла. Нас очень занимали их костюмы и длинные косы, но особенно — толстые подошвы, в которых, как мне объясняли, китайцы носили горсти родной земли, чтобы никогда с нее не сходить.

Но жизнь в Иркутске бледнела перед теми впечатлениями, что давали нам путешествия с отцом по «вверенному», как говорилось тогда, краю.

Поездки на Байкал совершались часто. Это «священное море», с его необыкновенной глубиной, с его мрачными горными берегами внушало мне в такой же мере, как и окрестным бурятам, страх и трепет.

Высадившись на одной из пристаней, мы однажды углубились в горы, и здесь, среди пустыни, открыли крошечный монастырек. В его полутемной церкви мы увидели небольшую раскрашенную фигуру, изображавшую старика с седой бородой. «Свет мал» — говорит старинная французская поговорка, и таких же «богов» из дерева я встретил в свое время во всех парижских церквах. На

Байкале же эта фигура изображала св. Николая и была окружена легендой «об обретении» ее на камне при истоках Ангары. Она почиталась святыней и у православных и у бурят. Последние, как объяснял отец, находились в полном рабстве у эксплуатировавшего их ламского духовенства. Ламы жили в монастырях, окруженных высокими деревянными стенами. Местные власти побаивались затрагивать этот таинственный мир. Отца почтили в монастыре каким-то торжественным богослужением с шумом бубнов и колокольчиков, с облаками пахучих курев, мне же дали возможность сфотографировать религиозную процессию, состоявшую из страшных масок.

На всю жизнь запомнил я наше путешествие в Якутск.

Мы плывем на «шитиках» вниз по бесконечной Лене: туда на веслах, а обратно — лошадиной тягой, сменяющейся на каждой почтовой станции.

Отец работает за импровизированным письменным столом в деревянном домике, построенном посредине лодки. Под вечер играем с ним в шахматы, примостившись на носу. Поскрипывает лишь бурундук — короткий канат на носу, через кольцо которого протягивается бечева от мачты до коней на берегу. Вокруг — живописные картины. Это не скучные реки Западной Сибири. То ленские «щеки» — краснобурые, отшлифованные временем, каменные массивы, то ленские «столбы» — подобие сталактитов. Горные массивы, покрытые лесами, сменяются долинами, сплошь усеянными цветами. Чередуются — луг с одними красными лилиями, луг с одними сочными ирисами, луг с белыми лилиями.

Путешествие было полно приключений. Лето выпало особенно жаркое, и Лена обмелела — провести по ней шитиковый караван было нелегко. Особенно памятна та тихая светлая лунная ночь, когда всем нам было предложено высадиться на правом, нагорном, берегу и идти пешком, чтобы облегчить шитики. Мы, дети, конечно, были в восторге и, чувствуя себя чуть ли не героями Майн-Рида, бодро шли за проводником по лесной тропе между вековых елей. Сестренку мою несли на руках.

В Якутске мы прожили весь остаток лета, пока отец разъезжал по Алдану и ниже по Лене.

Однажды мы посетили расположенную близ Якутска богатую русскую деревню, с солидными избами, украшенными московской деревянной, как на картинках, резьбой, —

то было селение скопцов. Хозяева принимали по-русски — с хлебом-солью на вышитом полотенце. На угощение — арбузы и дыни, о которых мы забыли с отъезда из Москвы. Эти русские люди, заброшенные в край вечной мерзлоты, умудрялись оттаивать землю камнями и выращивать пшеницу.

Пять лет, проведенные в Сибири, пролетели как один день. Сидя в том же тарантасе, в котором мы приехали в Иркутск, я горько плакал, покидая этот город, покидая его, как мне казалось, навсегда.

По возвращении в Петербург мы заметили, что стали «сибиряками», многое повидали и переросли своих сверстников-петербуржцев. Мы почувствовали себя оскорбленными, не встретив в них ни малейшего интереса ко всем виденным нами чудесам. Двоюродные братья и сестры подсмеивались над нами за наше неумение танцевать модные танцы и звали нас в шутку «белыми медведями».

Но встреча с Петербургом была на этот раз очень краткой. Мы узнали о новом назначении отца, и через несколько дней с восхищением осматривали тенистый сад при доме киевского генерал-губернатора. Нам показалось невероятным, что можно собирать прямо с деревьев сливы, груши, грецкие орехи так просто — на вольном воздухе посреди города.

Вскоре по приезде нас повезли осматривать Киев — древний Софийский собор, место дворца Ярослава Мудрого, Аскольдову могилу, памятник Богдану Хмельницкому. Наконец, целый день был посвящен осмотру лавры с ее дальними и ближними пещерами. Со свечками в руках, в сопровождении черных монахов мы вошли в сырые подземелья. Время от времени нас останавливали, показывая место погребения того или иного святого. У меня осталось от пещер только жуткое воспоминание о чем-то темном, во что не стоило вникать.

Гораздо более сильное впечатление оставила домашняя исповедь, для которой к нам на дом привозили из той же лавры схимника в черной мантии — на ней были изображены человеческий череп и кости. Нам, детям, казалось, что старец этот один из тех, что погребен в глубине страшных пещер.

Домовая церковь оставалась центром жизни и местом сбора близких друзей, что особенно ощущалось перед большими праздниками.

Рождественские каникулы всегда вносили большое оживление в обыденную жизнь. В стеклянной галерее красовалась громадная елка, а в гостиной устраивали сцену для любительского спектакля. В первый день елка зажигалась для семьи и приглашенных, а на следующий день для прислуги. Все было торжественно-красиво до той минуты, когда догоравшие свечи как бы звали кучера Бориса покончить с чудесным виденьем. Он, как атаман, валил могучее дерево, а за ним, забывая все различия положений служебной иерархии, пола и возраста, прислуга бросалась забирать оставшиеся фрукты, сласти и золоченые орехи, набивая ими карманы.

Почти такие же сцены я видел впоследствии после ужина на придворных балах в Зимнем дворце, где почтенные генералы и блюстители законов — сенаторы — грабили после ужина недоеденные царские фрукты и конфеты, набивая ими каски и треуголки.

Переезд в Киев совпал для меня с переменой во всей дальнейшей судьбе; отец позвал меня как-то вечером в свой кабинет и, предложив мне впредь, вместо гимназии, готовиться к поступлению в кадетский корпус, — взял с меня слово пройти в будущем курс Академии генерального штаба, а в настоящее время не бросать игры на рояле, к которой я проявлял кое-какие способности. Военная моя карьера была предрешена. Отец потребовал налечь в ближайшее время на иностранные языки. С этой целью, для совершенствования в немецком языке, особенно для нас трудном, был взят постоянный гувернер-немец, родившийся в России и окончивший известную в то время «Анненшуле» в Петербурге. С благодарностью вспоминаю я молодого, чистого сердцем Адриана Ивановича Арронета, сумевшего привить нам вкус к немецким классикам; многие отрывки из них мы учили наизусть, а бессмертные слова Шиллера:

Der Mann muss hinaus
Ins feindliche Leben,
Muss wirken und streben...
Muss Wetten und Wagen,
Das Glük zu erjagen [1].

---

[1] Человек должен вступать во враждебную жизнь, чтобы добыть свое счастье, должен трудиться и стремиться вперед, бороться и дерзать.

не раз придавали мне силы в борьбе с превратностями судьбы.

Однако главными предметами оставались русский язык и математика.

В тихую просторную классную входил два раза в неделю, с плетеной кошелкой в руке, в поношенном сюртуке, высокий седовласый старик-украинец с «запущенными книзу усами».

Это был Павел Игнатьевич Житецкий, находившийся долгие годы под надзором полиции, что не мешало ему, однако, преподавать в привилегированном пансионе — коллегии Павла Галагана, в кадетском корпусе и даже заниматься с нами.

Житецкий был человеком больших знаний и ума, уверенным в своем превосходстве над большинством окружающих, что позволяло ему пренебрегать и собственной внешностью и мишурным блеском чиновничьего мира.

— Вот вам басни Крылова, выберите из них все, что касается волка, и опишите характер этого животного, как он вам представляется, — говорил он нам.

Он познакомил нас с бесхитростными рыцарями поэм Жуковского, с вереницей героев «Мертвых душ», с миром Пушкина и Тургенева.

Он привил нам уменье отделять главное от второстепенного, методически сопоставлять положительные и отрицательные данные. Он заставлял нас делить лист на две части, составляя роспись добрых и злых сторон человеческого характера. Впрочем, я припоминаю, что светлые и чистые черты героев подчеркивались им с особым старанием. Романтический оптимизм, давший мне в жизни столько же несравненных минут счастья, сколько и горьких разочарований, был поселен в моем сознании Павлом Игнатьевичем, написавшим на обложке тетради с моими первыми сочинениями слова Гоголя: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»

С грустью узнал Павел Игнатьевич, что я скоро сниму с себя свободную косоворотку и облачусь в казенный кадетский мундир, казавшийся мне верхом красоты.

Прошло много лет, пока я не убедился в том, что самое важное, значительное из приобретенного мною в детские годы было получено не в казенной школе, а дома. Именно домашнее воспитание дало мне знания, любовь к искусству, к литературе, любовь к своему народу.

Глава четвертая

КИЕВСКИЕ КАДЕТЫ

Исполнилось более пятидесяти лет, как я надел свой первый военный мундир. То был скромный мундир киевского кадета — однобортный, черного сукна, с семью гладкими армейскими пуговицами, для чистки которых служили ладонь и тертый кирпич. Погоны на этом мундире — белые суконные, а пояс — белый, но холщовый; на стоячем воротнике был нашит небольшой золотой галун. Брюки навыпуск, шинель из черного драпа, с погонами, фуражка с козырьком, красным околышем и с белым кантом и солдатская кокарда — дополняли форму кадета. Зимой полагался башлык, заправка которого без единой складки под погоны производилась с необыкновенным искусством. Летом — холщовые рубашки с теми же белыми погонами и поясом.

В России было около двадцати кадетских корпусов, отличавшихся друг от друга не только цветом оклада (красный, белый, синий и т. п.), но и старшинством. Самым старинным был 1-й Петербургский кадетский корпус, основанный еще при Анне Иоанновне под именем Сухопутного шляхетского, по образцу прусского кадетского корпуса Фридриха I. Замысел был таков: удалив дворянских детей от разлагающей сибаритской семейной среды и заперев их в специальную военную казарму, подготовлять с малых лет к перенесению трудов и лишений военного времени, воспитывать прежде всего чувство преданности престолу и, таким образом, создать из высшего сословия первоклассные офицерские кадры.

Вполне естественно, что идея кадетских корпусов пришлась особенно по вкусу Николаю I, который расширил сеть корпусов и, между прочим, построил и великолепное здание Киевского корпуса. В эпоху так называемых либе-

ральных реформ Александра II кадетские корпуса были переименованы в военные гимназии, но Александр III, в 80-х годах, вернул им их исконное название и форму.

Корпуса были, за малыми исключениями, одинаковой численности: около шестисот воспитанников, разбитых в административном отношении на пять рот, из которых 1-я рота считалась строевой и состояла из кадет двух старших классов. В учебном отношении корпус состоял из семи классов, большинство которых имело по два и три параллельных отделения.

Курс кадетских корпусов, подобно реальным училищам, не предусматривал классических языков — латинского и греческого, но имел по сравнению с гимназиями более широкую программу по математике (до аналитической геометрии включительно), по естественной истории, а также включал в себя космографию и законоведение. Оценка знаний делалась по двенадцатибалльной системе, которая, впрочем, являлась номинальной, так как полный балл ставился только по закону божьему. У меня, окончившего корпус в голове выпуска, было едва 10,5 в среднем; неудовлетворительным баллом считалось 5—4.

Большинство кадет поступало в первый класс в возрасте девяти-десяти лет по конкурсному экзамену, и почти все принимались на казенный счет, причем преимущество отдавалось сыновьям военных. Мой отец не хотел, чтобы я занимал казенную вакансию, и платил за меня шестьсот рублей в год, что по тому времени представляло довольно крупную сумму.

Корпуса комплектовались по преимуществу сыновьями офицеров, дворян, но так как личное и даже потомственное дворянство приобреталось на государственной службе довольно легко, то кастовый характер корпуса давно потеряли и резко отличались в этом отношении от привилегированных заведений вроде Пажеского корпуса, Александровского лицея, Катковского лицея в Москве и т. п. Дети состоятельных родителей были в кадетских корпусах наперечет, и только в Питере имелся специальный Николаевский корпус, составленный весь из своекоштных и готовивший с детства кандидатов в «легкомысленную кавалерию». Остальные же корпуса почти сплошь пополнялись детьми офицеров, чиновников и мелкопоместных дворян своей округи, как то: в Москве, Пскове, Орле, Полтаве, Воронеже, Тифлисе, Оренбурге, Новочеркасске и т. д.

Несмотря на общность программы и общее руководство со стороны управления военно-учебных заведений, во главе с вечным и знаменитым своей педантичностью генералом Махотиным, корпуса отличались некоторыми индивидуальными свойствами. Это особенно становилось заметным в военных училищах, где бывшим кадетам разных корпусов приходилось вступать в соревнование. Большинство военных училищ рассылало списки об успеваемости юнкеров в кадетские корпуса. И мы, киевские кадеты, не без удивления находили имена своих старших товарищей в первых десятках. «Хороши, — думали мы, — остальные, если наши считаются лучшими». За киевлянами по успеваемости в науках стояли псковские кадеты, воронежские, оренбургские, а из столичных — воспитанники 3-го Александровского кадетского корпуса, носившие кличку «хабаты» за то, что были полуштатскими. Про московские корпуса ничего интересного известно не было, но 1-й Петербургский славился военной выправкой, Полтавский — легкомысленностью и ленцой, Тифлисский — своими кавказскими князьями.

Лучшие корпуса, как Киевский и Псковский, давали среди выпускников и наибольший процент кандидатов в высшие технические институты: Горный, Технологический и другие, куда было очень трудно попасть из-за сурового конкурса, в особенности по математике.

Вся же остальная масса оканчивающих корпуса распределялась без вступительных экзаменов по военным училищам, высылавшим ежегодно определенное число вакансий. Все лучшие выпускники шли обычно в одно из двух артиллерийских училищ в Петербурге и инженерное училище, для поступления в которое требовалось иметь при выпуске из корпуса не менее десяти баллов по математике. Следующие разбирались по старшинству баллов столичными училищами, а самые слабые шли в провинциальные пехотные и кавалерийские училища.

Я держал экзамен для поступления прямо в пятый класс корпуса в 1891 году, когда мне исполнилось четырнадцать лет.

Стояла солнечная ранняя весна. Цвели каштаны и белая акация. Киев благоухал. Меня в этот день подняли рано. После торжественного родительского благословения мать повезла меня в корпус, находившийся на окраине города. И ни свежее бодрящее утро, ни живописная

дорога не могли рассеять того волнения, которое я испытывал перед вступлением в новый, неведомый мне мир. И когда швейцар в потертой военной ливрее открыл передо мной громадную дверь корпусной передней, я почувствовал, что домашняя жизнь осталась там, в коляске.

Поднявшись по широчайшей чугунной лестнице, я очутился в еще более широких коридорах с блиставшими, как зеркало, паркетными полами. По одну сторону коридоров находились обширные классы, в которых шумели кадеты, а по другую — тихие длинные спальни.

Меня встретил мой будущий воспитатель, оказавшийся в этот день дежурным по роте, — подполковник Коваленко. Это был брюнет с небольшой бородкой, с одутловатыми — как потом оказалось, от вечного пьянства — щеками, производивший впечатление лихого строевика-бурбона.

Коваленко указал мне мой класс. Ко мне подошел первый ученик в отделении Бобырь и предложил сесть с ним рядом за парту. Остальные мальчики никакого внимания на меня не обращали. Человек пять что-то подзубривали по учебнику, другие толпились у входных дверей класса, ожидая преподавателей, а третьи, лежа на подоконниках открытых окон, серьезно обсуждали, насколько была смела последняя выходка молодца из 1-й роты, вылезшего через окно, прошедшего по верхнему карнизу вдоль здания и спустившегося по водосточной трубе. Мне это тогда показалось прямо невероятным.

Через несколько минут кто-то грубовато заявил мне, что я мог бы принести на экзамен букет цветов. Я смутился. Бобырь объяснил, что по корпусным обычаям кадеты на экзаменах всегда украшают цветами столы любимых преподавателей, но что доставать цветы можно только на Бессарабском рынке. Я обещал всегда привозить. «Ну, то-то», — сказал мне покровительственно лихой Паренаго, носивший особенно короткую гимнастерку, что считалось кадетским шиком. Прекрасный чертежник, Паренаго впоследствии не раз выручал меня, когда нужно было растушевать голову Меркурия или Марса.

— Встать! — раздалась команда одного из кадет, оказавшегося, как мне объяснили, дневальным, и в класс вошла экзаменационная комиссия: инспектор классов мрачный полковник Савостьянов, носивший синие очки; бородач Иван Иванович Зехов; тонкий, проницательный

Александр Петрович Зонненштраль. Преподаватели были в форменных черных сюртуках с петлицами на воротнике и золочеными пуговицами. Это были столпы корпуса по математике. Отделение принадлежало Зехову, а Зонненштраль задавал только дополнительные вопросы и по просьбе Зехова лично экзаменовал лучших в классе.

Не успела комиссия перешагнуть через порог класса, как тот же кадет, что командовал «встать», выскочил вперед, стал лицом в угол и с неподражаемой быстротой пробормотал молитву, из которой до меня, читавшего ее дома ежедневно, донеслись только последние слова: «церкви и отечеству на пользу». Никто даже не перекрестился. Потом все быстро сели, и экзамен начался.

Каждый вызванный, подойдя к учительскому столу, долго рылся в билетах, прежде чем назвать вытянутый номер. Весь класс настороженно следил за его руками, так как быстрым движением пальцев он указывал номер того билета, который он успевал подсмотреть и отложить в условленное место, среди других билетов. После этого в классе начиналась не видимая для постороннего глаза работа. Экзаменующийся время от времени оборачивался к нам, и в проходе между партами для него выставлялись последовательно, одна за другой, грифельные доски с частью решения его теоремы или задачи. Если это казалось недостаточным, то по полу катилась к доске записка-шпаргалка, которую вызванный, уронив невзначай мел, подбирал и развертывал с необычайной ловкостью и быстротой.

Для меня, новичка, вся эта налаженная годами система подсказывания представлялась опасной игрой, но я быстро усвоил, что это входило в обязанность хорошего товарища, и меньше чем через год я уже видел спортивный интерес в том, чтобы на письменных работах, на глазах сновавшего между партами Ивана Ивановича, решать не только свою задачу, но и две-три чужих. Для этого весь класс уже с весны разрабатывал план «дислокации» — размещения на партах на следующий год с тем, чтобы равномерно распределить сильных и слабых для взаимной выручки. Начальство тоже строго соблюдало это разделение и неизменно вызывало на экзаменах сперва самых слабых, давая им более легкие задачи, потом посильнее, а на самый конец, в виде «сладкого блюда», преподаватели приберегали головку класса

в лице первых учеников, двухзначный балл которых был как бы заранее предрешен.

Через два-три часа экзаменов все мое волнение улетучилось. Я почувствовал, что домашняя подготовка сразу ставила меня в число первых учеников. Но особенно повлияло на мое самочувствие то, что у кадет, только что провалившихся у доски, я не видел ни одного не только плаксивого, но даже смущенного лица. Лихо оправив гимнастерку, неудачник возвращался на парту, где встречал сочувствие соседей, и не без удовольствия прятал в изрезанный перочинным ножом стол ненавистный учебник.

В двенадцать часов дня раздался ошеломляющий звук трубы корпусного горниста. То был сигнал перерыва на завтрак, и через несколько минут мы уже маршировали в столовую, расположенную под сводами нижнего этажа. В нее со всех сторон спешили роты, выстраивавшиеся вдоль обеденных столов и ожидавшие сигнала «на молитву», которую пели всем корпусом. Басы и звонкие тенора 1-й роты покрывали пискотню младших рот, но и в этом отбытии «служебного номера» я не нашел и намека на религиозный обряд.

Во главе каждого стола сидел за старшего один из лучших учеников, перед которым прислуживавшие «дядьки» из отставных солдат, имевшие довольно неопрятный и небритый вид, ставили для раздачи блюда. Завтрак состоял обычно из одной рубленой котлеты и макарон. Перед каждым кадетом стояла кружка с чаем — его пили со свежей французской булкой, выпеченной в самом корпусе. Этого, конечно, не хватало молодежи, особенно в старших ротах. На все довольствие кадета отпускалось в сутки двадцать семь с половиною копеек! За эти деньги утром давали кружку чаю с сахаром или молоко, которое по предписанию врача получала добрая треть кадет, особенно в младших классах. В двенадцать часов — завтрак, в пять часов — обед, состоявший из мясного довольно жидкого супа, второго блюда в виде куска так называемого форшмака, или украинских лазанок с творогом, или сосиски с капустой и домашнего микроскопического пирожного, лишение которого являлось обычным наказанием в младших ротах; оставшиеся порции отдавали 1-й роте. В восемь часов вечера, после окончания всех занятий, снова чай или молоко с куском булки.

Один час после завтрака и один-два часа после обеда отводились на прогулку. Для этого каждая рота имела перед зданием свой плац, поросший травкой: малыши бегали на этих плацах без всякого руководства, а старшие гуляли парами или в одиночку. Зимой эти прогулки напоминали прогулки арестантов: подняв воротники старых, изношенных пальто и укутавшись башлыками, кадеты шли попарно, понурив головы, по тротуару вдоль здания корпуса. В хвосте каждой колонны так же мрачно шел дежурный офицер-воспитатель. Ни о спорте, ни о спортивных играх никто и не думал, хотя, казалось бы, просто устроить зимой по крайней мере каток.

Зато скучная гимнастика под руководством безличного существа, носившего вполне соответствующую его внешности фамилию Гнилушкин, не только входила в программу дня, но и составляла предмет соревнования кадет, в особенности в младших ротах, где она еще не успела надоесть. Взлезть на руках по наклонной лестнице с быстротой молнии под потолок и оттуда медленно спускаться, поочередно сменяя руки, считалось обязательным для кадета. Это-то и явилось для меня подлинным испытанием, когда, впервые облекшись в холщовые штаны и рубашку, я попал на урок в гимнастический зал. Немедленно мне дали унизительную кличку «осетр», после каждого урока почти весь класс заталкивал меня в угол, чтобы «жать сало из паныча», а затем, задрав мои ноги за голову, мне устраивали «салазки» и тащили волоком по коридору на посмешище другим классам.

При встрече с дежурным воспитателем все, конечно, бросали меня посреди коридора, офицер гнал почистить мундир, после чего заставлял подтягиваться на параллельных брусьях или на ненавистной мне наклонной лестнице. На строевых занятиях мне вначале тоже было нелегко, так как тяжелая старая берданка у меня неизменно «ходила» на прикладке, а на маршировке по разделениям я плохо удерживал равновесие, когда по счету «два» подымал прямую ногу с вытянутым носком почти до высоты пояса.

Вообще радостное впечатление от весенних экзаменов рассеялось под гнетом той невеселой действительности, с которой я встретился с началом осенних занятий. Большинство товарищей по классу тоже ходило понурыми, с унынием предаваясь воспоминаниям о счастливых днях

летних каникул на воле. В довершение всего, в один из холодных дождливых дней нас построили и подтвердили носившийся уже слух о самоубийстве, в первый воскресный день после каникул, кадета пятого класса Курбанова, племянника нашего любимого учителя по естественной истории. Грустно раздавались звуки нашего оркестра, игравшего траурный марш, грустно шли мы до маленького одинокого кладбища на окраине кадетской рощи. Начальство никакого объяснения этой драмы нам не дало, но мы знали, что причиной самоубийства была «дурная болезнь».

До поступления в корпус я много слышал хорошего о директоре корпуса генерале Алексееве, считавшемся одним из лучших военных педагогов в России, которого кадеты звали не иначе как «косым» за его невоенную походку и удачно передразнивали его манеру «распекать» гнусавым голосом. Директора мы видели главным образом по субботам, в большом белом зале 1-й роты, где он осматривал всех увольняемых в этот день в город, начиная с самых маленьких; одеты все были образцово. Но эта внешняя отдаленность Алексеева от нас, кадет старших классов, объяснялась просто: он, уделяя все свое внимание малышам, знал насквозь каждого из них, а потому легко мог следить за дальнейшими их успехами и в особенности — поведением. Балл по этому «предмету», обсуждавшийся на педагогическом совете, играл решающую роль.

Далеко стоял от нас и плаксивый, болезненный ротный командир, полковник Матковский, всецело погруженный в дела цейхгауза. Что до воспитателей, то это были престарелые бородатые полковники, ограничивавшиеся дежурствами по роте, присутствием на вечерних занятиях и проведением строевых учений. Все они жили в стенах корпуса, были многосемейны и, казалось, ничего не имели общего ни с армией, ни вообще с окружающим миром.

Гораздо большим уважением со стороны кадет пользовались некоторые из преподавателей: Зехов, Зонненштраль, Курбанов. Они сумели не только дать нам, небольшой группе любознательных учеников, твердые основы знаний, но и привить вкус к положительным наукам.

Однако самой крупной величиной среди преподавателей был тот же Житецкий — мой старый учитель.

— Сыжу, як миж могильними памьятниками! — говаривал он в те минуты, когда никто не мог ответить, какой «юс» должно писать в том или ином слове древнеславянского языка.

Он вел занятия только со старшими классами, для которых составил интересные записки по логике и основам русского языка. Он требовал продуманных ответов, за что многие считали его самодуром, тем более что он не скупился на «пятерки». Средством спасения от Житецкого, кроме бегства в лазарет с повышенной температурой, получавшейся от натирания градусника о полу мундира, было залезание перед его уроком на высочайшую печь, стоявшую в углу класса. По живой пирамиде будущий офицер взлезал на печь и для верности покрывался географической картой.

Все остальные педагоги были ничтожества и смешные карикатуры. Старичок географ Любимов вычеркивал на три четверти все учебники географии, считая их, правда не без основания, глупыми. Но и сам находил, например, величайшим злом для русских городов и местной промышленности появление железных дорог.

— Город пал, торговля пала, промышленность совсем пала, — твердил он.

О России мы получили из его уроков самое смутное представление.

Историк, желчный Ясинский, ставил хорошие баллы только тем, кто умудрялся отвечать по Иловайскому наизусть, лишь бы не ошибиться страницей и не рассказать про Иоанна III всего того, что написано про Василия III.

Рекорды нелепости принадлежали все же преподавателям иностранных языков: преподаватель французского языка, поляк Карабанович, в выпускном классе посвящал уроки объяснению начальных глагольных форм, а немец Крамер, старый рыжий орангутанг, учил немецкие слова по допотопному способу — хором: «майне — моя, дайне — твоя». Перед каждым триместром он посвящал два урока выставлению баллов. Рассматривая свою записную книжку, он говорил:

— Такой-то, за знание — десять, за прилежание — восемь, за сидение в классе — семь, за обращение с учителем — пять, средний — семь.

Тут начинались вопли, стук пюпитров, ругательства самого добродушного свойства, — общее веселье, откро-

венный торг за отметку, и в результате — весь выпускной класс общими усилиями смог перевести на экзамене один рассказ в тридцать строк — про «элефанта».

Но наименее для всех симпатичным считался священник, которого кадеты, не стесняясь, называли «поп», — бледная личность с вкрадчивым голосом. Он слыл в корпусе доносчиком и предателем.

Он исповедовал в церкви для быстроты по шесть-семь человек сразу. О религии, впрочем, никто не рассуждал и никто ею не интересовался, а хождение в церковь для громадного большинства представлялось одной из скучных служебных обязанностей, в особенности в так называемые «царские дни», когда из-за молебна приходилось жертвовать ночевкой в городе.

О царе, о царской семье кадеты знали меньше, чем любой строевой солдат, которому на занятиях «словесностью» вдалбливали имена и титула «высочайших особ».

У каждого кадета было два мира: один — свой, внутренний, связанный с семьей, которым он в корпусе ни с кем делиться не мог, и другой — внешний, временный, кадетский мир, с которым каждый мечтал поскорее покончить, а до тех пор в чем-нибудь не попасться. Для этого нужно было учиться не слишком плохо, быть опрятно одетым, хорошо козырять в городе офицерам, а в особенности генералам, в младших классах не быть выдранным «дядькой» на скамье в мрачном цейхгаузе, а в старших не оказаться в карцере. Одним из поводов для наказания могло оказаться курение, которое было запрещено даже в старших классах. В общей уборной постоянно стояли густые облака табачного дыма. Вбежит, бывало, какой-нибудь Коваленко в уборную в надежде поймать курильщика, но все успевают бросить папиросу в камин или мгновенно засунуть ее в рукав мундира; по прожженным обшлагам можно было безошибочно определять курильщиков.

Недаром пелось в кадетской песне, именовавшейся «Звериадой»:

Прощай, курилка, клуб кадетский,
Где долг природе отдаем,
Где курим мы табак турецкий
И «Звериаду» мы поем.

Только здесь, у камина в ватерклозете, мы могли чувствовать себя хоть немного «на свободе». Здесь, на-

пример, говорили, что недурно было бы освистать эконома за дурную пищу. Наши предшественники по 1-й роте устроили на этой почве скандал самому «косому» — разобрали ружья, вышли после вечерней переклички в белый зал и потребовали к себе для объяснения директора.

Тут же в вечерние часы рассказывались такие грязные истории о киевских монашенках и попах, что первое время мне было совсем невтерпеж. Еще хуже стало в лагере, где традиция требовала, чтобы каждый вечер, после укладывания в постель, все по очереди, по ранжиру начиная с правого фланга первого взвода, состоявшего из так называемых «жеребцов», рассказывали какой-нибудь похабный анекдот. Это был железный закон кадетского быта. Лежа на правом фланге как взводный унтер-офицер второго взвода, я рассчитывал наперед, когда очередь дойдет до меня, и твердо знал, что пощады не будет.

Мне позже пришлось столкнуться в роли начальника с офицерством; это было в 1916 году на живописных солнечных берегах Франции близ Марселя, где в мировую войну расположился отряд «экспедиционного корпуса» царской армии. Офицеры, как только часть прибыла в порт, разошлись по публичным домам, не подумав выдать солдатам жалованье. Солдаты убили на глазах французов своего собственного полковника. Разбирая дело по должности военного атташе, я ужаснулся шкурничеству, трусости и лживости «господ офицеров», по существу спровоцировавших солдатскую массу на убийство. Тогда я вспомнил Киевский корпус, со всей его внешней дисциплиной, тяжелой моральной атмосферой и своеобразным нравственным «нигилизмом», закон которого «не пойман — не вор» означал почти то же, что и «все дозволено».

Кадетский лагерь располагался в нескольких шагах от здания корпуса, в живописной роще, где были построены два легких барака, открытые навесы для столовой и гимнастический городок.

Каждое утро на поле рядом с лагерем производились под палящим солнцем строевые ротные учения, главным образом в сомкнутых рядах; не надо забывать, что в ту пору каждая команда передавалась взводными и отделенными начальниками, причем для одновременности выполнения требовалось добиться произнесения команд сразу всеми начальниками.

На ротный смотр как-то приехал сам командующий округом, тяжело раненный на русско-турецкой войне в ногу, престарелый генерал-адъютант Михаил Иванович Драгомиров. Про его чудачества ходили по России бесконечные слухи и анекдоты, между которыми самой характерной была история с телеграммой, посланной им Александру III: Драгомиров, запамятовав день 30 августа — именин царя, — спохватился лишь 3 сентября и, чтобы выйти из положения, сочинил такой текст: «Третий день пьем здоровье вашего величества. Драгомиров», — на что Александр III, сам, как известно, любивший выпить, все же ответил: «Пора и кончить. Александр».

Михаил Иванович нашел, что корпусные офицеры сильно отстали от строевой службы. Он их вызвал из строя и велел нам, взводным унтер-офицерам, самим командовать взводами, а затем, перестроив роту в боевой порядок, опираясь на палку, повел ее в атаку на близлежащий песчаный холм.

В послеобеденное время производились занятия в гимнастическом городке или, по плаванию, на большом кадетском пруду. Требования по плаванию были суровые, и отстающие кадеты обязаны были в зимнее время практиковаться в небольшом бассейне в самом здании корпуса.

Остальное время дня кадеты главным образом угощались, памятуя голодные зимние месяцы. В лагере полагалась улучшенная пища. Объединялись чайные компании из пяти-шести человек каждая, делившие между собой съестные посылки, приходившие из дому, — сало, украинские колбасы и сладости. По вечерам ежедневно я участвовал в нашем оркестре, а на вечерней перекличке рапортовал о наличном составе 2-го взвода фельдфебелю Духонину. Вспоминая этого благонравного тихоню, с плачущей интонацией в голосе, вспоминая встречу с ним в Академии генерального штаба, где он слыл полной посредственностью, я не могу себе до сих пор представить, каким чудом этот человек смог впоследствии, в 1917 году, при Керенском, оказаться на посту русского главковерха.

Незабвенные воспоминания сохранились у меня о южных ночах, когда, лежа на шинелях и забыв про начальство, мы распевали задушевные украинские песни. Все чувствовали, что скоро придется расстаться с нашим любимым Киевом и ехать в суровый Петербург для поступления в военные училища.

Близкие друзья мне говаривали:

— Что же, Игнатьев, будешь ты нам отвечать на поклон, когда станешь шикарным гвардейцем? Смотри, не задавайся!

В такие минуты мне этот вопрос казался до слез обидным: я ведь не знал, что такое Петербург, я ведь не постигал, какая пропасть между золоченой столицей и скромной провинцией, между гвардией и армией, между блестящей кавалерией и серой армейской пехотой.

Глава пятая

«ПАЖЕСКИЙ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРПУС»

Я вступил в жизнь, как принято было говорить, «золотой молодежи» осенью 1894 года, когда яркое солнце Киева сменилось для меня октябрьским серым небом и сырым туманом «Северной Пальмиры».

Через несколько часов по приезде в Петербург я навсегда сбрасываю свой скромный кадетский мундирчик, и портной Каплун пригоняет на меня блестящую форму пажа младшего специального класса. На рукавах однобортного черного мундира нашиты по три широких золотых галуна; такой же галун и на высоком воротнике из красного сукна. Каплун выражает надежду, что через год, дослужившись до камер-пажа, я позволю ему нашить золотые галуны на каждую из задних пол мундира. Красные погоны тоже обшиты галуном и, вместо гладких медных армейских пуговиц кадета, на мундире — золоченые красивые пуговицы с орлом. Штаны навыпуск с красным кантом, пальто двубортное офицерского образца, только не из серого, а из черного драпа; для лагерного времени и для строя — серая солдатская шинель.

Тут же от придворного поставщика Фокина приносят мне мое первое оружие — гвардейский тесак на лакированном белом кожаном поясе, с золоченой бляхой, украшенной орлом, и каску из черной лакированной кожи с золоченым шишаком наверху и громадным орлом на передней части. Все, вплоть до шелковой муаровой подкладки на каске, кажется мне блестящим до трепетности, и, натягивая белые замшевые перчатки, я чувствую, что

вступаю в какой-то новый, неведомый и очень красивый мир.

Беру извозчика и еду на Садовую, где за старинной решеткой перед изящным красным зданием разбит небольшой сквер. Это и есть «Пажеский его величества корпус», самое привилегированное военное учебное заведение в России.

Звание пажа было занесено к нам Петром I с Запада; пажи и до сих пор существуют при английском королевском дворе. В понятие «паж» входит прежде всего «благородное» происхождение. Пажами в средние века назывались молодые люди, состоявшие при рыцарях и их дамах и несшие ту службу, к которой не допускалась обычная прислуга. Попутно они обучались владению шпагой и всему военному ремеслу той отдаленной эпохи.

Изгнанные с острова Мальты англичанами, лишенные возможности из-за революции обосноваться во Франции, рыцари Мальтийского ордена приняли предложение императора Павла открыть «просветительную деятельность» в российской северной столице. Они возвели Павла в звание главы Мальтийского ордена — гроссмейстера, нарядив его в мантию со знаком ордена в виде заостренного белого креста, а от него, дрожавшего перед французской революцией и мало доверявшего потомкам самовольных русских бояр, — получили задание воспитать из детей знатнейших дворян придворную военную касту — верных слуг престола и династии.

Так возник Пажеский корпус. Рыцари оказались добросовестными исполнителями монаршей воли, но не упустили из виду своей главнейшей цели — введения в России католицизма. Отпечаток их деятельности сохранился и до моих дней.

В то время как католическая церковь представляла собою величественное здание во внутреннем дворе Пажеского корпуса, православная, вмещавшая с трудом наличный состав корпуса в двести человек, находилась на верхнем этаже корпусного помещения и по своей внешности была откровенно похожа на католическую базилику. Над низеньким металлическим православным иконостасом, как бы занесенным сюда случайно, высилось фигурное католическое распятие.

Внутри здания корпуса над дверями красовались мраморные доски с девизами мальтийских рыцарей, и даже

сама форма пажей, введенная отцами ордена, сохранилась почти в неприкосновенности.

Следуя за развитием русской армии, Пажеский корпус в то же время сумел сберечь свое привилегированное положение. Он состоял из семи общих классов, соответствовавших семи классам кадетских корпусов, и двух специальных классов, в которых проходили программу военных училищ.

Воспитанники специальных классов, так же как и юнкера, считались военнослужащими и приносили при поступлении общую для армии военную присягу. В случаях крупной провинности они отчислялись в полки на положение вольноопределяющихся.

Учебные программы были тождественны с программами кадетских корпусов и военных училищ, за исключением иностранных языков, курс которых давал возможность полного овладения французским и немецким языками.

Для поступления в корпус требовался предварительный высочайший приказ о зачислении в пажи, что рассматривалось как большая честь, на которую имели право только сыновья генералов или внуки полных генералов — от инфантерии, кавалерии и артиллерии; редкие исключения из этого правила делались для детей старинных русских, польских или грузинских княжеских родов. Вследствие сравнительно малого числа кандидатов вступительный конкурсный экзамен был не очень труден.

Пажи специальных классов и главным образом унтер-офицеры, носившие звание «камер-пажей», несли дворцовую службу, что, по мнению юнкеров, снижало их военную подготовку.

С тех пор как юнкерские шпоры
Надели жалкие пажи,
Пропала лихость нашей школы... —

пелось в песне юнкеров Николаевского кавалерийского училища.

Зависть к пажам со стороны юнкеров усугублялась правом пажей выходить по собственному их желанию во все роды оружия, до артиллерии и инженерных войск включительно, становясь автоматически, при выходе в офицеры, выше юнкеров. Рядовой паж, окончивший последним Пажеский корпус, становился в полку старшим

среди лучших портупей-юнкеров, а фельдфебель пажеской роты считался старшим среди фельдфебелей всех военных училищ. В случае выхода в армию, а не в гвардию пажи получали попросту целый год старшинства в чине.

Специальные классы были размещены в особой пристройке, составлявшей крыло главного здания.

В минуту моего приезда в корпус рота была на строевых занятиях. В спальной человек на пятьдесят меня встретил бледнолицый, стройный юноша Левшин — мой будущий однополчанин. Его маленькое желтое личико на длинной тонкой шее, впалая грудь, вялые аристократические манеры невольно вызвали во мне воспоминание о киевских, здоровых и грубоватых, моих товарищах.

Он показал мне помещение и прежде всего исторический белый зал с портретами монархов и белыми мраморными досками, на которых красовались высеченные золотыми буквами имена первых учеников по выпускам с самого основания корпуса.

Я поспешил найти здесь имена дяди, Николая Павловича Игнатьева, выпуска 1849 года, и отца — 1859 года.

Тут же рядом я увидел год без фамилии окончившего, и мне объяснили, что здесь было имя князя Крапоткина, стертое с доски по приказанию свыше за то, что Крапоткин стал революционером. Мне вспомнилось это в Париже, в 1922 году, когда Трепов, бывший министр и бывший паж, возглавлявший эмигрантский «союз пажей», прислал мне письмо с извещением об исключении меня навсегда из пажеской среды; стереть мою фамилию с мраморной доски выпуска 1896 года было уже не в их власти.

На стене в классе я увидел список пажей, составленный по старшинству баллов, полученных при переходе из седьмого класса корпуса; моя фамилия как перешедшего из армейского кадетского корпуса стояла последней, и я понял, что придется затратить немало усилий, чтобы отвоевать себе то же место, которое я занимал при выходе из Киевского корпуса.

Но уже через час-другой я испытал, что значило поступить в корпус со стороны, да и вообще попасть на положение «зверя», то есть пажа младшего специального класса.

В конце спальной стоял, небрежно опираясь на стол, дежурный по роте камер-паж, и перед ним в затылок стояли мы, «звери», являвшиеся к дежурному: одни — ввиду прибытия, другие — для увольнения в отпуск.

В гробовой тишине раздавались четыре четких шага первого из выстроенных, короткая формула рапорта, а затем, с разными оттенками в голосе, крикливые замечания:

— Близко подходите!

— Плох поворот!

— Каска криво!.. Тихо говорите! — и опять:

— Плох поворот!

Наконец, торжественный приговор:

— Явиться на лишнее дневальство.

После повторялась та же церемония перед фельдфебелем Бобровским.

Вся моя кадетская выправка оказалась недостаточной. Окрики и замечания сыпались на меня как горох, и вскоре после поступления я насчитал тридцать лишних дневальств.

Главной ловушкой было хождение в столовую. Впереди шел вразвалку, не в ногу старший класс, а за ним, твердо отбивая шаг, даже при спуске с лестницы, где строго карался всякий взгляд, направленный ниже карниза потолка, шли мы, «звери», окруженные стаей камер-пажей, ждавших случая на нас прикрикнуть.

Кого-то осенила мысль — в небольшом проходном зале поставить модель памятника русско-турецкой войны. По уставу — воинские части при прохождении мимо военных памятников были обязаны отдавать честь, и мы, напрягая слух, четыре раза в день ждали команды: «смирно», по которой руки должны были прилипать к канту штанов, и за поднятую лишний раз руку окрик был неминуем.

Но хуже всех доставалось дневальным, которые в каске и при тяжелом казенном тесаке, подтянутом до отказа, чтоб не отвисал, сновали целые сутки по роте. Их главной обязанностью было объявлять громким голосом распоряжения дежурного камер-пажа и, между прочим, после каждой перемены кричать: «Младшему классу — в классы!» — не только в жилых помещениях и курилке, но даже в пустом ватер-клозете. Мне рассказывали, как, еще за несколько лет до нас, дневальные по утрам под-

нимали от сна старший класс. Когда «звери» уже тихо встанут, помоются и оденутся, то есть за полчаса до выстраивания роты к утреннему чаю, дневальный кричал: «Старшему классу осталось столько-то минут вставать». Никто, конечно, не шевелился. Дневальный был обязан повторять этот крик еще несколько раз, каждый раз указывая число остающихся минут. В конце концов он кричал: «Старшему классу ничего не осталось вставать!» Тогда все вскакивали и бежали опрометью в уборную. И вот нашелся дневальный, который заявил дежурному камер-пажу, что последней безграмотной фразы он кричать не будет. Понес он, бедняга, тяжелое наказание, но начальству пришлось все-таки отменить этот порядок.

Конечно, не все камер-пажи относились к нам одинаково, и особенно либеральными оказывались почти всегда будущие кавалеристы. Зато некоторые из камер-пажей вызывали чувство дикой ненависти к себе. Кошмаром для нас было дежурство графа Клейнмихеля; среднего роста, с лицом земляного цвета, на котором лежал отпечаток всех видов разврата, с оловянным, уже потухшим взором, он грубым басом покрикивал на нас, как на рабов. Разбудив меня однажды ночью, он приказал одеться и, погоняв за недостаточную четкость рапорта добрый десяток раз, объявил, что дает мне лишний наряд за то, что каска, стоявшая на специальной подставке подле кровати, не была повернута орлом в сторону иконы и фельдфебельской кровати.

Вне стен корпуса испытания не кончались. Обязанные отдавать честь старшему классу, мы оглядывались не только по сторонам, но и назад, боясь пропустить камерпажа, катящего на лихом извозчике.

Оперившийся и возмущенный, я попробовал однажды доложить капитану Потехину о том, что паж Деревицкий старшего класса, но рядовой, как и я, не мог меня обвинять в неотдании чести, так как я в этот день на такую-то улицу и не выходил.

— Они — беленькие, а вы — черненькие, — объяснил мне Потехин, не отменяя наложенного на меня наказания, — они всегда правы. Станете сами беленькими и тоже будете правы.

Ощущение самой безнаказанной несправедливости и безвыходности доводило меня до мысли бежать из этого ада.

В лагере, в Красном Селе, последствия этой системы, наконец, сказались. Мы размещены были в отдельном бараке на общей линейке главного лагеря, тянувшейся на три с лишним версты.

Камер-пажи придумали укладывать нас спать немедленно после вечерней переклички и молитвы, певшейся одновременно всеми войсками.

Бывало еще совсем светло, с Дудергофского озера доносились веселые голоса молодежи, и даже соседние финские стрелки напевали свои красивые песни-молитвы.

Наши мучители веселились по-своему и под гармонику нескладно шумели за перегородкой.

И вот однажды, без всякого уговора, мы все закричали хором: «Тише!» — потом второй, третий раз... Дверь отворилась, и в барак влетел камер-паж князь Касаткин-Ростовский. Его голос, призывавший к порядку, потонул в нашем вопле — «Вон!»

Через несколько минут наша рота стояла под ружьем, на передней линейке, и фельдфебель Бобровский читал нам нотацию, находя, что заправилами беспорядков являемся мы, вольнодумные будущие кавалеристы, томящиеся службой в пехотном строю.

Год совместных неприятностей, казалось бы, должен был сплотить товарищей по классу, но состав был настолько пестрым, что, за исключением двух-трех компаний, посещавших по воскресеньям бега на Семеновском плацу и делившихся впечатлениями о женщинах и выпивках, все остальные жили каждый особняком, и товарищество выражалось лишь в обращении всех между собой на «ты». Это обращение на «ты» сохранялось не только во время пребывания в корпусе, но и по его окончании, так что бывшие пажи, даже в высоких чинах, заметив на мундире беленький мальтийский крестик — значок корпуса, даже к незнакомому обращались на «ты», как к однокашнику.

Главным отличием от кадетских корпусов являлось то положение, что раз ты надел пажеский мундир, то уже наверняка выйдешь в офицеры, если только не совершишь уголовного преступления. Поэтому наряду с несколькими блестящими учениками в классе уживались подлинные неучи и тупицы и такие невоенные типы, как, например, прославившийся друг Распутина — князь Андронников, которого били даже в специальных классах

за его бросавшуюся в глаза извращенную безнравственность.

Подобные темные личности болтали прекрасно по-французски, имели отменные манеры и, к великому моему удивлению, появлялись впоследствии в высшем свете.

Рядом с ними учились образцовые служаки и будущие георгиевские кавалеры, с весьма скромными средствами, кавалерийские спортсмены, вроде Энгельгардта. Он был моим соперником за первенство при окончании корпуса, соседом по госпитальной койке в японской войне, депутатом Государственной думы, приезжавшим ко мне в Париж в мировую войну, шофером такси в том же Париже после революции.

И там же, в Париже, выйдя однажды из торгпредства, я был окликнут шофером такси, бодрым мужчиной с седой бородой, оказавшимся Мандрыкой, моим бывшим фельдфебелем Пажеского корпуса и по этой должности камер-пажом государя. Я редко встречал его в последующей жизни: он был исправным служакой, флигель-адъютантом и нижегородским губернатором.

Через несколько месяцев после этой встречи моя мать мне сообщила, что Мандрыка умирает в нищете, от чахотки, в городской больнице и просит меня навестить его перед смертью. «Алексей прав, — говорил он ей обо мне. — Ему одному выпадет счастье увидеть родину...»

В нетопленом бараке, предназначенном для безнадежных смертников, он обнял меня и сказал:

— Прошу тебя, не забудь при переезде границы низко от меня поклониться родной земле!..

Нашлись, однако, старые пажи, которые от родной земли не отреклись. «Дорогой Игнатьев! — воскликнул недавно мой бывший строгий старший камер-паж Щербатский, обняв меня в Ленинграде. — Я счастлив, что мы оба остались верными сынами своей родины и своего народа».

Если быт и нравы Пажеского корпуса сильно меня разочаровали, то учебная часть оставила по себе самые лучшие воспоминания. Система уроков была заменена в специальных классах лекциями и групповыми репетициями, на которых сдавались целые отделы курсов. Для преподавания были привлечены лучшие силы Петербурга, и подготовка, полученная в корпусе, оказалась по военным предметам вполне достаточной для поступления впоследствии в Академию генерального штаба.

Главным предметом была тактика, на младшем курсе — элементарная, читавшаяся красивым полковником генерального штаба Дедюлиным, будущим дворцовым комендантом, а на старшем — прикладная, освещавшаяся историческими примерами и решением несложных тактических задач, которые разбирал тут же в классе талантливый полковник Епанчин, профессор академии и впоследствии директор Пажеского корпуса.

Затем шла артиллерия, фортификация, которую преподавал инженерный генерал — композитор Цезарь Кюи, топография, специалистом которой был и в корпусе и в академии генерал Данилов, по прозвищу «тотошка», а на старшем курсе — и военная история, в таком, впрочем, скромном масштабе, что читавший ее грубоватый полковник Хабалов говорил на вступительной лекции: «Мои требования к господам камер-пажам не велики: лишь бы мне при их ответах было ясно — Макдональд ли был на Требии или Требия на Макдональде».

Но больше всего мы любили лекции по самому скучному предмету — администрации, читавшейся полковником Поливановым, будущим военным министром.

Со склоненной от раны в шею головой, невозмутимым, тихим голосом, без комментариев, он нам, будущим командирам, доказывал нелепость организации нашей собственной армии, начиная с необъяснимого разнобоя в составе стрелковых частей и кончая нищенской казенной системой обмундировки и питания солдат. Он имел право издеваться, когда говорил о том, что солдат получает полторы рубашки в год, три с половиною копейки на приварок, тридцать пять копеек в месяц жалования и при этом нет выдачи даже мыла для его нужд.

Из общих предметов на младшем курсе камнем преткновения для большинства пажей, но не для бывших кадет, — были механика и химия.

Зато пажи оказывались головой выше решительно всех юнкеров по знанию иностранных языков. В специальных классах преподавался курс истории французской и немецкой литературы, а многие пажи писали сочинения с той же почти легкостью, что и на русском языке. Это не помешало одному из камер-пажей времен Александра III, как рассказывали, протитуловать императрицу на французском языке вместо — «Madame!» — «Sirène» (сирена), произведя женский род по своему соб-

ственному усмотрению от слова «Sire», с которым обращались к монархам.

Строевой подготовкой занимались специальные строевые офицеры. На первом году обучения нас готовили в пехоту, и потому, кроме знания назубок уставов, в особенности дисциплинарного, который знали наизусть, большое внимание обращалось на детальное изучение трехлинейной винтовки образца 1891 года, представлявшей тогда драгоценную новинку в армии.

Думаю, что и сейчас я сумею разобрать и собрать ее с завязанными глазами. Ружейные приемы, а в особенности прикладка, выполнялись в совершенстве, чем специально занимался с нами наш взводный, старший камер-паж Геруа, будущий профессор в Академии генерального штаба.

В старшем классе строевая подготовка разделялась по родам оружия: пехота производила в белом зале или во дворе ротные учения в сомкнутом строе; кавалеристы в манеже, под руководством инструктора — офицера кавалерийской школы, проходили полный курс езды, рубки и вольтижировки, а артиллеристы были заняты службой при орудии и верховой ездой.

В лагерь нас выводили раньше других войск, с тем чтобы в течение трех недель, в мае, проделать в младшем классе небольшую полуинструментальную съемку с кипрегелем, а на старшем — одну-две глазомерных съемки и решить на местности две-три тактические задачи. После этого вся рота, кроме кавалеристов и артиллеристов старшего класса, прикомандировывалась к офицерской стрелковой школе.

Школа эта была известна тем, что в нее ежегодно командировался ровно сто один пехотный капитан со всех военных округов.

В лагере они поочередно исполняли роли начальников отрядов, в которые нас, пажей, назначали как отборную охотничью команду.

Мы присутствовали также на разборе маневра, производившемся обычно полковником генерального штаба Ворониным.

Крошечного роста, в пенсне, резким голосом высмеивал он при нас, мальчишках, этих поседевших на строевой службе капитанов, не умевших даже справиться со

своим глубоким горем от его беспощадной критики. Эти занесенные из глухой провинции в чуждую им гвардейскую обстановку люди казались нам жалкими, а полковника мы дружно ненавидели.

20 октября 1894 года, то есть через несколько дней после принесения мною военной присяги, произошло событие, потрясшее наш пажеский быт: в полном расцвете сил умер в Крыму Александр III. В корпусе в ту же ночь состоялась торжественная панихида, и даже новоиспеченные камер-пажи, высочайший приказ о производстве которых пришел из Крыма как раз в этот день, держали себя прилично; они показались мне великолепными в своих расшитых золотом мундирах, при шпагах вместо тесаков и шпорах с серебряным звоном. Погоны и каски затянулись на целый месяц черным крепом.

На нас в срочном порядке пригоняли придворную форму, состоявшую из мундиров с грудью, сплошь расшитой золотым галуном, и белых штанов навыпуск. На каски вставлялись тяжелые белые султаны из конского волоса.

Камер-пажи были еще наряднее — в белых лосинах, лакированных высоких ботфортах и со шпагами на старинных золотых портупеях.

Все готовились заранее к торжественным похоронам.

Через несколько дней, с флером через плечо и большой свечой в руках, я шел у правого переднего колеса катафалка.

Я впервые увидел царя Николая II, великих князей, свиту и величественное зрелище гвардейских полков, стоявших шпалерами от Николаевского вокзала вдоль Невского до Петропавловской крепости.

За шпалерами войск на тротуарах стояла молчаливая толпа. Шествие подвигалось в торжественном и мрачном молчании.

И вдруг за Полицейским мостом в суженной части Невского из толпы послышался выкрик: «Кукареку!»

Я, вздрогнув, встретился взглядом с шагавшим рядом со мной статным юнкером Павловского училища, и оба мы сделали вид, что ничего особенного не произошло.

В крепости нас поставили на дежурство при гробе. Сменялись каждые два часа в течение недели, показав-

шейся нам вечностью. Утомительная монотонность стояния на посту усугублялась заунывным гимном «Коль славен», который играли крепостные часы.

Мне рассказывали, что эта музыка доводила до сумасшествия заключенных в крепости, служившей одновременно местом упокоения царей и темницей для их врагов.

Это была для меня первая тяжелая придворная служба.

А через год мои учебные успехи при переходе в старший класс автоматически открыли мне блестящую дорогу к тому верховному существу, которым представлялся в то время для нас всех русский царь.

Торжественный день первого представления монарху в Александровском дворце Царского Села, по случаю производства в камер-пажи, был омрачен для нас всех: начальство до самого входа в большой зал скрыло от нас почему-то наши придворные назначения, хотя мы твердо знали, что по праву при государе будет состоять фельдфебель Мандрыка, а при молодой императрице — я и Потоцкий как первые ученики в классе.

Но когда, построенные по ранжиру, мы вытянулись перед директором корпуса, из строя вызвали графа Апраксина, стоявшего по успехам где-то в середине выпуска и даже с трудом изъяснявшегося на французском языке. Ему предложили стать рядом со мной, и я успел лишь увидеть, как покраснел до слез мой сосед по строю — Сережа Потоцкий, сын скромного артиллерийского генерала, нашего корпусного профессора.

Куда ему было до Апраксина, находившегося в родстве со всесильным тогда министром Иваном Николаевичем Дурново, да и к тому же — графа.

Оставалось лишь скрыть свое негодование, так как через несколько минут стук палки церемониймейстера известил о входе царя.

После общего представления он подошел к Мандрыке, и я мог за эти минуты побороть в себе какой-то особый трепет, который овладевал мною, как и всеми пажами, при всякой встрече с царем.

И этот трепет, объяснимый сознанием величия звания русского царя, совершенно не соответствовал впечатлению, производимому этим невзрачным полковником небольшого роста, то подымавшим на нас свои, унаследованные от матери, красивые глаза, то теребившим аксель-

бант и искавшим слов, подобно ученику, не знающему, как ответить на поставленный вопрос.

Со мной он сразу блеснул своим самым сильным качеством — памятью, вспомнив, что его отец сделал для меня исключение, разрешив окончить Киевский корпус взамен общих классов Пажеского корпуса.

После приема адъютант корпуса, распомаженный и нарядный капитан Дегай, провел нас с Апраксиным в гостиную к императрице Александре Федоровне, при которой с этой минуты должна была протекать вся моя дворцовая служба.

Посреди большой комнаты, утопавшей в цветах и наполненной запахом придворных духов, стояла в светлосером платье из крепдешина высокая, стройная белокурая красавица. Я должен был подойти к ней первый и поцеловать протянутую руку; но то ли она сама вовремя не подняла руку, то ли я от смущения недостаточно нагнулся, но в результате поцелуй остался в воздухе, и я заметил, как лицо ее покрылось некрасивыми, красными пятнами, что еще более меня смутило. Я с большим трудом разобрал еле слышную фразу по-французски о том, что она очень счастлива с нами познакомиться.

«Моя царица» — вот чем была для меня в течение нескольких месяцев эта женщина. Не проходило недели, чтобы нас не высылали в полной форме в Царское Село, где нас встречала придворная карета, с кучером и лакеем в золоченых треуголках, запряженная парой великолепных энглизированных рысаков. Во дворце скороход в шляпе с плюмажем из страусовых перьев провожал нас до зала, в котором собирались петербургские дамы высшего света для представления императрице своих взрослых дочерей.

Через несколько минут личный камергер императрицы, седеющий надушенный красавец, граф Гендриков, шел с нами в знакомую уже нам гостиную; мы, как и в первый раз, целовали руку и вместе с Гендриковым сопровождали «ее величество» в зал, где обходили гостей императрицы. В этом состояла вся служба. Такой же примерно характер она носила и на дворцовых церемониях, так называемых «высочайших выходах», по случаю нового года, крещенского водосвятия, пасхальной заутрени, на большом балу в Зимнем дворце и т. п. При всех подобных случаях царская семья, вплоть до принца

Ольденбургского, собиралась заранее в Малахитовом зале Зимнего дворца, откуда выходила парами — кавалер с дамой — в порядке старшинства, то есть прав на престолонаследие; это приводило к тому, что двоюродный брат царя Борис Владимирович в мундире простого юнкера шел выше фельдмаршала русской армии старика Михаила Николаевича, брата Александра II. Этот великан с седеющей бородой и красносизым носом был младшим братом Александра II и знал из рода в род весь военный и служивый петербургский мир. В последние годы жизни он сиживал у окна нижнего этажа своего дворца на набережной и очень бывал доволен, когда прогуливающиеся его замечали и отдавали честь.

Замыкал колонну «высочайших особ» принц Людовик Наполеон, племянник Наполеона III, командир улан, шедший в одиночестве, со светлоголубой лентой Андрея Первозванного через плечо. Орден этот в России имели двадцать — тридцать высших государственных сановников, но лица царской фамилии обоего пола получали его при рождении.

За первой парой — царем и царицей — шли их камер-пажи и дежурные генералы и флигель-адъютанты, а за остальными парами — личные камер-пажи; к каждой великой княгине или княжне был прикреплен свой камер-паж на весь год по старшинству переходных баллов за учение.

Колонна медленно двигалась через все залы Зимнего дворца, отвечая на поклоны съехавшихся на высочайший выход во дворец сановников и офицеров гвардии. Дамы, допускавшиеся во дворец, были в придворных платьях в виде стилизованных русских сарафанов и в кокошниках.

Никаких темных предчувствий ни у кого в эту зиму 1895—96 года не было: все мы с трепетом ждали лучшего от нового, молодого царя и радовались каждому его жесту, усматривая в этом если не начало новой эры, то во всяком случае разрушение гатчинского быта, созданного Александром III.

Царь перенес резиденцию в солнечное, веселое Царское Село, царь открыл заржавленные двери Зимнего дворца, юная чета без всякого надзора, попросту, на санках, разъезжает по столице. И даже слова о «несбыточных мечтаниях», произнесенные царем при приеме

тверского дворянства, были приняты как временное недоразумение.

Только моя «фрондирующая» тетушка, жена опального сановника Николая Павловича, удивляла меня своим скептицизмом: «Ах, — говаривала она, — я ведь его знала, — ну полковничек, и больше ничего. А что до твоей «царицы», так это гордячка, никого знать не хочет: куда ей до Марии Федоровны (вдовствующей императрицы)!» Но эти слова отражали лишь то глухое соперничество между матерью Николая II и его женой, которое, разрастаясь, сделало из него простую игрушку в руках этих двух женщин.

Нашей военной молодежи не было дела до придворных интриг, и мы попросту были на седьмом небе, когда однажды, заканчивая «вольт» в корпусном манеже, услышали команду штаб-ротмистра Химца: «Смена — стой! Смирно!» — и голос самого царя из ложи манежа: «Здравствуйте, господа!» Я, как обычно, лихо заломив бескозырку набекрень, ехал на красивом гнедом коне Игривом — во главе смены, и мне казалось, что глаза царицы устремлены только на ее камер-пажа.

А через несколько дней, опять-таки как необычайное новшество, нашей роте, вместе с другими училищами, была поручена охрана самого Зимнего дворца, и прохожие с удивлением увидели юнкеров, заменивших гвардейских солдат на Дворцовой набережной.

Поздно ночью, стоя парным часовым на внутреннем посту у подъезда «ея величества», я был взволнован появлением царской четы, обходившей караулы по возвращении из театра.

Замерев на приеме «на караул по-ефрейторски», то есть отклонив на вытянутую руку верх винтовки, мы вполголоса ответили на приветствие царя, заговорившего с моим товарищем по посту Потоцким. Царица подошла ко мне, впервые поздоровалась со мной на русском языке и, вероятно по наущению царя, попросила меня показать ей винтовку. Я твердо ответил, что передать оружие имею право только одному человеку на свете — самому государю императору.

Все эти маленькие события казались нам, придворной молодежи, жившей интересами двора и гвардии, исполненными особого смысла и значения. Никто не предпо-

лагал, что преклонение перед царской четой у многих из нас рассеется когда-нибудь впрах.

В конце зимы весь русский служебный мир готовился к коронации: кто шил новые мундиры и платья для жен, кто ожидал чинов и орденов, кто готовил рескрипты с «монаршими милостями».

Среди войсковых частей основную роль в торжествах должен был играть мой будущий кавалергардский полк, некогда специально созданный Петром I для коронования своей жены Екатерины.

Наша рота после выпускных экзаменов была срочно перевезена в Москву и размещена под сводами нижнего этажа здания судебных учреждений, в Кремле. Для всех, кроме нас, личных камер-пажей, начались репетиции царского въезда в Москву, при котором камер-пажи должны были сопровождать парадные кареты верхом на серых конях, взятых у полковых трубачей.

Весна выдалась теплая, солнечная. Древняя российская столица почистилась, и даже заснувший, как казалось навеки, московский Кремль с каждым днем оживлялся. В снятых министерством двора дворянских и купеческих домах размещались иностранные посольства и съезжавшиеся со всего мира иностранные принцы и принцессы. Со всей России были вызваны генерал-губернаторы, в том числе и мой отец, высшие военные начальники, все, носившие придворные звания, церковные иерархи, городские головы главнейших городов, предводители дворянства и специально подобранные волостные старшины.

Оживление в городе росло с каждым днем.

На площади, под конвоем кавалергардских взводов в касках и кирасах, выезжали на разукрашенных конях герольды в средневековых мантиях из золотой парчи и читали царский манифест о короновании.

В день торжественного въезда в Москву нас с Мандрыкой отправили с утра в Петровский дворец, где ночевала царская семья с ближайшим окружением. Процессия, длиной в одну-две версты, уже выстраивалась вдоль Петербургского шоссе. Шествие открывал кавалергардский эскадрон, за которым ехал верхом на белом коне царь в мундире преображенцев, первого и старейшего полка русской гвардии. Потом следовали золоченые кареты двух императриц, а за ними — великих княгинь и

иностранных принцесс. Старинные кареты были прикреплены ремнями к задним дугообразным рессорам, около которых с каждой стороны сидели маленькие пажи из младших классов, чтоб карета не очень качалась. К этому их долго готовили.

На императрице было длинное платье из серебристой тафты, с треном из серебряной парчи длиной в добрых три метра. Трены, являвшиеся неотъемлемой частью придворных платьев, различались своими размерами: самые длинные — у императрицы, а самые короткие — у незамужних великих княжон.

Для этого-то мы, камер-пажи, и предназначались, так как если бы трен не несли, царица не могла бы свободно двигаться, до того он был тяжел.

Усадив царицу в карету и разложив трен, мы оказались свободными, но должны были поспеть в Кремль для встречи там процессии. Предоставленное нам для этой цели извозчичье ландо сломалось на последнем ухабе Ходынского поля, и нам пришлось в ботфортах и золоченых мундирах пробираться сквозь толпу, уже хлынувшую от Петербургского шоссе к Пресне. Среди пешеходов двигались бесчисленные и переполненные до отказа одноконные и парные извозчики. Нагнав одного из них, мы, сославшись на нашу должность, попросили седоков уступить нам коляску. Вскоре мы подъехали к Кремлю со стороны манежа. Пропуск у каждого из нас был на плече в виде светлоголубого банта с позолоченной короной, выданной на все время коронации тем лицам, которые могли иметь доступ в Успенский собор в самый день коронования.

За два дня до этого торжества мы должны были проделать полную «репетицию». Мандрыка изображал государя, я — императрицу. На плечи наши были надеты мантии из толстого холста, длиною в несколько метров; их несли высшие государственные сановники; мы давали им указания, как следует нести трен.

Мы прошли к дворцу, спустились к Успенскому собору, поднялись на высокий обитый красным сукном помост посреди собора, сели на троны, прошли на Красное крыльцо, где царь должен был склониться перед народом, и закончили репетицию в трапезной Грановитой палаты.

Вечером, как всегда после обычных приемов, я объяснял императрице по-французски все тонкости предстоящей ей «церемонии».

В день самого коронования, 26 мая, яркое солнце заливало златоверхий Кремль. Все его площадки и проходы были заняты помостами с перилами, обитыми красным сукном, так что для войск и зрителей оставалось довольно узкое пространство. Вдоль помостов на расстоянии двух-трех шагов друг от друга стояли в полной парадной форме солдаты гвардейской кавалерии с палашами и саблями наголо, за перилами помоста расположились почетные пехотные караулы. В десять часов утра мы вышли за царем и царицей из Большого дворца и в полной тишине вошли в Успенский собор.

Вся середина собора была занята огромным помостом, в глубине которого были поставлены три трона: средний — для царя, правый — для вдовствующей, а левый — для молодой царицы; от них до солеи спускалась широкая, обитая красным сукном отлогая лестница.

Трибуны были заполнены членами царской семьи, иностранными делегациями и послами, свитой, членами Государственного совета, сенаторами. Проводив царицу до трона и разложив трен, я спустился по задней лестнице с помоста и, чтоб лучше все разглядеть, пробрался на клирос и укрылся за придворными певчими. Служили обедню все три русских митрополита — московский, петербургский и киевский. Когда наступил момент причащения, царь сошел с трона и вошел через царские врата, через которые обычно могло проходить только духовенство, прямо к престолу, а после обедни возложил сам на себя императорскую корону, лежавшую на престоле. В это время императрица сошла с трона, стала на колени, и царь возложил на нее корону из бриллиантов. При выходе из собора царя и царицу ожидал большой балдахин, который несли старейшие генералы свиты в белых барашковых шапках. Царские мантии несли высшие гражданские сановники, и мы, идя вслед за ними, могли спокойно осматриваться по сторонам. Шествие сзади и спереди замыкали великолепные взводы кавалергардов в дворцовой парадной форме — белых мундирах-колетах и в красных суконных кирасах-супервестах с большой андреевской звездой на груди и на спине. За ними двигалось бесчисленное духовенство. В воздухе стоял гул

московских «сорока сороков», смешавшийся с звуками военных оркестров, игравших гимн. Все смолкло, когда после поклонения могилам московских царей в Архангельском соборе мы поднялись за царской четой на Красное крыльцо Потешного дворца. Отсюда, по традиции московских царей, Николай II должен был отвесить земной поклон народу; я знал это наперед, усматривал в этом известный символ, но народа-то как раз и не было, так как небольшое пространство перед крыльцом было сплошь забито военными, чиновниками и дамами в шляпах.

После краткого перерыва состоялся парадный обед в Грановитой палате, где царю и царице блюда подавали высокие придворные чины — им передавали тарелки мы, камер-пажи, получавшие их в свою очередь от убеленных сединами камер-лакеев.

Все последующие дни в Большом дворце шли обеды, сопровождаемые так называемыми «серклями», то есть обходом и личным разговором с приглашенными. Один день — дворянству, другой — военным и т. д.

На большом придворном балу мне вновь пришлось проявить искусство в несении пресловутого трена.

На парадном спектакле в Большом театре выступали лучшие русские артисты того времени, а на концерте в германском посольстве — иностранные знаменитости.

При выходе из этого посольства, на подъезде, царь спросил меня, дали ли нам поужинать, и на мой отрицательный ответ сказал германскому послу, что камер-пажи всегда обедают за одним столом с другими приглашенными. Естественно, что последствием этого было такое угощение, с которого мы вернулись в Кремль, к ужасу дежурного офицера, только очень поздно утром.

Один из последних дней был особенно загружен. Днем предстояло гуляние на Ходынке, а вечером бал во французском посольстве.

Нас с утра выслали в Петровский дворец, где снова ночевала царская семья. Когда теперь я прохожу иногда по скверу перед зданием Академии имени Жуковского, мне вспоминается, как на этом месте, лет сорок пять назад, к нам подошел конвойный офицер в красной черкеске, известный гуляка князь Витгенштейн, и как бывший паж сказал нам: «Слыхали? Черт знает что вышло — какой-то беспорядок! Все это вина паршивой московской полиции, не сумевшей справиться с диким народом!»

Из царской беседки, построенной против ворот дворца, мы увидели огромное желтое поле, окруженное деревянными театрами-балаганами, и на нем толпу народа, едва заполнявшую треть поля.

Играли гимн, кричали «ура», но все чувствовали, что случилось нечто тяжелое и что надо скорее покончить с этим очередным номером торжеств.

Однако весь ужас совершившегося мы поняли, уже возвращаясь в Кремль: мы обогнали несколько пожарных дрог, на которых из-под брезентов торчали человеческие руки и ноги.

В Кремле оставшиеся свободными от службы камер-пажи рассказали нам уже все подробности о том, как ночевавшие под открытым небом сотни тысяч народу двинулись с восходом солнца на праздник; как задние, нажимая на передних, вызвали давку и как, в довершение несчастья, под ногами толпы провалились доски, прикрывавшие ямы и окопы, построенные когда-то на учениях инженерных войск. В результате — паника и тысячи раздавленных и искалеченных людей. Выводы и предположения были разные: я, как и многие другие, считал, что царь обязательно отменит в знак траура вечерний бал во французском посольстве; другие шли дальше и ожидали с минуты на минуту, что нас вызовут к Иверской, куда царь приедет для совершения всенародной панихиды. Но ничего не произошло, и, бродя по залам посольства, я старался успокоить свою совесть предположением, что, видно, царь, исполняя тяжелую обязанность монарха, хочет скрыть от иностранцев наше внутреннее русское горе.

Я не мог себе представить, что этот бездушный сфинкс через несколько лет с таким же равнодушием отнесется к цусимской трагедии, к расстрелу народа 9 января — в день Кровавого воскресенья, к гибели русских безоружных солдат в окопах империалистической войны и будет способен играть со своей мамашей в домино после собственного отречения от престола.

Раздушенные паркетные залы московских дворцов и посольств, роскошные туалеты русских и иностранных принцесс, блеск придворных мундиров — все сменилось для нас через несколько дней пылью Военного поля в Красном Селе.

Там мы были прикомандированы на лагерный сбор к так называемому «образцовому эскадрону» Офицерской кавалерийской школы, где мы проходили службу сперва рядовых — с чисткой коней и т. п., а потом — взводных командиров. Эскадрон этот, как мне рассказывали, был когда-то действительно образцовым, служившим для проверки на опыте всяких нововведений. В наше же время он представлял собой забитую армейскую часть под командой сухого немецкого барона Неттельгорста, которого как бы в насмешку над вольным казачеством назначили впоследствии командиром лейб-казачьего гвардейского полка.

С 1 августа мы получили офицерские фуражки с козырьком, офицерские темляки на шашки и, на положении эстандарт-юнкеров, то есть полуофицеров, были раскомандированы по нашим будущим полкам.

12 августа, после окончания больших маневров и общего парада, все пажи и юнкера были вызваны к царскому валику, где царь, теребя в руке перчатку, произнес слова, открывавшие перед нами целый мир: «Поздравляю вас офицерами!»

Эта минута, к которой мы готовились долгие годы, вызвала подлинный взрыв радости, выразившейся в могучем «ура».

Я не без волнения расстался с царицей, получив из ее рук приказ о производстве, который начинался с моей фамилии как произведенного в кавалергардский полк.

Галопом вернулся я с приказом под погоном в Павловскую слободу, в расположение нашего полка. Уже через несколько минут, выйдя в белоснежном офицерском кителе из своей избы, я обнял старого сверхсрочного трубача Житкова — первого, отдавшего мне честь, став во фронт.

Глава шестая

КАВАЛЕРГАРДЫ

Само имя полка, «Рыцарская гвардия», заключало в себе понятие благородства. История запечатлела подвиг воинского самопожертвования кавалергардов. В 1805 году, в сражении под Аустерлицем, кавалергарды, для спасения русской пехоты, атаковали французов и

покрыли поле своими телами в белоснежных кирасирских колетах. Объезжавший поле сражения Наполеон неуместно пошутил над «безусыми мальчишками», полегшими в бесплодной атаке, но тут приподнялся раненый офицер нашего эскадрона и на прекрасном французском языке ответил:

— Я молод, это верно, но доблесть воина не исчисляется его возрастом [1].

На потемневшем от долгой службы полковом штандарте было вышито серебром: «За Бородино», а на серебряных сигнальных трубах выгравирована надпись: «За Фер-Шампенуаз 1814». Судьба занесла меня, кавалергарда, в эту небольшую французскую деревеньку из белых каменных домиков ровно через сто лет после этого боя, в дни сражения на Марне, которое я наблюдал как представитель русской армии при французском командовании. Посреди небольшой площади селения Фер-Шампенуаз я увидел скромный памятник, поставленный в память о русских солдатах, полегших в бою с французами в 1814 году. Изображение их подвига в этом сражении я и сейчас вижу каждый раз, когда бываю в Военно-инженерной академии, лестницу которой украшает громадная картина сражения при Фер-Шампенуазе; на первом плане — 1-й, так называемый лейб-эскадрон моего бывшего полка, готовый идти в атаку на ощетинившееся штыками пехотное французское каре.

Вступая в полк, каждый погружался в атмосферу преклонения перед историческим прошлым кавалергардов. У меня это преклонение усугублялось чувством привязанности к полку, почти как к родному дому. С самого раннего детства я видел на отце черный двубортный сюртук с серебряными пуговицами и белой подкладкой под длинными полами, а белая полковая фуражка с красным околышем казалась мне знаком благородства и воинской чести.

Родившись в казармах полка, я через девятнадцать лет еще застал в нем старших офицеров, полкового врача

---

[1] «Сид» Корнеля:

Je suis jeune, il est vrai,
Mais aux âmes bien nées
La valeur n'attend pas
Le nombre des années.

и сверхсрочных трубачей, служивших под командой отца в годы моего детства.

Нигде в России, быть может, дух патриархальности не был сильнее, чем в этих елизаветинских казармах на Захарьевской.

Одним из проявлений этой патриархальности было своеобразно сложившееся отношение к солдатам, хотя «отцом-командиром» мог быть и неоперившийся корнет. Самые либеральные офицеры относились к солдатам, как «добрые» помещики к крестьянам, но даже и наиболее невежественные никогда себе не позволяли рукоприкладства, чтобы не нарушить полковой традиции.

На уклад полковой жизни оказывало влияние то обстоятельство, что у некоторых старинных русских родов, как у Шереметевых, Гагариных, Мусин-Пушкиных, Араповых, Пашковых и др., была традиция служить из поколения в поколение в этом полку. В день столетнего полкового юбилея была по этому поводу сфотографирована группа, в первом ряду которой сидели отцы, бывшие командиры и офицеры полка, а во втором ряду стояли по одному и по два их сыновья.

Полковые традиции предусматривали известное равенство в отношениях между офицерами независимо от их титула. Надев форму полка, всякий становился полноправным его членом, точь-в-точь как в каком-нибудь аристократическом клубе.

Сходство с подобным клубом выражалось особенно ярко в подборе офицеров, принятие которых в полк зависело не от начальства и даже не от царя, а прежде всего от вынесенного общим офицерским собранием решения. Это собрание, через избираемый им суд чести, следило и за частной жизнью офицеров, главным образом за выбором невест.

Офицерские жены составляли как бы часть полка, и потому в их среду не могли допускаться не только еврейки, но даже дамы, происходящие из самых богатых и культурных русских, однако не дворянских семейств. Моему товарищу, князю Урусову, женившемуся на дочери купца Харитоненко, пришлось уйти из полка; ему запретили явиться на свадьбу в кавалергардском мундире.

В представлении гвардейского офицера полк составляли три-четыре десятка «господ», а все остальное было

как бы подсобным аппаратом. Если бы вы приехали в Париж даже через много лет после нашей революции, то нашли бы большую часть офицеров расформированных давным-давно гвардейских «полков» и в том числе «кавалергардов», собиравшихся в штатских пиджаках и шоферских куртках на полковой праздник в бывшую посольскую церковь на улице Дарю — тогдашнем центре русской эмиграции — и служивших молебны под «сенью» вывезенного ими при бегстве из Крыма полкового штандарта. Естественно, что в свое время в Париже они не преминули вслед за пажами прислать мне письмо, «исключающее» меня из полка.

Во времена же Российской империи кавалергардский полк был первым из шести полков 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, в которую, кроме четырех кирасирских, входили два гвардейских казачьих полка. Все полки были четырехэскадронного состава.

Дивизия эта долго сохраняла за собой название тяжелой не только из-за десятивершковых людей и шестивершковых лошадей, но и как воспоминание о той эпохе, когда кирасиры своей тяжелой массой легко пробивали строй легкой кавалерии. В 1914 году, когда началась империалистическая война, которая принесла с собой применение газов и танков, мне пришлось видеть в Париже французских кирасир, выступавших еще в наполеоновских касках и кирасах. Такова сила привязанности к форме!

В отличие от тяжелой 2-я легкая гвардейская кавалерийская дивизия состояла из четырех шестиэскадронных полков: конно-гренадер, улан, лейб-драгун и лейб-гусар.

Кони 1-й дивизии получали по четыре гарнца овса, 2-й дивизии — по три гарнца, а армейская кавалерия — по два с половиной гарнца. В результате, однако, на смотрах некоторые армейские дивизии, особенно пограничных корпусов, оказывались в отношении боевой подготовки и выносливости коней выше гвардейских. Объяснялось это главным образом неблагоприятными для занятий условиями расквартирования гвардейских полков. Особенно страдала наша первая бригада — кавалергарды и конная гвардия, располагавшиеся в центре самого Петербурга; большую часть года мы не могли даже выехать в поле, но заго заслужили прозвище:

«бюро похоронных процессий», так как были обязаны участвовать в конном строю на похоронах бесчисленного генералитета, проживавшего и умиравшего в столице.

На этих церемониях, равно как на парадах, полк своим видом воскрешал в памяти давно отжившие времена эпохи Александра I и Николая I, выступая в белых мундирах-колетах, а в зимнее время — в шинелях, поверх которых надевались медные блестящие кирасы, при палашах в гремящих стальных ножнах и в медных касках, на которые навинчивались острые шишаки или, в особых случаях, посеребренные двуглавые орлы. Орлы эти у солдат назывались почему-то «голубка́ми». Седла покрывались большими красными вальтрапами, обшитыми серебряным галуном. Первая шеренга — с пиками и флюгерами.

Обыкновенной же походной формой были у нас черные однобортные вицмундиры и фуражки, а вооружение — общее для всей кавалерии: шашки и винтовки.

Но этим, впрочем, дело не ограничивалось, так как для почетных караулов во дворце кавалергардам и конной гвардии была присвоена так называемая дворцовая парадная форма. Поверх мундира надевалась кираса из красного сукна, а на ноги — белые замшевые лосины, которые можно было натягивать только в мокром виде, и средневековые ботфорты.

Наконец, для офицеров этих первых двух кавалерийских полков существовала еще так называемая бальная форма, надевавшаяся два-три раза в год на дворцовые балы. Если к этому прибавить николаевскую шинель с пелериной и бобровым воротником, то можно понять, как дорог был гардероб гвардейского кавалерийского офицера. Большинство старалось перед выпуском дать заказы разным портным: так называемые первые номера мундиров — дорогим портным, а вторые и третьи — портным подешевле. Непосильные для офицеров затраты на обмундирование вызвали создание кооперативного гвардейского экономического общества, с собственными мастерскими. Подобные же экономические общества появились впоследствии при всех крупных гарнизонах.

К расходам по обмундированию присоединялись затраты на приобретение верховых лошадей. В гвардей-

ской кавалерии каждый офицер, выходя в полк, должен был представить двух собственных коней, соответствующих требованиям строевой службы: в армейской кавалерии офицер имел одну собственную лошадь, а другую — казенную.

Если в легкой гвардейской и армейской кавалерии офицеры без особого труда могли найти для себя подходящих коней, то в нашей дивизии требования роста не могли быть удовлетворены конским материалом ни из казенных, ни из частных заводов. Конский состав наших полков с трудом комплектовался несколькими частными заводами на Дону и на Украине, выращивавшими хоть и «малокровный», но крупный и костистый молодняк. Офицеры же ко времени моего выхода в полк почти все сидели на так называемых «гунтерах», то есть якобы английских охотничьих лошадях. В действительности же это были в большинстве случаев немецкие тяжелые выкормки из Ганновера, ничего общего с гунтерами не имевшие.

С юных лет создав себе идеал кровного легкого коня, я пришел в ужас, когда, еще будучи камер-пажом, попробовал одного из таких тяжеловесов, принадлежавших офицеру полка, князю Карагеоргиевичу, дяде будущего сербского короля. Бретер и парижский бульварный гуляка, обычный посетитель кафе «Де ла Пэ», этот князь должен был выйти в отставку из-за дуэли, которую он имел с вольноопределяющимся собственного эскадрона графом Мантейфелем, ухаживавшим за его красавицей-женой.

Потом мне сказали, что у самого великого князя Николая Николаевича продается за высокую цену, за тысячу пятьсот рублей, его собственная гнедая лошадь. Мы с отцом поехали посмотреть и попали в довольно неловкое положение. Получив разрешение великого князя, я стал пробовать эту прекрасно выглядевшую лошадь в его собственном крохотном манеже при дворце на Михайловской площади. Все шло хорошо до минуты, когда отец стал требовать прибавить на галопе аллюру. Я шел все скорее, а отец требовал еще нажать, пока я сам не услышал, что лошадь сильно хрипит. Мне оставалось поскорее спешиться и попросить передать великому князю благодарность за его сомнительную любезность по отношению к легковерному будущему кавалеристу.

Так и пришел я в полк с двумя молодыми конями русских государственных заводов: сыном араба Искандер-Бека, золотистым, как червонец, Импетом — Стрелецкого завода, и сыном знаменитого чистокровного Лоэнгрина, белоногим Лорд-мэром — Яновского завода.

Велико, однако, было мое разочарование, когда заведующий офицерской конюшней и безапелляционный эксперт поручик Петька Арапов определил, что оба мои красавца, имеющие свыше четырех вершков роста, не кони, а крысы и поэтому не пригодны для строя в эскадроне, называвшемся «эскадроном ее величества». Действительно, они казались малы среди пяти- и шестивершковых светлогнедых коней. Надо было опять искать лошадь.

На счастье, мой богатый дядюшка по матери, Апраксин, великий барин и самодур, объявил, что сам заплатит за лошадь, лишь бы она была лучшая из всех лошадей в полку.

Клиент для получения его денег нашелся быстро в лице генерал-адъютанта Александра Петровича Струкова, георгиевского кавалера за турецкую войну, в которой он перешел с Гурко через Балканы во главе гвардейских улан. Этот стройный, как юный лейтенант, старый холостяк, с тонкими длинными «кавалерийскими» усами, был известен не только как лихой спортсмен и изобретатель русского вьюка, но и как ловчайший великосветский барышник.

Угостив меня с отцом в своем особнячке на набережной отличным завтраком, он провел нас в крохотный внутренний дворик и как был, не глядя на мороз, в сюртуке, вскочил по-жокейски, не трогая стремян, на гнедого коня, изумлявшего глубиной подпруги, длиной плеча и внешней здоровой сухостью. Когда же Струков на скользком крохотном «пятачке» стал крутить этого шестивершкового великана вокруг нас галопом, мы не могли сказать ни одного слова критики. Тогда Струков, не говоря даже о деньгах, повелительным тоном приказал вести лошадь прямо в кавалергардский полк. Хорош, конечно, был мой Фауст впереди 1-го взвода 1-го эскадрона на парадах, но только все пронюхивавший Петька Арапов знал, сколько скипидару «эмброкейшен» втирал я в плечи этого безмускульного венгерского выкормка.

Собственно служба в полку началась для меня, как и для всех молодых офицеров, с дежурств по полку. Ровно в двенадцать часов старый и новый дежурные офицеры шли на середину двора на полковую гауптвахту, состоявшую из помоста и столба с колоколом для вызова караула. На помосте стояла повозка с денежным ящиком, охранявшаяся часовым с винтовкой за плечами и шашкой наголо. Бессмысленным казалось сопровождать казначея полка, хилого и совсем полуштатского штаб-ротмистра маркиза Паулуччи к этому ящику, из которого он с особым благоговением вынимал или в который вкладывал какой-нибудь конверт. Зачем было, казалось, мерзнуть на дворе, вместо того чтобы держать деньги в канцелярском шкафу? Но в том-то и дело, что таков был обычай, изменить который никому не приходило в голову. От маленьких деталей и до важнейших вопросов многое в русской армии держалось на изживших себя традициях, а не на здравом смысле.

Итак, осмотрев печати на ящике и поздоровавшись с новым полковым караулом из шести человек при унтер-офицере, выслушав рапорты всех дежурных по эскадронам и командам, зайдя тут же в караульное помещение и карцер, помещавшиеся в подвале, дежурные подписывали рапортичку о наличном составе и шли к командиру полка.

Днем дежурный офицер выполнял все свои обычные служебные обязанности, а перед обедом присутствовал при распределении мяса по эскадронам. Он должен был отвечать за его вес и свежесть. В девять часов вечера он шел на перекличку в один из эскадронов, где пелись хором молитвы и читался приказ по полку на следующий день.

Ночью дежурный офицер был обязан обойти, хотя бы один раз, все помещения полка, записать в рапортичке температуру в жилых помещениях, проверить бдительность всех дежурных, дневальных и порядок в восемнадцати конюшнях.

Помещения были раскинуты между тремя улицами, и добросовестный обход требовал не менее двух часов.

Ни одна иностранная армия не знала таких внутренних нарядов, как русская. Поистине о ней можно было сказать, что она существует, чтобы охранять себя. В каждом эскадроне, кроме дежурного унтер-офицера,

четверо дневальных, в конюшнях — то же число, а затем — в хлебопекарне, в полковом лазарете, у дровяного склада... Общее число людей в наряде в маленьком четырехэскадронном полку доходило до шестидесяти человек в день.

Когда, дежуря по полку в первый раз, я вернулся вечером в офицерскую «артель», в нижнем этаже которой находилась дежурная комната, вестовой — лакей артели — доложил мне, что кровать постлана. Зная, что дежурный по полку обязан после вечерней зари оставаться в шинели, при шашке и револьвере, я сделал вид, что не замечаю за ширмой роскошного дивана, покрытого тончайшими простынями и английским теплым одеялом; тут же лежала моя собственная ночная рубашка, оставленная утром предусмотрительным камердинером.

Я сказал, что мне спать не хочется. Но старший буфетчик Егор сообщил мне, что все дежурные на ночь спокойно раздеваются, так как никто войти ночью без дежурного лакея не может, а последний не откроет двери никакому начальству, пока не убедится, что дежурный встал и готов к встрече.

Через несколько недель после этого стратегия Егора потерпела поражение, и бедному Ванечке Салтыкову, дежурному по полку и, по обыкновению, сладко спавшему, пришлось поплатиться. Главнокомандующему Петербургским округом великому князю Владимиру Александровичу, дяде царя, частенько не спалось, несмотря на выпиваемую ежедневно перед сном бутылку шампанского. Надев мягкие, с вечно спущенными голенищами сапоги и генерал-адъютантское пальто, он отправлялся ночью на прогулки с целью «поймать» какой-нибудь из гвардейских полков. В эту злосчастную зимнюю ночь со снежной пургой Владимир Александрович добрел до нашего полка и долго безрезультатно звонил в «егоровский звонок». Внутри артели так же безрезультатно будили Ванечку.

Отчаявшись добиться дежурного по полку, великий князь пошел на полковой двор и, заметив огонек в одном из подвалов, поинтересовался узнать, что может здесь твориться в столь поздний час. Там его ждала неприглядная картина: в темном сыром подвале он нашел месивших тесто полуголых людей в грязных колпаках и подштанниках — это была полковая хлебопекарня. Ее

начальник, поручик Нечаев, отделался арестом на Садовой, в комендантской гауптвахте.

У меня же на одном из дежурств по полку произошло следующее: под вечер, когда все офицеры уже разъехались, ко мне прибежал дежурный унтер-офицер по нестроевой команде и с волнением в голосе доложил, что «Александр Иванович померли».

Александром Ивановичем все, от рядового до командира полка, величали старого бородатого фельдфебеля, что стоял часами рядом с дневальным у ворот, исправно отдавая честь всем проходящим.

Откуда же пришел к нам Александр Иванович? Оказалось, что еще до того, как мой отец командовал полком, то есть в начале 70-х годов, печи в полку неимоверно дымили и никто не мог с ними справиться; как-то военный округ прислал в полк печника-специалиста из еврейских кантонистов, Ошанского. При нем печи горели исправно, а без него дымили. Все твердо это знали и, в обход всех правил и законов, задерживали Ошанского в полку, давая ему мундир, звания, медали и отличия за сверхсрочную «беспорочную» службу.

И вот его не стало. Унтер-офицер привел меня в один из жилых корпусов, еще елизаветинской постройки, где в светлом подвальном помещении под сводами оказалась квартира Александра Ивановича. Он лежал в полковом мундире на составленных посреди комнаты столах. Его сыновья, служившие уже на сверхсрочной службе, один — трубачом, другой — писарем, третий — портным, горько плакали.

Я никак не мог предполагать того, что произошло в ближайшие часы. К полковым воротам подъезжали роскошные сани и кареты, из которых выходили нарядные элегантные дамы в мехах и солидные господа в цилиндрах; все они пробирались к подвалу, где лежало тело Александра Ивановича. Оказалось — и это никому из нас не могло прийти в голову, — что фельдфебель Ошанский много лет стоял во главе петербургской еврейской общины. На следующее утро состоялся вынос тела, для чего мне было поручено организовать церемонию в большом полковом манеже. К полудню манеж принял необычайный вид. Кроме всего еврейского Петербурга, сюда съехались не только все наличные офицеры полка, но и многие старые кавалергарды во главе со всеми бывшими

командирами полка. В числе последних был и мой отец, состоявший тогда уже членом Государственного совета.

Воинский устав требовал, чтобы на похоронах всякого военнослужащего, независимо от чина и звания, военные присутствовали в полной парадной форме, и поэтому всем пришлось надеть белые колеты, ленты, ордена и каски с орлами. У гроба Александра Ивановича аристократический военный мир перемешался с еврейским торговым и финансовым, а гвардейские солдаты — со скромными ремесленниками-евреями.

После речи раввина гроб старого кантониста подняли шесть бывших командиров полка, а на улице отдавал воинские почести почетный взвод под командой вахмистра — как равного по званию с покойным — при хоре полковых трубачей. Таков был торжественный финал старой истории о дымивших печах.

По очереди со всеми другими частями столичного гарнизона мы дежурили в трех военных госпиталях — Николаевском, Клиническом и Семеновском.

Каждый дежурный офицер получал двух-трех унтерофицеров своей части, которые помогали ему следить за отношением госпитальной администрации к больным солдатам. Небольшие офицерские и женские палаты находились только при Клиническом госпитале, так как большинство среднего и высшего состава лечилось на квартирах. После каждой раздачи пищи мы с унтер-офицерами обходили палаты, спрашивая, все ли довольны. В ночное время наблюдали за работой санитарного персонала, выслушивая жалобы и заявления, которые записывали в книге. На рассвете принимали мясо и отбирали у повара ключи от котлов, в которых оно варилось. Самой тяжелой обязанностью было составление завещаний умирающим и актов о смерти.

Гораздо реже доходила до полка очередь дежурства в окружном суде, куда высылался офицерский караул. На том заседании, на котором пришлось мне присутствовать, добрая половина дня была посвящена разбору дел о членовредительстве. Я не верил своим ушам, когда читали обвинительный акт: подсудимый, молодой крестьянин, узнав о своем призыве в армию, отрубил себе топором указательный палец на правой руке, чтобы не быть годным к военной службе. Несчастный, чахлый маленький человечек, охраняемый двумя громадными кавалер-

гардами в касках, слушал все это с полным равнодушием. Так же бесстрастно отнесся он и к горячей речи молодого защитника, доказывавшего суду, что его клиент левша. В подтверждение этого он предлагал подсудимому продеть нитку в иголку, взять стакан с водой — и тому подобное.

Суд, состоявший из украшенных орденами гвардейских полковников, приговорил подсудимого к пяти годам арестантских рот.

Тяжелое чувство вызвал во мне этот суд. Впервые я увидел с полной наглядностью, что для русского крестьянина наша армия была чем-то вроде каторги.

Дежурства составляли самую скучную сторону службы и были уделом корнетов и молодых поручиков, не успевших пристроиться к какой-нибудь должности — казначея, заведующего офицерской артелью, квартирмейстера, начальника школы кантонистов и даже церковного старосты. Последнюю должность создал и бессменно занимал пресловутый Воейков, последний дворцовый комендант при Николае II.

Небольшого роста, с подвижными и надушенными усами, этот поручик жил в лучшей казенной квартире в казармах, был женат на совершенно безличной дочери министра двора, барона Фредерикса, считался интриганом и самым неприятным по характеру товарищем, но внушал к себе известное почтение своей хозяйственной ловкостью.

Решившись извлечь доход даже из полковой церкви, он собрал деньги на ее перестройку и лично сидел на стуле посреди полкового двора, продавая строительный хлам от старой церкви.

Главным же свойством этого маленького задорного человека была скупость, доходившая до того, что, несмотря на свое громадное состояние, он умудрился сшить себе офицерское служебное пальто, перекроив и перекрасив свои старые вещи. Многие офицеры, занимавшие подобные хозяйственные посты, надолго расставались со строевой службой, возвращаясь к ней только по получении командования эскадроном, чего им приходилось ждать обычно не менее десяти — пятнадцати лет, а иногда и больше. Из-за этого в нашем эскадроне числилось по списку чуть ли не десять офицеров, между тем

как налицо никогда не было более пяти; с остальными я виделся за завтраком в артели, раз в неделю — на офицерской езде да на всяких «гуляниях».

Поступая в полк, я надеялся именно здесь постичь все тонкости строевой кавалерийской службы. Между тем с первых же дней я натолкнулся на барское благодушное игнорирование воинской службы со стороны офицеров. К счастью, вскоре меня назначили помощником заведующего молодыми солдатами; это были новобранцы прошлого года, отбывшие лагерный сбор в строю эскадрона и проходившие с начала учебного года два-три месяца усиленной строевой переподготовки.

Непосредственным моим начальником оказался поручик барон Маннергейм, будущий душитель революции в Финляндии. Швед по происхождению, финляндец по образованию, этот образцовый наемник понимал службу как ремесло.

Он все умел делать образцово и даже пить так, чтобы оставаться трезвым.

Он, конечно, в душе глубоко презирал наших штатских в военной форме, но умел выражать это в такой полушутливой форме, что большинство так и принимало это за шутки хорошего, но недалекого барона. Меня он взял в оборот тоже умело и постепенно доказал, что я, кроме посредственной верховой езды да еще, пожалуй, гимнастики, попросту ничего не знаю.

Главными моими учителями оказались унтер-офицеры.

Прихожу на занятия.

— Смирно! Глаза направо! — командует унтер-офицер Пурышев.

— Здорово, братцы, — говорю я, по гвардейскому обычаю, не подымая голоса.

— Здравия желаем, ваше сиятельство! — несется дружный ответ.

— Командуй, — говорю я унтер-офицеру.

Тот четко произносит команду, по которой мои ученики быстро рассыпаются по залу в шахматном порядке.

— Защищай правую щеку, налево коли, вниз направо руби.

Свист шашек в воздухе, и снова — полная тишина.

Чему мне тут учить? Дал бы бог самому запомнить все это для смотра, где придется командовать.

— Не очень чисто выходит, — говорит мне вразумительно вахмистр Николай Павлович, — там у вас в третьем взводе совсем плохо делают.

Молчу, так как, по-моему, солдаты делают все лучше меня самого.

Смотр молодых солдат Маннергейм провел блестяще, я получаю вместе с ним благодарность в приказе по полку и назначаюсь заведующим командой экскадронных разведчиков. Заслужившие это звание получали отличие в виде желтого басона вдоль погон.

Кроме устных занятий по карте и писания донесений, разведчики должны были раз в неделю выезжать в поле для практических занятий. Для этого полагались наиболее выносливые и резвые лошади. На деле же собрать команду на занятия удавалось крайне редко.

Тот же Николай Павлович, от которого это зависело, оправдывался, перечисляя, сколько людей в полковом наряде, кто поехал за мукой, кто за маслом, сеном, овсом.

Да к тому же в ноябре инспекторский смотр великого князя, и к нему надо готовиться.

От холода кони-великаны обратились в косматых медведей, а ведь на смотру должны блестеть. Поэтому с шести часов утра до восьми часов — чистка, с часу до трех — чистка, а в шесть часов вечера — опять чистка.

А в субботу — баня и мойка белья.

Да и вообще для занятий людей в эскадронах не найдешь: налицо человек тридцать — сорок.

Даже только что обученные молодые солдаты рассеялись как дым, — кто в командировке в штаб, кто назначен в кузнецы, денщики, санитары, писаря.

Жалуюсь на это новому командиру эскадрона, милому, воспитанному, но совсем не кавалеристу, Кноррингу и прошу его назначить мне молодую казенную лошадь для выездки в унтер-офицерской смене, как это предписано новым строевым уставом.

— Брось, — отвечает мне по-французски Кнорринг, — ты мне еще испортишь лошадь: пусть ездят унтер-офицеры, а на смотр вы все успеете сесть на выезженных лошадей.

Решаю совершенствоваться на собственных трех лошадях в офицерском манеже. Здесь, кроме любителя езды — Пети Арапова, компанию мне составляют только

два старых берейтора, проезжающие весь день «господских» лошадей, чтобы размять их опухшие от застоя ноги.

В первый год моей службы «штаб войск гвардии и Петербургского военного округа» решил нарушить мирную зимнюю спячку и организовал зимние же отрядные маневры всех трех родов оружия. На лыжах ходили лишь охотничьи команды в пехотных полках, и потому маневры свелись к походным движениям по узким дорогам, сжатым среди безбрежного моря сугробов.

В нашем полку пострадал от этого предприятия поручик третьего эскадрона Черевин, получивший в результате маневров несколько дней гауптвахты. Какой-то пехотный полковник направил его в разъезд для охранения фланга. Маленький, щупленький рыжий Черевин, узаконенный сын генерала Черевина — собутыльника Александра III, исполняя полученный приказ, замерз, а потому укрылся со своими людьми во встретившейся железнодорожной будке. Здесь он грелся, не обращая внимания на повторные приказания продвигаться вперед. В конце концов он послал начальнику отряда лаконическое донесение: «Ввиду сильного мороза разъезд поручика Черевина покинет будку только с наступлением весны».

В середине зимы, вероятно с целью использовать мой запас энергии, мне дают заведовать полковой хлебопекарней. Но ведь никто в школе не научил меня тайнам «припека», и учителем моим является и тут подчиненный — писарь Неверович. Он дает мне подписывать такие сложные таблицы с дробями, что я прошу его прочитать мне лекцию по хлебопечению.

Раза два в месяц езжу на интендантский склад для приемки муки и ругаюсь, когда нахожу ее затхлой. Мне объясняют, что другой муки в России вообще нет. Оказалось, как я потом узнал, что, по существовавшей системе, интендантство непрерывно освежало неприкосновенный запас, отпуская нередко затхлую муку.

Заключительным аккордом зимнего военного сезона в Петербурге являлся майский парад, не производившийся со времен Александра II и возобновленный с первого же года царствования Николая II.

Мне довелось его видеть, будучи еще камер-пажом императрицы, из царской ложи на Марсовом поле, рас-

положенной близ Летнего сада. Позади ложи, вдоль канавки, строились во всю длину поля открытые трибуны для зрителей, доступные из-за высокой цены на места только людям с хорошим достатком, главным образом дамам, желавшим пощеголять весенними туалетами последней парижской моды.

После объезда войск царь становился перед царской ложей, имея позади и несколько сбоку только трубача из собственного конвоя — в алом чекмене, на сером коне.

Две алых полоски двух казачьих сотен конвоя открывали прохождение войск. Командовавший ими полковник барон Мейендорф, отпустивший красивую седеющую бороду и подражавший всем ухваткам природного казака, лихо, во всю прыть заезжал после прохождения и опускал перед царем свою кривую казачью шашку.

За конвоем, печатая шаг, проходил батальон Павловского военного училища, потом сводный батальон, первой ротой которого шла пажеская рота, вызывавшая своими касками воспоминание о давно забытой эпохе.

Затем наступал перерыв, — на середину поля выходил оркестр преображенцев, и начиналось прохождение гвардии, шедшей в ротных, так называемых александровских, колоннах, сохранившихся от наполеоновских времен. Красноватый оттенок мундиров Преображенского полка сменялся синеватым оттенком Семеновского, белыми кантами Измайловского и зелеными — егерей.

Однообразие форм нарушал только Павловский полк, проходивший в конусообразных касках эпохи Фридриха Прусского и по традиции, заслуженной в боях, с ружьями наперевес.

В артиллерии, следовавшей за пехотой, бросались в глаза образцовые запряжки из рослых откормленных коней, подобранных по мастям с чисто русским вкусом: первые батареи на рыжих конях, вторые — на гнедых, третьи — на вороных.

После минутного перерыва на краю поля, со стороны Инженерного замка, появлялась блиставшая на солнце подвижная золотая конная масса. То подходила спокойным шагом наша первая гвардейская кирасирская дивизия. Она шла в строю развернутых эскадронов, на эскадронных дистанциях.

Перед царской ложей выстраивался на серых конях хор трубачей кавалергардского полка, игравший полковой марш, и торжественно проходил шагом наш лейб-эскадрон в развернутом строю; на первом взводе ехал Маннергейм. В последующие три года на этом месте ехал я — не без замирания сердца и стараясь ни на минуту не отклониться от направления на второе от угла окно дворца принца Ольденбургского.

После прохождения и ответа царю на приветствие надо было переходить в рысь, чтобы, перестроившись во взводную колонну и зайдя правым плечом, очистить место следующим эскадронам. Тут нельзя было терять ни минуты, так как позади уже слышался сигнал трубача, игравшего тот или другой аллюр.

Серебристые линии кавалергардов на гнедых конях сменялись золотистыми линиями конной гвардии на могучих вороных, серебристыми линиями кирасир на караковых конях и вновь золотистыми линиями кирасир на рыжих. Вслед за ними появлялись красные линии донских чубатых лейб-казаков и голубые мундиры атаманцев, пролетавших обыкновенно наметом.

Во главе второй дивизии проходили мрачные конногренадеры, в касках с гардами из черного конского волоса, а за ними на светлорыжих конях — легкие синеватые и красноватые линии улан. Над ними реяли цветные флюгера на длинных бамбуковых пиках, отобранных ими в турецкую кампанию.

Красно-серебряное пятно гвардейских драгун на гнедых конях было предвестником самого эффектного момента парада — прохождения царскосельских гусар. По сигналу «галоп» на тебя летела линия красных доломанов; едва успевала, однако, эта линия пронестись, как превращалась в белую — от накинутых на плечи белых ментиков.

Постепенно кавалерийские полки выстраивались в резервные колонны, занимая всю длину Марсова поля, противоположную Летнему саду.

Перед этой конной массой выезжал на середину поля сам генерал-инспектор кавалерии, Николай Николаевич. Он высоко подымал шашку в воздух. Все на мгновение стихало. Мы, с поднятыми палашами, не спускали глаз с этой шашки,

Команды не было; шашка опускалась, и по этому знаку земля начинала дрожать под копытами пятитысячной конной массы, мчавшейся к Летнему саду. Эта лавина останавливалась в десяти шагах от царя.

Так оканчивался этот красивый спектакль.

Слезая как-то с коня на полковом дворе, после одного из парадов, солдат моего взвода оперся на пику и сломал ее. Оказалось, что пики были из плохой сосны и, конечно, как и все прочие красивые доспехи, для войны не были приспособлены. И когда через несколько лет, на полях Маньчжурии, я ломал себе голову, силясь понять истинные причины наших поражений, то в числе других показательных примеров нашей военной системы передо мной неизменно вставала картина майского парада на Марсовом поле — эта злая насмешка, этот преступный самообман и бутафория, ничего общего с войной не имевшая.

К несчастью для русской армии, это пускание пыли в глаза, этот отрыв подготовки войск от действительных требований военного дела ощущался не только на Марсовом поле, но и на Военном поле Красносельского лагеря. Сколько раз, бывало, в Маньчжурии говаривали мы, бывшие гвардейцы, сталкиваясь с тяжкой военной действительностью: «Да, это тебе не красносельские маневры!»

Выступление в лагерь очень смахивало на красивый пикник. День для этого выбирался в начале мая — теплый, солнечный. Из сорока офицеров полка в лагерь выходило не больше двадцати — в большинстве молодежь. Остальные разъезжались по своим имениям, на заграничные курорты, и мы их до осени никогда не видели.

Полк вел новый командир полка, известный всему Петербургу «дяденька Николаев». Вся жизнь этого человека протекла между полковыми казармами и великосветскими салонами. Сын мелкого тульского дворянина, нажившего, как многие, хорошее состояние на откупных операциях после освобождения крестьян, этот красивый мальчик окончил с грехом пополам нетрудный курс Николаевского кавалерийского училища и благодаря своим деньгам был принят в кавалергардский полк. Кроме красивой «парикмахерской» внешности, он обладал очень важным свойством — умением молчать и этим

скрывать не только свое полное невежество, но и бедность словарного запаса. Попав, благодаря мундиру полка, в чуждую ему великосветскую среду, он усвоил основные требования, предъявляемые этой средой: уметь кое-как объясняться на французском языке, хорошо одеваться и иметь приличные манеры. С удивительным искусством он стал подражать представителям самых высших аристократических семейств, как, например, своему старшему товарищу по эскадрону князю Барятинскому, близостью с которым особенно гордился. Потом надо было завести хороший роман с какой-нибудь великосветской замужней дамой; барышни Николаева не интересовали, так как трезвая расчетливость отвращала его от каких бы то ни было обязанностей, связанных с семейной жизнью. Ему повезло, и со своими расчесанными, надушенными усами он одержал такую победу, о которой даже и мечтать не мог, — он был внесен в список фаворитов самой великой княгини Марии Павловны, жены Владимира Александровича, брата Александра III. С этой минуты его карьера была навсегда обеспечена, и он не только получил впоследствии командование кавалергардским полком и попал в свиту царя, но и, не ударив всю жизнь палец о палец, сделался на старости лет даже генерал-адъютантом. Большинство с этим мирилось, так как он никому не мешал, а те, кто возмущался, — молчали.

— Совокупность отрицательных качеств, — говорил про него мой товарищ Гриша Чертков, один из культурнейших офицеров полка, — дает, оказывается, положительный результат!

Командовал он полком так. Верный принципу: «Достигать результатов с наименьшей затратой собственных усилий», он предоставлял полную свободу действий двум своим помощникам, командирам эскадронов, и адъютанту. Зимой он выходил из своей квартиры прямо к завтраку в офицерскую артель, что позволяло ему услышать все текущие полковые новости. После завтрака он появлялся с большой гаванской сигарой в зубах в гостиной, куда адъютант полка Скоропадский приносил ему к подписи приказ и текущие бумаги. Отдохнув у себя на квартире, он на хорошей паре рысаков ехал на Морскую в Яхт-клуб, где садился за карточный стол или к зеркальному окну, из которого наблюдал за проходящими и проезжа-

ющими членами высшего петербургского общества. Здесь же он узнавал все великосветские и придворные сплетни. После обеда, по четвергам — во французский Михайловский театр, по субботам — в цирк, по воскресеньям — в балет, а в остальные дни — к Шуваловым или Барятинским на партию винта. Исключения в этом порядке дня бывали только в субботу, когда «дяденька» вместо двенадцати выходил из своей квартиры на полковом дворе в десять часов утра и шел в большой манеж. Здесь для поднятия строевой дисциплины он пропускал полк в пешем строю по нескольку раз церемониальным маршем и в одиннадцать часов проводил общую офицерскую езду. С двенадцати порядок дня Николаева входил в обычную норму.

Зато в лагере, в короткий период полковых учений и кавалерийских сборов, Николаев выводил полк в шесть часов утра, — с тем чтобы и тут не утомлять ни себя, ни людей жарой; все за это были ему благодарны. Выехав на Военное поле, «дяденька» спокойно подавал сигнал трубачам и начинал, как он выражался, «сбивать полк». При первом же прохождении он благодарил полк за службу и вселял этим во всех нас уверенность и спокойстие при перестроениях даже на самых резвых аллюрах. Начальство его ценило, полк получал благодарности, а «дяденька» принимал это со скромностью, повторяя, что другого он и не ожидал от своего полка.

Перед выступлением в лагерь он сговаривался заранее с бывшим офицером полка графом Александром Шереметевым, который на полпути в Красное — у Лигова — устраивал богатейший прием: завтрак на своей даче офицерам и угощение нижним чинам. Разумеется, что после этого песни пелись громче и путь казался короче.

Павловская слобода, где по дворам у крестьян располагался кавалергардский полк, составляла продолжение Красного Села, разбросанного вдоль довольно скверного шоссе. Это шоссе, с мягкой обочиной для верховой езды, тянулось до Военного поля шесть-семь километров. Ближайший к Военному полю отрезок этого шоссе по мере приближения конца лагерного сбора, связанного с царским приездом, постепенно принимал все более и более нарядный вид. Перед деревянными дворцами великих князей и высшего военного начальства благоухали

цветы, дорожки посыпались яркожелтым песком, и пыльное шоссе поливалось по нескольку раз в день из бочек, развозившихся на одноконных повозках. Потом появлялась неизбежная дворцовая полиция и конные гвардейские жандармы, которые, в отличие от гражданских жандармов, носили светлоголубые нарядные мундиры. Наконец, приезжали военные прелестно разодетые дамы, и ходить на учение становилось не так скучно, как в начале лагерного сбора. Вообще в течение двух-трех недель в году Красное напоминало роскошное дачное место.

Так называемый «главный лагерь» тянулся на семь километров вдоль пологого ската долины речонки Лиговки, начинавшейся у живописного Дудергофского озера. Высокая гора Дудергоф скрывала в своем густом лесу и на дачах не один роман юнкеров с офицерскими женами.

Главный лагерь, предназначавшийся для пехоты, состоял из рядов белых палаток, перед которыми была посыпанная песочком линейка. Обычно безлюдная, она оживала лишь в девять часов вечера, когда ее заполняли обитатели палаток. Дневальные, стоявшие под деревянными «грибами», на все голоса, как петухи, распевали приказ дежурного по лагерю: «Надеть шинели в рукавы-ы!» Затем звучали сигнальные рожки, игравшие в темпе марша пехотную зорю и заглушавшие полный поэзии мотив кавалерийской зори. После нескольких минут тишины, посвященных перекличке, рев многих тысяч голосов оглушал все окрестности пением молитвы «Отче наш».

За палатками зеленела сплошная полоса березовых рощ, в глубине которых вдоль шоссе вытянуты были ряды офицерских дач, окрашенных в цвета мундиров соответственных гвардейских полков.

На другом берегу долины Лиговки вдоль Военного поля тянулся авангардный лагерь, предназначенный для армейской пехоты и военных училищ. Кавалерийские полки занимали по традиции всегда одни и те же деревни, разбросанные в районе десяти километров от Военного поля.

Пехотные стрельбища тянулись во всю длину позади главного лагеря.

Они были хорошо оборудованы на все дистанции. Здесь-то и проходила та часть обучения — стрельба из

винтовок, — на которую было обращено особое внимание в русской армии после войны 1877 года; в этой войне, как и в Крымской, героизм русского солдата был сломлен превосходством ружейного огня его противника.

Что же касается маневрирования, то до русско-японской войны реформы коснулись только нашего рода оружия — конницы, а пехота передвигалась на поле сражения по давно устаревшим правилам.

Мы только что получили новые строевые уставы, разработанные, в противоположность обычаям, в весьма короткий срок. Их написал начальник штаба генерал Палицын, объехавший предварительно со специальной комиссией кавалерийские школы и полки Германии, Австрии и Франции.

Пара, составленная из волевого, но взбалмошного Николая Николаевича и спокойного до комизма, но образованного и хитрого «Феди Палицына», удовлетворяла требованию о том, чтобы в начальнике соединялись воля и ум.

Результаты реформы не преминули сказаться. Изо дня в день вся русская кавалерия меняла свое лицо. Стих «вой» команд, передававшихся когда-то хором всеми начальниками до взводных командиров включительно, и взамен этого, по простому знаку шашкой, не только эскадрон, а целые дивизии развертывались веером в строй эскадронных колонн, производили заезды в любом направлении в полной тишине, и на полном карьере — слышался лишь топот тысяч копыт.

Но не нужно думать, что это произошло без затруднений. Дикий ужас охватывал всех старших кавалерийских начальников при появлении на поле долговязого всадника в гусарской форме, Николая Николаевича. Генерал-инспектора сопровождал скромный генштабист с рыженькой бородкой, Федя Палицын; старый пехотинец, он на старости лет выучился галопировать на своей рыженькой кобылке.

«Лукавый», как прозвала Николая Николаевича вся кавалерия от генерала до солдата, заимствовав это прозвище из слов молитвы: «избави нас от лукавого», взирал на учение, бросив поводья на шею своего серого коня. «Федя» при этом что-то нашептывал.

Но вот сигнал: «Сбор начальников отдельных частей», и через минуту стек в руке «лукавого» образно

дополняет разнос подчиненных. Едкие фразы кажутся еще более ядовитыми от шипящего сквозь зубы голоса. Под конец стек взлетает резко в воздух, и слышится истерический крик:

— Я вам покажу, ваше превосходительство! Я вас выучу командовать! — или же попросту: — Вон с поля! Не хочу видеть моих гусар!

Некоторые командиры «с положением» при этом не робели, а командир гусар, недалекий, но невозмутимый князь Васильчиков после окрика: «Вон с поля!» спокойно отсалютовал, повернул коня и тут же при «лукавом» скомандовал:

— Полк по домам! Песенники, вперед!

В другой раз, на кавалерийском учении, заранее точно отрепетированном в честь приезда Вильгельма II, я со своим взводом в непроницаемой туче пыли изловчился занять в резервной колонне по сигналу «сбор» точное место в затылок одному из эскадронов 2-й кавалерийской дивизии. Каков же был мой ужас, когда через несколько секунд во фланг моего взвода врезался эскадрон желтых кирасир с вензелями императора на погонах. Зная свою правоту, я твердо решил не уступать им этого места, но тут же из облака пыли передо мной выросла фигура Николая Николаевича, который, оценив положение, взвизгнул на кирасир: «Живо, живо, желтяки!», — и закончил фразу в рифму матерным ругательством. Немцы, слава богу, из-за пыли этого заметить не могли, но командир кирасир, явившись в тот же день после учения к Николаю Николаевичу, заставил его извиниться перед офицерами полка.

Главным нововведением был полевой галоп, который в насмешку называли «па̀левым». Для него был введен специальный сигнал, а офицеры подобрали подходящие к мотиву слова:

Сколько я раз говорил дураку:
Крепче держись за луку!

Эту песенку относили не столько к слабым ездокам из новобранцев, сколько к пузатеньким генералам, полковникам и ротмистрам: многих из них этот «па̀левый» галоп довел не только до одышки, но даже до отставки.

Тот же сигнал заставил в конце концов всех кавалерийских офицеров запастись часами-браслетами с секун-

домерами, по которым надо было точно регулировать скорость галопа: две минуты двадцать секунд — верста, пять минут — две версты, десять минут — четыре версты.

Весь нажим при внедрении новых требований «лукавый» направил на старших начальников и на офицеров, выстраивая нас без частей по три в ряд и заставляя скакать полевым галопом четыре-пять верст по хертелям, сохраняя равнение.

Проходя ежедневно на Военное поле мимо двухэтажного здания красносельской гауптвахты, расположенной как раз вблизи дворца «лукавого», мы постоянно видели в окнах арестованных офицеров — и всё из кавалерийских полков; каждый из нас гадал, когда придет его черед.

Реформы генерал-инспектора встретили сопротивление со стороны вахмистров, отрастивших по традиции дородные пуза на «экономии» от фуража. Эти полуграмотные приказчики при помещиках — эскадронных командирах — устраивали «лукавому» настоящий саботаж, доказывая ему наглядно, что он губит кавалерию: русские лошади ходить, мол, как иностранные, галопом не могут. Обязанные выводить на учение девять рядов во взводе, они выстраивали по девять всадников только в первых шеренгах, задние же делались «глухими», то есть с пропусками: объясняли это хромотой большого числа коней. Или наполняли по вечерам мутную Лиговку конями всех мастей, демонстрируя этим, что непосильные требования новых уставов переутомляют ноги коней.

Одним из нововведений был вызов из строя во время учений постепенно всех начальников, с заменой их в строю младшими. И вот оказалось, что частенько, когда полком командовал какой-нибудь лихой корнет, а на взводе вместо «господ» становились унтер-офицеры, то полк маневрировал не хуже, а порой и лучше.

После учений на Военном поле нашему полку приходилось возвращаться шагом по пыльному шоссе, которому, казалось, и конца не было. Офицеры выезжали из строя и, едучи по мягкой обочине, беспечно болтали, а солдаты по команде «песенники, вперед» затягивали песни, к которым большинство офицеров относилось совершенно равнодушно; любителей русской песни среди нас было мало, и когда я иногда выезжал за запевалу, товарищей это явно шокировало.

Впереди полка, тотчас за трубачами, везли штандарт в сопровождении ассистента из офицеров, с шашкой наголо. Никому из нас не нравилось сопровождать штандарт. Офицеры прозвали эту «полковую святыню» — Эрнестом, по имени модного петербургского ресторана; под этим псевдонимом штандарт фигурировал в наших спорах, и солдаты не могли поэтому догадаться, о чем мы торгуемся после вопроса — кто едет сегодня к Эрнесту?! Нельзя же всегда было говорить по-французски, чтобы скрывать от своих солдат то, что́ мы хотели скрыть от них.

Лагерный сбор заканчивался большими корпусными маневрами в царском присутствии. Для господ офицеров это являлось большим событием, связанным с отлучкой из насиженных за лето красносельских дач. Появлялись на сцену комфортабельные собственные офицерские палатки, устилавшиеся подчас драгоценными персидскими коврами. Главной заботой полка была перевозка офицерской артели — с буфетчиками, поварами, посудой и тяжеловесным полковым серебром. Все это тянулось на крестьянских подводах. Полковой обоз разбухал до невероятных размеров, особенно из-за подвод, нанимаемых офицерами на собственный счет для перевозки их палаток и чемоданов.

Места биваков были известны заранее, и потому, подойдя к месту ночлега, мы находили уже палатку-дворец, в которой, при свете канделябров, подавался изысканный ужин с винами и шампанским, совсем как в городе. Лакеи и денщики стлали в палатках походные постели для «господ», и только длинные ряды коней на коновязях напоминали ржанием о нашем военном ремесле.

Мне, впрочем, редко удавалось пользоваться всем этим комфортом, так как я попал в число тех четырех-пяти офицеров, которых заранее предназначали в начальники разъездов. Самыми опасными «противниками» в этих случаях считались казаки, которые на своих легких конях пробирались в ночное время по пересеченной местности с большей легкостью, чем наши тяжеловесные разъезды.

Если для нас, молодых офицеров, все эти полурусские названия, как Хейдемяки, Кавелахты, Парголовы, все эти угрюмые леса и приветливые на первый взгляд, а на

самом деле непроходимые, болотистые луга представляли собой действительно незнакомую и интересную обстановку, то для нашего начальства, изъездившего эти места вдоль и поперек в течение добрых двух или трех десятков лет, все это было хорошо известной частью Военного поля. Такую-то возвышенность всегда полагалось атаковать с юга, а вот X попробовал обойти ее с востока, ну и осрамился перед самим великим князем — главнокомандующим.

Этим людям было все наперед известно, и я никогда не забуду, какой был конфуз, когда казачья бригада под командой генерала Турчанинова, получив, как и мы, свободу действий с девяти часов вечера, решила, после хорошей попойки, не ожидать, как было принято, рассвета, а двинулась против нас ночью на рысях и, не дав опомниться сторожевому охранению, застала всю первую дивизию мирно спящей на биваках.

— Нахальство. Где же это видано,— ворчал наш вахмистр Николай Павлович, возвращаясь с этого позорного маневра и делясь со мной впечатлениями. — Жаль щей и каши, что эти разбойники вывернули из походной кухни...

Последние два-три дня маневров все от мала до велика мечтали лишь об «отбое» и заранее гадали, где бы он мог состояться. Прошли уже времена, когда «отбой» обязательно должен был быть подан на Военном поле у Красного Села. В мое время намечался известный прогресс, и царь выезжал на тройке за несколько верст от Красного Села, где после «отбоя» он лично присутствовал на разборе маневров, не решаясь, однако, проронить при этом ни единого слова.

Царский приезд на несколько дней обращал лагерный сбор в сплошной великосветский праздник. Здесь еще оставались в своем неприкосновенном виде красносельские скачки, описанные в «Анне Карениной». Вспоминая Вронского, я одно лето готовил под руководством англичанина-тренера своего красавца Лорд-мэра; увы, он был побит чистокровным рыжим Чикаго, напоминавшим своим экстерьером и мастью того Гладиатора, с которым соревновалась лошадь Вронского.

Тут же у трибун скачек царь раздавал призы лучшим стрелкам, ездокам и даже кашеварам. Между кашеварами ежегодно устраивались состязания в варке

щей и каши, для чего котлы врывались заранее в один из склонов Дудергофской горы; судьями были фельдфебеля, и призы присуждались тайным голосованием.

После скачек все неслись на тройках, пáрах и извозчиках в Красносельский театр, где самую видную роль на сцене балета играла Кшесинская, которой любовались сразу все три ее последовательных августейших любовника — сам Николай II, его молодой дядя Сергей Михайлович и совсем еще юнец, младший брат будущего претендента на престол, Кирилла, Андрей.

На другой день все то общество, что было в театре, незадолго до заката солнца собиралось у церкви главного лагеря, где должна была происходить «заря с церемонией».

Перед парадной палаткой выстраивался сборный оркестр от всех гвардейских полков, около тысячи человек, исполнявший заранее отрепетированные музыкальные произведения. Впереди него и в нескольких шагах от царя стоял старейший барабанщик, барабанщик Семеновского полка, с большой седой бородой. Он взмахивал палками барабана, и музыка стихала. Старик, четко повернувшись к оркестру, командовал: «На молитву. Шапки долой!», после чего, при последних лучах заходящего солнца, внятно и раздельно читал «Отче наш».

Присутствовавшая на «зоре» петербургская знать, штабные карьеристы и блестящие гвардейцы, толпившиеся у трибун для дам, смотрели на нее как на обязательную служебную церемонию, давно потерявшую свой внутренний смысл. Едва успевала она окончиться, как все они спешили удрать в тот же Красносельский театр или на веселые ужины с наехавшими из Питера разряженными дамами всех рангов.

Лагерь был кончен, поезда, набитые до отказа, увозили в столицу все офицерство, а Красное Село замирало до следующей весны.

На второй год пребывания в полку я уже считаюсь хорошим строевиком, и хозяин офицерской артели штабротмистр Александровский приглашает меня к себе помощником в учебную команду — унтер-офицерскую школу, куда он, к великому его смущению, назначен заведующим.

Разочарованный в своих надеждах научиться чему-либо в эскадроне, я с радостью принимаю это предложение. Но вскоре я узнаю, что и здесь всем военным образованием ведает унтер-офицер Кангер, а мне поручены лишь грамотность, арифметика и винтовка.

— Не мешайся, — говорит мне Джек Александровский, — Кангер знает все лучше нас с тобой.

Главным занятием в учебной команде была, конечно, верховая езда, производившаяся ежедневно в большом манеже. В середине стоит раздушенный, жирненький Джек, с бородкой Генриха IV. Всем своим видом он напоминает элегантного французского буржуа. Обычно добродушный и корректный, в манеже он обращается в зверя, кричит и неистово щелкает бичом, хотя ничего в езде не понимает. Пар валит клубами от несущихся коней: люди на полном карьере должны соскакивать и вскакивать в седло. Они не робеют, и на земле остаются только вольноопределяющиеся, очутившиеся впервые в седле.

Я предлагаю Александровскому позволить мне заняться с вольноопределяющимися отдельно в те часы, когда учебная команда находится на устных занятиях. Он соглашается.

Мои новые ученики считают ниже своего достоинства и полученного ими высшего образования подчиняться безусому корнету, которого они к тому же встречают в петербургских салонах. Они не могут примириться с тем, что я обращаюсь с ними, как с другими солдатами. Более выправленными и дисциплинированными оказываются бывшие воспитанники Александровского лицея, сохранявшего с давних времен обычаи полувоенного заведения, но зато бывшие студенты университета — князь Куракин, ставший после революции священником в одной из парижских церквей, и граф Игнатьев, мой двоюродный брат, — принимают военную муштру за смешную и обидную обязанность, с которой надо мириться, чтобы попасть в кавалергардский офицерский клуб.

Отдыхаю душой только на занятиях в классе, где пахнет конским и человеческим потом и где каждое мое слово принимается как откровение старательными учениками, из которых сорок процентов окончили только сельские школы, а сорок процентов — совсем безграмотные и попали в учебную команду как отличные строевики.

По вечерам я превращаюсь в сельского учителя, исправляя диктовки и арифметические задачи.

На третий год получаю, наконец, самостоятельный и ответственный пост заведующего новобранцами своего эскадрона. Их сорок три человека, и я для них с декабря по апрель являюсь высшим и единственным авторитетом. Среди них много украинцев, несколько уроженцев Дона и Северного Кавказа, чувствующих себя с первого же дня на коне как дома, сметливые ярославцы, два весельчака-москвича, угрюмый петербургский рабочий и несколько латышей, попадавших всегда в наш полк из-за роста и белокурых волос. Латыши — самые исправные солдаты, плохие ездоки, но люди с сильной волей — обращались в лютых врагов солдат, как только они получали унтер-офицерские галуны.

Я гордился своими новобранцами. Мне казалось, что, зная их всех поименно, проводя с ними на занятиях круглый день, с шести часов утра до пяти-шести часов вечера, покупая им на свой счет новые белые бескозырки вместо грязных казенных, жалуя, опять же на свой счет, шпоры лучшим ездокам, читая их письма из деревни, заботясь об их здоровье, отпуская бесконечные чарки водки для поощрения за хорошую езду, — я выполнял не только мои обязанности по службе, но и являлся для них «отцом-командиром».

Позже я понял, что близким для них человеком был только полуграмотный унтер-офицер Гаврилов, мой помощник, а я был барином, исполнявшим по отношению к солдатам почти обязательные традиции нашего помещичьего полка.

В страстную субботу читаю в приказе по полку: «Завтра, по случаю пасхальной заутрени, в залах Зимнего дворца от эскадрона «ея величества» назначается почетный караул в составе тридцати нижних чинов, при унтер-офицере и трубаче под командой корнета гр. Игнатьева. Форма одежды парадная, в белых мундирах, в супервестах, в касках с орлами, в лосинах, ботфортах и перчатках с крагами».

Величественные и ярко освещенные залы дворца постепенно наполняются придворными в раззолоченных мундирах, сенаторами в красных мундирах с расшитой

золотом грудью, высшими чиновниками в черных мундирах, генералами и офицерами гвардии. Все рассматривают с любопытством наш караул, стоящий в середине большого Николаевского зала.

Ничто не напоминает о том, что поводом для этого собрания явился религиозный праздник. Все пышно и церемонно, как всегда.

Стук палочки церемониймейстера и гробовая тишина, среди которой раздается только моя команда: «Палаши вон! Слушай на караул!»

Царь идет под руку с царицей и, взглянув на караул, холодно произносит:

— Христос воскресе, кавалергарды!

— Воистину воскресе, ваше императорское величество! — по разделениям отвечают кавалергарды, вкладывая в эти слова не больше чувства, чем в обычные, предусмотренные уставом, ответы начальству.

И снова гробовая тишина.

На следующий день веду опять свой караул во дворец для «христосования» с царем. Там уже собраны по традиции все караулы, несшие службу в пасхальную ночь.

Я хорошо не знаю, в чем будет состоять церемония.

Царь подходит ко мне и христосуется, как со старым знакомым. Императрица подает мне руку, целую ее и получаю фарфоровое яйцо, которое боюсь уронить, так как руки заняты и палашом, и каской, и крагами.

Но мой сосед, унтер-офицер, красавец Муравьев, не смущается и проделывает точно ту же церемонию. И правофланговый, латыш Михельсон, и украинец Яценко — все следуют его примеру, и все оказываются настоящими придворными кавалерами.

Изумляюсь, но при выходе из зала Муравьев мне объясняет, что вахмистр Николай Павлович весь великий пост «репертили и давали целовать ручку».

Возвращаемся по набережной и служим предметом восхищения катающихся элегантных дам и нарядной толпы, запрудившей гранитные тротуары.

Апрельское солнце играет на касках с серебряными орлами и на наших могучих палашах. Нога ступает твердо и уверенно по гладкому деревянному торцу мостовой, шаг у людей спокойный, кавалерийский, полный достоинства.

А еще год назад вел я этих великанов в зипунах и дырявых полушубках под мокрым ноябрьским снегом из Михайловского манежа, где производилась разбивка новобранцев. Они стояли в манеже запуганные, с бессмысленным видом, и гигант преображенский унтер-офицер брал по очереди каждого из них за плечи, разбирая отметку мелом на груди, которую ставил великий князь, главнокомандующий. Затем он отталкивал отобранного к толпе унтер-офицеров, ожидавших дневной «добычи» для своего полка.

А еще через три года поведу я их на вокзал полупьяной толпой, уволенных в запас. Вся военная дисциплина слетит с них при выходе из казарм, и на вокзале я буду избегать с ними заговаривать, немного опасаясь этих людей, опьяневших не только от водки, но и от счастья. Для них ведь служба в гвардии не была веселым времяпрепровождением.

Мой последний лагерный сбор в полку закончился для меня сюрпризом. За два дня до окончания больших осенних маневров, начавшихся в Финляндии и закончившихся, как полагается, поближе к Военному полю Красного Села, нас, «отступающих под напором превосходных сил противника», завели на бивак в какой-то очень зловонный огород на самой окраине Выборгской стороны, в двух километрах от собственных казарм. Здесь была назначена дневка. Все ворчали, и я в том числе. Неожиданно ко мне подъехал полковой адъютант Скоропадский и объявил, что я и Волконский назначены ассистентами при штандарте на открытие памятника Александру II в Москве и что я должен немедленно выехать в Москву, чтобы устроить помещение для сводного гвардейского кавалерийского полка.

Я не имел понятия, что это за памятник, но, приехав в Москву, узнал, что на заборе, окружавшем место постройки, какие-то досужие московские остряки вывели углем надпись:

Бездарного строителя
Безумный выбран план:
Царя-освободителя
Поставить в кегельбан.

Действительно, памятник был бездарный: небольшую фигуру Александра окружали колонны, напоминавшие своим видом кегли.

Кроме московского гарнизона, узкого служебного мира и, конечно, полиции, никто в «первопрестольной» этим торжеством не интересовался.

Сводный гвардейский полк, назначенный на торжества, состоял из первых взводов всех двенадцати кавалерийских полков.

Так как точного расписания воинского поезда я добиться не мог, то, соединившись с комендантом Николаевского вокзала по телефону, мы со Скоропадским решили облачиться в строевую форму с вечера и коротать ночь у «Яра». То был еще старый деревянный «Яр», гордившийся не только своим хором цыган, но и так называемым «пушкинским» кабинетом.

Ночь прошла тоскливо. Скоропадский терпеть не мог цыган и навевал, как всегда, своим рассеянным видом и бесцельно устремленным куда-то взором истинную скуку.

На рассвете мы встретили эшелон, и я повел свой взвод по ужасающим московским булыгам к Покровским казармам, где размещался Самогитский гренадерский полк. Немедленно по прибытии Скоропадский объявил, что я как представитель 1-го полка должен первым вступить на дежурство по сводному полку.

Ровно в полдень, в час обеда в русской армии, ко мне в офицерское собрание пришел наш взводный и таинственно доложил, что люди отказались есть обед, настолько он плох, и что Николай Павлович «беспокоятся и прислали спросить меня, как быть».

Войдя в помещение полка, я прежде всего увидел своих вскочивших с кроватей кавалергардов. Перед ними стояли чашки с нетронутым обедом. Попробовав из первой попавшейся чашки, я убедился, что суп — это безвкусная жиденькая бурда, а каша нестерпимо пропахла дымом. Люди молчали. Рядом, за колоннами арки, так же молча вытянувшись, стояли великаны-брюнеты, все как один с бородками, — конногвардейцы. Дальше были гатчинские кирасиры — брюнеты с тонкими усиками, рядом с ними — грубоватые и светлые блондины, царскосельские кирасиры. И у гвардейских казаков, чубатых бородачей, до еды никто не дотронулся. Старшина их первой сотни, украшенный «георгием» и медалями еще

за турецкую войну, с достоинством мне заявил, что «пища казакам не пригожа». Та же примерно картина повторилась и во взводах второй гвардейской дивизии. У черномазых конногренадер, белобрысых драгун и варшавских гродненских гусар, в их малиновых чихчирах, а также и лейб-гусар и улан никто обеда есть не стал.

Я обходил сводный полк, стоявший в угрюмом молчании, и невольно залюбовался этими людьми. Никогда русская гвардия не представлялась мне такой красивой, как при этом обходе. Самые физически сильные и красивые представители народов необъятной России были собраны здесь, в казармах Самогитского полка.

Никакого начальства, разумеется, в полку в этот час уже не было, и выход из положения для меня был один: если казенного пайка не хватает, а люди голодны, то надо их кормить из собственного кармана. На счастье, в бумажнике оказался сторублевый билет, припасенный для дорогой московской жизни, и не больше как через полчаса люди моего взвода уже несли для всего полка мешки с колбасой и ветчиной.

Вернувшись в собрание, я надеялся сам поесть, но никто мне этого не предлагал, и большой обеденный стол был даже не накрыт. Дежурный по Самогитскому полку, седеющий капитан, и его юркий помощник, краснощекий подпоручик, тоже как будто ничего не ели. Прождав весь день, я к вечеру все же решился спросить по секрету одного из двух вестовых — совершенно забитых на вид самогитцев, нельзя ли что-нибудь получить в буфете и притом иметь право заплатить за это? К немалому моему удивлению и радости солдатик просиял, вероятно от возможности услужить, и, ответив: «Так тошно, обязательно заплатить», — исчез. Уплетая через несколько минут глазунью, я ругал себя за свою глупую гвардейскую деликатность, помешавшую мне считать офицерское собрание доступным не только для своих, но и для чужих офицеров: я не мог себе представить, чтобы меня как гостя не угощали.

Угощение, впрочем, состоялось, только много позже. Перед вечером стали собираться офицеры Самогитского полка, которые не то с подобострастием, не то с чувством отчужденности рассматривали мою гвардейскую форму, которую они видели впервые. Я чувствовал, что их поражали моя почтительность к старшим в чине и

простое, товарищеское отношение со своими сверстниками. Дежурный капитан все старался удержать своего помощника от беседы со мной и считал только себя достойным, на правах равного по должности, быть с гвардейцем в корректных служебных отношениях.

Одновременно с офицерами приехал их командир полка — высокого роста статный шатен, с подстриженной бородкой, с иголочки одетый. В нем без труда можно было узнать бывшего гвардейца. Когда я рапортовал ему, он пожал мне руку почти как старому знакомому. Затем он присел к столу, а офицеры, стоя навытяжку, ловили каждое его слово.

— Завтра его императорское высочество, великий князь, главнокомандующий, произведет репетицию высочайшего парада. Вам, господа, надлежит быть в мундирах первого срока и уж, разумеется, не в нитяных перчатках, как ваши, — при этом он указал на побагровевшего от стыда дежурного капитана, — а в чистейших замшевых.

После минуты смущенного молчания один из командиров батальонов, подполковник с обрюзгшим бесцветным лицом, голосом, в котором чувствовался страх, попросил разрешения быть в мундирах второго срока, так как все офицеры сделали себе новые мундиры для высочайшего парада и светложелтые воротники могут за один раз выцвести на солнце.

— Тогда надо иметь не один, а два новых мундира, — ответил тоном, не допускающим возражений, командир полка.

О перчатках уже никто не смел заикаться, хотя я чувствовал, что их у офицеров, конечно, не было.

Дав закончить командиру полка разговор в непривычном для меня жестком тоне, я, горя желанием чем-нибудь отомстить этому гвардейскому хаму за несчастных офицеров, попросил разрешения доложить об инциденте с обедом. По показанию кашеваров и командира довольствовавшего нас батальона, обед был испорчен из-за спешки, вызванной отсутствием своевременного распоряжения от полковой канцелярии. Это я особенно подчеркнул. Меня немедленно и уже в более смелом тоне поддержал один из капитанов с круглым брюшком, а командир полка стал подобострастно передо мной извиняться

и просить все вызванные этим дополнительные расходы отнести за его счет. После этого он скрылся.

Меня окружили офицеры и, услышав, что я искренно возмущен командиром, стали наперерыв рассказывать подробности их горькой судьбы под властью этого недавно к ним назначенного бывшего гвардейца.

— Неужели, — спрашивали они меня, — у вас, в Петербурге, все такие бессердечные?

Тут же образовалась компания, предложившая выпить за мое здоровье.

— У вас, конечно, пьют только шампанское?

— Нет, — говорю, — больше всего я люблю водку.

— Что вы, что вы! У нас ведь есть даже красное вино.

Пришлось согласиться на вино, но когда бутылка была открыта, то офицеры, попробовав, потребовали льда, до того было трудно выпить этот сладкий квас в натуральном виде.

Электричества не было. Горел небольшой бронзовый канделябр, слабо освещавший высокие каменные своды собрания. Глубина пустынной залы и соседний аванзал оставались во мраке. Мрачно было и у меня на душе.

Компания рассказывала мне до рассвета про житье-бытье московского гарнизона, о том, как было трудно, особенно женатым, прожить на офицерское жалованье в девяносто рублей в месяц подпоручику и в сто двадцать — капитану. Да к тому же из этих денег шли вычеты на букеты великой княгине и обязательные обеды, а мундир с дорогим гренадерским шитьем обходился не менее ста рублей.

Комнату дешевле чем за двадцать рублей в месяц в Москве найти трудно.

Вот холостые и спят в собрании, на письменных столах, там, в глубине; диванов-то, кроме одного для дежурного, у нас и нет.

Мне тем тяжелее было слушать все эти откровения, что жизнь офицеров первых гвардейских полков не имела с этим ничего общего.

Выходя в полк, мы все прекрасно знали, что жалованья никогда не увидим: оно пойдет целиком на букеты императрице и полковым дамам, на венки бывшим кавалергардским офицерам, на подарки и жетоны уходящим из полка, на сверхсрочных трубачей, на постройку

церкви, на юбилей полка и связанное с ним роскошное издание полковой истории и т. п. Жалованья не будет хватать даже на оплату прощальных обедов, приемы других полков, где французское шампанское будет не только выпито, но и разойдется по карманам буфетчиков и полковых поставщиков. На оплату счетов по офицерской артели требовалось не менее ста рублей в месяц, а в лагерное время, когда попойки являлись неотъемлемой частью всякого смотра, и этих денег хватать не могло. Для всего остального денег из жалованья уже не оставалось. А расходы были велики. Например, кресло в первом ряду театра стоило чуть ли не десять рублей. Сидеть дальше 7-го ряда офицерам нашего полка запрещалось.

Умение выпить десяток стопок шампанского в офицерской артели было обязательным для кавалергарда. Таков был и негласный экзамен для молодых; надо было пить стопки залпом до дна и оставаться в полном порядке!

Для многих это было истинным мучением. Особенно тяжело приходилось некоторым молодым в первые месяцы службы, когда старшие постепенно переходили с ними на «ты»: в каждом таком случае требовалось пить «брудершафт». Некоторые из старших, люди более добродушные, сразу пили с молодыми на «ты», а другие выдерживали срок, и в этом случае продолжительность срока служила критерием того, насколько молодой корнет внушает к себе симпатию. На одном празднике меня подозвал к себе старейший из бывших командиров полка генерал-адъютант граф Мусин-Пушкин и предложил выпить с ним «брудершафт». Однако после традиционного троекратного поцелуя он внушительно мне сказал:

— Теперь я могу тебе говорить «ты», но ты все-таки продолжай мне говорить: «ваше сиятельство».

Все праздники походили один на другой. После богатейшей закуски с водкой всех сортов и изысканного обеда или ужина стол ставился поперек зала и покрывался серебряными жбанами с шампанским и вазами с фруктами и сластями.

Сначала в зал входил хор трубачей, славившийся на всю столицу прекрасным исполнением даже серьезной музыки.

Русские военные капельмейстеры в русской гвардии были редкостью, и в нашем полку эту должность уже

многие годы занимал «херр Гюбнер», носивший форму военного чиновника, но, конечно, не приглашавшийся к «барскому столу».

Веселье не клеилось. Тогда вызывали полковых песенников и начиналось собственно «гуляние». Если песенники затягивают песню «Я вечор, моя милая, я в гостях был у тебя», — то все офицеры нашего эскадрона встают, так как это эскадронная песня, и выпивают стопку шампанского. «Ты слышишь, товарищ, тревогу трубят», — заводят песенники, и тот же ритуал проделывают офицеры 3-го эскадрона, и так дальше.

В интервалах между песнями поют бесконечные «чарочки» — всем по старшинству, начиная с командира полка, причем каждый должен выйти на середину зала, вытянуться, как по команде «смирно», с низким поклоном взять с подноса стакан шампанского, затем обернуться к песенникам и, сказав: «Ваше здоровье, братцы», — осушить стакан до дна. В эту минуту солдаты его подхватывают и подымают на руках, он должен стоять прямо и выпить наверху еще один стакан вина. Иногда поднимают по нескольку офицеров сразу, и тогда начинаются длинные речи, прославляющие заслуги того или другого эскадрона, того или другого офицера. А песенники должны держать «господ» на руках до команды «на ноги!»

Бывало, весной уже светает; несколько офицеров сидят в биллиардной, куда доносятся звуки все той же «чарочки», остальные продолжают пить в столовой. Однообразие, скука гнетут, многим хочется идти спать, но до ухода командира полка никто не имеет права покинуть офицерской артели. Так на всех праздниках — полковом, каждого из четырех эскадронов, нестроевой команды, на каждом «мальчишнике», на каждом приеме офицеров других полков — круглый год и каждый год, а для некоторых, быть может, и всю жизнь...

Никто не задумывается над тем, что эти «гуляния» шли вразрез с воинским уставом, каравшим нижних чинов за пьянство, и с военным законом, строже каравшим за преступление, совершенное в пьяном виде. Сломать эту традицию никто не смел или же не хотел. К тому же общие попойки были едва ли не главным связующим звеном в офицерской среде, а некоторые из полковых офицеров даже с солдатами знакомились благодаря вы-

зову песенников и с удивлением замечали среди них то новых унтер-офицеров, то неоперившихся новобранцев.

Лучшим песенником был запевала нашего эскадрона, лихой унтер-офицер Пурышев. Его за душу бравший баритон вызывал общие похвалы, ему подносили офицеры полные бокалы шампанского, и он пил и пил все больше, до дня, когда я прочел в приказе по полку о его разжаловании в рядовые за пьянство. Шесть месяцев спустя он был переведен в разряд штрафованных, а еще тремя месяцами позже — наказан розгами за «неисправимо дурное поведение».

Так был погублен нами талантливый человек.

Должен оговорить, что полк наш считался среди других гвардейских полков скромным, а главное — «не пьющим», не то что лейб-гусары, где большинство офицеров разорялось в один-два года, или конная гвардия, в которой круглый год шли знаменитые «четверговые обеды» — уйти «живым» с такого обеда было нелегко.

Зато на этих обедах устраивались крупные дела, раздавались губернаторские посты и даже казенные заводские жеребцы. Полк этот поставил из своей среды все царское окружение, как то: министра двора — барона Фредерикса, гофмаршала — графа Бенкендорфа, князей Долгоруковых, Оболенских и даже директора императорских театров Теляковского. Большинство великих князей предпочитало служить или числиться в конной гвардии. Бывали периоды, когда засилие прибалтийских баронов в этом полку доходило до того, что, по рассказам моего отца, они попросту выживали из него чисто русских дворян.

На одном из первых царских парадов, в котором я участвовал, ко мне подъехал конногвардеец Сережа Долгорукий, будущий флигель-адъютант, и серьезно спросил, почему наш полк недостаточно громко кричал «ура» при объезде фронта царем? «Недостаточно «репертили», — шутя ответил я, хотя из намека Сережи понял, что они, конногвардейцы, считали себя более верноподданными.

Русская контрреволюция, испробовав вождей из флота и армии, остановила свой выбор в конце концов на типичном представителе той же конной гвардии бароне Врангеле.

«Черный барон» имел и смолоду ту же внешность, которая знакома теперь каждому по плакатам и карикатурам. Я встречал его в юности на великосветских балах, где он выделялся не только своим ростом, но и тужуркой студента горного института; он был, кажется, единственным студентом технического института, принятым в высшем обществе.

Потом я встретил его уже лихим эстандарт-юнкером конной гвардии, когда он в компании с моим младшим братом гусаром держал офицерский экзамен и просил меня, окончившего в то время Академию генерального штаба, помочь на полевых поездках. Врангель за несколько месяцев военной службы преобразился в высокомерного гвардейца. Мне же в то время гвардейская служба уже так осточертела, что я посоветовал этому молодому инженеру бросить полк и ехать на работу в знакомую мне с детства Восточную Сибирь. Как это ни странно, но доводы мои подействовали, и Врангель отправился делать карьеру в Иркутск.

Следующая наша встреча была совсем неожиданной — на платформе железнодорожной станции Чита, когда я проезжал там, отправляясь на японскую войну.

— Не мог же я не вернуться в такую минуту на военную службу, — сказал мне, как бы оправдываясь, Врангель и лихо заломил большую черную папаху забайкальского казака.

Тогда он показался мне искренним, но на театре войны я скоро должен был разочароваться в этом ловком, блестящем юноше. Он то и дело разыскивал меня где-нибудь, чтобы «посоветоваться» — какой орден стоит променять на лишний чин: ему хотелось нагнать два потерянных для военной службы года; куда устроиться, чтобы выделиться или чем-нибудь отличиться.

А по окончании войны, в Петербурге, он опять заехал ко мне, чтобы спросить моего совета, как бы одновременно и пройти курс Академии генерального штаба, и попасть в офицеры конной гвардии, и как «оседлать» в этом полку товарищей, большинство которых он в душе считал ничтожеством. Больше мы не виделись. Но в 1920 году из Крыма в Париж приехал ко мне посланец Врангеля, просившего поверить его «чисто демократической крестьянской и земельной реформе».

Нарвавшись на хороший отпор, сей посланец ограничился просьбой дать ему хотя бы мою визитную карточку с надписью: «Здравствуй, Пипер», как мы звали в свое время Врангеля. Это было уже смешно. «Ну и слабы же вы, — ответил я, — если даже моя карточка вам нужна».

Полковая жизнь тесно переплеталась с жизнью высшего светского общества. Еще будучи пажом, я понял, что попасть в высшее общество совсем не так просто и что главным препятствием для меня в этом отношении является мое долгое пребывание в провинции. Первые два года меня из-за дружеских чувств к моим родителям приглашали иногда только Шереметевы, Вяземские и Сипягин, женатый на Вяземской. Вместе с двумя-тремя подобными семьями они хотя и принадлежали к высшему петербургскому свету, но составляли в нем обособленное ядро с ярко выраженным патриархальным и помещичьим оттенком. Французский язык, в противоположность высшему свету, у них был не в моде. Они щеголяли исконными русскими обычаями, вкусами и даже пищей.

Помню, как мой камердинер Иван, замечая мое одиночество, советовал пойти погулять — или по набережной, или в Летний сад. Мне уже тогда бросилось в глаза, что вход в этот сад был воспрещен «собакам и нижним чинам». Позднее, выйдя в полк, я был возмущен, когда узнал, что вахмистр Николай Павлович должен был довольствоваться для прогулок со своими детьми пыльным полковым двором, в то время как в Летнем саду на уютных скамеечках сиживали с барышнями безусые юнкера первого года службы.

Отношение ко мне высшего света изменилось, как только я надел кавалергардский мундир. Посыпались приглашения, большей частью на французском языке.

— Ваше сиятельство, — говорил мне мой старый Иван, — на приглашения отвечать надо, а если трудно, так вот у меня сохранились от бывшего моего барина, графа Канкрина, французские формы ответов на все случаи жизни.

Петербургский сезон длился всего несколько недель — от рождества до воскресения на масленой. В понедельник первой недели поста звонили церковные колокола, закрывались театры на целые семь недель, и в течение этого времени разрешалось приглашать друг друга

на вкусные скоромные обеды, но и не «оскоромливаться танцами». Весной высшее общество встречалось на Стрелке, на Елагином острове. Знакомые раскланивались, двигаясь непрерывной цепью колясок и дрожек вокруг Елагинского пруда. А летом — лагерь или дачи, отпуск в имении или в Париже, куда наезжало столько «бояр рюсс», что французы прозвали осенний сезон русским.

Выезды в свет зимой заключались в том, что каждый вечер нужно было надевать вицмундир и каску и ехать около одиннадцати часов вечера в один из тридцати — сорока домов, куда ты бывал приглашен на бал. Частенько ты даже не знал хозяев в лицо и просил первых встречных указать тебе хозяйку дома.

Каждый вечер ты встречал тех же самых барышень, которых приглашали на танцы те же самые офицеры; фраки составляли редкое исключение.

Каждый вечер танцующим раздавались бантики и гвоздики из Ниццы, а в богатых домах в залу вносились корзины с розами и сиренью. Каждый вечер тот же примерно ужин, и бегство с котильона в четыре часа утра под предлогом утреннего манежа.

Выезды в свет представляли для молодых офицеров чуть ли не служебную обязанность, и каждый полк имел своих почти профессиональных танцоров. Каждый вечер дирижировал танцами тот же улан Маслов и играл на рояли одни и те же вальсы тот же тапер Альквист.

В углу зала всегда на тех же местах сидели мамаши, зорко наблюдавшие за тем, кто танцует с дочерью мазурку. Две-три мазурки подряд с тою же барышней компрометировали ее, и свадьба на «Красную горку» считалась обеспеченной, можно было уже готовиться нанести осенью визит новой полковой даме.

Никому, конечно, в голову не приходило говорить на всех этих приемах не только о полковой службе — это была тайна офицерской артели, но и о России, о которой никто не вспоминал; заграницу мало кто знал, а уж о политике никто и не заикался.

Любопытно, что на этих приемах почти нельзя было встретить представителей многочисленного в Петербурге дипломатического корпуса. Но зато они были желанными гостями в единственном в своем роде политическом са-

лоне графини Клейнмихель. Эта стареющая вдова была между прочим близко знакома с императором Вильгельмом. Однажды в Берлине наш хорошо осведомленный военный атташе сказал, проходя со мной по Аллее побед:

— Всем здесь поставили памятники, а вот старуху Клейнмихель забыли... а уж она заслужила перед немцами.

Другим прибежищем для дипломатов являлся Яхт-клуб, где, впрочем, им подавали обед отдельно от русских и в другой час. Естественно, что роскошный обед располагал членов Яхт-клуба — крупных сановников — к откровенным разговорам. Подслушать их однажды попробовал не кто иной, как германский морской атташе, лично состоявший «при особе» Николая II, адмирал фон Гинце. Задержавшись после обеда дипломатов, он спрятался за ширмой. Но на его беду лакей случайно опрокинул ширму. Глазам обедавших представился титулованный представитель «дружественной» державы. Рассказывали, что этот прожженный шпион не очень даже смутился.

Присмотревшись постепенно со стороны к жизни царской семьи, я понял, что все там прежде всего помирают от скуки, будучи отгорожены от жизни непроницаемой стеной. Я понял то наслаждение, с которым вдовствующая императрица Мария Федоровна, родом датчанка, освобождала себя ежегодно на несколько недель от «русского плена», чтобы иметь возможность побегать на свободе по магазинам своего родного Копенгагена. Царская семья была резко отделена даже от высшей петербургской знати.

Несколько более открыто жили «малые дворы», то есть дворы великих князей и княгинь. Каждый из них имел собственную свиту: управляющего двором — генерала, адъютантов, фрейлин из великосветских барышень и толпу лакеев и низших служащих. Как фрейлины, так и лакеи в парадных случаях носили цвета, присвоенные двору. У Владимира был малиновый цвет, у Константина — желтый, у Ксении — розовый и т. д. Этих же цветов бывали и сетки, покрывавшие рысаков в зимнее время.

По Петербургу ходили глухие слухи о пьяных оргиях Николая Николаевича. Однажды на рассвете, под конец

попойки, в своем дворце в Петербурге Николай Николаевич стал хвастать коллекцией оружия. Введя гостей в кабинет, он снял со стены кавказскую шашку и одним ударом отрубил голову своей великолепной белой борзой.

Но подобные сцены происходили за стеной, отделявшей Романовых от остального мира, и лишь шепотом передавались в высшем свете. Последний был в свою очередь отгорожен крепкой стеной от всего, что считалось недостаточно знатным.

Самыми недоступными в этом свете являлись «доморощенные лорды» с их дамами, как Белосельская, родом американка, Трубецкая, Орлова, Бобринская, говорившие по-русски или с природным, или со специально привитым английским акцентом. Особенно смешон был один из их постоянных кавалеров — «лорд в казачьей форме», Иван Орлов, перенявший от них этот модный акцент.

В нашем полку этих дам окрестили общим нарицательным именем «чирята»; оказалось, что они еще во время коронации в Москве, увидев в обеденном меню название жаркого «чирята», как подлинные иностранки, попросили объяснить им — что бы это значило? Некоторую брешь в этой стене пробивали лишь большие балы в Зимнем дворце, на которые приглашалось до трех тысяч человек.

Существовало общество второго сорта, более смешанное, составленное из офицеров вторых полков и семейств чиновников всех ведомств. Постепенно в это общество влились финансовые и промышленные тузы, но кавалергардам в нем бывать не рекомендовалось.

В поисках более культурной среды я попробовал было возобновить знакомство с интеллигентной киевской еврейской семьей Киршбаумов, где встречались музыканты и писатели, но с первых же вечеров почувствовал, что моя белая фуражка и шпага делают меня чужим в их среде.

Высший петербургский свет знал об интеллигенции, которой была так богата наша северная столица, только понаслышке, и я помню, что посещение графиней Ферзен, урожденной Долгоруковой, пьес Чехова было воспринято окружающей средой как верх вольнодумства.

Правящий петербургский свет представлял собою добровольную тюрьму, созданную заключенными в ней аристократами. Многие из нее бежали, если не навсегда, то

хотя бы на короткий срок, за границу, а я замечал, что даже в Москве и в Варшаве дышалось легче.

Существенную роль, сопряженную во всяком случае с неимоверным утомлением и затратой времени, играли обязанности, связанные с религией. Нигде, кажется, на земном шаре не бывало столько покойников, и нигде они не доставляли столько хлопот, как в Петербурге. Как только в «Новом времени» появлялось объявление в черной рамке о смерти какого-либо члена высшего общества, не только дальние родственники и близкие друзья, но просто связанные знакомством с каким-либо родственником умершего считали своей обязанностью прежде всего лететь на панихиду на квартиру. Таких панихид совершалось по две — точно в два часа дня и в восемь вечера. Все дамы облачались в черные платья с крепом, что многим было к лицу; офицеры должны были быть в так называемой «обыкновенной форме», то есть в той же парадной, но при погонах вместо эполет и иметь черную повязку на левом рукаве. Панихиды служили, как это ни странно, удобным местом свиданий, так как в гостиной, где лежал покойник, места бывало мало из-за бесчисленных венков, и большинство хотя и имело свечи в руках, но, не слушая богослужения, толпилось в соседних комнатах и коридорах. Многоутомительны бывали дни похорон, приходилось решать: заехать ли только утром на вынос из квартиры и сделать для вида несколько шагов за траурной колесницей, или так рассчитать время, чтоб словчиться попасть к концу отпеванья в один из монастырей. Весной приходилось бывать на свадьбах, где уже в церкви шли оживленные разговоры, ничего общего с «таинством брака» не имевшие. Если ко всем этим светско-религиозным обязанностям прибавить добрый десяток так называемых царских дней, когда приходилось в полной парадной форме являться по наряду в Исаакиевский собор, то можно составить себе некоторое представление о том, что заставило Гришу Черткова одобрить мое бегство из полка.

Три раза обернулся для меня годовой цикл этой жизни, и я с ужасом спросил себя, выдержу ли четвертый.

Отвести душу можно было только с Гришей Чертковым, племянником толстовца Черткова, моим старшим офицером в эскадроне.

— Взгляни, — говорил он мне, показывая на обеденный стол артели, — кто сидит во главе стола, кто удовлетворяется подобной жизнью и засиживается в полку на десятки лет. Все, кто поспособнее, бегут отсюда, устраивают свою жизнь иначе... В каждом эскадроне по одному, много по два любителя строевого дела, а для остальных полк и высший свет только трамплин для прыжка в губернаторы или просто способ убить время.

— А я вот решил готовиться в академию. А то завязнешь, как завязли в полку наши милые старички.

— Да, конечно, академия, — задумчиво ответил Чертков, — но не люблю я «моментов».

Так называли тогда генштабистов за пристрастие многих из них к таким выражениям, как «надо поймать момент», «это момент для атаки» и т. п.

Глава седьмая

АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
(1899—1902)

Однажды, зайдя в дом к моему дяде Николаю Павловичу, состоявшему почетным членом конференции Академии генерального штаба за труды в Китае и Средней Азии, я застал всю его семью в необычайном волнении: дядя заперся в кабинете и отказывался кого-либо видеть. Зная, что Николай Павлович относится ко мне с особой симпатией, тетя посоветовала постучаться. Когда я вошел в кабинет, дядя, сухонький старичок, в серой военной тужурке, сразу начал горько жаловаться, что сын его Коля не справился с академическим курсом.

— Осрамил, осрамил, — повторял Николай Павлович, и лицо его при этом выражало самое серьезное огорчение.

Бедный толстяк Коля, человек очень начитанный, но нерешительный и неуверенный в себе, провалился на первом курсе академии, кажется, по астрономии и, согласно уставу, был отчислен в тот же день обратно в Преображенский полк. После этого, через год, он держал снова, наравне со всеми, конкурсный вступительный экзамен. Успешно окончив на этот раз два первых курса, он получил на дополнительном курсе какую-то отвлеченную

военную тему и, найдя, что она ему не под силу, сложил оружие и вновь вернулся в полк. Это-то и привело в отчаяние самолюбивого до крайности графа Николая Павловича.

Между прочим, жизнь моего двоюродного брата складывалась впоследствии благополучно и без академии. Отменный строевик, с течением времени он стал флигель-адъютантом и в мировую войну командовал преображенцами. Но на беду о нем вспомнил командир гвардии генерал Безобразов, прозывавшийся, вероятно за наивность, «Бэбэ».

«Бэбэ» не выносил, как и многие гвардейские начальники, «вот», — как он прибавлял при каждом слове, — генштабистов и, решив доказать, что Коля, «вот», не хуже настоящих «моментов», — призвал его на должность начальника своего штаба. С горечью, должно быть, вспоминает и по сей день, застряв в Болгарии, толстый Коля ту злосчастную операцию на Стоходе, в которой они с «Бэбэ» погубили цвет доблестной русской гвардейской пехоты, бросив ее в бесплодную атаку по случаю безобразовских именин.

Многие, провалившись, как Коля, в академию, мстили ей нарочитым презрением. Отзывы Гриши Черткова о «фазанах» и «моментах» были ходячей характеристикой офицеров генерального штаба. И в гвардии и в армии академию считали специальным поприщем для карьеристов и ловчил.

Я лично не слишком всему этому верил, и скромный коричневый двухэтажный домик на Английской набережной, сами стены которого пропахли, казалось, еще традициями времен Жомини, представлялся мне храмом военной науки. Я думал, что немыслимо стать образованным и культурным офицером, не пройдя школы академии. Здесь я надеялся спастись от той тины полковой и великосветской жизни, в которой увязали один за другим окружавшие меня офицеры. Сыграла роль и семейная традиция Игнатьевых, а также обещание, которое я дал отцу еще мальчиком, когда, поступив в кадетский корпус, начал свою военную карьеру.

Из рассказов всех неудачников, вроде Коли, можно было заключить, что не только сама академия, но даже вступительные в нее экзамены были чем-то вроде скачек по крайне пересеченной и полной сюрпризов местности.

Однако стоило мне ознакомиться с программами, как я убедился, что они мало чем отличаются от курсов, пройденных в Киевском и Пажеском корпусах. Как только полк ушел в лагерь, я, получив для подготовки полагавшийся трехмесячный отпуск, удалился от столичных соблазнов в тихое Чертолино и, как заправский студент, забыв про строевую службу, засел прежде всего за чтение толстейших томов истории Ключевского и Кареева. История и география хуже всего преподавались в кадетском корпусе. Сказывалось также отсутствие в России в ту пору порядочных учебников по географии.

Программа вступительных экзаменов по математике не предусматривала даже аналитической геометрии, и за математику я был вполне спокоен. Что же касается военных предметов: тактики, артиллерии, фортификации, администрации, — то к ним я даже не прикасался, настолько были свежи в памяти курсы Пажеского корпуса. Пришлось только подзубрить вновь вышедшие уставы по артиллерии, так как на вступительном экзамене требовалось отличное знание уставов как общих, так и всех трех родов оружия. Большим, конечно, облегчением для меня было знание с детства трех европейских языков.

Явившись в начале августа в академию, я нашел ее коридоры запруженными офицерами всех родов войск — от лысеющих штабс-капитанов до таких же юных корнетов, как я сам. Все были в парадной форме и входили по очереди к начальнику учебной части, маленькому, ядовитому полковнику генерального штаба Чистякову, который с этой же минуты внушал к себе всеобщую неприязнь из-за своего иезуитского и пренебрежительного отношения к слушателям.

Чистяков давал каждому из нас для ознакомления приказ о допущении к экзамену. Нам предписывалось явиться на следующий день для представления начальнику академии генералу Сухотину.

Сухотин сразу обнаружил свой «демократизм», поставив нас в шеренги по алфавиту, а не по полкам. Обходя ряды, он как бы умышленно не задал ни одного вопроса гвардейцам. Они, впрочем, не в пример остальным, держали себя непринужденно, так как провал на экзаменах не означал для них ни особого горя, ни тем паче позора. Между тем для большинства результат экзаменов был вопросом жизни или медленного, томительного умирания

в глухих гарнизонах. Армейские офицеры подобострастно раскланивались при встрече с офицерами генерального штаба, в которых видели будущих экзаменаторов. Так и чувствовалось, что их мысли то и дело переносятся в глухую провинцию, где с замиранием сердца ожидают результата экзаменов их жены и дети.

По установленному с давних пор порядку, первым был экзамен по русскому языку. Требовалось получить не менее девяти баллов по двенадцатибалльной системе; оценка складывалась из баллов, полученных за диктовку и сочинение. Экзамена по русскому языку особенно боялись, так как наперед знали, что он повлечет за собою отсев не менее двадцати процентов кандидатов.

В полутемную старинную аудиторию нас набилось около четырехсот человек, и я оказался зажатым где-то в задних рядах между двумя совершенно мне не известными армейскими пехотными офицерами. Все, как полагалось на экзаменах, были в служебной форме, то есть в мундирах, при погонах и орденах.

Когда всем была роздана бумага, профессор русской словесности Цветковский начал внятно диктовать отрывок из «Пугачевского бунта». По два, по три раза он повторял каждую фразу. Напряжение росло поминутно, и казалось, что в самом обыкновенном слове таится какой-нибудь подвох.

Жаль, конечно, что в то время не существовало советской орфографии, так как сделанная мною ошибка не была бы теперь принята в расчет. Фантазия моя ввела меня в заблуждение: воображая, что Пугачева, заключенного в плен, окружали мальчики, а не девочки, я написал «маленькие дети» вместо «маленькия дети», забыв правило о множественном числе существительных среднего рода, тождественном не с мужским, а с женским родом. За это мне сбавили два балла. Затем я где-то поставил лишнюю запятую, за что мне был сбавлен еще один балл, и оказался из-за этого близким к роковому пределу. Но меня с блеском выручило сочинение, на которое после краткого перерыва было отведено два полных часа. К этому моменту на пяти-шести черных досках, стоявших на возвышении кафедры, было написано не менее тридцати тем самого разнообразного характера, а именно: «Вступление Наполеона в Москву», «Полтавская битва», «Характер русской женщины по Тургеневу»,

«Романтическое течение в русской литературе», «История завоевания Сибири» и т. п.

Выбор мой пал, однако, на затерявшуюся среди этого нагромождения короткую заповедь: «Помни день субботний». Наслышавшись дома о промышленном росте во всех странах, а в особенности в Америке, о замене вольного кустарного труда обезличивающей, как мне объясняли, машиной, о рабстве, созданном для человечества этой машиной, об ускорении темпа трудовой жизни вообще, — я соблазнился желанием применить Моисееву заповедь к действительным потребностям человека в отдыхе в современной обстановке.

Заглянув в мой лист с заголовком темы, сосед очень сочувственно предупредил меня о неминуемом моем провале; но это лишь ободрило меня, укрепив в мысли, что тема моя уже потому хороша, что никому из присутствующих не придет в голову ее выбрать. Так, впрочем, и случилось, — сочинение мое заслужило высокую оценку.

После отсева из-за русского языка нас разбили на группы по алфавиту, причем в последней группе, кроме русских офицеров с фамилиями на «я, ш, щ», числились пять офицеров болгарской армии. Они были сумрачны и необщительны, за исключением одного лишь ротмистра Ганчева, носившего блестящую опереточную форму, присвоенную конвою длинноносого короля Фердинанда. Много выведал о русской армии этот «рубаха-парень» и немало оказал, вероятно, услуг своему королю, а еще больше, быть может, его союзнику — германскому императору Вильгельму, при котором в мировую войну он состоял военным уполномоченным.

Совсем не был похож на Ганчева старший из болгарских офицеров по чину и возрасту — Марков: он был характерным представителем той части своей молодой армии, которая продолжала ориентироваться на Россию.

Больше всего среди державших экзамены было артиллеристов, носивших бархатные воротники, что являлось уже само по себе признаком принадлежности к ученому роду оружия. Многие из них подчеркивали свою образованность тем, что носили пенсне или очки — явление в армии редкое, — и вообще держали себя с некоторым чувством превосходства над скромными пехотинцами и легкомысленными кавалеристами.

Вопреки моим ожиданиям оказался опасным экзамен по математике. Мой однополчанин, кавалергард Горяинов, провалился по этому предмету, несмотря на свой университетский значок, и так как это случилось как раз накануне моего собственного экзамена, то можно представить себе мои треволнения.

За длинным столом сидели имевшие вид пришельцев с того света два старика в ветхих черных сюртуках генерального штаба с потускневшими от времени серебряными аксельбантами и генеральскими погонами.

Один из них, профессор Шарнгорст — маленький, седенький, с наивным, почти детским выражением лица, говорил мягко, вкрадчиво, но не без ядовитости, а другой — Цингер — высокий брюнет, с впавшими глазами и всклокоченными бакенбардами, ревел как лев, а в сущности, как потом оказалось, был гораздо безобиднее своего коллеги. Тут же присутствовал генерал — профессор Штубендорф. Эти три обрусевших немца были столпами, на которых держались в академии математика, астрономия и геодезия.

Я попал сперва к Шарнгорсту. Не удовлетворившись решенной мною задачей по извлечению корня третьей степени, он помучил меня еще и такими вопросами из теории чисел, на которые я отвечал больше по догадке, чем по знанию. Я понял, что программы для этого маленького человека имеют второстепенное значение.

— Переходите к геометрии. Что у вас там? Круг? Вот и отлично. — И вместо столь знакомых мне теорем по учебнику Семашко, на которых зиждилось все преподавание геометрии в корпусе, маленький генерал велел начертить просто круг, потом другой, побольше, и предложил определить центры всех третьих кругов, касающихся первых двух.

Подобных задач на построение в корпусе мы никогда не решали, и в программах о них не упоминалось. Шарнгорсту дела до этого не было, и он заставил меня мучиться у доски добрых два часа. То и дело мне приходилось стирать многочисленные хорды и перпендикуляры.

Доска стала уже сероватой, мундир мой покрылся мелом, горькая обида туманила сознание, а мой мучитель изредка только подходил и приговаривал: «А есть еще случай, вами неразобранный...» Вспоминал я в эти

минуты несчастного своего товарища Горяинова, и обидным мне казалось подвергнуться его участи.

В конце концов надо мной сжалился грозный Цингер, долго кричавший перед этим на моего соседа, элегантного измайловца. Молчание Шарнгорста было прервано его лаконическим:

— Смотрите, поручик, — очевидно, чин корнета, как слишком несерьезный, он не признавал, — переходите к тригонометрии.

Я отлично сознавал в эту минуту, что слово «переходите» совершенно не означало, что я не провалился. К счастью, по тригонометрии я получил высший балл — 12, что компенсировало мою неудачу по геометрии.

Перескочив два серьезных препятствия на экзаменационном «стипль-чезе» в виде русского языка и математики и потеряв при этом несколько «свалившихся», наша группа уже бодрее пошла на чисто военные препятствия — на экзамен по уставам. Целый день мы переходили от одного стола к другому, от одной черной доски к другой, излагая и рисуя по очереди уставные порядки всех родов оружия. По уставам экзаменовало пять полковников генерального штаба, каждый — по своей специальности и роду оружия, к которому он принадлежал до поступления в академию. Лучший прием мне был оказан бывшим кавалеристом, конногренадером, потерявшим, впрочем, всякий гвардейский вид и уже растолстевшим, хамоватым полковником Мошниным; он беседовал со мной, почти как с коллегой, давая почувствовать остальным экзаменующимся, что наше кавалерийское дело — это искусство, трудно доступное для простых смертных.

Тут полный балл для меня заранее был обеспечен, но вот зато следующий полковник, бывший артиллерист и профессор истории военного искусства в России Мышлаевский, встретил меня сразу очень сухо. Когда я начертил на доске все строи артиллерийского дивизиона по только что выпущенному уставу этого нового для России войскового соединения, то он, проверив цифры всех дистанций и интервалов, не давая мне докладывать, спросил:

— Кто состоит при командире дивизиона?

Назвав адъютанта, ординарцев, трубача, я пропустил двух разведчиков. Мышлаевский язвительно заметил:

— Ну, конечно, где там гвардейскому корнету помнить об артиллерийских разведчиках, — и сбавил мне за это сразу два балла.

На уставах наша группа не понесла потерь, но ощущала немалую тревогу, явившись через два дня на экзамен по главному военному предмету — тактике. По ней экзаменовали те два профессора, которые и читали этот предмет в академии: по элементарной тактике — полковник Орлов, по общей — полковник Колюбакин.

Николаю Александровичу Орлову, при его внешности и слащавом, вкрадчивом голосе, гораздо более подходила бы поповская ряса, чем мундир генерального штаба. Это был «деляга», использовавший свои недюжинные способности и изумительную память для заработка денег на военных изданиях и завоевания себе прочного положения в военной профессуре. Подленький характер этого человека особенно ярко проявлялся на экзаменах, когда он становился тем любезнее, чем вернее вел на провал намеченную наперед жертву. Он был глупо придирчив и старался «подловить» не по существу, а на какой-нибудь цифре, определяющей уставные дистанции или тактические положения. Его собственные тактические способности получили, наконец, должную оценку, но это обошлось, к сожалению, слишком дорого русской армии. Кому не известен разгром дивизии Орлова в сражении у Ляояна.

О высоком сухом человеке, с бакенбардами старинного типа, Колюбакине, боевом участнике войны 1877 года, мнения разделялись. Одни — и их было большинство — считали его если не сумасшедшим, то выжившим из ума, а другие, немногие, видели в нем носителя глубокой военной мысли, освобожденной от хлама схоластики и слепого поклонения форме.

Большинство офицеров, вызубрив назубок вторую часть бесталанного учебника тактики Дуропа, в точности воспроизводило на вступительных экзаменах примеры из этой книги, не забывая обозначать на доске те рощицы и холмики, что должны были пояснять тактические правила. Уже одно это выводило из себя Колюбакина, и его приказ стереть с доски красивый чертеж повергал экзаменующихся в отчаяние.

— Вы мне просто ответьте: какие цели должно преследовать сторожевое охранение?—спрашивал после этого глухим, загробным голосом Колюбакин.

В ответ следовало точное воспроизведение формулировок из полевого устава и учебника Дуропа.

— Да я вас не о том спрашиваю. Вы мне скажите: в чем заключается идея, которую нужно помнить, выставляя сторожевое охранение?

И пока офицер не поймет, что от сторожевого охранения прежде всего требуется перехватить все пути и доступы к охраняемой части со стороны противника, то есть что надо исходить не от своего бивака, а от расположения неприятеля, Колюбакин не успокаивался.

Когда я ждал своей очереди к Колюбакину, у доски стоял высокий, статный, уже лысеющий блондин, с жиденькой бородкой, в форме Фанагорийского князя Суворова-Рымникского полка, штабс-капитан Довбор. На его лбу и на висках от напряжения вздулись голубоватые жилы, и он, в конце концов пожав от возмущения плечами, решил прекратить прения со странным профессором.

Судьба надолго связала меня с этим человеком. В академии мы лойяльно боролись за первенство. По окончании академии я был, как и многие, поражен, прочитав в приказе, что, согласно представленным капитаном Довбором документам, фамилию его следует дополнить и именовать впредь — Довбор-Мусницкий. Объяснялось это просто. Академия была закрыта для офицеров польского происхождения. Наметив себе целью ее окончить, он носил в течение всех первых лет службы сокращенную фамилию и выдавал себя за лютеранина. Я встретил его на маньчжурской войне, где он обнаружил себя малоталантливым, но храбрым офицером штаба геройского 1-го Сибирского корпуса. И, наконец, значительно позже, в Париже, я получил от него письмо, в котором генерал Довбор-Мусницкий, бывший командир русского армейского корпуса, объяснял мне причины своего перехода в польскую армию.

На экзамене по тактике на мою долю достался билет о наступательном бое. Не дав мне возможности развить красноречие для определения каждой из трех главных частей боевого порядка — боевой части, частного резерва и общего резерва, — Колюбакин спросил:

— Для чего назначается общий резерв?

Как ни странно, но четкого ответа на этот вопрос в учебнике Дуропа не было. Автор как бы стремился сохранить за общим резервом значение некоего запаса боевых

сил на всякий неопределенный случай. Пока я размышлял, Колюбакин снова спросил:

— А помните Бауцен? Какая часть представляла у Наполеона в этом сражении общий резерв?

Я помнил обстоятельства сражения при Бауцене и сразу назвал имя прославленного маршала: Ней.

— Ну, так что же? — допытывался Колюбакин.

Догадка мелькнула в моей голове: Ней, находившийся в начале сражения вне поля действия, был введен со своим корпусом в нужную минуту, и это решило победу.

— Общий резерв, — ответил я, — предназначается для нанесения главного удара.

Колюбакин просиял и отпустил меня без дальнейших вопросов, поставив двенадцать.

От военных экзаминаторов мы перешли к штатским. По иностранным языкам надо было написать сочинение на заданную тему. По-французски я получил полный балл.

По немецкому языку мне сбавили один балл за то, что в изложении темы «Воспитание молодого воина» я спутал выражения «кригсшуле» с «милитэршуле».

Громадное большинство офицеров от писания сочинений отказалось и предпочло не рисковать, а переводить со словарем технический текст. Экзамен этот прошел без «потерь», и уже на следующий день мы попали в руки раздражительного и желчного профессора общей истории Форстена. Большинство вопросов сверх билета задавались им из эпохи французской революции, что было довольно странно в стенах академии. Как и у Колюбакина, один четкий ответ решал у Форстена оценку. Нынешний генерал-майор Савченко, мой товарищ по выпуску, помнит до сих пор свой экзамен по истории.

— В чем была суть реформ братьев Гракхов?—спросил Форстен.

— В восстановлении свободного крестьянства,—удачно ответил поручик Савченко, стоявший навытяжку в своем гренадерском мундире с высоким красным воротником.

Но вслед за ним, припоминаю, отвечал какой-то драгунский штаб-ротмистр и, получив билет по истории Персии, начал с того, что Дарий видел во сне лестницу... На этом его попытка попасть в академию и потерпела фиаско, так как Форстен сухо заметил, что «он не желает на экзамене слушать сказки...»

Для меня экзамен по истории прошел счастливо. В Пажеском корпусе хорошо преподавалась история французской литературы — предмет, к которому я и сам относился с интересом, и это помогло мне сделать Форстену доклад о французских энциклопедистах.

Много тяжелее пришлось мне на самом подходе к «финишу» — на экзамене по географии. По русской географии экзаменовал заслуженный профессор статистики и автор трудов по военной географии генерал Золотарев, а по иностранной — молодой полковник Христиани, восходящее светило академии.

Сидя по своему обычаю на краешке стола, с маленькой записной книжкой в руке, Золотарев с самым невозмутимым видом задавал один вопрос за другим.

— Назовите все пристани по Днепру, — кротким голосом попросил Золотарев экзаменовавшегося передо мной драгунского офицера.

— Как прикажете, ваше превосходительство: с верховьев или с низовьев? — рявкнул лихой драгун.

— Ну, начните хоть с низовьев, — ответил драгуну Золотарев, не подымая глаз от своей книжечки.

— Одесса, — ляпнул тот, а Золотарев, даже не удивился, но изобразил какой-то микроскопический знак своим карандашиком.

Никто из нас не знал, какие вопросы может задать Золотарев, потому что он игнорировал все программы и курсы, — но одно только твердо помнили: что нельзя было произнести название «Царство Польское», которое Золотарев требовал именовать «Привислянским краем». Он принадлежал к самым закоренелым русским националистам своего времени.

После вопросов о левых и правых притоках Припяти, о железных дорогах, соединяющих Москву с портами Балтийского моря, Золотарев потребовал, чтобы я ответил, где больше всего женщин в России? Сообразив, что, вероятно, там, где наибольшая плотность населения, я ответил:

— В Киевской губернии.

— А какой хлеб едят немцы? — спросил тем же тихим, бесстрастным голосом Золотарев.

Тут пришлось пуститься на догадки. Вспомнив о нашем кабальном хлебном договоре с Германией и о тверской ржи, я ответил:

— Ржаной.

Золотарев опять что-то черкнул в книжечке.

— А какой соли больше в России — каменной или поваренной?

Ответить на этот вопрос мне было нечего. Однако, исходя из того, что учебники говорили больше всего о поваренной соли, я решил, что, должно быть, на этом-то и построена каверза и очертя голову грохнул:

— Каменной!

Золотарев, не удержавшись, даже кивнул одобрительно головой.

Перейдя после этого к немым и совершенно изношенным картам, изображавшим все пять частей света, я долго и тщетно искал на них сведений о бассейне Тигра и Евфрата, но ничего, кроме воспоминаний о находившемся здесь «земном рае» да о каких-то непроходимых песках, мне в голову не приходило; что же касается состава населения, о котором меня допрашивал Христиани, и всяких так называемых «кочующих» и «полукочующих» племенах, то об этом у меня было представление совершенно смутное.

— Ну, назовите города на Тигре, — потребовал, наконец, Христиани.

Вижу их на карте два, но названия испарились, и, не желая, как некоторые, мычать наугад весь алфавит для отыскания первой буквы названия, — я молчу.

— А дамские туалеты вам знакомы? — спрашивает элегантный и красивый Христиани.

— Ну, как же, господин полковник! — обрадовался я.

— Так вот, подумайте. Какая модная материя обязана названием этому городу?

Как ни перебирал я в памяти все материи, употребляемые для верхнего и нижнего дамского туалета, но догадаться, что «муслин» происходит от города Мосул, я не смог.

— Ну, а чем торгует Смирна? — спросил Христиани.

Я назвал и хлеб, и лес, и розовое масло, и фрукты, и восточные ковры, но Христиани не удовлетворился этим, заявив, что он спрашивает только про тот товар, для которого Смирна является мировым рынком. Я молчу и чувствую, что окончательно гибну.

— Да кишмиш, — говорит Христиани.

— В первый раз слышу, — отвечаю я.

— Очень жаль, что все это вы слышите в первый раз на экзамене.

— Ну, а какие острова находятся в Атлантическом океане между Англией и Северной Америкой?

О них я тоже никогда не слышал и поэтому с некоторым недоверием рассматриваю две-три черных точки посреди голубого океана, опасаясь, не следы ли это летних мух.

— Так точно, — говорю я. — Это важная угольная станция, и принадлежит она англичанам, а вот название позабыл.

Для подобного ответа особого ума, правда, не требовалось, так как все важное и хорошее на мировых морских путях большей частью принадлежало англичанам.

— Но, быть может, вы в состоянии пообстоятельнее доложить о Южной Америке?

И это меня спасло от полного провала. К счастью, я хорошо вызубрил за лето все, что касалось этих стран.

Много волнений мне пришлось пережить в течение трех-четырех часов, пока не огласили результатов экзамена.

Наконец, дверь из аудитории открылась, и из нее вышел престарелый полковник Дагаев, наш курсовой начальник, тайный пьяница и картежник. По обыкновению не торопясь, он стал читать собравшейся у дверей толпе офицеров результаты экзаменов по географии. В середине списка слышу свою фамилию:

— Корнет граф Игнатьев — по русской географии 12, по иностранной — 7, средний — $9^1/_2$.

Это был последний экзамен. Я мог считать себя уже принятым в академию, так как в среднем по всем предметам получил свыше 10 баллов. В тот же день я пошел просить у Чистякова отпуска до начала лекций: для покупки верховой лошади на южных казенных заводах. Это показалось ему совершенно диким желанием, но все же я был отпущен.

Вступительная лекция на младшем курсе была прочитана профессором истории военного искусства генералом Гейсманом, по прозвищу «Гершка». Доказывая, что, вопреки измышлениям Льва Толстого, на свете действительно существуют военная наука и законы, ею управляющие, он с большим пафосом закончил лекцию словами:

— Итак, Толстой разбит!

Это вызвало в аудитории сдержанный смех.

«Гершка» ежегодно читал по написанному одну и ту же лекцию. Задолго до моего поступления в академию он напечатал свои учебники, или, как он их сам величал, «ученые труды», по истории военного искусства от Александра Македонского до Наполеона. Это была бесталанная компиляция объемом в добрые десять тысяч страниц. Под всеми примечаниями было тщательно отмечено: «примечание автора», из чего естественно явствовало, что самый текст был заимствован у кого-то другого.

Немало часов пришлось нам сладко дремать под гнусавый и монотонный голос «Гершки», пересказывавшего на лекциях почти дословно тот или иной из своих учебников. Память слушателей непрерывно засорялась именами, названиями населенных пунктов и цифрами — до глубины рвов каких-то средневековых голландских крепостей, сухими, лишенными всякой живости описаниями рыцарских боев, валленштейновских укрепленных лагерей и тридцати трех походов Евгения Савойского.

Седоватого и выцветшего со своим зеленоватым сюртуком Гейсмана в середине первого курса сменил на кафедре элегантный полковник в черном сюртуке от лучшего портного с великолепными серебряными аксельбантами и в белых замшевых перчатках. Взойдя на кафедру, он не торопясь снял перчатки, аккуратно сложил их, с такой же размеренностью движений отхлебнул воды из стакана. Глухим, бесстрастным голосом, как заведенная машина, стал он что-то очень скучно рассказывать об интереснейшем периоде мировой истории — о наполеоновских походах. Это был мрачный полковник Баскаков — гроза наша на экзаменах и практических занятиях. О нем мы еще на первом курсе узнали следующее: какой-то купец-старообрядец, наживший миллионы на астраханских рыбных промыслах, искал для своей дочери достойного жениха, но ставил условием, чтобы жених был обязательно старообрядцем. Ему повезло, так как вскоре он получил предложение от такого выдающегося претендента на руку его дочери, как Баскаков, который был не только старообрядец, но даже военный, и не только военный, но даже генерального штаба.

Полной ему противоположностью оказался мой строгий экзаминатор полковник Мышлаевский, будущий начальник генерального штаба, а в ту пору один из профессоров истории военного искусства в России. Он умело

рисовал в своих лекциях картины военной жизни даже самых отдаленных эпох и заканчивал курс описанием реформ Петра I. Он вселял в нас убеждение, что не всем мы обязаны Западу, высоко оценивал воинский устав времен Алексея Михайловича и доказывал, что этот документ русского военного творчества имел значение при составлении знаменитого петровского регламента. Нам, кавалеристам, приходилось между прочим очень по вкусу старинное русское военное правило, гласящее, что когда пехотному начальнику случится проезжать мимо конного строя, то ему предлагается предварительно «слезть и вести коня в поводу, дабы не вызывать смеху со стороны конников».

Чтение второй части этого предмета, посвященной послепетровской эпохе, было поручено тихому и незаметному полковнику Алексееву, изучившему ее со свойственной ему дотошностью до мельчайших деталей. Но чем больше он их нам преподносил, тем меньше мы получали представления о елизаветинских кирасирах и павловских гренадерах. Даже походы бессмертного Суворова изучались нами с бо́льшим интересом по печатным источникам, чем по лекциям Алексеева. Трудно понять, какие качества в этом усердном кабинетном работнике, лишенном всего, что могло затронуть дух и сердце слушателя, выдвинули его впоследствии фактически на пост русского главнокомандующего. Гораздо более ясен дальнейший и последний этап его карьеры: бедное талантами белое движение вполне могло удовлетвориться таким вдохновителем, как Алексеев.

Скука на лекциях была, впрочем, широко распространенным явлением в академии — бороться со сном приходилось и на артиллерии, и на геодезии, и на администрации. На лекции, в особенности по понедельникам, чем дальше, тем меньше являлось народу. Для контроля над посещаемостью командование завело при входе в аудиторию лист, на котором мы должны были расписываться. В ответ мы придумали простой способ: подделывать подписи отсутствующих товарищей. Расписался как-то и я за моего приятеля лейб-улана Юрия Романовского, а он, опасаясь кары начальства, возьми да и подай в тот же день рапорт о болезни! К счастью, никто не заметил, что Романовский одновременно и болен и здоров.

Для проверки основательности рапорта о болезни на квартиру офицера высылался обыкновенно академиче-

ский военный врач, которому, по заведенному обычаю, полагалось, во избежание «неприятностей», давать пять рублей за «визит».

Одним из немаловажных предметов первого курса, представлявшим лично для меня немалое затруднение, была так называемая «ситуация». В первый же день поступления в академию каждый из слушателей младшего курса получал на руки бронзовую выпуклую модель горки, или рельефа местности. Этот кусок металла нужно было изобразить на бумаге при помощи мельчайших штрихов, толщина коих должна была соответствовать крутизне скатов горки.

В течение полугода по два-три раза в неделю сидели мы, будущие руководители армии, над этой кропотливой до одурения работой, передавая друг другу по секрету, в виде особого одолжения, изощренные способы точить карандаш. Точили не только ножом и напильником, но даже стеклянной бумагой и бархатом. Старательным и бесталанным «ситуация» открывала дверь в рай!

Страсть к красивой отделке чертежей и схем, нередко без учета их внутреннего смысла, была в русской армии очень распространена; особенно процветала она в генеральном штабе.

С пережитками старины в академии не в состоянии был бороться даже такой энергичный новатор, как новый ее начальник генерал Сухотин. Всем нововведениям тупо сопротивлялась старая профессура, оставшаяся в академии от времен генерала Леера, автора знаменитых тогда работ по стратегии.

Сухотин взялся за разрушение той схоластической системы в преподавании военной науки, которая на протяжении многих лет воспитывала генштабистов-теоретиков, терявшихся при первом соприкосновении с войсками.

Он увеличил число и значение полевых поездок в летнее время и тактических задач в зимнее. К сожалению, здесь, как и когда-то в корпусе, бой — конечная цель военных операций — рассматривался только в конце курса, после целого ряда задач на бивачные и квартирно-бивачные расположения, охранения и походные движения. При этом никогда не учитывалась инициатива противника; при задачах на атаку противник обозначался сплошной линией со стрелкой, а при задачах на оборону — совсем

не обозначался, как будто ему так и полагалось — атаковать по желательным для нас направлениям.

Преобладали задачи по организации тыла и снабжения. С самим боем, с его бесчисленными перипетиями и неожиданными сюрпризами, нашему выпуску академии пришлось познакомиться значительно позже, непосредственно на тяжелом опыте русско-японской войны. Даже такое могучее средство боевого воспитания, как военная игра, совсем не практиковалось в академии.

Выполнение всех этих задач на дому отнимало столько вечеров, что на проработку многотомных курсов у меня не оставалось времени, тем более что великосветский Петербург не сразу отпустил от себя модного танцора и даже дирижера на больших придворных балах в Зимнем дворце.

На следующее утро после одного из таких балов меня вызвали с лекции на квартиру Сухотина, жившего в здании академии.

— Вы вчера, на высочайшем балу, — строго начал Сухотин, — позволили себе не заметить вашего собственного начальника. Потрудитесь доложить, каким образом вы попали на бал, кто вас назначил дирижером и по какому праву вы позволили себе явиться во дворец, не донеся об этом рапортом по команде?

Ошеломленный, я отговорился незнанием того правила, которое имел в виду Сухотин, и дело окончилось выговором с угрозой печальных для меня последствий.

В другой раз я пострадал за свое пристрастие к верховой езде. Приняв за правило ездить в академию верхом, я, проезжая на коне по Невскому, не отдал чести, как оказалось, Сухотину, который пользовался, конечно, только экипажем, за что последовал распек.

Отношения наши испортились. Сидя как-то в конце зимы за работой в своем кабинете на Гагаринской, я должен был принять чуть ли не в полночь нашу «классную даму», полковника Дагаева. С каким-то виноватым видом он попросил вручить ему, по приказанию начальника академии, все черновики выполненных мною за год тактических задач. К счастью, я не выбросил накопившиеся у меня и разбросанные в хаотическом беспорядке написанные и исчерченные листы.

Прошло недели две, и вот меня снова требуют к Сухотину.

— Полюбуйтесь, — говорит он, показывая разложенные на громадном столе в образцовом порядке мои черновики. — Смотрите, все для вас разобрал.

А я, не чувствуя иронии в своем ответе, четко говорю ему:

— Покорнейше благодарю, ваше превосходительство!

Когда же через несколько дней я встретил на лестнице академии полковника Колюбакина, то он, остановив меня, многозначительно сказал вполголоса:

— Постарайтесь подзубрить элементарную тактику, а то начальнику академии не нравится, что я поставил вам одному в классе двенадцать баллов за тактические задачи. Обещал сам быть на экзамене и требует от меня ручательства, что вы действительно знаете тактику.

Это мне отчасти объяснило ночную вылазку, предпринятую против меня Сухотиным.

Первый год учения совпал с празднованием юбилея Суворова, организованным по инициативе нашей академии. Состоялось торжественное заседание. Бессмертный русский полководец был официально причислен к списку «мировых великих полководцев». До этого «великих» насчитывали наши историки всего семь: Александр Македонский, Юлий Цезарь, Ганнибал, Густав-Адольф, Тюренн, Фридрих и Наполеон. Еще позднее академия причислила к ним и Петра Первого.

На той же академической конференции было решено, с высочайшего соизволения, разобрать и перевезти из Новгородской губернии в Петербург на территорию академии церковь, в которой великий изгнанник пел когда-то на клиросе. Вероятно, этим способом наше начальство надеялось поселить в стенах академии дух суворовской стратегии.

Все профессора прочли нам лекции о Суворове, но эпоха, в которой мы жили, была так мало проникнута героизмом: многое из того, что должно было бы затронуть военные сердца, звучало для нас как нечто очень далекое, почти мифическое. Иногда казалось, что во всей созданной по этому поводу шумихе проглядывало желание начальства «отличиться».

В понедельник первой недели великого поста, то есть примерно за месяц до начала экзаменационного периода, растянутого до конца мая, я вышел в дымную академическую курилку и громко заявил:

— Предлагаю начать готовиться со мной вместе к экзаменам тому, кто, как я, еще не открыл первой страницы учебника.

На большинстве лиц выразилось, конечно, полное недоверие к моим словам.

— Рисуетесь! — сказал Довбор, который наверняка уже давно начал зубрежку.

Но Якушев, черноусенький хорунжий, в темносинем казачьем чекмене, знакомый мне только по внешности, выступил вперед.

— Я в таком же положении, — сказал он мне не без лихости. — Давайте проходить курс вместе. Один будет читать, а другой искать названия по картам и вести конспект.

Помнятся мне эти тихие, белые питерские ночи в доме на набережной Невы, когда мы зажигали свечи всего на два-три часа. Один стоял у дедовского мольберта и читал про Рымник, а другой разбирался в палаточных лагерях, изображенных на схемах. Время от времени, усталые до одурения, бросались мы на несколько минут на громадный турецкий диван. Спать в кровати приходилось в продолжение многих недель не больше как по три-четыре часа в сутки.

Первым был у нашей группы экзамен по геологии, считавшейся второстепенным предметом. Геологию читал красноречивый и утонченно воспитанный профессор университета Иностранцев. Курс его проглатывался, как интересный роман, в два-три дня. Я вернулся с этого экзамена подбодренным, как после бутылки хорошего шампанского, но вечером звонок по телефону снова вызвал меня в академию. Я поспешил на Английскую набережную и застал здесь всех однокурсников, пораженных известием о самоубийстве нашего коллеги — скромного поручика туркестанских стрелков.

«Сегодня на экзамене, — писал он нам, — я едва получил удовлетворительный балл; я прочел все курсы уже три раза, тогда как большинство из вас не успело еще прочитать и половины. При таких условиях я решаю, что дальнейшая борьба бесплодна, и прошу товарищей позаботиться о моей семье, возлагавшей все свои надежды на мой успех в академии».

Прежде всего мы припомнили, что покойный не смог сегодня утром ответить экзаминатору, почему у рек в

России, текущих в меридиональном направлении, правый берег — высокий, а левый — низкий. Не довольствуясь этим объяснением, мы стали делиться друг с другом впечатлениями, которые на нас производил покойный поручик, и постепенно выяснили картину всей его недолгой военной карьеры. Мы узнали, что он, как и большинство слушателей академии, успешно окончил в свое время военное училище не то фельдфебелем, не то взводным портупей-юнкером; что, прельстившись усиленным жалованием, полагающимся офицерам на окраинах, он взял вакансию в далекий Туркестан. Скоро жалования хватать не стало, и он, прослужив два года сверх положенного обязательного трехлетнего срока в строю, посвятил все это время для подготовки в академию, окончание которой открывало на всю жизнь не только военное, но и гражданское поле деятельности.

Среди слушателей оказался еще один туркестанец, который рассказал, как покойный волновался уже на предварительных испытаниях при штабе округа. Наплыв желающих был громадный, и все знали, что в Петербург будут командированы только лучшие, не более трехсот—четырехсот человек от всех округов. Другие вспоминали, что он ходил как пьяный от счастья, когда узнал, что попал выше той роковой черты, которая отделила сто тридцать человек, принятых в академию, от остальных, выдержавших экзамены, но не принятых.

Он хватался за академию, как утопающий за соломинку. Ему казалось, что для успеха достаточно одного усердия, но в конце концов он отказался от борьбы и жизни. В ту пору самоубийство было, увы! нередким явлением в офицерской среде.

Один из старших моих товарищей по полку штаб-ротмистр граф Лорис-Меликов покончил с собой из-за измены какой-то певицы из венгерского хора. Также и талантливый молодой Ника Раевский пустил себе пулю в лоб из-за неуживчивого характера своей любовницы — танцовщицы императорского балета.

Помнился мне и рассказ отца о том гвардейском измайловском офицере, который в турецкую войну покончил с собой в ночь перед атакой, написав перед смертью, что он боится оказаться трусом в бою!

Мало внушительными, если не смешными, казались большинству слушателей академии настойчивые и повтор-

ные выкрики полковника Колюбакина на лекциях прикладной тактики.

— Для войны нужен прежде всего — *волевой человек!* Что такое волевой человек? Вот — Суворов! А Наполеон? Вот, — объяснял он, рисуя на доске квадрат, — Наполеон: воля равна уму.

Ни школа, ни семья, ни сами условия жизни не воспитывали в молодых представителях русской аристократии воли и жизненной стойкости.

Но возвратимся к экзаменам. Курс истории военного искусства составлял десять тысяч страниц. На подготовку же к экзамену давались всего двенадцать — четырнадцать дней.

Явившись в академию к девяти часам утра, как полагалось в мундире, при каске, я прождал в аудитории своей очереди до шести часов вечера, так как был последним по алфавиту в группе из двадцати офицеров. Кончил же я отвечать только около восьми часов. Вся аудитория была завалена стенными картами и схемами, среди которых отвечающий долго рылся, выискивая нужный материал. Мне не без труда удалось восстановить во всех подробностях картину походов Густава-Адольфа. Гейсман интересовался главным образом не тем, как великий полководец сражался, а подробностями подготовки им театра военных действий.

Мне казалось, что я сказал все, назвав множество заблаговременно подготовленных продовольственных складов и оборудованных заранее путей вторжения в Южную Германию, но «Гершка» заявил, что главного я не упомянул. Действительно, я забыл о наведенных на реке Шпрее мостах. Экзамен был испорчен, несмотря на отличный ответ у Баскакова о сражении под Ваграмом, изученном по талантливой книге Сухотина.

Тот же Мышлаевский, который отнесся ко мне с таким предубеждением на вступительном экзамене, оценил мои знания по истории военного искусства в России довольно высоко. Я докладывал о петровской кавалерии и сумел доказать, что создание драгун, сочетавших конный строй со стрелковым делом, было фактически предвосхищено предыдущим развитием русской конницы.

Когда после двух месяцев экзаменационной сессии все мы собрались, чтобы тянуть жребий на участки для

летних топографических съемок, то вид у нас был довольно потрепанный.

Из ста тридцати человек переходные экзамены на старший курс выдержало только около ста офицеров; остальные были немедленно отчислены в полки.

Сладко отоспавшись после многих бессонных ночей, я отправился позавтракать в свой родной полк, на Захарьевскую.

Что-то уже отделяло меня от полковых товарищей. Один только Скоропадский, будущий «гетман», стал меня расспрашивать про академические курсы. Он просил совета, где бы ему раздобыть учебники, так как рассчитывал, с немалым самомнением, осилить их самому, без всякой академии. Мне показалось излишним объяснять ему, что дело не столько в прочитанных книгах, сколько в той умственной тренировке, которую давала работа на младшем курсе академии.

Уезжая на съемки, я почувствовал какую-то особую гордость, впервые в жизни получив на руки порядочную сумму денег, составившуюся из летних суточных, денег на канцелярские принадлежности и т. п. Уже зимой, освобожденный от полковых расходов как находящийся в постоянной командировке, я мог брать из дому гораздо меньше денег; теперь же, и на всю жизнь, я становился самостоятельным и переставал быть бременем для семьи.

На двух офицеров выдавался один кипрегель, и потому мы с конногвардейцем Фаддеем Булгариным условились работать вместе; он был внуком пушкинского современника, показал себя впоследствии храбрым и дельным офицером на маньчжурской войне, но так же, как и многие, рано окончил жизнь самоубийством.

Первая съемка требовалась инструментальная — две квадратных версты, в масштабе сто сажен в дюйме. Срок для нее был три недели. Каждая веха накалывалась и обводилась кармином, каждый двор обмеривался цепью, план вычерчивался тушью, после чего его торжественно «крестили», обливая двумя-тремя ведрами воды, чтобы подготовить ватманскую бумагу для акварельной разрисовки.

Вторая съемка была полуинструментальная — четыре квадратных версты, в масштабе около двухсот сажен в дюйме. После этого нужно было за десять дней произвести съемку десяти квадратных верст, в масштабе двести

пятьдесят сажен в дюйме. Многие за такой короткий срок успевали тщательно отделать только ту дорогу, по которой предполагался проезд начальства. Предположения эти, однако, не всегда оправдывались. Наши хитроумные генералы, знавшие наизусть всю местность, выбирали порой предательские маршруты и, следуя на извозчике, выезжали не на показанную на планшете и «содранную» с карты дорогу, а на заросшую лесом тропу.

Это лето, проведенное большей частью в Царском Селе, было едва ли не заключительным аккордом моей светской петербургской жизни. По вечерам после работы нас с Булгариным частенько приглашали в гостеприимный дом гусарского полковника Чавчавадзе, где так было приятно забыть о пыльном участке съемки среди благоухающих цветов и прелестных гусарских дам.

На одном из таких вечеров мы встретили великого князя Бориса Владимировича. Он пригласил нас к себе на завтрак в воскресенье. Любопытно было взглянуть на пресловутый «коттедж», построенный исключительно из английского материала, без «единого русского гвоздя», как хвастался Борис Владимирович. Мы приняли приглашение и явились.

В небольшой уютной столовой, с необходимой для англичан принадлежностью в виде большого камина, сидело в то утро четыре молодых человека, почти сверстники: Кирилл, будущий «претендент» на российский престол, его брат Борис и мы с Булгариным.

— Не пойму я вас, Игнатьев, — сказал Борис, — зачем вам было покидать веселую полковую жизнь и лезть в эту «лавочку» — академию?

— Я думаю, что и вам, Борис Владимирович, было бы хорошо в нее пойти, — ответил я. — Баллы вам будут ставить получше, чем нам, и в армии вас, пожалуй, станут уважать больше, — шутливо сказал я.

— Вы с ума сошли, Игнатьев, я военную службу презираю. Париж, женщины — вот жизнь!

— Вам не следует нам этого говорить, — сказал я Борису.

Конечно, это был мой первый и последний завтрак, но двадцать с лишком лет спустя, в Париже, когда из-за моей службы советской власти все мои бывшие знакомые, а в особенности русские, перестали мне кланяться,

Кирилл, встретившись со мной случайно на улице Риволи, приостановился и сказал:

— Как вы были правы, Игнатьев, тогда на завтраке в Царском!

Что подразумевал этот неудавшийся «самодержец», — не знаю, но, вероятно, что-либо не очень утешительное для романовского семейства.

Не успел еще сойти с наших лиц загар от летней трудовой страды, закончившейся решением нескольких тактических задач на местности, как мы снова оказались в академических стенах и разместились в более просторной и светлой аудитории старшего курса.

Сами названия преподававшихся на старшем курсе предметов — стратегия, военная история, статистика, военная администрация, высшая геодезия и астрономия — указывали на более серьезный и ответственный характер учебной работы. Скучных лекций в новом году стало меньше. Самым невыносимым был профессор генерал Макшеев, уныло пересказывавший тяжелый курс сравнительной организации тыла и снабжения русской, германской, австрийской и французской армий. Самыми увлекательными были лекции красноречивого и всегда жизнерадостного профессора генерала Михневича, читавшего одновременно и историю войны 70-го года и часть курса стратегии, для многих разделов которой франко-прусская война давала наиболее современные образцы.

Русско-турецкая война 77-го года тщательно замалчивалась: больно много в ней было грубых и преступных ошибок высшего русского командования.

Интересно, что на старшем курсе мы не провели ни одного практического занятия по стратегическому сосредоточению и по использованию железных дорог для переброски войск, чему придавалось уже в то время первостепенное значение во французской и германской академиях генеральных штабов.

В середине учебного года распространился слух о включении впервые в курс военной истории Отечественной войны 1812 года, для чего должен был специально приезжать из Вильно генерал Харкевич. Розданные нам на руки первые страницы его еще не сброшированного труда оказались достаточно занимательными. Но сам Харкевич быстро нас разочаровал: так мало он походил на нашего общего любимца Михневича. Мундир генерального

штаба совсем не шел к его полуштатской профессорской фигуре.

Судьба привела меня под его прямое начальство в русско-японскую войну, на которую Куропаткин, как рассказывали злые языки, выписал Харкевича в качестве своего историографа. Таковым только он, должно быть, и чувствовал себя в боях под Ляояном, когда галопировал с нами, отыскивая в самый критический момент в высоких зарослях гаоляна собственного командующего армией. А ведь он был генерал-квартирмейстером армии! Мы, молодые генштабисты, про себя возмущались подобной дезорганизацией штабной службы, но Харкевич, с присущим ему профессорским равнодушием к практике, объяснял:

— Это, господа, уже не бой, а сражение.

Ни нам, ни армии от таких определений легче не было.

Колюбакин, высказывавший на младшем курсе оригинальные и здравые военные мысли, шедшие вразрез со школьным изложением тактики, на старшем курсе, читая часть стратегии, стал повторяться, и его постоянные словечки послужили даже темой для стихотворной сатиры на теорию военного дела.

Вот как наши доморощенные поэты излагали принцип неизменности основных законов войны:

Сражался голый троглодит,
Как грубым свойственно натурам,
Теперь же просвещенный Бритт
Трепещет в хаки перед Буром.
Но англичанин и дикарь
Хранят все свойства человека:
Как били морду прежде, встарь,
Так будут бить ее до века...

А вот еще о значении элемента местности:

Нельзя сражаться в облаках,
А шар земной совсем не гладкий...

и т. д. с заключительным выводом:

Пред боем, попивая чай,
По карте местность изучай!

Колюбакин, правда, был единственным из наших теоретиков-профессоров, подчеркивавшим значение психологического элемента в военном деле.

Самым же большим пробелом в нашей подготовке была полная неосведомленность о современной военной технике. Не нужно думать, что курс артиллерии в чем-нибудь касался ее применения в бою; это было только довольно поверхностное ознакомление с материальной частью. На курсе же тактики хоть и упоминалось о значении сосредоточенного артиллерийского огня, но в качестве примера нам представляли чуть ли не стопушечную батарею Лористона, обеспечившую победу Наполеона под Ваграмом в 1809 году.

Главное внимание уставов и учебников уделялось пресловутому выбору артиллерийских позиций — то за гребнем, то перед гребнем, но о силе и могуществе артиллерийского огня никто не дал нам наглядного представления. Поэтому, когда японцы сосредоточили огонь батарей, разбросанных по фронту, на участке, намеченном для атаки, то этот прием оказался для нашего командования неприятнейшим сюрпризом.

С пулеметами нас тоже познакомили только наши враги, на войне; надо полагать, что пулемет тогда еще лишь изучался в какой-нибудь из ученых комиссий или в артиллерийском комитете.

Впрочем, о японской армии мы вообще имели представление, мало чем отличавшееся от того, какое было о ней у моего бывшего командира полка «свиты его величества» генерала Николаева. Узнав в Яхт-клубе от престарелого генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского об объявлении войны, Николаев спросил: «Да где же находится Япония?» Когда же Белосельский объяснил, что она расположена на островах, то Николаев, улыбнувшись в свои густые седые усы, ответил: «Что ты, что ты, батюшка! Разве может быть империя на островах!»

Внимание при изучении военной географии было сосредоточено на Западном фронте и отчасти на Кавказском; о Дальнем Востоке, за три года академии, буквально накануне войны, никто не обмолвился ни словечком. А между тем предмет, именовавшийся статистикой, в который входило и изучение будущих вероятных театров военных действий, отнял у нас на старшем курсе немало времени.

В начале года каждый получил слабый оттиск десятиверстной карты от Балтийского до Черного моря в длину

и от Немана и Днепра до Эльбы и притоков Дуная в ширину. Эту карту требовалось «поднять», то есть, по мере чтения учебника, обозначить на ней тушью и акварелью все, что упоминалось в учебнике — до мелких речек и деревянных мостиков включительно. В результате к весне каждый слушатель располагал большой картой собственного изготовления, расцвеченной во все цвета радуги, с сильным преобладанием зеленой краски, покрывавшей знаменитые «лесисто-болотистые» пространства, которые, по словам некоторых язвительных людей, давно уже перестали быть и лесистыми и болотистыми.

Бывали при этом случаи пользования чужими, давно приготовленными картами, и генерал Золотарев, взглянув на карту, выполненную кем-то из наших предшественников и пожелтевшую от времени, ехидно говорил ее новому владельцу:

— А недурна старушка!

Много внимания на старшем курсе было уделено изучению иностранных армий. Мы вызубривали все строевые и полевые уставы европейских армий. Мы напрягали память, запоминая интервалы и дистанции во всех построениях, определявшиеся, к великому нашему горю, в разных армиях по-разному — где в метрах, где в шагах, где в футах. Из курса, называвшегося «администрация», мы знали все детали организации не только собственного тыла, но и иностранных армий. Одного мы только никогда не касались — *человеческого материала.* Что собой представляли немецкие солдаты, австрийские унтер-офицеры, французские офицеры — мы понятия не имели.

Зубрежка распространялась и на такой предмет, как геодезия. Приходилось заучивать проверки и поправки ко всем сложным геодезическим инструментам. Но почти для всех камнем преткновения была параллельная геодезии наука — астрономия. «Для чего и когда понадобится нам этот предмет?» — спрашивали мы себя, ломая голову над углами склонения, прямого восхождения и прочими подобными мудростями. Мне, однако, и это пригодилось в жизни. Очутившись после мукденского поражения в такой местности, которая не только никогда не была нанесена на карту, но и находилась вне геодезической сети, я — как начальник топографического отделения — должен был астрономически определить наше положение на земной планете.

Ко всей этой многообразной умственной работе присоединялось составление на дому докладов, приказов и других письменных документов, а также тщательное вычерчивание бесконечных схем, диаграмм, графиков и таблиц. Красивые квадратики всех цветов и размеров, обозначавшие на картах расположение различных родов оружия, переселялись впоследствии из академических аудиторий в штабы маневрирующих частей и с такой же тщательностью вычерчивались на карте Мукдена моими усердными товарищами из оперативного отделения штаба армии. На этом роль красиво вычерченных квадратиков не оканчивалась. Подробная схема расположения частей трех маньчжурских армий — вплоть до батальонов и батарей — переселилась в казенные отчеты о войне, а оттуда и в курсы истории, по которым военные профессора судят о наших ошибках и выводят поучительные примеры в назидание внукам. Беда только в том, что профессоров не всегда и недостаточно интересует внутреннее содержание «квадратиков», иначе говоря — действительное состояние частей. Будучи послан в бою под Мукденом в один из таких «квадратиков» довольно большого размера, обозначающий и до сего дня на схемах расположение Новочеркасского пехотного полка, с приказом вести полк на дрогнувший фронт у «императорских могил», — я нашел на месте «квадратика» только несколько деморализованных рот без офицеров.

Выпускные экзамены прошли для меня блестяще, и даже по астрономии я получил полный балл, правильно назвав три буквы, обозначавшие угол, необходимый для определения взаимного положения двух светил в небесной сфере.

Не хватило у меня пороха на последнем экзамене — по статистике, у того же самого Золотарева, у которого я так отличился на вступительном экзамене по русской географии. Нужно было отвечать по четырем билетам. Пока я докладывал Огородникову об Алленштейн-Остеррродском районе Восточной Пруссии и ему же — о составе населения Прикарпатской Руси, все было хорошо. Но дальше нужно было отвечать самому Золотареву по военной географии нашего пограничного района.

Окинув взглядом составленную мной нарядную карту, он подозвал меня к себе, поставил спиной к карте и спросил:

— Что встретит противник и какими путями может он воспользоваться при наступлении, например, от Бреста на Гродно?

Называю дороги и пересекающие их реки и речонки, и лесистые и открытые пространства, но не вполне уверен, попадают ли они в указанный створ, или же находятся верст на пятьдесят в стороне? Не забываю и о самом главном — о «позициях», которые пользовались исключительным вниманием, оставшись в профессорских мозгах как пережиток позиционной тактики чуть ли не со времен Фуля. Некоторым объяснением этой ненормальности может быть и тот гипноз, под которым оставались все участники русско-турецкой войны; тяжелая борьба за плевненский укрепленный лагерь, обошедшаяся так дорого русской армии, не могла не оказать влияния на нашу военную мысль.

Хотя по выражению лица Золотарева я не мог догадаться, насколько мои ответы были правильны, но по тому, что он мне не задавал по этому билету новых вопросов, как это обычно бывало, я понял, что все леса и горы попали на свои места.

Дело испортилось на четвертом билете, относившемся к статистике России. Прошло уже добрых три часа с начала моего экзамена, и я с ужасом почувствовал, что все цифры, над которыми я сидел последние десять дней, перепутываются в моей голове.

— Назовите процентное отношение национальностей, населяющих Калишскую губернию, — спрашивает Золотарев.

Называю три-четыре цифры.

— А в Петроковской?

Отвечаю и на этот вопрос.

— А плотность населения Сувалкской губернии? А процент евреев в Киевской губернии, без города Киева?.. А с городом Киевом?

Я умолкаю. Самолюбие мое больно задето. Помимо воли я говорю:

— Ваше превосходительство, я больше сегодня отвечать не могу.

— Отчего? — удивленно спрашивает Золотарев.

— Потому что не хочу выдумывать, — отвечаю я.

— А вы знаете, чем это вам грозит?

— Так точно.

— Ну, идите, — спокойно говорит Золотарев

Неудача у Золотарева повлияла на мой средний балл по статистике, слагавшийся из оценок по четырем билетам, но не помешала мне оказаться «первым» на экзаменах.

Предстояли летние практические работы — глазомерные съемки. В этом году начальство решилось, наконец, вывести нас из окрестностей столицы, топографические карты которых слишком хорошо помогали нам при составлении наших собственных. Нас заслали в Псковскую губернию, где, несмотря на близость к Петербургу, уже решительно никаких карт, кроме десятиверсток, не было.

Мой участок оказался в окрестностях заштатного города Изборска, который я знал только по учебнику русской истории Иловайского: там было сказано, что в этом городе поселился когда-то младший брат Рюрика — Трувор. Изучив впоследствии шведский язык, я убедился, что Рюрик пришел в Россию не с «братьями», а «со своим домом» (сине-хус,— из чего получился «Синеус») и с верной дружиной (трувор, — из чего вышел «Трувор»).

В мое время Изборск, как и многие старинные города в России, действительно «пал», по выражению моего киевского учителя географии, и в нем из казенных учреждений оставалась лишь «казенная винная лавка» — этот надежнейший источник пополнения российского государственного бюджета.

Участок мой лежал в двадцати верстах за этим городом.

Крестьяне Псковской губернии жили в невероятной нищете, спали на хворосте, болели и умирали от постоянного недоедания. Деревни выглядели мрачно.

Оазисами казались редкие, но роскошно построенные сельские школы, в одной из которых, закрытой на лето, я и поселился с тремя соседями по участку.

В перерыве между двумя съемками, по дороге в Питер, мне пришло в голову, в ожидании поезда, заехать с визитом к моему знакомому, губернатору Васильчикову. Этого незначительного факта оказалось достаточно, чтобы, возвращаясь из столицы на участок, я наткнулся на непредвиденное препятствие: вся дорога, от железнодорожного полустанка до нашей школы, протяжением в добрых двенадцать верст, оказалась перепаханной сохами для уравнения колеи. Так распорядилась полиция

в предвидении проезда губернатора с ответным ко мне визитом. Несчастная крестьянская кляча должна была тащиться по этой дороге только шагом.

Но еще более меня покоробил рассказ товарищей о «празднике», который они устроили в мое отсутствие для окрестного населения. Так как цена на казенную водку была для бедных псковских крестьян слишком высока, то они разбавляли ее «ликвой», иначе говоря неочищенным эфиром, сразу валившим с ног. После выпивки, по инициативе офицеров-академиков, девки соревновались в спуске кувырком с высокого берега в озеро, а парни бегали взапуски, впрягаясь в передки телег на место лошадей. Все это происходило в нескольких часах езды по железной дороге от столицы.

Решающим для оценки наших знаний Сухотин постановил считать осенние полевые поездки; балл, полученный на них, имел то же значение, что средний балл по всем предметам за два года обучения.

Вернувшись с глазомерной съемки в Петербург, мы распределились на небольшие группы по пять-шесть человек. Автомобилей в ту пору не существовало, и умение передвигаться на коне быстро, на большие расстояния и не утомляясь было для будущих генштабистов одной из важнейших сторон боевой подготовки. Пехотинцы и артиллеристы, превращаясь в истинных кентавров, скакали, не жалея казенных коней. Все кавалерийские полки, которым приходилось командировать лошадей и конных вестовых на академические полевые поездки, горестно на это сетовали.

Через несколько дней все, окончившие два курса, с чувством нескрываемой гордости украсили правую сторону своих мундиров серебряными значками в виде двуглавого орла в лавровом венке. Но не для всех этот день оказался одинаково счастливым. На дополнительный курс, предназначавшийся для специальной подготовки офицеров генерального штаба, перевели только около шестидесяти человек, а остальные были отчислены обратно в свои части с проблематической надеждой получить в будущем внеочередное производство из капитанов в подполковники.

По окончании полевых поездок все мы разъехались по дачам и квартирам, чтобы в полном уединении приняться за разработку так называемых «тем»; оценка

публичной их защиты являлась критерием для суждения о нашей подготовленности к выполнению обязанностей офицеров генерального штаба.

Первая тема была военно-историческая и должна была подготовить будущего генштабиста к научно-исследовательской работе. Для этого выбирались операции целых армий или отдельных крупных соединений в войнах последнего столетия.

Бумажки с написанными на них заданиями надо было вытягивать по жребию. Мне досталась мало благодарная тема: «Операция 9-го армейского корпуса от начала кампании 1877 года до 2-й Плевны включительно». Как известно, русская армия потратила очень много времени на мобилизацию и сосредоточение на границах Румынии. 9-й армейский корпус, под начальством барона Криднера, сосредоточившись в Бессарабии, одним из первых подошел к Дунаю. Оперируя на крайнем правом фланге и взяв штурмом устарелую турецкую крепость Никополь, корпус двинулся к Балканам. К этому времени русский авангард, под начальством генерала Гурко, уже двинулся в самое сердце Болгарии, занял город Тырнов, а затем и Шипкинский и Балканский перевалы. Турки, руководимые иностранными военными советниками и главным образом англичанами, перешли в контрнаступление. Турецкий корпус, предводимый талантливым Осман-пашой, выступил из крепости Виддин, занял небольшой городок Плевну и здесь окопался, угрожая, таким образом, нашему правому флангу. Вот так создалась та Плевна, о которую разбились и первая кровопролитная атака 9-го корпуса 8 июля и общий штурм 18 июля, стоивший русской армии больших жертв. Сила сопротивления турецкой армии заключалась не только в укреплениях, искусно построенных по последнему слову европейской военной техники, но и в таком превосходстве ружейного огня, которое для русской армии оказалось полной неожиданностью: требовались совершенно другие построения, а не те, что были предусмотрены уставами.

На разработку темы было дано около двух с половиной месяцев, после чего, ровно за неделю до дня и часа защиты темы, требовалось подать в академию конспект размером не больше восьми страниц. Чтобы в них уложиться, мне пришлось между прочим научиться писать

мельчайшим, но четким почерком. После этого, за двадцать четыре часа до часа защиты, мы получали конспект обратно. На нем двумя оппонентами отмечалась та часть работы, которую они желают выслушать на устном докладе. Расписание тем рассылалось заблаговременно по всем штабам и управлениям. Мне было приятно видеть на своей защите престарелого отставного генерала, участника операций 9-го армейского корпуса, пожелавшего услышать про дорогих его сердцу архангелогородцев и вологодцев, понесших тяжелые потери во время плохо подготовленной атаки 8 июля.

Мои оппоненты отметили для устного доклада только первую часть кампании, до 8 июля включительно. Материала же набралось столько, что накануне защиты мне пришлось репетировать доклад шесть-семь раз в присутствии отца, пока, наконец, не удалось, поздно ночью, уложиться в установленные сорок пять минут. После этого срока оппоненты обычно останавливали докладчика, и доклад мог остаться без выводов. Случалось, однако, что оппоненты отмечали в конспекте только несколько строк, и тут уж происходили подлинные драмы, так как у слушателя не хватало материала для заполнения сорокапятиминутного срока. Взглядывая на предательскую стрелку больших часов, висевших перед ним в аудитории, и видя, насколько она еще далека от назначенного срока, докладчик начинал повторяться, тянул и в конце концов останавливался в совершенно беспомощном положении. Заключение оппонентов в этом случае было заранее предрешено: тема недоработана.

Благополучно защитив свою первую тему, я в тот же день зашел в канцелярию академии и вынул из кучи билетов задание для новой — теоретической — темы: «Le secret de la guerre est dans les communications» («Тайна войны — в сообщениях»). Это было изречение Наполеона, относящееся к моменту вторжения в Польшу в 1807 году.

На разработку второй темы давался сравнительно небольшой срок. Я вспоминаю, что затратил несколько дней на продумывание ее смысла и подбор документации. Проще всего было бы использовать готовые многочисленные материалы по организации сообщений армии с тылом и сделать сравнительный очерк постановки этого дела в современных армиях. Но природное отвращение к пла-

гиату и компиляции заставило отказаться от этой мысли. Мне захотелось сохранить за темой ее исторический характер и рассмотреть проблему коммуникаций в связи с огромным ростом военной и транспортной техники.

Для иллюстрации я выбрал одну из мало изученных в мое время кампаний наполеоновских маршалов в Испании. В этой войне французские коммуникационные линии оказались «висящими в воздухе» и естественно подверглись нападению со стороны испанских партизан.

Коснувшись вопроса о сообщениях, «висящих в воздухе», я захотел еще доказать, что и такие коммуникации имеют при известных условиях право на существование. Я привел пример из войны за освобождение негров, когда снабжение армии Севера пришлось производить по линии, лежащей даже вне континента, подвозя продовольствие через морские порты, по мере продвижения армии в южном направлении; это можно было осуществить только при условии господства северян на море.

Уязвимость коммуникационных линий при пользовании железными дорогами я показал на примере франко-прусской войны, когда победоносные германские армии, подойдя к самому Парижу, испытали немало затруднений из-за одного взорванного в их тылу железнодорожного туннеля у Туля.

Закончил я свой доклад сравнительным обзором возросших со времени франко-прусской войны потребностей современных армий. Эта тема была моим первым печатным трудом.

Для третьей темы нас снова разбили по группам в пять-шесть человек, и мне пришлось попасть в ту единственную группу, которая должна была работать на Кавказском фронте. Руководителем по стратегической и тактической части темы оказался Колюбакин, единственный знаток этого фронта и один из тех русских, которые, проведя свою боевую карьеру в кавказских горах, на всю жизнь остались влюбленными не только в горную войну, но и во все, что касалось Кавказа.

Чтобы ознакомиться с группой, Колюбакин разложил на столе большую десятиверстную карту Кавказа и дал нам следующую задачу:

«Корпус сосредоточен в Тифлисе и его ближайших окрестностях. Командир корпуса получил приказание

овладеть турецкой крепостью Карс. Требуется составить доклад начальника штаба корпуса, излагающий его первоначальные соображения, необходимые для составления приказа по корпусу.

Раздав бумагу и карандаши, Колюбакин вышел, а мы, предоставленные каждый самому себе, принялись за работу: кто впился глазами в карту, кто, зная уже хорошо пограничную полосу, принялся строчить черновик доклада, кто попросту сидел в раздумье, не зная с чего начать.

Рассмотрев карту и принявшись за изложение моих соображений, я убедился, что они крайне несложны, и с недоумением и даже с некоторой тревогой наблюдал, как остальные мои коллеги исписывают уже второй и третий листы. Наконец, Колюбакин вернулся в аудиторию и попросил начать читать доклады в порядке старшинства в чинах. Так как я был самым младшим, то выслушал предварительно не только хорошо мне известные данные о стратегическом значении Карса, но и мало известные мне подробности об его укреплениях, историю перехода его из турецких рук в наши и обратно, соображения об удобных позициях для подготовки штурма и даже об участках для предполагаемой атаки. Я сейчас же сообразил, что мои усердные коллеги, узнав за несколько дней о своем назначении в группу Колюбакина, успели подучить все, касающееся излюбленного им района Карса. У меня в докладе ничего подобного не было, так как я изложил лишь соображения об исходном движении от Тифлиса до Карса, приведя описание двух дорог, находившихся в нашем распоряжении. Это немудрое решение задачи оказалось единственно правильным, и Колюбакин, одобрив его, вынес, быть может, сам того не замечая, приговор той системе обучения офицеров, которая не воспитывала в них уменья практически мыслить.

Докладу начальника штаба Колюбакин придавал вообще первостепенное значение — и потому приказал представить ему в недельный срок наши общие соображения и до детальной обработки обсудить их вместе с ним.

Мне досталась задача обороны черноморского побережья от Анапы до Сочи армейским корпусом с базой в Екатеринодаре. В Черное море проникла неприятельская эскадра, превосходящая численностью наши морские

силы. Тема показалась мне мало жизненной, так как я тогда не мог предполагать, что этот театр сможет сыграть какую-нибудь роль в военной истории. Изучая Новороссийский порт и его оборонительные свойства, я не мог предвидеть, что подготовлю себя к уразумению бесславного финала деникинской авантюры. Мне впоследствии так живо представились те горные тропы, по которым уходили остатки белых банд, и те брошенные казаками лошади, что бродили без седел и без корма по пыльным улицам Новороссийска.

Получив у Колюбакина одобрение общих принципов обороны моего участка, связанной с действиями флота и минными заграждениями, я явился ко второму моему руководителю, серьезному кабинетному работнику полковнику Кузьмину-Караваеву и представил ему границы района, необходимого для выполнения намеченного плана.

Надо было сделать затем подробнейшее топографическое описание этого района и подсчитать все местные средства, на которые корпус мог рассчитывать в соответственное время года. Для этого мы все ходили в библиотеку и архив министерства внутренних дел и выписывали из ежегодных губернаторских отчетов разные статистические данные. Работа получалась солидного объема, ее надо было переписать от руки без единой помарки с приложением образцово вычерченных диаграмм и таблиц, после чего снова вернуться к Колюбакину и столь же тщательно разработать все документы по тактике. Но в конце предстояла самая кропотливая часть темы — административный отдел, в котором, на основании данных статистического отдела, надо было представить наглядную картину снабжения корпуса всеми решительно видами довольствия, с графиками движения железнодорожных поездов и обозов, до полковых включительно.

По окончании этой первой части темы, составившей три красиво переплетенных тома, была разработана, в той же последовательности, наступательная операция против неприятеля, совершившего высадку у Геленджика. В заключение — пятнадцатиминутный устный доклад и ответы на заданные тремя оппонентами вопросы.

Самые счастливые воспоминания сохраняются от самых трудовых дней. Когда, после полного моего триумфа

по случаю сдачи последней темы, я убирал навсегда из своего кабинета на набережной простой сосновый рабочий стол, свидетель долгих бессонных ночей, я испытывал чувство расставания с чем-то, ставшим уже дорогим. Такое чувство бывает, вероятно, у летчиков, вылезающих из кабины самолета после преодоления какой-нибудь рекордной дистанции.

Среди нашего выпуска — между прочим, исключительно дружного — были люди более или менее талантливые, были даже совсем бесталанные, но за всех можно было поручиться, что они подготовлены к выполнению любого порученного им дела с усердием и настойчивостью. При всех ее недостатках, академия все же готовила бесспорно квалифицированные кадры знающих и натренированных в умственной работе офицеров. Бесспорно, деятельность Сухотина сказалась, и наш выпуск был во всяком случае более подготовлен к боевой работе, чем предыдущие. Мы были невеждами в социальных вопросах. В военном отношении наше сознание было отравлено позиционными, пассивно-оборонительными тенденциями. Мы не вполне были ориентированы в современных технических средствах войны. Отрадно все же вспомнить, что наш выпуск оказался «боевым»: с самого начала войны с Японией большинство выразило желание отправиться на театр военных действий.

Глава восьмая

В ШТАБАХ И В СТРОЮ

Незаметно пролетел месячный отпуск после окончания академии. По обычаю, заведенному в кавалергардском полку, я получил от полковых товарищей подарок — новые штаб-ротмистрские погоны. Я чувствовал даже некоторую неловкость, оказавшись на шестом году офицерской службы в столь высоком чине.

Со многими из своих академических товарищей я виделся в последний раз в тот день, когда мы фотографировались группой. Перед этим мы представлялись царю.

В том же зале царскосельского дворца, как и семь лет тому назад, при производстве в камер-пажи, я вновь стоял теперь первым с правого фланга в белом колете

своего полка. Но то ли три года, проведенные вне дворцовой жизни, то ли окружающая меня среда армейского офицерства, для которого царь был чужим и далеким человеком, подействовали на мое сознание, — во всяком случае былого трепета и благоговения я уже не испытывал.

При обходе царь особенно интересовался теми, кто долго прослужил в строю, и своими вопросами как бы подчеркивал исключительное предпочтение к строевой службе по сравнению со штабной. В противоположность Вильгельму, приближавшему к себе офицеров генерального штаба, Николай II составил свою свиту главным образом из адъютантов гвардейских полков.

Вечером в тот же день чествовали меня лейб-гусары, где служили мой зять и младший брат. Сперва обычный скромный обед в громадном и мало уютном белом зале собрания, построенном Николаем II, который командовал эскадроном этого полка в бытность свою наследником. Сюда, как и в другие собрания Царского Села, любил он ездить в последние годы царствования, вероятно чтобы забыться от своих семейных дрязг и, может быть, для того, чтобы в верноподданности гвардейских офицеров ощутить опору против грозы надвигавшейся и неизбежной революции. Царь садился на председательское место и, не обмолвясь ни с кем словом, тихо пил, стопку за стопкой, шампанское и слушал до утра по очереди то трубачей, то песенников. На рассвете так же безмолвно он возвращался во дворец. «Занимать» его разговором было сущей пыткой, но находились люди, которые умудрялись понравиться царю на подобных обедах и даже сделать на этом карьеру. Одним из таких был известный Янушкевич, получивший неожиданно для всех пост начальника генерального штаба.

Но все это было уже гораздо позже. В тот вечер, когда в гусарском собрании сидела наша маленькая компания, о революции здесь никто еще не помышлял, а война представлялась как совершенно независимое от нашей воли явление природы, вроде налетевшей среди бела дня грозы.

После обеда, когда совсем стемнело, на большом полковом плацу запылал костер, осветивший смуглые бородатые лица песенников лейб-эскадрона, белые ментики и

красные фуражки. Варилась «жженка», и все хором пели песни героя Отечественной войны, гусара и партизана Дениса Давыдова:

Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные?
　　Председатели бесед,
　　Собутыльники седые?
Деды, помню вас и я,
Испивающих ковшами
И сидящих вкруг огня
С красно-сизыми носами...
　　...Но едва проглянет день,
　　Каждый по полю порхает.
Кивер зверски набекрень,
Ментик с вихрями играет.
　　Конь кипит под ездоком.
　　Сабля свищет, враг валится...
Бой умолк, и вечерком
Снова ковшик шевелится.
　　А теперь что вижу? — Страх!
　　И гусары в модном свете
В вицмундирах, в башмаках
Вальсируют на паркете!
　　Говорят, умней они...
　　Но что слышу от любова?
　　Жомини да Жомини!
А об водке ни полслова!..

Последний куплет повторялся специально для меня, окончившего основанную генералом Жомини академию.

Зная, что молодежи всего веселее погулять вне дома, отец дал нам с братом по сто рублей. Это позволило осуществить намеченный нами заранее план: ехать к Николаю Ивановичу. На Черной речке, рядом с кафешантаном «Аркадия», ютилась деревянная дача хозяина лучшего в Петербурге цыганского хора, Николая Ивановича Шишкина. Мы очень жалели, что отец не мог в этот день с нами поехать, а кроме него, нам и в голову не приходило кого-нибудь приглашать. Ценители цыганской песни, такие как Шереметевы или мои дяди Мещерские, были наперечет. Николай Васильевич Мещерский ничего так не любил, как цыганский хор, и был даже автором музыки столь известного романса «Утро туманное, утро седое».

Остальные же наши друзья, а в особенности великосветские дамы, могли нам только мешать.

Московские цыгане пользовались гораздо большим успехом, чем петербургские, но и их репертуар был запакощен пошлыми романсами, которые приходились по вкусу подвыпившим московским купцам.

Мы не позволяли петь подобную гадость, и старым цыганкам приходилось иногда при нас обучать молодых исполнению уже забывавшихся старинных цыганских песен.

Что может быть прелестнее, когда, любовь тая,
Друзей встречает песнями цыганская семья...

И это действительно была «семья», в которой можно было укрыться и от набившего оскомину петербургского света с его скучными салонами и от ресторанов с румынскими оркестрами.

Большая низкая комната на даче Николая Ивановича слабо освещалась двумя канделябрами. Овальный стол перед старомодным диваном с полинявшей красной обивкой, фикусы на окнах; цыганки в скромных и большей частью черных платьях с большими цветными платками на плечах постепенно наполняли зал и, кивнув в сторону гостей, с важностью рассаживались на стульях перед столом. За стеной уже слышались первые звуки гитар, настраиваемых «чавалами».

Старые цыганки, сидевшие в центре полукруга, расспрашивали нас о здоровье Алексея Павловича и Софьи Сергеевны и всех других наших родственников, мы же, со своей стороны, не должны были путать родственных отношений между членами хора.

Пропев несколько песен, хор обыкновенно просил пойти закусить, что означало требование дать денег «чавалам» якобы для выпивки и закуски; в действительности же цыгане пили обычно чай и все деньги вносили в общую кассу, делившуюся по паям, в зависимости от старшинства и значения в хоре. Надо было заслужить своим уважением к хору особое доверие, чтобы уговорить «царицу» хора, вроде, например, Вари Паниной, остаться в зале, закусить и выпить стакан шампанского.

У каждого из нас были свои любимые песни. У брата любимой была «Ах, да не вечерняя», у меня — «Конавела».

Свечи догорали, хор уже третий раз пел знаменитый квинтет «Не смущай мою ты душу, не зови меня с собой»,

а брат все еще не позволял пропеть традиционную песню «Спать, спать, спать, пора нам на покой», означавшую роспуск хора по домам. Светало, и цыганки спешили, по обычаю, к ранней обедне...

Полный сил и здоровья, окрыленный надеждой блеснуть академической наукой, стоял я под тенью вековых красносельских лип. Мы представлялись начальнику штаба войск гвардии и Петербургского военного округа, генералу Васмунду. Поздоровавшись со мной, он заговорил о назначении в один из отделов своего штаба, но в эту минуту подошел начальник второй гвардейской дивизии генерал-лейтенант Скалон. Взяв почтительно под козырек, Скалон просил Васмунда откомандировать меня в штаб его дивизии.

Служба в штабе округа и лагерного сбора, приближавшая к высокому начальству и к самому главнокомандующему великому князю Владимиру, считалась особенно почетной, и потому Васмунд ответил Скалону, что ответ на его просьбу зависит прежде всего от штаб-ротмистра Игнатьева. Я никогда ранее не встречал генерала Скалона, но возможность вернуться скорее к любимому кавалерийскому делу прельстила меня.

Через несколько минут я уже сидел в гостиной чистенькой казенной дачи моего первого начальника штаба полковника Андрея Медардовича Зайончковского и угощался его мадерой. С благожелательной улыбкой, редко сходившей с его тонких губ, Андрей Медардович внимательно, но с некоторым пренебрежением к моим профессорам, расспрашивал меня про академию. С истинным увлечением рассказывал он о своей работе по сооружению Севастопольского исторического музея и знаменитой панорамы. Я почувствовал, что штабная служба давно ему приелась и что его очень не устраивали постоянные отлучки старшего адъютанта штаба капитана Богаевского, зарабатывавшего, как и большинство столичных генштабистов, хорошие деньги в военных училищах за лекции и полевые поездки.

Африкан Петрович Богаевский, бывший гвардейский донской казак, атаманец, был годом старше меня по выпуску из академии. Говорил он очень медленно, но думал, кажется, еще медленнее. Поэтому, когда пятнадцать лет

спустя белогвардейское казачество в Париже выбрало его своим атаманом, то я вспомнил по этому поводу русскую пословицу: «На безрыбье и рак — рыба». Мне пришлось случайно встретить этого «атамана» в пиджаке и котелке на парижских бульварах, и он, к моему большому удивлению, в противоположность другим белоэмигрантам, первым со мной поздоровался. «Ну, что, Африкан Петрович, какие вести с Дона?» — спросил я его. «Плохие, — ответил он, — все пашут!»

За отсутствием Богаевского в штабе дивизии мне сразу пришлось приступить к выполнению его обязанностей, заключавшихся в составлении приказов и заданий на бригадные и дивизионные учения и маневры. Постепенно Зайончковский доказал мне, что я не только не обучен в академии делу подготовки войск в мирное время, но что даже приказов составлять не умею.

— Что вы, что вы, Алексей Алексеевич, разве можно писать, чтобы голова лейб-гусарского полка прошла через перекресток у красносельской церкви в восемь часов утра! Ведь командиру полка придется самому рассчитать час выступления. Эту работу мы должны проделать сами. Для этого мы и существуем.

Горячо отстаивал я правильность моих проектов, и Зайончковский в конце концов предложил мне забыть все академические теории и попросту заменять их красносельскими традициями, ставшими уже законом.

Трудность командования усугублялась для нас тем, что все полки и батареи 2-й гвардейской кавалерийской дивизии были так или иначе связаны с царствующей семьей. Надо было быть генералом Скалоном, гордым, независимым барином, в молодости ординарцем главнокомандующего Николая Николаевича, чтобы иметь смелость в вежливой форме делать замечания «их высочествам» — командирам полков. Самым курьезным из «высочеств» был Дмитрий Константинович — высокий тощий блондин с очень длинной шеей. Он считал себя и свой конногренадерский полк образцом строевой и кавалерийской выправки. Для правильного производства поворотов на полковом плацу в Петергофе были намазаны известью круги, на которые должны были точно попадать фланги заезжавших взводов. А на походе, для достижения плавности движений эскадронов, трубач, ехавший за Дмитрием, по команде «рысью» сбрасывал на окраину дороги

специальный картон; каждый из шести эскадронов переходил в рысь только по достижении этого картона, из-за чего все расчеты длины колонны нарушались. Случилось раз, что какой-то крестьянин, свернув с дороги, чтобы пропустить конногренадер, заметил упавший картон и бросился его поднимать.

— Что ты, с ума сошел! — крикнул на него командир 1-го эскадрона ротмистр Кулаков. — Ты хочешь нашу версту украсть!

Понятно, что от этого полка Скалон никогда не позволял высылать авангард и предпочитал назначать разъезды из улан. Он сам начал службу в этом полку, любил его и не особенно был доволен, видя во главе улан еще другое, правда французское, императорское высочество, — принца Людовика Наполеона.

Во второй бригаде приходилось считаться с гвардейскими драгунами, за которых всегда стоял горой сам главнокомандующий Владимир, числившийся их шефом. Всего же труднее было ладить с конноартиллерийским дивизионом, которым командовал великий князь Сергей Михайлович, большой интриган и принципиальный враг генерального штаба.

Кроме дипломатических приемов в управлении подчиненными, требовалось еще проявлять всяческую осторожность в отношениях с собственным высоким начальством. Зайончковский, будучи не в фаворе у Феди Палицына, посылал обычно меня с докладом в штаб генерал-инспектора.

Однажды мне удалось получить согласие начальства внести что-то новое в трафаретные учения с обозначенным противником, вошедшие тогда в большую моду. Я задумал создать подобие боевой обстановки, при которой авангард, силой в один полк при артиллерии, завладев переправой через реку Лиговку и получив сведения о готовящейся контратаке, спешился и занял оборонительную позицию в ожидании подхода главных сил дивизии. Последняя в начале учения была вытянута походной колонной вдоль шоссе, пересекающего Лиговку, с тем чтобы в нужную минуту выскочить на Военное поле и, развернувшись под прямым углом, уступами, атаковать во фланг конные массы противника, наседавшие на спешенный авангард.

«Федя» план ученья одобрил; Скалон боялся, что «их высочества» напутают и будут в претензии за необходи-

мость в походной колонне скакать по шоссе; а Зайончковский подозревал в согласии «Феди» какую-то ловушку. В конце концов вся ответственность была свалена на меня как на автора задания.

С восходом солнца я поджидал на окраине лагеря конногренадер, назначенных в спешенную часть.

Вскоре показалась длинная фигура Дмитрия, размахивающая стеком. Он был на вороном коне собственного завода, поставляющего лошадей большинству офицеров полка. Расположив спешенные эскадроны и укрыв в самом лагере коноводов с конным прикрытием, я после этого долго и терпеливо отвечал на вопросы Дмитрия о порядке расположения его шести эскадронов. Когда же он, наконец, примирился с тем, что нарушена последовательность номеров эскадронов, и запомнил, что левее 5-го расположен 3-й, а потом 6-й, от Красного показалась пыль, поднятая спешившим на рысях конноартиллерийским дивизионом. Впереди скакал нескладный и, как всегда, неряшливо одетый, с заломленной на затылок фуражкой, Сергей Михайлович.

— Где мне стать? — сухо спросил он меня.

Когда я указал ему скрытую складкой местности позицию, он заявил, что «тут не станет», что «это не позиция для артиллерии» и что он хочет получить участок, занятый уже одним из спешенных эскадронов.

— Ах, Сережа, — с мольбой в голосе стал его увещевать мягкий Дмитрий, — мы с графом так уже хорошо все расположили, а вот ты приехал и все опять спутаешь.

Я едва не расхохотался и, отъехав, оставил «их высочества» разбираться в столь сложной обстановке.

Для больших маневров Васмунд выбрал неслыханный театр — лесистые и болотистые дефиле в Финляндии, куда загнал все пятьдесят эскадронов гвардейской кавалерии. В довершение несчастья пошли беспрерывные дожди. Генерал Скалон, направляясь с Зайончковским на тройке к расположенной на ночлег своей дивизии, немало был поражен, увидев за несколько верст от назначенного места расположения, в темноте, по обеим обочинам дороги серых коней гусарского полка.

— Как же вы себе это позволили? — спросил меня на следующее утро Скалон, — ведь от этого могут выйти для нас большие неприятности!

— Ваше превосходительство, — ответил я, — если бы я выполнил дословно приказ, то сегодня утром вы бы нашли коней вашей дивизии увязшими по брюхо в болоте.

Приказы я уже составлял самостоятельно. Переписав их химическими чернилами, я, не беспокоя писарей, будил ночью только дежурного, который снимал копии на шапирографе и рассылал их с вестовыми по полкам. «Подлинный подписал начальник Дивизии генерал-лейтенант Скалон. Верно. Начальник штаба Дивизии полковник Зайончковский. С подлинным верно. Штаб-ротмистр Игнатьев».

Начальство утром за чаем читало мое ночное произведение, подписывало штабной экземпляр приказа и было довольно. Войска, вероятно, — тоже, так как одним из оснований для моей аттестации за летний штабной стаж явились письма Дмитрия и Наполеона, заявлявших, что впервые за их службу они получали приказы до выхода с биваков, а не после.

В нашей дивизии маневры прошли без трений и затруднений, но в первой произошла тяжелая драма. Там неистовствовал желчный и сумасбродный начальник штаба полковник Дружинин. Кончив когда-то первым академию, он возомнил себя чуть ли не вторым Мюратом; всех своих подчиненных считал неучами и лентяями, доводя их своими глумлениями до отчаяния. На его несчастье, к нему на лето попал один из моих товарищей по выпуску, Троцкий, сын командующего Виленским военным округом. В Киевском корпусе это был толстенький мальчик, не лишенный способностей, но избалованный в семье до крайности и потому удивительный лентяй. Таким же он показал себя и в Пажеском корпусе и в академии, которую окончил только по второму разряду. Вдобавок, служа в гвардейской конной артиллерии, он начал усиленно выпивать. Однажды он засиделся во время бивака в палатке кирасирского собрания со своим злейшим врагом Дружининым. Вся накопившаяся за лето обида вырвалась наружу под действием вина, и от природы добродушный, Тасик Троцкий набросился на Дружинина, повалил его на землю и избил до полусмерти. Случай был дикий, но в душе почти все стояли за Тасика, радуясь тому, что Дружинин получил, наконец, заслуженное возмездие. Тасика ожидали по закону каторжные

работы, но, ввиду заслуг отца, его после суда только разжаловали в рядовые и послали в крепостную артиллерию в Порт-Артур. Это его и спасло, так как во время осады этой крепости он не только заслужил «георгия», но был также восстановлен в прежнем чине.

Едва прозвучал желанный для всех отбой на красносельских полях, как мне уже надо было спешить в Киев для участия в больших курских маневрах. О них говорили в России с начала года, и военный министр Куропаткин, вызвавшийся, как он сам говорил, «держать на них экзамен», должен был командовать южной армией, составленной из частей Киевского военного округа, против армии Московского военного округа, командовал которой великий князь Сергей Александрович. Когда Куропаткин пригласил меня в свой штаб, я обрадовался: пограничный Киевский округ славился высокой боевой подготовкой. Не может быть, думалось мне, чтобы во всей армии маневры сводились к такой же игре в солдатики, как в Красном Селе!

С подобными чувствами я и вошел в кабинет начальника штаба Киевского военного округа, генерала Сухомлинова. Я слышал о нем, еще будучи камер-пажом, от отца, который устраивал мне частные уроки верховой езды в кавалерийской школе; Сухомлинов состоял долгие годы ее начальником и считался талантливым генштабистом и просвещенным кавалерийским офицером.

Войдя в кабинет Сухомлинова, я увидел перед собой уже немного отяжелевшего, но вполне еще бодрого, представительного и приятного в обращении начальника. Он встретил меня, кавалериста, приветливо, как собрата по оружию.

— А вас тут уже давно ожидают с нетерпением, — сказал он. — Вы получаете на маневрах специальное назначение — к сожалению, не по вашей конной специальности. Дело в том, что мы испытываем впервые применение к военному делу воздушных шаров. Техника их удовлетворительна, но опыта наблюдений с них за полем боя еще нет. Нужны специалисты — военные наблюдатели, и вот вы — как офицер генерального штаба — и должны быть пионером в этом деле. После маневров составите доклад. Правда, как сказал Горбунов, «от хорошей жизни не полетишь», но такова уж ваша судьба.

Я в том же тоне ответил, что присягал служить на суше и на море, но о воздухе в присяге не было упомянуто!

Так началось мое знакомство с Сухомлиновым, будущим военным министром, стяжавшим себе на этом посту мрачную славу одного из главных виновников наших несчастий во время мировой войны.

Штаб уже выехал в район маневров, и я нагнал воздухоплавательную роту на биваке, на берегу какой-то живописной речки, в Курской губернии. Главный начальник воздушных частей, известный полковник Кованько, встретил меня с распростертыми объятиями и многочисленными рюмками прекрасного французского коньяку. Этот экспансивный человек, с красивым орлиным профилем и слегка седеющими расчесанными бакенбардами, был страстно увлечен созданным по его инициативе военным воздухоплавательным делом. Он с гордостью демонстрировал мне построенную не без затруднений первую паровую лебедку для спуска привязных шаров и всю несложную материальную часть своей роты.

— Это ведь можно получить только из-за границы, — повторял он не раз, указывая на те или иные точные приборы.

Он даже как будто хвастался заграничным происхождением приборов. Объясняя устройство распластанного на зеленом лугу громадного желтого воздушного шара, Кованько заметил, что существенным материалом является лак и что его мы можем получить только из Германии. Я спросил: как же он думает получать его во время войны? К этому вопросу мой собеседник, видимо, не был подготовлен и в ответ только пожал плечами.

Подъем шара откладывался несколько дней то из-за недостатка водорода, вырабатывавшегося на специальных четырехконных тяжелых повозках, то из-за дождливой погоды. Кованько предлагал мне сперва посмотреть с земли пробный подъем, но из самолюбия я просил меня взять в первый же раз.

День выдался солнечный, с небольшим ветром. Лужайка приняла торжественный вид. Я приехал верхом из штаба и застал около палатки Кованько целый букет окрестных помещиц в нарядных платьях. К надутому шару, представлявшему собой громадную светложелтую массу, стекались со всех сторон крестьяне, и вскоре при-

шлось очищать место для солдат, построившихся в круг, чтобы удерживать канаты.

Мне предложили сперва снять шашку, потом лядунку и, наконец, даже шпоры, объяснив, что кавалерийское снаряжение неуместно в воздухе и может помешать прыжку из корзины при вынужденном спуске.

«Неважное дело», — думал я про себя, но когда вошел в корзину, далеко не доходившую мне до пояса из-за моего кавалергардского роста, то почувствовал себя совсем уже неуверенно. В корзине стоял пилот, малюсенький штабс-капитан, прилаживавший запасные мешки с песком.

— Отпускай! — скомандовал сам Кованько, и мы в одно мгновение отделились от земли. Тут же я почувствовал неожиданный сильный толчок и крепче сжал в руках веревки, прикреплявшие корзину к шару.

— Это отпустили последние тросы, — предупредительно объяснил мне пилот.

Сняв фуражку, я раскланивался со знакомыми. Через несколько минут я их уже не различал. Из-за ветра шар оказался где-то сбоку от корзины.

Скоро стала ощущаться боль в ушах, и пилот посоветовал мне приоткрыть рот, совсем как это приходилось делать во время артиллерийской стрельбы. Вскоре я убедился, что мое умение ориентироваться на местности недостаточно и что главным затруднением для наблюдателя, помимо постоянного вращения шара, является невозможность использовать в целях ориентировки рельеф местности. Дороги были хорошо заметны, но найти их на карте было так же трудно, как обнаружить те войсковые колонны, что скрывались в лесах. Последнее требовало большей высоты подъема шара.

После двухчасового пребывания на высоте тысячи — тысячи двухсот метров мы вернулись на землю.

В дальнейшем я уже бо́льшую часть дня и даже ночи проводил в воздухе. Я настолько осмелел, что в последний день маневров убедил Кованько разрешить подъем, несмотря на сильный порывистый ветер с дождем. Однако, оказавшись на большой высоте с малоопытным пилотом — каким-то прикомандированным к роте артиллеристом, — я раскаялся в своей дерзости. Шар сильно кренило. Всматриваясь, как всегда, в походные колонны, которые и в этот день совершали бесконечные марши, я

неожиданно получил настолько сильный толчок, что оказался отброшенным на мешки с песком. Очнувшись и увидев побледневшее лицо пилота, я сообразил, что случилось неладное — лопнул канат. В бинокль можно было рассмотреть, что место подъема было уже далеко и что к нему, как маленькие муравьи, бежали со всех сторон люди.

— Канат треплет в воздухе, нас несет на речку, — сказал мне пилот.

Решили открыть газ и попытаться сесть на воду. Это был наилучший выход.

Однако большой клапан для выхода газа «заело». Пришлось помогать пилоту разрывать какую-то полоску шара и одновременно наблюдать за тем, что делается у речки. Вскоре люди-муравьи стали вытягиваться в линию, и мы поняли, что, захватив конец каната, они стараются спустить нас вручную. Это им удалось, хотя и потребовало много времени и усилий.

На том мои воздушные «подвиги» и закончились, а с ними и мой первый штабной стаж. Если с шара я видал немного, то, судя по рассказам очевидцев, не больше увидел бы и на земле, так как обе армии, разведенные на чересчур большие расстояния друг от друга, совершили очень много изнурительных переходов по жаре, но не успели ни разу произвести маневрирование на поле сражения.

Впервые в 1901 году были введены новые правила о зачислении в генеральный штаб. Мы, окончившие академию, были обязаны вернуться на два года в строй для командования ротами и эскадронами.

Генерал-инспектор кавалерии Николай Николаевич нашел при этом, что для получения эскадронов генштабистам необходимо пройти специальный одногодичный курс офицерской кавалерийской школы.

— А то они мне все эскадроны попортят, — будто бы выразился он.

Школа эта, размещавшаяся в Петербурге в Аракчеевских казармах на Шпалерной, была к этому времени коренным образом преобразована и успела уже заслужить репутацию «мало приятного учреждения». В ней впервые в России были применены мертвые барьеры, врытые в землю, и особенно пугали так называемые

парфорсные охоты. Двухлетний курс школы проходили около ста офицеров кавалерийских полков, а на охоты командировались, кроме того, ежегодно все кандидаты на получение командования полком. Стонали бедные кавалерийские полковники, вынужденные скакать на этих охотах верст десять — двенадцать по пересеченной местности, многие уходили в отставку, не перенеся этого испытания.

Суровые требования кавалерийской школы сыграли полезную роль. Постепенно среди кавалерийских начальников становилось все больше настоящих кавалеристов и все меньше людей, склонных к покою и к ожирению. Даже из нашего выпуска академии многие бывшие кавалеристы испугались школы. Посыпались рапорты о предоставлении командования ротой, и занятно было впоследствии видеть впереди какой-нибудь пехотной роты кирасирского штаб-ротмистра, салютующего палашом.

Желающих поступить в «лошадиную академию» среди нас оказалось всего восемь человек.

День в школе начинался с так называемой «дыбы», то есть езды на «казенно-офицерских» лошадях, командированных из полков. Стремена снимались, поводья завязывались, а лошадей вестовые держали на кордах, на общем небольшом кругу. В середине круга стоял коренастый сухой подполковник Дидерихс. Он старался восстановить и крепить «шлюз», то есть плотное прилегание верхней части ноги к седлу при абсолютной подвижности ноги ниже колена на всех аллюрах. Он добивался также автоматизма в прыжках через препятствия. Нелегко бывало нам на этих уроках после трехлетней сидячей академической жизни, но Дидерихс был непреклонен в своих требованиях, и «дыба» вполне оправдывала свое название.

После нескольких минут перерыва вестовые вводили в манеж прелестных светлорыжих трехлетних кобыл, посылавшихся ежегодно с государственных заводов в школу для выездки и курса тренировки.

Система выездки была к тому времени установлена единая — по Филису, и она не представляла для меня затруднений, так как я был уже знаком с нею со времени службы в полку.

В ту пору, по освященному традицией порядку, большинство офицеров по субботам ездило в цирк Чинизел-

ли, где собирался в этот вечер весь веселящийся Петербург; я лично, между прочим, бывать там не смел из-за «всенощной» у бабушки на Гагаринской.

И вот в один из понедельников, за завтраком в кавалергардской артели, все наперерыв рассказывают о невиданном новом номере высшей езды француза Филиса. Последний, говорят, на чистокровном английском коне показал в субботу в цирке такое несравненное искусство, что публика замерла от восторга. После завтрака на столе появился лист бумаги для записи желающих пройти курс езды у этого наездника. Внести за это надо было по сто рублей, что для меня составляло почти половину месячного бюджета. Через несколько дней в маленький офицерский манеж собралась чуть ли не вся полковая офицерская молодежь. Мы выстроились. На правом фланге смены на простенькой казенной гнедой лошадке сидел щупленький полковник в общеармейской кавалерийской форме. Это оказался начальник офицерской кавалерийской школы, просивший нас, как выяснилось, принять его и его сотрудника, скромного армейского подполковника князя Багратиона, в нашу смену.

Точно в назначенный час в манеж вошел маленький старичок в штатском платье и, поздоровавшись с нами по-французски, начал свой первый урок. По-русски он тогда совсем не говорил. По его команде мы пошли рысью. Никто не понимал, зачем он нас гонит все скорее да скорее, велит отпустить мундштучные поводья и почему злится, когда мы задерживаем коней, сбившихся с рыси на галоп. Он требует, наоборот, для перехода из галопа в рысь толкать лошадь шенкелем вперед и заставлять ее выбрасывать противоположную шенкелю ногу. В манеже стоял ад. От раскормленных за зиму коней валил пар. Все неслись кто как умел, стукаясь о барьеры и наезжая друг на друга. Особенно попадало бедному полковнику как первому номеру и к тому же единственному в смене «колонелю», на которого Филис непрестанно кричал: «Mauvais! Mauvais, mon colonel!» (Плохо! Плохо, полковник!) Наконец, после постепенного перехода в сокращенную рысь — тротт, смена остановилась. Филис велел слезать с коней и вести их рядом с собой, в поводу, стараясь поднять им головы.

Пропотев не хуже коней, большинство вышло из манежа с совершенным отвращением к «самодуру-фран-

цузу». Его обступили человек шесть кавалергардских офицеров. Эта группа и прошла до конца курс Филиса.

«Лошадь не умна, но обладает исключительной природной памятью; это свойство и надо использовать», — говорил он.

«Она так же хорошо помнит ласку, как и наказание, и секрет выездки заключается в мгновенном поощрении или наказании за выполненное движение; через минуту всякое наказание будет для нее уже непонятным».

«Худшим наказанием для коней является осаживание, а потому если он намеревается закинуться на препятствие, то никогда нельзя делать поворота, а надо осаживать до тех пор, пока сам конь не предпочтет идти вперед».

«Как и человек, лошадь должна смотреть всегда в ту сторону, куда движется, а не наоборот, как это практикуется при старой системе выездки Бошэ».

«Самое опасное положение, если у тебя строптивая лошадь, — стоять на месте. Никогда не знаешь, что она может задумать; пошли лошадь вперед, и она уже не опасна».

Все это и многое другое в корне ломало вековую систему езды и управления конем. Непреклонная воля старика Филиса и могучая поддержка его системы езды рядом влиятельных военных привели к тому, что взгляды Филиса через несколько лет легли в основу русского кавалерийского устава.

Я застал Филиса в кавалерийской школе уже в форме военного чиновника, в должности главного инструктора езды. Мне же довелось и похоронить его в Париже, где как военный атташе я возложил на его могилу венок с надписью: «От благодарной русской кавалерии». Он заслужил этот венок, ибо в нашей красной коннице применена система старика Филиса.

После выездки полукровных трехлеток мы получили еще, в виде опыта, совершенно диких киргизских коней, не дававших вначале даже взнуздать их. Третьей моей лошадью, так называемой «доездкой», был молодой конь из запасного эскадрона и четвертой — собственная выводная кобыла из Ирландии.

В перерывах езды мы обучались еще бою на саблях, иногда рубке — и даже ковке в эскадронной кузнице, где любители ухитрялись изготовить подкову вместо трех

в два нагрева. Экзамен по этому предмету как раз был последним при окончании зимнего курса. В манеже был поставлен покрытый красным сукном стол, перед которым вестовые держали несколько неоседланных лошадей. Я должен был отвечать первым, расковав и расчистив одно из копыт какой-то серой кобылы. Председатель комиссии, увидев меня в кожаном фартуке, с молотком и клещами в руках, сказал улыбнувшись:

— Это вам уже не стратегия!

— Так точно, ваше превосходительство! Следовало, пожалуй, только переменить порядок в наших программах, — весело ответил я.

В лагере под Красным Селом начался скучный курс тренировки лошадей, подготовлявший их к скачкам и парфорсным охотам. Каждое утро начиналось с длительной езды по большому кругу, в середине которого были воздвигнуты «гробы», как мы прозвали очень серьезные препятствия, построенные саперами на твердой, как камень, глинистой земле. Вероятно, из опасения несчастных случаев нас на них никогда не пускали. Но вот в одно прекрасное утро дежурный по школе офицер вбегает в мой барак и срочно требует меня к начальнику школы. У начальника уже собралось человек двадцать лучших ездоков старшего курса.

— Завтра его императорское высочество, — подразумевая Николая Николаевича, говорит начальник школы, — привезет к нам в школу наследного принца Баварского, которому надо показать все, что есть у нас лучшего. Необходимо поразить его высочество прыжками через наши новые препятствия на кругу. Вот, например, на первое препятствие — каменную стенку — могут пойти штаб-ротмистр граф Игнатьев и капитан Елачич.

— Ваше превосходительство, — говорю я, — у капитана известный прыгун на конкур-иппиках, а у меня ведь совсем неопытная молодая кобыла. Как бы не ударить лицом в грязь.

— Нет, ничего, я в вас уверен, — отвечает начальник школы.

Все мы вышли от начальства немного обескураженные, так как срамиться перед немцем никому не хотелось, а для тренировки на препятствиях, на которые лошади еще никогда не ходили, времени оставалось всего несколько часов.

My darling (Моя дорогая) оказалась на высоте и легко перенесла меня через «гроб». Начальник школы сиял, получив возможность похвастать своей школой перед иноземным «высочеством».

Помощника начальника школы Химца, того самого, который был моим учителем верховой езды еще в Пажеском корпусе, мы в шутку, чисто по-кавалерийски, прозвали Подвохом завода Подкопаева от Хама и Стервы.

Один из «подвохов» Химца мне пришлось испытать в первый же день парфорсных охот в Поставах. Перед большим двухэтажным домом, специально построенным польским помещиком для кавалерийской школы и носившим громкое название дворца, ранним утром были выстроены вестовые, державшие лошадей, предназначавшихся для участников охоты. На правом фланге стоял рослый кавалергард с неизвестной мне большой серой лошадью.

— Конь Соловей, — ответил он на мой вопрос, — назначен вашему сиятельству по приказу полковника Химца.

Через несколько минут на идеально выезженной темнокараковой лошади выехал сам знаменитый ездок Химец и повел нас за собой на первую пробную парфорсную охоту по искусственному следу. Впереди шла большая стая желтоногих гончих, окруженная с трех сторон доезжачими в красных английских сюртуках. Дойдя до начала следа, заранее проложенного намоченной губкой, собаки почуяли запах зверя и бросились вперед. Мы должны были следовать за ними галопом, преодолевая многочисленные канавы, крестьянские изгороди, проскакивая сквозь сосновый редкий лес и снова выходя на невидимую издалека какую-нибудь болотистую канаву.

— Ну, как, вы довольны лошадью? — спросил меня, возвращаясь с охоты, Химец. — Надо же было вас побаловать напоследок!

— На таком коне только полковникам скакать, — ответил я. — Сидишь на препятствии, как в люльке, и повода не чувствуешь.

На следующий день подобная же охота, но уже на несколько более длинную дистанцию производилась на соб-

ственных лошадях, а после обеда полагалось проезжать в одиночном порядке лошадей, скакавших накануне.

Добродушный Соловей оказался на сей раз настоящим подлецом. Ходить в одиночку было ему совсем не по душе. Повернув внезапно назад к дому, закусив удила, он понес меня к местечку. Никакая система Филиса не помогала, и через несколько минут я оказался в Поставах, окруженный собравшимися со всех сторон еврейскими мальчишками, с любопытством следившими за моей борьбой с Соловьем. Я все же вышел из этой борьбы победителем и повернул коня обратно на дорогу. Шпоры были в крови, хлыст истрепан, пот градом катил и с меня и с Соловья, когда я вечером подъезжал к конюшням. Все уже давно вернулись, и старый вахмистр начинал беспокоиться.

— Ну, слава богу, это хорошо, — одобрительно заметил он, рассматривая порозовевшие от крови серые бока Соловья, — а то прошлый год он так и привозил господина полковника прямо к себе в станок.

Соловью я, впрочем, обязан и аттестацией, полученной по окончании курса школы: «Может ехать на любой лошади».

Начальник школы меня даже представил за отличие к первому офицерскому ордену, Станиславу 3-й степени, но главный штаб нашел, что такая награда «законом не предусмотрена», лишив меня этого скромного воспоминания о «лошадиной академии» с ее кордами, заборами и крепким запахом конского пота.

. .

Нет на свете большего удовлетворения, чем ощущение доверия, оказываемого тебе как начальнику, и сознание, что по первому твоему слову люди готовы лезть в огонь и в воду, но, как чаще всего бывает, счастливые дни пролетают столь же быстро, как и приходят.

Зная, по скольку лет сиживали мои товарищи из кавалергардского полка в ожидании очереди на командование эскадроном, от чего зависело между прочим получение чина полковника при выходе в отставку, я решил отбыть командный ценз в одном из кавалерийских полков — в Москве, в родном Ржеве или даже в Киевском округе. Но случай решил иначе. Шел я раз по улице и увидел ехавшего навстречу только что назначенного командира

гвардейских петергофских улан, полковника Орлова. Зная его пристрастие к военной выправке, я четко ему откозырял, а он так же четко, а не отмахиваясь, как некоторые, ответил мне на приветствие. Остановив извозчика, он подошел ко мне с приглашением зайти к нему на холостую квартиру.

— Я давно к вам приглядываюсь, и сейчас вы мне очень нужны. Вы знаете, что я только что принял полк, который необходимо встряхнуть, после того как им командовал Наполеон. Я предлагаю вам принять третий эскадрон в моем полку.

Это предложение так мне улыбалось, что перед всяким другим я бы расчувствовался; но передо мной сидел затянутый в синюю уланку полковник Орлов, с оловянным взглядом на красивом и как бы застывшем лице.

С Орловым я долгое время был только в корректных и скорее даже в натянутых отношениях. Издалека я часто им любовался и даже завидовал его красивой фигуре, когда он в роли бессменного судьи на конкур-иппиках стоял посреди Михайловского манежа в своей темносиней венгерке и чикчирах с широким золотым галуном. Он и красную гусарскую фуражку носил как-то набекрень, «по-солдатски», подчеркивая этим свою лихую военную выправку. Ему за это прощали и его не очень знатное происхождение и большое пристрастие к вину, что составляло, по его понятию, неотъемлемую часть службы в гусарском «его величества» полку.

Помню, как однажды на маневрах мне пришлось попасть в отряд, в который входил и гусарский полк под начальством Орлова. Наступала ночь, офицеры давно уже разошлись по палаткам, и посреди большого квадрата из серых коней светилась только палатка офицерского собрания. В ней мы просидели с Орловым всю ночь. Он до утра не расстегнул ни одной пуговицы своего мундира, сидел в походной форме, при шашке и револьвере. К рассвету мы распили по целой бутылке французского коньяку. Среди ночи приходили донесения от разъездов, — Орлов их принимал. Потом поступило распоряжение выслать конного вестового в штаб отряда. Орлов приказал дежурному молодому корнету «выслать не медля от 4-го эскадрона», и через несколько мгновений, в ночной тиши, из какой-то офицерской палатки послышался заспанный голос:

— Галушку — на Выстреле!

— Вот это офицер, — сказал Орлов, — знает людей и лошадей, хоть ночью разбуди.

Это был Молоствов, вышедший из Пажеского корпуса годом раньше меня. Его считали отменным строевиком, и он сделал бы хорошую карьеру. Однако ему пришлось покинуть полк после революции 1905 года, когда эскадрон отказался ответить на его приветствие. Солдаты его ненавидели за «рукоприкладство».

Когда рассвело, Орлов пригласил меня идти с ним на водопой, после чего, выпив рюмку водки и закусив огурцом, пошел проверять походную седловку в одном из эскадронов. Он был бодр и свеж, как будто бы эту ночь не пил, а спал не просыпаясь.

Вспомнив, должно быть, эту ночь, Орлов в ответ на мое согласие служить в уланском полку велел подать в кабинет бутылку шампанского. Мы выпили на «ты».

Наше сближение было нарушено, впрочем, очень скоро японской войной, разделившей гвардейское офицерство на участников войны и на тех, кто, подобно Орлову, остался в столице, чтобы защищать монархию от разразившейся революции.

Красавец Орлов — как командир уланского полка, шефом которого была молодая царица, — естественно, ей понравился и незаметно из строевика-бурбона обратился в приближенного ко двору. Кто потом говорил, что в него влюбилась знаменитая фрейлина Вырубова, кто уверял, что и наследник был обязан своим появлением на свет Орлову, но, как бы то ни было, все кончилось его смертью от чахотки. Тогда пошли обычные сказки про то, что его отравили, и действительно достоверные рассказы о горе императрицы, ездившей на поклонение его могиле в Царском. Одно лишь несомненно, что Орлов был одним из тех, на кого рассчитывала с наступлением революционной опасности супруга безвольного царя...

Через несколько дней после встречи с Орловым я уже принимал эскадрон. В хозяйственной канцелярии меня ждал мой предшественник, ротмистр старого закала, князь Н. А. Енгалычев.

Все хозяйственные расчеты по «приварочным», «фуражным» и «кузнечным» деньгам, конечно, были заранее заготовлены старшим писарем, и нам оставалось только расписываться в соответственных графах, а князю, кроме

того, то и дело расстегивать уланку и передавать мне из туго набитого бумажника причитавшиеся с него деньги.

В них он, как оказалось, по временам весьма нуждался, так как, не имея личного состояния, зависел от своей богатой супруги.

— Когда княгиня давала деньги, — объяснял мне впоследствии вахмистр Зеленяк, — то и людям и коням бывало хорошо, но потом, конечно, бывали задержки.

Я тут же в канцелярии узнал, что все довольствие людей, кроме мяса, я должен покупать сам на «приварочные» деньги.

Для коней интендантство поставляло только овес, сено же и солома и даже железо для ковки заготовлялись попечением командира эскадрона.

Пока князь объяснял мне причины, которые побудили его расстаться со старым вахмистром, оказавшимся таким «хорошим хозяином», что во дворе эскадрона гуляли и куры, и гуси, и чуть ли даже не корова, на что у князя денег не хватало, — нам пришли доложить, что эскадрон построен в манеже.

Первым пошел в полной парадной форме князь, чтобы опросить претензии и проститься с людьми, а через несколько минут, поправив на голове свою кавалергардскую каску, подтянув поясную портупею тяжелого палаша, пошел и я. Сердце дрогнуло, когда незнакомый офицер впервые при моем приближении скомандовал:

— Смирно! Сабли вон! Слушай на-караул!

Подняв саблю подвысь, он пошел мне навстречу, опустил саблю и четко рапортовал:

— Во вверенном вам номер третьем эскадроне офицеров — четыре, унтер-офицеров — тринадцать, улан — сто тридцать пять.

Это был старший офицер эскадрона Александр Иванович Загряжский, только что вернувшийся в полк из запаса. Он уходил из полка, мечтая заняться земледелием в своем крупном имении на Украине, но, соскучившись, вернулся на военную службу.

Передо мной в образцовом порядке выстроен «вверенный» уже мне эскадрон. Он выглядит очень нарядно. Правда, после великанов-кавалергардов — люди совсем малюсенькие, но к ним так идут их уланские синие двубортные мундиры с расставленными вверху и сдвинутыми внизу пуговицами; на головах черные легкие каски, лихо

надетые набекрень, с белыми свисающими султанами из конского волоса; на передней части каски золотой орел и такая же пластинка в виде ленточки с надписью: «За Телиш, 1877 года». В этой лихой атаке в конном строю на турецкие окопы особенно отличился и понес тяжелые потери как раз мой, 3-й эскадрон.

Опрос претензий произвожу строго по уставу, опрашивая отдельно, в стороне, офицеров, потом унтер-офицеров и, наконец, нижних чинов. Как водится, никто на князя не жалуется. Таким образом, внешне все оказывается в порядке.

Эскадрон перестраивается, и Загряжский командует: «К церемониальному маршу!»

Уланы проходят, повернув головы в мою сторону, стараясь, как говорилось, «есть глазами начальство».

— Спасибо, братцы, — говорю я, — по чарке водки!

После этого иду с офицерами в собрание, куда князь уже вызвал трубачей, встретивших меня кавалергардским маршем. Останавливаю трубачей, благодарю и прошу играть для меня впредь только уланский марш. Я ведь знаю, что для офицеров полк представляет совершенно обособленный, собственный и ничем не заменимый мир.

На закусочном столе все было скромнее, чем в кавалергардском полку; водки пили больше, а закусывали меньше. Два-три офицера к закуске не подошли и сели сразу за обеденный стол. Это были те, кто уже много пропил и не имел возможности оплатить месячный счет в собрании, а потому лишился права требовать водку или вино. Здесь, у улан, богачи, вроде командира 1-го эскадрона Маркова, седеющего балетомана, были наперечет: солдат его эскадрона называли «макаронниками», так как он мог себе позволить заменять по воскресеньям черную кашу для солдат макаронами.

Единственным моим старым знакомым среди старших офицеров оказался командир 5-го эскадрона, немолодой уже, но лихой ротмистр Назимов, вечно ходивший с помятой фуражкой набекрень и с кольцом в ухе. Он как бы хотел сохранить внешность и манеры тех небогатых русских дворян, из которых в старые времена комплектовались офицеры армейских кавалерийских полков. Гвардейский лоск к нему не пристал, и эскадрон его на лучших темнобурых кровных конях держался как-то в стороне от остальных. Песенники его эскадрона пели какие-то всеми

забытые старинные русские песни, и это-то нас прежде всего и сблизило, так как Назимов оказался не только любителем, но знатоком их. Он был женат на небогатой дворянке и жил особняком ото всех на скромной даче.

У меня в эскадроне, кроме Загряжского и числившихся, но никогда не бывавших на службе старых штаб-ротмистров, оказалось только три молодых корнета — двое из Николаевского кавалерийского училища, неплохие строевики, Бибиков и Бобошко, и один из Пажеского корпуса, тщедушный, бледнолицый Хлебников. Последний на второй же день моего командования умудрился опоздать на ученье.

— Приходи-ка завтра в семь часов утра ко мне на квартиру попить чайку, — сказал я Хлебникову.

Смысл подобного приглашения не нуждался в разъяснениях.

В соседнем со столовой салоне стоял зеленый стол для покера, за которым с утра и до самой поздней ночи заседал ветеринарный врач. Освобождавшиеся после службы офицеры подсаживались по очереди к столу и играли «по маленькой». Вечером из Петербурга возвращался Орлов и «поднимал игру», произнося мрачно: «Рубль и рублем больше...»

Первый день командования начался с появления на моей даче, находившейся в нескольких шагах от эскадрона, молодого вертлявого вахмистра Зеленяка.

— В имени вашем номер третьем эскадроне... — начал он рапорт традиционной формулой, имевшей смысл тогда, когда в русской армии части получали названия по имени своих командиров.

— Вот только три улана, отпущенные вчера после смотра в Петербург, во-время не вернулись и объясняют теперь, что проспали в поезде Петергоф. Как прикажете с ними поступить? — продолжал Зеленяк.

— Неужели, — говорю я, — ни ты, ни взводный не можете наложить на них за это взыскание?

— Никак нет, — отвечает Зеленяк, — их сиятельство князь никому не позволяли наказывать, а все сами расправлялись.

— А господа офицеры?

— Их уж проступки совсем не касаются, — твердо заявляет Зеленяк.

— Знаешь, — говорю я ему, — как в старину назывались такие, как ты, унтера? «Галунниками». Галуны носят, а отвечать ни за что не желают.

Тут же я узнал, что поездка в Петербург является для улан редкой роскошью, так как ехать в столицу можно только в так называемых отпускных киверах, а их на весь эскадрон только десять — пятнадцать штук; остальные предназначаются для парада.

Сознавая, что поправить это дело не в моей власти, я замял разговор и приказал Зеленяку поседлать эскадрон и вывести его на плац.

Конский состав оказался очень пестрым и в плохих телах, что Зеленяк объяснял большой гонкой на красносельских маневрах.

Эскадрон ходил такими плотными рядами, что мне невольно захотелось подать команду «врозь», предусмотренную уставом. Тут-то я и заметил, насколько эскадрон был действительно «сбит». Люди после этой команды потеряли уверенность, а рыжие лошадки начали неистово ржать, разыскивая своих соседей по строю, и подбрасывать свои маленькие головки. Чувствовалась какая-то нервность, если не задерганность, в поведении всадников и коней. Я тут же решил, что нужно добиваться общего успокоения и, пользуясь хорошими осенними днями, делать проездки на трензелях потихоньку, в одиночку по плацу и прилегающему Петергофскому парку.

Решил также выучить фамилии солдат и, считая оскорбительным для них переспрашивать фамилии, принял за правило ходить каждый вечер на перекличку. Помнил я при этом совет отца — хорошенько всматриваться в лица людей. И вот стал я замечать, что один из улан 3-го взвода, Цветков, смотрит как-то мрачно, угрюмо. Однажды, по окончании молитвы, я велел Зеленяку вызвать Цветкова в эскадронную канцелярию. Не помню хорошо, проведено ли было электричество в казармах и не оставалось ли оно достоянием только офицерского собрания, но во всяком случе комнатенка, где обычно сидел эскадронный писарь, была освещена слабо. В ожидании моего улана я подписывал за столом очередные бумажки и на стук в дверь ответил: «Войдите». Обернувшись, я увидел Цветкова, который при одном уже этом моем движении вздрогнул, еще больше вытянулся и почти прижался к косяку двери.

— Подойди сюда, — говорю я ему.

Но он делает один неуверенный шаг вперед.

Не желая повторять приказа, — я сам встаю со стула, но при первом моем шаге Цветков вздрагивает и инстинктивно откидывает голову назад. Мне стало жутко. В одну минуту я понял все. Не хотелось только верить, что в этом блестящем гвардейском полку могли уживаться такие «методы воспитания».

Из дальнейшего опроса Цветкова выяснилось, что причиной его дурного настроения было плохое письмо из дому. Семья его бедствовала и давно уже не высылала ему ни копейки. Я знал, как трудно служить солдату без собственных грошей, и, проверив списки, убедился, что безденежных у меня в эскадроне пятнадцать человек.

Десять из них были уже пристроены денщиками и вестовыми при офицерских лошадях, за что полагалось платить по пяти рублей в месяц, но для Цветкова и остальных нужно было искать другого выхода.

С наступлением холодов он нашелся сам собой. Тяжело бывало вставать людям на уборку коней задолго до петербургского рассвета, когда термометр показывал внутри помещения едва пять градусов, а со всех наружных углов капала вода: казармы были новой постройки. Печи в них были почему-то огромных размеров. Я перебрал уже дрова с полкового склада чуть ли не за два месяца вперед, но в конце концов, видя, что это не помогает, решился, по совету «эскадронной аристократии» — взводных унтер-офицеров и каптенармуса, — на крайнюю меру: поставить во всех наружных углах железные печурки. Они должны были затапливаться за полчаса до утреннего подъема, и к ним-то за три рубля в месяц из хозяйственных сумм я и прикрепил моих последних «бедняков». «Августейший шеф полка» никогда не бывал в казарме, а высокому начальству не приходило в голову притянуть к ответу представителей инженерного ведомства: «экономию» на кирпиче при постройке казарм можно было без труда обнаружить.

«Щи да каша — пища наша» — гласила старая военная поговорка, и действительно, в царской армии обед из этих двух блюд приготовлялся везде образцово. Одно мне не нравилось: щи хлебали деревянными ложками из одной чашки шесть человек. Но мой проект завести индивидуальные тарелки провалился, так как взводные

упорствовали в мнении, что каша в общих чашках горячее и вкуснее. Хуже всего дело обстояло с ужином, на который, по казенной раскладке, отпускались только крупа и сало. Из них приготовлялась так называемая «кашица», к которой большинство солдат в кавалергардском полку даже не притрагивались; ее продавали на сторону. В уланском полку, правда, ее — с голоду — ели, но кто мог, предпочитал купить на свои деньги ситного к чаю, а унтера и колбасы.

— Ну, как вам командуется? — спросил меня в дачном поезде как-то раз старый усатый ротмистр из соседнего с нами конногренадерского полка.

Я пожаловался на бедность нашей раскладки на ужин. Тогда он, подсев ближе, открыл мне свой секрет:

— Оставляйте от обеда немного мяса, а если сможете сэкономить на цене сена, то прикупите из фуражных лишних фунтов пять, заведите противень — да и поджарьте на нем нарубленное мясо с луком; кашицу варите отдельно, а потом и всыпайте в нее поджаренное мясо.

Так я и поступил. Вскоре, на зависть другим эскадронам, уланы 3-го стали получать вкусный ужин.

Хозяйственные заботы занимали вообще чуть не первое место в деле командования, а в кавалерии это усугублялось наличием коней. Помню, как я мучился первые недели, разглядывая худых кобыл, которые, как говорили старые кавалеристы, «газеты читали», стоя перед неизменно пустыми кормушками. Я слыхал про ретивых командиров, которые сами проверяли выдачу овса. Но после первых же докладов о том, что такой-то конь выедает овес так скоро, что у него всегда кормушка пуста, я отказался от этого и установил новый порядок: каждый взводный отвечал за свой взвод и на черной доске, вывешенной у входа в конюшню, ежедневно расписывался мелом в получении положенного числа гарнцев. У каптенармуса и вахмистра — главных «хозяев» в эскадроне — ничего, таким образом, прилипнуть к рукам не могло.

На полученный от князя остаток фуражных денег я выписал из Тулы вагон великолепного овса, стоимость которого и погасил постепенно недобором от интендантства казенного зерна. Взводные мои сияли.

— Сейчас восемь часов, — говорю я рапортующему мне на квартире Зеленяку, — сегодня наш манеж после обеда. Через полчаса я приду на эскадронный двор и

произведу выводку, ну, например, одному второму взводу. Не забудь об этом сообщить корнету Хлебникову.

На выводке я нарочно особенно худых лошадей задерживаю перед собой подольше, разглядывая их со всех сторон. Лицо стоящего против меня взводного Пилюгина, лучшего ездока в эскадроне, краснеет, особенно из-за того, что за его спиной, у дверей конюшни, столпились взводные других взводов, радующиеся, что сегодня не их черед краснеть. Приходит мне при этом на память старый анекдот про одного эскадронного командира, который на выводке докладывал начальнику дивизии: «Всем стараемся кормить, ваше превосходительство, и отрубями, и морковью, такая уж порода!..» — «А вы попробуйте овсом», — отвечает ему старый генерал.

Пригодились мне и уроки, полученные в кавалерийской школе. Не раз я предлагал Хлебникову сказать свое мнение, какую ногу следовало бы перековать. Мне пришлось его даже выучить поднимать у лошади заднюю ногу, чему, как я знал по собственному опыту, в Пажеском корпусе не обучали.

В первые же дни я объяснил офицерам, что выездка по системе Филиса требует аккуратного посещения манежа и тяжелой работы. Во главе смены, обливаясь потом и теряя накопленный в своем имении жирок, шел у меня сам Загряжский, старавшийся добиться «сдачи в ганашах» у бурого, грубоватого коня Борца.

— Мучаю я вас ездой? — спросил я как-то взводного Зайцева.

— Ничего, ваше сиятельство, зато интересно. Раньше, до вас, ездили не понимая, а теперь начали разбираться.

Недаром старик Филис говаривал, что он предпочитает обучать три смены солдат-наездников вместо одной офицерской. Но не все умели ценить способности наших солдат, и даже мой товарищ по кавалерийской школе, образцовый ездок и спортсмен Арсеньев, проводивший ту же систему Филиса в 5-м эскадроне, говаривал мне:

— Да, это хорошо для офицеров, а для солдат система Филиса не вполне подходит. Ее надо «упрощать».

Когда пришли новобранцы, для которых я завел такие же корды, на каких меня самого переучивали в школе, то даже самые мои большие критики, толстопузые сверхсрочные вахмистры других эскадронов, должны были

признать, что люди в 3-м эскадроне «сели в седла» скорее, чем у них.

Система Филиса всеми быстро осваивалась. Хотелось довести дело до конца, и поэтому я решил выбросить из манежа традиционный прутяной хертель, который, кстати сказать, нигде в русской природе не встречается. Нужно было приучить эскадрон брать мертвые препятствия, обучив лошадей лучше подбирать ноги на прыжках. Зная, что это уставом не предусмотрено, а главное, что времени на эту работу выкроить неоткуда, я собрал однажды эскадрон и объяснил, для чего необходимо брать мертвые изгороди. С тех пор по субботам после обеда, когда манеж был свободен, еженедельно устраивалось нечто вроде конного праздника. Участие в нем не было для солдат обязательным, но приходили все. Мы начали с обучения коней прыжкам без всадников. Каждый старался, чтобы его конь как-нибудь не закинулся, не зацепил за барьер, а в случае ошибки просил разрешения еще раз пропустить коня. Правда, после нескольких подобных сеансов мне нагорело от Орлова, так как ему нажаловались другие эскадроны, что 3-й производит занятия в неположенное время. Но дело было сделано.

Меньше всего забот доставляла командиру эскадрона внутренняя служба и особенно караульная, которая была налажена отлично. Михаил Иванович Драгомиров считал караульную службу важнейшим средством военного воспитания — как наиболее близкую к действиям в боевой обстановке.

Но на караульной службе в самом начале командования и случилась у меня неприятность. Однажды утром меня встретил молодой корнет, дежурный по полку, и доложил, что на посту у дровяного склада, куда часовые выставлялись только на ночное время, стоит до сих пор часовой, улан 3-го эскадрона Ильченко, отказывающийся уйти в казармы без разводящего, хотя простоял уже на морозе лишние три часа. Оказалось, что разводящий, поленившись дойти до этого часового, поручил ночной смене сказать ему по дороге, чтобы он шел домой спать. Ильченко не послушался и заявил, что без разводящего не покинет своего поста.

Орлов, которому пришлось доложить об этом, уважил мою просьбу не губить разводящего, оказавшегося ефрейтором, беспорочно прослужившим пять лет. За этот про-

ступок грозило тюремное заключение, — а увольнение в запас должно было состояться через два-три дня. Орлов в конце концов дал мне разрешение самому разобрать дело, и в полдень я собрал офицеров и выстроил эскадрон в столовой.

— Не ожидал я подобного отношения к службе от улан третьего эскадрона, — сказал я и, вызвав перед строй разводящего, объявил ему, что помилование он получил за то, что беспорочно прослужил пять лет. У ефрейтора из глаз брызнули слезы.

Но как же сиял Ильченко, новобранец последнего призыва, когда весь эскадрон во главе с офицерами громко прокричал в его честь «ура».

На том и кончился разбор, и вспоминал я об этом деле только в тех случаях, когда дежурный по полку говорил после ужина:

— Ну, сегодня в обход можно не идти. В карауле третий.

Святость воинского устава и беспрекословное повиновение приказаниям начальства — вот и все, на чем основывалось воспитание солдат. В уланском полку не делалось даже того немногого, что существовало у кавалергардов. Там в каждом эскадроне имелась небольшая библиотека, наполовину, правда, состоявшая из книг религиозного содержания, но в ней были и военные рассказы и некоторые русские классики. Новобранцев водили по городу, ознакомляя их с памятниками и соборами. Я сам по первому году службы участвовал в чтении воскресных лекций для солдат петербургского гарнизона в Соляном городке. Ничего подобного в Петергофе не делалось, да и никого это не интересовало. Невежество считалось чуть ли не доблестью, и мой корнет Бибиков заслужил прозвище «Заратустры» за то, что позволял себе иногда сидеть по вечерам на даче и читать книжки.

В собрании я, кроме уставов, никаких книг не видал и держал весь собственный академический багаж как никому не нужный под семью замками в далекой кладовой.

Я почти ежедневно — как холостяк — обедал по вечерам в собрании. Но и за столом разговор не клеился и не шел дальше споров о конях. Оживление вносил иногда только сам Орлов, неожиданно появлявшийся в столовой и требовавший песенников то одного, то другого эскадрона. Это было для него как бы «тревогой», а также

способом проверить стойку и выправку нижних чинов. Люди должны были как один носить бескозырки набекрень, а правую руку держать за нижней пуговицей мундира. При прокашливании начальника все должны были прокашливаться как по команде — одновременно, а при сморкании Орлов запрещал употребление носового платка: надо было повернуть голову в сторону и по очереди зажимать ноздри. О поворотах и твердости ноги при входе и выходе в залу уже и говорить не приходилось. Тут могло влететь и самому командиру эскадрона, особенно под пьяную руку.

Вся эта тупая муштра должна была воспитать в солдате слепого исполнителя приказов. Только повиновение требовалось от солдата — без рассуждений, автоматически.

— Что есть солдат? — учили нас на «словесности».

Ответ: «Солдат есть защитник престола и отечества от врагов внутренних и внешних».

Слово «внутренних» я, как и многие, избегал расшифровывать, затрудняясь дать точное определение, а командуя эскадроном и подготавливая его к бою, об этом даже не помышлял.

Когда же в 1906 году мои на вид добродушные товарищи по офицерскому собранию, получив право выносить смертные приговоры крестьянам латышам, приводили их в исполнение в усадьбах баронов-помещиков, я понял, что враги «внутренние» упоминались не случайно, что воспитание солдат было рассчитано на то, чтобы обратить миллионную русскую армию мирного времени на выполнение полицейских и палаческих обязанностей.

Мой друг Назимов не вынес карательной экспедиции и застрелился.

Мне, к счастью, эту темную страницу истории когда-то славного боевого полка пришлось узнать только из газет: я к тому времени уже давно покинул полк, в день объявления войны с Японией вызвавшись ехать в действующую армию.

Самым тяжелым при отъезде на войну явилось расставание с моим эскадроном. В этот памятный вечер, когда я спросил, кто хочет идти со мной вестовым на войну, — весь эскадрон сделал шаг вперед, выразив желание не отстать от своего командира.

В последний раз, сидя на подоконнике в полутемной столовой, пел я со своими уланами старые боевые уланские песни. Они стали для меня уже родными.

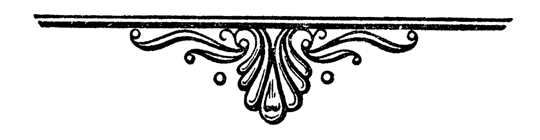
Родными остались и по сей день для меня мои старые сослуживцы по эскадрону: взводный Пилюгин и каптенармус Смирнов; после тридцатилетней разлуки сидим мы за стаканом чая в Москве и вместе вспоминаем былые дни.

Через полгода, сидя в китайской фанзе где-то в Суетуне, я получил письмо от своего преемника по командованию эскадроном и денежный перевод в сто двадцать три рубля. «Деньги эти, — писал мне Крылов, — представляют стоимость чарок водки за последние два месяца, так как уланы 3-го эскадрона собрались и вынесли решение отказаться от казенных винных порций. Они просят тебя покупать на эти деньги все, что сочтешь нужным для их собратьев — солдат Маньчжурии, которые гораздо несчастнее их».

Знал я уже и тогда невеселую казарменную жизнь солдата, знал, что значит для него казенная чарка водки, и потому смог, пройдя через все жизненные перипетии и у себя на родине и за границей, повидавши много иностранных армий, — сохранить от военной службы в старой армии главнейшее: непоколебимую веру в сердце русского солдата; такого сердца в мире не найдешь.



КНИГА ВТОРАЯ





Глава первая

ОТЪЕЗД НА ВОЙНУ

Вечером 26 января 1904 года ровно в девять часов я подъехал в санях на нашем доморощенном рысаке Красавчике к подъезду Зимнего дворца со стороны Дворцовой площади. Право входа во дворец с этого подъезда, носившего название «подъезда ее величества», являлось привилегией дам, мужчин, имевших придворное звание, и офицеров кавалергардского полка. Все прочие гости съезжались во дворец с так называемого Крещенского подъезда, со стороны Невы, и там обычно шла толкотня и неразбериха с шинелями при разъезде. На нашем все было элегантно и чинно. Я вошел одним из первых, и придворные лакеи в расшитых золотом красных фраках еще проходили по лестнице, убранной мягким пушистым ковром, и лили из бутылок на раскаленные чугунные совки придворные духи, распространявшие какой-то специальный, присущий дворцу аромат.

Скинув николаевскую, то есть образца, установленного при Николае I, шинель с бобровым воротником, я стал подниматься во второй этаж.

На всех площадках и поворотах стояли псари императорской охоты в расшитых галунами кафтанах темно-зеленого цвета. За громадной стеклянной дверью, отделявшей лестницу от первого небольшого зала второго этажа, я прошел мимо парных часовых-великанов, солдат лейб-гвардии Измайловского полка; мне казалось, что

еще вчера я стоял пажом на этом самом посту. Но я был уже кавалергардским штаб-ротмистром в красном колете, с академическим значком на груди, и, вместо смазных сапог с хорошим запахом дегтя, на мне были лакированные ботинки с тупыми бальными шпорами без колесиков. Измайловцы лихо отдали мне честь по-ефрейторски, и через минуту я уже очутился в полукруглом угловом зале, в котором, неизвестно с каких пор и зачем, стояла пушка. Здесь я когда-то провел много дней и ночей во внутреннем кавалергардском карауле. Кавалергарды стояли все на том же месте и по случаю бала были одеты в дворцовую парадную форму, в медных касках с орлами.

Я продолжал путь через так называемую большую галерею, в которую с левой стороны выходили двери из внутренних царских покоев. На противоположной стороне во всю длину этого широкого коридора висели громадные портреты выдающихся государственных и военных деятелей прежних времен. Как обычно, я задержался лишь перед портретом моего деда, Павла Николаевича, спокойно смотревшего на меня из-под нависших век.

В круглом зале, так называемой «ротонде», со мной, как с бывшим камер-пажом императрицы, приветливо раскланялись нарядные скороходы в шляпах с плюмажами из страусовых перьев и придворный негр-великан в белой чалме. Со времен Петра I негр считался ближайшим телохранителем царской особы.

В большом Николаевском зале главная люстра еще не была зажжена. В углу музыканты придворной капеллы, в красных фраках, неторопливо настраивали инструменты. Я присоединился к трем офицерам, стоявшим посреди полутемного зала. Это были мои коллеги по дирижированию танцами. Мы стали ожидать прибытия нашего начальника — главного дирижера бала, генерал-адъютанта Струкова. Стройный, с талией в рюмочку, затянутый в уланский мундир, с лентой через плечо и георгиевским крестом в петлице, Александр Петрович слыл в молодости одним из лучших великосветских танцоров. На него-то и было возложено дирижировать балом. Он, со своей стороны, представил на утверждение нас, четырех своих помощников. Струков подчеркнул «высокое доверие», оказанное нам, объяснил порядок каждого танца и, для удобства управления, разделил зал на четыре равных каре, назначив их номера согласно номерам наших полков

в дивизиях. Мое каре оказалось первым и поэтому ближайшим к месту расположения царской семьи.

Приглашенные стали быстро съезжаться, хрусталь люстр заиграл переливами от тысяч электрических ламп, а в соседней к залу галерее был уже открыт высокий, по грудь, буфет с шампанским, клюквенным морсом, миндальным питьем, фруктами и большими вазами с изготовленными в придворных кондитерских Царского Села печеньями и конфетами. Таких сладостей в продаже найти нельзя было, и всякий старался увезти побольше этих гостинцев домой.

Около буфета толпились офицеры. Я присоединился к группе уланского полка, в котором по окончании академии командовал эскадроном. Мне как танцору пить шампанского не полагалось, — чтобы при дыхании не пахло вином.

Особый интерес привлекали в зале члены дипломатического корпуса. Но японского посла уже среди них не было, — дипломатические отношения с Японией были прерваны, и все говорили о статьях «Нового времени» и недопустимых притязаниях японцев на Корею.

Вскоре большинство офицеров бросилось навстречу дамам и барышням, приглашая их заранее на один из танцев.

Шум голосов все усиливался, и уже трудно становилось протолкаться в этой пестрой и нарядной толпе. Великосветский Петербург тонул среди случайных гостей, дам и барышень, попавших во дворец по служебному положению мужей и отцов или наехавших из провинции на сезон богатых дворян: они искали женихов для своих дочерей, а лучшей биржи невест, чем большой придворный бал, трудно было найти.

Этих провинциальных барышень и барынь сразу легко было узнать: они жались к простенкам, отделявшим зал от галереи. Я вспомнил прием, какой оказал когда-то мне самому, провинциалу, гордый петербургский свет, и находил особое удовлетворение в том, чтобы приглашать на танцы именно этих запуганных столицей дам.

Около дверей, из которых должна была выйти царская семья, толпились высшие чины свиты. Среди них, тоже получужим, стоял военный министр генерал-адъютант Куропаткин.

Военно-придворная петербургская знать мало интересовалась постом военного министра, как непричастного к светской жизни и гвардейским интригам, а потому поначалу легко переварила появление на горизонте какого-то безвестного Куропаткина. О нем знали, что он боевой офицер, имеет ранения, был в свое время начальником штаба у Скобелева, участвовал в завоевании Средней Азии. Но в глазах света никакие личные заслуги не искупали скромного происхождения. И Куропаткину не могли простить его генерал-адъютантских аксельбантов, ибо они открывали ему доступ ко двору и уравнивали его с особами титулованными.

Никто во дворце не подозревал о надвигавшихся событиях.

На балу все шло своим установленным порядком. Раздался стук палочки придворного церемониймейстера Ванечки Мещерского. Все мгновенно стихло, и в двери, распахнутые негром, стала входить царская семья с царем и царицей во главе.

Прослужив семь лет в кавалергардском полку, я уже хорошо знал все большие придворные приемы и потому спокойно занялся разговором с интересовавшей меня дамой. Большинство же приглашенных протискивалось в первые ряды, чтобы получше разглядеть традиционный полонез, которым открывался бал.

В первой паре шла царица — уже пополневшая и подурневшая — со старшиной дипломатического корпуса, турецким послом в красной феске на голове. Тот с чисто восточной почтительностью держал Александру Федоровну за руку и старался как можно лучше попадать в такт полонеза из «Евгения Онегина».

За этой парой шел царь, держа за руку стареющую красавицу, жену французского посла маркиза Монтебелло, владельца крупнейшей фирмы шампанского.

За ними шел и сам маркиз-коммерсант с великой княгиней Марией Павловной, женой дяди царя — Владимира. Далее следовали пары в том же роде, то есть составленные из членов царской семьи и членов дипломатического корпуса. Они проплывали вокруг зала длинной колонной среди толпы смертных второго разряда, состоявшей из стариков — членов Государственного совета, сенаторов, генералов, — придворных помоложе и офицеров

гвардии всех чинов. Армейцы на такие приемы не допускались.

Как только окончился полонез, Струков подлетел к императрице, почтительно поклонился и о чем-то доложил. По ответному кивку головы можно было понять, что Александра Федоровна выразила свое согласие. Это означало открытие первого контрданса, и все мы, помощники Струкова, приступили, не без затруднений, к образованию четырех каре — каждое от ста до двухсот танцующих. Танец состоял из шести различных фигур, исполнявшихся одновременно по нашим командам, которые мы отдавали на французском языке.

— Les cavaliers, avancez, — командую я и вижу, как невдалеке усердно и исправно выполняет мою команду полковник в красном чекмене гвардейских казаков — Николай II.

Это чисто внешнее сближение с верхушкой правящего класса плохо ему удавалось. Николай II чувствовал себя не хозяином, а скорее гостем, отбывающим по традиции какую-то повинность.

Старики, как, например, моя мать Софья Сергеевна, танцевавшая при Александре II, всю жизнь отмечала разницу старых времен и нового царствования. По словам этих неисправимых монархистов, большую роль в отчужденности царя даже от гвардии сыграл Александр III, который после убийства своего отца заперся от страха в низеньких антресолях мрачного по воспоминаниям о павловской эпохе Гатчинского дворца. Навеки и безвозвратно были порваны все личные отношения, которыми так дорожил его отец. Даже свита, состоявшая при Александре II из сотен генералов и офицеров, в том числе и армейских, была сведена Александром III до десятка приближенных. Он оставил тяжелое наследство Николаю II, который при восшествии на престол никого не знал и никогда никому не верил. Он был чужим не только на этом балу, но и во всей своей стране.

— Этот хваленый Александр III еще больше во всем виноват, чем Николай II, — говорила неоднократно Софья Сергеевна после Февральской революции.

После трех контрдансов приближалась самая важная часть бала — мазурка, за которой должен был следовать ужин.

Ко мне подошел мой бывший командир эскадрона Кнорринг.

— Иди скорей к великой княгине Ксении Александровне! Она спрашивает, свободен ли ты на мазурку.

Этикет не позволял приглашать на танец великих княгинь. Инициатива должна была исходить от них. Но уж зато отказывать великим княгиням тоже никак не полагалось, и потому мне пришлось бежать извиняться перед ранее приглашенной мною дамой.

Ксения Александровна, старшая из сестер царя, была замужем за своим родственником, великим князем Александром Михайловичем, имела много детей и давно перестала интересоваться танцами. Поэтому всю мазурку мы с ней не танцевали, а провели в беседе, которая продолжалась за ужином.

От природы застенчивая, Ксения Александровна сказала, что слышала обо мне от Кнорринга, с которым была давно знакома, и что ей было бы интересно узнать, правда ли, что я провел детство в Сибири, правда ли, что умею сам пахать и косить, правда ли, что окончить академию не так уж мудрено? Я чувствовал, что для моей собеседницы мои ответы кажутся столь же странными, как рассказ человека, слетевшего с луны. Да и по правде сказать, рассказы действительно мало гармонировали с обстановкой.

Роскошные пальмы доходили чуть ли не до потолка. Вокруг них были сервированы столы для ужина. Пальмы эти, закутанные в войлок и солому, свозили во дворец на санях, специально для бала, из оранжерей Ботанического и Таврического садов. Это было великолепие, которым поражались иностранцы. Но высший петербургский свет был уже пресыщен роскошью своих собственных балов, и те царские приемы, о которых с восторгом вспоминали отцы, уже не трогали детей.

— Что это за бал, на котором не выносятся корзины саженной высоты с розами, гвоздикой и сиренью прямо из Ниццы? — недоумевала молодежь.

Старые мамаши вздыхали:

— В наше время таких денег за границу не швыряли, цветов не давали, а веселиться умели не хуже вас, молодых!

После ужина начался разъезд. Выходя, я, по обыкновению, выпил стакан горячего пунша в «ротонде»; тут же,

за углом налево, взял свой палаш и каску и поспешил на Балтийский вокзал: там офицеров петергофского гарнизона ждал специальный поезд.

Мог ли я думать, покидая этот пышный раздушенный бал, что он был последним в Российской империи, что революция 1905 года закроет двери Зимнего дворца для самого Николая II и он в страхе навсегда запрет себя и свою семью в Царском Селе. Наконец, мог ли я представить, что вернусь в этот дворец только много лет спустя и уже советским гражданином?..

В семь часов утра я стоял в манеже уланского полка и подавал команду уже не по-французски, а на русском языке:

— Справа по одному, на две лошади дистанции! Первый номер шагом марш!

После учения я, по обыкновению, пошел в полковую канцелярию. Здесь, в то время когда я говорил об овсе, недобранном мною для эскадрона, ко мне подошел полковой адъютант Дараган и молча передал служебную депешу из штаба округа.

«Сегодня ночью наша эскадра, стоящая на внешнем Порт-Артурском рейде, подверглась внезапному нападению японских миноносцев и понесла тяжелые потери».

Этот официальный документ вызвал прежде всего споры и рассуждения о том, может ли иностранный флот атаковать нас без предварительного объявления войны? Это казалось столь невероятным и чудовищным, что некоторые были склонны принять происшедшее лишь как серьезный инцидент, не означающий, однако, начала войны. К тому же не верилось, что какая-то маленькая Япония посмеет всерьез ввязаться в борьбу с таким исполином, как Россия.

К завтраку в полковом собрании были налицо почти все офицеры. Некоторые вернулись из Питера только около полудня, и привезенные ими подробности ночного нападения, а также рассказы о впечатлении, которое оно произвело в столице, объяснили нам, что это уже не инцидент, а война. Но что такое война — большинство себе не представляло. Война казалась нам коротенькой экспедицией, чуть ли не командировкой.

Сидевший напротив меня за столом командир 1-го эскадрона, седеющий ротмистр Марков с наивной серьезностью даже сказал мне:

— Послушай, Игнатьев! Ты вот говоришь, что для такого похода надо подумать о соответствующем обмундировании и снаряжении. А я вот тебе советую завести прежде всего серебряный пояс-шарф на муаре. Он очень практичен! А потом в конце концов ты просто прикажи своему камердинеру привозить все, что тебе нужно, в Иркутск!

Как ни были присутствующие далеки от действительности, все же они наградили Маркова дружным гомерическим смехом.

Тут же, в собрании, некоторые лихие головы сразу стали заявлять о своем желании ехать на войну добровольцами. Я тоже тотчас после завтрака подал рапорт командиру полка об отправлении на театр военных действий. Как бы ни были для меня неясны цели предстоящей борьбы с японцами, как бы ни была тяжела разлука с родным домом и полком, я сознавал, что если задержусь хоть на день, то потеряю уважение даже моих молодцов-улан.

К пяти часам вечера все офицеры гвардии и петербургского гарнизона были снова созваны в Зимний дворец. Но на этот раз уже не на бал, а для присутствия на торжестве по случаю объявления войны с Японией.

Участников турецкой войны 1877—1878 года среди присутствующих оставалось мало, а молодое поколение офицеров привыкло исполнять военную службу, как всякое другое ремесло мирного времени; в них больше воспитывали чувство верности к престолу, чем чувство тяжелой военной ответственности перед родиной. Быть может, именно поэтому никому еще как-то не верилось, что такое событие, как война, может нагрянуть столь просто и неожиданно. О степени готовности армии и России к войне не знали.

По окончании молебна в дворцовой церкви в зал вошел Николай II, в скромном пехотном мундире и с обычным безразличным ко всему видом. Все заметили только, что он был бледен и более возбужденно, чем всегда, трепал в руке белую перчатку.

Повторив известное уже всем краткое сообщение о ночном нападении на нашу порт-артурскую эскадру, он закончил бесстрастным голосом:

— Мы объявляем войну Японии!

Тут раздалось «ура». Оно отдалось эхом по бесчисленным залам дворца, но оно уже было казенным: лишь немногие вызвались поехать на войну.

Среди громадного скопления карет нашел я при выходе свои сани, на облучке которых, по случаю торжественного дня, восседал сам наш старший кучер Борис Зиновьевич, старый солдат турецкой кампании.

Выехав на Марсово поле, он перевел рысака в шаг и, обернувшись ко мне, полутаинственно спросил:

— А кто же будет главнокомандующим?

— Говорят, военный министр Куропаткин, — ответил я.

— Ничего из этого не выйдет, — неожиданно заявил Борис Зиновьевич.

— Как? Почему?

— Да вот хоть бы и с генералами! Где ему с ними справиться? Они вон как будут между собой, — пояснил он выразительным жестом, разводя и сводя вместе кулаки с опущенными вожжами.

Впоследствии, видя взаимоотношения генералов, я не раз вспоминал это замечание.

Вбежав к отцу, сидевшему за своим большим письменным столом, я обнял его и, заявив о подаче рапорта об отправке в действующую армию, просил подготовить мою мать.

— Да мы уже наперед это знали, — сказал отец. — Больно только отпускать тебя на подобную войну!

Отец, возмущаясь, говорил, что у нас и в России хватает дела, чтобы не лезть в авантюры на чужой земле. Он негодовал на Витте, который ухлопал миллионы на постройку города Дальнего и создал на казенные деньги Русско-Китайский банк, финансировавший дальневосточные аферы таких дельцов, как адмирал Абаза, сумасшедший Безобразов и их дружок Вонляр-Лярский. Не раз говаривал отец еще до войны, что не доведут Россию до добра затеи этой компании и что когда-нибудь за их жажду наживы, за их лесные концессии, которые они взяли на Ялу, под самым носом у японцев, привыкших уже считать себя здесь хозяевами, придется дорого расплачиваться всему государству. Отец, конечно, смотрел на события глубже, чем я. Я же, как, впрочем, и все мои товарищи, не задумывался ни о причинах, ни о целях

этой войны. Нам с детства был привит тот взгляд, что армия должна стоять вне политики. А уж о Японии и вовсе никто ничего не знал. В Петербурге рассказывали небылицы, будто японцы все поголовно болеют сонной болезнью. Так вот и засыпают в самый неожиданный момент! Это уж было совсем невероятно!..

Во дворце я встретил полковника Гурко, из главного штаба, и он при мне рассказывал о безобразной неразберихе между донесениями нашего посла в Токио А. П. Извольского и военного агента полковника Ванновского; каждый из них излагал диаметрально противоположные мнения о подготовленности Японии к войне.

— Да, — повторял отец, — у меня перед глазами что-то вроде темной завесы. На все, конечно, воля божья, но об одном прошу тебя — пиши почаще. Пиши всю правду.

Сколько раз за эти последние перед отъездом дни отец горячо меня обнимал, и я чувствовал, как он скрывал слезы...

Неизвестность во всем, что касалось войны, внушала ему какие-то плохие предчувствия. Невольно они передавались и мне. Впрочем, я не представлял себе, что кампания может принять затяжной характер, и, боясь опоздать к решающему моменту, торопил, как мог, сборы к отъезду. Каково же было мое изумление, разочарование и негодование, когда оказалось, что ни один из предметов военного обмундирования и снаряжения мирного времени не был приспособлен к войне. Даже шашки не были отпущены. Мундиры и кителя — узкие, без карманов, пальто — холодное, сапоги — на тонкой, мягкой подошве. Но благодаря заботам отца я был, не в пример другим, экипирован на славу, с соблюдением главного требования военного времени: малого веса всякого предмета. Черный дубленый полушубок заменял теплое пальто; сапоги, надевавшиеся на тонкий фетр, заменили и валенки и теплые сапоги, а сюртук на белке заменил и мундир и драповое пальто. Мне даже подарили кровать-сороконожку из складных буковых палочек, растягивавшихся гармоникой и покрывавшихся взамен матраца непроницаемым седельным войлоком. На походе эта своеобразная кровать не занимала ни места, ни веса во вьюке и спасала от соприкосновения с землей.

Хотел было отец снабдить меня на дорогу консервами, но в России они в ту пору не выделывались. Лишь впоследствии выслал он мне в Маньчжурию английские.

Проводы в обоих полках, в которых я служил, ознаменовались прощальными обедами и поднесением напутственных подарков — небольших икон-складней.

Последние проводы состоялись на Николаевском вокзале. Все речи и пожелания уже давно были сказаны. Оставались горячие объятия с родными, друзьями и полковыми товарищами — кавалергардами и уланами. В последнюю минуту уланы еще раз подозвали меня к двери буфета и вынесли поднос с шампанским. Наконец, я стал на ступеньку вагона и в последний раз взглянул на родителей. Мать, не проронив слезы, опиралась на руку вытянувшегося в струнку моего командира полка, а отец стоял в сторонке, в глубоком раздумье, подперев рукой подбородок, точь-в-точь в той своей обычной позе, в какой запечатлел его Репин на картине «Государственный совет».

«Ура», раскатившееся при первых поворотах колес, видимо плохо гармонировало как с его, так и с моим настроением.

Глава вторая

ОТ МОСКВЫ ДО ЛЯОЯНА

Спокойно движется на восток сибирский экспресс. За окнами купе расстилаются безбрежные зимние равнины, все тихо и сонливо кругом. На станциях тишину нарушают только заливающиеся и как-то по-особенному замирающие традиционные русские звонки.

Ничто в этой зимней спячке не напоминало о разразившейся на востоке грозе. Общей мобилизации еще не было. Петербург еще не раскачался.

Я с нетерпеньем ожидал увидеть Урал, через который переезжал в детстве между Пермью и Тюменью, но на сибирской магистрали его можно было распознать, пожалуй, лишь по еще более замедленному ходу поезда, с трудом преодолевавшего подъемы. Только солнце, это ослепляющее сибирское солнце, воскрешало мои воспоминания детства. Мне уже с трудом верилось, что когда-то я пересекал сибирскую тайгу не в международном вагоне,

а в громоздком и тряском тарантасе. Мягкие диваны с белоснежными простынями, блестящие медные ручки и всякого рода стенные приборы, мягкие ковры — все это являло собой невиданную мною на железной дороге роскошь и комфорт. О военной опасности напоминала, пожалуй, только внешняя стальная броня вагонов, которая, по объяснению моего спутника и товарища по выпуску, всезнающего Сережи Одинцова, была поставлена для предохранения пассажиров от обстрела хунхузами. Впрочем, в этом случае рекомендовалось ложиться на пол, так как броня доходила только до нижнего края оконных рам. Вагон-ресторан вполне соответствовал роскоши всего поезда.

Пассажиры были исключительно военные и почти все знакомые между собой. Одни только что сменили гвардейские мундиры на чекмени Забайкальского казачьего войска и широкие шаровары с яркожелтыми лампасами; другие надели эту форму после продолжительного пребывания в запасе или в отставке, иногда вынужденной. Здесь был, например, лейб-гусарский ротмистр граф Голенищев-Кутузов-Толстой — пропойца с породистым лицом. В свое время его выгнали из полка за кражу денег, которые он «находил» в солдатских письмах. Почетным пассажиром был принц Хаимэ Бурбонский, гродненский лейб-гусар в малиновых чикчирах, испанец, с трудом изъяснявшийся по-русски, бретер и кутила, прожигавший жизнь то в варшавском, то в парижском полусвете.

Самым интересным был полковник Елец. Его, гродненского гусара, в свое время знала вся Варшава, его знал Петербург как завсегдатая балов и маскарадов, его знал и Дальний Восток как талантливого генштабиста. Впрочем, из генерального штаба его изгнали за едкую сатиру в стихах, составленную им на русских генералов, командовавших войсками в боксерскую кампанию. Елец ехал на эту войну как человек бывалый, знакомый с Дальним Востоком, и был неразлучен со своим однополчанином Хаимэ Бурбонским. Елец был, несомненно, талантливый человек. Он написал интересный исторический очерк о бессмертном герое 1812 года — Кульневе. Но, как и многие русские моего времени, Елец растратил свою талантливость и образование на пустяки, оставаясь лишь остроумным фрондером, и опустился до того, что стал приживалом при Хаимэ Бурбонском.

А вот и лихие мои товарищи по полку, образцовые молодые поручики — Аничков, по прозвищу «Рубака», и Хвощинский, погибший в самом начале войны в разъезде. Тут же Скоропадский — будущий гетман, Врангель — будущий белый «вождь».

Все это были кавалеристы, и шли они на пополнение исключительно казачьих частей; артиллеристов и пехотинцев видно не было. Мы с моими однокашниками по академии Одинцовым и Свечиным держались в стороне от этой публики, да и она редко с нами заговаривала: генштабисты в этой компании были не в чести.

Впереди полная неизвестность и самое смутное представление о том, что такое война. Вставал в памяти мотив нашего кавалерийского сбора, который нам еще в детстве отец распевал под рояль. Его играли полковые трубачи каждое утро в лагере при сборах на ученье:

Всадники-други, в поход собирайтесь!
Радостный звук вас ко славе зовет,
С бодрым духом храбро сражаться,
За родину сладкую смерть принять.
Да посрамлен будет тот, малодушный,
Кто без приказа отступит на шаг!
Долгу, чести, клятве преступник —
На Руси будет принят как злейший враг...

Привитые с детства военные идеалы и близость театра войны волновали. Очень туманным было представление о том, что мы будем делать на войне, как именно выполним наш долг перед армией, перед родиной.

«Высочайшим» приказом я был назначен в Порт-Артур старшим адъютантом одной из стрелковых бригад. Однако я никогда не видел даже плана этой крепости. Я знал только, что она выполняет роль морской базы для нашей тихоокеанской эскадры. Но этих общих сведений было мало для офицера генштаба, а другими мы не располагали. Точно так же чувствовали себя неподготовленными Одинцов и Свечин, назначенные тоже в Порт-Артур. Поэтому мы условились собираться и изучать книги и карты, которые удалось закупить перед отъездом в магазине Главного штаба на Невском. Большие белые пятна на этих картах убеждали нас в недостаточной изученности театра будущей войны. О Порт-Артуре я так ничего

и не узнал, а в описаниях вооруженных сил Японии подчеркивалось устарелое и слабое артиллерийское вооружение.

Заставляли призадуматься только некоторые данные о жизни Японии, как, например, обязательное и непостижимое тогда для России всеобщее образование.

Пока три молодых генштабиста гадали да разгадывали про будущее, через открытую дверь соседнего купе доносилось:

— Трефы!

— Пара бубен!

— Большой шлем без козырей!

А в другом купе нетерпеливо предвкушали славу и награды.

— Анна четвертой степени — это красный шелковый темляк на шашку. А на рукояти выгравировано: «За храбрость». Это — первая офицерская награда. А за ней — в порядке старшинства орденов — Станислав, Анна и Владимир, но с мечами! А для участников боев — и с бантом! А уже Георгия можно получить только по представлению Георгиевской думы, то есть комиссии, составленной из кавалеров этого ордена, которая и должна решить, достоин ли подвиг этой высшей офицерской награды. Его не следует смешивать со «знаком военного ордена», который жалуется только нижним чинам, носится на георгиевской ленте и обычно именуется георгиевским крестом, или Егорием, как говорят солдаты...

К Иркутску поезд подошел лунной морозной ночью. Я горел нетерпением взглянуть на места, ставшие когда-то родными, которые я покинул еще до постройки сибирской железной дороги. Вокзал оказался на левом берегу Ангары, как раз под той горой, где мы проводили лето на даче. В Иркутске предстояла пересадка.

Я отправился ночевать в гостиницу. Переезжая по льду через широкую Ангару, я хотел как можно скорей увидеть знакомый белый дом генерал-губернатора на правом берегу, с вековыми лиственницами в саду, с которыми были связаны воспоминания счастливого детства.

Старик-извозчик еще помнил моего отца, гулявшего пешком с двумя мальчиками в русских поддевках по деревянному тротуару Большой Московской улицы.

Гостиница оказалась мрачным грязным вертепом. За перегородкой галдела какая-то пьяная компания, а снизу, из буфета, доносились звуки гармонии и взвизгивание проституток.

Утром я поехал в казармы казачьей сотни, где вахмистром служил бывший вестовой отца и наш общий детский любимец — Агафонов. Отец телеграфировал ему из Петербурга, прося подыскать для меня подходящего боевого коня, и я действительно нашел в конюшне оставленного для меня серого Ваську, личную лошадь «господина вахмистра». Сам же Агафонов уже покинул сотню. На нажитые во время службы деньги он организовал перевозку пассажиров через Байкал. Кругобайкальская железная дорога еще не была закончена. От конечной станции Лиственничное надо было переезжать через Байкал на санях.

Агафонов встретил меня в Лиственничном и сам повез нас на лучшей тройке, в розвальнях с тюменскими коврами, расписанными яркими розами и тиграми.

Маленькие сибирские серые лошадки помчали нас во весь опор по гладкой, как скатерть, снежной дороге, и через два часа мы уже вошли обогреваться и чаевать в столовую этапного пункта, построенного на льду как раз посредине «священного моря». Какой приветливый вид имел этот оазис с отепленными бараками и дымящимися котлами со щами и кашей! Здесь делали большой привал, а иногда и ночлег для частей, совершавших по льду пеший шестидесятиверстный переход после многонедельного пребывания в вагонах.

Байкал разрывал нашу единственную коммуникационную линию — одноколейную железную дорогу, и японцы, конечно, учитывали этот пробел в нашей подготовке к войне.

К вечеру мы снова очутились в поезде, но он уже не имел ничего общего с сибирским экспрессом. Мы сидели в грязном нетопленом вагоне, набитом до отказа людьми всякого рода, среди которых появились уже и многочисленные герои тыла. Вагон-ресторана, конечно, и в помине не было; железнодорожные буфеты были уже опустошены, и тут-то я начал свою «кухонную карьеру», поджаривая на сухом спирте запасенную в Иркутске ветчину с черным хлебом.

Продвигаясь по Забайкалью, поезд постепенно пустел, так как офицеры и солдаты высаживались для дальнейшего следования уже на подводах.

— Но когда же, наконец, запахнет войной? — спрашивали мы друг друга.

— Подождите! — объяснял Одинцов. — Дайте доплестись до станции Маньчжурия.

Пограничная станция Маньчжурия была в ту пору окружена небольшим поселком и отличалась от других станций только скоплением товарных поездов на многочисленных запасных путях.

Вечерело, когда наша троица генштабистов разыскала на одном из этих путей вагон начальника передвижения войск. Начальник, подполковник генерального штаба, принял нас с распростертыми объятиями. Но его беспечный тон и обрюзгшая от пьянства физиономия не предвещали ничего хорошего.

— Куда вам торопиться? — сказал он. — Успеете еще навоеваться! Сегодня здесь бал в пользу Красного креста, и я, конечно, рассчитываю на вас. А завтра приглашаю вас к себе на обед! Тогда и потолкуем обо всем!

Сопротивление оказалось напрасным. Пришлось остаться, чтобы задобрить подполковника и обеспечить себе возможность уехать хотя бы на следующий день.

В небольшом и душном станционном зале вечером вертелись пары — железнодорожные служащие, офицеры пограничной стражи, дамы, интенданты, два-три врача, а сам начальник передвижения не покидал буфета и «в пользу Красного креста» пил шампанское бокал за бокалом.

На следующий день отъезд затормозился обедом. После нескольких томительных часов, в течение которых подполковник показывал свое умение пить, нам удалось, наконец, убедить его в серьезности нашего желания уехать возможно скорее, и к вечеру вся уже повеселевшая компания пошла в железнодорожное депо выбирать вагон. Тщетно старался заведующий депо доказать, что облюбованный подполковником тяжелый пульмановский вагон опасен для следования из-за поломки левой рессоры и сношенности тормозов. Хозяин наш был непреклонен и

приказал прицепить вагон к очередному товарному поезду с мукой.

Результат сказался в хинганском туннеле, выход из которого к тому времени не был еще вполне закончен. Сперва мы почувствовали толчки и объяснили это неловкостью машиниста. Но проводник растерянно заявил, что наш тяжелый вагон напирает при спуске на весь состав. Мы пошли тормозить вручную, но было уже поздно: вылетев из туннеля, мы проскочили полустанок, где была положена обязательная остановка, и если не разбились, то лишь благодаря чуду.

На следующее утро мы уже забыли о ночной тревоге и, не отрываясь от окон, делились впечатлениями о новой, невиданной нами стране.

На безграничной желтой равнине, залитой солнцем, изредка попадались верблюды, у чистеньких железнодорожных станций толпились китайцы, с косами, в теплых синих телогрейках и чувяках на толстой мягкой подошве. И сибирская тайга и глубокие снега — все осталось далеко позади. Начиналась Маньчжурия.

В Харбине мы простились не только с нашим больным вагоном, но и с главной железнодорожной магистралью Москва — Владивосток. Отсюда, почти в перпендикулярном направлении, отходила ветка на Мукден — столицу Маньчжурии, дальше — на Ляоян и Порт-Артур.

Эта магистраль сыграла решающую роль во всей несчастной войне. Она была единственной артерией, которая не только пополняла нашу армию, но и питала ее. По ней, в течение двух лет, катились вагоны, набитые русскими бородатыми крестьянами, одетыми в серые шинели и брошенными за десять тысяч верст в чужую им страну для пролития крови «за царя и отечество». По ней же шли бесконечные поезда с мукой и крупой (и чуть ли не с сеном) вперемежку с бесчисленными платформами, на которых торчали дышла и оглобли зеленых двуколок и зарядных ящиков. Увы, много реже виднелись на них дула орудий.

Эту хрупкую одноколейную железнодорожную ниточку, вероятно, видели во сне все представители высшего командования как русского, боявшегося от нее оторваться, так и японского, стремившегося ее перервать.

О ней же и во сне и наяву мечтали старые запасные, — чтоб вернуться поскорее в родные края. Тянулись

к ней и офицеры, так как на станциях можно было не только закусить, но и выпить, а в санитарных поездах можно было отогреться, встретить русских девушек в белых косынках — сестер милосердия, поболтать...

По этой же магистрали двигались и штабные поезда.

Первый такой поезд мы встретили в Мукдене. Здесь располагался штаб наместника Дальнего Востока, главнокомандующего сухопутными и морскими силами, адмирала Алексеева. Самый штаб помещался в небольших серых домиках железнодорожного поселка, а наместник жил в специальном поезде, стоявшем поблизости от вокзала. Внешность штабных офицеров и адъютантов была, к нашему удивлению, столь изысканна, как если бы мы встретили их не в походе, не вблизи фронта, а в Красном Селе. О положении дел на театре войны никто не говорил, как будто война еще не начиналась.

После краткого нашего ожидания в роскошном салон-вагоне к нам вышел сам наместник, коренастый человек лет пятидесяти, с черной, слегка седеющей и тщательно подстриженной бородой и темными хитрыми глазами. Он носил черный морской сюртук с золотыми погонами, на которых были вышиты три черных орла и вензель Николая II, что соответствовало чину полного адмирала и званию генерал-адъютанта.

Выслушав наши рапорты, Алексеев твердо, по-морски, подал каждому из нас руку и тоном, не допускавшим возражений, заявил:

— И кому это пришло в голову в Петербурге давать подобные назначения? В Порт-Артуре народу хоть отбавляй! Там достаточно не только генштабистов, но и шампанского и женщин! А в маньчжурской армии никого нет! Отменяю высочайший приказ! В Порт-Артур поедет только один. Ну, вот вы, например, — сказал он, указывая на Одинцова как на младшего. — А Свечин и Игнатьев завтра же должны явиться в штаб командующего маньчжурской армией, где и получат назначения. Желаю вам всем успеха, — сказал адмирал с едва заметным акцентом, выдававшим его армянское (со стороны матери) происхождение.

Решительный тон наместника нам понравился, а меня лично даже не удивила его резкая критика петербургских распоряжений — слишком привык я с детства слышать

от отца о нелепостях, исходивших из министерских канцелярий.

Быть может, эта независимость адмирала Алексеева объяснялась еще его происхождением: упорно говорили, что он был побочным сыном Александра II и, следовательно, братом Александра III.

На следующее утро мы со Свечиным очутились уже в Ляояне, в штабе командующего Маньчжурской армией Линевича. Это был типичный штаб военного округа мирного времени. На всех его чинах лежал отпечаток скуки захолустного гарнизона, а старенькому командующему армией, носившему с гордостью Георгиевский крест, полученный за боксерскую войну, как нельзя больше подходило прозвище «папашки» Линевича.

Начальником штаба состоял генерал Холщевников, совершенно бледная личность, помощником его, так называемым генерал-квартирмейстером, — зять Линевича, полковник генерального штаба Орановский.

Числился в штабе и сын Линевича. Все это придавало мирному хабаровскому штабу, неожиданно очутившемуся на ответственной боевой роли, семейный характер.

Здесь царило бездействие, так как по железной дороге не было подвезено ни одного солдата, хотя с начала войны прошло уже два месяца.

От нечего делать мы стали присматриваться к жизни Ляояна. Это была жизнь китайского городка с его людными улицами, бесчисленными базарами, уличными театрами и скрывавшимися за таинственными бумажными окнами пугливыми китаянками. Но чем больше приглядывался я к этому городку, тем меньше понимал: что же нас гнало сюда, в Маньчжурию? Чем хотели мы здесь торговать, какую и кому прививать культуру? Любая китайская фанза просторнее и чище нашей русской избы, а чистоте здешних дворов и улиц могут позавидовать наши города. Какие мосты! Каменные, украшенные древними изваяниями из серого гранита! Они, как и многие другие памятники, говорят о цивилизации, которая насчитывает не сотни, а тысячи лет.

Я слыхал в России, что наше купечество интересуется Маньчжурией как новым рынком. Однако, глядя на теплую одежду китайцев, на их добротные и зачастую шелковые халаты, я видел, что наши морозовские кумачи и ситцы могут еще спокойно лежать на складах. Говорили

также про недостаток соли, но и этого не было видно. Почта здесь работала лучше нашей. Правда, культура и в особенности нравы здесь были своеобразные, но при нашей тогдашней собственной культурной отсталости не нам было их переделывать. Зачем же мы забрались сюда?

Желтый цвет зимнего маньчжурского пейзажа оживлялся в это время года небольшими темнозелеными рощами — китайскими кладбищами. Эти рощи представляли собой для китайцев самую дорогую святыню. Китайцы-крестьяне разбивали свои земельные участки по радиусам круга, в центре которого находились эти рощи-кладбища, с тем чтобы хлебопашец, обрабатывая свое поле, всегда мог видеть перед собой могилы своих предков, обрабатывавших тот же участок. Невозможно было глядеть без возмущения и боли, как наши войска бесцеремонно вырубали эти рощи на дрова.

Меня назначили сперва в разведывательное отделение, — как будто специально затем, чтобы дать мне лишний раз убедиться в пробелах нашей военной подготовки. В академии нас с тайной разведкой даже не знакомили. Это просто не входило в программу преподавания и даже считалось делом «грязным», которым должны заниматься сыщики, переодетые жандармы и другие подобные темные личности. Поэтому, столкнувшись с действительностью, я оказался совершенно беспомощен.

Была у нас войсковая разведка — конные отряды генерала Мищенко и полковника Мадритова.

Генерал Мищенко командовал разведывательным отрядом на границе с Кореей. Но, по настоянию Куропаткина, избегал вступать в бой с превосходящими силами армии Куроки. Ему приходилось довольствоваться фантастическими сведениями, получаемыми от так называемых «секретных» агентов, корейцев.

Офицер генерального штаба полковник Мадритов еще за два года до войны действовал на лесных концессиях у реки Ялу в качестве главноуполномоченного Русского лесо-горнопромышленного торгового общества на Дальнем Востоке, как тогда именовалась безобразовская антреприза. Куропаткин, в зависимости от положения на Дальнем Востоке, то требовал увольнения полковника Мадритова из генерального штаба, то хотел использовать знания и большой опыт этого энергичного офицера как полезного эксперта в маньчжурском вопросе. В конце

концов Мадритов войну провел во главе импровизированных отрядов, настолько оторванных от остальной армии, что после мукденского погрома о нем даже забыли. Он очутился со своими частями в тылу японских армий, и ему удалось с большим трудом пробиться из окружения.

Я оказался как в темном лесу среди добровольных китайских осведомителей и подозрительных китайских переводчиков.

Штаб сидел в Ляояне с завязанными глазами и буквально ждал у моря погоды. Прав оказался пьяница-подполковник на станции Маньчжурия: торопиться было некуда.

Наконец, 20 марта к ляоянскому вокзалу тихо и торжественно подошел великолепный поезд, составленный из десятка тяжелых пульмановских вагонов. Вокзал был расцвечен несколькими убогими трехцветными флагами, а на перроне «папашка» Линевич, окруженный штабом, встречал своего преемника, вновь назначенного командующего Маньчжурской армией, генерал-адъютанта Куропаткина.

Мы, немногочисленные генштабисты, сразу отметили неприступность нового нашего высокого начальника: при представлении нас Линевичем он никому не подал руки.

С приездом Куропаткина штабная жизнь сразу преобразилась. Линевич жил, как и все мы, в железнодорожном городке, занимая, правда, лучший, но все же скромный дом, а Куропаткин остался жить в поезде, для которого уже была построена специальная ветка. Личная свита Линевича, состоявшая из его родного сына и двух бурбонистых адъютантов, как говорится, «никакого места не занимала». Блестящая же свита Куропаткина составила свой особый мир — «поезд», в который даже мы, генштабисты, начиная с самого начальника штаба, имели доступ только по делам службы.

Каждый из обитателей поезда, вплоть до самого ничтожного ординарца, имел свое отдельное купе, а сам Куропаткин — отдельный вагон-салон со спальней и рабочим кабинетом. В состав поезда входил также первоклассный вагон-ресторан, снабженный обильными запасами провизии, привезенной и пополнявшейся из России, и даже вагон-церковь с иконостасом из светлой карельской березы

и бесчисленными иконами, поднесенными генералу при отъезде.

Куропаткин начинал службу скромным армейским офицером. Впоследствии он был боевым генштабистом — он видел походы своего начальника, «белого генерала» Скобелева, туркестанские пески; он лично водил на штурм русских стрелков при покорении Коканда. Откуда, спрашивается, появилась у Куропаткина потребность во внешнем блеске, в создании вокруг себя атмосферы недоступности?

Все становилось ясным с той минуты, как мысль переносилась за десять тысяч верст, в ту военно-придворную среду, с которой Куропаткину пришлось столкнуться после неожиданного для него прыжка в военные министры и даже в «свиту его величества». При дворе его не признавали. Вдали от придворного, враждебного для него мира он его копировал, находя в этом какое-то удовлетворение. Вместе с тем, желая сохранить связь с петербургским высшим обществом, он составил свою свиту почти сплошь из титулованных особ.

Прежде всего преданный, скромный «раб» — доверенное лицо, полковник, мелкопоместный барон, бесцветный Остен-Сакен. Потом личные адъютанты. Когда я выходил в полк, отец мне наказывал: «Будь чем хочешь, только не личным адъютантом!»

С этой должностью в русской армии всегда соединялось представление о чем-то холопском, полулакейском.

Но Куропаткин нашел себе двух представителей самых блестящих гвардейских полков. Правда, этим людям пришлось лишиться гвардейских мундиров — из-за женитьбы на дочерях московского купца Харитоненко, — однако имена были блестящие: кавалергард князь Урусов и лейб-гусар Стенбок. Но и этого было мало Куропаткину: ему хотелось установить негласную связь с семьей Романовых, и он повез с собой, в качестве личного ординарца, родственника царской семьи по морганатической линии, Сережу Шереметева. Хотя Сережа был и не граф, но зато состоял в переписке чуть ли не с самим царем; в солдатской гимнастерке со скромными погонами сибирского стрелка Сережа старался подчеркнуть простоту обращения, плохо, впрочем, скрывавшую его природную хитрецу.

«Придворным гофмаршалом», то есть заведующим хозяйством, был полковник — бывший кавалергард, брат моего командира эскадрона, Андрей Романович Кнорринг. Он любезно встретил меня и просил считать «поезд» «своим» и заходить «откушать». Но я, конечно, не воспользовался разрешением, чтобы не выделять себя из среды своих новых товарищей.

Несколько обособленно и с большим достоинством держал себя старший из всех состоявших при Куропаткине, генерал граф Жорж Бобринский, будущий (в мировую войну) неудавшийся наместник Галиции — личность, ничем не замечательная.

Весь этот персонал только состоял при командующем, а единственным работником, составителем всех без исключения бумаг и телеграмм, даже самых секретных, являлся полковник генерального штаба Н. Н. Сиверс.

Лишенный Куропаткиным всякого самостоятельного мышления, Николай Николаевич мог один удовлетворить страсть своего высокого начальника к писанине.

Приехал мой бывший профессор по военной истории генерал Харкевич, занявший пост генерал-квартирмейстера, то есть ближайшего помощника начальника штаба по оперативной работе. Про него, впрочем, вскоре стали говорить, что Куропаткин его выбрал не столько для военной работы, сколько для написания, после окончания войны, «блестящих страниц» ее истории.

Был в свите и свой личный «лейб-медик», и даже личный телохранитель — неграмотный имеретин, соратник Куропаткина по Средней Азии, произведенный по случаю войны в прапорщики. В кавказской бурке и папахе, на лихом текинце, он возил за своим начальником бинокль, подзорную трубу и маленький складной парусиновый табурет.

Начальник штаба генерал Сахаров держал себя особняком и редко выходил из своего вагона, стоявшего на другой специальной ветке, в ста шагах от поезда командующего.

С приездом Куропаткина работы прибавилось. В оперативном отделении вычерчивались красивые схемы расположения биваков с указанием пути следования «его высокопревосходительства». Остальным генштабистам было предписано обследовать Ляоянский район, который как бы заранее предназначался к обороне.

Мы должны были проверить правильность двухверстной карты, состояние и проходимость дорог и особенно тщательно обследовать позиции.

По окончании рекогносцировок Куропаткин пожелал проверить некоторые из наших работ. Поседлали прекрасных, кровных, отдохнувших от перевозок коней, и весь «поезд» превратился в блестящую кавалькаду, во главе которой на нарядном, прекрасно выезженном вороном коне выехал сам командующий.

— Ну, Игнатьев, ведите нас на ваш участок! Мы начнем с левого фланга!

Обогнув город и переправившись на противоположный берег реки Тай-Дзыхе, я поехал по знакомой мне прибрежной дороге. Она вскоре уперлась в те высоты, которые войскам 17-го армейского корпуса пришлось обильно обагрить кровью в Ляоянском сражении. Поднявшись на одну из сопок, я стал докладывать командующему армией свои соображения о тактическом значении правобережного горного района.

— Обращаю особое внимание вашего высокопревосходительства на срочную необходимость двухверстной съемки далее на север, в направлении Янтайских копей, — докладывал я, показывая составленные мною карандашом кроки, дополнявшие верхний обрез карты.

— Ну, бог даст, мы их досюда не допустим! — глубокомысленно изрек наш высший начальник, улыбнувшись и пронизывая меня взором своих маленьких прищуренных глаз.

Увы, через пять месяцев тот же Куропаткин приказал мне разыскивать в этих местах бродившие без карты, как в потемках, наши войска, отражавшие обход армии Куроки.

Глава третья

ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ АГЕНТЫ

— На вас возлагается ответственное поручение. Вы должны организовать прием иностранных военных агентов, назначенных состоять при нашей армии, — объявил мне однажды, в конце марта, генерал Сахаров, неожиданно вызвав меня в свой вагон. — Их двадцать семь человек! Надо их встретить, устроить для них помещение,

довольствие, достать лошадей, седла. Словом, обдумайте все это и действуйте. Командующий армией требует, чтобы вы отвечали за иностранцев во всех отношениях. Получите в полевом казначействе аванс в сто тысяч рублей, но будьте экономны.

Отправляясь на войну, я не мог предвидеть, что она надолго предопределит мою дальнейшую судьбу и составит первый этап моей многолетней военно-дипломатической работы. Связь с военными агентами дала мне возможность изучить нравы и обычаи представителей иностранных армий и притом не в великосветских и дипломатических салонах, не на маневрах, зачастую похожих на пикники, а на войне, где каждое их донесение приобретает особенно важное значение.

Военные агенты, или как их называют теперь у нас, по примеру заграницы, «военные атташе», впервые появились на дипломатическом горизонте в наполеоновскую эпоху. Наиболее ярким их прообразом был тогда русский полковник флигель-адъютант Чернышев, представитель Александра I при Наполеоне, посылавший свои донесения непосредственно императору, минуя посла. Он вел в Париже, казалось, беспечную великосветскую жизнь, пользовался большим успехом у женщин и, отвлекая всем этим от себя внимание французской полиции, умудрялся иметь почти ежедневно тайные свидания с офицерами и чиновниками французского военного министерства, подкупил некоторых из них и, в результате, успел вывезти из Парижа в конце февраля 1812 года, то есть за несколько недель до начала Отечественной войны, толстый портфель, содержавший подробные планы развертывания великой армии Наполеона.

С легкой руки Чернышева военные атташе в течение всего XIX века играли большую роль в дипломатической работе. После франко-прусской войны 1870 года их положение было узаконено официальным включением в состав каждого посольства специального военного, а впоследствии еще и морского атташе.

Донесениям военных агентов стали придавать все большее значение, и их прогнозы зачастую оказывались более реальными, чем предсказания заправских дипломатов.

Иностранные военные агенты в Маньчжурии дали мне несколько ценных уроков.

«Дуайеном», то есть старшим в чине, оказался английский генерал-лейтенант Джеральд — сухой седой джентльмен, знаменитый охотник на тигров. Рассказывали, что он убил на своем веку сто семьдесят «королевских» тигров. Его назначение к нам объяснялось тем, что, в бытность свою командующим войсками в Индии, он организовал охоту для Николая II во время путешествия последнего еще как наследника российского престола.

Положение Джеральда при нашей армии было особенно щекотливым, так как Англия была тогда военным союзником Японии. Роль старшины, то есть лица, ответственного за сохранение всеми остальными военными агентами правил дипломатического этикета, усугубляла трудность его положения. Но Джеральд недаром был характерным представителем Британской империи. Англичане, привыкнув чувствовать себя хозяевами на всем земном шаре, легко приспособляются к любой обстановке и всегда сохраняют традиционное хладнокровие, доходящее до невозмутимости, усердие «по разуму» и уменье больше слушать, чем говорить. Джеральд никогда ни о чем меня не просил, ни на что не жаловался, а когда я в награду за его столь «хорошее поведение» предложил ему проехаться на моем сером Ваське, восторгу его, казалось, не было границ. Он всем доказывал, что конь из иркутской казачьей сотни — лучшая лошадь из всех, на которых ему приходилось сидеть.

При Джеральде состоял бывший военный атташе в Петербурге, еще более сухой, молчаливый полковник Уотерс. Никто, конечно, так никогда и не узнал, что таил в себе и что думал Уотерс, а знать он должен был много, так как в случае необходимости мог отлично объясняться на русском языке.

Вскоре появился и третий англичанин — молодой краснощекий майор Хьюм, командированный прямо из Индии и приехавший к нам через Китай. В отличие от двух своих замкнутых коллег, Хьюм оказался веселым, разбитным малым и поставил себя сразу запанибрата с молодыми представителями других стран, да и со мной обращался запросто.

Я не находил в этом ничего предосудительного. Мне уже тогда объяснили резкую разницу в воспитании офицеров метрополии и колоний. Для обращения с туземцами-рабами воспитания не требовалось, и колониальные

офицеры, занимая привилегированное положение среди населения, привыкали считать, что им-де все дозволено.

Недолго видели мы этого майора. Джеральд попросил меня как-то зайти к себе и, плотно прикрыв дверь, спросил, не разделяю ли я его мнения о недостаточно почтительном ко мне отношении майора Хьюма. Как я ни старался заступиться за бедного малого, Джеральд, видимо, остался при своем решении, и на следующий вечер Хьюм исчез так же быстро, как и появился.

Англичане, между прочим, выделялись среди других военных агентов своими удобными френчами цвета «хаки» и походным снаряжением, принятым в настоящее время всеми армиями мира. Уроки англо-бурской войны не прошли для них даром. Японцы также ими воспользовались, по-новому одев свою армию.

Резко отличался от Джеральда глава французской миссии генерал Сильвестр, в его черной венгерке с черными «бранденбургами» и яркокрасными штанами. Роскошная золотая вышивка на красном кепи не в силах была осветить его желтое, желчное лицо с торчащими черными усиками, придававшими всей его фигуре вызывающий вид. Сильвестру всего хуже удавалось любезное обращение, так как слащавая улыбка, разливавшаяся при этом по его лицу, никого обмануть не могла, а вкрадчивый тон только подчеркивал неискренность.

В связи с франко-русским военным союзом Сильвестр, вероятно еще в Париже, получил соответствующие директивы. Прибыв в Ляоян, он пожелал занять место официального советника при Куропаткине и, соответственно этому, привилегированное положение среди других военных агентов. Для него было большим и неприятным сюрпризом оказаться моложе чином английского представителя, а после каждой неудачной попытки получить отдельную аудиенцию у командующего армией желчь разливалась у него еще сильней. Я же, со своей стороны, считал, что французы должны сами понимать, насколько нам неудобно подчеркивать перед другими иностранцами, а в особенности перед немцами, наш военный союз, направленный тогда против Германии. Нам необходимо было улучшить, насколько возможно, отношения с нашей западной соседкой и обеспечить мир на западном фронте. Но Сильвестр не был способен это понять. Он, конечно, не мог догадываться, что император

Вильгельм подарит Николаю II картину, висящую и по сей день в ванной комнате бывшего Ливадийского дворца и изображающую грядущую «желтую опасность». Сильвестр, вероятно, и до конца войны не знал про письмо того же Вильгельма, в котором кайзер, со свойственной ему страстью рисоваться, предлагал снять с нашей западной границы всю артиллерию. «Я сам беру на себя охрану нашей общей границы», — писал он Николаю II. И мы действительно с развитием военных действий перебросили в Маньчжурию почти все наши полевые орудия.

Сильвестру тем более было трудно примириться с созданным для него у нас положением, что назначением своим в Маньчжурию он был обязан исключительно тому полупридворному посту, который он занимал ранее как начальник военного кабинета президента французской республики. Назначение на этот пост было неразрывно связано со всеми политическими интригами Третьей республики, и генерал, ухитрившийся получить его, был вправе считать себя достаточно влиятельным лицом в государственном аппарате.

Генерал Сильвестр, не говоривший ни слова по-русски, ни на шаг не отпускал от себя своего офицера-ординарца, лихого альпийского стрелка в синем берете набекрень, капитана Буссе. Этим, кстати, он лишал себя прекрасного осведомителя, ибо Буссе свободно говорил по-русски и мог бы знать все что угодно. Буссе был настолько симпатичен, что на этом впоследствии и сломал свою служебную карьеру — его у нас попросту споили.

Третьим офицером французской миссии был тяжеловатый и угрюмый на вид артиллерист майор Шеминон. Он был женат на русской, любил нашу страну, как свою собственную, и потому глубоко переживал все наши маньчжурские неудачи. Ему удалось вскоре по приезде вырваться из рук деспотичного Сильвестра и, при моем содействии, прикомандироваться к славным войскам 1-го Сибирского корпуса. Однако природная скромность не позволила этому серьезному работнику выступить после войны в защиту новых тактических приемов, рожденных на маньчжурских полях. Можно с уверенностью сказать, что неподготовленность французской армии уже к первой мировой войне в большой степени объяснялась неправильной оценкой уроков русско-японской кампании.

Итальянцы попросту дали распоряжение своему морскому агенту в Китае капитану Камперио прибыть в Ляоян, и он явился в сопровождении двух китайских мальчиков — «боев», с которыми, к великому ужасу английского генерала, разместился в одной палатке. Красавец-итальянец, с длинной традиционной бородой моряка, успел потерять на Дальнем Востоке весь лоск европейского дипломата, шутил над русскими генералами и резал правду-матку кому угодно. Его талантливость и острый южный ум заставляли прощать ему его выходки. Серьезным он стал лишь с минуты выхода из Кронштадта эскадры Рожественского. Встретив меня как-то раз уже на фронте, Камперио пожал мне руку и тоном, не допускавшим возражений, сказал:

— Если вам удастся дойти хотя бы до Сингапура, то вы можете записать имя адмирала Рожественского на одну доску с Нельсоном!

Полную противоположность Камперио являл испанский полковник маркиз де Мендигориа. Придворно-дипломатический этикет заполнял всю его жизнь, а пребывание на войне являлось лишь атрибутом его дворянской гордости.

В первый же вечер он взял меня под руку и почти силком заставил выслушать во всех подробностях его роман. Это нужно было ему только для того, чтобы объяснить мне необходимость для него посылать ежедневно письма своему кумиру в поэтическую Испанию. Бедный маркиз! По возвращении с войны он кончил самоубийством из-за того же предмета своей страсти!

Его ужасал своей солдатской грубостью его собственный помощник капитан де ла Сэрра, не менявший за всю войну грязного светлоголубого гусарского доломана и не расстававшийся с громадной саблей, похожей на сабли наполеоновских гусар. После всех наших разгромов и отступлений де ла Сэрра продолжал твердить:

Nous marrchons toujourrs verrs la gloirre![1]

Молчаливо и сосредоточенно взирал на своих коллег белокурый великан-швед капитан Эдлунд, гордившийся своим прекрасным знанием русского языка. В громадной фетровой шляпе с широкими полями, он приводил на па-

---

[1] Мы идем всегда к славе! *(франц.)*

мять времена Густава Адольфа. Совсем на него не похожий, маленький, нервный, некрасивый, экспансивный, норвежец Ньюквист тоже старался объясняться со всеми по-русски, но говорил на таком ломаном языке, что вызывал невольную улыбку.

Скромно и малозаметно держали себя два румынских капитана и серьезный болгарский полковник Протопопов. Показательно было, что уже тогда болгары послали нам не кого-нибудь из многих офицеров, окончивших нашу Академию генерального штаба, а предпочли — вероятно, для обеспечения беспристрастности суждения — послать воспитанника итальянской академии.

Отдельно держались американцы. Никто не мог различить их чинов по полуспортивным курткам цвета «хаки»; никто не понимал, зачем эти полуштатские люди приехали к нам, а они упорно отказывались понимать какой-либо другой язык, кроме английского.

Военные агенты возмущались тем, что при каждом нашем отступлении кто-нибудь из американцев покидал нас и уходил к японцам.

Лучше всех других знали нашу армию немцы и австрийцы.

Глава германской миссии генерального штаба полковник Лауэнштейн, будущий командующий одной из армий в мировую войну и бывший военный атташе в Петербурге, был старым служакой, видавшим виды на своем веку. В синем сюртуке, в каске с шишаком, в высоких до колен сапогах и с тяжелым стальным палашом, Лауэнштейн воскрешал в памяти старую прусскую армию, победительницу 1870—1871 годов. Его воинственная внешность не могла скрыть тонкого дипломата старой школы, ловкую лису, приверженца испытанной политической европейской формулы «драйкайзербунда» (союза «Трех императоров, русского, германского и австрийского»). Он еще считался с англичанами, но уже на французов и особенно на представителей малых держав смотрел с высоты бисмарковского мировоззрения.

С первых же дней он нашел предлог закрепить свой «кайзербунд», пригласив меня и австрийского полковника Чичерича отведать полученных им из Берлина гостинцев. Поздно ночью, когда все остальные коллеги уже спали крепким сном, представители трех великих империй распивали бутылки старого душистого рейнвейна и, забыв

на время действительность, делились историческими воспоминаниями о поражениях и победах их предков под стенами Вены, Парижа и Москвы.

Спокойствие Лауэнштейна нарушал только его суетливый помощник майор Тетау. Толстенький белобрысый майор, со вздернутыми по-прусски усиками, не оставлял действительно никого в покое и своими бесконечными и подчас бестактными вопросами являл тот тип германского генштабиста, который считал себя вправе знать даже то, что другим иностранцам ведать не надлежит. Тетау так хорошо говорил по-русски, что мог держать себя запросто не только с офицерами, но и с любым солдатом, к которому он обращался по-русски, повторяя постоянно слово «братец». Он глубоко изучил истинные причины наших поражений и напечатал после войны свой отчет, воздав в нем должное мужеству наших солдат. Стремясь привить в германской армии необходимые реформы, Тетау навсегда сломал на этом свою военную карьеру: за применение в своем батальоне не предусмотренных уставом тактических приемов барон Тетау был лишен командования.

Запомнился мне курьезный случай с одним из офицеров германского генерального штаба, переусердствовавшим в своем стремлении «отличиться» во что бы то ни стало.

Император Вильгельм, в знак своей «традиционной дружбы», командировал к нам специального офицера с приказом состоять при Выборгском пехотном полку, в котором числился почетным шефом [1]. Штаб корпуса, в состав которого входил Выборгский полк, предпочел держать майора на всякий случай при себе. Но немецкий генштабист воспользовался этим с целью «ознакомиться» с работой самого штаба. Для этого он повадился опаздывать к обеду, заходил по дороге в штабную фанзу и посвящал несколько минут перлюстрации штабных бумаг. Наши штабные офицеры, заметив это, продырявили

---

[1] Приезжая в Россию, Вильгельм всегда носил форму этого полка. Присутствуя однажды на маневрах в Красном Селе, он вынул свою шашку и, командуя на русском языке, лично повел перед Николаем II «свой полк» в атаку. Рассказывали, что однажды он спросил полкового горниста, за что даны полку серебряные рожки.

— За взятие Берлина в 1760 году, ваше величество! — отрубил горнист.

однажды в задней стене фанзы дырочки и оставили на столе написанную крупным почерком по-русски записку: «Такой, значит, и сякой! Имей в виду, что в эту минуту смотрит на тебя десяток русских глаз». Вечером злосчастный майор примчался на двуколке к нам, в штаб армии, где получил свой приговор от Лауэнштейна. Никто его больше не видел.

Подобным офицерам следовало бы взять несколько уроков в манере себя держать у их союзников австрийцев, издавна славившихся тонким военным воспитанием и корректностью.

В Ляояне австро-венгерская армия была представлена двумя стройными офицерами, затянутыми в зеленые старомодные мундиры. И без того рослые, они казались великанами из-за своих высоких киверов. Старший, полковник Чичерич де Бачан, венгерец по национальности, считался одним из выдающихся офицеров генерального штаба своей армии и впоследствии, в мировую войну, занимал ответственный пост. Он говорил исключительно хорошо по-русски, изучив наши нравы, язык и обычаи в доме какой-то купчихи в Казани. В этот город с разрешения русского правительства направлялись иностранные офицеры, командированные на два-три года для усовершенствования в русском языке. Они, конечно, времени не теряли и знали Россию не по книгам, не из окон посольских дворцов, а такой, какой она была в действительности.

В память о своем пребывании в Казани Чичерич всегда пил чай, пользуясь подстаканником, подаренным ему купчихой.

Помощником его состоял генерального штаба капитан граф Шептицкий, всю войну не покидавший передового отряда Ренненкампфа.

С первых же дней центром общих сборов всей этой разношерстной публики явился вокзал. В вокзальном буфете пришлось организовать и питание. Ляоянский буфет был похож на все русские вокзальные буфеты: был он достаточно грязен, и в середине зала возвышалась стойка с водкой и закусками, у которой с самого утра и до позднего вечера толпились офицеры всех чинов и чиновники всех рангов. Пахло спиртом и щами, все было окутано серым туманом табачного дыма. Стоял гомон трезвых и пьяных голосов, вечно споривших и что-то ста-

равшихся друг другу доказать. Вот сюда-то четыре раза в день приходилось мне водить своих «питомцев» и, садясь спиной к водочной стойке, как бы заслонять от военных агентов неприглядную картину нашего пьяного тыла.

Неприятно было также видеть, с каким бестактным любопытством наши офицеры рассматривали иностранцев.

По окончании каждого незатейливого обеда надо было под тем или иным предлогом удалить иностранцев с вокзала, — попросту, чтобы не дать им войти в непосредственное общение с моими словоохотливыми соотечественниками. Вокзал с первых же дней войны стал центром, куда стекались новости не только от прибывающих из России, но и самые свежие и «достоверные» вести с фронта. Главными поставщиками их в начале войны являлись офицеры военной охраны Китайско-Восточной железной дороги. Среди них встречалось много забубенных головушек, нашедших в высоких окладах, которые установил Витте для этих войск, главный стимул своего военного рвения. Вокзал представлял для некоторых из них прекрасную аудиторию. Здесь ловилось каждое их слово, и можно было сойти если не за героя, то во всяком случае за видавшего виды матерого маньчжурского волка.

Вскоре среди этой праздной толпы стали появляться и более опасные элементы в виде военных корреспондентов. Им-то уже никто не мог запретить заносить в свои блокноты вокзальные «новости». К тому же это, по преимуществу, были иностранцы. Я вздохнул спокойней, когда получил, наконец, в свое распоряжение вагон-ресторан.

Первый завтрак за маленькими столиками вызвал непредвиденное затруднение. Я предполагал ежедневно менять свое место за обедом, с тем чтобы поочередно оказывать любезность всем иностранным представителям, невзирая на их чины. Но в дипломатическом мире местничество сохранялось в полной силе. Когда я в первый раз вошел в вагон, военные атташе еще только размещались, но мое место было ими уже наперед точно определено: а именно — рядом с дуайеном — генералом Джеральдом, за столиком которого уже выбрали себе места старшие представители германской и австрийской армии — Лауэнштейн и Чичерич. Рассевшиеся за соседним столиком, отдельно от других, три наших союзника француза тоже оставили для меня четвертое место, но немец и австриец,

используя старшинство Джеральда, отказывались сесть за стол без меня. Пришлось подчиниться, хотя этот сам по себе незначительный факт окончательно испортил мои отношения с главой французской делегации Сильвестром.

Разница в военном образовании и воспитании командного состава различных армий особенно ярко сказывалась в их корреспонденциях, которые проходили ежедневно через мою цензуру. Англичане были лаконичны, но смотрели «в корень», указывая на трудности положения нашей армии в связи с малой провозоспособностью сибирской магистрали и затруднениями в постройке Кругобайкальской железной дороги. Немцы подробно разбирали будущий театр военных действий и, видимо, тщательно изучали двухверстную карту, заранее намечая наши будущие линии обороны. Французы были еще более пессимистичны, чем немцы, и выражали удивление по поводу недостатка у нас артиллерии.

Но все же представители великих держав были довольно корректны. Наоборот, итальянец Камперио, со свойственной южанам экспансивностью, горячо протестовал против сделанного мною замечания по поводу описания строившихся ляоянских полевых укреплений. Он искренне считал, что в этом нет секрета. Испанский полковник рассказывал в своих письмах о воскресных завтраках в поезде командующего армией, на которые приглашались только старшие иностранные представители, а американцы описывали китайские нравы, лавки и товары.

Но с течением времени я стал замечать, что некоторые представители мало-помалу перестали передавать мне для цензуры свою корреспонденцию. После ряда напоминаний о ненадежности отправки писем через китайскую почту мне пришлось принять меры против нарушителей заведенного порядка. Конечно, никакой репрессии я применить не мог, да и не хотел, и потому пошел на хитрость.

Китайское почтовое отделение помещалось в самом городе.

— Послушайте, — сказал я, обращаясь через переводчика к директору почтового отделения, китайцу с длинной косой, — вот конверты с адресами. Вы должны откладывать в сторону все письма, которые будут написаны тем же почерком. Их надо сохранять и передавать мне.

— Шен-хоу, шен-хоу — очень хорошо, — лепетал напуганный китаец, отвешивая низкие поклоны.

Маневр удался на славу. Через несколько дней я появился к завтраку, держа в руке целую кипу писем, отправленных моими питомцами помимо меня. Вся эта корреспонденция имела уже длинный стаж.

— Я же говорил! Какие подлецы китайцы! — воскликнул я с деланым возмущением. — Разве можно на них полагаться? Вот они держали у себя эти письма, не зная, как их отправить, а теперь прислали мне с просьбой найти отправителей. Вот это ваши письма, полковник! А это ваши, майор!..

Раздавая письма, я глядел на смущенные лица своих собеседников. Мне не довелось только слышать, как они, вероятно, ругались после завтрака.

Однажды поздно ночью, сидя в своей комнатке за разбором очередного бесконечного послания испанского полковника, я был поражен появлением на пороге худенького блондина, обросшего той нелепой бородкой, которая отличала фронтовых офицеров, в течение многих дней не имевших времени побриться. Потертая золотая портупея шашки и кавалерийской лядунки, несвежий вид серого пальто свидетельствовали, что передо мной стоит офицер, прибывший прямо «оттуда».

— Честь имею явиться! Приморского драгунского полка поручик граф Стенбок-Фермор. По приказанию генерал-квартирмейстера штаба армии передаю в ваше распоряжение захваченного моим разъездом японского шпиона.

— Сашка, да как же ты к нам попал? — спрашиваю я, узнав в дисциплинированном молодом мальчике корнета лейб-гвардии гусарского полка Сашу Стенбока. Еще так недавно я видел его камер-пажом царя и фельдфебелем Пажеского корпуса, потом лихим спортсменом в гусарском полку.

Саша держит себя как-то загадочно, чего-то не договаривает и производит впечатление человека, чем-то подавленного. Я объясняю это переутомлением от службы в передовом отряде и предлагаю ему остаться временно при мне, так как давно нуждаюсь в помощнике, хорошо знающем европейские языки. Саша благодарит, но уже на

второй день он просит отпустить его в полк, чтобы забрать оставленное в обозе белье. Я исполняю его просьбу, взяв с него слово, что он вернется. Генерал Харкевич также настаивает на его прикомандировании к штабу армии. Однако больше я Саши не видел и считал его убитым.

Недели через две меня встретил протоиерей Голубев, состоявший при Куропаткине в качестве руководителя всего военного духовенства (штаты военного времени даже и это предусмотрели). Дородный, благообразный, в богатейшей шелковой рясе, с тяжелым золотым наперсным крестом, Голубев являл собой тип утонченного духовного дипломата.

— Неладное случилось, — сказал мне Голубев. — Вы отпустили в полк графа Стенбока-Фермора, а вот он и наделал хлопот. Теперь дело идет о спасении чести невинного полкового священника тридцать пятого стрелкового Восточно-Сибирского полка, молодого отца Шавельского. Я могу ручаться за его честность, а на него полетел жандармский донос, обвиняющий его в крупной взятке, полученной им якобы от Стенбока за то, что он согласился обвенчать его в походной церкви в Инкоу с девицей Носиковой!

— С какой Носиковой? — восклицаю я. — Уж не с той ли дамой полусвета, что мы все знавали в Петербурге?

— С той самой.

— Но позвольте, при чем же тут я?

— Неужели же вы не знаете? — продолжал почти шепотом Голубев. — Графу Стенбоку принадлежит чуть ли не половина Урала. Он круглый сирота и только недавно, достигнув совершеннолетия, мог начать распоряжаться своим состоянием, не считаясь с опекунами, графом Воронцовым-Дашковым, министром двора, и генерал-адъютантом бароном Мейендорфом. Воспользовавшись романом с Носиковой, эти опекуны добились от царя наложения на графа опеки. Мало того: они, помимо его воли, перевели молодого человека в Приморский драгунский полк и в сопровождении переодетого жандарма доставили его в Маньчжурию. Так-то ведь легче прикарманивать его миллионы! А девица-то не будь дура, провела жандармов, перекрасилась в брюнетку, раздобыла чужой паспорт и, сбежав из России через румынскую границу, добралась на океанском пароходе через Китай в Маньчжу-

рию, где и встретилась со своим милым! Пришла эта парочка к Шавельскому, объяснила ему свою взаимную любовь и желание перед военной опасностью получить брачное благословение. А Шавельский, ничего не подозревая, взял да и повенчал их! Опекуны — люди всесильные, они Шавельского сотрут в порошок, да и мне будет неприятно! Разве только ваш отец заступится через высшего начальника военного духовенства — протопресвитера Желобовского.

Я, конечно, написал отцу, и все уладилось.

Носикову же Саша Стенбок впоследствии бросил, а самого его я встретил уже только в Париже, после революции. Он еще до войны покинул Россию и, после новых и столь же сильных романических похождений, на старости лет сделался весьма популярным лицом среди парижских шоферов. Его знание автомобильного дела и поражающая французов неподкупность помогли ему сделаться чиновником по выдаче разрешений на право управления легковыми машинами в Париже.

Но кто же был тот таинственный шпион, которого привез тогда Стенбок ко мне в Ляоян? Харкевич предписал мне прежде всего принять все меры к предотвращению побега, так как из письма, полученного от командира Приморского полка, следовало, что шпион, пользуясь повязкой военного корреспондента, уже дважды пытался бежать. Распорядившись приставить к нему надежный караул и обеспечить в то же время хороший стол и ночлег, я, признаться, заранее рассчитывал использовать незнакомца как собственного нашего осведомителя.

Первую встречу с ним я устроил в своей комнате, незаметно поставив снаружи, на всякий случай, часового с приказом задержать человека, который мог бы выпрыгнуть из окна.

Положив около себя заряженный револьвер, я решил, что все меры предосторожности приняты, и потому, отпустив конвой, сопровождавший арестованного, остался с ним наедине, любезно поздоровался и предложил присесть. Заложив ногу на ногу, собеседник мой сразу принял непринужденную позу, а я как новичок в этом деле только удивлялся, что ни арест, ни все перипетии его доставки с завязанными в течение трех дней глазами не произвели на него никакого впечатления. Он, видимо, привык к подобным переделкам. Одет он был в легкий френч и

брюки «галифе» защитного цвета, на ногах были обмотки, а на рукаве алела красная повязка с нашитыми на ней белыми иероглифами. Он объяснил мне, что подобная повязка, выдаваемая военным корреспондентам японской армии, дает им право доступа на передовые линии. Труднее всего было определить его национальность, так как на английском языке он говорил без американского акцента. Внешним своим видом, темносмуглым лицом, несколько раскосыми глазами и черными как смоль волосами, он напоминал если не японца, то обитателя южноамериканских стран. Он, однако, твердо уверял меня, что может объясняться только по-английски и что является корреспондентом какой-то английской шанхайской газеты.

Из сбивчивых и подчас противоречивых объяснений мне стало все же ясно, что звание корреспондента является только прикрытием настоящего его ремесла — шпионажа. Вытянув от него не без труда сведения о японском десанте, я предложил отпустить его обратно в японские линии с тем, что он за хорошее денежное вознаграждение вернется к нам и доставит интересующие нас дополнительные сведения о неприятеле. Он согласился, но настойчиво просил дать ему хотя бы некоторые сведения о нашей армии, чтобы не прийти к японцам с пустыми руками.

Однако в этом вопросе я встретил самое сильное сопротивление со стороны Харкевича. Помню, что единственными более или менее точными сведениями, которые я предлагал дать шпиону, являлась нумерация тех двух полков 30-й пехотной дивизии, которые еще до войны были присланы в Маньчжурию из России. Долго спорил я со своим бывшим профессором, доказывая, насколько было безобидно посоветовать агенту рассказать о встреченных им солдатах с синими и красными околышами и тем прикрыть нарочито неверные сведения, которые мы бы хотели передать в японский генеральный штаб. Поставив в конце концов на своем, я потратил еще много времени, чтобы убедить штаб сделать перевод в английских фунтах из Синментина, находившегося вне района военный действий, на Шанхайский банк. При последнем свидании незнакомец просил называть его Гидисом и открыть ему также мою собственную точную фамилию, так как

в порученном ему деликатном деле он хотел иметь сношения только с одним определенным лицом.

Гидис сдержал свое обещание и не дальше как через три-четыре недели вернулся в наши линии, доставив ценные сведения о правом фланге армии Оку, наступавшей с юга, и вновь получил от меня задания. Но больше мне его видеть не пришлось.

Уже зимой следующего года я получил через штаб письмо, посланное японским штабом и доставленное по китайской почте в Мукден. Это было предсмертное послание Гидиса, написанное в ночь перед казнью.

«Уважаемый капитан, — писал мне Гидис по-английски, — я сохранил о вас добрые воспоминания и хотел перед смертью рассказать вам кратко, что со мной случилось. Я родом португалец, родителей своих никогда не знал, ни братьев, ни сестер не имел. Мальчишкой я устроился юнгой на английский торговый пароход, отходивший из моей страны на Кубу во время испано-американской войны. Я понравился испанскому командованию и был послан агентом в американские линии. Американцы в свою очередь обрадовались моему хорошему знанию английского языка, дали мне поручение в испанские линии, и вот таким образом я ознакомился с моим новым ремеслом и полюбил его. К сожалению, в последний раз, когда я был в вашем штабе, вас заменил другой русский офицер, который дал мне новые и довольно подробные сведения о вашей армии. Они казались на первый взгляд очень интересными, но японское командование сразу открыло их полное несоответствие с действительностью, арестовало меня и, обвинив в шпионаже в вашу пользу, приговорило к смерти».

Я сохранил это письмо...

Эпизод этот не нарушил, однако, постепенно налаженного мирного порядка дня. Каждый вечер я должен был делать устные доклады военным атташе о положении на театре военных действий. Они всегда ждали этих докладов с нетерпением в расчете на проверку правильности «вокзальной информации». Все они, за исключением американцев, владели в той или иной степени французским языком, но для американцев приходилось повторять доклад на английском. Не все, однако, иностранцы относились к нам одинаково, и потому, кроме необходимого

соблюдения военной тайны, приходилось еще представлять события, смягчая, поскольку возможно, характер наших первых неудач. Самым же трудным было высасывать из пальца сведения о противнике. Ко дню приезда к нам военных агентов, то есть к 1 апреля, у нас не было даже определенного мнения о месте вероятной высадки японцев на побережье, а сведения были самые разноречивые.

Первые свои доклады я посвятил описанию и стратегической оценке театра военных действий, намекая на несоответствие имевшихся тогда в нашем распоряжении сил (восемьдесят батальонов при двухстах орудиях) с общим протяжением фронта в шестьсот верст.

В первые три месяца войны мы могли получать в среднем только по одной роте в день. Недаром всем казалось, что мы попросту не получаем ни одного солдата из России. Действительность мало-помалу начинала вырисовываться.

Первой тяжелой вестью, которой мне пришлось поделиться с иностранцами, была потеря броненосца «Петропавловск». Он взорвался на мине. На нем погиб лучший из наших адмиралов — Макаров, на которого возлагались большие надежды.

Не успело улечься это волнение, как 18 апреля долетели до нас первые недобрые вести о разгроме восточного авангарда генерала Засулича на Ялу, под Тюренченом.

Происшедшая ночью после боя паника в обозах была представлена как паническое бегство всего отряда. Скрыть это от иностранцев было невозможно, так как на вокзале на следующий день появились уже первые паникеры, прискакавшие чуть ли не от Фын-Хуанчена, отстоящего от Ляояна больше чем на сто верст. Но объяснить эту неудачу мне было тем труднее, что даже в штабе никто не мог себе представить, каким образом японцам удалось не только безнаказанно переправиться через широчайшую реку, не только сбить наш авангард, а и захватить несколько орудий. По своему моральному значению орудия являлись для нас тогда тем же, что и полковые знамена. Отдать орудия считалось величайшим бесчестием.

Пятикратное превосходство японских сил нам в ту пору известно не было, и в конце концов единственной реальной причиной поражения стали считать плохое

управление войсками и даже личную трусость генерала Засулича. Он один был виноват во всем! Никому не приходило в голову попытаться изучить этот кошмарный бой во всех подробностях, чтобы использовать тяжелый урок для коренной перестройки наших тактических принципов. Войскам, побывавшим в боях, или, как называли, «обстрелянным», самим приходилось изменять боевые приемы, а необстрелянным — учиться на собственном кровавом опыте, дорого расплачиваясь за подобные уроки. Куропаткин так и выражался: при неудаче — «не сдали урока», или, наоборот, — «хорошо сдали урок».

Чего они стоили, эти «уроки», мы узнали через несколько дней, когда увидели наших страдальцев, раненных под Тюренченом, столпившимися у ляоянского вокзала в ожидании санитарного поезда. После тяжелой тряски на двуколках и носилках они выглядели вконец измученными. Многие оставались неперевязанными в течение пяти дней, и кровь, запекшаяся на широких марлевых повязках, свидетельствовала об их героизме.

«За что?» — прочел я на их лицах.

Они были угрюмы и молчаливы, эти без вины виноватые люди.

Настроение в моем вагон-ресторане заметно упало. Я уже имел неприятную стычку с генералом Сильвестром, позволившим себе как-то во всеуслышание заявить, что сведения мои неточны и что, по его данным, японцы дошли до такой-то линии, а не до той, какую я указывал. Пришлось, скрывая внутреннее возмущение, обратить это в шутку.

В моих вечерних докладах Харкевичу я все настойчивее убеждал его в необходимости отправить военных агентов подальше от растлевающего влияния вокзала и получил, наконец, одобрение составленному мною плану откомандирования их по различным корпусам и отрядам. При своей главной квартире Куропаткин пожелал оставить только четырех старших представителей четырех великих держав: Англии, Франции, Германии и Австро-Венгрии.

Связанное с этим мое личное освобождение не порвало еще, однако, моей связи с военными агентами. Лишь через год, уже в Мукдене, все тот же генерал Сильвестр дал мне повод окончательно освободиться от этих

обязанностей. Он проведал, что ночью будут выгружены тяжелые орудия, и высказал пожелание осмотреть их. Отказать в этом я не мог. Но Харкевич предложил мне скрыть этот факт от иностранных представителей. Когда на следующий день утром Сильвестр пошел искать орудия, их уже не было. Взбешенный, он бросился жаловаться на меня Харкевичу, а последний объяснил, что все, мол, зависит от капитана Игнатьева. Мне оставалось только просить начальство заменить меня другим офицером.

Но желчного Сильвестра и это не удовлетворило, и он, как рассказывали мне впоследствии французы, поклялся, что я никогда не буду награжден орденом французского «Почетного Легиона».

Судьба, однако, устроила иначе. Не далее как через год по окончании войны мне довелось временно исполнять должность военного агента во Франции и состоять в свите президента республики на параде в день праздника 14 июля (взятие Бастилии).

К великому моему удивлению, на фланге одной из дивизий я узнал в лице ее начальника своего старого маньчжурского знакомого. Генерал Сильвестр, вероятно, был еще более изумлен, увидев своего бывшего «недоброжелателя» на столь высоком посту, да еще в его собственной стране. Обычную слащавую улыбку генерал Сильвестр сопровождал на этот раз салютом палашом с тем особенным шиком, унаследованным от рыцарских времен, который сохранился, кажется, только у французов. А вечером того же дня я получил от Сильвестра по пневматической почте городское письмо, в котором он просил меня «сделать ему честь» — позавтракать в кругу старых маньчжурских друзей, чтобы отпраздновать полученный мною на параде орден «Почетного Легиона».

Еще позже, когда я, уже в чине полковника, состоял русским военным агентом, я нашел в газете «Тан» краткую заметку о смерти «бывшего военного представителя французской армии в японскую войну, дивизионного генерала Сильвестра».

Непопулярным оказался этот генерал и среди своих коллег. Лишь немногие представители французской армии собрались в церковь отдать последний долг умершему, и не без удивления увидели они русского полковника

в полной парадной форме, возложившего на гроб громадный венок с русскими национальными лентами и надписью: «От старых маньчжурских русских соратников...»

Одним из заключительных эпизодов пребывания агентов в Ляояне явился неожиданный и серьезный инцидент со швейцарцами.

Представителем их был полковник Одеу, профессор военной академии, болезненный и мрачный человек, а помощником его — веселый капитан, надевший военный мундир лишь по случаю нашей войны, так как в мирное время он был часовщиком в Варшаве. Оба они были неразлучны и держались в стороне от других иностранцев, как бы подчеркивая свою традиционную нейтральность.

Из окон вагон-ресторана видны были только железнодорожные пути, и иностранцы во время обеда, естественно, внимательно разглядывали редкие поезда, подходившие с севера. Но, к своему разочарованию, они ни солдат, ни орудий не видали.

Не надо при этом забывать, что военные дипломаты отличаются от штатских тем, что для них уже сам военный мундир представляет собой символ некой международной военной солидарности. Если эта солидарность ощущается на обычных маневрах, то тем сильнее она давала себя знать на войне, носившей характер «колониальной». Полуштатским швейцарцам эти чувства, конечно, были непонятны. Невольным виновником инцидента явился обычно столь сдержанный австрийский полковник Чичерич.

— Смотрите, смотрите! — воскликнул он во время завтрака, — наконец, мы видим орудия на железнодорожных платформах.

Все бросились к окнам, но мрачный полковник Одеу заметил:

— Чему вы радуетесь? Ведь русские получают пушки лишь для того, чтобы скорее передать их японцам!

Генерал Джеральд побагровел. Румыны подали сигнал, встали из-за стола и, поклонившись мне, вышли из вагон-ресторана; швейцарцам пришлось последовать за ними.

Немедленно состоялось совещание старших представителей. Они единогласно сочли невозможным оставление в своей среде полковника Одеу. Они объявили мне об этом с принесением извинений за своего случайного коллегу

и просили доложить об этом командующему армией. По телеграмме Куропаткина в Петербург швейцарские представители были в тот же день отозваны.

Через несколько недель среди вороха вырезок из заграничных газет, доставлявшихся в штаб армии, я прочитал мало для меня лестные отзывы в швейцарской прессе:

«Какой-то мальчишка капитан дозволил себе оскорбить нашего уважаемого профессора и великого военного эксперта полковника Одеу. Неужели русское командование не нашло кого-нибудь потактичнее капитана Игнатьева?»

С этого началась заграничная оценка моей скромной личности. Так же, но в других и более сильных выражениях, она и окончилась тридцать лет спустя. Не только белогвардейская эмигрантская пресса, но и часть французской не скупилась на крепкие слова, чтобы хорошенько потрепать мое имя только за то, что при всех обстоятельствах я не переставал себя считать на службе своей родине.

Глава четвертая

НА ФРОНТЕ

Весны не было. В конце мая сразу наступила страшная жара. Мои «питомцы» — иностранцы — один за другим покидали Ляоян, отправляясь на восточный фронт — к Келлеру и Ренненкампфу — и на юг — к Штакельбергу.

Наконец, наступил и мой черед. Возвращаясь как-то поздно вечером из дома военных агентов, я столкнулся с адъютантом Куропаткина, моим бывшим однополчанином Урусовым.

— Вот! Допрыгались! — сказал он с возмущением. — Мукденские стратеги! [1] Добивались наступления на юг для спасения Порт-Артура, вот и добились!

— Что случилось?

— Да то, что Штакельберг разбит под Вафангоу. Какой ужас!

Он быстро поднялся в вагон Куропаткина, блиставший в ночной тьме.

---

[1] В Мукдене находился штаб наместника, адмирала Алексеева.

В прокуренной и слабо освещенной комнате одного из серых домиков, где помещалось оперативное отделение, молчаливый и изо дня в день толстевший от сидячей жизни капитан Кузнецов — как хороший генштабист — с канцелярской невозмутимостью дочерчивал очередную дневную схему расположения наших армий. Она становилась все сложнее, так как число отрядов росло не по дням, а по часам. Кузнецов только вздыхал, подставляя названия и номера уже перепутанных рот, сотен и полубатарей! О Вафангоу он уже слышал, но это нисколько его не волновало. Вслед за мной вошел мой коллега по академии Михаил Свечин, состоявший при генерале Сахарове. Я поделился с ним вестью, полученной от Урусова.

Свечин считал, что действительно выдвижение авангарда Штакельберга на юг, сделанное по настоянию Алексеева, «а может быть, и Петербурга», — как таинственно заметил он, — было чистой авантюрой.

— Я только что был в разведывательном отделении. Там ломают себе головы над тем, сколько же было сил у японцев. Дрались, говорят, наши сибирские стрелки замечательно. Потери тяжелые, но катастрофа опять, как под Тюренченом, произошла из-за незамеченного вовремя обхода нашего фланга. На вокзале рассказывают, — добавил Свечин, — что наши опять потеряли орудия, что в обозах была паника...

Не желая мешать Кузнецову, мы вышли на площадь и долго еще бродили, обсуждая невеселую обстановку. Оба мы негодовали на наш флот, допустивший беспрепятственную высадку японцев под самым нашим носом у Бицзыво, и пришли к заключению, что с гибелью Макарова дело явно ухудшилось. Потом мы критиковали Алексеева за его вмешательство во все распоряжения Куропаткина, нарушавшее принцип единства командования.

Не в первый раз судили мы и рядили о Порт-Артуре. Вместо помощи нам он подчинял себе все наши операции. Свечин сообщил мне по секрету, что комендант Порт-Артура генерал Стессель уже открыто просил Куропаткина о помощи.

Теперь, с отступлением Штакельберга, мы совсем отрезаны от нашей крепости, и хорошо еще, что Куроки остановился и не в силах, повидимому, предпринять глубокий обход на Мукден.

На следующий день рано утром меня вызвали к Харкевичу, там уже собралось шесть-семь генштабистов.

— Штаб остается временно в Ляояне, но командующий армией выезжает завтра на юг. Все мы назначены сопровождать его, — сказал Харкевич. — Надеюсь, господа, что вы оправдаете доверие, оказываемое вам его высокопревосходительством. Лошади и вестовые должны быть погружены сегодня вечером.

Эта новость сразу подняла настроение.

— Куропаткин, наверное, сразу поправит дело! — говорили все.

— Ну, собирайся в поход! — сказал я моему вестовому Павлюку.

— Наконец-то! — воскликнул тот, и глаза его в первый раз после отъезда из России сверкнули радостью.

Павлюковец — или, как мы его сокращенно называли, Павлюк — унтер-офицер моего эскадрона в Петергофе, так умолял взять его с собой на войну, что я не смог ему отказать. Это был белорус из бедной крестьянской семьи, человек мрачный по природе. Он еще больше ушел в себя во время службы в уланском полку, в эскадроне «легкого на руку» князя Енгалычёва. Но Павлюковец был лихим унтер-офицером, искал славы, мечтал получить «георгия» и ляоянское сиденье приводило его в отчаяние.

Первым важным вопросом явилось распределение моего слишком громоздкого имущества, которое мы разделили на три части, точь-в-точь как будто дело касалось войскового соединения: обоз первого разряда — седельные кобуры, в которые Павлюк требовал положить овса для лошадей, раздобытого им по знакомству у вестовых Куропаткина. Я же возражал: кони наши в походе могут довольствоваться, как и все решительно лошади в Маньчжурии, чумизой — просом. В конце концов я убедил Павлюка уложить в кобуры запасную смену шелкового белья, как единственного средства против вшей, туалетные вещи (Павлюк пробовал протестовать против флакона «вежеталя», но я не соглашался: мне рассказывали, что Скобелев всегда выезжал в бой раздушенным, тщательно причесанным, в белоснежном кителе). Потом шли, как полагалось, запасные подковы, гвозди, а из продовольствия — чай да сахар. Хотелось взять консервы, но к американским знаменитым «бифам» в жестяных короб-

ках с головой коровы на красной этикетке, наводнившим весь Дальний Восток, старожилы-офицеры Приамурского округа советовали относиться с осторожностью: эти консервы, залежавшиеся в Харбине, представляли собой смертельную опасность.

Обоз «второго разряда», оставленный нами в Ляояне, состоял из походного вьюка, которого не было даже у самых видных генералов; они привезли с собой в Маньчжурию разношерстные сундучки и чемоданы мирного времени.

В обоз «третьего разряда» — мешок из непромокаемого брезента с кольцами и замыкающей их ручкой — мы сложили наши полушубки и зимнюю одежду, отправив их подальше «в тыл».

Сборы наши к отъезду были закончены быстро. Но, увы, оказалось, что закончить приготовления еще не значило быть готовым. Опять стала очевидной неприспособленность нашего обмундирования.

Когда к отходящему на юг поезду я явился в белом кителе и в белой фуражке, с шашкой на серебряной портупее, с револьвером и биноклем через плечо, — мне казалось, что у меня вполне боевой вид. Но некий уже побывавший на фронте полковник сразу расхолодил меня и остальных офицеров, которые тоже были в белом.

— Не забывайте снимать фуражки, когда придется высовывать голову из окопа, — советовал полковник. — Лучшей мишени, чем белая фуражка, не сыскать. А японцы — отменные стрелки!

Он объяснил нам далее, что белое обмундирование и особенно белые фуражки служат одной из немаловажных причин наших потерь в людском составе.

На первом же ночлеге Павлюк категорически потребовал у меня фуражку и китель и сдал их в покраску какому-то китайцу.

— Никто в белом не воюет! — авторитетно заявил он.

Впрочем, все перекрасились. Но как! Проснувшись утром, я увидел вместо русской пехоты толпу в каких-то желто-зеленых, голубоватых и зеленоватых тряпках. Не лучший вид имело и большинство офицеров. В результате кустарной, спешной и неумелой покраски обмундирования все наше воинство сразу приобрело жалкий вид. Мне вспомнилось, что английские и американские военные атташе носили форму хаки, у японцев тоже хаки.

Значит, секрет защитного цвета уже был известен. Почему же его не использовало русское военное министерство, посылая сотни тысяч солдат на фронт?

Потом стала раздражать шашка. Зачем нужен пехотному офицеру этот тяжелый предмет? В мирное время шашку было даже запрещено оттачивать, — вероятно, во избежание несчастных случаев при пьянках, — а в военное время никто в пехоте за всю войну не зарубил ни одного японца. Шашка болталась между ног: при карабкании на сопки и при перебежках ее надо было придерживать рукой! Но и десять лет спустя после русско-японской войны русские офицеры не смели расстаться с ней.

Через короткое время пришлось снова разочароваться в наших фуражках с их маленькими козырьками. Маньчжурское солнце ослепляло нас. Большие козырьки по традиции прошлого века носили только старые генералы, а вся армия ходила с незащищенными глазами.

При первой необходимости вскарабкаться на сопку я убедился, что и сапоги мои не соответствуют назначению.

Российские булыги оказывались для подошв гораздо более терпимыми, чем маньчжурские острые камни или замерзшая глина. Я не знал тогда, что вся иностранная пехота, а во Франции даже школьники подбивают подошвы гвоздями, чтобы они не скользили. А по сопкам, бывало, сделаешь два шага вперед и соскользнешь на шаг назад. Поэтому самые наши лихие пехотные разведчики после лазания в горах навсегда расстались с сапогами, тем более что уже к этому времени в передовых отрядах сапог попросту не хватало. Их заменили китайские «улы» — мягкие туфли на толстой подошве — и обмотки вместо голенищ.

Даже в отношении обмундирования русская армия оказалась столь плачевно неподготовленной, что через шесть месяцев войны солдаты обратились в толпу оборванцев.

После каждого поражения искали виновных. Каждому хотелось найти виновного и притом очень хотелось убедить себя и других, что этих виноватых немного — всего один человек в каждом отдельном случае.

Так, например, виновником поражения под Вафангоу считали командира 1-го Сибирского корпуса Штакельберга. Но как я ни старался, все же так и не смог уста-

новить, в чем же заключалась его вина. Штакельберг был старый соратник Куропаткина по Ахалтекинской экспедиции, имел георгиевский крест и репутацию храброго командира, но, как говорили, был настолько слаб здоровьем, что не мог обходиться без молочного питания и постоянного ухода жены, которая его никогда не покидала. Так как в Маньчжурии молока не было, то при штабе Штакельберга, по слухам, всегда возили корову. Конечно, это подавало повод для многих шуток, и хлесткие журналисты из «Нового времени» создали целую легенду о генеральской корове. На самом же деле Штакельберг, несмотря на подорванное на службе здоровье, требовавшее особого ухода, лично руководил сражением, не щадил себя и был настолько глубоко в гуще боя, что под ним даже была убита лошадь.

Сражение под Вафангоу вскрыло один из главных пороков в воспитании высшего командного состава: отсутствие чувства взаимной поддержки и узкое понимание старшинства в чинах. Генерал Гернгросс, командовавший 1-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией корпуса Штакельберга, отбил атаки японцев, был сам ранен, не покинул командования, но нуждался в поддержке. Штакельберг выслал к нему бригаду под командой генерала Глазко. Вероятно, из ложной деликатности он не подчинил его Гернгроссу, а лишь предложил действовать совместно. Гернгросс посылал этому Глазко записку за запиской, указывая, где надо действовать. Но генерал Глазко был чином старше генерала Гернгросса и, считая, что не может получать указаний от генерала, стоящего ниже по чину, не сдвинулся с места. Сражение было проиграно.

Мне вспомнился кучер Борис Зиновьевич и то, как, сидя на облучке и сводя и разводя руки с вожжами, он предсказывал, что трудно будет с генералами. Простой человек, малограмотный старый солдат, он отлично понимал, однако, бюрократическую природу нашего высшего командования — истинную причину многих наших бед.

Отступление отряда Штакельберга стало особенно тяжелым из-за проливных дождей, обративших всю равнину в болото. Когда поезд Куропаткина подошел к станции Ташичао, он потонул среди моря обозов и палаток, завязших в черной непролазной грязи.

Я спросил Сиверса: неужели командующий может спокойно взирать на подобную картину? Но всегда уравновешенный Николай Николаевич объяснил мне, что начальнику штаба Сахарову уже послана об этом собственноручная записка Куропаткина:

«У нас тут порядка нет, обозов масса, и все они становятся в разнообразных позах и в общем скорее напоминают запорожский табор, чем войсковые обозы».

Генерал Сахаров помещался не за горами, а в соседнем вагоне и на все бумаги командующего отвечал тоже в письменной форме.

Окончив дневную работу, я вышел на перрон и в густой толпе, которая с утра до вечера шумела на вокзале, встретил бывшего своего однополчанина Александровского. Он был уполномоченным Красного креста.

— Знаешь, Катя здесь! — сказал он мне.

Это меня очень обрадовало. Моя двоюродная сестра Катя Игнатьева была несколько старше меня, но настолько очаровательна, что я был влюблен в нее с семилетнего возраста. Я учился еще в Киеве, когда она появилась барышней на петербургских балах и сразу покорила сердца молодежи, а главное — на свое несчастье — сердце великого князя Михаила Михайловича. Он сделал ей официальное предложение. На следующий день мой дядя, Николай Павлович, как полагалось, надел мундир и поехал к отцу великого князя, старику Михаилу Николаевичу, испросить его согласия на этот брак, но получил категорический отказ: невеста была недостаточно высокого происхождения. Великие князья имели право жениться только на девушках коронованных семейств.

Чтобы залечить незаслуженно нанесенную ей рану, Катя посвятила всю свою остальную жизнь работе сестры милосердия. Естественно, что с первых же дней войны она помчалась в Маньчжурию и постаралась попасть в самые передовые части.

Пробираясь между двуколками, китайскими арбами и громоздкими четырехколесными фургонами, напоминавшими екатерининскую эпоху, я не без труда добрался, наконец, до походной солдатской палатки, в которую можно было влезть только ползком. Катя страшно обрадовалась моему приходу, я же не мог скрыть чувства невольной жалости к ней.

— Что ты, что ты! — сказала она мне. — Посмотри, какая у меня чудная цыновка! Она так хорошо спасает меня от грязи. Она и раненых спасала. Это все наш Александровский. — Катя сразу безудержно стала раскрывать передо мной картины отступления. Она рассказывала, как трудно было устроить раненых, какой беспорядок господствовал в тылу. Она еще не ругала Куропаткина, но обвиняла во всем высших начальников и рассказывала о самоотверженных подвигах солдат, санитаров и младших командиров.

Горел фонарик со свечкой, освещая когда-то жизнерадостное, но уже измученное и постаревшее лицо Кати. Мне так хотелось ей услужить, но я даже ничего и не посмел предложить. Ни о прошлом, ни даже о родных мы не проронили ни слова. Оба мы уже стали маньчжурцами.

Первой моей рекогносцировкой было обследование района к востоку от расположения авангарда Штакельберга. Этот район являлся особенно загадочным: японцы ползли здесь, как муравьи, сведения о них, получавшиеся от наших разведок и китайцев, были самые противоречивые. Немудрено, что сюда направлены были генштабисты.

Зимняя желтая пустыня после первых дождей превратилась в сплошной огород, на котором поля сочного молодого гаоляна (кукурузы) сменялись густыми нежными всходами чумизы (проса) и темнозелеными квадратами посевов бобов. Высохшие русла ручьев благодаря своему твердому каменистому грунту служили единственно доступными дорогами. По берегам ручьев нельзя было встретить ни одного невозделанного клочка земли. И как возделанного! Трудолюбивые «манзы» (китайцы) через маленькую деревянную воронку кладут в землю каждое отдельное зерно гаоляна. И так на необъятных просторах всей маньчжурской равнины! За два года скитаний по Маньчжурии я не встретил ни одного сорняка, ни одной невозделанной ямы, канавы или бугра. Когда после войны я под этим впечатлением возвращался в Европу, Россия показалась мне плохо обработанной пустыней, и даже хваленые огороды в парижских окрестностях — полупустыней.

Среди зелени выступали китайские деревни, все похожие друг на друга. Через две-три недели они потонут

в высоких зарослях гаоляна, и придется взлезать на крышу, чтобы разглядеть соседнюю деревню.

Не только я, но даже мрачный Павлюк восхищался китайскими ребятишками с ярким румянцем на смуглых щечках и с блестящими, черными, как бусинки, глазенками. Детишки не шумели, не играли, они уже привыкли к труду. В малюсеньких фарфоровых чашечках они носили из дворов воду и систематически, с серьезным видом поливали темносерую маньчжурскую пыль на дворах и улицах.

Местность, по которой приходилось проезжать, была еще девственной, она еще не была затронута войной, и, любуясь опрятным видом китайских фанз, с их легкими полупрозрачными передними стенами из бумаги, заменявшими окна, с их чистыми двориками и точеными деревянными воротами, я с грустью думал, что вся эта своеобразная красота и труд могут быть в любую минуту разрушены.

Рекогносцировки дали мне возможность видеть, насколько безнадежно плохо была предусмотрена и организована войсковая разведка. Мой переводчик — китаец на крохотной серенькой лошадке — говорил на ломаном русском языке. Он упорно не хотел глядеть мне в глаза и внушал мало доверия. Вместо перевода коротких вопросов, которые я задавал жителям, он входил с ними в непонятные длинные беседы. Я еще не подозревал тогда, что большинство наших переводчиков были японскими шпионами.

Я научился сам интонациям вопросов на китайском языке, написанных русскими буквами в наших небольших «разговорниках»: «Ибен ю?» — есть японцы? «Мэ ю» — нет японцев. «Сю ю?» — есть ли вода? «Че го пуза шима минза?» — как зовется эта деревня? «Доше ли?» — сколько ли? [1] И в конце концов упросил начальство освободить меня от переводчиков.

Бедствием войсковой разведки были и так называемые казачьи конвои. Тот, который сопровождал меня на первых рекогносцировках, состоял из западносибирских казаков и имел жалкий и несчастный вид. В отличие от забайкальцев с их крепенькими мохнатыми лошадками сибирские казаки сидели на беспородных, разношерстных,

[1] Ли — китайская мера длины.

плохо кормленных конях, как будто вчера выпряженных из сохи. Да и ездоки отличались от мирных крестьян только, пожалуй, надетыми набекрень фуражками с красным околышем. Небрежная и самая разнообразная седловка с торчащими из-под подушек тряпками! А мы-то еще утешались мыслью о нашем превосходстве над японцами в отношении конницы! Где же она, наша блестящая кавалерия?

Она осталась где-то там, далеко, в Петербурге, на парадах! Там коней выезжают по системе Филиса, а мы должны довольствоваться этой ездящей пехотой.

Невеселому виду сибирских казаков соответствовал и облик их начальника дивизии генерала Самсонова (впоследствии трагически погибшего в Восточной Пруссии).

«Вы ведь не знаете, что наши несчастные кони не расседлывались по неделям, когда мы вместо пехоты несли сторожевую службу! Конница моя используется неправильно! Три четверти моих казаков безграмотны! Да и офицеры мои по своей некультурности недалеко от них ушли», — как бы говорили его всегда грустные глаза.

В отличие от сибирских казаков забайкальские казачьи полки, совсем уже не имевшие местных офицеров, были укомплектованы по преимуществу офицерами гвардейской кавалерии.

Тут был и долговязый Врангель, будущий «черный барон», тут же хватал боевые награды и Скоропадский, будущий гетман, и его соратник по Киеву князь Долгоруков. Одно из донесений этого князя даже нашло себе место в официальном описании русско-японской войны. Вот оно:

«16 июня, 3 ч. 30 м. С сопок. Видны две колонны, которые идут параллельно нашей колонне. Командир 3 сотни 2 Читинского полка кн. Долгоруков».

Нужно ли говорить, что в Маньчжурии слова «с сопок» так же мало определяют место отправки донесения, как слова «из степей».

Но вдобавок выяснилось, что эти колонны были не японские: князь принял за противника две наши собственные роты.

Если такие донесения мог посылать бывший камер-паж и уже немолодой штаб-ротмистр кавалергардского полка, то чего же можно было ожидать от храбрых, но

совсем безграмотных урядников и казаков-бурят, с трудом понимавших русский язык?

Начальство всегда проводило резкую грань между личными адъютантами, казачьими офицерами и генштабистами, задумываясь каждый раз, с кем послать то или другое приказание. Личные адъютанты посылались только, чтобы проверить настроение в штабе какого-нибудь высокого начальника или поздравить полк с полковым праздником и свезти от Куропаткина подарки для нижних чинов и провизию для «господ офицеров».

Казачьим офицерам можно было поручать только передачу запечатанных конвертов, но отнюдь не устных приказаний. Боялись, что они напутают, и потому самые простые поручения приходилось зачастую выполнять генштабистам.

Немалый вред в отношении разведки принесла работа разведывательного отделения. Полковник Люпов видел японцев повсюду. Его преемник Линда водил под Тюренченом батальоны в контратаку, но для разведывательной работы не годился. Вместо деловых сводок он строил фантастические планы действий нашей армии.

И чем больше получалось многословных телеграмм от командиров корпусов, противоречивых донесений от начальников многочисленных отрядов и полуграмотных полевых записок от казачьих сотников, тем больше «оказывалось» против нас японцев. Давно были забыты все сведения мирного времени; разведывательные органы верили в существование тех тысяч и десятков тысяч японцев, о которых нам врали словоохотливые китайцы. Проверить эти сведения не удавалось, так как на равнинном южном фронте японцы, остановленные дождями, прикрылись плотной завесой пехотных застав, о которых начальники разъездов могли только доносить: «Обстрелян сильным ружейным огнем из деревни такой-то». В горном районе воображаемые тысячи японцев еще труднее поддавались проверке (авиации ведь в ту пору не было), и японцы одним пулеметом, поставленным за надежной глинобитной стенкой китайской деревушки, могли в горной долине не только остановить разъезд, но и выдержать серьезное столкновение.

Одним из первых важных последствий сумбурного представления о силах и передвижениях японцев явилось после вафангоуского поражения опасение за так

называемое сюяньское направление, выводившее японцев в разрез между нашим южным и восточным отрядами.

Эти соображения высказывал мне генерал Харкевич, неожиданно вызвавший меня к себе в вагон вечером 13 июня.

— На это важное направление, — сказал он, — выдвинут отряд генерала Левестама, которому поручено задержать противника на Далинском перевале. У нас имеются сведения, что японцы намереваются двинуться именно в этом направлении.

Не будучи в курсе всех оперативных вопросов, я с трудом следил за пальцем Харкевича, указывавшим по карте на совершенно черную от гор и незнакомую мне местность.

— Отсюда до Симучена, где сейчас находится штаб Левестама, по прямой линии всего каких-нибудь сорок верст. Правда, прямой дороги я туда не вижу, но на то вы и кавалерист. Вам будет дан конвой: вы должны до рассвета найти Левестама и передать ему это собственноручное письмо командующего армией. Прочтите!

Помнится, письмо было довольно длинное. Оно посвящало Левестама во все детали сложной обстановки. Высказывались разные, противоречащие друг другу соображения, обещано было в ближайшее время усилить его отряд, с тем чтобы «силами, назначенными в ваше подчинение, вы удержались на позициях, кои сами для решительного боя изберете до подхода к вам подкрепления; главное — не дайте себя обессилить поражением по частям».

Я попросил Харкевича уточнить это приказание, с тем чтобы выяснить, насколько упорно в конце концов требуется защищать Далинский перевал. Но мой бывший профессор профессорским же тоном заявил, что в письме все ясно сказано. Спорить не приходилось.

Уже темнело, когда я приказал Павлюку седлать лошадей, а сам пошел разыскивать назначенный мне казачий конвой.

Пока он собирался, я, по выработанной еще в строю привычке, стал подробно изучать карту, чтобы наперед, на всю ночь, запечатлеть в голове свой маршрут. Дороги на Симучен действительно не было, и предстояло прежде

всего безошибочно выбрать в горном лабиринте ту долину из которой можно было бы выехать к конечной цели поездки.

Все шло сперва хорошо. Китайцы еще не легли спать, и в каждой маленькой горной деревушке удавалось проверять правильность взятого направления. Приходилось, однако, по многу раз повторять на все лады названия деревушек, так как китайское произношение, к которому я еще не привык, часто не совпадало с русскими надписями на карте.

Совсем стемнело, и горные массивы охватили нас с обеих сторон. Дно ручейков, по которым мы пробирались, часто меняло свое направление. То и дело казалось, что черные громады вот-вот преградят путь. Приходилось ехать шагом, путь казался бесконечным. Электрический фонарик, привезенный из России, давно отказался действовать. Рассматривать часы и карту приходилось, каждый раз зажигая спичку. Было уже за полночь. Я почувствовал, что мы слишком уклоняемся к северу. Мы были во власти горных ущелий, так как ни вправо, ни влево свернуть было невозможно. Павлюк же уверял, что мы едем правильно.

Но после нескольких минут колебания все же пришлось вернуться к последнему пересечению двух долин, потеряв, таким образом, лишние полтора часа. Сорок верст Харкевича, по моим расчетам, давно были пройдены, когда, наконец, перед нами открылась та широкая живописная долина, которая, согласно карте, должна была привести нас к Симучену.

Мы пошли рысью, и от сердца отлегло, когда в предрассветном тумане мы въехали в большое селение. Не хотелось даже верить, что это Симучен.

Там все еще спали. У одной из фанз, посреди главной улицы, горел зеленый фонарик, обозначавший штаб дивизии. Я влетел в фанзу и стал будить какого-то офицера, оказавшегося дивизионным интендантом.

— Где генерал Левестам? — спросил я этого опешившего лысого человека.

— Его здесь нет. Он еще с вечера, узнав, что японцы наступают, выехал на Далинский перевал.

Отчаянию моему не было границ.

«Вот я и не выполнил приказания, — говорил я себе. — Опоздал».

Павлюк предлагал напоить и покормить лошадей, конвой просил «ночевать», но я решил оставить казаков в Симучене, благо я уже находился среди своих, и не теряя ни минуты, двинулся с Павлюком на юг, на рысях, по широкой долине.

Через несколько минут солнце выскочило из-за гор и не прошли мы еще десяти верст, как оно стало снова нестерпимо жечь. Проехав уже больше половины пути, я натолкнулся на хвост колонны бородачей, вяло передвигавших ноги по непросохнувшей грязи. Плохо скатанные шинели и два безобразно набитых холщовых мешка, висевших через оба плеча, придавали им вид паломников ко «святым местам». Согбенные пропотевшие спины сибиряков были черны от мух; войска переносили мух на себе с одного бивака на другой. Обогнав растянувшуюся колонну, я узнал от ее начальника, что это батальон енисейцев, которому приказано продвинуться вперед. О местонахождении генерала начальник колонны ничего не знал.

С юга уже ясно доносилась сильная артиллерийская канонада.

Дорога пересекалась ручьем, превратившимся от дождей в мутный поток, который надо было перейти вброд. В этом месте енисейцы уже натолкнулись на встречное движение двуколок, китайских арб, запряженных каждая пятью-шестью бурыми мулами, серенькими лошадками и крохотными осликами.

— Уо-уо! — кричали погонщики-китайцы.

Тут же плелись и первые раненые. Как раз посреди мутного потока пришлось задержать моего Ваську, чтобы пропустить четырех китайцев, засучивших выше колен свои синие штаны и бережно переносивших на плечах носилки с тяжелораненным. Это был совсем юный белокурый подпоручик 21-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Лицо его было мертвенно бледно, но, увидев меня, он приподнял руку, пристально взглянул мне в глаза и тихо сказал:

— Плохо там.

У меня защемило сердце.

Ущелье то суживалось, то расширялось, и я рассчитывал где-нибудь за отрогом встретить, наконец, генерала Левестама. Вместо этого я, проехав еще две-три версты, увидел густые массы нашей пехоты, залегшие в лощине.

— Какой части? — спросил я на ходу.

— Иркутцы, — ответил мне лежавший у дороги санитар с белой повязкой и красным крестом на рукаве.

Глухой треск разрыва и черный столб дыма невольно заставили на мгновение натянуть поводья и перевести коня в шаг. Я ведь знал про разрывы гранат только по курсам тактики и артиллерии, но ни разу не был на артиллерийском полигоне. Такова была наша командирская подготовка в царской армии.

— Вот тебе и боевое крещение, — сказал я Павлюку и дал шпоры Ваське.

Передо мной открывался сплошной зеленый скат. Посреди него, по небольшой еле заметной лощине поднималась горная тропа. «Там, наверху, и должен быть Далинский перевал», — догадался я. Последняя деревушка у подножья ската была опять набита енисейцами, которых я уже распознавал по их синим околышам. Бой едва начался, а части были уже перемешаны.

— А вот, должно быть, и сам генерал Левестам, — говорю я Павлюку, приметив на скате небольшую группу, среди которой выделялся человек с большой белой бородой. Соскочив с коня, подбегаю к генералу и замечаю в его петлице белый георгиевский крестик, невольно внушающий мне уважение. Старик бегло просмотрел письмо.

— Об этом мне уже говорил вчера вечером по телефону сам командующий. Но теперь уже поздно. Перевала мы удержать не можем. — В голосе старика чувствовалась беспомощность. — Я остался даже без начальника штаба.

Это обстоятельство, как мне показалось, больше всего его расстраивало. Но меня это не удивило, так как еще в мирное время я знал, что генштабистов полагается ругать только до того момента, когда надо писать боевой приказ или отдавать распоряжения; в этот же момент лишиться генштабистов — горше всего.

— Уехал куда-то на правый фланг навести порядок и запропал. Я уж вас попрошу, капитан, остаться при мне и выполнять его обязанности.

Я испытал в ту минуту то чувство, которое овладевает всяким военным человеком, когда на него возлагается ответственное поручение.

Тут же стоявший подле меня начальник конвоя, казачий есаул с испитым лицом, всунул мне в руки целый ворох полученных и не прочитанных еще донесений, часть которых оставалась даже в нераспечатанных конвертах. Я начал разбирать карандашные каракули, извещавшие о наступлении японцев по каким-то скатам и неведомым мне долинам, но, убедившись, что большинство донесений помечено еще ночными часами, сунул их в карман. Генералу не пришлось мне сообщать, что за несколько минут до моего приезда он уже отдал приказ об отступлении: на дороге, идущей с перевала, послышался грохот нашей батареи, отступавшей на рысях в долину, а слева от перевала, на вершине, показались люди, отступавшие небольшими группами.

Выбежав шагов на триста в сторону от дороги и поднявшись на ближайшую высоту, я рассчитывал разобраться в обстановке, но это, увы, было уже невозможно. Японцев не было видно, и с их стороны слышался только непрерывный пачечный ружейный огонь. А нам, по уставу, разрешалось доводить ружейный огонь до наибольшего напряжения только по сближении с противником, то есть перед самым переходом в штыковую атаку. На больших дистанциях рекомендовалось по возможности беречь патроны, «держать огонь в руках» и стрелять залпами лишь по особо важным целям. Этим видом огня многие злоупотребляли, он вошел как бы в традицию русской армии; хорошие, выдержанные залпы поддерживали дисциплину в войсках и рекомендовались таким военным авторитетом, как Драгомиров. Помню, что нам прививалось понятие о том, что «не та пуля страшна, что летит, а та, что в дуле сидит». Приводился даже исторический пример из сражения под Бородином, подтверждающий этот парадокс: французская кавалерия при виде наших пехотных каре, спокойно державших ружья у ноги, сперва постепенно замедлила аллюр, а потом совсем повернула назад.

Прошло сто лет, а мы всё держались за старинку.

Наши отступали то кучками, то в одиночку, и только откуда-то справа раздавалась громкая команда:

— Рота, пли! Рота, пли!

На гребне стоял во весь рост офицер, почему-то сопровождая каждый залп взмахом шашки. К нему лезли люди в тяжелом снаряжении, еле передвигая ноги. Он изредка поворачивался, видимо подгоняя их.

Ружейный огонь тонул в громе артиллерийских выстрелов с японской стороны, но нам уже нечем было отвечать. Было ясно, что противник подготовляет общую атаку, что перевал уже потерян и надо как можно скорее закрепиться по ту сторону, чтобы пропустить беспорядочно отступающие передовые роты.

Едва я стал докладывать генералу мое предложение занять ротами резерва ближайшие гребни, как слева послышался крик: «Кавалерия!» — и вслед за тем отходившие люди побежали стремглав вниз по скату.

— Нет у японцев кавалерии, — закричал я ординарцам генерала, — остановите панику!

— Ваше высокоблагородие, — доложил мне в это время какой-то запыхавшийся стрелок, унтер-офицер 21-го полка, — это наши просят казаков, чтобы вывезти раненых; в гору невозможно их оттащить.

Мне показалось нелепым посылать конных людей под ружейный огонь, на верную смерть, но отказаться я не посмел и приказал нескольким оставшимся казакам конвоя спешиться и помочь стрелкам вывезти на конях раненых. По традиции, унаследованной от турецкой войны, оставление раненых в руках неприятеля считалось почти таким же позором, как потеря пушек. В реляциях о бое так и писалось: «Отступили, вынеся всех раненых». Но о том, что для этого посылались на убой свежие части, велись бесполезные контратаки, приносились новые ненужные жертвы — конечно, не сообщалось.

Покончив с паникой, я стал распоряжаться высылкой на сопки все еще лежавших у деревни енисейцев.

— Разрешите, ваше превосходительство, сложить в деревне скатки и вещевые мешки, а то люди никогда не влезут на эти кручи, — докладывал я генералу.

Но возникло препятствие. Стоявший тут же престарелый командир батальона умоляюще просил генерала этого не делать, ибо он не может в таком случае отвечать за потерю казенного имущества. Короткий наш спор помогли разрешить японцы, возобновившие артиллерийский огонь по долине, но уже шрапнелью. Повидимому,

они подтянули вперед свои батареи, но, как я ни вглядывался в полевой бинокль, обнаружить их не мог.

Енисейцы, сбросив снаряжение, побежали к горным отрогам, взлезли кое-как, скользя в своих тяжелых сапогах, на самый гребень, и оттуда снова раздались команды:

— Рота, пли! Рота, пли!

По кому они стреляли — определить было трудно.

Не успели мы организовать сопротивление на новом рубеже, как подбежал стрелок из охотничьей команды, в китайских улах и обмотках, и передал донесение неведомого мне до того полковника Станиславского об отходе его «верст на восемь в тыл под напором превосходных сил противника». Мы были обойдены по соседней долине с правого фланга, отделенной от нас горным хребтом. Медлить было нельзя. Надо было во что бы то ни стало опередить японцев и раньше их выйти к скрещению обеих долин.

С фронта японцы нас, повидимому, не преследовали; мы скоро вышли из-под огня и смогли даже привести в порядок части, скатившиеся с перевала.

Я не замечал времени при отходе, так как выставлял последовательно арьергарды. Помню название деревни Тадою, где я вошел в фанзу и был радушно встречен собравшимися там чинами штаба отряда. Все эти незнакомцы считали меня теперь своим. Я взглянул на часы и с удивлением заметил, что уже шесть часов вечера. Тот самый казачий есаул, что подал мне утром нераспечатанные донесения, особенно усердствовал, предлагая закусить. Но есть мне не хотелось. Я только пил из ободранной по краям эмалированной кружки мутную бурду — чай с клюквенным экстрактом — и лишь на двенадцатой кружке вспомнил, что со вчерашнего вечера мы с Павлюком еще ничего не ели и не пили.

Чай вошел в быт армии. Приказ о строжайшем запрещении пить сырую воду спас нашу армию от самого страшного бича — тифа, и впервые с существования мира потери от болезней оказались у нас меньше потерь от ранений. Чай спасал.

О бое и его бесславном исходе никто не говорил. Арьергард был выставлен надежный, с севера прибывали подкрепления. Все занялись устройством на новых, незнакомых местах. Приехал даже мой утренний знакомый, дивизионный интендант, и шепнул мне на ухо:

— Когда стемнеет, приезжайте ко мне в обоз. Будут настоящие сибирские пельмени.

Левестам тоже пришел в себя и стал самолично диктовать пространную телеграмму Куропаткину с изложением всех подробностей дня. В конце он просил разрешения задержать при себе капитана Игнатьева, что явилось для меня неожиданной наградой.

Японцы остановились, повидимому, на Далинском перевале, и мы оторвались от них на добрый десяток верст. Началась снова мирная жизнь в китайских фанзах.

Скоро, однако, возникла новая неприятность: день и ночь стал лить непрерывный теплый дождь, и наш отряд оказался отрезанным от остальной армии ручьями, превратившимися в бурные потоки, и непролазной грязью в горных долинах. Даже хлеба нельзя было подвезти, и пришлось питаться черными, твердыми, как камень, а порой и заплесневевшими от ужасающей сырости сухарями. Для вытаскивания застрявших повозок высылались то саперы, то казачьи сотни, то целые роты. Продолжал действовать только неутомимый телеграф, передававший поучительные циркуляры столь падкого на них командующего.

Генерал продолжал оказывать мне особое доверие и часами вел со мной откровенные беседы. Невесело слагались мои мысли. Да, с отступлением из Кореи и беспрепятственной высадкой японцев на маньчжурском побережье мы, казалось, навсегда потеряли инициативу, и в этом была главная беда.

Японцы ударяли то по одному, то по другому нашему отряду, подтягивая для этого из соседних долин подкрепления. Разобраться в их передвижениях в этом горном лабиринте, столь непривычном для наших войск, было почти невозможно. И к моменту атаки мы постоянно оказывались перед сильнейшим противником. Так произошло и на Далине, где, по точным и строгим подсчетам, проделанным мною с генералом, против нас было не менее двух дивизий, из которых одна — гвардейская; мы же против них имели всего-навсего какой-нибудь десяток батальонов, из которых в боевую часть было выделено три-четыре батальона и две батареи, в том числе одна старого образца. Я спрашивал Левестама, почему все его резервы, встреченные мною по пути в Далин, были эшелонированы чуть ли не на десять верст в глубину. Он,

признавая это ошибкой, объяснял ее боязнью глубокого обхода японцев с обоих флангов. И действительно, рассмотрев донесения передовых отрядов и разъездов, можно было понять причины растерянности генерала: один молодой корнет определил обходную колонну, преувеличив ее силу не больше и не меньше, как в пять раз!

Много было у нас споров о заведомом преувеличении японских сил не только китайцами, но даже нашими лучшими разведчиками; всякий старался объяснить это по-своему, но чаще всего казалось, что, привыкнув высылать далеко вперед авангарды силою до одной четверти отряда, мы считали, что замеченные японские колонны тоже составляют авангард, за которым идут еще в три-четыре раза большие силы.

А между тем японцы никакой военной хитрости не применяли, а попросту наступали не по одной, а по двум, трем долинам, не заботясь даже о связи между ними, и, таким образом, просто и естественно выходили к нам во фланги. Когда я увидел вычерченную для Куропаткина схему положения нашего отряда к началу отхода с Далина, то понял, из какой беды мы выскочили: японцы так глубоко нас обошли с двух сторон, что только их пассивность и страх перед нами позволили нашему отряду почти целехоньким выйти из далинского мешка. Объяснился также и казавшийся преждевременным уход с позиции лихой батареи полковника Криштофовича, выпустившей более трех тысяч снарядов в неравной борьбе с четырьмя японскими батареями, но не имевшей возможности пополнить боевые запасы. Парки, из той же осторожности, оставались, по нашему обыкновению, где-то далеко позади. Ни одного пулемета ни у казаков, ни у Сибирской дивизии не было.

— Ах, да все это было бы еще ничего! — не раз, вздыхая, говорил мой старик. — Ведь главный виновник всего этого — георгиевский крестик! Получил я его давно, молодым подпоручиком на Кавказе, в турецкую войну. Был назначен в прикрытие артиллерии, и весь мой подвиг заключался в том, что я не обращал внимания на турецкие ядра и проходил спокойно с одной стороны батареи на другую. Но какие же это были ядра? Разве можно их сравнить с японскими шимозами? Ну, потом, благодаря крестику, быстро продвигался по службе, обзавелся семьей, командовал, там же на Кавказе, полком и

устроился начальником Тифлисского военного госпиталя — казенная квартира, райское место. И зачем нужно было меня с него трогать? Так вот из-за этого самого крестика главный штаб назначил меня — как «боевого генерала» — начальником Сибирской резервной бригады. А тут война, развернули нас в дивизию, в шестнадцать батальонов, — шутка ли сказать! Придали артиллерию, парки, обозы. Загнали в эти проклятые горы. Уверяю вас, что на Кавказе я куда лучше во всем разбирался.

В штабе Куропаткина продолжали между тем возлагать большие надежды на Левестама главным образом потому, что его отряд был выдвинут на сюяньское направление, по которому Куропаткин предполагал самолично повести серьезное наступление в разрез между южной и восточной японскими группировками. Для этого требовалось определить силы и расположение японцев. После долгой переписки решено было произвести усиленную рекогносцировку тремя колоннами по трем параллельным долинам, в направлении на Далинский перевал. Каждому начальнику колонны в качестве «надежной гувернантки» был прикомандирован офицер генерального штаба. Я получил, наконец, самостоятельное назначение в правую колонну, направленную в долину Ланафана. Эта колонна была самой слабой и состояла из двух батальонов енисейцев, четырех орудий и сотни сибирских казаков. Командир Енисейского полка, престарелый полковник Высоцкий, плохо видел на правый глаз и так же, как и Левестам, растерялся при виде собственного четырехбатальонного полка, развернутого из родного ему скромного резервного батальона. Особенно смущали его орудия и казаки, с которыми он попросту не знал, что делать, да еще в горах. Может быть, растерянность старика была законной, ибо, конечно, было бы практичнее иметь, подобно японцам, горную артиллерию на вьюках. А про нее мы слыхали только от офицеров пограничной стражи.

Я посоветовал полковнику собрать перед выступлением старших начальников для объяснения боевой задачи. Надо отдать ему справедливость, личный состав полка он знал превосходно, поэтому было нетрудно назначить в авангард те роты, которые имели наиболее толковых командиров.

— Начальник отряда приказал мне разъяснить порядок продвижения, — докладывал я собравшимся в полутемной китайской фанзе. — Начальник отряда обращает ваше особое внимание на наш правый фланг, — продолжал я все в том же тоне.

Полковник, со своей стороны, не проронил ни слова.

Нам предстояло пройти за день больше двадцати верст. Наступать надо было со всеми мерами предосторожности, так как мы были крайней колонной и вправо от нас горная местность была совсем не обследована. Японцы могли появиться в любой момент на высотах и обстрелять нашу колонну, втянувшуюся в горную долину. Движение, как предписывал устав, должно было охраняться последовательной высылкой на сопки сторожевых застав, которые присоединялись затем к хвосту колонны. Зная, как медленно поднимаются на горы наши пехотные части, я рассчитал, что на продвижение потребуется не менее восьми — десяти часов, а потому торопил с выступлением до рассвета. К несчастью, я не мог применить для наших малообученных солдат той системы продвижения в горах, о которой мне рассказывал еще в Ляояне итальянский капитан Камперио. По его словам, не только дозоры, но даже боевые цепи, выдвинутые на окаймляющие долину хребты, никогда не должны спускаться вниз; им надо оставаться постоянно в готовности открыть огонь. Для этого они должны продвигаться с отрога на отрог, один стрелок в затылок другому, цепочками, восстанавливая фронт на нужных отрогах. Левофланговый на первом отроге окажется, таким образом, на правом фланге гребня второго отрога и снова на левом — на гребне третьего отрога.

Одним из немалых затруднений при наступлении явилось отсутствие полевых телефонов. Они оставались привилегией высокого начальства, а мы держали связь со штабом Левестама по допотопному методу казачьей летучей почты.

— Господин полковник, разрешите выслать дозор влево.

— Господин полковник, разрешите прочесть вам донесение в штаб отряда.

Начальник мой на все соглашался и был вполне спокоен. Все донесения о скоплении японских сил в долине Ланафана оказались ложными, и мы после небольшой

перестрелки в передовых частях заняли к вечеру указанный нам по диспозиции рубеж, выставили охранение и спокойно провели ночь.

Засыпая на «кане» — низкой китайской лежанке, — мой полковник, вероятно, видел во сне свой уютный деревянный домик в Иркутске, с алой геранью на окнах, в котором он коротал ночи, поигрывая в преферанс с местным полицмейстером.

На рассвете мы предполагали продолжать наступление и даже обойти прежнюю позицию на Далине, но приказы об отходе доходили всегда скорее, чем приказы о наступлении, и нам пришлось вернуться на старые биваки. Выведя отряд на перекресток дорог, из которых одна шла к расположению енисейцев, а другая — в штаб Левестама, я попросил разрешения покинуть долину. Полковник, наклонившись в седле, крепко пожал мне руку.

— Спасибо вам, капитан, за хорошее к нам отношение.

Конечно, скромный полковник не мог предполагать, что своим добрым словом он сразу откроет мне ту неприязнь, которую питала армия к своему генеральному штабу. Мне невольно вспомнились наставления моих однокашников — киевских кадет: «Смотри, Игнатьев, станешь гвардейцем — не переставай нам кланяться».

Прошли года, и я дожил до Февральской революции, которая застала меня в Париже. Я был свидетелем распада русских бригад. Здесь-то мне и пришлось вспомнить о Далинском перевале. Поздно ночью жена моя, открыв дверь, впустила группу солдат. Ее возглавлял Большаков, служивший в запасном батальоне, составленном преимущественно из сибиряков старых сроков службы.

— Вот привел я с собой товарищей поговорить о беспорядках в нашей бригаде, — сказал он. — Я рассказал им про наши с вами дела на Далинском перевале, — объяснил он мне. — Я узнал вас, когда вы осматривали наш отряд по прибытии из России, в лагере Майи; я сказал себе: «Этот полковник был тогда капитаном на беленькой лошадке, и с ним мы воевали на Далине». (То был мой серый Васька.)

Трудные были тогда вопросы... Подолгу и не раз мы толковали с Большаковым о событиях в бригаде, которую взволновала русская революция, о потере офицерами их авторитета. На память он подарил мне свою фотографию в военной форме, с двумя «георгиями» и медалями на груди с надписью: «На память о наших рекогносцировках на маньчжурских сопках».

Фотографию эту я сохранил.

Глава пятая

В ГОСПИТАЛЕ

Кто во время войны не был в военном госпитале, тот не оценит стоимости крови и человеческих страданий. Цифры потерь убитыми и ранеными, о которых я читал в учебниках военного искусства, приобрели новый смысл с минуты, когда я сам попал в госпиталь. На разведках и в пылу боя совсем про это забываешь.

В начале июля я неожиданно был отозван из отряда Левестама в штаб армии и был послан на рекогносцировку. Впереди наших частей не было, идти приходилось с предосторожностями, прикрываясь длинным каменистым отрогом.

Земля после июньских дождей быстро просохла, и, несмотря на томящую жару, ирландская кобыла, казалось, легко меня несла, ступая по толстому слою мягкой пыли, покрывавшей горную тропу. Помню, как, дав конвою знак перехода на другой аллюр, я двигаю кобылу, но в эту минуту она неожиданно оступается, я дергаю поводьями, это не помогает, она вторично падает на передние ноги и бессильно валится. Я бросаю стремена и не успеваю выдернуть из-под седла левую ногу, застрявшую под походным вьюком, скатываюсь с тропы на мягкую площадку, покрытую зеленой чумизой, вскакиваю, но от страшной боли в ноге снова падаю.

Павлюк с казаками меня поднимают, с трудом вытаскивают из подковы лошади застрявший острый камень и усаживают меня обратно в седло. Для горной местности нужны и горные лошади. Я оказываюсь калекой и, не имея возможности опустить от боли ногу, возвращаюсь в Ташичао, поддерживая ногу руками.

Боль, обида, неудача... Сколько раз приходилось в жизни летать с лошади на больших препятствиях, но ни разу я не сломал даже ключицы.

Не помню хорошо, как в конце концов я очутился на парусиновой койке, подвязанной между стойками сидений вагона третьего класса, что теперь называют жестким. Это был санитарный поезд № 14. В вагоне, кроме меня, никого не было. Подошла сестра милосердия, высокая красивая женщина с большими, грустными, темными глазами, в белой косынке.

— Неудобно вам лежать, капитан? — обратилась она ко мне. — Койка для вас коротка, да и холст совсем провис. Хотите, мы вас перенесем на другую койку?

За день вагон накалился от жгучего солнца, и ночь не принесла прохлады, несмотря на поднятые рамы окон. Когда совсем стемнело и зажглась стеариновая свеча в фонаре, сестра вернулась и предложила пить.

— Вы уж простите, — с горечью сказала она, — наш поезд военный, а не Красного креста. У них там подают холодный крюшон из шампанского, а вот у нас, кроме клюквенного морса, нечего предложить. Во всем экономия, раскладки казенные, в обрез.

И вспомнились мне те роскошные поезда «имени императрицы», которые я видел проходящими через Ляоян. Их все осматривали, восторгаясь и прекрасной хирургической, и койками, оборудованными по последнему слову науки, и даже вагонами для докторов и сестер, и особыми купе, и уютной столовой. Таких поездов было всего три, и никому не приходило в голову подсчитать, сколько раненых могли они принять. Впоследствии к ним попросту прицепляли теплушки, куда после больших сражений раненых сваливали наспех, без всякого разбора. «Поезда императрицы» были созданы для популярности царской семьи и только вызывали чувство зависти к тем счастливцам, которые могли пользоваться этой роскошью.

Питье, принесенное сестрой, оказалось, однако, превкусным. Видно было, что о нем позаботились. Стакан был прикрыт от мух блюдечком, но пить пришлось все-таки осторожно, так как мухи того и гляди могли попасть и в стакан и в рот. Мухи, маньчжурские мухи! В историю они не вошли, но сколько же они причинили нам мучений!

Поезд останавливался на всех станциях в ожидании раненых. Их было много. Лишь на второй день поздно вечером добрались мы до Ляояна. Здесь меня передали в госпиталь.

Надолго сохранил я благодарную память о сестре, которая за мной ходила в поезде. Это была настоящая русская женщина, из тех, которые вкладывают всю свою честную душу в служение страдающей армии.

С одной из них мне пришлось встретиться через много лет.

Зимой 1939 года, вернувшись как-то со службы домой, я нашел у себя ценный подарок. Приходила неизвестная особа и оставила для передачи мне туго набитый бумажник красного сафьяна с тисненными золотом китайскими иероглифами. К бумажнику было приложено письмо: бывшая сестра милосердия Ольга Брониславовна Ивенсен посылала мне большую коллекцию фотографий, сделанных ею в свое время в Маньчжурии.

В письме сестра вспоминала о том, как умирали русские солдаты в Маньчжурии в 1904 году:

«Есть в жизни случаи, которые никогда не забываются, и время не может их стереть из памяти...

...Я не помню его фамилии: то ли Диких, то ли Мягких, это был сибиряк, — но прекрасно помню, что звала я его: «дядя Ваня». На эвакуационном пункте, отмечая своих больных, я нашла его на носилках, с надвинутой на нос папахой, из-под которой торчала борода, а на нем лежала винтовка, которую он прижимал к себе обеими руками.

Винтовка — я ее ненавидела, потому что у нас был приказ — прежде всего записать винтовку, а потом уже заниматься человеком!

Рядом с ним стояли носилки с худеньким солдатом, на котором лежала огромная медная труба, которая его всего закрывала, и он так же крепко цеплялся за нее руками.

Оба они попали ко мне.

Когда мы их раздели и уложили, оказалось, что «труба» был после перенесенного сыпного тифа, уже с надеждой на выздоровление, а дядя Ваня — совсем в другом положении: у него была ампутирована нога выше колена, швы разошлись, зияла огромная гнойная рана, и, несомненно, назревал септический процесс...

Это был тяжелый больной, который не подлежал эвакуации, и госпиталь подсунул его, чтобы не портить свой процент смертности.

Все мысли и тревоги дяди Вани сосредоточены были на своей семье, на своих пяти ребятах.

«Вот, — говорил он, — сестрица, за чужу землю, должно, помру, а своя-то осиротеет! Кто ребят будет кормить, кто им помогнет?»

А когда его спрашивали о болях, о самочувствии, он без надежды махал рукой и говорил: «Мне больше внутре болит, за семью болит, все думаю: кто им помогнет?»

И все это говорилось без ропота на свою судьбу, а с какой-то обреченностью и с полной безнадежностью за будущее семьи.

Чужда была ему эта война: «Зачем нам китайская земля, она ничего не родит...» И много, как-то возбужденно он рассказывал о своей земле, хозяйстве, семье, о ребятишках, и даже его ранение отходило на второй план. На другой день он как-то притих, стал молчалив; чтобы отвлечь его, я предложила писать письмо жене; он радостно принялся диктовать мне бесконечные поклоны, которые заполнили три четверти письма, и на мое возражение, что довольно поклонов, напиши побольше о себе, — он строго посмотрел на меня и сказал: «Ты меня не торопи: потому, может, это будет последнее мое письмо и я всех должон вспомнить и никого не обидеть». Своему годовалому сыну, назвав его по имени и отчеству, он посылал низкий поклон до сырой земли. Затем следовали всякие советы жене и особенное завещание — беречь лошадь и не продавать ее.

Постепенно он замыкался в себе, как-то уходил от нас, и лицо становилось все суровее. Свои мучительные перевязки — два раза в день — он переносил с большой выдержкой и всегда трогательно благодарил за работу и за «трудное ваше дело». Но если врач шутил с ним, желая отвлечь его, он замыкался еще больше и потом говорил мне: «Скажи ему, что я приготовился. Он не понимает и спугнул меня».

В Харбине не приняли больных и направили в Никольск-Уссурийск. В пути у него все повышалась температура. Он часто впадал в забытье, бредил о семье, о

деревне, а когда приходил в себя, он был далек от всего, углубленный и молчаливый.

Это его настроение передалось всем, его берегли, — умолкли разговоры, шутки, какое-то чувствовалось большое и глубокое уважение перед этой сознательной смертью.

Умер он, когда поезд подходил к Никольск-Уссурийску...»

Это письмо вызвало целый поток собственных воспоминаний; цепляясь один за другой, всплывали в памяти эпизоды, которые казались давно забытыми.

В Ляояне меня внесли на носилках в совершенно темную палату Георгиевской общины Красного креста. Мой сосед слева шепотом сказал мне:

— Это я, Энгельгардт. Я ранен. Нас предупредили, что тебя положат к нам, и я просил поместить нас рядом.

Это был мой товарищ по Пажескому корпусу Борис Александрович Энгельгардт, только что окончивший Академию генерального штаба и принявший командование одной из сотен забайкальских казаков. Мне пришлось сталкиваться с ним на протяжении долгих лет. В Пажеском корпусе он был моим соперником за первенство в классе, и мы провели не один день, лежа на съемках у треноги нашего общего планшета. Будничная, строевая служба его не удовлетворяла. Он искал лавров на скаковом кругу и частенько наезжал из Варшавы в Петербург, рисуясь передо мной своим превосходством в кавалерийском спорте.

Но и спорт скоро ему надоел, и, увидев меня слушателем академии, Энгельгардт решил на следующий год последовать моему примеру. После маньчжурской войны и революции 1905 года он вышел в отставку и решил было заняться сельским хозяйством в своем имении где-то в Белоруссии. Но и хозяйство приелось Энгельгардту. Он бросился с головой в политику и выступал по военным вопросам от партии октябристов в Государственной думе.

Потом началась мировая война. Я занимал пост военного агента в Париже. Летом 1916 года в Париж приезжают члены Государственной думы, и среди них Борис Энгельгардт. Депутаты говорят красивые речи, а Борис берет меня однажды под руку и говорит:

— Революция неизбежна. Боюсь только, как бы нас не захлестнуло слева?!

Коротка была слава Энгельгардта на посту коменданта Таврического дворца в Февральскую революцию.

Я встретил его вторично в Париже уже в конце 1918 года. Он избегал объяснять мне, каким образом его партию «захлестнуло» слева, но, как всегда, проявлял бешеную энергию, рассуждая о различных интригах в Политическом совещании, которое было инициатором и вдохновителем интервенционной политики Антанты.

Обо всем этом мы, конечно, не могли и думать, лежа в ляоянском госпитале и читая разорванную на части «Войну и мир». Это была единственная книга в госпитале, завезенная кем-то из врачей. Мы не могли тогда предполагать, что будем свидетелями поражений и отступлений, превосходящих по своим размерам Аустерлиц, но на страницах Толстого находили уже некоторые отзвуки волновавших нас чувств.

Наш первый ночной разговор шепотом пришлось скоро прервать, так как справа рядом со мной тяжело стонал какой-то раненый. Он лежал на спине, и видно было только, как простыня поднималась горой и опускалась над его вздувшимся животом. Недолго прожил мой сосед, оказавшийся почтенным капитаном одного из резервных сибирских полков. Проснувшись как-то на рассвете, я заметил, что простыня уже больше не движется и желтое, одутловатое лицо соседа прикрыто косынкой. Тихо вошли санитары, перевалили его на носилки и неслышно вынесли мертвеца, пока палата еще спала. Утром на его место положили генерала Ренненкампфа.

Я не был раньше знаком с Ренненкампфом, но он оказался таким, каким я его себе представлял, — обрусевшим немцем, блондином богатырского сложения, с громадными усищами и подусниками. Холодный, стальной взгляд, как и вся его внешность, придавал ему вид сильного, волевого человека. Говорил он без всякого акцента, и только скандированная речь, состоящая из коротких отрывистых фраз, напоминала, пожалуй, о его немецком происхождении. Среди дряхлеющих стариков и изнеженных сибаритов, составлявших большинство высшего командного состава, Ренненкампф, несомненно, выделялся своим здоровым, бодрым видом. Невольно вспоминалось латинское изречение: «В здоровом теле — здоро-

вый дух». За телом своим он действительно следил. Раздеваясь ежедневно по утрам догола, при любой боевой обстановке, он обливался ведрами холодной воды. А вот духа он на войне проявил гораздо меньше, чем после нее. На войне ему ни разу ни пришлось быть в больших сражениях, так как, заслужив еще со времен кровавого подавления боксерского восстания репутацию смелого кавалерийского начальника, он неизменно только охранял фланги и отступал, равняясь по остальным армиям. Впрочем, он имел свои боевые сноровки: при наступлении он выезжал всегда к передовой заставе, выбирал удобное место, чтобы пропустить мимо себя последовательно всю колонну, здороваясь отдельно с каждой частью. Люди получали впечатление, что начальник всегда не позади, а впереди их.

Не один, а целых два георгиевских креста украшали грудь Ренненкампфа в ту пору, когда Россия содрогнулась от тяжелых оскорблений, нанесенных ее национальному чувству под Мукденом, Порт-Артуром и Цусимой. Вот тогда-то Ренненкампф и показал свое подлинное лицо, зверски подавив революцию на сибирской магистрали.

Много версий пришлось слышать о причинах предательства Ренненкампфа в мировую войну. Она, как известно, началась со вторжения русской армии под начальством Ренненкампфа в Восточную Пруссию. После первых блестящих успехов Ренненкампф был остановлен подвезенными на этот фронт германскими подкреплениями. В то же время с юга от Варшавы двинулась в Восточную Пруссию армия Самсонова. Почуяв опасность, германское командование перебросило против Самсонова все наличные силы, окружило его и разбило под Танненбергом. А между тем Ренненкампф продолжал спокойно стоять на месте, как бы выжидая поражения своего соседа. Одни говорят, что он был подкуплен, другие объясняли его бездействие личной антипатией и завистью к Самсонову. Но для меня остановка Ренненкампфа объясняется скорее опытом той «боевой школы», которую он прошел в Маньчжурии: там каждый начальник ждал и бездействовал, пока не разобьют соседа, — с тем чтобы в этом найти себе оправдание для отступления под предлогом выравнивания линии фронта. При подавлении революции выравнивать линии таким генералам не было нужды.

Недолго пролежал рядом со мной Ренненкампф; рана в ногу у него не была серьезной, и главным его и нашим мучением продолжали оставаться все те же ужасные мухи и нестерпимая духота, сопровождавшая тропические июльские дожди.

У меня врачи определили разрыв наружного сухожилия с раздроблением кости, наложили неподвижную повязку и надолго, таким образом, ограничили мой мир. Палата на десять человек, помещавшаяся в доме богатого китайского «купезы», была чисто выбелена, а одна из ее стен представляла собой, как во всех китайских домах, сплошное окно, затворявшееся в случае непогоды двумя легкими рамами, заклеенными пергаментной бумагой. У нас эти рамы всегда были открыты, и мы могли следить за жизнью большого внутреннего двора.

Вот прошел из хирургической санитар с ведром, и лежащий у окна раненый, с ужасом отворачиваясь, восклицает:

— Смотрите! Смотрите! Целая нога...

С утра идут перевязки, и двор оглашается стонами; к ним первое время трудно привыкнуть... Потом все стихает, и те же санитары приходят с подносами, разнося обед, каждый день кончающийся жиденьким розоватым киселем из клюквенного экстракта.

На санитарах лежала вся черная работа, так как сестры в этом госпитале причисляли себя к врачебному персоналу. Это уже была другая категория сестер: в большинстве — светские барыньки, которые надели косынки сестер милосердия либо для того, чтобы быть поближе к мужьям, либо в поисках приключений и сильных ощущений.

У них было время кокетничать с офицерами, хотя большинство предпочитало нести службу не в офицерских, а в солдатских палатах, ибо иные офицеры действительно могли возмутить своими бесконечными претензиями и придирками.

— У меня никто не капризничает, никто не грубит, все и за всё благодарны, — объясняла маленькая тщедушная сестра Урусова, не желавшая покидать солдатской палаты.

Смерть перестала быть событием, которым она представлялась в мирное время. После ляоянского госпиталя мне навсегда стали казаться странными и ненужными

все те церемонии, которыми окружают смерть. Там, в Маньчжурии, никто не приносил цветов на гроб. О сотнях тысяч могил русских воинов, сложивших свои головы на чужой земле, почти все тогда скоро позабыли.

Недели через три мне позволили выйти на костылях, и дело, казалось, шло на поправку. Я лежал на шезлонге. Помню, как студент-доброволец в серой куртке, сидя ко мне спиной, начал массировать мне ногу. Приятно было освободиться, наконец, от повязки. Но больше я ничего не помню, так как очнулся уже на койке, ночью, со страшной температурой. Вся внутренняя слизистая оболочка, начиная с губ, покрылась каким-то желтым налетом. Это была «маньчжурка» — разновидность брюшного тифа, которая унесла на тот свет немало наших людей. Я заразился ею в самом госпитале, вероятно через тех же мух.

Наша большая фанза была разделена проходом на две половины: левая — хирургическая, а правая — терапевтическая, или, как ее прозвали в шутку, палата «презренных». В нее-то я теперь и попал. Сестры ее избегали: больно много было с нами хлопот, да и смертные случаи доставляли неприятности. Нас и начальство редко посещало.

Едва я стал оправляться от третьего по счету приступа «маньчжурки», как весь наш госпиталь пришел в необычайное волнение: было получено известие о приезде Куропаткина. Как когда-то в академической аудитории, Куропаткин спокойно, неторопливо задавал вопросы офицерам, а следовавший за ним адъютант передавал каждому очередную боевую награду — то красный темляк на шашку, то маленькую красную коробочку с орденом Станислава или Анны; Энгельгардт тоже получил такую коробочку и сиял.

Со мной как с офицером своего штаба Куропаткин поделился даже новостями с фронта, рассказав про героическое поведение барнаульцев из 4-го Сибирского корпуса, отбивших ряд повторных японских атак под Ташичао. Подобными отдельными геройскими подвигами Куропаткин неизменно, до самого конца войны, как бы утешал и себя и других за крупные неудачи. Узнав, что я томлюсь от безделья и невозможности выписаться из госпиталя, Куропаткин спросил старшего врача, не смог ли бы я заняться цензурой телеграмм иностранных военных корреспондентов.

— Очень они уж на нас в претензии за то, что мы подолгу задерживаем переписку в цензуре. Пусть они явятся завтра к вам, — закончил Куропаткин. — А вы уж как-нибудь их успокойте!

Госпиталь отстоял от вокзала версты за три, грязь была невылазная, и я предвидел, что путешествие ко мне в гости на рикшах не представит для иностранцев особого удовольствия. Но ничто, как оказалось, не может остановить газетного репортера, как ничто не может погасить его пылкого воображения. Я рано перестал верить газетным сведениям вообще, а «новостям» с театра военных действий, помещаемым в прессе, в особенности.

Не надо было ездить в Нью-Йорк, чтобы понять сущность газетной школы. Ради сенсации американцы готовы были составлять самые нелепые телеграммы.

Не надо было ехать в Париж, чтобы убедиться, с каким апломбом не только французские депутаты, но даже газетные репортеры могут рассуждать о военных вопросах. Мои тогдашние «друзья» Рекули и Нодо считали себя такими военными специалистами, что спорить с ними мне, русскому генштабисту, не приходилось.

Много пришлось вычеркнуть красным карандашом из повествований об объятых пламенем вокзалах, об удручающей деморализации наших войск, о стратегических замыслах Куропаткина. Все это сопровождалось у французских корреспондентов даже мудрыми советами и добрыми пожеланиями. Ведь они были тогда нашими союзниками! Правильно освещал события только представитель газеты «Локаль Анцейгер». Толковые, сдержанные телеграммы этого отставного офицера я пропускал всегда почти без помарок.

Скучно лежать в госпитале, и люди хватаются за всякие мелочи, чтобы внести какое-нибудь разнообразие в повседневный, строго установленный распорядок жизни. Какова же была сенсация в нашей палате, когда рано утром ко мне пропустили маленького китайца-боя, вручившего записочку от ляоянского почтмейстера:

«Сегодня ночью через наш аппарат была передана командующему армией телеграмма о рождении наследника престола цесаревича Алексея».

Все давно привыкли узнавать только о рождении в царской семье дочерей — последовательно их было четыре — и, естественно, давно отказались от мысли о возможности рождения у царицы сына. Однако записка не могла быть шуткой, так как почтмейстер, старый подчиненный моего отца в Иркутске, послал мне ее, повидимому, исключительно из особого ко мне доверия и внимания. Я сообщил сестре о новости.

— Что вы, что вы! Шутите! — ответила она. — Ну, если уж вы уверяете меня, то скажите, как его назвали?

— Алексей.

— Как вам не совестно! Цари иначе как Александрами и Николаями называться не могут.

Сделав вид, что она не верит мне, сестра все же побежала разносить эту новость по всему госпиталю.

К вечеру, ловко маневрируя на костылях, мы все отправились на молебен в походную церковь, где благообразный батюшка, вполне соответствовавший благообразному характеру всей Георгиевской общины Красного креста, провозгласил «благоденствие и мирное житие, на враги же победы и одоления, государю наследнику и великому князю Алексею Николаевичу...» Сообщение почтмейстера оказалось верным.

Через несколько дней мне удалось, наконец, бросить костыли, скинуть больничный халат и выехать с первым отходящим поездом в штаб армии, расположенный в вагонах на станции Ай-сан-дзян.

Как бы фантастичны ни были телеграммы корреспондентов, все же становилось ясным, что мы непрерывно отступаем и что так называемые «решительные» сражения то у Ташичао, то у Хайчена, то у Ай-сан-дзяна являлись по существу только арьергардными боями, в которых мы, по выражению Куропаткина, «учились воевать». Чувствовалось общее напряженное ожидание решительного боя под Ляояном, я боялся опоздать.

Нетерпение мое, однако, охладил начальник штаба генерал Сахаров. Он заметил меня из окна вагона в ту минуту, когда я шел являться Харкевичу, подозвал меня и сказал, что пользоваться услугами «привидений» он не собирается и приказывает мне немедленно вернуться в Ляоян и поправиться. Три приступа «маньчжурки» сделали свое дело, и действительно знакомые стали плохо меня узнавать. Пришлось подчиниться и, вернувшись

в Ляоян, терпеливо ждать долгожданного генерального сражения.

В начале августа в Ляояне текла еще мирная тыловая жизнь. Офицеры управления дежурного генерала продолжали составлять списки убитых и награжденных, а интенданты любовались великолепными складами заготовленного продовольствия. По указанию нашего доморощенного Вобана — полковника Величко, гурты монгольского скота мяли гаолян перед свежевырытыми, но наполовину уже залитыми дождевой водой ляоянскими укреплениями.

Глава шестая

ЛЯОЯН

Ночь с 16 на 17 августа я провел в Ляояне, в давно опустевшем доме иностранных военных агентов. В пять часов утра меня разбудил грохот артиллерийской канонады, подобной которой я еще никогда не слыхал.

«Началось!» — подумал я, вскочил и побежал помогать Павлюку седлать наших коней.

Началось то, чего все, от генерала до солдата, ждали долгие месяцы с болью в сердце — и с глухим сознанием какой-то несправедливости отступали по приказанию начальства даже там, где противник был успешно отбит стройными залпами и могучим штыком наших сибиряков.

У сереньких домиков, где располагались бесчисленные управления, отделы и отделения штаба армии, с озабоченным и деловым видом хлопотали вооруженные шашками и револьверами почтовые чиновники с желтыми кантами, казначейские с голубыми кантами, интендантские с красными кантами. Они грузили на китайские арбы запыленные и пожелтевшие «дела». Сражение едва началось, а тылы уже начали собирать пожитки. Настроение мое еще более омрачилось, когда я ознакомился с диспозицией, разосланной войскам, и заметил, что документ этот был уже заменен вторым изданием. На втором издании было приписано: «на перемену». Вспомнилась французская поговорка: «Ordre et contre-ordre — désordre» («Приказ и перемена ведут к беспорядку»).

Оба варианта диспозиции ставили, впрочем, одну и ту же основную и не совсем понятную задачу, а именно:

не разбить, не отбросить японцев и даже не обороняться, а только — «дать отпор». Таких выражений нам в академии употреблять в приказах не полагалось.

Правда, в дальнейшем передовым корпусам приказывалось оборонять назначенные для них позиции, но промежутки между последними предписывалось только охранять.

Как будто приказ сам намечал для японцев направление для их удара между 1-м и 3-м Сибирскими корпусами, который они действительно и произвели.

Мне как кавалеристу особенно бросился в глаза пункт диспозиции, касавшийся конницы: генералу Самсонову было приказано только «стать» у одной из деревень на правом фланге Штакельберга, а генералу Мищенко — с началом боя даже «отойти», неизвестно почему. Казалось утешительным, что для парирования случайностей в резерве было сосредоточено целых три корпуса.

Куропаткин считал это накопление резервов в своих руках величайшим достижением; да и мы все, впрочем, были насквозь проникнуты устаревшей наполеоновской доктриной и намеревались разыгрывать сражение по запечатлевшимся в наших мозгах схемам побед, одержанных этим великим полководцем.

Вся равнина к западу от железной дороги представляла собой сплошной светлозеленый гаоляновый океан, скрывавший не только пеших, но и всадников. Найти в этом океане потонувшие в нем деревни, разобраться, какая из них Сибали-чжуан, какая Сили-чжуан, а какая Саньма-чжуан, а тем более разыскать многочисленные наши полки, батареи и сотни — было нелегко.

Резко выделялась высокая гора Маетунь, расположенная в пяти-шести верстах к югу от города и видная как на ладони. Сколько раз я ею любовался еще зимой из окна моего домика. Такие горы, напоминавшие сахарную голову светлокоричневого тона, я в детстве видел на китайских вазах, украшавших гостиную моей матери в Иркутске. В этот памятный день гора была одета в белое облако шрапнельных разрывов. Все уже знали, что она в надежных руках 1-го Сибирского корпуса.

Влево от Маетуня тянулась более низкая цепь гор, прерывавшаяся к востоку долиной Тайдзыхе. Там и далее влево располагались испытанные в боях полки 3-го

Сибирского корпуса и недавно прибывший из Киева 10-й армейский корпус.

Одни уже названия входивших в него старинных полков — Орловский, Брянский, Пензенский, Козловский, Тамбовский и Елецкий — воскрешали память о славных традициях русской пехоты.

Наши ляоянские укрепления были расположены на равнине между городом и горой Маетунь, с которой японцы могли, впрочем, не только их разглядывать, но и громить артиллерией. Сами же горы, на которых пришлось драться, укреплены не были.

Еще весной, когда только собирались строить ляоянские укрепления, я завел о них спор с составителем проекта, полковником Величко. Он считался высоким авторитетом среди военных инженеров и даже жил в поезде Куропаткина. Но Величко дал мне понять, что нам, генштабистам, не постичь мудрости инженерного искусства. К укреплениям полковника Величко Куропаткин и выехал 17 августа, чтобы лично «руководить» боем. Но никакого боя оттуда не было видно, и ничем руководить нельзя было: даже телефона к командному пункту не провели. Гонцы же с боевых линий не были осведомлены о выезде командующего из ставки и продолжали доставлять донесения в Ляоян!..

Погода портилась, накрапывал мелкий дождик. Я сидел на ступеньке форта № 4 и ждал, ждал терпеливо, безропотно, не входя в рассуждения о происходящем! Ждать в тылу, ждать под огнем! Не так я себе представлял войну! Надо было навсегда забыть о скачущих ординарцах, о несущихся в атаку эскадронах, о непрерывном движении всего окружающего тебя. Невозмутимый Куропаткин в сером генерал-адъютантском пальто, спокойным, профессорским тоном непрерывно диктовавший приказания, олицетворял собой эту мучительную неподвижность.

Вдруг я услышал свою фамилию. Харкевич приказывал мне поехать во 2-й Сибирский корпус и предложить генералу Алексееву перейти со своим резервом на три-четыре версты вправо.

Но 2-м Сибирским корпусом, насколько я знал, командовал генерал Засулич. Почему же мне надо обратиться к Алексееву? Оказалось, Засулич получил уже новое

назначение. Так и есть! В разгаре боя началась чехарда с начальниками!

Впрочем, поездка к Алексееву раскрывала мне еще кое-что: его корпус не переставали растаскивать по частям: с утра несколько батальонов уже были посланы Куропаткиным на поддержку 3-го Сибирского корпуса Иванова; только что он отправил два батальона на поддержку 1-го Сибирского корпуса Штакельберга, а тут еще и я прискакал... Вся красивая первоначальная наполеоновская диспозиция разлетелась впрах, резервы таяли, а «управление» свелось к перемешиванию частей.

Не успел я вернуться к Харкевичу, как получил новое приказание — ехать на правый фланг Штакельберга, найти там начальника боевого участка полковника Леша и сообщить ему о подходе к нему — не дальше как через час — барнаульцев.

Зная о геройстве 1-го Сибирского корпуса под Вафангоу и видя его в облаках шрапнельных разрывов, я был счастлив привезти ему хорошую весть. Через несколько минут я уже подскакал к подножию горы и, оставив Павлюка с лошадьми под прикрытием железнодорожной насыпи, пошел по тропинке в южном направлении.

К насыпи жались раненые, главным образом — артиллеристы. Навстречу, почти непрерывной цепью, шли раненые стрелки, мрачные, молчаливые.

Слева у подножья горы виднелись наши батареи, вокруг которых вздымались черные клубы дыма японских шимоз.

Совсем неподалеку от насыпи скрыто расположилась какая-то наша батарея, стрелявшая уже не в южном, а в западном направлении, — против обошедших нас японцев. В первые минуты было трудно отличить звуки разрыва шимоз от выстрелов наших собственных орудий. Но, подойдя к батарее вплотную, я должен был приоткрыть рот, чтобы защитить уши от резких, сухих выстрелов. Шимозы рвались глухо и действовали главным образом на настроение.

Вскоре я увидел шедшего навстречу дородного, бодрого полковника. Я сразу почему-то понял, что это и есть наш герой Леш.

Вся внешность Леша дышала здоровьем и спокойствием. Загорелый, потный, он шел мне навстречу в распахнутой косоворотке желто-зеленого цвета. От солдат

отличали его только золотые погоны с малиновым просветом. На ходу он отдавал приказания шедшим за ним двум унтер-офицерам и был так этим поглощен, что мне казалось даже неловким помешать ему. Но, выслушав мой рапорт, Леш просиял.

Присев на насыпь, он попросил доложить командующему армией о тяжелом положении его участка, уже обойденного японцами, которые поражали его батареи фланговым артиллерийским огнем.

— В артиллерии ведь не осталось ни одного офицера, и мы просили прислать их нам из других дивизий. Нас так подвел Мищенко! Отступил и даже не известил, а у меня в резерве больше нет ни одной роты! Слышите, как пулеметы трещат? Это мои герои вместе с пограничниками уже десятую атаку отбивают. Хороши тоже ваши инженеры, черт бы их побрал, — ни одного окопа на горе не вырыли, а за ночь в этой скале разве можно было что-нибудь построить? Доложите, пожалуйста, что гору мы удержим, но обхода нам отразить нечем. Поезжайте, поторопите, голубчик, барнаульцев! Пусть так вот прямо и наступают по ту сторону железной дороги.

Барнаульцев подгонять не пришлось. По непролазной грязи этот полк, составленный почти целиком из старых запасных, умудрился пройти за какие-нибудь полтора часа около девяти верст. Все в этот памятный день спешили на выручку друг другу.

Когда я подъехал к деревне Юцзячжуанзы, — на половине расстояния между Маетунем и Ляояном, по ту сторону железной дороги, — она была уже набита до отказа барнаульцами, их передовые роты густыми цепями входили в окружавший деревню густой гаолян. За околицей слышались крики, — то артиллеристы при помощи пехоты старались вытянуть орудия, застрявшие в трясине. Другая батарея сумела сняться с передков, и орудия, глубоко уйдя хоботами в грязь, уже открыли огонь по необъятной площади гаоляновых засевов и по невидимому, вероятно, противнику. Патронов не жалели.

Наши войска по всей линии дрались с беззаветной храбростью. Начальник 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генерал Данилов поражал всех своим безразличным отношением к японским пулям и снарядам, буквально осыпавшим его позиции.

— Что? Что вы говорите? — переспрашивал он, когда, обращая его внимание на свист пуль, ему советовали сойти с гребня. — Я ничего не слышу, — неизменно отвечал Данилов. Он и действительно был туговат на ухо.

Артиллерия, несмотря на явное численное превосходство японской, соперничала в мужестве с пехотой. Командир 3-й батареи 6-й Восточно-Сибирской артиллерийской бригады подполковник Покотилов, хотя и заметил, что японцы скопились в лощине с нескошенным гаоляном в четырехстах шагах от наших слабых на этом участке стрелковых цепей, — с закрытой позиции не мог отбить атаку: впереди было большое мертвое пространство. Тогда он приказал выкатить орудия на самый гребень. Но из-за сильного ружейного огня половина орудийной прислуги выбыла из строя, и батарею пришлось снова убрать за гребень.

Тогда Данилов приказал выкатить на гребень хоть одно орудие. Но в эту минуту Покотилов был убит. Заменивший его офицер пал вслед за ним. Последним оставшимся в батарее орудием стал командовать фейерверкер Андрей Петров, продолжавший поражать японскую пехоту в упор. Она уже не смела тронуться!

— Патронов! Давай патронов! — кричал фейерверкер Петров генералу Данилову.

Стемнело. Канонада стихла. Пошел проливной дождь. Командующий вернулся в Ляоян.

А в штабе все писали и переписывали бесчисленные распоряжения по наводке мостов на Тайдзыхе, по охране их, по отправке в тыл обозов, по срочному пополнению боеприпасами. Подобного расхода их никто не ожидал. Приоткрывалась еще одна сторона войны.

Бой развивался с успехом для нас.

Но кому могло прийти в голову, что ночью Куропаткин отзовет назад только что высланные им подкрепления?

Выехав с рассветом снова на правый фланг 1-го корпуса, я прежде всего рассчитывал найти барнаульцев на старом месте, у деревни Юцзячжуанзы. Утро было солнечное, настроение бодрое, и я даже не придал значения тому, что, двигаясь вдоль железной дороги, никого не встречаю. «Наверное, — думал я, — наши бородачи

успели за ночь продвинуться вперед». Я даже рассердился на Павлюка, уверявшего, что вокруг щелкают пули. Подъехав на рысях совсем близко к деревне, Павлюк внезапно крикнул:

— Да куда же вы едете? Это японцы!

Мы бросились влево, перескочили через железнодорожную насыпь и оказались среди наших солдат с белыми околышами. Это были красноярцы.

— Мы же вам, ваше благородие, давно махали! — наперерыв кричали они.

«Счастливо выскочил!» — подумал я.

Командиром полка оказался не старый еще полковник Редько. Я стал упрекать его за то, что он оставил деревню и даже ушел за линию железной дороги. Оказалось, он не был виноват. Барнаульцам дали приказ отступать, и они ушли со своими батареями куда-то на север, а красноярцам, прибывшим из общего резерва, тоже было приказано сперва отойти, а потом остаться. Не зная, что же именно делать и куда идти, они решили заночевать в «мертвом пространстве» за железнодорожным полотном.

— Штабу армии неизвестно оставление вами Юцзячжуанзы. Генерал Куропаткин послал меня с приказанием обеспечить во что бы то ни стало правый фланг 1-го корпуса. Необходимо прежде всего вернуть Юцзячжуанзы, — доложил я полковнику Редько.

Престиж командующего, поколебленный после долгих отступлений, был в этот боевой день настолько высок, что одного упоминания о нем оказалось достаточно, и через несколько минут весь 1-й батальон как один человек выскочил на железнодорожную насыпь.

— Ура! Ура! — и густые цепи сибиряков мигом ворвались в деревню.

Японцы куда-то бесследно исчезли.

Послав с Павлюком донесение Харкевичу о положении дела, мы с полковником Редько занялись приведением деревни в оборонительное состояние и рытьем окопов. Из окружающего гаолянового моря доносилась ружейная трескотня, и как мне ни хотелось вывести весь полк из-за насыпи и продвинуться в южном направлении, Редько на это не решался, боясь оторваться от Леша.

Павлюк вернулся от Харкевича с приказанием мне остаться при Красноярском полку.

Японцы, повидимому, были недовольны потерей Юцзячжуанзы, и над нами стали рваться их шрапнели. В ушах звенело от резких выстрелов двух наших батарей, тоже открывших огонь.

Слева от нас, на равнине, у самого подножья Маетуня, стоял настоящий ад от разрывов то шимоз, то шрапнелей. Там, казалось, нельзя было найти живого места.

Мы укрылись за насыпью, к которой прижались и стрелки. Повидимому, японцы перенесли огонь и решили держать железнодорожную насыпь под непрерывным обстрелом.

Снова пришлось чего-то ждать. Приказания все были отданы, и разговор с Редько перешел на житейские темы.

— Вот вы говорите, что кончили когда-то Иркутское юнкерское училище. А в каком это было году? А не помните ли вы командующего округом? — спросил я, назвав фамилию моего отца.

— Ну, как же, как же! Он часто заезжал к нам в училище. Мы даже танцевали у него на балах. Веселые были времена.

В эту минуту в нескольких шагах от нас почти у самой земли разорвалась японская шрапнель. Она пришлась как раз над одним из взводов красноярцев. Несмотря на предупреждение прижаться к насыпи, он продолжал лежать открыто, то есть так, как предписывал устав для ротной поддержки. А мы-то его и не заметили. Белое облачко быстро рассеялось. Большинство людей взвода осталось лежать навеки...

Нестерпимо душный день закончился страшной грозой. Как будто само небо решило затушить жаркий бой потоками воды и заглушить грозными раскатами грома не смолкавшую уже второй день орудийную канонаду.

Промокнув до костей, стоял я снова у форта № 4, где собрались все генштабисты штаба Куропаткина. Харкевич, не приводя причины отхода корпусов первой линии на правый берег Тайдзыхе, объяснял нам обязанности комендантов над переправами. Я был назначен на понтонный мост, крайний с правого фланга; по нему должен был переправиться 10-й армейский корпус Случевского.

— Главное, чтобы все части и обозы переправились на правый берег до рассвета, — подчеркнул Харкевич.

Я остолбенел. Зачем бросать позиции, облитые кровью наших стрелков, не уступивших за двое суток ни пяди земли, не отдавших японцам ни одного окопа? Сам же я был свидетелем того, как к вечеру стал стихать даже артиллерийский огонь японцев!

В недоумении я успел перед отъездом подойти к полковнику Сиверсу и осторожно спросить, что случилось.

— Это для сокращения фронта. Ляоян будем оборонять на главной позиции. Пришло донесение, что Куроки переходит на правый берег, — объяснил он мне.

До самого конца войны в нашей армии держалась упорная легенда о том, что японский главнокомандующий маршал Ойяма в этот самый вечер собрал военный совет, на котором присутствовали все три командующих армиями: Оку, Нодзу и Куроки. Японским обозам второго разряда был уже отдан приказ отойти на один переход к югу. Оку и Нодзу заявили о невозможности продолжать наступление вследствие громадных потерь войск и недостатка в артиллерийских снарядах. Но Куроки просил их только удержаться на следующий день перед нашими позициями, так как сам намеревался переправляться на правый берег Сайдзыхе и выйти на сообщения Куропаткина. С его наблюдательного поста на правом берегу были отчетливо видны наши поезда, отходящие на север.

Когда я подъехал к реке, она вздулась от дождей и ее желтые воды неслись с необычайной быстротой. Сразу, однако, стало ясно, что переправа в надежных руках: наши саперы мост построили, как на картинке. Ждать пришлось недолго. В сумерках показались парки и обозы 10-го корпуса, а за ними в стройных походных колоннах и войска. Все были сумрачны и молчаливы, но шли хорошо, и делать замечаний о растяжке колонны не приходилось. Диспозиция командующего армией об отходе с передовых позиций выполнялась с точностью часового механизма.

Ночь пролетела как один миг, и, когда стало светать, по ровному дощатому настилу моста прошел последний солдат 10-го корпуса, ведя за собой маленького серого ослика.

Стихла канонада. Опустели ляоянские площади. Поезд командующего ушел куда-то на север. Только на вокзале царило оживление, — отправлялись последние санитарные поезда с бесчисленными ранеными.

Казалось, сражение кончилось.

Павлюк кормил коней. Я прилег на железную кровать, оставленную в опустевшем доме иностранных агентов.

Вдруг раздался близкий разрыв снаряда и женский вопль. Я выскочил на улицу. Солдаты поднимали окровавленное тело сестры милосердия. Японская шимоза оторвала ей обе ноги. Началась бомбардировка Ляояна.

— Игнатьев, мы здесь! — окликнул меня мой старинный коллега по генеральному штабу полковник Сергей Петрович Ильинский.

Сергей Петрович, кабинетный работник, балетоман и сибарит, приехал на войну с целью писать ее историю и потому был назначен начальником так называемого «отчетного отделения», в котором собирались все документы, поступавшие в штаб армии.

Сейчас Ильинский лежал на траве и ел.

— Что поделаешь... Столовая с попами, как ты знаешь, третий день как скрылась, и я доедаю последнюю банку консервов.

— А где же остальные коллеги? — спросил я.

— Они весь день разрабатывают диспозицию, а свита Куропаткина — вон там, в палатке.

«Совсем как на маневрах в Красном Селе», — подумал я, взглянув на недоступную для нас большую палатку-столовую, около которой на пылающих кострах повара готовили ужин для ближайшего окружения Куропаткина. С пустым желудком улегся я на зеленой чумизе.

Ночь была темная, душная, зловещая.

Из беседы с Сергеем Петровичем я узнал, что оборона Ляояна на левом берегу возложена на командира 4-го Сибирского корпуса Зарубаева — надежного старика, а на правом берегу начнется новое сражение.

— Сегодня собираться, завтра сближаться, послезавтра, двадцать первого, атаковать, — как определяет командующий характер операций, — добавил Ильинский. — Но что из этого получится — мне неясно.

Рано утром началось пресловутое сближение. Куропаткин со свитой стал объезжать войска, а мы с Харкевичем, задержавшись для рассылки последних приказаний, двинулись в путь около полудня. Кавалькада неслась по каким-то узким проселочным дорогам, карта давно кончилась, всякая ориентировка среди зарослей гаоляна была потеряна. Рядом со мной трясся на маленьком темносером монгольском муштанчике толстый Сергей Петрович; он обливался потом и непрерывно ворчал. Харкевич же сиял и, переведя коней в шаг, торжественно заявил:

— Ну, поздравляю вас, господа, это уже не бой, а «сражение».

У какой-то деревни, верстах в пятнадцати к северу от Ляояна, мы встретили командующего. Он, спешившись, беседовал со Штакельбергом.

Свита держалась на почтительном отдалении, и только дежурный адъютант выкрикивал по очереди фамилии генштабистов, посылаемых с поручениями. У глинобитной стенки деревни стоял никому из окружающих не знакомый высокий капитан с маленькой бородкой клином и что-то усердно писал в полевой книжке. В капитане я узнал своего коллегу по академии Довбор-Мусницкого. С начала войны он служил в штабе 1-го Сибирского корпуса. Это была моя первая встреча на поле сражения с будущим командующим польской армией.

В академии Довбор слыл всезнайкой. Когда задавали вопрос о глубине рвов какой-нибудь средневековой крепости, каждый неизменно советовал обратиться за справкой к Довбору. Естественно, я стал забрасывать его вопросами.

— Это Лилиенгоу, — объяснил он мне. — Мы сами выехали вперед, чтобы как-нибудь разобраться в обстановке. Вон там, впереди, Янтайские копи. Мы должны будем поддержать дивизию Орлова. Она только что прибыла из России.

— Да, но кто же находится между вами и семнадцатым корпусом Бильдерлинга? Он занимает высоты у Тайдзыхе?

— Должно быть, Мищенко, — неуверенно отвечал Довбор.

— Ну, назови, бога ради, хоть деревни!

И на белом окне четырехверстной карты я успел нанести два-три названия ближайших деревень.

Это мне очень пригодилось, так как почти тут же я услышал окрик:

— Капитана графа Игнатьева к командующему армией!

— Здравствуйте, милый Игнатьев, — по обыкновению неторопливо сказал Куропаткин.

— Здравия желаю, ваше высокопревосходительство!

— Поезжайте к Случевскому и убедите его продвинуться вперед на одну высоту с Бильдерлингом. Проезжайте вдоль фронта. По дороге выясняйте положения встречных частей и доносите мне. Возьмите из моего конвоя несколько казачков.

Несмотря на профессорский тон Куропаткина, я почувствовал, что он чем-то встревожен.

Въехав со своим разъездом в гаолян, я взял направление на восток, в сторону противника, но долго никого не встречал.

Внезапно о толстые стволы гаоляна защелкали пули.

— Свои, свои! — закричал Павлюк.

Но пули продолжали щелкать.

— Да кто вы такие? — в свою очередь крикнул я.

— Зарайцы!

Решив, что забрал слишком влево, я свернул в сторону. Не проехали мы и версты, как снова были встречены ружейным огнем, на этот раз уже с противоположной стороны. Павлюк немедленно бросился вперед, и я услышал его крепкую ругань.

— Волховские, ваше благородие! Ночью наш полк совсем разбили. Вот мы и пробиваемся к своим... — раздались разрозненные голоса.

Куда к своим — они объяснить не могли. Творилось что-то явно неладное, ориентироваться в необъятном зеленом лесу приходилось только по солнцу. Совершенно неожиданно для себя я нашел в конце концов части 10-го корпуса Случевского — далеко позади от общей линии фронта.

Штаб корпуса расположился в какой-то большой деревне, заполненной пехотой. Жара была нестерпимая. Солдаты в тяжелых смазных сапогах, нагруженные вещевыми мешками и скатками, с трудом передвигали ноги, умирая от жажды.

Колодцы были давно пусты, и люди лизали подле них черную грязь.

Другие, в полной апатии, дремали под палящим солнцем; им, казалось, было безразлично все окружающее.

Не верилось, что это те самые полки, которые я переправлял через Тайдзыхе. Кто и чем умудрился их так измотать? Какими дорогами и какими направлениями водили их по неведомой местности, без карты, в этом проклятом гаоляне?

Командир корпуса, болезненный Случевский, спал. Меня принял его начальник штаба, молодой и бравый кавалерийский генерал Цуриков. Он показал мне две-три записки от Куропаткина и столько же от Бильдерлинга. Они противоречили друг другу, и Цуриков возмущался: он не знал, кого слушаться.

— Ваше превосходительство, — доложил я, — впереди вас никаких частей нет. Вам необходимо двинуться вперед или хотя бы выслать сильный авангард.

— Да что вы! Разве вы не видите, в какое состояние приведены войска?! Мне некого выслать даже в сторожевое охранение!

Возвращаясь, я не без труда нашел Куропаткина, расположившегося, как на островке среди моря, на каком-то пригорке; обо всем доложил и от страшной головной боли отошел и прилег в гаолян.

— Это ничего, солнечный удар, к заходу солнца пройдет, — успокаивал меня кто-то.

Казаки ловко связали надо мной несколько стволов гаоляна, чтобы защитить меня от солнца.

Когда я очнулся, день склонялся к вечеру, и солнце ярко осветило лежащие перед нами японские позиции. К ним были устремлены взоры всех окружающих, и сам Куропаткин продолжал беспрестанно смотреть в подзорную трубу туда, где виднелись белые облачка японских шрапнелей и где кончалась железнодорожная ветка на Янтайские копи.

Но покуда Куропаткин, вмешавшись в дела Бильдерлинга, готовил контратаку на какую-то потерянную накануне сопку, пришло известие о полном разгроме на нашем крайнем левом фланге отряда Орлова, моего бывшего академического профессора тактики. Его дивизия заблудилась в гаоляне и в панике бежала. Особенным

позором покрыли себя какие-то бузулукцы. Вместе с солдатами бежали и офицеры. Никто не мог их остановить. Сам Куропаткин продолжал, однако, казаться невозмутимым и, как сказал мне Сиверс, готовил на завтра переход в общее наступление. Под впечатлением виденного утром можно было усомниться в будущем успехе.

Настроение стало еще более мрачным, когда при последних лучах заходящего солнца мне пришлось забраться на самую вершину высоты сто пятьдесят один. Оттуда был виден как на ладони весь низменный берег Тайдзыхе. Наш милый, ставший уже родным Ляоян был застлан густым дымом от пылающих складов. Вокзал горел, а вокруг города, в наступавшей темноте, со всех сторон блистали вспышки орудийных выстрелов. Мысленно представились мне доблестные защитники ляоянских укреплений — бородачи-сибиряки 4-го корпуса во главе с их командиром стариком Зарубаевым. Его любили все от мала до велика за его простоту и доступность.

Куропаткина я увидел только рано утром, когда он вышел из своей фанзы и среди гробового молчания окружающих сел на лошадь и тихо двинулся со своей свитой на север, в тыл!

Участь Ляояна была решена...

Началась новая работа: составлялись приказания об отходе всех корпусов и отрядов на Мукден. На четырехверстной маршрутной сводке показана была только железная дорога и шедшая параллельно с ней Мандаринская. Но отход надлежало произвести по всем правилам военного искусства, направив каждый корпус по особой дороге. Не знаю, попали ли в историю составленные нами маршруты, но, к счастью, никто по ним не пошел. Подавленные и мрачные, мы уже оставили почти без внимания поступившие за ночь сведения о кровопролитной, но неудачной атаке войсками Бильдерлинга «Нежинской» сопки. Полки так перемешались в ночной тьме, что стреляли и кололи друг друга. Подобно тому как у Орлова вся вина сваливалась на бузулукцев, так у Бильдерлинга «главным виновником» оказались чембарцы.

На правом берегу японцы молчали, и только с юга, от Ляояна, доносились звуки канонады.

Возвращаясь в этот день в главную квартиру, я встретил на переезде через Янтайскую железнодорожную ветку полковника генерального штаба Нечволодова.

Пригласив меня слезть с коня и отойти от вестовых, он сел на железнодорожное полотно и, с трудом сдерживая волнение, сказал:

— Слушайте, Игнатьев. Неужели вы не видите, что Куропаткин сошел с ума и, медля с отступлением, губит нас? Видите эти высоты на севере? Завтра их займут японцы, и мы будем окружены. Я уже послал телеграмму вдовствующей императрице в Петербург и предлагаю вам сопровождать меня в японские линии с белым парламентерским флагом. Я лично знаком с Ойямой, и мы сумеем выговорить перемирие и отступление наших армий даже с оружием в руках. Иначе мы погибли.

Все мои слова о том, что он преувеличивает опасность, оставались тщетными. Мой малый капитанский чин и возраст не придавали авторитета моим доводам. Мы расстались почти врагами, так как я предупредил Нечволодова, что считаю долгом доложить о нашем разговоре Харкевичу.

Как-то уже зимой Сахаров вызвал меня к себе в вагон, запер в купе и под большим секретом передал мне для составления заключения «дело полковника Нечволодова». Последний уже был произведен в генералы и, по должности генерал-квартирмейстера штаба тыла в Хабаровске, скрепил своей подписью какую-то бумагу в штаб главнокомандующего. На ней синим карандашом стояла пометка Куропаткина: «Нач. штаба. Прошу доложить. Как же это так? Мы же считали его под Ляояном сумасшедшим...»

Сражение кончилось. Серым дождливым утром, по непролазной грязи, Куропаткин ехал шагом вдоль Мандаринской дороги на север, обгоняя сплошной людской поток. Здороваться было не с кем, так как не только полки, но и корпуса давно перемешались и всякий старался добраться до Мандаринской дороги, не обращая внимания на составленные нами маршруты. От этого колонна постепенно ширилась, потом движение стало замедляться, и Куропаткину со свитой пришлось пробиваться через море двуколок, тяжелых парковых упряжек и китайских арб. Дорога пересекалась ручьем, обратившимся в желтый, бурный поток. На противоположном берегу высилась сплошная стена желто-серого цвета,

окружавшая большое селение Шилихе. Переправлявшиеся вброд обозы и войска ждали очереди, чтобы пройти через единственные старинные сводчатые ворота в стене.

— Игнатьев, назначаю вас комендантом над этой переправой. Постарайтесь навести порядок и действуйте от моего имени, — внушительно сказал командующий и, пришпорив коня, заставил его спуститься в желтый поток. Вся свита последовала за ним, и я остался на берегу один с Павлюком.

Прежде всего мне показалось необходимым распределить отступающие обозы и полки по корпусам, а для этого сделать еще по крайней мере два пролома в городской стене. На счастье, тут же подвернулась саперная рота, которая и принялась энергично за эту работу. Я чувствовал, что всякая задержка может привести к катастрофе, и наводил, как мог, порядок, беспрерывно переезжая на Ваське с одного берега на другой. Я пробовал задержать каких-нибудь офицеров, чтобы они помогли мне распределять обозы, но все они боялись оторваться от своих частей, а штабы куда-то исчезли.

Наконец, после полудня ко мне приветливо обратился какой-то полковник, оказавшийся командиром Псковского полка Грулевым, бывшим генштабистом. Вероятно, оценив обстановку, он предложил мне помочь, оставив в мое распоряжение часть своих людей. Только в эту минуту я заметил, что окончательно охрип.

Посреди ручья застряла громадная крытая четырехколесная госпитальная фура, из которой виднелись белые косынки сестер милосердия.

Когда стало темнеть, сзади послышались сперва отчаянные крики, а потом и грохот колес. То отступал на рысях тяжелый артиллерийский дивизион, пробивая себе дорогу среди двуколок и разбегавшихся во все стороны людей.

— Куда вы? — закричал я на бравого усатого полковника, приостановившего передо мной своего сытого жеребца. — Впереди должны пройти обозы, а потом только войска! — доказывал я, забыв уже всякое чинопочитание.

Но полковник не смутился и грубо ответил:

— Какое мне дело до ваших паршивых обозов? Орудия важнее.

— Вот именно орудиями и надо прикрыть отступление. Смотрите, — сказал я, смягчая тон, — какая тут

чудная позиция для вас! — и указал на выделявшуюся в сумраке, справа от дороги, небольшую отлогую высоту. — Я и пехотное прикрытие вам дам.

Полковник соблазнился.

Последние колонны прошли лишь к полуночи, и, потеряв всякую связь со своим штабом, я разыскивал его в кромешной тьме, выслушивая попреки Павлюка, раздраженного полным истощением наших коней.

После долгих споров мы решили двигаться на первый попавшийся огонек, но, подъехав к нему, нашли лишь солдатскую палатку. В ней сидели три бородача-артиллериста — повидимому из запасных, — которые ничего путного нам сказать не могли. С наступлением темноты, давно оторвавшись от своего артиллерийского парка, они решили выпрячь измученных коней и «почаевать» в ожидании рассвета. Рассказав нам про свои злоключения, они ни за что не хотели нас отпустить.

— В горе — все братья, ваше благородие. Вы нас обидите, если откажетесь от чая. У нас ведь все равно последние сухари, а до Мукдена, говорят, еще далеко.

Грызя черный сухарь, с трудом размачивая его в горячей мутной жидкости, я подумал о недоступной для нас роскошной палатке Куропаткина.

Через день, выспавшись в Мукдене, я вспомнил, что́ пережил за последние пять дней, и побежал на почту, чтобы задержать дневник, который я ежедневно посылал отцу вместо письма в Россию. Мне стало ясно, что написанного мною, конечно, не поймут те, кто не глотал слез стыда и обиды за первое тяжелое поражение.

Глава седьмая

ШАХЭ

— Ваши войска необыкновенны! — сказал мне встреченный на мукденском вокзале германский военный агент полковник Лауэнштейн. — Как будто они и не дрались! Одни русские способны так быстро восстановить порядок!

Вероятно, на основании подобных впечатлений вся иностранная пресса рассыпалась в комплиментах по нашему адресу за «отступление в образцовом порядке».

Армия отступила к Мукдену и расположилась вокруг маньчжурской столицы. Дымились походные кухни, откуда-то доносились звуки гармошки. Перед вечерней зарей все стихало, и священные китайские рощи с могилами императоров оглашались сотнями тысяч голосов, торжественно исполнявших после переклички «Боже, царя храни».

Что думали все эти люди — никого не интересовало. Никто не придавал значения стене, стоявшей между солдатом и офицером. До меня, офицера штаба, доходили лишь отзвуки настроений командного состава. Офицеры вспоминали только о первых двух днях боев на передовых позициях, о том, как были отбиты яростные атаки на ляоянские форты, отступление же было пережито, как тягостный кошмар. Большинство было уверено в возможности разбить японцев и скорее покончить с войной, чего одинаково хотели офицеры и солдаты.

Часть «штабных» доискивалась причин понесенного поражения. Для меня главным виновником остался не Орлов, а Бильдерлинг, допустивший безнаказанно перед самым своим носом переправу Куроки. Нельзя было простить также разведывательному отделению его фантастические сведения о силах обходившего нас Куроки. Только в Мукдене мне стало известно, что одним из главных мотивов, побудивших Куропаткина отступить, явились данные о какой-то отдаленной, но серьезной угрозе с востока самому Мукдену!

«Да, — думал я, — прав был профессор Колюбакин, так упорно старавшийся доказать значение понятия «волевой человек». Сражение выигрывает тот, кто сумеет найти в себе достаточно воли пережить ту минуту, когда все кажется потерянным. Ойяма смог пережить эту минуту, а Куропаткин не смог».

Всех, впрочем — даже самых больших пессимистов — ободряла ежедневная высадка в Мукдене все новых и новых полков, прибывавших из России. Надоело видеть пополнения только из бородачей-запасных и всё какие-то резервные войска, вроде дивизии Орлова. А тут посылают нам, правда, хоть и не гвардию, о которой мы и мечтать не могли, но все же 1-й армейский корпус, часть которого квартировала в Питере. Корпус прибыл в образцовом порядке, несмотря на то, что в его рядах имелось много запасных.

В русской армии в мирное время было много полков, батальонов и рот, но в ротах было всегда мало людей. Число запасных в маньчжурской армии достигало семидесяти процентов ее общего состава. Все уже знали, что запасные не вояки, что на войну их погнали силком, что от строя они отстали и мечтали только поскорее выбраться. Хорошими солдатами оказались только запасные 4-го Сибирского корпуса. Они дрались с присущим сибирякам упорством, считая, что защищают на войне свою родную Сибирь.

В армии крепло убеждение в необходимости скорейшего перехода в наступление. Его пришлось бы, однако, вести в пустоту и неизвестность, так как мы оторвались от противника на добрых три перехода и имели о нем самые сбивчивые сведения.

Плохо обстояло дело с картами. Их вовсе не было.

И вот снова, но уже не для проверки, а для составления новой карты, разлетелись мы, генштабисты, веером по всем направлениям от Мукдена с приказанием производить маршрутные съемки.

Вода от дождей в реках еще не спала, и, отъехав от Мукдена в южном направлении, мы с Павлюком остановились на берегу бурной и широкой Хунхэ, через которую предстояло переправиться вброд. Выбрав самое широкое, а следовательно, и самое мелкое место, я спустился в желтые воды реки и долго искал брода. Казачий конвой с урядником предпочел стоять на берегу и ожидал, пока их благородие сам хорошенько не выкупается в мутной холодной воде. Мои уланы не допустили бы меня до этого.

На горизонте, как раз на заданном мне направлении, я заметил в бинокль какую-то небольшую сопку с деревом. Это был единственный ориентир, так как все деревни утопали в гаоляне.

Добравшись к этой сопке поближе, я убедился, что она представляла собой довольно широкую и пологую возвышенность, на вершине которой росло дерево. На карте эта возвышенность не была обозначена.

— Такого ничтожного пригорка мы не станем наносить, — сказали мне в топографическом отделении штаба армии, когда я вернулся с результатами рекогносцировки и убеждал обозначить на карте «мою сопку».

Я так горячился, что спор мой с топографами пришлось разрешить самому Харкевичу. После долгих моих просьб он согласился в конце концов пометить на карте какой-то небольшой овал, в виде куриного яйца, к югу от деревни Сахоян.

Споры в топографическом отделении были обычным явлением. Каждый возвращавшийся с работы генштабист старался доказать правильность своего маршрута, но при сводке маршруты не сходились, и для проверки посылались новые съемщики. В результате вся местность, лежавшая между маршрутами, в особенности в горном, трудно доступном районе, оставалась не заснятой, и войскам пришлось впоследствии самим производить рекогносцировку, но уже под огнем противника. Когда после войны потребовались документы для описания шахэйского сражения, то сам Куропаткин не мог представить ничего, кроме этой злополучной карты с белыми пятнами. На ней он собственноручно написал: «Приложена карта, каковая была и у меня. Более подробных карт не было».

Войска готовились наступать вслепую.

В разведывательном отделении дела шли не лучше. Там гадали и разгадывали, куда делись японцы; почему о них больше ничего не слышно? Думали даже, что часть армии ушла для атаки Порт-Артура. Китайцы-агенты продолжали свои враки, а конница предпочитала охранять деревни, которым никто не угрожал. Неизвестность тягостно отражалась не только на всем командном составе, но находила свои отклики даже среди солдатской массы.

Затишье и ожидание на фронте были не по сердцу некоторым смельчакам; они сами вызывались пойти на разведку, и имя одного из них попало в историю старой русской армии.

Разъезд 3-й сотни 1-го Оренбургского казачьего полка доставил однажды письмо, положенное на видном месте. Около письма была найдена также записка на китайском языке, в которой было сказано, что китайцы не должны уничтожать этого письма, адресованного в русскую армию. Оно было написано на русском языке. Вот его подлинный текст:

«Запасный солдат Василий Рябов, 33 лет, из охотничьей команды 84-го пехотного Чембарского полка, уроженец Пензенской губернии, Пензенского уезда, села Лебе-

девки, одетый как китайский крестьянин, 27 сентября сего года был пойман нашими солдатами в пределах передовой линии. По его устному показанию выяснилось, что он, по изъявленному им желанию, был послан к нам для разведывания о местоположениях и действиях нашей армии и пробрался в нашу цепь 27 (по русскому стилю 14) сентября через Янтай, по юго-восточному направлению. После рассмотрения дела установленным порядком Рябов приговорен к смертной казни. Последняя была совершена 30 сентября (по русскому стилю 17 сентября) ружейным выстрелом. Доводя об этом событии до сведения русской армии, наша армия не может не высказать наше искреннейшее пожелание уважаемой армии, чтобы последняя побольше воспитывала таких истинно прекрасных, достойных полного уважения воинов, как означенный рядовой Рябов. На вопрос, не имеет ли что высказать перед смертью, он ответил: «Готов умереть за царя, за отечество, за веру». На предложение: мы вполне входим в твое положение, обещаемся постараться, чтобы ты так храбро и твердо шел на подвиг смерти за «царя и отечество», притом, если есть что передать им от тебя, пусть будет сказано, — он ответил: «Покорнейше благодарю, передайте, что было...» и не мог удержаться от слез. Перекрестившись, помолился долго в четыре стороны света, с коленопреклонениями, и сам вполне спокойно стал на свое место... Присутствовавшие не могли удержаться от горячих слез. Сочувствие этому искренне храброму, преисполненному чувства своего долга, примерному солдату достигло высшего предела». Подписано: «С почтением капитан штаба японской армии».

Бедный Рябов! Ты как раз служил в том Чембарском полку, который мы все предали позору за бегство под Ляояном. Ты совершил подвиг и погиб за внушенные тебе, бедному, безграмотному солдату, идеалы.

За смерть твою ответственны те, кто допустил тебя перейти переодетым, с китайской косой, через наши линии, а за темноту твою уже ответил царский режим.

В оперативном отделении писали день и ночь. На случай перехода японцев в наступление надо было составлять все распоряжения по обороне Мукдена, строить, как и под Ляояном, новые форты и редуты и в то же

время писать подробнейшие директивы войскам о собственном наступлении.

На пяти листах диспозицию
Удалось хорошо написать,
Как японскую брать позицию
И кому и когда умирать, —

вот как после войны представлялась нам эта диспозиция.

Куропаткин продолжал поражать своей неутомимой работоспособностью и усидчивостью. Не только капитаны, но и полковники были покорными и немыми исполнителями решений, принятых в «поезде». Там, в салон-вагоне, круглые сутки сидел за письменным столом «Кур», как подписывал сокращенно свою фамилию Куропаткин и как мы его в шутку называли. Право входа в вагон имел один генерал Харкевич. Но его сил не хватало. Тогда сменял его только безмолвный Сиверс.

Можно сказать с уверенностью, что работа проклятого гофкригсрата, пытавшегося в свое время сковать гений Суворова, бледнела перед «неутомимой деятельностью» поезда Куропаткина.

До Ляоянского сражения Куропаткин разрабатывал планы, запершись с Сиверсом в своем салон-вагоне. Для подготовки шахэйского наступления он стал действовать по-новому: он начал со сбора совещаний высших начальников, а затем, не удовлетворяясь этим, стал запрашивать их мнения и предложения в письменной форме. Это нужно было ему, чтобы, при случае, объяснить наместнику Алексееву — вот-де мнения моих ближайших сотрудников, не пеняйте на одного меня за неудачи и за промедление в оказании помощи Порт-Артуру.

В конце концов общими усилиями эти мудрые мужи произвели на свет новое дитя — уже не диспозицию, как под Ляояном, а настоящий приказ за № 8 от 15 сентября 1904 года, даже с точно указанным часом: «6 часов вечера».

И, к тому ж, всего занятнее,
Чтоб не влопаться опять
И чтоб шло все аккуратнее,
Привлекли баронов пять, —

пелось про этот приказ в той же нашей штабной песне. Западным отрядом командовал барон Бильдерлинг, имея

начальником штаба барона Тизенгаузена. Во главе восточного отряда был поставлен барон Штакельберг и с ним начальником штаба барон фон дер Бринкен, а 1-м корпусом, в общем резерве, командовал барон Мейендорф.

Всего в наступлении должно было принять участие 257 батальонов, 610 полевых орудий и, к сожалению, только 16 горных пушек и 32 пулемета.

Без карт и сведений о противнике войска были слепы, а без горных орудий и пулеметов, при действии в горах, — и безоружны. Между тем приказ направлял главный удар именно в горные районы.

Японцы тоже, как нарочно, приковывали все помыслы Куропаткина к горному району. В штабе только и было разговоров что про укрепленную японскую горную позицию у деревни Ваньяпуза. Ее мы обнюхивали со всех сторон, но после каждой нашей разведки занимавший ее гарнизон все возрастал, а укрепления становились неприступнее. В приказе так и говорилось:

«Первоначальной целью действия восточного отряда становится овладение позициями противника у Ваньяпуза».

Какова же должна была быть эта позиция, чтобы против нее были направлены все наши лучшие, испытанные в боях войска 1-го, 2-го и 3-го Сибирских корпусов!

Стояли ясные осенние солнечные дни, дороги просохли, и даже проклятый гаолян был уже убран китайцами.

Все собрались наступать, но:

Сборы российские долги,
Как шило ни клали в карман,
От Хунхэ и до матушки Волги
Все знали секретнейший план...

Дня наступления ждали мы целую неделю, в течение которой начальники отрядов должны были все хорошенько «обдумать».

Наконец, настал желанный час.

Двадцать второго сентября ровно в полдень мы были собраны на мукденской площади на торжественный молебен с коленопреклонением по случаю перехода в

наступление. Широким крестом осенял себя Куропаткин, почтительно стояли позади него генерал Сахаров и профессор Харкевич. Смотрели на это театральное действо иностранцы и еще много всякого народа. Стоя на коленях и вспоминая в эту минуту о Ляояне, я уже чувствовал, однако, что, для того чтобы побеждать, «православному, всероссийскому победоносному, христолюбивому воинству» нужны какие-то другие средства. Червь сомнения закрался мне в душу и затронул то, что с детства представляло для меня «святая святых»...

Потом все сели на коней, Куропаткин поднял в галоп своего красивого жеребца и с большим флагом, присвоенным командующему армией, «помчался на врага».

Прощай, поезд! Мы будем уже сами распоряжаться своими войсками на поле сражения.

— Вот увидишь, ничего из этого не выйдет! — доказывал мне в тот же вечер Сережа Одинцов, когда мы прогуливались вокруг деревни, где был назначен ночлег главной квартиры. — Как только Ойяма заметит, что Штакельберг пошел куда-то в горы, а Бильдерлинг со своими двумя корпусами станет канителиться на равнине, он и врежется между ними, — пророчествовал Сережа и для ясности изображал своими пухленькими руками нос воображаемого корабля.

— Хуже всего то, что мы так долго обо всем этом рассуждаем! — прибавил он. — «Вокзал», наверно, успел хорошо осведомить японцев.

Сережа Одинцов не переменился с тех пор, как мы расстались с ним в начале войны в Мукдене, откуда наместник направил его в Порт-Артур. Сережа только что пробрался оттуда к нам на китайской джонке с каким-то важным донесением. Японцы в это время уже окончательно блокировали Порт-Артур как с суши, так и с моря. Содержания этого донесения Одинцов, вероятно, не знал, но рассказывал об общем недовольстве комендантом Порт-Артура генералом Стесселем и его супругой, которая вмешивалась во все дела; о надеждах, возлагавшихся всеми на Кондратенко, о подвигах солдат и особенно моряков.

Пошли мы в наступление точь-в-точь как на маневрах, — разве только переходы были менее тяжелы и, придя на ночлег, передовые части бывали вынуждены немедленно приступать к укреплению позиций.

Первые пять дней — пока мы не встретились с неприятелем — все шло гладко.

Штакельберг напрасно готовил атаку тремя корпусами пресловутой позиции у Ваньяпуза, — она оказалась уже очищенной японцами.

Как будто для штаба вышел небольшой конфуз, но в сущности все были счастливы этим неожиданным «успехом»!

Непонятным казалось, почему японцы так спокойно давали себя обходить. Куропаткин выезжал ежедневно на одну из высоких сопок, с которой открывался вид на равнину. Увы, весь район к востоку от командного поста, все эти горы и долины так и продолжали оставаться для нас покрытыми тайной.

Но вот пред сибирскими отрядами вырос какой-то неведомый горный массив с отвесными скалами, с которых японцы отбивали все атаки убийственным пачечным и пулеметным огнем. На смельчаков, взлезавших на неприступные откосы, они сбрасывали камни и даже трупы. Собравшись в мертвом пространстве, у подножия одной из этих неприступных скал, стрелки с отчаяния били в нее прикладами. Другие изыскивали тропинки, чтобы как-нибудь, по одному, взлезть на кручи и добраться до вершин; но тут японцы расстреливали их в упор. Тот самый генерал Данилов, который отличился под Ляояном, отдавал суворовские приказы и шел с атакующей колонной пешком. Будучи ранен в ногу, он велел нести себя на носилках, ободряя стрелков. Но горю помочь он не мог — он вел своих солдат на убой, на необследованные и неприступные горные кряжи.

Все происходившее в восточном отряде было очень далеко от командного поста Куропаткина. Местность не соответствовала карте, и всем была очевидна трагичность положения.

Куропаткин, выехав на фронт, не учел его протяжения на десятки верст. Автомобилей в ту пору не было, съездить для личных переговоров даже с высшими начальниками представлялось невозможным.

Мы сами не заметили, как перешли от наступления к обороне. Отдельные сопки и деревни стали для нас особенно ценными из-за той крови, что проливалась за

их удержание или за вторичное овладение ими. Началось «затыкание дыр» и — как неизбежное следствие — перемешивание частей, которыми при этом распоряжались уже не их непосредственные начальники, а сам Куропаткин.

Много мне пришлось скакать в те дни с его поручениями! Моя полевая книжка заполнилась его подписями.

Я стал привыкать держаться под огнем и даже позаимствовал у Куропаткина его наружное спокойствие. К войскам я подъезжал шагом, как бы срочно ни было приказание, которое надо было передать (скачущий всадник или бегущий человек всегда производит паническое впечатление). Передав командиру полка приказ, спрашивал у него разрешения закурить, — совсем как в мирной обстановке (под огнем папироса тоже производит успокаивающее действие на окружающих).

— Господин полковник, а ведь у вас на участке совсем уж не так плохо. Огонь вовсе не так силен! — говорю я.

— Это вы запугали японцев, капитан, — отшучивается полковник. — Как только вы подъехали, так огонь и стих...

Не хочется уезжать из боевой линии. Люди сразу становятся для тебя родными. Но надо опять отправляться на сопку Куропаткина с тем, чтобы снова быть посланным на какой-нибудь другой, не известный тебе участок.

Положение на фронте становилось все серьезнее. Снаряды начали ложиться уже у подножья, у командного поста Куропаткина. По ружейной трескотне можно было определить новое отступление войск в центре.

После тяжелого дня командующий сходит с сопки и уезжает к себе в штаб. Харкевич отзывает меня и приказывает остаться до рассвета на командном посту, чтобы направлять донесения в ту деревню, где ночует Куропаткин. Одинцов просит разрешения поддержать мне компанию. Оставив казаков и вестовых под сопкой, мы возвращаемся на вершину и, примостившись у большого камня, обсуждаем итоги дня. Спать не хочется.

— Я же говорил, — рассуждает Одинцов, — что Ойяма ударит в наш центр. Так и вышло. На Штакель-

берга надежды больше нет. Только бы его окончательно от нас не отрезали. Надо во что бы то ни стало удержаться в центре, но с такими генералами, как этот подлец Мау, очень тяжело. Ведь Зарубаеву пришлось отступать из-за него, а сегодня Мау снова отошел и оголил фланг первого армейского корпуса. Да и разбираться, кто чем командует, стало мудрено. Я вот ехал сегодня с приказанием к Шилейко, а он оказался уже в другом отряде.

Стало так темно, что если бы даже и пришло какое-нибудь запоздалое донесение, все равно никто не сумел бы нас найти. Ружейная трескотня и артиллерийская канонада казались ночью гораздо сильнее, чем днем. Мы решили спать по очереди.

Вглядываясь в тьму, я вдруг заметил какие-то силуэты людей, бегущих со стороны японцев. Бесшумно, как привидения, обтекали они нашу сопку, а некоторые, взбираясь на скаты, пробегали совсем близко от нас. Это оказались свои, новочеркассцы, — армейский полк, хорошо знакомый мне по Петербургу. Оставив коней, Павлюк с конвоем быстро выставил небольшую цепь и помог остановить передних беглецов. На них наталкивались задние, и в конце концов образовалась толпа. Они объяснили нам, что их обошли с трех сторон, что вокруг никаких наших частей не оказалось и что они бегут, спасаясь от плена. Успокоившись и разбившись по ротам, они залегли впереди сопки. Одинцов поехал с докладом в штаб, а я снова вернулся к своему камню.

Ночная духота сменилась грозой. На лицо упали крупные капли дождя, а через минуту и тьма рассеялась: молния осветила не только сопку и залегших внизу новочеркассцев, но и всю равнину. Далеко-далеко, почти до горизонта, тянулись по ней перерывчатые линии нашего и японского фронтов. Днем их различить было почти невозможно, но в темноте они обозначались непрерывными вспышками орудийных выстрелов. Молния, однако, легко затмила эти вспышки, а страшный раскат грома перекрыл гул артиллерийской канонады.

Сколь ничтожной показалась мне картина, представлявшаяся мне еще за минуту величественной. «К чему все эти люди-муравьи занимаются самоистреблением? Земли, что ли, им мало?» — думал я. И, быть может первый раз в жизни, со страшной силой встал передо мною вопрос о преступности того дела, в котором я участвую. Пронес-

лись в голове мысли о петербургской гвардейской мишуре, и болезненно сжалось сердце при воспоминании о тех бесчисленных раненых, что встречались всякий раз, когда приходилось въезжать в боевые линии. Головы повязаны белой, а чаще всего розовой марлей, и этот яркий, вызывающий цвет так мало гармонировал с темным загорелым лицом, всклокоченной бородой и серой шинелью...

Первое октября. Праздник моего кавалергардского эскадрона.

Общее утомление от многодневных боев достигло предела. Столько подвигов, столько отвоеванных у японцев сопок и деревень, и ни одной, хотя бы частичной, победы. Штакельберг отступил, равняясь по Зарубаеву. Зарубаев попросту отвел свой корпус на вторую линию, равняясь по Мейендорфу, а последний оказался в тяжелом положении как из-за отхода Зарубаева, так и из-за своего соседа справа, злополучного Случевского, который в свою очередь заставил отойти и Бильдерлинга. Одного бьют, другой ждет, пока сосед отступит, и выходит, что японцы везде успевают. В это же утро положение вновь оказалось трагическим после прорыва японцами фронта 10-го корпуса, частью отошедшего, а частью бежавшего за реку Шахэ. Японцы бьют прямо на север, в направлении на Мукден, им остается пройти уже не больше полутора десятков верст.

На площади того самого селения Хуаньшань, где штаб армии ночевал в первый раз, готовясь разбить врага, какой-то здоровенного вида батюшка служит перед громадной деревянной иконой богоматери непрерывные молебны о даровании победы. В промежутках между молебнами он отходит в сторону и под последним уцелевшим деревом отпевает убитых, которых приносят на носилках, покрытых серыми шинелями.

Подойдя к фанзе командующего, узнаю, что я назначен, как обычно, сопровождать его в числе трех-четырех генштабистов и что он принял решение лично руководить наступлением против прорвавшихся за ночь японцев.

Грязь невылазная. Моросит дождик.

Куропаткин шагом проезжает через небольшую деревню, и на южной окраине ее, за низкой глинобитной

стенкой, мы встречаем целый пехотный полк. Он, как видно, только что расположился на привал, сложив ружья в козлы. От спасительных походных кухонь — этих истинных друзей русского солдата, никогда его не покидающих, — уже стелется нежный серый дымок. Впереди у самой дороги стоит, вытянувшись в струнку и приложив четко, по-уставному, руку к козырьку, высокий, представительный и уже не молодой командир полка; это тот Андрей Медардович Зайончковский, под начальством которого я начал свою штабную службу в Красном Селе.

— Восемьдесят пятый Выборгский пехотный полк прибыл в личное распоряжение вашего высокопревосходительства, — рапортовал Зайончковский. Его внешность, его голос, полный военного трепета, и прямой, искренний взгляд его серых глаз — все выражало высокую военную дисциплинированность. Когда-то холеный и нарядный генштабист в безупречных лакированных сапогах, занятый, кроме службы, созданием Севастопольского музея, превратился вот в этого армейского полковника, так хорошо умеющего скрыть и утомление и несомненное возмущение всем тем, что он пережил со своим полком за последние дни.

— Вы составляете мой общий резерв, — наставительно сказал Куропаткин, — накормите обязательно людей перед боем... Здорово, выборжцы! Я сегодня рассчитываю на вашу молодецкую службу.

Зайончковский, не отнимая правой руки от козырька, делает знак левой рукой своим солдатам:

— Ра-ады ста-ра-ться, ваш... ваше высоко... во!

Я задерживаю коня, чтобы пожать руку Андрею Медардовичу. Мне как-то совестно отъезжать верхом, оставляя моего бывшего начальника топтаться в этой грязи.

Под гул орудий и ружейную трескотню мы переправляемся вброд через вздувшуюся от дождя желтую Шахэ. Вдоль ее обрывистых берегов полусидят, полулежат, укрываясь от огня, грязные, промокшие до костей роты — виновники и жертвы ночного прорыва. Командующий поднимается пешком на небольшую сопку. Харкевич поручает мне написать ряд приказаний. Дождь мочит листки полевой книжки и мешает работе. Слева от нас 37-я дивизия Мейендорфа должна перейти в наступление в тот момент, когда обозначится атака, ведомая Куропаткиным. Пишу о каких-то двадцати двух батальонах,

собранных с этой целью, но, кроме выборжцев и вот этих жалких остатков 10-го корпуса, что лежат в ста шагах от меня, других частей не видно. Подходит Харкевич.

— А помните, ваше превосходительство, про мою сопку с деревом? Вот мы и сидим под ней, — решаюсь я подшутить над своим профессором и спешу закончить какое-то последнее маловажное распоряжение.

Совсем близко оглушительно разрывается шимоза, очередная буква на полевой книжке идет зигзагами, и я вижу перед собой опрокинутый котел со щами. Его несли, держа палку на плечах, два солдата. Передний убит, а задний сперва остолбенел, а потом, очнувшись, бросился бежать.

Около полудня командующий сошел с сопки, оставив на ней Харкевича, подозвал меня и направился к деревушке у подножья.

— Игнатьев, пишите...

Пишу, стоя спиной к японцам, и слушаю Куропаткина, прислонившегося к низенькой глинобитной стенке. Он не видит, а я вижу, как японские шимозы делают перелет, но постепенно все ближе и ближе ложатся к нам.

— Ваше высокопревосходительство, не лучше ли нам отойти вот к этой фанзе? — прерываю я Куропаткина.

— Вы думаете? — отвечает он и переходит на несколько шагов влево, продолжая спокойно диктовать. Потом подписывает приказание и, глядя на уже разрушенную стенку, улыбаясь, говорит:

— А вы, пожалуй, были правы!

В ответ на японские шимозы грянули где-то позади наши трехдюймовки и зашипели шрапнели. Густыми и невольно стройными цепями, молча и решительно, двинулись в сторону японцев петровцы и вильманстрандцы. Ружейная трескотня на фронте, казалось, дошла до предела. Операция как будто налаживалась, и Куропаткин оставался в убеждении, что вот-вот слева покажутся цепи 37-й дивизии, но короткий осенний день клонился к вечеру, а от Мейендорфа ничего положительного добиться было нельзя. Помню, как обидно было получить приказ отвести наши батареи обратно на правый берег Шахэ. Повидимому, атака не удалась; все части перемешались, и мы начали спасать пушки, — это было обычным признаком поражения.

Разыскав тот самый дивизион, который открыл такой хороший шрапнельный огонь, я предложил командиру его, какому-то угрюмому подполковнику, взяться на передки и следовать за мной. Тут же с небольшого пригорка при последних лучах солнца я постарался взять верное направление на ту деревню, куда мне было приказано отвести дивизион, и по непролазной грязи двинулся к Шахэ. Позади меня грохотали колеса орудий и зарядных ящиков. Мой верный, но уже уставший Васька поминутно оступался, проваливаясь по колено в грязь. Дороги нельзя было разглядеть.

— Капитан, а вы не сбились с дороги? — ежеминутно слышался голос командира дивизиона. — По-моему, надо брать левее... Учтите, что фронт наш уже давно сломан.

Знаю это без него, но твердо выдерживаю намеченное засветло направление. Чувствую полную нашу беззащитность, но удерживаюсь от соблазна согласиться на многочисленные предложения каких-то неведомых пехотных частей охранять колонну.

Все завидуют артиллерии, уходящей в тыл.

Бой затихал. И моя пресловутая сопка с деревом осталась в руках неприятеля. Мне суждено было участвовать снова в том последнем бою, после которого она заслужила свое историческое название Путиловской.

В этот памятный день, 3 октября, после полудня, я был послан к командиру 1-го армейского корпуса барону Мейендорфу с приказанием получить от него подробный план атаки сопки с деревом. Он был назначен руководить этой атакой. Я думал найти барона где-нибудь впереди. Каково же было мое удивление, когда я встретил его со штабом тут же, под той самой горой, на которой стоял Куропаткин.

Это было в последний раз, что я видел барона Мейендорфа на войне. Высокий худощавый старик, любезный, воспитанный и приятный в обращении, он когда-то отличился в русско-турецкую войну. Но это был недалекий человек. В Петербурге он вызывал к себе симпатию главным образом как хороший семьянин. Как и Левестама, продвигал его по службе георгиевский крестик, но дорого обошелся этот крестик несчастным полкам 1-го армейского корпуса.

После Шахэ Куропаткину удалось, кажется, посоветовать Мейендорфу вернуться в Петербург «отдохнуть». А Николай II в воздаяние его «боевых заслуг» создал для него высокое положение: состоять лично при особе «его величества».

После дождя, грязи и непогоды день выдался солнечный, ясный. Мы шли с Павлюком хорошим галопом и не обращали никакого внимания на усиливавшийся с каждой минутой грохот японской канонады. Влетели в какую-то деревню совсем близко к сопке, где нас остановил окриком подполковник генерального штаба Запольский. Это был еще совсем молодой, румяный блондин, неизменно носивший большую папаху из коричневой мерлушки и беленький георгиевский крестик в петлице. Он получил его еще в китайскую кампанию, старался оправдать его в эту войну и был впоследствии убит под Мукденом.

— Слезай, слезай! — крикнул он. — Ну, и подперло же тебе. Разве можно скакать с целым взводом по открытому полю? Неужели ты не заметил, как японцы покрыли вас шрапнельными очередями?

Я оглянулся и действительно увидел за собой добрый десяток разных ординарцев, которые незаметно присоединились к нам с Павлюком. Они, как оказалось, просто ожидали в последней деревне удобного «случая» перескочить через открытое пространство для доставки очередных распоряжений (все уже давно привыкли получать их с хорошим запозданием).

— Кто тут начальник? — спросил я Запольского, спрыгнув с коня.

— А черт его знает. Говорят, Новиков, да это, впрочем, не важно; я тоже послан сюда с конвертом от командующего армией и передам его тому, кого найду более подходящим. А впрочем, пойдем вместе искать Новикова.

Деревня, через которую мы проходили, была набита нашей пехотой, столь же серой и грязной, как глинобитные стенки, к которым она прижималась, стремясь укрыться от японских шимоз. Казалось, никакая сила не способна больше поднять этих измученных долгими боями людей. При выходе из деревни мы были приятно поражены, увидев наших дорогих сибирских стрелков

с малиновыми погонами, залегших стройными рядами в небольшой, хорошо укрытой лощине. Тут же нашли мы за высоким камнем их начальника — коренастого, усатого генерала Путилова. На вид он казался простаком, но в хитреньких его глазах светилась сметка. Он очень обрадовался, получив ориентировку в общем положении, внимательно прочитал указания командующего армией и тут же наметил план атаки. Своих стрелков он назначил в обход, и, выйдя из-за камня, я стал наспех составлять кроки лежащих впереди подходов к позиции, чтобы доложить обо всем Куропаткину. Почему-то заранее верилось в успех.

— Сверим часы, — сказал мне Путилов. — Разыщите скорее все наши батареи, действуйте от моего имени. Сосредоточьте огонь по сопкам до пяти часов сорока пяти минут. В шесть часов, то есть еще засветло, двинемся в атаку. Скачите, не теряйте ни минуты.

Командиры батарей разных бригад направляли меня один к другому, и все задавали непредвиденный и опасный вопрос: как быть со снарядами? Их оставалось уже так мало!

— Стрелять до последнего, — отвечал я, превозмогая сознание ответственности. Некоторые требовали расписаться. Наметив каждому сектор для обстрела, я ехал дальше, не спуская глаз с часов, и с чувством еще не испытанного дотоле удовлетворения поглядывал, как все гуще и гуще покрывается сопка сплошным белым облаком разрывов наших шрапнелей.

Было около пяти часов, когда, отъезжая от последней Забайкальской казачьей батареи, я заметил в высоком гаоляне белые околыши какой-то пехоты, двигавшейся на запад параллельно фронту.

— Семипалатинцы, — глухо ответили на мой вопрос бородачи.

— Ложись, — говорю я им и ищу командира полка, которому объясняю положение.

Оказывается, он послан на поддержку каких-то частей к Бильдерлингу. А я предлагаю ему принять участие в атаке, вместо того чтобы продолжать выполнять порученное ранее приказание.

Вся академическая наука, весь опыт франко-прусской войны 1870 года — идти всегда на выстрелы — ожили в эту минуту в голове. После некоторого колебания

командир полка согласился и даже приказал сопровождавшим его двум батареям немедленно сняться с передков.

— А знаете, — сказал он мне, — если бы вы подъехали ко мне с тыла, я бы вас не послушал, ну а так — быть по-вашему: указывайте скорее сектор для атаки и направление.

Часовая стрелка показывала шесть. Где-то впереди и справа раздалось уже могучее «ура», и белые околыши, повернув на девяносто градусов, в свою очередь густыми цепями, без выстрелов, побежали вперед.

Когда я проезжал через деревню, она была уже пуста. Серые люди ожили и, не дождавшись приказа, бросились в атаку.

Это было последнее и сверхчеловеческое усилие.

Только солнце открыло наутро картину того, на что оказались способны наши герои, доведенные до отчаяния.

Сопка осталась в наших руках, покрытая сотнями трупов.

На вершине ее, у сломанного дерева, лежал труп молодого поручика сибирских стрелков, а неподалеку, обняв левой рукой ствол орудия, а в правой сжав револьвер, повис японский капитан с простреленным виском.

Глава восьмая

САНДЕПУ

Открылась новая страница в истории военного искусства.

Ее, однако, никто не захотел прочитать на протяжении целых десяти лет, которые отделили мировую войну от русско-японской. Никто не хотел верить, что могут наступить минуты, когда истощенным и обескровленным армиям не остается ничего другого, как зарыться в землю и, окутавшись колючей проволокой, набираться сил и готовиться к новым схваткам.

Ценой жестоких потерь японцам удалось в сражении у Шахэ не только остановить наше наступление, но и отбросить нас на исходные позиции. Правда, они нас не разбили, но нанесли самое тяжелое из всех поражений —

они надломили наш дух, поселив сомнение в победе. Эти сомнения не смогла рассеять даже последняя удачная атака Путиловской сопки. Она только доказала силу русского штыка. Но против него японцы сумели выдвинуть новое оружие — массовый огонь. Нашу неподготовленность к войне Петербург старался исправить по-своему. За вмешательство в дела командующего армией он отозвал наместника Алексеева; за потерянные сражения — возвел Куропаткина на должность главнокомандующего, придав ему в помощь трех командующих армиями: Линевича, Гриппенберга и Каульбарса. От этого число штабов, специальных поездов, адъютантов и штабных обозов увеличилось в четыре раза.

Кто-то должен был оказаться виновником наших неудач — убрали Харкевича. Но убрать — это еще не значит признать негодным; Харкевич получил повышение, был произведен в генерал-лейтенанты и назначен начальником штаба 1-й армии, к Линевичу. Так оно частенько бывало в России: человек не может командовать эскадроном — дать ему управлять губернией!

Расчеты строились на численном превосходстве, при котором можно было попытаться раздавить противника. Железнодорожники работали исправно, и схемы расположения наших войск быстро заполнялись новыми квадратиками, цифрами и фамилиями начальников. Сибирские корпуса уже тонули в массе новых прибывших русских войск.

Составление этих сводок усложнялось нанесением на них укрепленных позиций. По примеру штаба главнокомандующего, в корпусах, дивизиях, полках их вычерчивали с особой тщательностью, намечая не только расположение каждой батареи и ротных окопов, но и всех волчьих ям и проволочных заграждений. Куропаткин мог наслаждаться!

Преемник Харкевича — Алексей Ермолаевич Эверт, будущий главнокомандующий Западным фронтом в мировую войну, был в ту пору еще совсем молодым генералом. Высокий, стройный брюнет с тщательно подстриженной бородкой, в широких шароварах с красными лампасами, в мягких сапогах с большими шпорами, он в церкви истово крестился, перед обедом выпивал рюмку водки и ни на минуту не терял подобающего генералу величия.

Желая оздоровить штабную атмосферу и сломать перегородку, отделявшую окружение Куропаткина от его рабочего аппарата, Эверт решил «пойти в народ», как говорил мой коллега Пневский, и начать с посещения нашей столовки. К этому времени она приобрела уже кличку «игнатьевской столовки». Начало ей было положено скромное. Общее раздражение моих коллег от плохого питания в дни сражения мне не нравилось, и я решил после ляоянского опыта отделиться от общей штабной столовой. У мукденского вокзала подобрал заброшенную чугунную плиту, собрал компанию «на паях» из нескольких генштабистов и после окончания служебного дня сам стал готовить обед.

Кухонному мастерству я обучился с детства, забегая к нашему домашнему повару Александру Ивановичу Качалову, ученику знаменитого в свое время в Питере повара-китайца. Французская пословица говорит, что «искусству повара можно выучиться, но с искусством жарить родятся». Оказалось, что, видимо, я родился с этим искусством.

Успех нашей столовки привлек к нашей компании всех генштабистов, и мне пришлось искать себе помощника для работы у плиты. Вопрос разрешился к общему удовлетворению. Приезжаю я как-то в штаб 35-й пехотной дивизии, а начальник ее, подобострастный поляк Добжинский, вероятно чтобы доставить удовольствие посланцу из главной квартиры, и говорит:

— У меня в дивизии есть солдат, разыскивающий вас!

— Кто такой?

Вскоре передо мной предстал молодой солдат, с винтовкой у ноги, оказавшийся нашим бывшим домашним поваренком — Антошкой. Он и стал поваром. В первую минуту мне было как-то совестно брать солдата с фронта, но число тыловых к тому времени уже так возросло, что многие сидели без всякого дела. Это успокоило мою совесть.

Столовая процветала.

Все были в сборе, когда с любезной улыбкой появился Эверт и, решив показать свою деловитость, заговорил о текущих служебных делах. В нашей столовке это не было принято. «Подожди, — подумал я, — надо тебя познакомить с нашими настроениями».

— Вы, ваше превосходительство, спрашиваете Одинцова, как идут его работы по составлению описания шахэйских позиций? Укрепления, правда, уже давно нанесены на карту, но, уверяю вас, что описания эти никогда не будут закончены.

Дело в том, что Одинцов, хороший полевой работник, имел природное отвращение ко всякой письменности, все мы это знали, но наше начальство любило делать все против способностей, вкусов и расположения своих подчиненных. Описание шахэйских позиций так никогда закончено не было.

Среди приехавших к нам из России молодых офицеров однажды появился некий Петр Александрович Половцев, будущий главнокомандующий, подавлявший июльское восстание в Петрограде при Керенском. Ему очень хотелось быть назначенным в штаб 1-го Сибирского корпуса к Штакельбергу. Но на вопрос Эверта: «Куда бы он хотел быть назначен?», он заявил, к нашему удивлению, что «только не к Штакельбергу». На следующее утро его желание было исполнено: он как раз был назначен в Сибирский корпус к Штакельбергу. Половцев хорошо знал штабные нравы и порядки.

В штабе шла мирная, скучная жизнь. Помощник коменданта капитан Сапфирский, которого мы переименовали в Изумрудкина, для придания величия главной квартире окрашивал фанзы, стенки и все, что попадалось под руку, известкой, а отхожие места затягивал ярко выкрашенной материей. О боях редко вспоминали, а при известии о падении в конце декабря Порт-Артура только тяжело вздохнули.

Удар по самолюбию в Маньчжурской армии от сдачи Порт-Артура ощущался слабее, чем в России, — войска не могли забыть крови, бесцельно пролитой за его спасение.

Водки недоставало, пили «ханшин». Офицеры в тылу играли в карты. Грабеж китайского населения поощрялся, так как чины судебного ведомства бездействовали. (Китайцы людьми не считались.)

Наше высшее командование продолжало жить иллюзиями о желании всех войск умереть «за веру, царя и отечество», поэтому оно усердно занималось разработкой самых широких оперативных планов. В главной квартире, в вагоне Куропаткина, происходили совещания командующих армиями. Первым на эти совещания являлся

«папашка» Линевич, командующий 1-й армией. Не оглядываясь по сторонам, с высоко поднятой головой, он шел четким шагом по железнодорожной платформе. За Линевичем проходил командующий 3-й армией, бодрый, коренастый, хотя уже и совсем седой Каульбарс, подчеркивая легкость своей кавалерийской походки, и, наконец, согбенный, мрачный, закутанный в теплое генерал-адъютантское пальто, таинственный Гриппенберг — командующий 2-й армией.

Подолгу заседали эти высокие чины, торгуясь между собой, кому, как и когда переходить в наступление. Потерпев неудачу в горах, они твердо решили больше туда не лазить и все свои взоры устремили на равнину, где на правом фланге хватало простору развернуться до самой монгольской границы. Однако хотя места было и много, но почему-то, как и в шахэйском сражении, наши высокие руководители приковали все внимание к одной укрепленной деревне — Сандепу. Виновата же была эта деревня только тем, что находилась на крайнем левом фланге японского расположения и вне линии сплошного укрепленного фронта, то есть там, где ее занимали слабые кавалерийские части генерала Аки-Яма.

Каждая деревня в зимнее время представляла сама по себе сильный оборонительный пункт, так как промерзшие глинобитные стенки, не говоря уже о каменных строениях и кумирнях, надежно прикрывали японцев не только от нашего ружейного, но и от шрапнельного огня. Разбить их можно было только гранатами, а наши артиллерийские мудрецы, предназначая полевые орудия для боя в открытом поле, снабдили их одними шрапнелями. Гранаты имелись только в пушечных батареях устарелого типа или в столь же старых мортирах, подвезенных к этому времени из России. Снова мы оказывались безоружными и снова должны были расплачиваться кровью наших войск за петербургских теоретиков.

Если, с одной стороны, падение Порт-Артура лишало наступление срочности, то, с другой стороны, возможность для Ойямы перебросить освободившуюся армию Ноги требовала как можно скорее использовать наше превосходство в силах. Наступление было в принципе решено, но приготовления к нему затягивались. Куропаткину нечем было даже, как он выражался, «порадовать батюшку-царя». Поэтому пока новые командующие армиями

«прорабатывали» планы переходов в наступление, в штабе главнокомандующего уже давно обсуждался вопрос о кавалерийском набеге в тыл японского расположения. Никто не возражал по существу против использования массы казачьей конницы, освободившейся от сторожевой и разведывательной службы после остановки всех армий на шахэйских позициях. Но о способе действий конного отряда мнения были диаметрально противоположны. Одни стояли за неожиданный и самостоятельный рейд, а другие находили, что подобный рейд будет легко парализован японской охраной и что конную массу надо бросить на тылы в решающий момент сражения на фронте. Шли споры и о выборе начальника, на которого можно было бы возложить это поручение. При всех недостатках Ренненкампфа большинство стояло за его назначение, но лично Куропаткин особенно доверял Мищенко.

Два месяца обо всем этом толковали, больше месяца собирали громадный вьючный транспорт, в котором часть мулов вели в поводу, а другую часть привязывали к хвостам животных, идущих впереди. Непривычные к грубому обращению китайские мулы бунтовали, били задом и сбрасывали вьюки. Напрасно Самсонов убеждал отказаться от подобного транспорта, напрасно доказывал, что фураж и продовольствие найдутся в богатых китайских деревнях, не опустошенных прохождением воюющих сторон. Мищенко остался непреклонным, являясь верным учеником Куропаткина, всегда боявшегося чего-нибудь не предусмотреть. Это предприятие заранее обрекало все на провал. Конные массы плелись шажком, охраняя с двух сторон свой собственный транспорт. Они дошли до самого моря, то есть до Инкоу, но взять последнего не смогли. Уложив лучших людей, вернулись с жалкими трофеями в виде китайских продовольственных арб. Русская конница неповинна в этом позоре. Ни Куропаткин, ни Мищенко не способны были проявить того духа, который является главнейшим качеством кавалерийского начальника.

Неудачный набег на Инкоу был, впрочем, скоро забыт, а разговоры о новом переходе в наступление напоминали рассказы о том мальчике, который столько раз пугал пожаром, что когда дом действительно загорелся, то никто больше ему не поверил.

Так вышло и со мной, когда 12 января утром меня вызвал к себе Эверт и, сидя перед картой, объявил, что мы с утра перешли в наступление. Я не верил своим ушам, тем более что с фронта, отстоявшего от нас на несколько верст, не доносилось ни одного орудийного выстрела.

— Первая и третья армии будут действовать демонстративно, — объяснил мне Эверт, — ожидая, пока не обозначится успех второй армии Гриппенберга, наступающей в обход японского расположения. К Гриппенбергу переброшен уже первый Сибирский корпус Штакельберга. Главнокомандующий повелел (Куропаткин уже не мог «приказывать», как командующий армией, а, подобно царю, по должности главнокомандующего «повелевал») назначить вас в этот корпус для связи.

Работу офицеров, посылаемых для связи, в мирное время не изучали и потому на войне их попросту считали соглядатаями высшего начальства. Эта репутация была создана, впрочем, самими войсковыми начальниками, для которых высшее начальство было куда страшнее японцев. От последних можно отступить, а от начальства никуда не уйдешь: оно тебя найдет повсюду, даже в глубоком тылу. Поручение, данное мне, было весьма деликатным, тем более что я понаслышке знал Штакельберга как невыносимо сурового и недоступного начальника.

— Я прошу лишь об одном, — сказал я, — чтобы все мои донесения я имел право предварительно показывать командиру корпуса, дабы не ввести главнокомандующего в заблуждение, а копии донесений посылать в штаб второй армии.

— Да, показывать можете, — согласился Эверт, — но до штаба Гриппенберга вам дела нет. Если успеете, можете по дороге туда заехать, но и только. Желательно, чтобы к вечеру вы уже были у Штакельберга.

Мороз крепчал. Шестидесятиверстный переход казался бесконечно скучным. Желтые замерзшие борозды полей с торчащими колючими гаоляновыми пеньками, сероватые деревни — все было безжизненно. Предусмотрительное начальство в целях борьбы со шпионажем попросту выселило всех жителей на громадном пространстве в тылу 2-й армии. Даже справиться о названии деревень было не у кого.

Штаб 2-й армии располагался в большом селении довольно далеко от фронта. Обед только что кончился, и в штабной столовой я застал только двух-трех незнакомых генштабистов, допивавших чай. Узнав о моем намерении явиться к начальнику штаба или хотя бы к генерал-квартирмейстеру, они заявили, что начальство занято и принять не сможет.

— Даже накормить не смогли, — ворчал Павлюк, когда мы поспешили удалиться от этого чуждого и чуть ли не враждебного нам мира.

Новые коллеги и генералы, прибывшие из России, имели твердое намерение показать нам, старым маньчжурцам, как следует воевать.

Штакельберг, которого я с трудом разыскал уже поздно вечером, оказался тоже мало приветливым. Выслушав рапорт, он еле подал мне руку. Даже мой коллега Довбор, и тот был сух. Было ясно, что все уже наперед недовольны Куропаткиным. А между тем дела у сибиряков шли, как казалось, блестяще: после занятия двух-трех деревень на правом берегу Хунхэ полки все той же славной 1-й бригады с вечера ворвались, а к рассвету овладели почти без потерь селением Хэгоутай, на левом берегу реки. Этим была выполнена основная задача, поставленная 1-му Сибирскому корпусу; вся 2-я армия получила возможность наступать на пресловутое Сандепу, не опасаясь за свой правый фланг. Сил у нее для этого было достаточно — целых три корпуса. Но каково же было мое негодование, когда первым распоряжением Штакельберга была срочная отправка 1-й бригады моего ляоянского друга Леша в распоряжение 8-го армейского корпуса — такова была диспозиция стратегов 2-й армии. Вместо развития удачно начатой операции мы лишились нашей лучшей бригады. Обидно было смотреть, как в густом тумане скрывались от нас один за другим покидавшие нас батальоны и тихо грохотали колеса невидимых батарей, уходивших с Лешем. Серый морозный туман окружил нас непроницаемой завесой, и казалось даже непонятным, куда летели наши редкие шрапнели; от их полета только страшно шумели в морозном воздухе гаоляновые крыши китайских фанз.

Въехав со штабом в Хэгоутай, мы долго бродили по его пустынным улицам.

«Наконец, — думал я, — удастся осмотреть отвоеванную нами деревню». Но вид нескольких раненых японцев и десятка сложенных в кучу винтовок сразу разочаровал: было ясно, что деревню оборонял ничтожный отряд, успевший унести с собой даже пулеметы. Не без зависти разглядывали мы японские зимние шинели с воротниками из собачьего меха; они были много практичнее наших башлыков (на которые жаловались и часовые и дозорные), так как башлыки мешали хорошо слышать.

— Айригатэ, айригатэ (спасибо, спасибо), — лепетал раненный в ногу японец, прикладывая руку к козырьку, когда я угостил его папиросой.

До полудня все шло хорошо. Уже видавшие виды войска приводили деревню в оборонительное состояние, с немалым трудом разбивая промерзшую и твердую, как камень, землю. Кирок не хватало.

Я стоял у наружной окраины деревни и составлял очередное донесение, поставив ногу на бревно, припорошенное легким снежком. Полевая книжка лежала на колене. Но вдруг, глядя через нее, я заметил, как пуля снесла снежок перед носком моего сапога. Я быстро отдернул ногу и подумал: «Как глупо, — пуля ведь уже пролетела».

Понесли первых раненых; но кто и откуда стреляет, разобрать было невозможно. Было ясно только, что японцы недалеко. В серой мгле наши стрелковые цепи стреляли наугад.

Бой разгорался с каждой минутой. Загремела артиллерия. Хэгоутай огласился разрывами шимоз. Сперва они летели только с востока, потом откуда-то с юга, где развертывалась наша 9-я дивизия Кондратовича, под вечер уже, казалось, и с севера, куда ушла бригада Леша. Потери росли.

— Смирно! Равнение направо! — командует стрелок-ефрейтор с одним желтеньким басоном на малиновом погоне, проходя мимо меня в сопровождении еще двух стрелков 3-го полка.

— Откуда, братцы? — спрашиваю я.

— Раненого относили, ваше благородие, идем к нашим. Там нас ждут.

«Хорошие войска! Кто-то их воспитывал?» — подумал я и отошел к группе чинов штаба, окружавших командира

корпуса. Штакельберг был тут, посреди своих войск, и его болезненное, заиндевевшее от мороза лицо не выражало ни малейшего волнения. За все дни боя он ни разу не присел, подавая пример выносливости. Зря изображало его «Новое время» изнеженным сибаритом.

Пример начальника заражал подчиненных, и было приятно чувствовать себя среди этого штаба, столь отличного от тех, с которыми приходилось до сих пор встречаться.

— Алексей Алексеевич, я ранен, — сказал мне неожиданно стоявший рядом со мной генерал Кондратович, повиснув на моей руке.

Я в первую минуту отнесся недоверчиво к его заявлению, так как он обычно подвергал опасности не себя, а главным образом своих начальников штаба. В перерывах между сражениями его 9-я стрелковая дивизия не знала покоя от бесконечных распоряжений этого элегатного генштабиста. Но как только начинали летать в воздухе «твердые тела», Кондратович неизменно возглашал:

— Начальник штаба — распоряжайтесь!

Кондратович оказался прав, так как, взглянув на его спину, я заметил в его шинели выходное отверстие пули. Подбежали санитары, а Штакельберг тем же ровным, сухим голосом, которым он отдавал все распоряжения, негромко сказал:

— Сдайте командование, генерал, желаю вам скоро поправиться, — и снова впился взглядом в начинавший рассеиваться туман.

Определить силы противника было невозможно. Предстояло овладеть ближайшей к нам деревней — Сумапу. А чтобы выбить оттуда неприятеля, надо было разрушить глинобитные стенки, укрываясь за которыми, он, чувствуя себя в безопасности от ружейного огня, наносил нам большой урон.

Мы знали, что рвущиеся над деревней шрапнели не наносят противнику большого вреда. Но у нас есть мортирная батарея. И вот откуда-то сзади и слева от нас бухает глухой выстрел. Высоко-высоко над головой гудит наша первая бомба, потом вторая. Третьей мы уже не слышим.

— Граф Игнатьев, мне сейчас передают, что мортиры испорчены и стрелять более не могут, если это так, возь-

мите роту из резерва и отправьте батарею в тыл, — приказал Штакельберг.

Все объяснилось просто. Каучуковые компрессоры мортир замерзли, и от первого же выстрела колеса разлетелись в щепки. Нелегко было вытаскивать мортиры на руках; дотронуться голой рукой до их тяжелого тела было невозможно, а теплые перчатки у солдат были редкостью.

«Будь проклят, кто послал нам эту рухлядь!» — было написано на лицах офицеров и солдат.

Когда совсем стемнело и мы вошли в пустую, нетопленую фанзу, чтобы составить отчет о невеселом для нас дне, к Штакельбергу подбежал один из адъютантов с радостной вестью:

— Победа! Сандепу взята!

Весь день мы чувствовали себя оторванными не только от 2-й армии, но даже от соседнего с нами 8-го корпуса, и потому это первое полученное известие особенно всех порадовало. Стало даже как-то совестно, что, несмотря на тяжелые потери, мы за весь день сумели продвинуться всего на несколько сот шагов.

Составив подробное донесение Куропаткину, я отправился разыскивать в темноте телеграфную роту, чтобы лично удостовериться в отправке своей телеграммы. Телеграфисты — народ развитой, приспосабливающийся к любой обстановке; фанзу свою они натопили и, как бы невзначай, приготовили мне даже большой сюрприз — стакан настоящего парного молока. Я всю жизнь его не любил, но, лишенный его в течение целого года и к тому же не евши уже два дня, я нашел в нем особую прелесть. Китайцы коров не держат, а саперы, получая на мясо монгольский скот, словчились «сэкономить» целую корову.

Совсем веселым вернулся я в нашу фанзу, но был сразу поражен угрюмым видом сидевших вокруг карты чинов штаба.

Сандепу не была занята!

Штурмовавшая ее 14-я дивизия, несмотря на то что уже была измучена тяжелыми трехдневными переходами, вызванными бестолковой переброской ее с одного места на другое, пошла в атаку с развернутыми знаменами. В тумане полки потеряли направление и в конце концов, понеся тяжелые потери от пулеметного и ружейного огня, ворвались с наступлением ночи в какую-то соседнюю

деревню, которую по ошибке приняли за Сандепу. Так как старшее начальство по обыкновению держалось далеко в тылу и разыскать его было трудно, ошибка своевременно не была исправлена. В конечном счете сам Куропаткин был введен в заблуждение и «утешил батюшку-царя» телеграммой об «одержанной победе». Конфуз получился большой.

Гораздо хуже было то, что произошло на другой день. Гриппенберг, узнав о роковой ошибке, не нашел ничего лучшего как назначить на следующий день «отдых», и нашему корпусу было предложено «расположиться на занятых позициях». Между тем одновременно с этим приказанием получено было донесение о том, что конница Мищенко, действовавшая на нашем правом фланге, одержала успех и с боем зашла японцам в тыл. Мищенко лично вел спешенных казаков в атаку, в которой и был ранен.

Приказ Гриппенберга глубоко нас всех возмутил: неужели штаб 2-й армии не понимает, что каждая минута стояния на месте только ухудшает наше положение, давая возможность японцам поражать нас с трех сторон, отрезая наш корпус от остальной армии и от конницы!

Когда рассвело и туман поднялся, на краю расстилавшейся перед нами равнины можно было рассмотреть отлогую песчаную гряду, подходившую почти к самой деревне Сумапу. Карта и тут подвела: штаб 2-й армии называл ее «Большой Безымянной», не без иронии добавляя, что на карте главнокомандующего она называется Сумапу. Для нас название было, впрочем, безразлично, так как мы и без того твердо знали, откуда противник поливает нас свинцовым дождем.

С тех пор как почетное звание «царицы полей сражений» перешло к пехоте, бой стал трудным и длинным. Дерзость, смелость и порыв оказались недостаточными. Эти качества пришлось дополнить бесконечной силой воли и настойчивостью. В этих доблестях целому ряду наших полков — 3-му, 4-му и 34-му Восточно-Сибирским — отказать было нельзя, а имена их командиров — Земляницына и Мусхелова — знали все сибирские стрелки. Пришлось и мне не раз повидать их за этот памятный день 14 января, пробираясь в передовые линии по каким-то заброшенным окопам и овражкам.

«На людях смерть красна, а вот я иду один, даже без Павлюка, и никто не узнает даже, как это произошло. Скорее, скорее бы только добраться до людей», — думал я.

Штакельберг все так же невозмутимо стоял у крутого берега Хунхэ и не оборачивался, как будто и не интересуясь тем, что происходило под обрывом. Туда, в мертвое пространство, то и дело спускались санитары и складывали на лед замерзшей реки носилки с тяжелоранеными. Многие от сильного мороза уже перестали дышать. Под вечер принесли сюда раненного в голову начальника штаба 9-й стрелковой дивизии, молодого полковника Андреева. Перевязка была сделана наспех, и у левого уха чуть-чуть просачивалась кровь.

— Жаль Андреева, храбрый был офицер, — сказал Штакельберг, направляясь с нами в ту фанзу, где мы провели накануне столь тревожную ночь.

У ворот валялась убитая собака и какой-то китайский скарб, а у наполовину разбитой стены копошились телеграфисты, восстанавливая порванную телефонную линию. Здесь, за бумажной рамой, шумевшей и дрожавшей от орудийной стрельбы, собрался вокруг стола — первый за время боя — военный совет.

Главной фигурой после Штакельберга был его заместитель, начальник 1-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии Гернгросс. Это был тип дальневосточного генерала, не отделявшего понятия о военной службе от попойки. Но его любили за близость к войскам и истинно военный дух, закаленный в долгих боях. Он уже был ранен под Вафангоу и остался в строю. Рядом с ним на китайском «кане» примостился какой-то чужой генерал. Одетый с иголочки, пухлый, дряблый, он и папаху-то не умел как следует носить. Участия в совещании он не принимал и покорно ждал указаний для своей стрелковой бригады, только что прибывшей из России. Все собравшиеся, и даже мы с Довбором и скромным еще тогда генштабистом Марковым, будущим белогвардейским «вождем», имели право высказаться. Положение создалось тяжелое: диспозиция по 2-й армии предписывала нам оставаться на месте, а между тем это бездействие всей 2-й армии дало возможность японцам подтянуть против 1-го корпуса значительные силы. В то же время удержание Хэгоутая требовало расширения плацдарма, а для этого

надо было овладеть песчаной грядой и в первую очередь деревней Сумапу, из которой японцам только что удалось вытеснить наши передовые роты. Большинство высказалось за дальнейшее наступление и ночной штурм Сумапу. Штакельберг, обратившись к Гернгроссу, сказал:

— Мне нужно ваше имя. Вас знают и любят солдаты, назначаю вас начальником отряда для овладения Сумапу.

Чувствовалась горечь в этих словах. Что должен был пережить гордый Штакельберг, чтобы признать превосходство своего подчиненного в глазах солдатских масс?

Гернгросс немедленно начал отдавать распоряжения о штурме, как будто его войска не были потрепаны. В десять часов ночная тишина огласилась криком «ура». В полночь была получена записка Гернгросса о том, что деревня взята. Но на рассвете стало ясно, что занята была только окраина деревни, из которой перемешавшиеся в ночном бою наши роты снова были выбиты японской штыковой атакой. Только что прибывший из России 6-й стрелковый полк перестал существовать; в нем уцелело только два офицера и две-три сотни стрелков. Меж тем штаб 2-й армии предписывал в семь часов утра перебросить этот полк куда-то на север для вторичной атаки Сандепу. Бумага все терпит!

Используя ночной успех, японцы сами перешли в решительное наступление, пытаясь прорваться к Хэгоутаю то с фронта, то с флангов, но, в свою очередь, одолеть нас не смогли. Ружейный огонь ни на минуту не ослабевал. Люди озверели. Какой-то стрелок протащил за косу мимо меня дряхлого старого китайца.

— Шпиона поймали, — обратился он к коменданту штаба.

— Чего же ты лезешь? Неужели сам не знаешь, что нужно делать? — ответил комендант, усатый капитан.

Я обернулся. Солдат оттащил несчастного старика к стенке, отступил, пырнул его штыком, обтер штык полой шинели и спокойно пошел вперед к своим.

Под вечер японцы, видимо, ослабели, ружейный огонь стал стихать, и, не добившись успеха, они, как обычно, старались утешить себя беглым артиллерийским огнем по нашему расположению.

В Хэгоутае тушили пожары. Высоко над нами рвались шрапнели. Бой затихал.

— Смотрите, — сказал мне Штакельберг, которому я читал очередное донесение Куропаткину, — как они паршиво стреляют, — и стал выковыривать из пальто застрявшую шрапнельную пулю.

Было около полуночи. Я лежал в полушубке и папахе на твердом китайском «кане» среди повалившихся от усталости чинов штаба корпуса, но заснуть не мог. В двух шагах от меня сидел Штакельберг и что-то писал при тусклом свете стеариновой свечки, прилепленной к китайскому столику. Все распоряжения были отданы, людям подвезена горячая пища, и оставалось только ждать новостей от штаба 2-й армии, которая в этот день должна была снова атаковать Сандепу.

Я задремал и вдруг услышал свою фамилию. Но вот Штакельберг ее повторил, и я понял, что надо встать. А встать я не мог: от усталости и холода меня била нервная дрожь. Вытащив свой драгоценный запас — фляжку с коньяком — и сделав несколько глотков, я вытянулся перед своим начальником. 1-му Сибирскому корпусу предписывалось отходить далеко на север. Я до сих пор не могу забыть охватившего меня в эту минуту чувства негодования!

— На вас я возлагаю эвакуацию раненых, — сказал Штакельберг. — Они все скопились в этой деревне. Берите батальон житомирцев, который вы найдете у южной окраины, и при помощи его организуйте отправку всех раненых на север. К рассвету эвакуация должна быть закончена.

— Павлюк, Павлюк! — крикнул я, выйдя во двор, — давай коней!

Тьма стояла кромешная. Деревню перерезал довольно широкий ручей, мороз был крепкий, и я никак не мог предполагать, что у обрывистого бережка могла сохраниться полынья, едва прикрытая льдом. Васька провалился по брюхо и, к великому негодованию Павлюка, два дня ходил после этого с куском льдины вместо пушистого хвоста.

Усталые, промерзшие житомирцы, потерявшие под Сандепу чуть ли не половину своего состава и почти всех офицеров, сразу поняли важность минуты и бодро разошлись по намеченным им участкам деревни. Во всем

батальоне удалось собрать только десяток носилок. Отряд Красного креста отправил с вечера транспорт раненых и теперь ничем помочь не мог.

— Бери полотнища палаток, втыкай в них винтовки с двух сторон, вот тебе и носилки, — учил я житомирцев.

Я только со стороны видел, как ловко это делают наши сибиряки, а житомирцы этим искусством не владели, и первый же раненый, уложенный на такие носилки, провалился.

— Братцы, пожалейте! Не губите! — взмолился несчастный.

Он был ранен в живот.

— Бери его на спину и неси! — с отчаянием сказал я.

Стоны и жалобы неслись из всех фанз, где в полной темноте рядом с ранеными лежали уже и мертвые. Их распознавали санитары при свете фонариков и оставляли спать вечным сном на чужбине.

Удастся ли вынести всех до той минуты, когда солнце осветит японцам картину нашего позорного отступления? Но японцы не могли, конечно, ожидать для себя подобного успеха и дали нам время вытянуться в две длинные колонны, составленные из солдат, обращенных в носильщиков раненых.

Мы шли со Штакельбергом целый день пешком, молча, при колонне арьергарда. К вечеру он попросил меня съездить в штаб 2-й армии узнать обстановку и причину приказа об отступлении. Но объяснять мне там что-либо никто не пожелал; я оставался чужим среди этих прибывших из России генштабистов, полных апломба и самоуверенности. На их кителях уже красовались боевые награды, щедро розданные командующим армией Гриппенбергом.

К своим я вернулся поздно вечером и застал все начальство распивающим чай в полутемной фанзе. Все казались мне близкими, каждый по-своему разделял глубокую скорбь от всего пережитого. К Герngроссу подошел его ординарец — румяный, веселый, молодой прапорщик — и подал почту. При общем молчании Герngросс долго читал какую-то длинную бумагу, оказавшуюся списком нижних чинов, награжденных «георгием» за Ляоянское сражение. Штабу Куропаткина потребовалось долгих пять месяцев, чтобы выполнить эту формальность.

— Ответь-ка им, Ваня, что все, про кого они тут пишут, в их наградах больше не нуждаются. — Голос этого закаленного в боях начальника дрогнул. — Все они уже на том свете, молятся за них богу, чтобы он простил им хоть часть их прегрешений!

На следующий день я должен был покинуть 1-й Сибирский корпус. Вспоминается, как, расставаясь со мной, Штакельберг долго жал мне руку, как бы предчувствуя, что его личные испытания на этом еще не кончились.

Много лет спустя мы еще раз встретились на приеме у Николая II. В ожидании выхода царя все представляющиеся — кто по случаю получения орденов, кто по случаю новых назначений — были выстроены в одну шеренгу в зале Александровского дворца в Царском Селе. Штакельберг — как один из старших членов Военного совета, этого почетного склада генералов, — стоял на правом фланге, а я — как молодой полковник и военный агент — на левом. Ко всеобщему изумлению, Штакельберт неожиданно вышел из рядов, пересек залу и, подойдя ко мне, крепко, молча обнял меня. Никто из присутствующих не мог догадаться о пережитых нами вместе часах под Хэгоутаем.

Возвращаясь к жизни после только что пережитого тяжелого кошмара, узнаю, что наше новое поражение приписывают в главной квартире как раз действиям славного 1-го Сибирского корпуса, поплатившегося на моих глазах сорока процентами своего состава за преступления высшего командования.

Решение об отступлении было принято Куропаткиным после получения донесения от некоего генерала Артамонова, занимавшего участок на фронте бездействовавшей 3-й армии. Артамонову почудилось скопление каких-то крупных сил противника. Это оказалось на руку нашему главнокомандующему, давно лелеявшему мечту отказаться от широких планов наступления, связанных со столь опасной, по его мнению, разброской сил. Попытки 1-го Сибирского корпуса развить наступление не входили в планы Куропаткина, и виновным оказался не Артамонов, доносивший о мнимой угрозе, а Штакельберг,

притянувший на себя значительные силы противника. Артамонову это не помешало впоследствии получить в командование тот корпус, паническое бегство которого в мировую войну послужило началом разгрома армии Самсонова в Восточной Пруссии. Великий князь Николай Николаевич, в припадке ярости, как рассказывали, сорвал с Артамонова погоны.

Но случай с Артамоновым послужил для Куропаткина только предлогом. Более существенным являлись разногласия Куропаткина с командующим 2-й армии Гриппенбергом. Последний не соглашался с целым рядом распоряжений Куропаткина, возражал на получаемые приказы и навязывал Куропаткину свои планы. Бездействие 2-й армии во многом было следствием взаимоотношений между этими двумя генералами.

Начальник штаба главнокомандующего Сахаров, выслушав мой горячий протест против обвинений, возводимых на 1-й Сибирский корпус, повел меня к самому Куропаткину и полушутливо пожаловался, что он со мной не может сладить, что я на него «кричу» и возвожу Штакельберга в герои. Главнокомандующий молча показал мне только что составленное им письмо Штакельбергу, его старому соратнику по Туркестану. В нем он объяснял, как тяжело ему лишать «дорогого барона» командования столь славными войсками, но что он вынужден это сделать вследствие непопулярности генерала у этих самых войск. Письмо заканчивалось приветом баронессе Штакельберг — «этому ангелу-хранителю».

Большего лицемерия и малодушия придумать было нельзя.

Возмущенный, я стал доказывать, что войска 1-го Сибирского корпуса воспитаны железной волей Штакельберга, что в операциях, которых я был свидетелем, виновен не корпус, а распоряжения 2-й армии...

В эту минуту через большое зеркальное стекло салон-вагона мы все трое увидели плавно проходивший на север поезд генерала Гриппенберга.

— Обиделся! Едет без моего разрешения жаловаться на меня в Петербург, — спокойно промолвил Куропаткин.

«Где же тут дисциплина?» — подумал я, выйдя из вагона.

Исчезла уверенность в победе, погас пыл молодого военного задора, как казалось, навсегда.

Глава девятая

МУКДЕН

— Алло, алло! Кто у телефона?

— Начальник штаба четвертого Сибирского корпуса.

— С вами говорит главнокомандующий. Здравствуйте, милый Ведель!

— Здравия желаем, ваше высокопревосходительство!

— Я хочу вас предупредить, — мне, быть может, понадобятся ваши славные войска. Японцы предприняли глубокий обход против нашего правого фланга!

— Не посмеют, ваше высокопревосходительство!

— Как не посмеют? Они уже вчера вечером дошли до линии деревень Салинпу — Ламуху, а конница — чуть ли не до Симинтинской дороги.

Минутная пауза.

— Да есть у вас карта?

В китайской фанзе, в тридцати верстах от вагона Куропаткина, генерал Ведель кричит:

— Крымов, Крымов, скорее карту!

Крымов, мой коллега по академии, сразу нашел на карте деревню и своим толстым пальцем указал растерявшемуся шефу.

— Ну, что, нашли? — спрашивает Куропаткин.

— Подлецы, ваше высокопревосходительство! — ответил Ведель после небольшой паузы...

Разговор этот происходил 17 февраля 1905 года. Шло Мукденское сражение.

Я сидел в поезде главнокомандующего. Неизбежность катастрофы была уже ясна: орудийная канонада доносилась не только с фронта, но уже и с фланга и чуть ли не с тыла, грозно обозначая неумолимое обходное движение.

У нас на правом фланге были сосредоточены только что прибывшие из России необстрелянные полки. А против них двигалась армия Ноги, закаленная в кровопролитных боях под Порт-Артуром.

Мне лично, кроме того, хорошо был известен тыл нашего правого фланга, так как, вернувшись из боя под Сандепу, я был послан обследовать состояние тыловой позиции под Мукденом. Наспех построенные форты нельзя было сравнить с ляоянскими укреплениями. Да

к тому же они оказались наполовину засыпанными песком, поднимавшимся при ветре с берегов реки Хунхэ. Зная, какую роль при обороне играли китайские деревни, я счел тогда же своим долгом проехать верст десять на фланг укрепленной позиции, и тут уже удивлению моему не было границ: строго исполняя указания верховного командования, армии проложили по всей равнине вдоль гаоляновых полей широчайшие тыловые пути. Вдоль каждого из этих путей стояли столбы с дощечками, на которых яркочерной краской было обозначено: тыловой путь такого-то армейского корпуса!

Любой прохожий и проезжий узнавал без труда и к тому же из официального источника такие вещи, которые армия должна беречь в строжайшем секрете. Мало того, прошло короткое время, и японская армия использовала для преследования наших войск эти заранее заготовленные, отлично отделанные нами дороги.

В тот солнечный февральский день, когда я объезжал эти места, здесь еще не было видно признаков войны. Соскучившись от долгой стоянки на месте и полного безделья, многочисленные обозные роты и нестроевые команды играли в городки посреди широчайших и чисто выметенных улиц. Китайские детишки оживляли мирную картину своим гортанным веселым смехом при каждом попадании палки в городок. Солдат было несметное множество, но ни одного часового не было выставлено. Я стал искать офицеров, чтобы узнать о мерах, принятых для охраны селений хотя бы от хунхузов, отряды которых, под руководством японцев, становились все более дерзкими.

До меня уже доходили и раньше слухи о картежной игре среди офицеров, но все же я не ожидал застать самого начальника гарнизона — какого-то обрюзгшего подполковника — среди дня во главе большого стола, на котором кучей лежали кредитные билеты. Появление мое никого не смутило, и начальник, узнав с величайшим удивлением о моей миссии, объяснил, что никаких распоряжений по приведению деревни в оборонительное состояние он не получал, а потому и предпринимать ничего не собирается.

— Да в конце концов, — сказал он, — это дело сапер, а не наше! У нас для этого даже инструмента нужного нет...

Об этом я со свойственным молодости пылом составил возмущенный рапорт Эверту, но, повидимому, рапорт был «пришит к делу» и остался документом для будущих историков.

Как же все-таки случилось, что мы так внезапно и неожиданно могли быть обойдены и что канонада с каждым часом все дальше продвигалась на север?

После операций под Сандепу все наши три армии, силой свыше 300 000 человек при 1 320 орудиях и 56 пулеметах, вытянулись в одну сплошную линию протяжением около ста пятидесяти верст. Страх перед возможностью обхода достиг у Куропаткина максимального предела, и чем больше прибывало из России подкреплений, тем длиннее становился фронт.

Хотя о японцах мы имели уже гораздо больше сведений, чем в начале войны, но разгадать, куда направится армия Ноги, наше разведывательное отделение все же не могло. При таких условиях все генштабисты главной квартиры с Эвертом во главе настаивали на образовании общего могучего резерва и составили даже по этому вопросу подробный доклад. Однако мы сознавали, что осуществить этот простой план все равно не удастся. Командующие армиями сумеют привести все доводы против образования общего резерва за счет ослабления их сил.

Заменивший Гриппенберга Каульбарс будет подготавливать новое наступление на то же злосчастное Сандепу; Бильдерлинг, занимая центр всего расположения, станет доказывать растянутость фронта 3-й армии, а командующий 1-й армией Линевич подчеркнет значение горного района на левом фланге.

Войска, положившие столько труда на укрепление своих участков, как бы сроднились с ними и вросли во все эти бесчисленные форты, землянки и ходы сообщений. Нужна была какая-то посторонняя внешняя сила, чтобы оторвать их от насиженных мест. А этой силы у Куропаткина не могло быть. Японцы знали слабости нашего командования и потому, несмотря на превосходство наших сил, сами решили перейти в наступление.

Если в предыдущих сражениях у Куропаткина имелся какой-то заранее намеченный план, то под Мукденом он как бы добровольно передал с самого начала всю инициативу в руки Ойямы, а тот играл с нами, как кошка с мышкой.

В первых числах февраля он в буквальном смысле «напугал» Куропаткина наступлением Кавамура на крайнем левом фланге, отстоявшем чуть ли не за сотню верст от главной квартиры, и для получения нужного эффекта придал наступающим войскам одну из дивизий, прибывших из-под Порт-Артура. На свое счастье, он встретил с нашей стороны прежде всего знаменитого у нас генерала Алексеева. Генерал Алексеев имел еще и прозвище. Не знаю почему, но его прозвали «Желтоглазым». Это был генерал из «хозяйственных»: его воинский дух приходил в возбуждение, едва раздавался первый выстрел. Тогда «Желтоглазый» начинал распоряжаться и приказывать.

— Как раздадутся первые артиллерийские выстрелы, — рассказывал мне казачий сотник, забубенная лихая головушка, состоявший при «Желтоглазом» ординарцем, — так я уж знаю свое дело! — «Мулов, муликов наших подальше в тыл». Это для моего старика самое главное дело.

Встретившись с армией Кавамура, Алексеев ради спасения «муликов» и имущества откатился сразу перехода на два назад. А вечером этого дня он плакался своему лихому ординарцу:

— Плохо мое дело! Плохо!

— Да уж не так плохо, ваше превосходительство, — пытался возразить ординарец. — Арьергарды выставлены, японцы не преследуют, завтра получим подкрепление!

— Ах, да что ты, дорогой, — возражал Алексеев. — Это все пустяки! А ведь корпуса-то мне теперь не дадут?!

На это, конечно, мой приятель ему ответа дать не смог.

Не все, однако, начальники были похожи на Алексеева, и напрасно рассчитывал Куроки на быстрый успех на левом фланге. Славные сибирские корпуса дрались, как львы, и кровью своей создали репутацию непобедимости командующему 1-й армией — Линевичу.

Бешеные демонстративные атаки Куроки действовали больше на Куропаткина, так как кошмар возможного выхода японцев по кратчайшему направлению на наши сообщения висел над ним с самого начала войны. Об этом постоянно напоминал ему его предшественник адмирал Алексеев, об этом он, вероятно, не раз сам вспоминал после минут, пережитых под Ляояном.

Развивая свою демонстрацию постепенно к центру нашего расположения, неприятель стал громить Путиловскую сопку из подвезенных им на фронт осадных и морских орудий, от которых душа уходила в пятки не столько у войск, сколько у их престарелых начальников.

При таких условиях армия Ноги могла спокойно предпринять глубокий обход нашего правого фланга. С этой минуты все фатально вело нас к печальной развязке.

Общего резерва у Куропаткина не было. Оставалось только по мере продвижения японцев к северу загибать постепенно наш фланг, образуя новый фронт для прикрытия Мукдена с запада. Но Куропаткин потерял веру в своих подчиненных.

Наступила общая растерянность. Через голову непосредственного начальства Куропаткин вырывал полки и даже батальоны, направляя их для затыкания дыр. В результате никто уже не знал, кому следует подчиняться, тем более что для объединения командования на новом фронте создавались один за другим импровизированные отряды.

В этой обстановке даже мне, молодому капитану, довелось получить в командование отряд. Это был отряд, составленный из хлебопеков. Характерно, что на пятый день наступления Ноги наш главнокомандующий генерал-адъютант Куропаткин не имел в своем распоряжении никаких других солдат, кроме хлебопеков.

Я встретил главнокомандующего случайно под вечер, на переезде через железную дорогу, неподалеку от мукденского вокзала.

Остановив коня, Куропаткин с явно вынужденной улыбкой сказал:

— Там, у Северного разъезда, японцы что-то пошаливают. На всякий случай, Игнатьев, возьмите два батальона хлебопеков. Они сейчас выстроены у моего поезда. А у вокзала захватите батарейку да по дороге соберите два-три десятка казачков и ведите отряд к Северному разъезду. Там развернитесь и прочно займите его.

Самое название «Северный разъезд» привело меня в беспокойство, так как наводило на мысль об окружении нас японцами. Такая возможность не приходила мне в голову, пока меня посылали на южный или на западный фронт. В штабе же Куропаткина продолжал царить

оптимизм. Там я ежедневно видел схемы, внушавшие полное доверие к общему положению; там я читал приказы о формировании нового фронта под начальством Каульбарса, о переброске в Мукден все того же 1-го Сибирского корпуса под начальством Гернгросса; там я слышал о нашем переходе в решительное наступление. Но, видимо, всей этой штабной «работой» начальство мечтало только оправдать себя перед историей.

Мой Северный разъезд оказался расположенным на небольшой насыпи, прикрывавшей нас от японцев. Вокруг — полное безлюдье, и только по рельсам быстро, без свистков то и дело мчались на север товарные поезда. Они вывозили из Мукдена все, что можно было успеть спасти.

Главная квартира переживала последние тревожные часы своего пребывания в Мукдене. Но, видимо, для поддержания падавшего с каждым часом настроения окружающих главнокомандующий, несмотря на критическое положение, не решался отправить свой поезд на север.

«Я здесь, я еще не отступил», — должны были говорить каждому проходившему через мукденскую площадь ярко освещенные вагоны.

Эверта, к которому я приехал доложить о положении дел на Северном разъезде, я встретил у поезда. Куда девались самодовольная улыбка, самоуверенный тон этого бравого генерала?

Не слушая моего доклада, он схватил меня за рукав полушубка и уже не командным, а каким-то просящим тоном сказал:

— Примите, голубчик, скорее в свое командование топографическое отделение. Вы его найдете на втором пути в теплушках. Скорей, скорей распорядитесь погрузить все имущество вон на эти повозки, что вы видите там у домиков.

«С ума сошел», — решил я.

Уж если спешить, так скорее можно вывезти имущество по рельсам, чем по дороге, тем более что Мандаринская дорога на север проходила в непосредственной близости к железной.

Все укладывали тюки «дел» на длинные парные дроги из-под хлеба!

Я решил действовать на свой риск и страх. Быстро обежал я пять теплушек, где сидели мои новые подчи-

ненные — офицеры-топографы, солдаты-чертежники и писаря.

Безвестные труженики-топографы считались офицерами самого последнего разряда. Они жили, ели и спали вместе с солдатами среди вороха карт, схем и «дел». Вид этих груд бумаги только утвердил меня в решении не исполнять приказа начальства.

— Забирайте побольше хлеба, воды и свечей! После этого заприте наглухо вагоны и не выходите в течение двух дней. Поняли? — сказал я топографам.

Я знал, что каждую ночь происходило маневрирование у нашего, казалось бы, мирно стоящего поезда. То ли железнодорожное начальство хотело показать главнокомандующему свое рвение, то ли по присущему нам, русским, вкусу к переменам какие-нибудь начальники перебирались со своими вагонами из хвоста поезда в середину. В результате этих ночных маневров никто по утрам не знал, где какой вагон находится.

Отыскав сцепщика, подлезавшего с фонариком под какие-то скрепления, я тихо сказал:

— Послушай, братец, вот тебе список номеров пяти вагонов, которые ты сейчас же отцепишь и пристегнешь к первому же отходящему на север поезду.

Свое распоряжение я подкрепил трешкой.

— Покорнейше благодарю, ваше благородие. Будет исполнено! — прошептал сцепщик.

Впоследствии, когда мукденский кошмар кончился и я стал разыскивать свои вагоны, то три из них оказались в Харбине, а два докатились до самой Читы. Так или иначе ценные карты были спасены, а за мной закреплена должность начальника топографического отделения.

По-иному окончилась эпопея для той части штабного имущества, которое было погружено на конные повозки. Едва успели они отойти на переход к северу от Мукдена, как попали в лавину: по Мандаринской дороге в панике отступала вся армия. Под перекрестным огнем японских шимоз ездовые отрубили постромки и ускакали. На спасение этого драгоценного имущества были посланы казаки во главе с есаулом.

Полковник генерального штаба Ильинский, начальник отчетного управления, рассказывал мне потом, что из этого вышло.

Я еле упросил Сахарова дать мне сотню казаков, чтобы вывезти эти архивы. Они ведь оказались между японскими авангардами и нашими заставами. Я дал есаулу все указания, все приметы, и вот он вернулся и торжествующе доложил:

— Нашли, господин полковник! Нашли!

— Ну, и где же они?

— Мы их сожгли!

Полковник Ильинский был безутешен.

Со всклокоченными седеющими волосами и выпученными подслеповатыми глазами носился он по станции, не переставая плакать:

— Подлецы! Темень наша несчастная! Темень наша российская! Сожгли! Сожгли!

В то самое утро 24 февраля, когда наш штабной обоз медленно продвигался к своей гибели, а мои вагоны безудержно катили в направлении Харбина, — Куропаткин снова сел на своего вороного холеного коня и поскакал со свитой и несколькими еще уцелевшими генштабистами «спасать положение». Эта кавалькада лишь внешне напоминала переход в наступление на Шахэ. Теперь мы скакали уже не разбивать японцев, а пытались выйти из того огненного кольца, которое все сильней и сильней смыкалось в тылу наших несчастных армий. Там, в нескольких десятках верст к северу от Мукдена, должен был якобы образоваться «кулак», который Куропаткин собрал с бору да с сосенки, намереваясь нанести им «решительный удар» во фланг обходящим нас японским войскам.

С окраины одной из деревень, в которой мы остановились, действительно можно было наблюдать, как наши серые густые цепи вяло, одна за другой, подобно волнам отлива, удалялись от нас на запад, навстречу невидимому врагу. Южный ветер усиливался с каждой минутой, подымая тучи желтой пыли, и она скрывала от нас эти человеческие волны. Но через несколько минут из-за песчаной завесы появились сперва отдельные раненые, потом носилки, потом уже кучки людей. Отлив стал переходить в прилив. С ним боролись новые цепи, посланные на поддержку расстроенным передовым ротам.

Меня позвали к главнокомандующему. Диктовать приказания уже не было времени.

— Поезжайте, милый Игнатьев, поскорее к Лауницу, — сказал он. — Вы найдете его у «Императорских мо-

гил». Предупредите его, что я перехожу в решительное наступление в юго-западном направлении, и убедите поддержать наш удар всеми наличными у него резервами. Ободрите его!

Ни о силах, которыми располагал Лауниц, ни о его резервах я не имел ни малейшего представления, но расспрашивать об этом я не посмел и потому, повторив приказание, тут же вскочил на коня. Куропаткин, однако, успел на прощанье «ободрить» и меня самого:

— А знаете, на участке, куда вы едете, только что убит наш Запольский. Ну, храни вас бог.

Предчувствуя наступление трагической развязки, без веры в удачный исход атаки Куропаткина, я сознавал важность удержания «Императорских могил» — этого крупного редюита, прикрывавшего Мукден, и потому напрягал все свои силы, чтобы как можно скорее до него добраться. Песчаный ураган скрывал решительно всю местность, и двигаться приходилось исключительно чутьем; на компас смотреть было некогда. Павлюк, ехавший за мной, уже воздерживался, против обыкновения, от советов и обрадовался лишь, когда с полной рыси мы налетели на вековые сосны «Императорских могил». Сильнейшая ружейная трескотня слышалась справа, и как только я повернул в этом направлении, пули звонко защелкали о красные стволы величественных сосен.

— Жаль коней! Как хотите, а надо слезать! Я тут укроюсь с конями, а вы идите пешком искать начальника, — запротестовал Павлюк.

Он был, пожалуй, прав. Я повиновался и через сотню шагов у самого северного угла этого китайского заповедника увидел крохотную каменную кумирню, за которой примостились пять-шесть офицеров. Это и оказался штаб Лауница. Сам он стоял впереди, на валу, у самой опушки, подзывая к себе то одного, то другого из своих подчиненных. Он заставил меня докладывать, стоя спиной к деревне, откуда трещали японские пулеметы. Он, как нарочно, держал меня перед собой довольно долго, расспрашивая о подробностях куропаткинского наступления. На его бесстрастном, обросшем жидкой бородкой лице нельзя было заметить и признаков волнения, а в серых холодных глазах светились только жестокость и непреклонная воля.

Но что мог сделать этот начальник, когда ему собрали

войска из разных полков и дивизий. Вся организация армии давно была нарушена, полковые обозы давно уже в панике «отступили на север», и нужно было только преклоняться перед тем мужеством, с которым все эти безвестные герои еще отстаивали под непрерывным огнем каждый шаг чуждой им земли.

Никто не знал истинного положения дел. Даже чины штаба Лауница еще наивно верили, что сражение не проиграно, что Куропаткин имеет в своем распоряжении могучие резервы и что надо лишь как-нибудь продержаться хоть несколько часов. И чем наивнее были вопросы со стороны окружавших меня людей, тем более грозной представлялась мне минута, когда истина предстанет перед ними во всей наготе, — когда им станет известно, что для прорыва вражеского окружения у нас резервов нет и что для отхода сотен тысяч людей остается лишь узкий проход в десяток верст между передовыми частями обошедших нас японцев и горными массивами, нависшими над единственным путем отступления — Мандаринской дорогой. Они содрогнулись бы, если бы, взглянув на карту, поняли, что для выхода из этого мешка потребовалось бы не менее двух-трех дней, а для окончательного его закрытия неприятелем, быть может, всего несколько часов, но я должен был молчать. Таков был служебный долг.

В главной квартире, которую я нашел к вечеру верстах в пятнадцати к северу от Мукдена, все, конечно, понимали, что положение безнадежно. Однако, неизвестно зачем, врали и рассказывали друг другу о подходе к утру целых дивизий из 1-й армии. Впрочем, роковой приказ об отступлении, подписанный Куропаткиным около полуночи, никого не поразил. Все ясно сознавали только, что он не выполним, что несчастным нашим армиям, оставшимся на фронте к югу от Мукдена, вылезти целыми из «мешка» не удастся.

Сердце щемило от сознания беспомощности, когда на рассвете меня вызвали к Эверту.

— Ну, Алексей Алексеевич! Мы с вечера потеряли связь с Линевичем! Что случилось — непонятно! Выберите конвой на лучших конях и поезжайте сейчас же разыскивать его штаб. Следуйте вот по этой долине, — указал мне Эверт на карту. — Он, наверно, должен находиться в этом направлении. Передайте ему этот конверт, который,

в случае опасности, уничтожьте. Содержание вам известно: это приказ об отступлении. Никому не говорите об этом поручении.

Пересекая при первых лучах восходящего солнца Мандаринскую дорогу, я уже с трудом пробрался через несколько рядов обозных колонн, продвигавшихся на север. Все еще было тихо, и ничто не предвещало той грозы, которая разразилась через несколько часов.

Последним видением при моем расставании с местом будущей мукденской катастрофы был тот старенький генерал с седой бородой и белым крестиком, которого я год тому назад встретил на Далинском перевале. В первую минуту я даже обрадовался Левестаму и свернул с дороги, чтобы с ним поздороваться. Генерал был без шарфа, без шашки, у него был такой растерянный вид, что мне стало не по себе.

— Весь день, всю ночь шли! Вот — посмотрите, что я могу с ними сделать? — он указал на серые пятна людей, покрывавшие зеленовато-желтые склоны отлогой лощины. Большинство спало крепким сном.

Задерживаться я не мог и въехал в указанную Эвертом долину. Она была похожа на все другие столь уже мне знакомые горные долины, но забыть ее я не смогу, так как именно в ней пришлось мне хлебнуть из чаши общего позора.

Единственной встреченной мною воинской частью оказалась казачья сотня под начальством какого-то близорукого сотника в пенсне.

— Куда это вы, господин капитан? — спросил он меня. — Впереди уже наших никого нет. Я вот снял последние заставы и к своей первой армии присоединиться уже не смогу.

Не поверил я есаулу, зная порядки в наших казачьих частях, и поехал дальше. Но тщетно искал я нашу армию. Стало ясно, что Линевич, не дождавшись приказа, сам вынужден был отступить; что приказ, посланный со мной, потерял значение и что мне оставалось лишь попытаться самому не попасть в плен.

К вечеру мы оказались в гуще наших отступавших и деморализованных войск.

— Чего там дохтур затесался?

— Тащи его долой с коня!

— Какой там дохтур? Не видишь, что ли, что штабной!

— Все единственно! Чего дорогу конем загораживает? Видишь, весь народ пешком идет!

На плечах этих бородачей еще мелькали погоны всех цветов радуги, все они несли никому уже не нужные винтовки, но это уже были не солдаты. Офицерства не видно; оно где-то плетется, стараясь не быть замеченным. Оно бессильно привести в какой бы то ни было порядок этот стихийный поток, рвущийся на север, подальше от кошмара пыльных мукденских полей.

И когда в Париже, после революции, я слыхал и читал про распад царской армии; когда среди наших бригад, посланных во Францию, я видел воочию крушение всякой дисциплины, — у меня невольно вставала перед глазами картина мукденского отступления, наглядный пример хрупкости тогдашней русской военной системы.

Павлюк, мрачнее ночи, советовал свернуть с дороги и вылезть из этого моря враждебной толпы — бывшей «царской армии». Измученные кони спотыкались о какие-то невидимые в темноте бугры. Обессиленные, мы оба прилегли заночевать у первой попавшейся глинобитной стенки, но и сквозь сон я продолжал слышать несмолкаемую трескотню. То были, однако, уже не пулеметы, а попросту колеса отступавших двуколок.

Наутро человеческий поток обмелел, и, добравшись до Телина, мы остановились отдохнуть и покормить коней.

Здесь глазам представилась незабываемая картина. Все громадное пространство от вокзальной площади до видневшихся вдали интендантских складов было запружено толпой солдат, и каждый держал в руках чуть ли не по половине соленой кеты и жадно рвал ее зубами. Эти запасы амурской рыбы заготовил наш заботливый главнокомандующий на великий пост. Но голодная толпа решила не ждать поста и, разбив склады, тут же их опустошила.

Повидимому, это зрелище заинтересовало и самого Куропаткина, и он решил лично ознакомиться с настроением солдатской массы.

Проходя мимо нашего котелка, под который Павлюк старательно подкладывал сухой гаолян, главнокомандующий остановился. Вероятно, ему понравилась наша гвардейская выправка, так как, выслушав наше «здравия желаем», он неожиданно обратился ко мне:

— А у вас, милый Игнатьев, еще совсем бодрый вид! Чем это вы довольны?

— Хуже сегодняшнего быть не может, ваше высокопревосходительство! А завтра, может быть, будет лучше.

— Ах, вот вы какой?! Ну, я буду всегда вместе с вами воевать.

Через двенадцать лет, будучи назначен командующим Северным фронтом, Куропаткин прислал мне в ставку французской армии телеграмму с предложением перейти на службу в его штаб...

Меня вызвали к начальнику штаба.

— Сколько вам надо времени, чтобы написать все эти приказания? — спросил Сахаров, усаживая меня за стол в своем салон-вагоне и передавая кипу карандашных записок Куропаткина.

Едва пробежав первую записку, я увидел, что дело идет о порядке дальнейшего отступления. Записок было много, голова работала уже плохо.

— В обычное время мне понадобилось бы два часа, а сегодня — не меньше пяти, — ответил я Сахарову.

— Тимошкин, Тимошкин, — позвал Сахаров своего денщика. — Тащи капитану из столовой главнокомандующего все, что они пожелают.

И обращаясь ко мне:

— Ну, а я пойду прилягу! Когда кончите, разбудите.

— Мне только надо было бы знать, куда адресовать приказания. Где располагаются в данный момент хотя бы штабы армий? — спросил я.

— А вот этого и я не знаю, — ответил мне начальник штаба в обычном для него полушутливом тоне. — Пишите просто: штаб такой-то армии!

Писать приказы, распределять тыловые учреждения, делать расчеты порядка маршей, — всему этому нас в академии хорошо обучили. Поглощенный работой, я даже не отдавал себе отчета, как далеко мы уходим от тех мест, где еще вчера напрасно пролилось столько крови.

На другой день Сахаров отправил меня в Гунчжулин — срочно организовать печатание карт нового района. Подолгу приходилось сидеть у костра, пылавшего посреди большого китайского двора, и ждать, пока

отогреются очередные литографские камни, на которые наносились нужные нам листы карт. За целый год главный штаб не удосужился нас ими снабдить! У нас не было даже бумаги. На счастье, удалось притянуть с севера мои вагоны, и мы нашли применение для оборотной стороны карт Южной Маньчжурии, которыми нам, увы, уже не суждено было пользоваться.

Беседовать в Гунчжулине было не с кем. Слишком большая пропасть лежала между генштабистами и топографом или интендантом. В этой тыловой атмосфере, незаметно для себя, я с каждым днем все больше убеждался в том, что продолжать нелепую войну преступно.

— Куда идешь, служивый? — спросил я, идя на вокзал, у бородача с винтовкой, на штык которой были насажены два каравая хлеба. Он остановился, но, не сходя с железнодорожного пути, спокойно и рассудительно ответил:

— Домой иду, ваше благородие! В Тамбовскую губернию! Так что полк наш совсем разбили, я вот и решил, что пора кончать.

Не знаю, до чего довели бы меня эти черные мысли, если бы не пришла весть, что через Гунчжулин проследует поезд Куропаткина. Офицеры стали обсуждать, следует ли им идти приветствовать опального сановника. Но солдаты дружно устремились к вокзалу навстречу поезду...

— Он нашего брата солдата жалел! — объяснил мне один раненый сибирский стрелок на костылях.

Когда поезд подошел, один из адъютантов вышел к выстроившимся в шеренгу офицерам и пригласил войти в салон-вагон.

За несколько дней Куропаткин поседел, но не потерял своего спокойного, уравновешенного тона.

— У вас голос хороший, милый Игнатьев. Вот вы и прочтите всеподданнейшую телеграмму, отправленную мною вчера государю императору.

Я ее запомнил, кажется, дословно:

«Согласно повелению вашего императорского величества, сдал сегодня должность главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке генералу Линевичу и выехал в С.-Петербург... В воздаяние всей моей прежней службы и участия во многих походах,

прошу, как милости вашего императорского величества, разрешить мне остаться на театре военных действий до той минуты, пока не грянет последний выстрел в войне с Японией... Полагаю, что с успехом смог бы принять командование одним из корпусов. Смею заверить ваше величество, что генерал Линевич найдет во мне всегда самого дисциплинированного подчиненного. Буду ждать решения вашего величества в поезде по пути в Россию».

Читал я громко и внятно, но тяжело было справиться с волнением.

Нагнувшись, чтобы обнять на прощанье своего бывшего начальника, я забыл обо всем, что накопилось горького в душе против него. Эта минута меня спасла, а громкое дружное, неподдельное «ура» солдатской массы, провожавшей поезд, окончательно подбодрило. Как мог я допустить себя до столь недостойного малодушия, когда такой старый воин, перенесший всю тяжесть поражений и позорно сброшенный с высокого поста, так покорен ударам судьбы и так безоговорочно готов на любом посту защищать свою родину и честь ее оружия.

Глава десятая

КОНЕЦ ВОЙНЫ

Бесславно начатая война бесславно и кончилась.

Гром орудий, трескотня японских пулеметов, общая неразбериха, паника, разгром — все осталось где-то далеко позади. Армии пришли в порядок — не столько по распоряжениям высокого начальства, сколько благодаря скромным ротным кашеварам и спасенным при общем бегстве походным кухням. К ним стекались солдаты, измученные тяжелыми боями, собирались роты, из рот батальоны, полки, дивизии, корпуса. Никому уже не приходило в голову покинуть драгоценную ротную кухню. Японцы так были измучены, что заснули на тех самых местах, до которых дошли после мукденских боев. Напрасно военные историки упрекают маршала Ойяму в недостатке энергии при преследовании. Седан может не удаться войскам, которые дошли до предела изнеможения.

Наши же армии после нескольких переходов вновь окопались, — но уже всерьез, — на новых позициях. Наступил

последний акт маньчжурской драмы — сыпингайское сидение.

Всеподданнейшая телеграмма Куропаткина возымела свое действие при дворе: Куропаткин и Линевич попросту обменялись ролями, и бывший главнокомандующий принял командование 1-й Маньчжурской армией. «Папашка» Линевич был очень смущен, получив в подчинение своего бывшего начальника, и спросил, не желает ли Алексей Николаевич взять к себе в армию кого-либо из своих сотрудников по штабу главнокомандующего. Кроме Эверта, ставшего начальником штаба армии, Куропаткин попросил двух генштабистов: подполковника Пневского и меня.

«С получением сего сдайте все дела штабс-капитану такому-то и немедленно выезжайте в штаб 1-й армии», — гласила телеграмма, полученная мною в Гунчжулине.

«Выгнали!» — подумал я в первую минуту, не зная ничего про возвращение Куропаткина. Сдавать должность своему подчиненному показалось обидным; он, впрочем, и сам был не менее меня смущен.

— Седлай! — сказал я Павлюку, — через час выезжаем!

Сумрачное утро как раз соответствовало невеселому настроению, в котором я проезжал мимо поезда Линевича. Около вагон-ресторана собрались в ожидании обеда иностранные военные агенты и несколько моих товарищей по службе в штабе главнокомандующего. Но никто на меня не обратил внимания, — переходя в низший штаб, я разделял участь своего высокого начальника.

Зато с каким неподдельным радушием встретили меня офицеры артиллерийского парка 1-й армии. У них пришлось заночевать. За тарелкой горячих щей вспоминались былые бои, перипетии отступления, но никто из присутствующих не обмолвился упреком по адресу Куропаткина. Наоборот, все были довольны его возвращением.

1-я армия, составленная из закаленных войной четырех сибирских корпусов и 1-го армейского, старого соратника еще на Шахэ, как улитка вошла в свою скорлупу, оградившись от других армий, прибывших из России. Полки гордились уже своими традициями, своими героями; 1-й Восточно-Сибирский «его величества стрелковый полк» переменил уже за время войны четыре раза чуть не весь свой состав. Артиллерия сроднилась со стрелками,

спелась с ними в боях. Пусть в России военный министр, толстяк Сахаров (брат начальника штаба), изощряется в ядовитых пометках на телеграммах «Кура»; пусть престарелый Михаил Иванович Драгомиров, командующий Киевским округом, пускает свои остроты, как, например, «не люблю куропатку под сахаром», — сибиряки как бы назло всем и вся продолжали доверять своему командующему. Помню, как на каком-то параде, устроенном по случаю приезда Линевича, Куропаткин «печатал ногу», проходя, как полагалось высшему начальству, на фланге 1-й роты и заходил, салютуя, перед своим бывшим подчиненным.

«Нашему главнокомандующему ура!» — крикнул Куропаткин, обращаясь к толпе офицеров, собравшихся вокруг коляски отъезжавшего Линевича. «Ура» было подхвачено, но насколько же оно было громче и звонче, когда через несколько минут и офицеры и сбежавшиеся из палаток стрелки без всякого вызова провожали самого Куропаткина.

Я был назначен начальником топографического отделения. Через две-три недели уже были изданы первые листы двухверстной карты. Она охватывала сперва район самого фронта, представлявший собой широкую полосу, а затем, памятуя о пристрастии японцев к обходам, пришлось продлить ее в глубину с обоих флангов. В результате на стенах штабов все лето красовались «игнатьевские штаны», как прозвали мою карту досужие насмешники. Они перестали смеяться только с той минуты, когда «штаны» сошлись с картой, снятой японцами как продолжение нашей старой двухверстной. Мои подчиненные торжествовали, так как им пришлось астрономически определять отправные точки для съемки. Самым обидным в моей работе явилась необходимость бороться за доставление уже готовых листов карты в войска: каждый штаб, каждый высший начальник считали, что надежнее хранить карты подальше от войск, в обозе 2-го или 3-го разряда, чем выдавать на руки. Какие последствия это будет иметь в случае боя, никого не интересовало.

Все мы были озабочены сравнительно малым числом штыков в боевых линиях. Японская дивизия оказывалась в этом отношении сильнее нашего корпуса. Правда, нам было известно, что японцы непрерывно получали пополнения даже в бою от следовавших в ближайшем тылу

запасных батальонов, тогда как мы укомплектовывали свои части, и то не до штатного состава, периодически, после сражений, людьми, прибывавшими из далекой России. Но все же боевой состав полков далеко не соответствовал их наличному составу.

Точь-в-точь, как когда-то в кавалергардском эскадроне не с кем было заниматься боевой подготовкой из-за многочисленных нарядов, так в Маньчжурской армии некого было вести в бой. Денщики «господ офицеров», обозные, кучера, кузнецы, портные, сапожники — все это было пустяками сравнительно с конвоями и нарядами по охранению решительно всего. Как-то раз на досуге мы подсчитали, что в мукденском сражении на охрану одних только полковых знамен, считая на каждое из них в среднем по полуроте, была затрачена чуть ли не целая дивизия!

— А не упразднить ли совсем эти священные хоругви? — рассуждали вольнодумные генштабисты. — Ведь в современном бою они развертываются только под пером талантливых писателей или под кистью художников, рисующих батальные картины.

Пробовали мы убедить наше командование оставить на фронте завесу и отвести хотя бы половину корпусов в общий резерв, с целью скрыть наши планы в случае перехода в наступление и парировать контрударом наступление или обход противника. Так требовала наука. По-видимому, наша критика дошла до Куропаткина, так как однажды за воскресным обедом у него в палатке (после мукденского поражения он стал проще и приглашал нас, генштабистов, к своему столу) он обратился ко мне:

— Игнатьев! Познакомили бы вы меня с песнями, что распевали вчера под гитару!.. Вы не смущайтесь, я рад, когда молодежь веселится. Это мне работать не мешает. Один немецкий профессор сказал: «Назови того дураком, кто сможет писать, когда над его головой играют на рояли». А мне — хоть поставь под окном шеренгу барабанщиков, — я все равно буду работать.

Воцарилось гробовое молчание, но сидевший против Куропаткина протоиерей Голубев не выдержал и подобострастно заметил:

— Ваше высокопревосходительство, ошибался немецкий профессор!

Куропаткину осталось только принять самому участие в общем смехе.

А в следующее воскресенье, выходя из-за стола, Куропаткин уже прямо спросил со снисходительно величественной улыбкой:

— Ну, что же, молодежь, вы всё продолжаете верить большим книгам?

В ожидании прибытия новых и новых корпусов наступательные планы не шли дальше обширных докладов, но зато на подготовку к обороне мы не скупились ни в силах, ни в средствах. В этом отношении смена главнокомандующих не оказала никакого влияния, и на случай отступления строились, кроме сыпингайских позиций, еще несколько промежуточных чуть ли не до реки Сунгари — верст на триста.

Однажды Линевичу пришло в голову осмотреть укрепленную позицию у Куачендзы, верстах в пятидесяти в тылу нашего расположения, но случайно ни одного из руководителей работ налицо не оказалось.

На небольшой железнодорожной станции, куда я срочно был послан Эвертом, я застал собравшимся уже целый ареопаг генералов и полковников 2-й армии, ожидавших прибытия поезда главнокомандующего. Меня как единственного представителя 1-й армии поставили отдельно на правом фланге, и я уже предчувствовал неминуемый скандал: ознакомившись лишь со схемой позиций, я на рассвете успел обскакать только ближайшие к железной дороге два-три форта.

На счастье, «папашка» Линевич, сев на коня, направился сперва на участок 2-й армии, вправо от дороги, и я успел разобраться, в чем будет заключаться осмотр.

— Ну, уж ижвините! Шавсем општрела нет, — шамкал «папашка», вылезая на банкет.

Генералы, взяв под козырек, доказывали, что этот фас форта не предназначается для дальнего обстрела.

— Не шпорьте, не шпорьте, — настаивал «папашка».

У генералов душа уходила в пятки.

— А это што? Вода в окопах? Бежображие! Начальство не заботится о солдате! — цитировал «папашка» модные словечки «Нового времени».

Дожди только что прошли и действительно залили окопы.

«Ну, — думаю, — у нас, наверно, тоже стоит вода!»

Долго еще старался наш старик показать свой талант, критикуя представителей 2-й армии, которые сделали большую ошибку, развернув перед высоким начальством громадную схему: на ней во всех деталях были показаны направления артиллерийского и ружейного огня, мертвые пространства, паутина окопов; во всем этом лабиринте начальство разбиралось туго.

Наконец, Линевич подозвал меня и приказал вести его на участок нашей армии. Урок, полученный мною у соседей, не прошел даром.

— Ну, а как општрел? — спросил «папашка» на первом же форту, ничуть не отличавшемся от фортов 2-й армии.

— А у нас, ваше высокопревосходительство, все основано на перекрестном огне! — отрапортовал я.

— Жамечательно, — обрадовался Линевич слову «перекрестный», и я, не развертывая схемы, без труда доказал, что поистине противнику некуда будет укрыться.

— А что касается воды во рвах, так у нас это предусмотрено: сделаны стоки, и она постепенно стекает.

— Пожвольте, пожвольте посмотреть. — Старик нагнулся, рассматривая воду; его примеру последовали все окружающие.

— Течет, — говорю я, сам не очень веря своим словам. На счастье, день был ветреный, и легкая зыбь покрывала поверхность воды.

— Течет, ваше высокопревосходительство, течет, — выручил меня какой-то доброжелатель из 2-й армии.

— Вот Алексей Николаевич[1] вшегда о вшем подумает, — заключил Линевич. — Передайте, капитан, мое полное удовольствие и поклон вашему командующему.

После такого успеха оставалось только поскорее вернуться восвояси.

Наше «мирное» житие на сыпингайских позициях было омрачено вестью о разгроме нашего флота в Цусимском проливе.

Цусима — пример доблести и исполнения воинского долга русскими моряками.

---

[1] Куропаткин.

Цусима — позор для всего государственного строя царской России.

Цусима — смерть для тысяч бесстрашных сынов русского народа.

Цусима — одно из крупнейших звеньев в истории русской революции, построившей новую жизнь в моей стране.

Флот, как и армия, оказались неподготовленными к великому испытанию. Жутко было узнать впоследствии, что большинство офицеров уходило из Кронштадта с твердым сознанием своей обреченности. Конечно, они не могли подозревать многого, что открылось им в самом бою: японцы громили их бризантными снарядами, сносившими все управление кораблями, и обращали суда в пылающие костры, тогда как наши бронебойные снаряды не причиняли врагу серьезного вреда. Но все моряки наши знали, что, кроме четырех современных броненосцев, пары крейсеров да десятка миноносцев, вся остальная эскадра представляла разношерстную армаду из старых «самотопов» до увеселительной великокняжеской яхты включительно; ради экономии на угле флот в учебные плавания ходил мало, а ради экономии на снарядах стрелял в мирное время еще меньше; отпускавшиеся средства шли широким потоком в карманы подрядчиков и акционерных обществ, как русских, так и иностранных. Большая часть личного состава эскадры ознакомлялась со своими кораблями, а подчас и с самим морским ремеслом только на походе. Наконец, инициатива посылки эскадры Рожественского принадлежала не морскому министерству, а новоявленным безответственным стратегам из «Нового времени», вроде Кладо.

К сожалению, во главе старого флота большинство адмиралов было еще парусниками, и потому новейшей паровой технике, бурно расцветшей в конце прошлого века, уделялось весьма мало внимания.

— Это дело механиков, — говорили морские офицеры; к механикам они относились с высоты лейтенантского величия.

Стоявший во главе флота генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович как лицо императорской фамилии не был ответственен перед законом. Правда, из всей семьи Романовых это был самый одаренный и вообще не глупый человек. Но, как и все его родичи, он

считал Россию «романовской вотчиной» и заниматься ею было ему противно: больно уж эта вотчина была темной и бескультурной. Великий князь предпочитал жить на ее счет, но вдали от нее — в беззаботном Париже. Сколько было сказано слов и пролито чернил, чтобы доказать необходимость устранения безответственных великих князей от управления ведомствами, но царизм так и не смог разрешить этого вопроса.

В отношении исхода войны потеря флота в глазах Маньчжурской армии больше роли не играла: мы уже свыклись с отсутствием поддержки со стороны Порт-Артурской эскадры.

Семья наша потеряла в тяжелый день Цусимы всех своих моряков — трех моих двоюродных братьев: двух совсем молодых — веселого Диму Игнатьева, артиллерийского офицера на «Александре III», и скромного, усердного Сережу Огарева, друга моего детства, старшего минного офицера на «Наварине»; а главное — любимца всей семьи, уже старого моряка Алексея Александровича Зурова (его мать была сестрой моего отца). Алексей смолоду был лысым и к тому же брил голову и потому в семье звался Лыской. Я ходил еще в русской рубашке, а он уже являлся на воскресные обеды к бабушке стройным гардемарином в синей фланелевке с белыми погонами и красивыми золотыми якорями — отличие гардемарин морского корпуса. Это было действительно отмежеванное от мира закрытое учебное заведение, в которое принимались по преимуществу сыновья моряков. Курс обучения здесь был серьезный, особенно в отношении математики и трех иностранных языков, которые кадеты изучали в совершенстве. Морская подготовка была поставлена более строго, чем военная подготовка в сухопутных кадетских корпусах и училищах: так, кадеты-моряки обучались шлюпочному и парусному делу еще с детства, а гардемарины не могли быть произведены в мичмана без того, чтобы не совершить кругосветное путешествие на знакомом всему флоту парусном клиппере «Вестник».

Зуров был прирожденный моряк. Нам даже казалось, что сама форма его пахла смоленым тросом и морским ветром. Загар, полученный в летнюю морскую кампанию, не сходил и зимой с его сухого скуластого лица. Говорил

он короткими фразами, авторитетно, и от всей его поморскому выправленной фигуры веяло здоровьем и силой воли. Он так отличался от своих братьев, затянутых в раззолоченные пажеские мундиры или студенческие сюртуки со шпагами!

Несмотря на блестящее окончание корпуса, Лыска Зуров сознавал, однако, недостаточность своей подготовки и всю жизнь или плавал, или учился, окончил Морскую академию и еще какие-то специальные курсы. Как большинство флотских офицеров, он относился с некоторым пренебрежением к гвардейскому экипажу, который в мирное время обслуживал императорские яхты и придворные катеры. Однако судьба подсмеялась над Зуровым: уже в чине капитана 2-го ранга он неожиданно для себя был назначен адъютантом при самом генерал-адмирале. Он и эту должность исполнял со свойственной ему добросовестностью, но из дворца великого князя Зуров уже ясно видел все тяжкие пороки нашего флота.

Вернувшись как-то из Парижа, куда он сопровождал своего шефа, Зуров рассказывал в семейном кругу про знаменитое свидание русского и германского императоров в Киле, где ему довелось присутствовать. Его шеф, генерал-адмирал Алексей Александрович, по обыкновению, находился во Франции, куда за ним пришла его яхта «Светлана». Она заблаговременно прибыла в окрестности Киля и, укрывшись за скалами, стала поджидать прихода царской яхты «Штандарт», чтобы присоединиться к ней и войти в Киль вместе. Но прошел час, два, а «Штандарт» не показывался. Как выяснилось впоследствии, яхта набрала песку при проходе через датские проливы, а в это время в Киле Вильгельм, в мундире русского адмирала со светлоголубой андреевской лентой через плечо, нервно шагал по пристани перед своей смущенной свитой и лично проверял порядок всех своих расцвеченных эскадр, изготовившись к общему с крепостью торжественному салюту. Часы шли, а «Штандарт» не показывался.

— Эскадре миноносцев выйти в море и разыскать русского императора — адмирала германского флота, — скомандовал, наконец, Вильгельм. Конечно, из-за опоздания вся программа, установленная Вильгельмом, была сорвана.

— На следующее утро, — рассказывал Зуров, — мы вышли в море со всей германской эскадрой и восторгались ее боевой стрельбой, производившейся на хороших морских дистанциях по подводным подвижным щитам, которые вели миноносцы. Для русских моряков это было откровением.

Приятно поразил и обед на «Гогенцоллерне». Здесь соблюдался не придворный, а чисто морской этикет: лакеи были заменены матросами. После этого завтрак на «Штандарте», с роскошным серебром и пузатыми раззолоченными камер-лакеями, возрождал в памяти потемкинские времена. Но все это были пустяки по сравнению с финальным скандалом. После завтрака к правому борту «Штандарта» лихо причалил катер с «Гогенцоллерна». Императоры, на виду всего флота, по обычаю, дружественно обнялись, и Вильгельм, вернувшись на свою яхту, поднял сигнал: «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана». Под звуки прощального салюта «Штандарт» тихо двинулся к выходу из порта и скоро стал скрываться из глаз. Тогда только все заметили, что конвоировавший его «Варяг» не двигается и продолжает стоять на рейде.

Вильгельм велел просигналить: «Что случилось?», и тут же весь флот облетела печальная весть:

«Avarie in der Maschine» [1].

«Всем крейсерам догнать «Штандарт» и конвоировать русского императора!»

«Варягу» пришлось остаться в Киле и чиниться. Все объяснилось просто. Крейсер только что вошел в строй русского флота и представлял собою последнюю новинку морской техники. Он строился долго, обошелся очень дорого, но зато был снабжен специальным приспособлением для провертывания машины в неподвижном положении судна. В спешке, вызванной завтраком на «Штандарте», механики не удосужились проверить положение, в котором осталась рукоять прибора. При первом же повороте прибор был сломан и повреждена машина.

— Да, грустно! — сказал Зуров. — Тяжело нам показываться иностранцам.

И как живой встал он передо мной при известии о

---

[1] Авария в машине.

гибели «Светланы», на которой он состоял старшим офицером.

Ровно через год после страшной цусимской драмы меня остановил в Париже какой-то штатский господин с бородкой, оказавшийся капитаном 1-го ранга Ширинским-Шихматовым. Я мало был знаком с ним, но он взволнованно просил меня зайти в ближайшее кафе.

Здесь он рассказал:

— Вы ведь двоюродный брат Зурова и, наверно, его очень любили. А у меня, его большого друга, сохранилось о нем вот какое тяжелое воспоминание: после гибели нашего корабля я очутился в холодной воде, держась за какой-то деревянный обломок. И вот вижу, на мостике «Светланы», отражающей последнюю атаку миноносцев, стоит Зуров и, сняв фуражку, машет ею нам в знак последнего привета. Солнце блестело на его лысой голове. Я почувствовал, что он одобряет нас за то, что мы не спустили андреевского флага. Это было последним видением в моей первой жизни.

— Почему в первой? — спросил я.

— А потому, что перед потерей сознания я считал себя погибшим, а Зурова живым. Но меня вытащили японцы, а Лыски не стало, — закончил Шихматов.

Если верить дневнику Николая II, весть о Цусиме не изменила его обычного распорядка дня, или, вернее, прозябания.

Бедный мой дядя, П. Н. Огарев, потомок писателя и отец погибшего Сережи, скромный честный юрист-сенатор, долго обивал пороги бесчувственного петербургского общества, чтобы собрать средства на построение храма-памятника цусимским героям, сохранившегося в Ленинграде и по сей день; все внутренние стены храма были покрыты досками с именами павших в бою офицеров и матросов. Немало положил труда Огарев на то, чтобы разыскать эти имена в морском министерстве.

Но если правящий Петербург, верный самому себе, остался бесчувственным, то не могла не дрогнуть страна от всех понесенных поражений. Вести о восстании на «Потемкине», о бунтах в войсках Киевского округа, о крестьянских волнениях на Волге стали докатываться и до нашей штабной фанзы в Херсу, где мы собирались после вечернего доклада начальству.

Правда, о сущности революции и ее вождях мы не имели ни малейшего представления, однако грозный призрак уже обрисовывался в наших умах, суровая Немезида уже заносила свой меч над виновниками позора родины.

Все мысли уже уносились в Россию. Продолжать писать бумаги и строчить приказы в Маньчжурии становилось невыносимым. Эти настроения особенно усилились, когда я прочел в «Вестнике маньчжурских армий», нашей единственной газете, следующее краткое сообщение:

«Государь император соизволил принять предложение президента Соединенных Штатов Америки на ведение, при его посредстве, мирных переговоров с Японией».

— Что же, ваше превосходительство, — конец? — спросил я своего начальника, генерала Огановского, на вечернем докладе.

— Ничего подобного! — стал петушиться наш милейший генерал. — Будем продолжать бить япошек!

— Да ведь они несколько дней как почти не отвечают нам! Мои топографы до того осмелели, что уже работают на участках сторожевого охранения, — заметил я.

Но Огановский возражал:

— А мы вот еще вчера произвели усиленную рекогносцировку, забрали двух пленных япошек, а сами потеряли только около десятка раненых. Командующий об этом составил телеграмму главнокомандующему и велел представить к наградам.

Подобные доводы оказывали на меня обратное действие: как можно было проливать кровь для составления боевых реляций, когда сам русский царь, забывая весь позор поражения, соглашается на предложение американского президента!

Весь уклад штабной жизни все больше приближался к порядкам мирного расквартирования: саперы, от нечего делать, устроили скаковой круг по всем правилам искусства; капитан Изумрудкин готовил уже помещение на зимнее время.

Война замирала, и мы, наконец, получили пулеметы. Это были образцовые вьючные взводы, сформированные при гвардейских кавалерийских полках. Странно и радостно было увидеть родных кавалергардов и улан среди

маньчжурских сопок; казалось, они пришли к нам с того света. Куропаткин лично произвел им смотр боевой стрельбы. Вечером он вызвал меня в свою фанзу, чтобы показать телеграмму, составленную им на имя командира кавалергардского полка князя Юсупова об исключительно блестящем смотре его команды. Я понимал, что для Куропаткина, несмотря на все полученные на войне уроки, остаются в силе слова Фамусова: «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна». Красавица княгиня Юсупова, с ее дворцом и несметным богатством, вероятно, из оригинальности покровительствовала Куропаткину, и ради нее можно было послать телеграмму ее мужу и покривить душой: кавалергардская команда как раз в этот день случайно стреляла хуже других.

Наступила холодная осень, и в первых числах октября, в связи с благоприятным исходом мирных переговоров, было решено отвести армию на новые позиции в тылу. В тот же день я просил Огановского откомандировать меня в Россию. Он не долго протестовал, так как было решено давать отпуска в зависимости от срока, проведенного на войне, а я в штабе оказался первым, прибывшим в 1904 году из России. Мне ужасно не хотелось участвовать в унизительных переговорах о перемирии.

Куропаткин, узнав о моем отъезде в Россию, пригласил меня к обеду в своем поезде, куда он снова переехал из Херсу. Ему, вероятно, интересно было, что я стану рассказывать о нем в Петербурге. После обеда он позвал меня к себе в салон-вагон и, усадив в кресло, спросил:

— Ну, милый Игнатьев, кто же, по-вашему, более всех виноват?

— Что ж, ваше высокопревосходительство, — ответил я, — вы нами командовали, — вы, конечно, и останетесь виноватым.

— А чем же я, по-вашему, особенно виноват? — невозмутимо спросил Куропаткин.

— Да прежде всего, что мало кого гнали...

— На кого вы намекаете? Назовите фамилии.

— Да на тех высших генералов, которым вы сами не доверяли. Ну, например, на командира семнадцатого корпуса, барона Бильдерлинга, на командира первого армейского корпуса, барона Мейендорфа, и других.

Тут мой начальник встал, пошел в угол полутемного вагона, спокойно открыл небольшой сейф и дал мне на прочтение следующую телеграмму:

«Ваши предложения об обновлении высшего командного состава и в частности о замене барона Бильдерлинга генералом таким-то, барона Мейендорфа генералом таким-то и т. д. и т. д. государь император находит чрезмерными.

Подпись: министр двора
барон Фредерикс».

После минуты тяжелого молчания Куропаткин продолжал беседу об офицерском составе и согласился со мной относительно необходимости коренных реформ в его укомплектовании, особенно в выдвижении в офицерские чины унтер-офицеров, нередко с успехом заменявших в бою офицеров.

— Позвольте, ваше высокопревосходительство, и мне в свою очередь задать вам один только вопрос: вы знали русского солдата и в турецкую войну и в Средней Азии, вы были сами свидетелем его легендарной доблести. Чем же вы объясняете ту панику, что овладевала целыми полками в эту войну? То отсутствие стойкости в обороне некоторых частей, которое сводило на нет храбрость соседних частей?

— Эта война, — ответил мне мой высокий начальник, — велась впервые нашей армией, укомплектованной на основании закона о воинской повинности, и вина наша, конечно, заключалась в том, что мы не обратили в свое время достаточного внимания на боевую подготовку запасных и второочередных формирований.

— А не находите ли вы, ваше высокопревосходительство, что одной из причин является наша культурная отсталость? — дерзнул я спросить.

— Страшные вы вещи говорите, Игнатьев, но вы правы! Нужны коренные реформы.

На том мы и расстались...

Оставалось проститься с товарищами.

Офицеры генерального штаба жили обособленно. В штабе 1-й армии, которая вынесла на своих плечах почти все бои, все отступления и все тяжелые разочаро-

вания, образовалась небольшая компания молодых генштабистов, одинаково мысливших, одинаково воспринявших крушение тех чувств и надежд, с которыми они отправлялись на войну. Компания была сплоченной. В ней нашлись и свои доморощенные поэты, и художники, и даже куплетист с гитарой. Собираясь по ночам, подальше от взоров начальства, они пили, пели и сквозь слезы смеялись. Для конспирации они прозвали себя «зонтами». Сам не знаю, почему было избрано это странное наименование — то ли в честь китайцев, которые работают в поле под зонтиками, то ли в честь русских, которые выпивают, пока не намокнут, как зонтики.

В этой компании составителями куплетов были «зонт» Пит (Петр Александрович Половцев) и «зонт» Кока (Николай Лаврентьевич Голеевский), музыкальным исполнителем — «зонт» Леша (Алексей Алексеевич Игнатьев), гитаристом — «зонт» Володя (Владимир Владимирович Марушевский), церемониймейстером и банкометом на случай игры в «польский банчок» — «зонт» Энгельгардт Борис Александрович. Активными членами были — Пневский, Савченко-Маценко, Веге и другие.

Как обычно, мы собрались в просторной фанзе Голеевского; в карты в этот вечер не играли, так как решили отпраздновать отъезд «зонта» Леши и выработать «устав зонтов» на мирное время.

Принесли из столовки большое блюдо и миску, разложили по установленному порядку ломтики лимона, прикрытые каждый кусочком сахара, и, потушив свечи, зажгли коньяк, поливая им сахар. Голубоватое пламя осветило загорелые и возмужалые за два года войны лица «зонтов», склонившихся над миской, куда переливалось содержимое с блюда и заливалось красным бессарабским вином. Старший по чину «зонт» полковник Болховитинов тщательно мешал вино большой кухонной ложкой.

Правда, подобно пулеметам, все эти продукты стали подвозиться к нам «Офицерским экономическим обществом» только тогда, когда все было уже кончено...

Я тем временем настраивал гитару, чтобы открыть торжественное собрание пением и хором гимна «зонтов»:

Эх, калинушка-малинушка моя,
Песня русская поется так всегда...

Но на этот раз наш поэт Пит, Половцев, приготовил сюрприз. Это было стихотворение, последние две строфы которого звучали так:

Но пусть же узнают далекие внуки,
Как деды сражались в бесплодных боях,
И пусть наших песен задорные звуки
Им скажут, как деды певали в фанзах.

А мы, в час досуга бокал осушая,
Поднимем его за здоровье зонтов,
Чтоб пели и пили зонты, процветая,
Без страха начальства, без страха врагов.

Заключительные слова были приняты нами как девиз «зонтов». Кто из нас поверил бы тогда, что придет время и жизнь не только расшвыряет нас в разные стороны, но еще и поселит среди нас непримиримую вражду?

Днем общего сбора, куда бы ни занесла нас судьба, мы выбрали 11 января — день сражения под Сандепу, как день «величайшей глупости русского начальства». Не раз поминали мы горестный маньчжурский поход в Петербурге, в ресторане Кюба. Но пришли другие времена. Произошла революция.

В свое время «зонты» возмущались существовавшими порядками, глубоко презирали высокое начальство и чувствовали себя непризнанными реформаторами. Никаких законченных политических взглядов и программ у них, конечно, не было.

Но, как ни странно, «зонтам» впоследствии довелось сыграть роль. Февральская революция застала многих из них уже в больших чинах, и когда Керенскому понадобились «свои» генералы, он нашел их среди «зонтов»: Энгельгардт, как член Государственной думы, оказался комендантом Таврического дворца; Половцев — главнокомандующим Петроградским военным округом; Марушевский — начальником генерального штаба; Голеевский — генерал-квартирмейстером, а впоследствии — доверенным лицом английского посла, лорда Бьюкенена.

Октябрь оборвал карьеру этих людей. Они доживают свой век в эмиграции. Большинство «зонтов» эмигрировало в Париж, где с 1912 года я занимал пост военного агента. Они — верные слуги Керенского, а некоторые и Романовых, — конечно, считали ниже своего достоинства встречаться со своим бывшим коллегой, который, живя за границей, перешел без всякого принуждения на сто-

рону большевиков. Однако 11 января оставалось для всех «зонтов» днем настолько памятным, что они решили все же его отметить и 11 января 1922 года послали к «зонту» Игнатьеву парламентером его бывшего товарища по Пажескому корпусу — «зонта» Бориса Энгельгардта. Ведь кто же, как не Энгельгардт, «первый» делал революцию?! Игнатьев не сможет его не принять!

— Уверяю тебя, «зонты» не относятся к тебе так враждебно, как тебе кажется, — убеждал меня Энгельгардт. — А без тебя и твоей гитары у нас ничего не выйдет!

Меня взяло любопытство взглянуть на бывших друзей. Неужели я не найду среди них ни одного единомышленника или хотя бы поколебавшегося?!

В одном из беднейших парижских кафе я застал почти всех прежних «зонтов».

Но вместо генеральских мундиров с орденами на них были разношерстные и весьма скромные пиджаки.

Вместо шампанского на деревянном столе без скатерти стояло несколько бутылок «пинара» — самого дешевого вина. Вместо роскошных люстр питерского ресторана Кюба с потолка грязноватого холодного зала свешивался жестяной абажур с прикрепленными к нему двумя тусклыми электрическими лампочками.

Все со мной вежливо поздоровались, но никто дружески не обнял.

Мы пели, по традиции, куплеты о Сандепу.

— Как мы правильно все предвидели тогда, в Херсу! — осторожно заметил я.

— Что ты, что ты! На мировую войну наша армия вышла в блестящем порядке! Если бы не большевики, мы, конечно, одержали бы победу!

Я понял, что спорить бесполезно.

Больше я никогда с «зонтами» не встречался.

Глава одиннадцатая

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ

18 октября 1905 года я приехал в Харбин и зашел в Управление Китайско-Восточной железной дороги хлопотать о билете в Москву.

— Поздравляю вас, капитан! Мы — граждане! — встретил меня в вестибюле незнакомый человек с боль-

шой седой бородой и заключил меня в свои объятия. На нем была тужурка инженера путей сообщения, с зелеными кантами и золотыми контрпогончиками на плечах. Старик тут же вручил мне большой лист с золотым ободком, на котором был напечатан «высочайший манифест» от 17 октября.

Забыв о билете, я засел изучать этот документ. Из последнего письма отца, которое получил вместе с секретной почтой через фельдъегеря, я знал, что в июле в Петергофе происходили совещания под председательством царя, но что ограничиваются они речами и никаких законодательных актов еще не выработано. Там, между прочим, серьезно обсуждался вопрос о том, назвать ли будущее законосовещательное учреждение Земским собором, Государственной думой или Государевой думой.

Манифест 17 октября показал мне, что события, которые происходили в стране и о которых мы в Маньчжурии не имели достаточно полного представления, вызвали у петербургского правительства довольно серьезный испуг.

Харбин, конечно, был взволнован. Но не все приняли манифест одинаково. Одни, подобно моему старцу-инженеру, сияли от радости и видели себя уже полноправными хозяевами страны; другие, наоборот, указывали, что никакого ограничения самодержавия манифест не содержит.

Вечером я пошел пообедать в ресторан. Он считался лучшим в городе. Но какой трущобой он оказался! В углу небольшой женский оркестр играл «На сопках Маньчжурии», «Последний нонешний денечек» и «На Фейчшулинском перевале убьют, наверное, меня». Убогую музыку подхватывали пьяные герои тыла. В зале желтели лампасы офицеров забайкальских казаков, зеленели воротники пограничников, краснели погоны интендантов, синели тужурки железнодорожников. Без мундира в России человек не считался человеком.

От вина и дешевого шампанского гости размякли и слезливо обнимали то грубо намазанных женщин, то друг друга.

Сопровождавший меня знакомый врач предложил удалиться в отдельный кабинет. Идти туда пришлось по очень грязной и покосившейся деревянной лестнице. Довольно обширная комната с полинялыми и грязными обоями освещалась бронзовым канделябром, в который, впрочем, вместо пяти было вставлено только две свечи. У стенки

стояло пианино. Оно было исцарапано и грязно, но на него я и набросился! Два года не чувствовал я клавишей под руками! Чего только не переиграл я за этот вечер. Я возвращался от маньчжурской действительности в прошлое. Оно уже казалось романтическим.

Пропуска в Россию я не получил. Комендант заявил, что раньше чем через десяток дней отправить меня он не сможет. Сидеть в грязной яме, какую представлял собой тыловой Харбин, я не пожелал и на следующее же утро выехал во Владивосток. Хотелось повидать эту тихоокеанскую «жемчужину»: большой морской порт, защищенный знаменитым Русским островом, рейд, на котором, по словам наших моряков, мог вместиться весь английский флот. Там же, в морском госпитале, работала сестрой милосердия моя двоюродная сестра Катя Игнатьева.

Во Владивостоке жизнь как будто протекала еще нормально. Правда, Катя уверяла, что в госпитале ощущалось какое-то глухое брожение: падала дисциплина среди санитаров, рвались на родину выздоравливающие матросы, но я не придал этому особого значения.

Однако, возвращаясь от Кати по Светлановской улице — главной городской артерии, — я повстречал какого-то матроса с закинутой на затылок фуражкой. Он прошел мимо, не обращая на меня внимания.

— Что ж ты чести не отдаешь? — спросил я его, полагая, что он нетрезв.

— А что с этого? — ответил мне матрос. — Сухопутным теперь не полагается.

— То есть как это не полагается? Иди со мной! — приказал я.

Матрос был, видимо, не очень уверен в себе и последовал за мной в морской штаб крепости. Но, к моему удивлению, там на это происшествие никакого внимания не обратили.

На следующий день на этой самой улице вспыхнуло восстание. Но я выехал ночью и узнал о нем в поезде, на обратном пути в Харбин.

Вечером на одной из крупных станций, затерянной в горах и лесах Уссурья, мы были встречены делегацией, пришедшей из близлежащего железнодорожного поселка. Впереди развевалось знамя из красного кумача, окруженное людьми в картузах с суровыми лицами. Все перед ними расступались. Демонстранты пели «Вы жертвою

пали в борьбе роковой». Другие, собравшиеся на железнодорожном перроне, пробовали перебивать их гимном «Боже, царя храни». Эти еще, повидимому, искренне верили в «свободы», дарованные манифестом. Железнодорожное начальство растерялось: давно уже истекло время, положенное по расписанию для остановки, а поезд стоял, и толпа продолжала петь. Выяснилось, что комендант станции скрылся, а начальник станции, от страха перед своими подчиненными, слившимися в одну толпу с железнодорожными рабочими, не смел показаться на платформе. Пассажиры стали громко протестовать — особенно солдаты и матросы, возвращавшиеся по домам. Послышались крики: «Чего стоим? Начальства нет? Давай коменданта!», брань, крепкие русские слова.

То ли мой залоснившийся черный полушубок с алевшим на груди Владимиром с мечами и бантом, отличавшим меня от тыловых чиновников, то ли мой рост, но что-то привлекло ко мне внимание, и возглас одного унтера: «Пусть его высокоблагородие распорядятся» — был подхвачен толпой.

— Хорошо, — крикнул я, — но все в поезде должны мне подчиняться.

— Ладно! Приказывайте!

Переговоры пришлось вести только с машинистом, так как путь был свободен, а начальник станции был рад отделаться от беспокойного поезда.

Дальнейший путь до Иркутска сопровождался все теми же демонстрациями. Убедившись, что движение зависит от машиниста, а порядок — от обер-кондуктора, я заключил с ними негласный союз и с каким-то озорством, как бы назло начальству, приглашал их в буфет 1-го класса. Поездной прислуге вход туда строго воспрещался. Выпив и закусив за отдельным столиком, я обычно спрашивал машиниста: «А что, Иван Иванович, не пора ли двинуться в путь?»

— Что ж, можно, пожалуй! — отвечал человек в черной шведской куртке, с закопченным лицом.

Тогда начальник станции почтительно выпячивал грудь, брал руку под козырек и докладывал, что путь свободен.

— Ну, давайте второй, — приказывал я.

Пассажиры опрометью бежали из буфета, и началась наша милая российская музыка перед отходом

поезда: заливался серебром звонок, свистал соловьем обер-кондуктор, гудел басом паровоз, пел рожок стрелочника, отвечая ему, заливался вторично трелью обер-кондуктор, и, наконец, снова гудел паровоз. Поезд трогался.

Не помню, сколько дней плелись мы до Москвы, но за Уралом мы стали чувствовать себя отрезанными от жизни, как в пустыне. Громкоговорители в ту пору не были еще изобретены, газеты исчезли, но на ушко передавались тревожные вести из столиц: «Забастовки! Баррикады! Стрельба! По Казанской дороге невозможно проехать; нас везут в обход — через Орел и Курск!..»

К Москве мы подъехали поздно вечером. Вокзал был темен и неприветлив. От нетерпения высовываюсь с площадки вагона, чтобы отыскать в полумраке белую кавалергардскую фуражку отца. Я получил в пути телеграмму о том, что он хотел выехать меня встретить; но вместо белой вижу издалека красную гусарскую фуражку моего брата Павла. Сразу чувствую неладное и в эту минуту замечаю, что вдоль платформы построены солдаты с белыми портупеями гвардейцев и в бескозырках с синими околышами.

Семеновцы! Как они сюда попали?

Брат бросается мне на шею, мы горячо обнимаемся. Мы ведь выросли вместе, двадцать один год спали в одной комнате, делили все детские и юношеские радости и огорчения.

Спешим на извозчике на Николаевский вокзал, чтобы поспеть на курьерский в Петербург. На улицах ни души. Темнота. Лишь кое-где мерцают керосиновые фонари: электростанция бастует. Город замер. Узнаю от брата, что отец не мог выехать из Петербурга: ему, как и многим видным лицам, было предложено из дома не выезжать.

Спать в поезде не пришлось — мы говорили чуть не до самого утра. Но в первый раз в жизни понять друг друга мы были не в силах, как не в силах были подать друг другу руку много лет спустя в Париже после Октябрьской революции. Начался раскол в нашем мировоззрении.

Когда я уже поступил в академию, брат только кончил университет. Помню, как на нашей квартире собирались студенты и много спорили о судьбах России. Помню, как брат, спасаясь от конной атаки полиции на студентов, был вынужден спрыгнуть с парапета набережной на лед Невы и вернулся домой чуть не по пояс в снегу; как читал он мне свой трактат о теории Ломброзо; как, по

случаю закрытия университета, он держал государственные экзамены в помещении школы, где-то в районе Измайловских казарм. Но семейные традиции толкали его на военную службу, и, поступив вольноопределяющимся в гусарский полк, он решил держать при Николаевском кавалерийском училище офицерский экзамен. В воспоминание об университете у него остался лишь эмалированный значок на венгерке. Полк всецело завладел этим юристом, перековал его в отменного строевика и настоящего гусара — с полковым товариществом, офицерским собранием, скачками и лихими попойками.

Русско-японская война заставила его, однако, серьезнее изучить военное дело, и вот он поступает в Академию генерального штаба. Но и она, видимо, не расширила его кругозора. В поезде он с жаром доказывал мне, что единственной причиной нашего военного поражения является бездарность Куропаткина и Рожественского; критики самодержавного режима он не допускал, с манифестом 17 октября уже совсем не считался, как с чересчур «свободным», а к виновникам беспорядков предлагал применять самые суровые меры.

— В Москве Дубасов при помощи семеновцев подавил восстание на Пресне. Теперь остается только справиться с забастовками, — говорил брат.

Меня он и слушать не хотел.

— Ты здесь не был. Ты ничего не понимаешь, — повторял он мне, точь-в-точь как говорили мне много лет спустя эмигранты, бежавшие во Францию.

«Неужели я сам был когда-то таким? — мысленно спрашивал я себя. — Неужели все здесь думают, как мой брат?»

— Послушай, — сказал он мне, когда поезд остановился на вокзале в Петербурге. — Я хоть и моложе тебя, но дам тебе совет: не повторяй, пожалуйста, дома всего того, что ты мне рассказывал в вагоне. У нас никто не поймет.

За первым же обедом в родном семейном кругу, когда я стал опять делиться впечатлениями, он не выдержал и буркнул вполголоса:

— Леша, да ты просто революционер!

— Не ссорьтесь, дети, — заметила смущенно мать: для нее мы всегда оставались детьми.

На Гагаринской, в доме, куда после смерти бабушки переселились мои родители, меня в это утро не ждали.

Первой я увидел мать. Но она, вместо того чтобы броситься ко мне, поспешно скрылась за дверью. Оказалось, она не хотела меня встретить в черном платье и побежала накинуть белую шаль. Я и не сообразил, что все наши носили траур по родственникам, погибшим в Цусимском бою. Как далек я стал от этих условностей и предрассудков.

Отец горячо меня обнял и пошел присутствовать при моем туалете. Ванна! Чистое белье! Еще долгое время ощущал я особое блаженство, раздеваясь и ложась в кровать под простыню! Люди в тылу не умеют этого ценить, как не понимают, что это за прелесть не слышать над головой полета разных «твердых» тел.

В тот же день надо было явиться к начальнику генерального штаба. Пост этот был только что создан и, по интригам первого его начальника, старого моего знакомого, Феди Палицына, был независим от военного министра.

Федя начал службу под начальством моего отца и потому знал меня с самого детства.

— Честь имею явиться, старший адъютант топографического отделения штаба первой Маньчжурской армии такой-то по случаю прибытия в отпуск, — отрапортовал я, входя в кабинет Палицына в величественном здании на Дворцовой площади.

— Ну, здравствуйте, Алеша! Какой же вы нарядный, — сказал Палицын своим обычным вкрадчивым и слащавым голосом, взглянув на мою грудь, украшенную колодкой боевых русских и иностранных орденов. — Ну, садитесь. Жаль мне вас!

— Почему же жаль, ваше высокопревосходительство? — удивился я.

— Да вот ведь все это придется теперь отслуживать, — указал он на ордена. — Воевали мы плохо, и потому все эти ордена — не в счет. А вакансии без вас уже разобраны, — добавил он вздохнув.

— Да позвольте, — возразил я. — Ведь мне же как первому в выпуске принадлежит право выбора вакансий.

— Ну, это теперь уже не в счет.

— Разрешите, ваше высокопревосходительство, использовать по крайней мере премию генерала Леера. — Эта премия давала право первому в выпуске на заграничную восьмимесячную командировку для усовершенствования.

— Это верно! — ответил Палицын. — Но вы так долго отсутствовали, что потеряли право и на нее: срок истек.

Не лучше обошлось высокое начальство и с другими офицерами Маньчжурской армии. Является, например, Марушевский, тоже украшенный орденами.

— Ну что? — расспрашивает Палицын так же сладко. — Много денег привезли?

— Каких денег? — изумляется Марушевский.

— Да ведь вам же так много платили! А чем людям больше платят, тем хуже они воюют. Куда же вы все-таки девали деньги? Пропили?

Естественно, после таких приемов заикаться об опыте войны нам не приходилось. Да мало кто о ней и расспрашивал. Генштабисты-маньчжурцы оказались чужими среди собственных товарищей, просидевших всю войну в тылу. Они попросту считались беспокойным элементом, и для многих были найдены места подальше от центра: кому в Сибири, кому в Туркестане, а кому и за границей.

Не слаще было чувствовать себя и на улице. Черная мохнатая сибирская папаха привлекала всеобщее внимание, и в первый же день приезда, когда дрожки задержались на перекрестке, где-то на Загородном проспекте, я услышал поразившее меня замечание:

— Эй, смотри — маньчжурский герой! На фонаре бы ему повисеть...

Сколько раз вспоминались мне горькие куплеты, сложенные «зонтами»:

Ласки не жди от далекой отчизны,
Слез за Мукден иль хвалы за Артур,
Встретят насмешки тебя, укоризны,
Старый маньчжур, старый маньчжур.

Но те, кто благоразумно окопался в тылу, успели сделать карьеру, войти в чины. Однажды пришел ко мне мой бывший коллега по академии, некий Махов — маленький, щупленький человечек с белобрысыми усами. Академию окончил он неважно и, конечно, на войну не поехал. Зато теперь Махов предстал передо мной уже подполковником. Он объяснил, что ему очень интересно получить от меня данные о войне для его кафедры по тактике в Инженерной академии.

— Мы ведь тоже тут воевали! — без малейшего смущения заявил Махов. — «Отвоевали», как видишь, у начальства и старшинство в чине и прекрасную казенную квартиру с электричеством!

Добродушный от природы отец мой, присутствовавший тут же, побагровел от негодования и с трудом сдержал себя.

Больше Махова я не встречал.

Думал я отдохнуть душой в родных полках. Но в кавалергардском полку, когда-то столь благодушном, разговоры вращались главным образом вокруг «подвигов» в борьбе с революционными рабочими. Правда, мой 3-й эскадрон улан, встретив меня на петергофском вокзале, на руках снес к себе в казарму. Кончился отказ улан от винной порции, снова зазвенели чарки и бокалы, залились уланские песни:

Гей вы, улане, малеваны дети...

Но в офицерском собрании пришлось прикусить язык и слушать полные военно-полицейского ухарства рассказы про караулы и разъезды на питерских заводах, проекты каких-то походов для «покорения» восставших в Лифляндии латышей! Как приятную для офицеров новость обсуждали приказ об отточке шашек. Так по крайней мере офицер мог при всякой обстановке защитить «честь мундира» от революционеров.

— Паршивые студенты совсем распустились!

Как-то вечером я заехал закусить в ресторан «Медведь» на Большой Конюшенной. На эстраде играл модный тогда румынский оркестр и стонала скрипка его дирижера Оки-Альби, высокого худого брюнета с бородкой, в белой, расшитой золотыми позументами, атласной куртке. Ярко освещенный зал был переполнен веселящимся Петербургом. Я занял маленький столик у стенки. Вдруг ко мне подошел знаменитый артист Александринки Владимир Николаевич Давыдов и с тревогой указал мне на сцену, происходившую невдалеке между двумя совсем еще юными студентами и группой офицеров Павлоградского гвардейского полка. Студенты, судя по их наружности, родные братья — розовенькие безусые блондины, в сюртуках с высокими синими воротниками, при шпагах — явно принадлежали к категории так называемых белоподкладочников. Я с ними не был знаком. С офицерами же Павлоградского полка — как входившими в состав не первой, а второй гвардейской пехотной дивизии — кавалергарды не знались. Давыдов умолял меня «спасти несчастных мальчиков», виновных лишь

в том, что, садясь за столик, один из них нечаянно толкнул спинкой стула сидевшего сзади офицера.

— Осторожнее, мальчишки! — грубо крикнул гвардеец.

— А «мальчишки» обиделись, — взволнованно объяснял Давыдов, — и вступили в пререкания. Теперь уже, видите, все офицеры повскакали с мест, и расправа неминуема.

Я подошел к одному из студентов и, схватив его за руку, быстро вывел его из зала через знакомый мне запасный выход. Брат его инстинктивно последовал за нами. В передней я им сказал:

— Здесь вы всегда окажетесь виноватыми. Уезжайте домой. Завтра вы можете вызвать офицеров на дуэль, жаловаться командиру полка. Вот вам моя визитная карточка на всякий случай.

Инцидент оказался исчерпанным, но это был случай легкий и счастливый.

В том же ресторане «Медведь» некий офицер Окунев убил наповал студента Лядова за то, что тот отказался встать по его требованию и выпить за здоровье государя императора. Студент Лядов был любимым и единственным племянником известного композитора Лядова. Тот потребовал суда над убийцей, но громкий процесс окончился для Окунева только исключением его с военной службы.

Конечно, студенты, которые посещали шикарный ресторан «Медведь», ничего общего не имели с революционным студенчеством и никакой опасности для государственного строя не представляли. В большинстве это были сыновья богатых родителей, белоподкладочники, как их называли. Но они носили студенческую форму, и этого было достаточно, чтобы вызывать ярость среди офицерства.

Не налаживалась дружба со старыми полковыми товарищами. Но еще больше боялся я показываться в «большом свете», где уже наверно я стал чужим. В виде исключения заехал только к своей старой знакомой, графине Ферзен, той самой, которая считалась либералкой и восторгалась когда-то первыми пьесами Чехова. Но и тут разговор не клеился.

С каждым днем петербургская атмосфера делалась все более невыносимой.

Я был бесконечно счастлив, когда получил, наконец, благоприятный ответ на мой рапорт о командировке за

границу. Об этом надо было хлопотать в «походной его величества канцелярии», ведавшей якобы военными вопросами, фактически же разными мелкими делами, как раздача орденов и т. п.

Палицын наметил для меня определенное служебное поручение в Париже:

Хотя командировка носила и временный характер, все же я чувствовал, что в России я больше не жилец, что с Петербургом я расстанусь надолго. Так оно и случилось.

Мне казалось, что за долгие годы, проведенные на берегу Невы, мне стал знакомым в столице каждый дом, каждый перекресток, потому что мир, в котором я вращался, был заперт в небольшом треугольнике между Невой, Невским проспектом и Лиговкой. Улицами, на которых жили почти все мои знакомые, были набережная между Литейным и Николаевским мостами, Сергиевская, Шпалерная, Фурштадтская, Моховая. Другие кварталы, как, например, Васильевский остров, Нарвская застава, были мало мне знакомы: я попадал туда только по службе или случайно.

Оживление в указанном треугольнике можно было встретить только на Большой Морской — первый класс гуляющих; на Невском — второй класс гуляющих плюс проститутки, и на Литейном — третий класс: куда-то спешащие люди. Но и это оживление продолжалось в странном городе только до наступления теплых дней. Тотчас после пасхи Петербург замирал, окна замазывались мелом и синькой, мебель покрывалась чехлами, и с этой минуты вплоть до наступления осенней непогоды в треугольнике царила та скука, равной которой я не встречал ни в одной европейской столице. Живыми свидетелями этой скуки оставались только дворники и городовые, продолжавшие зачем-то стоять на всех перекрестках. Они никогда не меняли своих постов, знали всякого проезжавшего в собственном экипаже и, получая наградные от домовладельцев на пасху и на рождество, отдавали по-военному честь и штатским и военным.

— Здравия желаю, ваше сиятельство! — слышал я круглый год по нескольку раз в день от рыжего бородача-городового, стоявшего неизвестно для чего на Горбатом мосту через Фонтанку.

Проезжая по нескольку раз в день по Дворцовой площади, я видел только часового — старика из роты

дворцовых гренадер, с седой бородой и в высокой наполеоновской мохнатой гренадерке. Этот заслуженный ветеран охранял каменную Александровскую колонну как военный памятник, и ничто не говорило о том, что еще год назад на этом месте пролилась кровь народа, пришедшего с иконами к «батюшке царю».

Скучен был ты, мой старый Петербург! Ты поздно родился и рано состарился. Ты никогда не был сердцем России, и до твоих суровых дворцов не докатывались ни горе, ни радости народные.

Конечную оценку того, как мы воевали, я получил от недавнего врага — японского военного атташе во Франции, в скором времени после моего приезда в Париж.

Командировка возлагала на меня временное исполнение обязанностей военного атташе. Это заставило меня участвовать в обеде, устроенном в честь японского коллеги по случаю оставления им своего поста.

К общему изумлению всех присутствовавших, в том числе и высших чинов французской армии, маленький японский полковник сказал:

— Я очень тронут вашим ко мне вниманием, этим великолепным обедом, но особенно я ценю присутствие среди нас молодого нашего русского коллеги, только что вернувшегося с полей Маньчжурии.

Все взоры обратились ко мне, сидевшему как младший на самом конце стола.

— Наш русский коллега может засвидетельствовать, — сказал японец, — что японская армия хорошо дралась. А я — как проведший весь первый год войны в Маньчжурии — считаю долгом своим заявить, что русские не уступали нам в храбрости.

На ответном обеде японский полковник посадил меня уже на почетное место, а за чашкой кофе, отведя меня в сторонку, стал расспрашивать, на каком участке фронта я бывал, с какими японскими дивизиями встречался. Я, конечно, доставил бывшему врагу наслаждение, назвав ему гвардейскую 3-ю и 4-ю японские дивизии, но не преминул спросить в свою очередь, как понравились ему наш 1-й и 3-й или 4-й Сибирские корпуса? В ответ полковник, оскаливая зубы, мог только издавать гортанные звуки, выражавшие лучше всяких слов одновременно и ужас и

восторг. Он еще от себя назвал козловцев, выборжцев, воронежцев — полки, покрывшие себя боевой славой.

Тогда мне захотелось узнать у бывшего врага: что же его у нас больше всего поразило?

— Не скрою, — ответил полковник, — что мы не ожидали такого затяжного характера войны. Еще меньше мы могли предвидеть, что, сохранив армию, вы сумеете довести ее численность к концу войны до миллиона людей при шестистах тысячах штыков!

Эти последние слова приоткрыли для меня секрет сравнительно мягких условий Портсмутского договора. Да, беседа с японским офицером явилась хорошим подкреплением для защиты чести русского оружия против огульных обвинений, возводившихся на маньчжурцев, но не могла изменить моего глубокого разочарования во всем строе царского режима.

Война так сильно раскачала вековые устои, на которых я был воспитан, что все, даже мелкие, детали старой русской армии приобрели для меня новое значение.

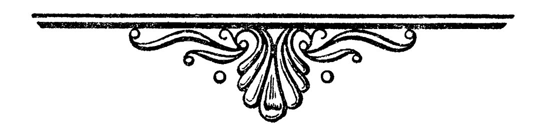
С присущим молодости пылом хотелось изменить существовавшие порядки, целиком использовать опыт, приобретенный на маньчжурских полях, — но Петербург предстал перед нами неисправимым рабом старых традиций и порядков, а мой малый капитанский чин не давал права возвышать голоса. Петровская табель о рангах оставалась незыблемой в Российской империи даже спустя двести лет после ее появления.

Судьба намечала для меня выход из тяжелого положения.

Может быть, там, за рубежом, мне удастся найти ответы хоть на часть тех волнующих вопросов, которые казались неразрешимыми для бездушной петербургской бюрократии?



КНИГА ТРЕТЬЯ





Глава первая

ЗАГРАНИЦА

Париж! С этим городом связаны многие годы моей жизни!

В первый раз я попал в столицу Франции, когда мне было всего полтора года, но узнал я об этом только через двадцать пять лет. Прогуливаясь как-то по Тюильрийскому саду и остановившись у фонтана, расположенного напротив Луврского дворца, я задержался, любуясь детьми, кормившими голубей, слетавщихся сюда сотнями. В эту минуту мне показалось, что и фонтан, и низенькие решетки сада, и скамейки я где-то и когда-то уже видел. Об этом романтическом пейзаже я упомянул случайно в письме к родным, а они мне объяснили, что, будучи ребенком, я не раз играл у этого самого фонтана. Отец был тогда командирован на маневры французской кавалерии.

В следующий раз я попал в этот город в 1902 году, по окончании академии, когда отец, как бы в награду, подарил мне несколько сот рублей и сам посоветовал использовать месячный отпуск для ознакомления с Европой.

Еще в ранней молодости, когда я вращался в скучном кругу высшего петербургского общества, меня тянуло за границу.

Мне казалось, что там жизнь интереснее, чем в России. Хотелось взглянуть на все то, о чем я столько читал в книгах. В Петербурге иностранцев приходилось встречать очень редко: ни один из них, например, не пе-

решагнул порога родительского дома. Заграница представлялась загадкой.

Сборы были недолгие: заграничный паспорт получить было нетрудно, а пресловутые «визы» явились одним из «достижений» первой империалистической войны. В те счастливые для Европы времена паспорта существовали только в России.

Верным спутником туриста по всему земному шару был в ту пору небольшой красный томик путеводителя «Бэдекер», издававшегося на всех европейских языках, кроме русского, хотя в нем можно было найти подробнейшее описание не только петербургского Эрмитажа, но даже и московского Кремля. В умах составителей этого путеводителя Россия, вероятно, представлялась какой-то любопытной колонией, а русские, ехавшие за границу, для пользования этим справочником обязаны были знать один из европейских языков.

Для русского военного главным затруднением при отъезде за границу являлось переодевание в штатскую одежду и особенно завязывание галстука. Снимать военную форму в ту пору в России было строго запрещено даже в отпуску. Никогда не забуду, как, приехав в Вену, я истратил пять часов на надевание впервые фрака, измучился, вспотел, порвал несколько белых галстуков и все же опоздал в театр.

Кроме советов о штатской одежде, петербургские друзья и особенно родственники буквально запугали меня рассказами о всех могущих со мной приключиться за границей несчастиях; я уже наперед чувствовал, что подобных наставлений ни одному европейцу получать не приходилось.

— Не выходи из вагона! Там звонков не дают, и поезд уйдет без тебя...

— Остерегайся людей, предлагающих тебе папиросу, — они там с опиумом, тебя могут усыпить и ограбить.

— Опасайся незнакомых мужчин, — они там все шпионы, а уж от женщин беги на сто верст: оберут, завлекут и погубят мальчика...

В действительности все оказалось не таким страшным и сложным. На Невском, в агентстве Кука, можно было выбрать любой маршрут, причем служащие сами производили за тебя расчет билетов и прожитка, в зависимости от твоего кошелька: в России, например, можно было

ехать достаточно удобно и во 2-м классе, в Германии и особенно в Швейцарии для экономии — брать даже 3-й класс, зато в Италии из-за грязи в вагонах было предпочтительно ехать в 1-м классе и т. д.

В ту пору я был холостым и очень молодым, а потому маршрут избрал такой. Варшава, — хоть и русский город, но все же полузаграничный, — Будапешт, — в этот город никто из русских не заезжал, но я наслышался о его живописном расположении, венгерской музыке и красавицах-венгерках. Потом Вена, где, уже кроме самого города, хотелось осмотреть все поля сражений 1809 года — Асперн, Эсслинген, Ваграм — путь Наполеона вдоль Дуная, все то, на чем зиждилось наше академическое военное образование. В Мюнхен меня заставила заехать моя мать, чтобы ознакомиться с картинными галереями Пинакотеки и Гипотеки. Потом военная любознательность потянула в Цюрих. Хотелось увидеть своими глазами следы, оставленные суворовскими чудо-богатырями, а для этого спуститься через Сен-Готард в Милан. Город, построенный на воде, — Венецию — нельзя было тоже объехать, как было бы преступным не ознакомиться с лучшими образцами живописи и ваяния, что создала древняя Флоренция. И, наконец, яркая, солнечная Ривьера и притягивающий, как магнит, модный в ту пору Монте-Карло. Но конечной и заветной целью моего путешествия я наметил «город-светоч» — Париж...

И когда я вышел из поезда на парижском вокзале, то самый воздух шумевшего вокруг города мне уже показался родным. Стояла осень, моросил мелкий дождик. Я сидел в маленькой карете, обитой внутри малиновым плюшем, и она показалась мне такой уютной после наших узких открытых извозчичьих пролеток. На высоких козлах восседал извозчик в белом кожаном цилиндре. Из-за промокшей от дождя пелерины даже коня не было видно. Каретка не спеша громыхала по брусчатой мостовой улицы Лафайета. Ее обгоняли шикарные пары собственных экипажей на резинах, по тротуарам спешила толпа, в которой не было заметно ни одного военного, ни одного чиновника, и я сразу почувствовал, что в этой возможности жить среди людей, не будучи замеченным, и заключалась главная прелесть Парижа.

«Да, этот город для меня, — подумал я. — Как все здесь отлично от Петербурга. Здесь можно жить, никому

не мешая, и тебе никто не помешает жить как вздумается».

Из-за светлосерых решетчатых ставней, постепенно закрывавшихся в этот осенний холодный вечер, уже светились лампы, и казалось, что каждый дом скрывал в себе какие-то таинственные романы. Мне было тогда всего двадцать пять лет.

Путешествовал я на самых скромных началах, но денег, взятых из дому, все же не хватило, и пришлось провести первые дни в Париже с одним золотым двадцатифранковиком. Я остался благодарен этой неприятности на всю жизнь: никогда не удосужился бы я иначе осмотреть все достопримечательности, все музеи. До получения денег из России приходилось посещать только такие места, куда вход был бесплатный. В эти места не торопишься заглянуть, располагая большими средствами, и многие иностранцы годы проводили в Париже, так и не увидев самого интересного в этом древнем городе.

Мое безденежное положение облегчалось также и тем, что все приезжающие с багажом, даже с небольшим чемоданом, могли прожить в Париже в кредит целую неделю. В счет за комнату входила оплата так называемого «маленького завтрака»: громадная чашка очень скверного кофе с молоком, булочки, слоеный рогалик — «круассан» и три свернутых завитком кусочка масла. Этого хватало на утро, но всему миру известно, что, когда во Франции стрелка часов показывает полдень, все музеи, магазины, заводы закрываются, и все бегут завтракать. Не последовать этому примеру попросту невозможно. Обычаи Парижа заразительны. Едва приехав, ты уже становишься парижанином.

С моим тощим кошельком пришлось долго искать по незнакомым улицам места, где можно было бы закусить за пару франков, и в конце концов я остановил свой выбор на одном из многочисленных «бистро». Через распахнутые настежь двери серебрилась длинная, высокая стойка — так называемый «цинк», у которой толпились люди в кепках, в поношенных котелках и извозчичьих кожаных цилиндрах. Слышался оживленный гомон голосов, звон стаканов, выкрики гарсонов: «Deux cafés! deux!» — означало два бокала кофе, «Un Pernod! un!» — означало один стакан анисовой водки желтовато-зеленого цвета, разбавленной содовой водой. Заказы гарсонов

мгновенно выполнялись толстенным хозяином с красным лицом, стоявшим за «цинком» в рубашке с засученными рукавами, кепке на затылке и яркими цветными подтяжками на плечах. В его обязанности входило также время от времени чокаться и выпивать с завсегдатаями «бистро».

В глубине, за низенькой застекленной перегородкой, я заметил четыре мраморных столика без скатертей; за одним жадно ели два французских солдата в красных штанах и синих длинных шинелях с подстегнутыми к поясу фалдами, другой столик был занят каким-то старичком с козлиной бородкой, в поношенном, но хорошо вычищенном сюртуке, а за третьим сидела веселая компания, распивая дешевое красное вино в бутылках без этикеток. Я сел в темный уголок за свободный столик и заказал гарсону, как мне казалось, самый дешевый завтрак: кусок ветчины и «бок» (бокал) пива. Не успел гарсон мне это подать, в комнату впорхнула совсем молоденькая тоненькая девушка с громадной картонкой в руках, огляделась и, не спрашивая разрешения, подсела к моему столику. Она заказала себе дюжину устриц, вкусный на вид домашний паштет, полбутылки белого вина и чашку черного кофе. Мне все это показалось таким деликатесом, о котором я и мечтать не мог, но вышло, что мой завтрак обошелся не дешевле: в каждой стране надо уметь жить.

Свою картонку девушка бережно поставила на стул подле меня и посматривала, как бы я ее не столкнул.

— А что в ней такое? — заинтересовался я.

— Это платье, — ответила девушка. — Несу его по поручению дома Ворт (самый шикарный в то время модный магазин на Рю де ла Пэ) одной графине.

За «графа» я, конечно, выдать себя не посмел и назвался коммивояжером, закупавшим мыло для Малой Азии. Это, казалось мне, объясняет непривычное для парижского уха произношение буквы «р», выдававшее мое русское происхождение. Выдуманное мною для себя социальное положение, повидимому, удовлетворило черноглазую кокетку с копной кудряшек на голове, и мы условились встретиться в тот же вечер на балу «Табарен» на Монмартре.

— Вход туда бесплатный, — щебетала моя собеседница, — надо только заплатить за бок пива, а зато бутерброды там во какие большие!

Моя новая знакомая меня не обманула и вечером, встретив меня после работы, увлекла за собой на шумный, веселый и ярко освещенный Монмартр. Первый тур вальса мне было как-то неловко танцевать: что подумали бы петербургские танцоры и особливо светские дамы, увидев меня среди этой веселой, но такой не аристократической молодежи. Чувство свободы, чувство независимости от всяких предрассудков меня попросту опьяняло.

Я еще был новичком в Париже. Я не знал, что таких веселых и только на вид беззаботных девушек очень много, что они составляют среди парижан особую прослойку — «мидинеток», что без них Париж не был бы Парижем, что уличный карнавал без их участия не был бы тем веселым праздником, который увлекает самых разочарованных пессимистов; что у «мидинеток» существует даже свой праздник — «Св. Екатерины», считающейся с древних времен покровительницей женского труда.

После первых часов работы в набитых до отказу душных мастерских, с низкими, закопченными от времени потолками, перенося грубые окрики и пинки старших мастериц, они — парижские «мидинетки» — ненадолго выбегают ровно в полдень на «элегантную» Рю де ла Пэ, где их уже ждут их «amis» (возлюбленные), чтобы проводить в ближайшее «бистро». Этот час короткого отдыха, когда улицы Парижа заполнены спешащими завтракать девушками из магазинов и швейных мастерских, — midi (полдень). Отсюда и идет прозвище «мидинетки».

После встречи с «девушкой от Ворта» прошло несколько дней, я получил деньги, сменил дорожный пиджак на фрак и в тот же вечер очутился в самом модном, только что открытом веселом ресторане «Максим». Дамы «от Максима» с роскошными откровенными декольте, кавалеры во фраках пили уже не пиво, а шампанское. После наводящих скуку петербургских ресторанов меня поразило, как могли эти незнакомые между собой люди, подхватывая хором модные песенки, которые играл оркестр, так легко заводить знакомства. Не успел я заговорить с красивой блондинкой, моей соседкой, как сидевший рядом с ней стройный молодой человек во фраке спросил меня:

— Мне кажется, вы офицер?! Я тоже — лейтенант пятого кирасирского полка Бланшар.

— Как, вы тоже кирасир? Выпьем за наш род оружия!

Но и пили окружающие как-то в меру, не по-русски. Пьяных не было видно. Не было тех скандалов, после которых мне приходилось в Петербурге развозить по домам офицеров-буянов, не было пьяных излияний дружеских чувств и «выяснений взаимоотношений».

Бланшар позволил себе только одну неосторожность: уговорил меня поехать на следующий день в знаменитую кавалерийскую школу Сомюр, где он проходил курс усовершенствования. Мы оба не сообразили, что на посещение школы требовалось разрешение, получаемое через военного атташе и французское военное министерство. Но я все же сдержал слово и, не думая о расстоянии, сел в поезд, помчавший меня чуть ли не через всю Францию далеко на запад. Я ошибочно предполагал, что военные учреждения находятся здесь, как и в России, рядом со столицей, «под рукой у начальства».

Поздно ночью на маленькой, еле освещенной станции Сомюр меня встретил мой новый друг, уже в пелерине, накинутой на кирасирскую шинель, с большим конским хвостом, спускавшимся с каски на спину. (В наполеоновские времена конский волос предохранял шею от ранений при сабельных ударах.)

Кто бы мог подумать, что тридцать пять лет спустя после первого знакомства я встречу в газетах имя Бланшара как одного из командующих армиями, сражавшимися против Гитлера.

Из уважения к русской союзной армии начальник школы простил Бланшару его выходку. Бланшар был первоклассный кавалерист, и его успехи в ученье позволяли рассчитывать на некоторые поблажки.

Для осмотра школы ко мне приставили инструктора из «Кадр Нуар» [1], капитана Фелина, и я смог вволю налюбоваться этой «французской лошадиной академией». Пришлось и самому пройти на опытном старом скакуне головокружительные препятствия, во много раз более серьезные, чем в нашей кавалерийской школе.

---

[1] «Черные кадры» — прозвище инструкторов Сомюрской кавалерийской школы, носивших черные мундиры.

К вечеру я очутился в небольшой квартире моего чичероне. В изящно убранном и блиставшем чистотой крохотном салоне Фелин представил меня своей жене, красавице-блондинке в воздушном белом платье. На маленьком столике был сервирован чай, торт, печенье, сандвичи. Как мне ни хотелось есть, воспитание не позволило наброситься на эти яства. Хозяйка, видимо, заметив мое смущение, попросила не церемониться.

— У нас прислуги нет! Все, что вы видите, я ведь сама приготовила!

Так вот каковы француженки! Как они не похожи на наших полковых дам. Умеют и кастрюлю и метлу в руках держать, умеют и предстать перед мужем и гостем во всем обаянии женской красоты. Быт офицера устроен иначе. Денщик Фелина детей в колясочке не возит и обязан только ухаживать за конем и чистить сапоги офицера; но он их только чистит, а не снимает и в морду не получает. После русской армии все это казалось странным, даже непонятным.

Сомюр был последним видением моего первого знакомства с Францией и заграницей. Отпуск кончился, и через несколько дней я очутился на русской границе. Жандармы, паспорта, унылые, еле освещенные вокзалы. Поезд тихо и бесшумно плетется через безбрежные пустыни Полесья и черные покосившиеся избушки редких деревень.

В Петербурге я, правда, встречу богачей, но они не будут знать, где и как убить время; найду я также и скромных тружеников, но они не будет знать, где отдохнуть и развлечься.

Заграница на самом деле «испортила» беззаботного кавалергарда: она заставила его призадуматься над окружавшей его безотрадной русской действительностью.

Глава вторая

С МАНЬЧЖУРСКИХ НА ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ

Заграничная командировка 1906 года явилась для меня единственным выходом из того тяжелого нравственного состояния, в котором я оказался по возвращении со злосчастной маньчжурской войны. Рушились все те

старые идеалы, на которых я был с детства воспитан и которыми продолжал жить окружавший меня и ничего не желавший понять Петербург.

Отрывочные впечатления от первого путешествия за границу и в особенности от нескольких дней, проведенных во Франции, вселяли надежду свободно вздохнуть и скинуть хоть на время с плеч тяжелый груз светских условностей и нелепых предрассудков.

Только там, казалось, и можно было отдохнуть.

Восстановив свои права на премию за окончание первым Академии генерального штаба (восьмимесячная заграничная командировка с сохранением содержания и пособие в тысячу рублей), я мечтал поехать в Америку. Так советовал мне и отец.

К сожалению, мне не суждено было осуществить этот план. Начальник генерального штаба Федя Палицын, которому я изложил свой проект, заявил, что теперь уже не время выбирать тему для командировки, а требуется прежде всего выполнить задачи, поставленные перед армией проигранной войной. Одной из главных причин наших поражений он считал плохую организацию связи, а потому предложил объехать главные европейские армии и ознакомиться с имеющимися у них средствами связи и сообщения в самом широком смысле слова. Работу эту я должен был выполнить вместе с моим маньчжурским коллегой капитаном Половцевым, получившим такую же премию, как и я, но двумя годами позже. Изучение следовало начать с Франции как союзной страны, где легче было получить нужные сведения.

Итак, судьба снова направляла меня в Париж; с маньчжурских полей я прямо переселялся на Елисейские. В Питере стояла февральская оттепель, Нева была еще закована в посеревший лед, а в Париже, вдоль Елисейских полей, уже цвели рододендроны.

В посольстве, на улице де Гренелль, нас принял наш посол Александр Иванович Нелидов, высокий, представительный старик с белыми бакенбардами. Он считался опытным дипломатом и отнесся ко мне особенно ласково, так как начал службу молодым секретарем еще при моем дяде, Николае Павловиче, в Константинополе.

— Ради бога, будьте осторожны с французами; не задавайте им слишком много вопросов. Тут теперь «mot

d'ordre» (лозунг) такой: «La Russie ne compte plus» (с Россией больше не считаются).

«Вот до чего докатилась Россия!» — подумал я.

С возможностью европейской войны во Франции тоже не считались.

Армия была временно не в фаворе; антимилитаристические настроения в палате депутатов привели к сокращению военной службы до двух лет. Военный бюджет дошел до того минимума, при котором могут жить только экономные французы. Подобное положение не облегчало нашей задачи.

Изучение всех существовавших тогда средств связи и сообщений мы разделили между собой. Я взял на себя железные дороги, телеграф и радио. Половцев — автомобили, велосипеды, почтовых голубей и полицейских собак. Все осмотры условились производить вместе, причем тот, кто изучал данную тему, только слушал и запоминал ответы местных работников, а другой задавал им заранее подготовленные вопросы. Это давало возможность не запугивать собеседника сосредоточенным видом, записыванием, переспросом, а слушающий мог глубже вникать в сущность получаемых объяснений и лучше их запоминать.

Разрешения на посещение различных военных учреждений мы получали через военного агента, полковника Владимира Петровича Лазарева.

Лазарев был типичным кабинетным генштабистом, имел вид профессора: в очках, маленького роста, с жиденькой белокурой бородкой; говорил он тихо и вразумительно, но не увлекательно. В Париже он не был популярен, и во французских военных кругах к нему относились без большого доверия.

Быть может, это и послужило причиной того невнимания, с которым французский генеральный штаб отнесся к выработанному Лазаревым плану действий против возможного наступления германских армий по левому берегу Мааса. Владимир Петрович много потрудился над этим планом, но только история воздала должное его прозорливости: как в 1914, так и в 1940 году германские армии вторглись во Францию вдоль левого берега Мааса, через Бельгию. Уже за это одно можно было бы простить Лазареву его недостатки. Трудно ведь сосредоточить в одном человеке все качества, необходимые для военного атташе:

он должен быть образован и вдумчив, чтобы давать правильную оценку положения, усидчив в работе — иначе он не сможет изучить все нужные материалы, и, наконец, общителен и приятен в обращении, чтобы завоевать с первого взгляда симпатии и доверие не только мужчин, но подчас и женщин...

В отношении нашей командировки Лазарев ограничился передачей нам письменных разрешений французского военного министерства, но никаких директив или советов мы от него не получили. Военные атташе часто не учитывают, насколько командированные могут быть полезны как их собственные осведомители.

Важнейшим для нас с Половцевым вопросом была организация железнодорожного транспорта, с него мы и начали нашу работу. Мы рассчитывали, что найдем во Франции обширную организацию для постройки и обслуживания железных дорог в военное время, подобную нашим железнодорожным батальонам. На деле же оказалось, что хотя железные дороги находились в руках пяти частных компаний, однако правительство в случае войны рассчитывало исключительно на работу этих обществ.

Несмотря на то, что в мировую войну железные дороги стали играть роль не только стратегическую, но и тактическую в военных операциях, французские железнодорожные общества блестяще выполнили задачи по переброске войск и вполне оправдали оказанное им доверие. Это отсутствие китайской стены, воздвигнутой в России между военным и гражданским ведомствами, между казенным и частным делом, открыло мне в ту пору глаза на многое: царский бюрократический режим, не сумевший установить контакта даже с имущими классами, сам создавал себе затруднения там, где их могло и не быть.

Для изучения техники железнодорожного дела нам было предложено посетить офицерскую школу в Фонтенбло, этом историческом месте отречения от престола Наполеона и его прощания со старой гвардией.

В назначенный час, в полной парадной форме, привлекавшей внимание всех пассажиров, мы вышли на вокзале этой станции. Но никто нас не встретил, извозчиков не было, и пришлось добираться до школы пешком, по страшной жаре.

Начальник школы, седой стройный генерал в черной венгерке и красных галифе, был преисполнен официаль-

ности и предложил немедленно отправиться на лекцию. К великому нашему изумлению, никто за весь день не пригласил нас к столу, и прием ограничился «vin d'honneur», то есть бокалом плохого сладкого шампанского в зале для заседаний. «А у нас-то, — говорили мы между собой, — уж наверно приезд подобных гостей послужил бы поводом к беспробудной пьянке!»

Зато французы всячески нам помогли выполнить наше задание. В школе Фонтенбло проходили курсы усовершенствования артиллерийские и инженерные лейтенанты, окончившие уже ранее высшую политехническую школу, имевшую репутацию первой среди всех высших технических учебных заведений.

В громадной аудитории читал лекцию по эксплуатации железных дорог какой-то артиллерийский майор. Учебников не было, и все слушатели что-то быстро записывали. Заглянув к соседу в тетрадку, я увидел неведомые мне до тех пор крючки и палочки и только тогда догадался, что это стенографическая запись. (Во Франции стенографии обучаются дети еще в начальных школах.) Профессора, как мне объяснили, обязаны ежегодно подготовлять заново свой курс, чтобы вносить в него все новинки науки и техники. Я не мог, конечно, судить, насколько это выполнялось, но зато навсегда уложил в своей памяти понятие о французских железных дорогах. Взамен скучных учебников профессора Макшеева, которыми нас пичкали в академии, нам четко и наглядно были объяснены все элементы, которые необходимы для командира. Каждая лекция закреплялась посещением на следующий день железнодорожной станции, и после этого визита мне уже никогда не приходилось во Франции задавать вопросов о прибытии поезда: я навсегда запомнил расположение белых и красных квадратов на семафорных столбах французских станций.

Там же, в Фонтенбло, мне выдали постоянный билет для проезда на паровозах по всем железнодорожным линиям. Меня удивило, что всякий министр или депутат почитал своим долгом при приезде подойти к паровозу, чтобы пожать руку машинисту. Наши министры и на это не были способны, считая, что пожать замасленную руку человека, от которого минуту тому назад зависела твоя жизнь, — дело не барское. Мне же посчастливилось на деле убедиться, какая ответственность лежит на маши-

нисте, когда, плавно отойдя от Северного вокзала в Париже, мы понеслись со скоростью ста километров в час, безостановочно, прямо до Брюсселя. Прильнув к стеклу паровозной будки, я скоро, правда, привык к пролетавшим мимо поезда вокзалам и платформам, но становилось жутко на стрелках и крестовинах и невольно хотелось, чтобы поезд шел тише. Машинист только поглядывал на висевшие перед ним часы, не выпуская из рук рычага и не обращая внимания на вихрь и свист, поднимавшиеся встречными поездами.

Разочарование нас ждало при ознакомлении с радиосвязью, представлявшей тогда новинку. В конце маньчжурской войны наш конный отряд уже был снабжен выписанной из Германии полевой радиостанцией, работавшей на десятки верст, тогда как во Франции радиосвязь была едва налажена между парижскими фортами. Главная станция находилась еще не под башней Эйфеля, а на горе Сен-Валериен и приводилась в действие ветхим бензиновым мотором, стучавшим и шумевшим, как старая кастрюля в руках жестянщика.

— Ничего, — объясняли французы, — пока работает, а для замены у нас денег нет!

Так в богатой стране никогда не было денег для технических новинок.

Едва мы с Половцевым успели окунуться в парижскую жизнь, как к нам нагрянуло высокое начальство. Вернувшись однажды в свою холостую квартиру — «гарсоньерку», — я застал за своим письменным столом самого Палицына, начальника генерального штаба.

— Вот, приехал навестить своих мальчиков! — сказал Федор Федорович и начал подробный допрос о наших парижских похождениях.

Оказалось, однако, что «мальчики» были ни при чем, а что Палицын приехал пронюхать про более серьезное дело: первое франко-английское военное соглашение. Англичане будто бы обязывались в случае войны послать во Францию экспедиционный корпус. Многим это казалось столь невероятным, что мнения о реальности подобных проектов разделились, и Палицын собрал совещание, вызвав в Париже военного агента в Лондоне — дальневосточного авантюриста свиты «его величества», генерала Вогака и из Брюсселя — серьезного кабинетного работника, Кузьмина-Караваева. Мы тоже присутствовали на

этом совете, после чего получили приказ: «Половцеву временно исполнять должность военного агента в Лондоне, а мне — в Париже. Вогак и Лазарев уезжали в продолжительный отпуск для стажировки в Россию. Началась новая жизнь — первое ознакомление с моей будущей долголетней деятельностью.

Никто и никогда нас не знакомил со службой военных агентов; существовала только, как всегда у нас водилось, широковещательная программа, выполнить которую, конечно, никому не могло прийти в голову, до того в ней было много заданий. Каждый действовал как бог на душу положит, стараясь главным образом восполнить недочеты в работе предшественника.

Помню, как лестно было заказать впервые визитные карточки «attaché militaire de Russie p. i.» (русский военный атташе); последние буквы означали «временно». Мне, однако, казалось, что одно упоминание о том, что я являюсь представителем своей родины, налагает на меня какие-то священные обязанности. Как ответственно казалось запереть в первый раз в железный сейф секретный шифр, переступить в качестве официального лица порог французского генерального штаба, явиться в штатском сюртуке и цилиндре к военному министру.

Проехав через Париж туристом и не встречая русских чиновничьих фуражек с кокардами, я по наивности объяснял себе этот феномен отсутствием бюрократического духа, замененного в «свободной», как мне тогда казалось, республике уважением к личности, а не к форме и связанному с нею социальному положению. Но как только я завел собственную визитную карточку и стал получать в ответ на мои визиты чужие карточки, то сразу постиг все их значение в этой «демократической» стране. Обозначенные на них звания, чины, род занятий, а особенно положение в торговом и промышленном мире с лихвой заменили нашу табель о рангах и скромные чиновничьи кокарды. Не по «одежке» здесь встречали, а по визитной карточке, и не «по уму» провожали, а также по карточке, провожая гостя, в зависимости от его положения, или до края письменного стола, или до дверей кабинета, а подчас и до передней.

Визитные карточки выполняют за границей самые разнообразные функции: хочешь получить приглашение на обед, — забрось визитную карточку и, если ты сделал это лично, а не через посыльного, загни один угол, если твой знакомый женат, — загни два угла; если хочешь получить место или работу, — заручить визитной карточкой если не министра, так хотя бы депутата. А уже под новый год запасись по крайней мере сотней карточек для рассылки поздравлений. Без визитной карточки ты не человек.

С первых же шагов я почувствовал, насколько был прав наш посол, говоря, что с Россией мало считаются. Начальником 2-го французского разведывательного бюро (ведавшего иностранными военными агентами) состоял в ту пору полковник, у нас на этом посту уж наверное сидел бы генерал. Никакими преимуществами русский военный агент в союзном штабе не пользовался и ожидал приема раз в неделю вместе со всеми другими коллегами. Они заранее меня предупредили, что полковник — «немой». В ответ на малейшие вопросы он только издавал какие-то невнятные звуки и усердно пожимал плечами. Таким образом, мне скоро пришлось убедиться, что, кроме закупки выходящих в специальном военном издательстве «Лавоазелль» книг и уставов, я никаких сведений о французской армии получить не могу.

Из иностранных коллег, которым я нанес визиты, самым расположенным ко мне, естественно, оказался болгарин, капитан Луков. С ним-то я и решил посоветоваться о создавшемся для всех военных атташе положении.

— Единственный, кто здесь хорошо осведомлен, — объяснил мне мой коллега, — так это итальянский полковник. Попробуйте с ним поговорить. Он ежедневно обедает в скромном ресторанчике «Lucas» на Плас де ла Маделен; вы его там сразу найдете, с вечной сигарой, с соломинкой в губах.

В ответ на полученные от меня сведения о минувшей войне итальянец предложил мне в тот же вечер ознакомить меня со своей системой работы.

— От французов никогда ничего не добьешься, — заявил мне этот полковник с желтым, плохо выбритым лицом, одетый в грязный, поношенный пиджак. — Поедем ко мне на квартиру, и там я открою вам мой секрет.

В двух небольших полутемных комнатках стояли полки с зелеными картонными ящиками, на которых были обозначены номера.

— Хотите, вот номер пятый? — сказал полковник. — Это мобилизация артиллерии. — В ящике оказались аккуратно наклеенные на листах бумаги газетные вырезки.

«Сегодня состоялся банкет по случаю проводов резервистов такого-то полка», — гласила вырезка из какой-то провинциальной газеты.

«Особенно отличились артиллеристы такого-то полка», — описывала другая газета какие-то местные маневры и т. д.

— Столичных газет я не читаю, — объяснял полковник, — их изучают только дипломаты. Вырезки, на первый взгляд, ничего не говорят, но когда вы изо дня в день и из года в год сопоставляете, делаете выборки, то порядок пополнения резервистами выясняется. Французы так болтливы!

Итальянский коллега представлял действительно исключение своей работоспособностью, так как остальные мои коллеги смотрели на парижский пост как на приятнейшую синекуру.

С первых же дней вступления моего в должность я только и слышал о предстоящих осенних маневрах, которые для военных агентов представляли как бы единственное заслуживающее внимания событие в году. Правда, это был единственный случай увидеть воочию войска, и оценка иностранцами всех европейских армий производилась в ту пору почти исключительно по их впечатлениям от больших маневров.

Во Франции большие маневры обставлялись, кроме того, особой торжественностью, и армии всех стран мира считали необходимым командировать на них своих представителей. Приятно было прокатиться в Париж, да еще с таким «ответственным» поручением.

В 1906 году это событие приобретало даже особое политическое значение, так как демонстративно подчеркивало только что заключенное военное франко-английское соглашение. На сохранившейся у меня фотографической группе иностранных представителей на больших маневрах в первом ряду сидит генерал Френч, будущий главнокомандующий британской армии в первую мировую войну, прибывший во Францию во главе целой миссии.

В одном ряду с ним сидят генералы: начальник штаба бельгийской армии, начальник штаба швейцарской армии и другие; во втором ряду — полковники и подполковники, в третьем — майоры, а совсем наверху, в четвертом ряду, — капитаны, среди которых виднеется маленькая барашковая шапка набекрень русского представителя, капитана Игнатьева.

Чувство ни с чем не сравнимой гордости переполняло меня — представлять среди всего этого военного мира русскую армию. Как бы ни были велики маньчжурские поражения, а все же Россия оставалась Россией, и никто не мог не считаться с ее величием. И стало мне раз навсегда ясно, что всем своим положением за границей я обязан не себе, а своей великой родине. Это чувство, зародившееся в самом начале моей заграничной службы, предохраняло меня от всех колебаний в дни великих революционных потрясений.

К сожалению, участие в пресловутых больших маневрах свелось как раз только к представительству: в поле с войсками мы проводили лишь короткие часы, а остальное время были заняты всем чем угодно, но только не военным делом. То прием у президента республики, то обед в городской ратуше, заданный «отцами города» — ярыми монархистами Компьена, в окрестностях которого происходили маневры, то скачки, то «чаи» с местными великосветскими дамами. С трудом удавалось уловить характерные черты военной подготовки союзной армии. Маневрами руководил генерал Мишель, командовавший 2-м корпусом и считавшийся одним из лучших военных авторитетов.

Прежде всего мне понравилось, что пехота была пополнена запасными и роты были доведены до штатов военного времени. Это приближало обстановку к действительности, чего я никогда не видел в Красном Селе, где на маневры выводились не роты, а их подобие, численностью в шестьдесят — семьдесят человек.

Войска были разведены на большие расстояния и действительно маневрировали, совершая сорокаверстные марши с длительными боями; в Красном Селе давно был бы уже дан отбой. Жара стояла ужасающая, летней одежды не было, и пехота в мундирах и шинелях, правда с расстегнутыми воротниками, совершала переходы без

малейшей растяжки, без одного отсталого. На малых привалах колонны останавливались по обочинам шоссе, и люди, опершись на ружья, отдыхали стоя. Глазам не верилось, сколько сил и выносливости скрывалось в этих маленьких, невзрачных на вид пехотинцах в красных штанах. Видно, они хорошо были смолоду кормлены и поены.

Однако никакие материальные условия, казавшиеся настолько выше наших, русских, не могли служить препятствием проникновению в ряды этой армии революционного духа — отзвука русской революции 1905 года.

Возвращаясь в толпе военных агентов, верхом, я услышал доносившийся с пехотного бивака незнакомый мне тогда мотив «Интернационала»! Его громко и не очень складно пели изнеможенные от тяжелых переходов французские запасные.

— Что это они поют? — спросил какой-то любопытный иностранец.

— Да это революционная песня! — объяснил несколько сконфуженно сопровождавший нас французский генштабист.

Военные представители малых европейских держав и южноамериканских республик продолжали, однако, возмущаться недостатком дисциплины во французской армии. Громче всех ораторствовал толстый полковник, весь расшитый золотыми галунами, надевший мундир по случаю маневров: в обычное время он был крупнейшим в Париже торговцем бразильского кофе. Отдельно от этой пестро разодетой толпы ехали, по обочине дороги, только три военных атташе: германский — майор Муциус, австрийский — капитан Шептицкий и я — исполнявший тогда временно должность русского военного атташе.

— Вы можете рассуждать как вам угодно, но не забывайте, что деды этих маленьких солдат были тоже революционерами, что им не помешало всех нас хорошо высечь. Не правда ли, дорогие коллеги? — сказал капитан Шептицкий и взглянул вопросительно на меня и на Муциуса.

Непобедимых армий на свете нет, и, вспомнив об Иене, Аустерлице и Ваграме, я не протестовал.

— Да, — продолжал Шептицкий, — я, впрочем, изверился в так называемых народных армиях после всего, что пришлось наблюдать в Маньчжурии. Лучшие русские

полки теряли свои боевые качества из-за пополнения их старыми людьми из запаса. При современном развитии техники лучше иметь армии поменьше, но повыше качеством.

После подобного парадокса наступила минута всеобщего молчания, не выдержал только германский майор и на прекрасном французском языке резко отчеканил:

— Ну, вы все имеете право изменять как вам вздумается существующий порядок вещей, но мы, немцы, от всеобщей воинской повинности никогда не откажемся. Армия — это школа для немецкого народа. Без армии нет Германии!

Военные атташе обязаны давать беспристрастную оценку иностранных армий, но почему-то они, в большинстве случаев, склонны искать только недостатки, а для старых маньчжурцев, как я и Шептицкий (он проделал всю войну в передовом отряде Ренненкампфа), особенно сильно бросалась в глаза тактическая отсталость французской армии.

Русско-японская война ломала старые уставы и порядки во всем мире, но не во Франции.

— Посмотрите, Игнатьев, — обратился ко мне Шептицкий, рассматривая в бинокль атаку французской дивизии, — как они наступают змейками по открытому полю. Если бы вы могли так же свободно пересчитывать японские роты под Ляояном, то, наверно, выиграли бы сражение.

Эти слова моего коллеги напомнили мне впечатление, которое я вынес после собственного доклада во французской военной академии о главных тактических выводах из минувшей русско-японской войны.

Результат получился тогда для меня не вполне благоприятный: какой-то генерал, со свойственным французам авторитетным и в то же время вежливым тоном, заявил, что хотя он и очень благодарен своему молодому союзнику за интересный доклад, но следовать его советам не собирается.

— Никогда, — сказал он, — французская армия не станет рыть окопов, она будет всегда решительно атаковать и никогда не унизит себя до обороны.

Это было сказано в 1906 году. Бедные бывшие наши союзники, они всегда остаются верными себе, то есть отстают в своих военных доктринах на десятки лет. За

месяц до начала мировой войны один мой приятель, гусарский поручик, был посажен под арест за то, что позволил себе на учении ознакомить свой эскадрон с рытьем окопов!

В конечном результате, вернувшись с больших маневров, я почувствовал, что остался еще очень далеким от союзной армии, и потому решил во что бы то ни стало повидать какую-нибудь часть на повседневной черной работе, и после долгих настояний мне удалось устроиться на маневры в 4-ю кавалерийскую дивизию.

— Главное, чтобы коллеги ваши про это не пронюхали, — бурчал мне «немой» полковник, начальник 2-го бюро.

Сменив пиджак на походный китель, я отправился на розыски моей дивизии, собранной в районе Аргонских возвышенностей. Тут все было для меня ново. Вместо наших черных изб, крытых соломой, деревушки, через которые приходилось проезжать, состояли из нескольких двухэтажных, потемневших от времени домов, построенных из камня и крытых черепицей. Камень Франции всю жизнь представлял для меня предмет зависти: он облегчил этой стране с древних времен культурное развитие; его не надо было далеко искать и откуда-то привозить; он был тут же, в земле, из него строились дома, памятники, города и — что самое важное — дороги. Благодаря дорогам с каменным полотном деревня во всякое время года могла общаться с городом.

Французская дорога имеет свою историю. Вот узкая длинная магистраль, мощенная громадными плитами, — это «pavé du roi» — мостовая времен французских королей. Вот более широкое шоссе времен Наполеона I; великий корсиканец за несколько лет своего владычества успел покрыть Францию целой сетью дорог, и установленная им строгая классификация сохранилась и до наших дней. Сдавая как-то экзамен на право управления автомобилем во Франции, я прежде всего должен был знать, кому следует давать преимущественное право на перекрестке; едешь по узенькой шоссированной дорожке — это коммунальная, которую строят, и чинят, и содержат сами жители; выезжаешь на более широкую шоссейную — это департаментская, а уж когда попадаешь на блистающую своим черным покровом широкую национальную, обсаженную в большинстве случаев деревьями,

то тут уже получаешь преимущество над всеми встречными на перекрестках. Дороги — это первое, что привело меня в восторг во Франции, и сердце сжалось при мысли о нашем собственном бездорожье.

Я застал штаб дивизии в небольшой деревушке, затерянной в Аргонских возвышенностях. Чуть свет начальник дивизии, сухонький седой старичок, выехал на чистокровной светлорыжей кобыле. И лошадь и всадник составляли вместе то необъяснимое элегантное целое, которое отличало французов от кавалеристов других наций.

— Мы выезжаем на целый день. Запаслись ли вы завтраком? — спросил меня начальник штаба, молодой подполковник в черном мундире с белым суконным воротником — отличием драгун от кирасир, носивших тот же мундир, но с красным воротником. Оказалось, что за завтраком, состоявшим из булки с куском ветчины, надо было поехать самому в соседний переулок и купить эту провизию у хозяйки гостиницы. Вестовых не было; подав офицерам коней, они поскакали к своим эскадронам. Балованному русскому гвардейцу, гостю в союзной армии, такие порядки показались суровыми. Не так бывало у нас в Красном Селе. За начальником гвардейской кавалерийской дивизии, гусаром князем Васильчиковым, ездила крытая парная повозочка, и гостеприимный князь при каждом перерыве учения говорил, шепелявя, нам, своим ординарцам:

— Гошпода, милошти прошим!

На откинутой дверце повозки уже красовались бутылки мадеры и большие банки зернистой икры. Пока мы все закусывали, «противник», как нарочно, выскакивал из какого-то леса, заставал нас врасплох, и маневр приходилось начинать сызнова.

Учение в Аргоннах, как мне показалось, началось с «азов»: нацеливание друг на друга эскадронов. Этим мы занимались на эскадронных и полковых учениях, но французский генерал придавал большое значение отделке деталей боя мелких подразделений. Для меня эти первые конные атаки не по гладкому полю, как у нас, а по тяжелой, пересеченной местности, открыли, как ни странно, глаза на всю военную историю Франции, на особые, характерные свойства французского бойца. Гусары и конноегеря в светлоголубых ментиках, на кровных разномастных арабчонках, вонзив громадные шпоры в бока

лошадей, мчались со вскинутыми в воздух саблями на черные линии драгун, скакавших навстречу с желтыми бамбуковыми пиками наперевес. В эти мгновения они были действительно настолько возбуждены, что готовы были наброситься, как петухи, друг на друга, и офицерам приходилось задолго до столкновения останавливать их пыл, размахивая палашами. Так ходили в атаку кирасиры Латур-Мобура, гусары Мюрата и те французские кавалерийские полки Маргерита, что гибли под Седаном в последней бесплодной попытке разорвать огненное кольцо германской артиллерии. Стоя вдали от них и взирая на этот подвиг, престарелый император Вильгельм I прослезился и воскликнул:

— Oh, les braves! (Вот храбрецы!)

Учение постепенно развивалось, переходя от маневров эскадрона до полков и бригад, и вместо двух-трех часов, как бывало у нас, продолжалось чуть ли не целый день. В перерывах генерал, указав на ошибки, делал подчас смелые выводы, после чего, вынимая из кармана устав, неизменно добавлял:

— Это, впрочем, вполне отвечает хотя и не букве, но духу параграфа такого-то!

Я не заметил, как постепенно влюбился в этого маленького генерала. Он оказался врагом франкмасонов, что в ту пору представляло почти неблагонадежность. Позднее я узнал, что ему не дали командования и уволили от службы «по предельному возрасту».

Тогда же, на маневрах, мне, постороннему зрителю, открылись причины, погубившие в самом начале, в первые же дни мировой войны, этот несравненный по кровности конский состав французской кавалерии: люди весь день с коней не слезали, и когда я, по русскому уставу, при всякой продолжительной остановке слезал и держал лошадь в поводу, то офицеры улыбались и объясняли, что французские лошади достаточно сильны, чтобы выдерживать на спине даже такого кирасира, как я. Коней ни разу не поили, и даже при переходе через речки и ручьи никому в голову не приходило обойти мост вброд, чтобы попоить их.

В 1914 году большая часть кавалерии генерала Сордэ погибла от жажды и переутомления коней. Другая часть оказалась со стертыми спинами из-за нелепой седловки.

Вместо потника под седло подкладывалась синяя попона, сбивавшаяся при каждой посадке на левую сторону коня.

Каждый день мы меняли место ночлега, и я получал свой «billet de logement» (билет расквартирования). Сегодня мой хозяин — старик-крестьянин. На пороге меня встречает еще совсем бодрая хозяйка в темном платье и белом чепце. Обстановка отведенной для меня комнаты по своему убранству напоминает квартиру русского чиновника со средним окладом. Старинная мебель обита бумажным красным бархатом, на круглом ореховом столе, покрытом кружевной вязаной салфеткой, какая-то большая нелепая лампа с шелковым абажуром, а над камином — обязательная его принадлежность — старинное, уже совсем потускневшее от времени зеркало. Самая главная роскошь — кровать, широкая, двуспальная, с грубоватыми и громадными полотняными простынями и цветным пуховиком.

Снимая с себя амуницию, замечаю в углу какой-то блестящий предмет и не верю своим глазам, — это высокий военный барабан, обитый медью, с двуглавым орлом. По форме крыльев убеждаюсь, что это орел эпохи Александра I; чем дольше жила Российская империя, тем орел становился округленнее и безобразнее, обратившись ко времени Николая II в какого-то распластанного и ощипанного цыпленка.

— C'est un tambour russe! Nous le conservons précieusement et nous l'avons placé dans votre chambre avec l'espoir, que cela vous ferait plaisir! [1]

Старый боевой товарищ какого-нибудь русского пехотного полка, прошедшего пешком из Москвы до Парижа, бивший тревогу, бивший сбор, отбивавший жуткую дробь при пропуске через строй под шпицрутенами, но бивший и «поход» — церемониальный марш на удивление всей Европы. И вот, потеряв своего хозяина, погибшего или в бою, или от тифа, сразившего столько русских солдат в 1814 году, стоишь ты тут уже сотню лет как военная реликвия в этой затерянной в Аргоннах французской деревушке. Здесь ты никому не мешаешь и даже доставляешь своим блестящим видом радость многим поколениям. На родной земле ты уже давно никому не был бы

[1] Это русский барабан! Мы его сохранили в целости и поместили в вашу комнату в надежде, что это доставит вам удовольствие!

нужен и никто не давал бы себе труда чистить по воскресеньям твою медь! Отрадно ныне дожить до дней, когда стали ценить старинные вещи, понимать, что в бездушном металле и дереве заложены подчас дорогие воспоминания о подвигах, горестях и радостях, пережитых нашими предками.

Назавтра мой «billet de logement» привел меня в небольшой, потемневший от времени каменный домишко пехотного капитана в отставке. Одетый по случаю появления войск в опрятный пиджак, с тоненькой красной ленточкой Почетного Легиона в петлице, мой хозяин начал прием с показа мне своих владений, состоявших из обширного фруктового сада и крохотного, но идеально возделанного огорода, без единого сорняка, без единой ямки. Он снимает ежегодно два-три урожая разных овощей, их ему с женой хватает на целый год. Ценные груши «дюшес» он посылает на продажу в Нанси, и это вместе с пенсией составляет его скромный годовой бюджет. Рабочего с лошадью ему приходится нанимать только на два дня весной для пропашки. Корову он доит сам. Среди односельчан он поддерживает свое капитанское достоинство, восседая по вечерам в кафе. Там, за рюмочкой коньяку и стаканом кофе, он занимается «высокой политикой», будучи сторонником франко-русского союза как держатель двух бумаг последнего нашего займа.

История этого капитана проста. Четверть века назад, выслуживши чин унтер-офицера, он окончил офицерскую школу Сен-Максанс, что ставило его ниже офицеров, окончивших Сен-Сирскую школу, куда попадали сыновья богатых родителей. Это же явилось причиной его медленного продвижения по службе, и, прокомандовав ротой свыше десяти лет, он достиг предельного возраста. Вернувшись в родную деревню, он вполне освоился со своим положением, почитывает, как всякий интеллигент, местную газету радикал-социалистов, а по воскресеньям — журнал «Меркюр де Франс» в лиловой обложке; на следующий год он рассчитывает стать мэром, а под старость дней — даже «conseiller général» (член департаментского совета, выборщик в многочисленных выборах), и как бы ни была мелочна и лишена интереса жизнь этого скромного человека, а все же по сравнению с бытом и с притязаниями русских офицеров она тогда мне представлялась симпатичной. Человек с капитанскими галунами не

стыдится своего скромного происхождения, любит свое родное гнездо, своих односельчан, не гнушается черной работой, не опускается на дно, умеет жить на скромные средства не только без долгов, но даже со сбережениями на старость дней.

В крохотной столовой, с блистающими полами, буфетом и столом, натертыми воском, в рамке под стеклом висит его беленький орден Почетного Легиона на выцветшей от времени красной ленточке. «Honneur et Patrie» (честь и родина!) — вот надпись, выгравированная на обратной стороне ордена. Тяжко было об этом вспоминать в 1940 году!..

В последний день маневров грузная малокровная лошадь, одолженная мне одним командиром полка, завалилась, как бесчувственная туша, на полном скаку. Падать было мягко на глубокой пахоте, и, обтерев пыль с рейтуз, я скоро нагнал своих. Все сделали вид, что не заметили моего падения, никто даже не поинтересовался спросить, не ушибся ли этот «знатный иностранец», но в этом-то и заключался кавалерийский этикет. На следующее утро, часа за два до выезда на учение, в монастырскую келью, отведенную мне под ночлег, постучался и вошел бравый драгун, вытянулся, взял ладонью наружу под козырек, «по-французски», и доложил:

— Господин генерал прислали узнать, как чувствует себя мой капитан?

Ушиб дает себя чувствовать, как известно, только на следующий день.

Вечером я уже прощался с генералом и чинами его штаба, пленившими меня своей скромностью. Ни академических значков, ни аксельбантов они не носили, так как офицеры генерального штаба, как корпорация, были упразднены, явившись во Франции козлами отпущения за поражение 1870 года. Оканчивавшие высшую военную школу преимуществ по службе не имели, возвращались в строй и, получив диплом, привлекались к работе в штабах. На учениях они носили на рукавах шелковую повязку, вроде повязки посредника. Скромность мундира, равенство в правах делали здесь невозможной ту вражду к «генштабистам», которая существовала в русской армии.

Я думал, что никогда уже не услышу после этих маневров о моих мимолетных французских друзьях. Но я

ошибался: французы оказались очень памятливыми. Это качество и их вежливость доставили утешение не только мне, но и всей нашей семье в тяжелые дни после трагической потери отца: в продолжение нескольких месяцев мои спутники по маневрам разыскивали через посольство мой адрес и слали в далекий и неведомый им Петербург письма с соболезнованиями.

Вежливость облегчает и украшает человеческие отношения.

Глава третья

БУДНИ ВОЕННОГО АГЕНТА

Возвращаюсь с маневров. Из окна рассекающего ночную мглу «rapide» (экспресса) где-то впереди на горизонте виднеется зарево. Это — Париж. Там в этот час бесчисленные ресторанчики уже опустели, толпы людей, отдыхающих от дневной сутолоки, наводнили широкие террасы кафе. К полночи Париж уже уснет, и только иностранные туристы будут продолжать платить бешеные деньги за шампанское в монмартрских кабаре. Монпарнасс был еще в ту пору не в моде: только в кафе «Де ла Ротонд» долго засиживаются какие-то соотечественники — русские эмигранты, люди таинственные, говорят, — революционеры.

Кафе — неотъемлемая и главная часть быта всякого парижанина, и богатого и бедного, и вот почему кафе не смогли испепелить ни войны, ни революции. Зайти в кафе, в двух шагах от своего дома, канцелярии, завода, встретить там завсегдатаев, давно ставших твоими друзьями, узнать городские и политические новости, перекинуться в карты или сыграть в шахматы, зимой согреться стаканом горячего кофе или рюмкой коньяку, а летом выпить стакан лимонаду, посидеть, наконец, просто в одиночестве, строить планы будущего, вспоминать о прошлом, а главное — забыть невеселое настоящее — вот в чем прелесть парижского кафе и секрет уличной парижской жизни, той жизни, которая отличала Париж от других столиц мира.

По широким опустевшим ночью городским артериям тихо двигаются в направлении к центру громадные двухколесные колымаги, на которых искусно сложены гро-

мадные кубы — красные, белые, зеленые; они так велики, что крупный откормленный першерон с его традиционным высочайшим хомутом кажется малюткой, а возницы так и не видно. Через час-другой сотни тонн моркови, капусты и лука-порея будут сложены ровными штабелями вдоль улиц и площади, окружающей центральный рынок — «халли» (Halles) — «чрево» прожорливого многомиллионного города.

К пяти часам утра все привезенные на рынок товары будут расценены, к семи проданы с торгов по оптовой цене, к восьми часам перепроданы хозяевам ресторанов и магазинов по полуоптовой цене, а к девяти часам остатки их будут уже распроданы по розничным ценам запоздавшим хозяйкам.

Здесь люди отдыхают днем и работают только ночью. Не мог я думать тогда, что на этот самый рынок будут прибывать и мои скромные корзинки с крохотными драгоценными шампиньонами, выращенными лично мною в тяжелые годы нужды и одиночества.

Вокруг этой полутемной таинственной площади с безобразными темносерыми галереями приветливо светятся огоньки дешевых ночных ресторанчиков, в которых грузчики, возницы, метельщики подкрепляются луковым супом, запеченным в глиняных горшочках, запивая стаканами красного «пинара». Перед рассветом появится там и дневной рабочий люд в кепках; облокотясь на «цинк», посетители, отправляющиеся на работу, уже потребуют по стакану горячего кофе, дополненного рюмочкой коньяку, и вдруг в этот трудовой мир ворвутся мужчины в черных фраках и накрахмаленных сорочках, под руку с разноцветными дамами, покрытыми блистающими брильянтами: поездка на «халли» входит в программу ночных увеселений пресыщенных Монмартром бездельников; им тоже надо попробовать лукового супа. Подобные поездки парижане называли «la tournée des grands ducs» (объезд великих князей), что уже само по себе говорит о той печальной славе, которой пользовались члены романовской семьи.

Один изобретательный хозяин кафе-ресторанчика организовал даже специальное зрелище, рассчитанное на таких посетителей: «танец апашей». Кавалер в костюме и кепке, как у рабочего, что пьет вино за соседним

столиком, то страстно сжимает в томном вальсе девушку с растрепанными волосами, с красным шарфом на шее, то в порыве ревности бросает ее на пол, душит, мучает. Дамам страшно: вот-вот подобный апаш возьмет да и сдерет брильянтовую диадему с ее головы или жемчужное колье с напудренной шеи.

День не только в рабочих, но и в богатых кварталах начинался рано. Семь часов утра. Сквозь раскрытое окно моей холостой квартиры на Елисейских полях уже доносятся нежные звуки дудки продавца овощей. На улицу вышли уже консьержи, обмывающие из резиновой кишки малолюдные в этот час широчайшие тротуары. Наскоро одеваешься в верховой костюм — черную жакетку в талию и светлосерые бриджи. У подъезда уже ждет светлочалая, нервная, полукровная нормандская лошадь, и через несколько минут ты уже галопируешь по одной из тенистых мягких дорожек Булонского леса. Легкая дымка, предвещающая жаркий день, смягчает контуры живописных островков и берегов прудов. Дышится свободно и беззаботно. О маньчжурских полях забыто, а о тяжелой петербургской атмосфере не хочется думать.

Утренняя верховая прогулка, кроме удовольствия, представляла и единственную возможность завести знакомства с военным миром по той простой причине, что военную форму офицеры надевали только в этот час и что утренняя верховая езда была обязательна для всего парижского гарнизона, от начальника штаба до самого скромного врача или интенданта. К девяти часам утра картина меняется, и вместо черных венгерок генералов, голубых доломанов гусар и красных штанов пехотинцев видишь на дорожках влюбленные пары, чьи костюмы имеют уже совсем не воинственный вид. Старики и молодые то болтают, проезжая шагом со сброшенными поводьями, то галопируют, хвастаясь друг перед другом широким ровным аллюром кровных лошадей. На главной аллее появляются для утренней проездки четверики цугом, впряженные в высочайшие «мэль-котчи», напоминающие старинные почтовые омнибусы; видны самые разнообразные упряжки, среди которых выделяются высоким ходом вороные орловские рысаки, вывезенные из России самим их хозяином, парижским бездельником, князем Орловым.

Теперь уже делать в Булонском лесу нечего; надо спешить домой, благо можно ехать рысью по широким шоссированным авеню; Наполеон III, как известно, из боязни уличных революционных боев заменил где возможно каменную мостовую щебенкой.

Дома меня встретит молодой камердинер-француз. Он приготовил мне ванну и кофе, квартира уже убрана, пыль тщательно вытерта; он будет открывать дверь приходящим, ровно в двенадцать часов уйдет завтракать, вернется в два часа, разнесет по городу визитные карточки, исполнит поручения, приготовит для вечера фрак, но ровно в восемь уже поднимется к себе в комнату, считая служебный день оконченным. Когда я вспомнил наших заспанных денщиков, разбуженных ночью, этот порядок показался мне прогрессом.

Работу начинаешь просмотром бесчисленных газет. То ли дело было в России: «Новое время» да «Русский инвалид», казалось, уже обо всем тебе расскажут. С десяти часов начнут появляться посетители. Русских офицеров узнаю уже через окно: даже в теплую погоду они стесняются ходить без пальто, кстати, обязательно горохового цвета. По солидной осанке, скуластому лицу и черному чубу не трудно распознать под штатским пиджаком донского есаула. Он ни слова не говорит по-французски, и сам не может объяснить, как могла ему прийти в голову мысль провести отпуск в Париже. Он считает, что военный агент обязан показать ему город, как будто Париж не больше его собственной станицы.

Случайно в этот день мне было что показать представителю далекого тихого Дона: в два часа дня на Больших бульварах должно было состояться карнавальное шествие. По совету знакомых парижан любоваться этим зрелищем было всего удобнее, заняв столик у окна второго этажа одного из ресторанов в окрестностях Мадлен.

Третья республика не забывала рецептов, завещанных ей древним Римом и первыми годами французской революции. «Хлеба и зрелищ!» — вот все, что считалось необходимым для «толпы», причем народные зрелища вроде карнавала обставлялись чуть ли не как государственное дело, в котором главную роль играл в ту пору префект полиции — очередной кумир парижан — господин Лепин.

Когда со стороны площади Конкорд появилась длинная вереница карнавальных колесниц, казалось непонятным, каким образом она могла продвигаться в веселой, шумной толпе, запрудившей к этой минуте не только тротуары, но и мостовую. Никто не наводил порядка, и казалось, что столкновения неизбежны. Больше всего это тревожило моего есаула: как же может обойтись дело без казаков, нагаек или по крайней мере окриков городовых: «Разойдись! Посторонись! Дай дорогу!»

Секрет скоро был открыт. Впереди процессии шел маленький человек с седенькой бородкой клином, в черном сюртуке, с трехцветной республиканской лентой через плечо. В руке он держал блестящий шелковый цилиндр и приветливо раскланивался на все стороны. Это и был Лепин.

За ним шла небольшая группа полицейских агентов в темносиних мундирах и кепи. То и дело от нее отделялись парные дозоры, чтобы удалить тех зрителей, которые не следовали общему примеру и недостаточно быстро расчищали путь перед седеньким старичком.

— Vive Lepine! — слышались возгласы толпы. Публика, повидимому, ценила фокус, которым префект доказывал свое могущество и бесстрашие.

Само зрелище меня разочаровало. Грубо намалеванные макеты резали глаз, привыкший уже ценить чувство меры в изяществе парижских театров и кафешантанов. Милы были только улыбающиеся молоденькие девушки. Одни в белых поварских курточках и колпаках на колеснице рестораторов, другие с веночками из роз на колесницах парижских цветочниц. Было ясно, что церемония карнавала организована синдикатами торговцев в целях нарядной рекламы. Хорошо грело весеннее солнце, ярко пестрел цветочный рынок Маделен, и весело щебетали мидинетки. Никому из пресыщенных жизнью богатых парижан не приходило в голову выходить в подобные дни на бульвары.

Через несколько дней мне пришлось узнать, что Лепин весьма заинтересовал одного из наших соотечественников, у которого возникло желание поглубже проникнуть в жизнь этого старичка.

В распорядок дня в эту пору стала входить английская мода приглашать знакомых пить чай в пять часов, и вот на одном из таких приемов в красивом дамском

салоне меня вызвали по телефону из посольства и просили отправиться без промедления в префектуру полиции: надо было освободить из-под ареста одного из наших генералов.

Поднявшись по широкой и, как водится во всех французских казенных домах, мрачной и закопченной лестнице, я встретил во втором этаже полицейского чиновника, передавшего мне визитную карточку на французском языке.

СКУГАРЕВСКИЙ
Генерал генерального штаба
Командир 8-го армейского корпуса

Фамилию эту я часто слышал в детстве, когда отец был начальником штаба гвардейского корпуса, а Скугаревский — начальником штаба 1-й гвардейской дивизии. Через минуту в комнату вошел высокий, худой, статный старик с длинными седыми бакенбардами, довольно сурового вида. Я, почтительно сняв цилиндр, вытянулся по-военному и отрапортовал о своем служебном положении. Старик в сером неуклюжем пиджаке тоже автоматически встал «смирно», протянул руку и насколько мог приветливо извинился за свою оплошность.

— Простите, — сказал он, — что, будучи в отпуску, я не нанес вам визита как военному агенту.

Подобную военную вежливость молодые поколения русских офицеров давно растеряли.

Из дальнейшего опроса участников этой «мелодрамы» выяснилось, что Скугаревский явился самолично в префектуру полиции и, предъявив визитную карточку, просил показать ему сперва рабочий кабинет префекта, затем его частную квартиру и больше всего интересовался размером получаемого Лепином жалованья и «суточных». Растерявшиеся чиновники, учитывая высокое служебное положение генерала в союзной стране, исполняли его просьбы, но когда наш старик захотел забраться в спальню Лепина, то у них возникло подозрение, и они, вежливо извинившись, просили «обождать» получения указаний от посольства.

— Я ничего плохого не замышлял, — объяснил мне Скугаревский. — Мне просто хотелось убедиться, насколько скромно живет такой человек, как Лепин, дабы

обличить наших губернаторов, которые, на мой взгляд, живут слишком роскошно и не заслуживают тех денег, которые на них тратятся.

Инцидент был исчерпан.

Исполнение должности военного агента офицером, только что прибывшим с театра войны, не могло пройти незамеченным во французском финансовом мире. Чуткость и наблюдательность являются главными качествами всякого финансиста, и для этих закулисных правителей Третьей республики интерес к России ослабеть не мог. Под предлогом военного союза против Германии эти господа слишком привыкли «стричь два раза в год на русских займах» покорных овец — подписчиков — и класть в свои карманы львиную часть от внесенных по подписке сумм. Для этого было необходимо всеми мерами создавать России кредит у тысяч мелких держателей займов. Лавочники и рантье должны были верить в кредитоспособность царского правительства.

Руководил этим доходным делом один действительный тайный советник, при каждом торжественном случае надевавший через плечо темносинюю ленту Белого Орла (один из высших русских орденов). Кто в Париже не знал этого авторитетного финансиста, доктора наук французского университета, русского финансового агента — Артура Рафаловича!

С посольством этот старик мало считался, и я был очень удивлен, получив от него приглашение на обед. За границей приглашения рассылаются заблаговременно, за несколько дней, а иногда и недель, и случайно этот обед совпал с днем роспуска 1-й Государственной думы. Обед был «холостой», то есть без дам, и я оказался самым молодым и единственным военным среди тузов Парижа. Мне стало ясно, что Рафаловичу хотелось показать своим друзьям участника русско-японской войны. Но о Куропаткине рассказывать не приходилось: за обедом надо было определить размер падения русских бумаг на бирже вследствие первого грубого нарушения новой «русской конституции». Конституцией они называли «Манифест 17 октября».

— А по-моему, — робко заметил я, — ничего от этого у нас не изменится, — и сразу почувствовал, как удивила этих авгуров во фраках с сытыми, раскрасневшимися от вина лицами наивность молодого военного. Они оказа-

лись, однако, жестоко наказанными: англичане, как всегда, были лучше осведомлены и, использовав резкое падение бумаг в Париже, нажили на следующий день десятки миллионов.

Артур Рафалович имел в финансовом мире немало врагов, среди которых видной фигурой был барон Жак Гинзбург. Отец Гинзбурга — банкир, получил баронский титул за услугу, оказанную, как это ни странно, самому Александру II. Последний, заведя роман с фрейлиной своей жены княжной Долгорукой, прижил с нею двух детей, а овдовев, женился на ней морганатическим браком и дал ей титул княгини Юрьевской. Расходы, связанные с этой сложной интригой, оказались так велики, что даже услужливый министр двора граф Адлерберг не сумел отнести их непосредственно на государственный бюджет. Тут-то и подвернулся Гинзбург-отец, устроивший первый, так сказать, «французский заем». Сыну его, Жаку Гинзбургу, воспитанному в Петербурге, были привиты вкусы к окружавшей его золотой мишуре, звону шпор и гусарским ментикам. Красивый, статный юноша поступает юнкером в «образцовый» кавалерийский эскадрон, производится в офицеры, участвует в турецкой войне. Интересно было видеть, с какой неподдельной гордостью этот пополневший, но навсегда сохранивший военный лоск банкир являлся на приемы в русское посольство со своим боевым орденом в петлице парижского фрака. Конечно, неуклюжему Рафаловичу нельзя было тягаться с Гинзбургом в светских манерах, открывавших доступ в дипломатические салоны.

Дипломатические связи толкали Гинзбурга на самые рискованные операции. Вероятно, под давлением англичан, а главное из жадности к наживе, Гинзбург в самый разгар маньчжурской войны сумел провести заем для Японии. Это дало против него козырь в руки Рафаловича, что, однако, не смогло помешать тому же Гинзбургу в 1906 году с еще большим успехом участвовать в проведении русского займа. Ему надо было нажать все пружины, и, вероятно, не без мысли об этом Гинзбург, по установленному во Франции обычаю, закрепил знакомство со мной приглашением на следующий день к завтраку у «Вуазена» (в русском переводе — «сосед»). Так назывался ресторан, славившийся лучшей в то время кухней, а главное — винным погребом. Интересно, что

чем шикарнее был ресторан, тем помещение его было скромнее, уютнее, но и грязнее: больших зал, больших театров французы недолюбливали. Ослепляющая роскошь в таких заведениях по вкусу немцам, а в особенности американцам. Мировая война многое изменила в облике Парижа. Исчез и «Вуазен». Не существует больше и «таблицы логарифмов», как я прозвал когда-то карточку вин, подносившуюся клиентам седым лысым «соммелье» (виночерпий). В отличие от лакеев в белых фартуках его фартук был синим, что делало не такими заметными следы путешествий в запыленный винный погреб. В вертикальной колонке карточки были проставлены названия бордосских вин, подразделенных по качествам на четыре «крю» — группы, а в горизонтальной — года выхода вин за последние тридцать лет; в образованных от пересечения клеточках были указаны цены от пяти до ста франков за бутылку. Каждый мог выбрать себе вино, ориентируясь на его сорт, год выхода или же цену, как кому было удобнее. Вина года моего рождения особенно ценились (1877 год был одним из самых солнечных, самых благоприятных для виноделия в XIX веке).

— Объясните мне, пожалуйста, — спросил я за завтраком Гинзбурга, — что заставляет парижан всех возрастов и состояний с раннего утра стоять в очередях чуть ли не перед каждым маленьким банком или банковской конторой в ожидании права внести в них свои последние гроши? «Русский заем! Русский заем!» — твердят они. Но мы же проиграли войну, неужели они стремятся нам помочь?

— Как вы наивны, — ответил мне Гинзбург. — О России они имеют представление, заимствованное в утренней газете. В настоящее время после ликований по поводу русской конституции все «благомыслящие» газеты взялись за ум и по нашим указаниям начинают пугать держателей русских займов русской анархией, от которой может спасти только военная мощь царского правительства. Мы, банкиры, отлично знаем, чего стоит Николай II, но его надо поддержать, он нам нужен для развития наших финансовых связей с вашей страной. Вы не понимаете, какое блестящее будущее ее ожидает. А держателей русских бумаг интересует в конце концов только регулярная оплата купонов и получение лишнего процента в год по новой подписке. Если вы сомневаетесь, зайдите

в «Креди Лионнэ». Там с утра до ночи вы увидите мужчин и женщин, сидящих в специальном зале за маленькими столиками. У каждого в руках ножницы, принесенные из дому, которыми они совершают священнодействие — отрезку очередных купонов.

— К тому же, — авторитетно добавил Гинзбург, — заем выпускается значительно ниже номинала, и это очень выгодно. Вам, дорогой капитан, остается лишь помочь нам беседами с некоторыми журналистами, чтобы успокоить их в отношении силы русской армии. Я ведь старый юнкер, тоже могу рассказать о блестящем майском параде на Марсовом поле...

Бароны Гинзбурги искренне привыкли считать французский народ за покорных овец и, подобно страусу, кладущему голову под крыло при виде опасности, закрывали глаза на тот сильнейший отклик, который вызвала русская революция 1905 года во французской рабочей среде.

В самом Париже не трудно было в этом убедиться, и не надо было ездить для этого, как в России, на окраины и заводы. Дома я только слышал о рабочих, а в Париже в 1906 году я, наконец, их увидел собственными глазами, и не раз и не два.

Обычно по субботам, по окончании рабочей недели, незаметно для полиции и постороннего взгляда люди в кепках и синих блузах постепенно наводняли центр города: Авеню де л'Опера и Плас де ла Бурс. Толпа быстро росла, и на широкие ступени здания биржи влезали какие-то ораторы и сильно жестикулировали; слышать их можно было из окон кафе, откуда я наблюдал эти сцены.

— Les ouvriers russes nous donnent l'exemple! (Русские рабочие нам подают пример!)

Толпа гудела. Эти возгласы были слышны отовсюду, но каждый раз, когда крики усиливались, в гущу людей лихо врезались кирасиры в стальных касках и кирасах, на мощных раскормленных конях с подстриженными хвостами. Они двигались шагом, разомкнутыми рядами, но как только кто-нибудь схватывал коня за повод или громко ругался, офицер невозмутимо командовал «au trot» (рысью). Толпа расступалась, кони сшибали людей, и через несколько шагов снова раздавалась команда «au pas» (шагом). Ораторы тем временем продолжали агитировать толпу.

— Они требуют восьмичасового рабочего дня и повышения заработной платы. Это не так страшно! — объяснили мне старожилы.

Ободренный русской революцией, французский рабочий класс не на шутку, впрочем, напугал в этот год своих хозяев. Только этим можно было объяснить появление в последних числах апреля во внутреннем дворике моего дома целого взвода пехоты, составившего ружья в козлы, совсем как на биваке.

— Это они пришли вас охранять по случаю Первого мая, — таинственно объяснил мне консьерж, этот грозный диктатор всякого парижского дома.

Без этого случая я бы долго еще, быть может, не знал о существовании этого дня — праздника трудящихся. Так Париж открывал передо мною новый, неведомый для меня мир.

Среди многочисленных опасностей, подстерегающих военных агентов, немалой являются изобретатели. Ничто не служит гарантией, что перед тобой может появиться просто неудачник, или мошенник, или даже сумасшедший. Каждый из них одержим своей манией, и выпроводить его и отвязаться от него бывает нелегко.

— Вот мое изобретение, — говорит мне посетитель с сильным немецким акцентом, вынимая из заднего кармана брюк браунинг. — Смотрите, я взвожу курок, целюсь, а прицел и мушка автоматически освещаются.

— Слушайте, — говорю я ему в шутку, — предупреждаю вас, что в моем присутствии зажигалки для папирос и электрические лампочки никогда не загораются.

К счастью, мое предсказание на этот раз сбылось, и мне не пришлось терять времени, чтобы сообщить энергичному изобретателю о существовании подобной системы в австрийской полиции. Он вылетел из моего кабинета, как от зачумленного.

После подобных случаев я начал относиться с некоторым недоверием ко всякого рода предложениям, хотя и не сознавал еще в ту пору, что юркие дельцы, узнав о появлении молодого капитана в роли военного атташе, естественно, пытались использовать его неопытность.

Всю жизнь начальство считало меня или слишком молодым, или слишком старым для занимаемой мною

должности; еще по окончании академии один из благожелательных профессоров сообщил мне по секрету, что в моей аттестации отрицательным свойством была признана молодость.

С первых дней вступления в должность военного агента мне пришлось познакомиться и с ведомством, представлявшим главную пружину в сложном механизме царского режима, — сыскной полицией.

В широких кругах Парижа еще была свежа память о знаменитом Рачковском, начальнике иностранного отдела сыскной полиции, отдела, влиявшего не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику России. Я застал на должности руководителя этого почтенного учреждения Гартинга — человека, невзрачного на вид, которому, конечно, было далеко до его блестящего предшественника. Все русские послы по очереди, особенно Извольский, в свое время возмущались размещением этого таинственного учреждения в одном из флигелей посольского дома. Сыщики попросту использовали экстерриториальность посольства, послу подчинены не были, изменить этот порядок никто не имел права, и дипломатам оставалось только вздыхать и негодовать, читая нелестные заметки по своему адресу, появлявшиеся время от времени в левых парижских газетах.

«Rue de Grenelle — это не посольство, а филиал царской охранки», — писали французские репортеры.

Знакомство с Гартингом помогло мне в первой агентурной работе. Тот же всезнающий итальянский коллега, который объяснял мне методы работы по газетным вырезкам, не без иронии спросил меня, «что я думаю о заказанном японцами на заводах Сен-Шаман осадном парке?»

На следующий день я, естественно, задал тот же вопрос «безмолвному» начальнику 2-го французского бюро, который вынужден был сказать, что хотя он об этом слыхал, но объяснить мне ничего не может, так как заказ дан не казенным заводам, а частной промышленности. А я-то, наивный, рассчитывал на содействие союзного генерального штаба, верил искренности французских излияний о безграничной дружбе!

Как подобает дипломату, я скрыл свое негодование и любезно распростился с полковником, проводившим меня, по обыкновению, до двери.

Долго бродил я в этот день по бульварам, раздумывая о том, что необходимо предпринять. Стоял август. Париж спустел: спасаясь от жары, все разъехались по морским курортам, и никто не мог мне помочь даже советом — каким образом получить подтверждение о новых замыслах японцев!

Не хотелось идти к Гартингу, но где же как не у него найти негласного агента, способного раскрыть тайну японского заказа! В мемуарах бывших тайных агентов (открывающих, впрочем, только всем известные тайны) вербовка секретных сотрудников обычно изображается как дело, никогда не представляющее затруднений. Выработались даже трафареты использования для этой цели определенных категорий людей — падших женщин, прокутившихся мужчин или карточных игроков. Но я уверен, что если бы кому-нибудь из усердных читателей подобных романов поручить выбор секретного сотрудника для самого незначительного дела, то он сразу бы понял, что безошибочных рецептов здесь нет, что вербовка агентуры — это ремесло, требующее многолетней и тяжелой практики, полной разочарований, провалов, неудач, о которых в романах, конечно, не пишется.

Практики у меня не было, терять времени было нельзя, и поэтому я ухватился за первого рекомендованного мне Гартингом помощника — отставного французского капитана. Передо мной предстал немолодой француз с тонкими усиками, скромно одетый, имевший вид почтенного чиновника; от военной службы у него остались только сухость тренированного когда-то человека и точность в изложении мысли. Никакой вертлявости, пронырливости в нем не было, он прямо смотрел в глаза, ходил с высоко поднятой головой и ничем не выделялся из толпы средних французов (français moyen).

Не помню, каким образом мне удалось узнать еще до первого свидания с капитаном Д. одну из немаловажных подробностей о порядке японских заграничных заказов: японцы всегда требовали продажи не только приборов и машин, но и всех решительно деталей, сопровождавших эти предметы. При заказе орудий они заказывали той же фирме и снаряды к ним, и это мне помогло. Капитан Д. после нескольких дней поисков, казавшихся мне вечностью, предложил мне устроить свидание с одним инженером, готовым продать за крупную сумму образцы снаря-

дов. Необходимыми деньгами я не располагал, получить их из генерального штаба на столь сомнительное дело нечего было и думать, оставалось попытаться занять в посольстве. На счастье, престарелый осторожный посол был в отпуску, а поверенным в делах оказался экспансивный, но талантливый советник посольства Неклюдов. Выслушав мой рассказ, он открыл сейф и выдал без расписки требуемую сумму.

И вот настало утро, когда я должен был впервые забыть свою фамилию, служебное положение и идти на рискованное предприятие без ведома своего петербургского начальства. Мне казалось, что я все предусмотрел, чтобы скрыть от французских властей свой «негласный» набег на их военную промышленность. Один из едва заметных в Париже входов в метро находился в нескольких шагах от моей квартиры, и в тот ранний час, когда я вышел на улицу, я не встретил ни одного прохожего. Через несколько минут, выйдя из поезда подземной железной дороги на Лионском вокзале, я тут же купил билет до Лиона. В 1-м классе пассажиров всегда бывает мало, и мне казалось, что во 2-м классе я буду менее заметен в своем дорожном сером костюмчике. В Лионе, не выходя с вокзала, я занял комнату в отеле «Терминюс», составляющем одно целое с вокзалом, и стал ждать, как было условлено, таинственного инженера со снарядами. Паспортов в ту пору не требовали, и я отметился в гостинице чужой фамилией: «Брок, коммерсант». Мне все казалось, что вот-вот откроется дверь в мой номер, и французская полиция спросит: «Кто вы такой?» Запутаться в эту минуту не следовало, и потому я «занял» на этот день фамилию у одного из товарищей по корпусу, которую забыть не мог; к тому же фамилия «Брок» лишена резкой национальной окраски — носящий ее может быть и русским, и немцем, и англичанином...

План мой тем временем совершенно созрел. Мне прежде всего хотелось этой первой сделкой завербовать инженера и работать с ним впредь без посредства капитана Д. Заплатить условленную сумму, говорил я себе, могу только в том случае, когда найду на снарядах метку-иероглиф японского приемщика, пробитую в стальном корпусе снаряда. Забирать и везти в Париж тяжелые снаряды я, конечно, не стану: усвоенные из корпуса знания об отношении длины снаряда к калибру, определяющем

род орудия (длинного, гаубицы или мортиры), давали возможность ограничиться точным измерением снарядов. Для этого я запасся и дюймовой линеечкой и бечевкой.

Программу удалось выполнить удачно, и вечером мы расстались с незнакомцем, утащившим из моего номера два принесенных им тяжелых чемодана, уже старыми друзьями. Ночью я вернулся в Париж, а утром в обычный час, в сюртуке и цилиндре, выбритый и надушенный, вошел как ни в чем не бывало на обычный прием к начальнику 2-го бюро.

— Давно не видел вас, капитан, — сказал мне с улыбкой полковник. — Ну как вы остались довольны вашим путешествием?

С этого дня я понял, что 2-е бюро французского генерального штаба умеет хорошо работать.

Но в работе нашей заграничной разведки пришлось разочароваться.

Лазарев, вернувшийся в Париж, выслушав мой доклад, жестоко журил меня за неосторожность. Напрасно я доказывал, что, судя по определенным мною калибрам, японский осадный парк предназначается именно против Владивостока, по которому можно вести огонь или с самых дальних дистанций, или же только мортирами. Мой старший коллега заявил, что такими делами он в союзной стране заниматься не намерен.

Командировка кончалась, но возвращаться в Петербург не хотелось. За несколько месяцев, проведенных во Франции, я уже сжился с нею; передо мной открывались возможности новой интересной деятельности, встречались новые люди, новые нравы, а главное — какое-то живое, манящее к себе дело.

Неужели я навсегда покидаю Париж?

Глава четвертая

СНОВА НА РОДИНЕ

Конец 1906 года — самые тяжелые и мрачные дни в моей личной жизни, одна из самых темных годин истории моей родины. Военное положение в столицах и больших городах — виселицы, расстрелы, политические жертвы.

Мою семью и меня постигает большое, непоправимое горе — я теряю своего отца и друга, Алексея Павловича. Об его убийстве в Твери меня извещает сам Столыпин: вернувшись с разбивки новобранцев и сидя за редактированием отчета о французских маневрах, я неожиданно был вызван к телефону каким-то не известным мне князем Оболенским, сказавшимся адъютантом председателя совета министров. Он сообщил, что Столыпин вызывает меня к себе в Зимний дворец. Это было столь невероятным, что я сразу почувствовал беду. Такой вызов не предвещал ничего хорошего.

Времена переменились: вместо царя во дворце живет Столыпин. Там, где я когда-то слышал беззаботную болтовню на балах, выносятся суровые решения и приговоры всероссийского диктатора.

Я был взволнован до боли, но взял себя в руки и насколько мог спокойно вошел в роскошный кабинет председателя совета министров.

Меня встретил высокий, представительный брюнет с жиденькой бородкой, с глубоко впавшими в орбиты темными глазами. Несмотря на будний день и деловую обстановку, Столыпин был одет нарядно — в длинный сюртук с шелковыми отворотами.

Встреча окончилась быстро. После осторожного сообщения об убийстве отца ему оставалось только в знак сочувствия подать мне свою сухую, нервную руку. Мне тоже нечего было ему сказать.

Над свежей могилой моего отца разыгрывалась политическая вакханалия. Мне, как сыну и военнослужащему, прекратить ее было не под силу. Пользуясь моим продолжительным отсутствием, вызванным маньчжурской войной и парижской командировкой, даже самые близкие люди старались мне доказать, что политические взгляды отца за последние месяцы переменились: например, он будто бы находил вполне нормальным приветственную телеграмму царя Дубровину — главе черносотенного «Союза русского народа».

Я знал, что отец никогда не высказывал особых симпатий и к стороннику реакционеров — архиерею Антонию Волынскому. Алексей Павлович, несмотря на всю свою религиозность, умел отдавать «кесарево — кесарю, а божье — богови» и не допускал вмешательства «батюшек» в государственные дела.

Черные монашеские клобуки, черные дни мрачной реакции.

Что ни день, надевай мундир с траурной повязкой и поезжай на панихиду то по том, то по другом генерале или сановнике. Панихиды всегда играли немаловажную роль в жизни светского Петербурга, на них встречались когда-то все знакомые, назначались любовные свидания; в гостиную, где лежал покойник или покойница, никто не входил, и публика с зажженными свечами в руках могла вдоволь наговориться в соседних комнатах и коридорах квартиры. Теперь же грустные православные песнопения только усиливали мрачное настроение правящих кругов, еще не оправившихся от страха, вызванного революцией.

Хочется бросить военную службу. Вспоминаю Париж. Подальше, подальше бы от российского безысходного мрака. Старые маньчжурские мечты о реформах явно неосуществимы, а военный мундир с боевыми орденами обязывает оставаться в армии.

После парижской командировки я горько жаловался Феде Палицыну на недооценку Лазаревым сведений о японском заказе осадного парка во Франции. Мой хитрый начальник быстро меня успокоил, закидав вопросами о технических деталях японских орудий. Прервав отношения с моим французским осведомителем, я, разумеется, не смог дать исчерпывающих ответов. Так навсегда и был похоронен этот вопрос.

— А вот почему вы медали за японскую войну не носите? — спросило меня начальство.

Медаль представляла собой плохую копию медали за Отечественную войну, бронзовую вместо серебряной; на обратной стороне ее красовалась надпись: «Да вознесет вас господь в свое время».

— В какое время? Когда? — попробовал я спросить своих коллег по генеральному штабу.

— Ну что ты ко всему придираешься? — отвечали мне одни. Другие, более осведомленные, советовали помалкивать, рассказав «по секрету», до чего могут довести услужливые не по разуму канцеляристы. Мир с японцами еще не был заключен, а главный штаб уже составил доклад на «высочайшее имя» о необходимости создать для участников маньчжурской войны особую медаль. Царь, видимо, колебался и против предложенной надписи:

«Да вознесет вас господь» — написал карандашом на полях бумаги: *«В свое время доложить»*.

Когда потребовалось передать надпись для чеканки, то слова «в свое время», случайно пришедшиеся как раз против строчки с текстом надписи, присоединили к ней.

Ни в одно из прежних царствований не раздавалось, кажется, столько медалей и различных значков, как при Николае II. Начав службу, я носил при парадной и служебной форме только маленькую серебряную медаль на голубой андреевской ленточке «за коронацию». Потом присоединил к боевым орденам маньчжурскую медаль. В 1912 году, уже совсем без заслуг с моей стороны, мне прислали медаль с надписью:

«1812. Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги».

Надпись мне понравилась. Медали, отмечающей трехсотлетие дома Романовых, я не успел купить (ее мне не прислали); я уже служил за границей и был избавлен от необходимости участвовать на торжествах по этому поводу. Я все больше сознавал, что династия, судя по ее последним представителям, не заслуживает почета.

Конец империи ознаменовался столетними, двухсотлетними и даже трехсотлетними юбилеями; по случаю их каждый полк, каждое учебное заведение выдумывали какой-нибудь значок, лишний раз продырявливалась левая сторона мундира. Высшие учебные заведения при этом старались подражать рисунку значка генерального штаба, который когда-то был единственным в русской армии, носившимся не на левой, а на правой стороне груди.

Серию подобных празднеств открыл, кажется, мой кавалергардский полк. В 1899 году отмечалось его столетие. В значке полк не нуждался. Зато ему навязали новый полковой штандарт. С неподдельной грустью расставались не только офицеры, но даже и солдаты с нашим старым полковым штандартом, тяжелым квадратным полотнищем, сплошь затканным почерневшим в пороховом дыму серебром. Он видел Аустерлиц, Бородино, Фер-Шампенуаз и Париж; держась за его край, я приносил офицерскую присягу, а теперь его, как покойника, взвод 2-го эскадрона отвез и «похоронил» в соборе Петропавловской крепости.

Церемония прибивки нового штандарта происходила в Аничковом дворце на Невском, где жила вдовствующая императрица — шеф полка. На столе лежала аляповатая икона, написанная масляной краской на холсте, изображавшая глядевших друг на друг седого старичка и старушку. Это были Захарий и Елисавета, в честь которых была построена при императрице Елисавете полковая церковь. День этих святых считался днем полкового праздника. Икона была обрамлена малиновым бархатом. На обратной стороне был вышит вензель Николая II, подчеркивая неразрывную связь войсковой части с личностью монарха. Офицеры, один за другим, по старшинству, специальным серебряным молоточком вбивали очередной гвоздик, прикреплявший полотнище к древку. Тяжелую серебряную цепь, на которой развевался наш старый штандарт, заменили хрупкой цепочкой, такой же дешевой, как и вся бутафория, заведенная при злосчастном царе. Не на полевом галопе, не на лихом карьере, а тут же, на Невском, при выезде из дворца цепочка... порвалась, и новый штандарт беспомощно повис, как бы предвещая беды и несчастья.

Для поддержания царского престижа и поднятия духа в армии юбилеи оказались недостаточными. Тогда-то талантливый генштабист и лихой кавалерист Сухомлинов, обратившись в низкопоклонного царедворца, решил потешать слабоумного царя все новыми и новыми украшениями полковых форм. Полковники и генералы генерального штаба тешились звонкими саблями, заменившими в мирное время шашки, и отвратительными копиями старых киверов с дешевыми позументами, введенными вместо барашковых шапок. Все это, как известно, империи не спасло, и не таких реформ ожидали от правительства бывшие маньчжурцы.

Во время войны я исполнял в штабе 1-й армии полковничью должность, а в Петербурге мне предоставили в штабе гвардейского корпуса место, которое обычно занимали только что окончившие академию птенцы.

Первое поручение — разбивка новобранцев в Михайловском манеже. Новый главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, опора Витте в революционные дни, уже не решался лично приезжать на разбивку и поручал это «ответственное дело» командиру гвардейского корпуса Данилову, одному из признанных Петер-

бургом маньчжурских героев. Бравый генерал хоть и начал службу в гвардейских егерях, но, конечно, не мог знать, как когда-то великий князь Владимир Александрович, всех традиций гвардейских полков и поэтому особенно ценил мои познания, унаследованные от отца, старого гвардейского служаки. При входе в манеж строился добрый десяток новобранцев «1-го сорта», то есть ребят ростом в одиннадцать вершков и выше. Как желанное лакомство, их разглядывали командиры и адъютанты гвардейских полков. Однако самые высокие и могучие доставались гвардейскому экипажу, чтобы с достоинством представлять флот на весельных катерах царских яхт. Рослые новобранцы видом погрубее попадали в преображенцы, голубоглазые блондины — в семеновцы, брюнеты с бородками — в измайловцы, рыжие — в московцы. Все они шли на пополнение первых, так называемых «царевых» рот. А дальше тянулись бесконечные линии обыкновенных парней в полушубках и украинских свитках, ошарашенных невиданным блеском мундиров, касок, палашей и красной подкладкой седого генерала с усищами и царскими вензелями на погонах.

Внешне эти застывшие от страха люди, почтительно снимавшие шапки, не изменились за те десять лет, что я их не видел, однако выслушивая просьбы некоторых из них, можно было заметить, что среди этой массы уже появились смельчаки. Раньше Владимиру Александровичу приходилось слышать лишь скромные просьбы о назначении в тот или другой полк из-за прежней службы в нем родного брата или отца. Теперь эти заявления делались самым настойчивым тоном, без ссылок на родственников, а просто так, по вкусу: «Хочу служить в гусарах, прошу назначить в стрелки», — и все как раз в те полки, которых в старое время избегали, зная наперед царившую в них тяжелую муштру. Петербургские штабные служаки мне тут же шепнули, что надо опасаться подобных заявлений, так как они исходят от людей, завербованных революционными организациями, которые должны разлагать наиболее верные полки в царской резиденции — Царском Селе.

В штабе на Дворцовой площади за составлением ведомостей об очередной разбивке мне вспомнились маньчжурские поля, безграмотные бородачи, тяжелые поражения,

скромная французская пехота, мечты «зонтов», беседы с Куропаткиным.

Если все здесь так замерло, если мы будем по старинке тратить время на отбор «рыжих» и «курносых», то когда же и кто начнет думать о реформах? В штабе, кроме самого Данилова, маньчжурцев нет; к нему-то и надо обратиться, используя как предлог составление плана зимних тактических занятий.

— Бросьте, бросьте эти мысли, Алексей Алексеевич, — объясняет Данилов. — Мы здесь с вами, кроме охраны престола, других задач не имеем. Запомните это раз навсегда.

Ушам не верится! Бывший начальник 6-й Сибирской стрелковой дивизии уже забыл Ляоян и повязан генерал-адъютантским аксельбантом. Блестящая столица смирила и других маньчжурцев. Я сам на Елисейских полях старался забыть прошлое, и только тяжелое пробуждение в Петербурге снова открыло глаза на трагическую русскую действительность.

Данилов, впрочем, имел основание беспокоиться за целость престола. В гвардии, в блестящей царской гвардии были еще свежи воспоминания о «крещенском выстреле» 1-й «его величества» батареи во время салюта настоящим снарядом по Зимнему дворцу.

Не стерлись еще впечатления о выходке 1-го батальона 1-го полка Петровской бригады. Накануне восшествия на престол Николай II как раз командовал 1-м батальоном преображенцев, а десять лет спустя этот батальон отказался идти его охранять и держать караул в Петергофе. Дело произошло перед концом лагерного сбора в Красном Селе. Солдаты вышли на переднюю линейку с криками: «Не пойдем! Не пойдем, а поедем!»

Люди не хотели идти пешком, а требовали поезда.

Батальон был заперт в манеж, обезоружен, с людей были сорваны гвардейские отличия, погоны, и батальон в полном составе был сослан как штрафной в село Медведь Новгородской губернии.

После этого офицеры-преображенцы стали покидать полк, а пажи и юнкера отказывались выходить в «опозоренную» войсковую часть. Николай Николаевич рассвирепел и решил перевести в этот полк без предварительного согласия офицерского собрания лучших офицеров из маньчжурских пехотных полков. Среди них попал в пре-

ображенцы и капитан Кутепов, будущий председатель эмигрантского общевоинского союза в Париже.

Однако, как ни старались Даниловы перековать старых маньчжурцев в охранителей престола, они не смогли помешать части офицерской молодежи попытаться извлечь уроки из несчастной войны. Пример активной работы над пересмотром существовавших порядков подали моряки, наиболее тяжело задетые цусимской катастрофой. «Младотурки», как прозвали тогдашних молодых реформаторов по аналогии с турецкими реформаторами, имели в своих рядах несколько волевых молодых лейтенантов, вроде Колчака, принявшихся за серьезное изучение не только морского, но и военного дела. По их настояниям и проектам был создан впервые морской генеральный штаб, связавшийся с нашим генеральным штабом. «Младотурки» стремились прежде всего засыпать пропасть, которую начальство создало между армией и флотом. Вопрос стоял уже не о далеких военных авантюрах, а об обороне самой столицы. Угроза России со стороны Европы после проигранной войны становилась реальностью, и сам Николай Николаевич открыл залы своего таинственного дворца на Михайловской площади уже не для пьяных оргий, а для военной игры крупных военно-морских соединений. Куда девалась былая неприступность «лукового»: пройдя через должность диктатора в те тревожные октябрьские дни, Николай Николаевич любезно пожимал руку даже молодым генштабистам, приглашавшимся на эту игру.

Как частенько у нас случалось — чем лучше было начинание, чем горячее за него брались, тем скорее остывал первый пыл, и дело не получало развития.

Вопросы большой важности дебатировались во вновь созданном обществе ревнителей военных знаний, в военных журналах, но безнадежно тонули в глубине штабных канцелярий.

В Петербурге продолжали задавать тон все же гвардейцы. Даже самые способные из семьи Романовых, вечные интриганы Михайловичи, и те потешались подсчетом числа шагов в минуту на церемониальном марше гвардейских полков. Этим они развлекались на скучных парадах по случаю полковых праздников, для которых царь вызывал войсковые части к себе в Царское Село. Выезжать

из своей резиденции он не смел. Он уже был в плену у скрывшейся в подполье революции.

На пасху 1907 года я, наконец, за выслугу лет был произведен в подполковники с назначением в штаб 1-го армейского корпуса, только что вернувшегося в Петербург из Маньчжурии. Начальство решило, повидимому, посмотреть, как станет справляться с будничной работой маньчжурец, «испорченный» к тому же парижской командировкой. Меня засадили за составление мобилизационного плана корпуса.

Я уже собрался подчиниться судьбе и обратиться в штабную крысу, но неожиданно в конце лета меня вызвал к себе начальник штаба, генерал Бринкен, старый маньчжурский знакомый, и заявил, что меня требует к себе генерал Иванов, бывший командир 3-го Сибирского корпуса. Хитрый мужик был Николай Иудович; он в конце войны не раз заходил в нашу столовку в Херсу потолковать с молодежью, подышать штабным воздухом, и нелегко бывало разгадать, что таится за ласковым взором и еще более сладкими речами этого простака с величественной и уже слегка седеющей бородой.

— Почему это он именно обо мне вспомнил? — спросил я Бринкена. — И зачем я ему понадобился?

— Растерялся старик, — объяснил мне мой начальник. — Ему хотят дать в командование Киевский округ, но предварительно он должен для этого «сдать экзамен» на командование на больших маневрах в Красном Селе. Маньчжурская война в счет не идет. Вот он и решил просить нашего командира корпуса уступить вас ему на эти дни как старого маньчжурского соратника.

Иванов располагал тремя соединениями: двумя гвардейскими дивизиями и одной стрелковой бригадой.

— Одной дивизией поведем наступление с фронта, — предлагал я. — А другую вместе с стрелками направим в глубокий обход. Точь-в-точь как проделывал это над нами Ояма.

— Опасно, — возражал Иванов, — а вдруг противник обрушится на фронте превосходными силами? Что мы тогда будем делать? Посредники ведь начнут подсчитывать батальоны, а государь император уж наверно будет наблюдать за боем не со стороны обходной колонны, а на фронте, и получится конфуз. Слушайте, до-

рогой, я согласен послать одну дивизию в обход, а уж стрелочков оставим при себе на всякий случай.

Спорили долго, пили чай, писали приказ, вновь переписывали, — до того страх перед начальством туманил голову опытного старика с георгиевским крестом за Ляоянский бой.

Для него японцы были куда безопаснее высокого начальства, а тем более государя императора.

Несчастная война не смогла сломать красносельских порядков, освященных традициями, а страх перед революцией усилил в правящих кругах самое страшное наследие их предков — холопство. Правда, белые кителя уступили место цвету хаки, правда, решено было обратить внимание на физическое развитие солдата, но и это доброе начинание было немедленно подхвачено ловким подхалимом командиром лейб-гусар Воейковым для собственной карьеры. Не имея понятия о физической культуре, он выписал из Праги профессора сокольской гимнастики и использовал его для новых, невиданных, красивых зрелищ на Военном поле. Царь с царского валика мог любоваться, как тысячи гвардейских солдат повторяли без команды гимнастические упражнения чешского профессора.

— Я бы предложил построить войска по этому случаю в форме буквы «Н», — докладывал «зонт» Половцев своему начальнику дивизии, генералу Михневичу, бывшему академическому профессору. — Вы же, ваше превосходительство, нас учили, что при Людовике Четырнадцатом французская армия всегда строилась в виде буквы «L» («Л») в его честь.

Зимняя работа в скромной квартире, отведенной под штаб 1-го армейского корпуса, оказалась совсем не такой скучной, как я представлял. Впрочем, опыт жизни мне тогда уже показал, что скучных дел на свете нет с той минуты, когда их удается приблизить к самой жизни. Сперва казалось, что переписка о сухарных запасах, подковных гвоздях и брезентах — мертвое дело, но у меня нашелся советник, так называемый хозяйственный адъютант, подполковник с красным воротником, Иван Иванович.

Он прошел маньчжурскую войну и просидел не один штабной стул. От него я услышал, что приказы составлять, конечно, хорошо, но проверять их исполнение совершенно необходимо, и что доверять вообще никому нельзя. Когда-то в полку писарь Неверович посвящал меня в тайны припека. Теперь старший писарь совместно с Иваном Ивановичем обучали меня секретам составления простых, срочных и весьма срочных бумаг. Бумага из штаба округа представлялась священной, «но и ей доверять-то всегда нельзя, — учил Иван Иванович, — надо проверить». Взломав пяток сургучных печатей на конверте, подбитом коленкором, я извлек самый важный документ: мобилизационное расписание дней и мест погрузки войсковых частей. Иван Иванович оказался прав: проверив названия станций по железнодорожному расписанию, я не нашел в нем места погрузки, указанного для одного из эшелонов 23-й пехотной дивизии, расквартированной в Новгородской губернии. Конфуз получился большой. Объяснив недоразумение переименованием станций (страсть к переименованиям очень опасна для мобилизаций), штаб округа указал другое место погрузки, а до него, как я донес, расстояние по воздуху превышало двести верст.

— Такого перехода в одни сутки восемьдесят пятый полк совершить не сможет... — не преминул я донести своему коллеге из штаба округа.

Карты никогда не были в моде в России.

Самым больным местом в мобилизационной готовности корпуса оказались обозы, вернувшиеся с маньчжурских передряг в самом плачевном состоянии. Решено было заново их отремонтировать, заменив новыми все части, пришедшие в негодность. Разбогатевшим на военных поставках подрядчикам открывалось широкое поле деятельности и наживы. Обоз, разумеется, к намеченному сроку не был готов, что позволило Ивану Ивановичу дать мне несколько уроков по приемке и веревок, и брезентов, и колес.

Ранним и мрачным декабрьским утром комиссия под моим председательством собралась во дворе одного из наших резервных полков, где уже были построены в образцовом порядке бесчисленные повозки, блиставшие свежей зеленой краской.

— Снимай правое заднее колесо, — командовал я солдатам, присланным в мое распоряжение, — подымай плашмя, подымай выше, выше, по счету «три» бросай оземь!

Эффект превзошел предсказания Ивана Ивановича. Ударившись о мерзлую мостовую, втулка, как пробка, вылетала из колеса, а спицы фейерверком рассыпались во все стороны. Стало ясно, что колесо было старое и его для вида только закрасили.

Мало ли встречалось в военной жизни более интересных фактов, чем случай с этим подкрашенным старым колесом, а между тем он врезался мне в память. Не потому ли, что он символически представил для меня в эту минуту всю картину русской армии, украшавшейся с каждым днем то пуговицами, то блестящими атрибутами, но не лечившей те болезни, которые выявила злосчастная война. Все вокруг рассыпалось, как спицы из колеса.

Личная моя жизнь казалась разбитой, и тот высший свет, в котором я провел первые годы службы, потерял для меня после войны и революции свою последнюю прелесть. Быть может, в этом повинно первое соприкосновение с заграничной жизнью.

В виде исключения я считал своим долгом принимать по воскресеньям приглашения на завтрак к своему бывшему главнокомандующему, Куропаткину. Опальный старик нанимал скромную квартиру где-то за Таврическим садом и создавал себе иллюзию, что его бывшим подчиненным будет приятно собираться вокруг него, как когда-то в далеком Херсу. В передней его верный раб, полковник Остен-Сакен, встречал приглашенных, но их, увы, приходило немного. Так впервые познал я всю горечь, которую должны испытывать опальные сановники, принимающие холопские чувства за личную к себе привязанность и уважение.

Родная семья, являвшая образец русской дружной, сплоченной традициями семьи, с потерей Алексея Павловича лишилась самого главного — своей души. Его старый верный слуга, управляющий Чертолином, Григорий Дмитриевич, был заменен каким-то «выскочкой», вводившим новые порядки. Наш старый друг детства кучер

Борис вместо кровной пары рыжих рысаков погонял кнутиком свою собственную извозчичью клячу. Хотя я был и старшим в семье, но решающего в делах голоса не имел: в отличие от английской аристократии в русских дворянских семьях все дети считались равными.

Мечта создать свою собственную семью привела к женитьбе на очень милой петербургской барышне высшего света, Елене Владимировне Охотниковой, а стремление вырваться из петербургского мрака осуществилось предложением занять пост военного агента в Дании, Швеции и Норвегии.

Глава пятая

ВОЕННЫЙ АГЕНТ В ДАНИИ

Назначение военным агентом в январе 1908 года явилось для меня неожиданностью. За долгие месяцы сидения в штабе корпуса я уже примирился с мыслью не вернуться в Париж, хотя знал, что наш посол просил об этом военного министра. Пост этот был, однако, настолько заманчив, что, конечно, на него могли метить более заслуженные, чем я, полковники и даже генералы. Сознаюсь, что начальник генерального штаба, все тот же Федя Палицын, поступил очень мудро: до посылки на ответственный пост в одну из больших столиц он сперва провел меня через небольшие скандинавские государства.

Назначение военных агентов обставлялось довольно длинной процедурой. Наметив кандидата, генеральный штаб запрашивал его о согласии, так как, кроме различных соображений семейного характера, пост военного агента был связан с денежным вопросом. В отношении окладов военные агенты распределялись на три-четыре категории: высший оклад получали военные агенты в Лондоне и Вашингтоне, как центрах с наиболее дорогой валютой, меньшие, но все же сравнительно большие оклады предназначались для Парижа, Берлина, Вены, Токио, Пекина и Константинополя, более низкие — для Рима, скандинавских государств, Бельгии, Голландии и, наконец, самые низкие — для балканских государств. Все в зависимости не только от валюты и связанной с нею дороговизной жизни, но также и в соответствии с расходами на представительство. Однако, ввиду того что

это самое представительство определить было трудно, оклады русских военных агентов, колебавшиеся вокруг десяти тысяч рублей золотом в год, были недостаточными, особенно для семейных, и оказывались ниже иностранных. Приходилось добавлять к окладам и собственные средства.

После получения согласия кандидата генеральный штаб представлял его назначение на усмотрение министерства иностранных дел, которое в свою очередь испрашивало согласия через своих послов у иностранных правительств. Только тогда следовал высочайший приказ по военному ведомству, и кандидат узнавал об этом из газеты «Русский инвалид».

Явившись по случаю назначения в полной парадной форме на Дворцовую площадь и войдя в кабинет Палицына, я был встречен моим начальником самым радушным образом:

— Ну вот, поздравляю вас. Надеюсь, что вы справитесь с деликатным положением, в которое вы попадаете.

В первую минуту я подумал, что вопрос касается незнания мною скандинавских языков, но Палицын успокоил, объяснив, что я их выучу на ходу. «Деликатное положение» было создано небольшой, по его мнению, неприятностью, происшедшей у моего предшественника, полковника Алексеева, со шведскими офицерами. Он имел несчастье прекрасно говорить по-шведски, изучив этот язык в Финляндском кадетском корпусе, где он в свое время воспитывался. Говорил он, однако, с финским акцентом, и потому шведские офицеры не поверили его русскому происхождению и видели в нем изменника своей родины — Финляндии. На одном из приемов они отказались подать ему руку.

— Вам придется это сгладить и с этой целью перенести свою резиденцию из Копенгагена в Стокгольм. Но покинуть Данию тоже нельзя — это ведь родина вдовствующей императрицы, и обидеть ее никак невозможно.

Я почувствовал, что в необходимости разрываться между тремя столицами, как бы малы они ни были, и будет заключаться главная трудность моего нового поста.

— А, впрочем, самое главное — это там, — закончил Палицын, указывая с присущим ему невозмутимым спокойствием на северный край висевшей на стене громадной карты Европы.

Заметив мое недоумение, вызванное белыми пятнами, обозначавшими малоисследованные в ту пору полярные пространства, Палицын глубокомысленно повторил:

— Да, да. Все будущее там!

Как всякого пророка, я не смог тогда ни оценить Палицына, ни представить себе возможности создания Мурманска, открытия ископаемых богатств Кольского полуострова.

Итак, продолжая глядеть на большую карту в кабинете Палицына, я понял, что мои «владения» обширны, простираясь от Немецкого моря до Северного полюса и охватывая собой театры вековой борьбы России за обладание морем и незамерзающим портом. С чего только начать объезд трех королей, трех королев, трех армий, трех посланников и трех посланниц? Мои предшественники жили всегда в Копенгагене. Не буду ломать традиций и начну с этой столицы, благо она считается одной из древнейших в Европе.

Свадебное путешествие по Европе пришлось сократить, чтобы поспеть ко дню придворного бала в Копенгагене. Такой бал в каждой из «моих столиц» давался только раз в год, и дипломатическая вежливость требовала присутствия на этих торжествах иностранных посольств в полном составе. Военные агенты входили в состав дипломатического корпуса, занимая второе, по старшинству за посланником, место в посольстве, и даже жены их пользовались дипломатической неприкосновенностью. Посещение придворного бала представляло вместе с тем большое удобство и экономию времени, так как во дворце можно было представиться не только всем членам королевской семьи, но и познакомиться со всеми великими людьми маленьких и, как нам тогда казалось, таинственных стран.

Уже самое путешествие из Берлина в Копенгаген было непохоже на другие европейские переезды. Крепко заснув под грохот мчавшегося на север германского экспресса, я проснулся от легкого толчка в полной тишине. Приподняв занавеску вагонного окна, я разглядел в темноте какой-то морской канат и спасательный круг. Ясно, что мы на пароходе, но как очутился на нем вагон, я соображаю не сразу. Легкая качка убеждает, что мы плы-

вем по морю, снова мирный сон, потом грохот поезда и новый морской переезд, на этот раз уже с незнакомым мне до тех пор поскрипыванием всего судна. Это переезд с континента через два пролива на главный датский остров. С этого небольшого опыта начались мои постоянные странствования по балтийским волнам. Плохой я от природы моряк, и потому-то, верно, начальство и послало меня в эти столицы, отделенные от родной земли водным простором.

После знакомых мне уже европейских столиц Копенгаген произвел на меня в первую минуту впечатление скромной провинции. Одна из центральных улиц, на которой находились все лучшие магазины, оказалась не шире московского переулка. Автомобили и извозчики двигались по ней медленно, а многочисленные велосипедисты вели в руках свои машины. Первым из бросившихся в глаза магазинов явилась знаменитая Датская королевская фарфоровая мануфактура; высунувшись из окна автомобиля, жена сразу загляделась на выставленных в витрине перламутровых собачек, серых кошек и зеленых лягушек. Ни одного собственного экипажа, ни одного яркого дамского туалета, ни одного кафе, ни одного ресторана. Вся городская жизнь сосредоточена на двух-трех центральных улицах со старинными, мрачными, обветшалыми домами, и дипломаты были вынуждены довольствоваться большой гостиницей «Отель д'Англетер». Там в пустынном в обычное время зале с четырьмя пальмами, носившем громкое название «Пальмехавен», постоянно можно было встретить скучающих коллег, примирившихся на время со своей невеселой судьбой.

«В какую глушь ты меня завез», — прочел я в глазах молодой жены, избалованной петербургской барышни.

Никто, впрочем, не передал более оригинально первое впечатление от этого старинного мирного города, чем недалекий до наивности генерал-адъютант князь Белосельский-Белозерский. Он в свое время был послан представителем царя на похороны старого датского короля Христиана и, вернувшись в Петербург, рассказывал, что самым веселым оказался самый день похорон. Играла музыка, было много народу, а Копенгаген по случаю печального торжества был расцвечен флагами, которые

сами по себе действительно очень приветливы: широкий белый крест на красном фоне.

Культ национальных флагов во всех трех скандинавских странах непонятен иностранцам: у одних флаги вызывают снисходительную улыбку: «Тешьтесь-де, бедные маленькие островитяне, вашими национальными цветами», а других спустя некоторое время флаги начинают попросту раздражать. В любом ресторанчике Швеции — бумажный голубой флажок с желтым крестом, на каждом вокзале в Норвегии — красный флаг с синим крестом. Так и остались на всю жизнь в памяти эти страны, как будто окрашенные в соответствующие цвета своих национальных флагов. Приглядевшись, замечаешь, однако, что за этой видимостью скрываются глубокие до болезненности национальные патриотические чувства, с которыми дипломатам континентальных государств надо особенно считаться. Самая невинная критика существующих порядков, вполне допустимая в Париже, Лондоне или Берлине, может нанести тяжелую рану самолюбию датчанина, шведа или норвежца, и, наоборот, всякая похвала принимается с чувством гордости за свою страну. Это я почувствовал в первую же минуту в Копенгагене, когда носильщик внес чемоданы в наш номер «Отеля д'Англетер». Окна выходили на небольшую площадь с крохотным сквером, которая в эту минуту огласилась военным маршем. Носильщик сейчас же бросился к окну и на ломаном немецком языке стал выражать свой восторг от происходившего на площади. Впереди шел оркестр из пятидесяти музыкантов, а за ним в исторических высоких медвежьих шапках шагало человек десять солдат-марионеток, окруженных восторженной толпой зевак. Даже уличные продавщицы бананов (недаром же это был приморский город) побросали по этому случаю свои тележки.

Дворцовый караул, смена которого происходила ровно в полдень, представлял важное ежедневное уличное развлечение: оркестр после смены караулов давал концерт на площади, окруженной четырьмя древними дворцами эпохи Людовика XIV, с громадными окнами, застекленными мелкими квадратиками. Дворцы давно стояли пустыми, и королевская семья из экономии ютилась в мансардах и небольших пристройках, а один из дворцов оживал только раз в год, в день бала.

Поднявшись с женой по слабо освещенной лестнице, мы, предшествуемые лакеем в полинялом красном фраке, стали продвигаться среди толпы, переполнившей спозаранку небольшие старинные залы дворца. Приглашенные, показавшиеся мне купцами 2-й гильдии, одетые в черные плохо пригнанные фраки, почтительно перед нами расступались, а их седые супруги и белокурые дочки в старомодных платьях таращили глаза на парижский туалет и брильянты моей жены. Ни военных, ни чиновничьих мундиров не было видно. Наконец, в последнем узком длинном зале мы нашли «своих», то есть членов дипломатического корпуса в расшитых золотом фраках и мундирах. (Форменной одежды не носили одни американцы.) К кучке иностранцев позволяли себе подходить только два-три старца, камергеры в вынутых из нафталина красных фраках, и пять-шесть гвардейских офицеров в светлоголубых доломанах с серебряными бранденбургами. Это были те смельчаки, которые могли объясняться на ломаном французском языке. С остальными приглашенными у дипломатов общего языка не находилось.

Противоположная часть зала была заполнена такими же скромными и уже немолодыми людьми, как и другие залы; это были члены ригсдага, а у дверей во внутренний покой держалась особняком небольшая группа мрачных на вид людей — правительство. Эту группу возглавлял высокий здоровый старик с характерным вздернутым вверх чубом седых волос. Он выделялся из окружающих его сереньких людей орлиным живым взглядом, отражавшим сильный внутренний темперамент. Это был Кристенсен, почти бессменный глава правительства, занимавший в то же время должность военного министра. Совершенным контрастом ему являлся министр иностранных дел его кабинета, тоже седой, но моложавый старик, граф Раабен-Леветцау: мирный, добрый взгляд его глаз разоблачал в нем довольного всем богатого помещика, занимающегося политикой для времяпрепровождения, играния роли и получения соответствующих почестей. Он был необходим социалистам для сношений с дипломатами как единственный член правительства, свободно владевший иностранными языками и получивший в связи со своим происхождением хорошее домашнее воспитание.

Королевская семья вошла в залу как-то незаметно и смешалась с дипломатами, с которыми, как мне показа-

лось, была давно в близких отношениях. Первый из моих «трех королей» оказался молодящимся генералом все в той же форме единственного в королевстве гусарского полка. Внешность Фредерика VIII, родного брата русской вдовствующей императрицы, ничего, кроме любезности, не выражала; этот человек ни о чем, казалось, говорить не мог без улыбки, и это было для него выгодно, так как по его фразам дипломатам бывало трудно определить, кому из них король выражал на балу особое внимание, а об этом им надлежало написать на следующий день донесение.

Удалось только заметить, с каким пренебрежением взирали на своего «повелителя» его собственные министры, и это сразу дало понять, что королевская власть служит только декорумом и прикрытием для закулисной борьбы политических партий за действительную власть. Для маленького двухмиллионного народа, из которого чуть не половина жила в столице, политическая борьба представляла главный интерес дня. Дипломаты, читавшие ежедневно газеты, выбивались из сил, чтобы усмотреть в победе той или иной партии рост политического влияния на внутреннюю политику маленькой страны то той, то другой державы. Подобный осведомительный материал, приукрашенный хитроумными соображениями и примерами, почерпнутыми из бесед с каким-нибудь коллегой, все же был интереснее, чем донесение посланника о рождении сына или дочери у одного из племянников короля. Малые страны сужают умственный горизонт дипломатов, и я, отчаявшись доказать тогдашним нашим союзникам — французам — значение для нас Балтики, решил подарить на новый год каждой из французских миссий (в малых странах роль посольства выполняют дипломатические миссии, а послы именуются посланниками) небольшой земной глобус. Это, объяснял я своим друзьям, молодым секретарям, напомнит вашим посланникам величие вашей союзницы — России и спасет их от составления очередной депеши о встрече на прогулке с какой-нибудь принцессой. Впрочем, не только заправские дипломаты, а и некоторые военные агенты придавали значение всякому слову и жесту коронованных особ. Глазам не хотелось верить, читая как-то донесения нашего военного агента в Вене, серьезного, культурного генштабиста полковника Марченко, с описанием каждого

обеда при австрийском дворе; он прилагал к рапортам меню обеда и расположение приглашенных за столом, обозначая крестиком свое собственное место.

— Ну какое же у тебя впечатление от вчерашнего бала? — спросил меня утром в канцелярии русской миссии мой сверстник, петербургский знакомый Бибиков, занимавший должность второго секретаря.

— Достойно пера Щедрина или Гоголя, — отвечал я. — Особенно смехотворными и жалкими показались мне придворные — отживающие свой век старики и старушки, последние обломки дворянства.

— Но неужели ты не приметил самой королевской семьи? Ведь это же наша собственная царская семья в миниатюре: тут и скачущий по Гатчинскому парку недоучка Михаил Александрович, тут и взбалмошная, маловоспитанная сестра царя Ольга Александровна, — объясняет Бибиков.

— Ты прав, — ответил я. — Недаром грубоватый Александр Третий сказал как-то моему отцу, представляя ему Николая Второго, тогда еще подростка: «Смотрите, Алексей Павлович, как породу испортила!» — намекая на свою жену датчанку Марию Федоровну.

Эти родственные отношения с датской семьей действительно имели, быть может, влияние на воспитание «Ники» (так называли в семье Николая II), столь мало приспособленного и пригодного к управлению нашей великой страной.

— Да что тут толковать о наших с тобой королях, — вступился в разговор мой будущий друг, наш морской агент, старший лейтенант Алексей Константинович Петров. — Станет господь бог мараться о таких помазанников!

Хорошо насмеявшись, мы продолжали обмениваться впечатлениями о вчерашних хозяевах бала, и все сошлись во мнении, что самой страшной фигурой все же являлась сама королева, женщина-великан, лишенная какой бы то ни было прелести. Бибиков объяснял, что она была единственной дочерью шведского короля Оскара, потомка Бернадотта, и привезла с собой в Данию хорошее приданое. Устроил этот брак, разумеется, тот самый старик, король Христиан, который сумел обеспечить не только обедневшую когда-то датскую королевскую семью, но и все свое государство, выдав замуж одну из своих

дочерей за английского короля Эдуарда, а другую — за русского императора Александра III. После этого германскому императору Вильгельму II оставалось только наносить королю Христиану очередные визиты и называть себя скромно «Der kleine Neffe» [1].

Недоставало только хорошего министра финансов, чтобы извлекать побольше пользы из подобных родственных связей, но и его мудрый Христиан нашел, женив своего второго сына на принцессе Марии Бурбонской. Как всякая добрая француженка, она любила деньги и стяжала репутацию одного из крупных игроков на международной бирже, используя для этого свою хорошую осведомленность о политике великих держав. Ее маленький уютный салон, убранный во французском вкусе, казался оазисом среди неинтересного королевского окружения, жившего маленькими интересами маленькой страны.

Родственные связи датской королевской семьи помогали работе не только биржевых дельцов, но и промышленных ловчил. Через Марию Федоровну, или, как ее продолжали называть в Дании, принцессу Дагмару, Датское телеграфное общество получило в свое время концессию на кабельную связь Европы с Владивостоком.

Мне это случайно очень пригодилось, так как моим переводчиком, а в дальнейшем и негласным сотрудником стал отставной чиновник этого общества Гампен. Как для всякого иностранца, прожившего долго в России, наша страна стала для него второй родиной, и он не без гордости щеголял своим чином коллежского советника, переведя его на датский язык и постоянно прибавляя к своей фамилии.

Время от времени мне предписывалось следить и за другим делом, «проведенным» через принцессу Дагмару, — пулеметах Мадсена; датские инженеры много лет безнадежно старались применить их к русскому патрону.

Но настоящим шантажем явился заказ в Дании во время маньчжурской войны непроницаемых для пуль стальных кирас для пехоты! Выданный под это невероятное по своей глупости дело крупный аванс так и не удалось вернуть.

---

[1] Маленький племянник.

Бибиков оказался хорошим информатором. Шумный, суетливый, резкий в обращении, он мало кому был симпатичен не только в петербургском высшем свете, но и в накрахмаленном дипломатическом мире. Он был талантлив, начитан, легко владел языками, а главное — «любил Россию». Дипломатическая служба является большим пробным камнем для проверки отношений каждого к своей стране. Человек отрывается от родины с молодых лет надолго, если не навсегда. Живет он в атмосфере интересов тех стран, куда его бросает судьба, и, охраняя свой личный престиж по всем законам дипломатического этикета, невольно суживает свой кругозор до интересов собственной личности, а в лучшем случае — собственного посольства. Его родина представляется ему местом пребывания очень далекого от него начальства и старых друзей. До получения самостоятельного поста секретари посольств являются слепыми канцелярскими работниками, зависящими исключительно от собственного посла.

Не таков оказался Бибиков. Его интересовала не только датская, но и большая европейская политика. Сколь странными показались мне его рассуждения о том, что настоящей причиной всех европейских дипломатических интриг является вражда между Англией и Германией. Такие слова, как «империализм», «империалистическая политика», у нас еще не были в ходу. Европа к 1908 году едва оправилась от алжезирасского инцидента, в котором Германия впервые, пользуясь ослаблением России после японской войны, выступила как первоклассная колониальная держава против французских интересов в Африке; Англия вела тогда еще закулисную игру, мало заметную постороннему глазу. Секретные пункты соглашения между Францией и Англией о Марокко стали известны лишь много лет спустя.

Для меня, как и для многих, судьба европейского континента зависела попросту от мощи четырех армий: русской, французской, германской и австро-венгерской.

— Россия и Франция не что иное, как пешки в руках Англии. Пойми ты это, — горячился Бибиков и приводил как самый для меня сильный аргумент умопомрачительную германскую морскую программу. Об англо-германском морском соперничестве я, правда, слышал от наших моряков в Петербурге. Но там казалось, что только они,

моряки, и интересовались этим вопросом, причем мнения о качестве каждого из этих флотов были различны. Большинство считало, что хотя немцам и удалось уже обогнать англичан в отношении вооружения и дисциплинированности личного состава, им все же не удастся догнать своих соперников, этих природных моряков, в отношении мореходных качеств судов.

Как большинство русских монархистов, — а Бибиков показал себя таковым и после революции, — он был в душе германофилом и относился, подобно нашему кучеру Борису, с затаенным недоверием к «коварному Альбиону».

Пробовал Бибиков объяснять мне что-то довольно туманное про англо-германскую экономическую борьбу, но в сущности о значении экономики в политике даже во время войны все наше поколение имело тогда самое слабое понятие. Смехотворными и мелочными казались усердия французских дипломатов, стремившихся продвинуть на скандинавские рынки французский коньяк.

Осматривая из любопытства копенгагенский порт, я только увидел, как грузились на английские пароходы с их пестрым красно-синим флагом бочки с большим ярлыком, изображавшим корову на зеленом лугу.

— Полюбуйся, это наше родное сибирское масло, — объясняет Бибиков. — Вон видишь под этим навесом бочки в грязных рогожах? Здесь масло перекладывают в датские бочки, что, правда, необходимо из-за встречающихся в нем булыжников, — знаешь, для веса. Сибирское масло превращается в датское и отправляется в этот всепожирающий Лондон. Наши купцы умеют торговать только у себя дома кумачом да скобяным товаром, а Петры Первые рождаются не часто. А не отгородиться ли нам от всей этой Европы надежной китайской стеной? — так рассуждал мой посольский коллега за десять лет до мировой войны и революции.

Однако действительность не позволяла отгородиться от Европы китайской стеной. Копенгаген представлял, с моей точки зрения, тот пост, с которого можно было наблюдать за всем тем, что почти всегда скрыто от глаз дипломатических и военных представителей больших государств. Больно уж они там на виду. Это мне хорошо уяснил мой коллега в Берлине, опытный и дельный полковник Александр Александрович Михельсон, который

назначал мне свидание не иначе, как в глубине обширного городского парка «Тиргартен».

— Здесь спокойнее поговорить по душам, — объяснял он мне.

Военный атташе — это официальный шпион. Таково ходячее мнение о нашем брате, но это не совсем так.

В ту пору, когда я был назначен в скандинавские государства, в Европе уже появились первые симптомы предвоенной лихорадки: Алжезирас, босно-герцеговинский инцидент. Вместе с небывалым ростом вооружений сживали и заснувшие было временно шпионские организации. Некоторые военные атташе, естественно, были в них втянуты, что и создало обобщающее о них мнение. Результаты участия в этой шпионской работе не заставили себя долго ждать, — начались дипломатические скандалы, главными героями которых оказались следовавшие один за другим русские военные агенты в Вене. Слишком уж представлялось заманчивым использовать для получения секретных сведений «братьев-славян», составлявших в то время большинство населения «лоскутной империи», как называли Австро-Венгерскую монархию.

Драме одного из таких славян — начальника разведывательного отдела австрийского генерального штаба, полковника Ределя — посвящена обширная литература. Чех по происхождению, он был уличен в получении крупных сумм, переводившихся ему русским генеральным штабом. Если уж такие высокие лица шли на службу России, то как было не поверить тем предложениям услуг, которые русские военные агенты получали от военнослужащих славянского происхождения тотчас по приезде в Вену. Они упускали из виду только небольшую деталь: шпионы засылались к ним самим австрийским генеральным штабом с целью проверки дипломатической лойяльности вновь прибывших русских военных представителей.

Да не посетуют на меня мои бывшие коллеги — военные атташе всех стран, но я находил, что если положить на одну чашку весов ценность какого-нибудь подозрительного документа, а на другую — честь и достоинство представителя своей родины, то вторая чашка перевесит. Существует много других способов проникновения в чужую страну, кроме злоупотребления дипломатической неприкосновенностью. Я не отказывался использовать

свое пребывание за границей для наиболее полного осведомления своей армии, но перед отправлением к своему посту поставил условием работать негласным путем только в отношении тех стран, где я официально не аккредитован.

Начальство пробовало было оспаривать мою точку зрения, но предъявить ко мне особых претензий не могло: на негласную разведку мне ассигновалась только тысяча рублей в год. О всякой другой затрате сверх этой суммы требовалось всякий раз запрашивать предварительное согласие в Петербурге.

При подобных условиях разворачивать агентурную деятельность было трудновато.

Судьба, однако, мне улыбнулась.

Нежданно-негаданно в мою служебную комнатушку, которую я отвоевал в мизерном помещении посольской канцелярии, явился не знакомый мне старик высокого роста, с черной седеющей бородой лопатой и глубоко впавшими в орбиту темными глазами. По фамилии, которую он назвал, было трудно определить его национальность. Он просил меня его выслушать.

— Я близок к военной среде такого-то государства, — начал посетитель. — Мне, например, хорошо известна такая-то крепость. Плана ее у меня с собой нет, но, если у вас имеется хорошая карта генерального штаба, я все смогу вам объяснить, и вы сумеете, конечно, судить о моей компетентности в подобных вопросах.

Крепость эта мне хорошо была известна, соответственный лист карты я купил в тот же день в книжном магазине и терпеливо стал слушать доклад загадочного старца. Оказалось, что его данные совпадали с нашими и потому, на первый взгляд, интереса не представляли, за исключением, однако, двух-трех батарей дальнего действия, расположение которых нашему генеральному штабу в то время не удалось открыть; мы только могли о них строить предположения.

— Хорошо, — сказал я, — но все эти сведения меня мало интересуют (хотя в душе решил использовать незнакомца).

— Документов я доставлять вам не могу, а если хотите, то буду писать только о том, что знаю, — продолжал незнакомец. — Если моя работа вас удовлетворит, прошу вас высылать мне ежемесячно...

И тут он назвал мне такую крупную сумму, о которой я тогда и мыслить не смел.

— Никто, кроме моей жены, не будет знать о моих с вами отношениях. Если что со мной случится, она вас известит. Нам едва ли придется еще раз свидеться.

Согласившись на предложение и установив почтовую связь через третьих и четвертых лиц, мы уже совсем подружились, и я решился спросить, что побудило старика приехать в Копенгаген и явиться ко мне с предложением услуг.

— Я родом из провинции Ш... Глубоко всю жизнь таю месть за свою угнетенную страну. А выбранный мною способ, связанный с денежным вопросом, объясняется желанием еще при жизни обеспечить мою любимую дочь, — закончил старик.

На том мы и расстались.

Мы оба сдержали свои обещания, и союзные армии, не желавшие доверять полностью доставлявшимся стариком сведениям, убедились в их правдоподобности только тогда, когда грянула гроза мировой войны. К тому времени старика уже не было на свете. Не позднее как через два года работы и после довольно продолжительного перерыва я получил, наконец, письмо, извещавшее о смерти моего сотрудника в форме простой газетной вырезки следующего содержания:

«Патриотический союз резервных офицеров такого-то округа европейской столицы с сердечным прискорбием извещает о кончине своего почетного президента, полковника в отставке Н...»

Тайные осведомители, кроме хорошего оправдательного документа, наследства после себя не оставляют.

Этот случай, а впоследствии и многие другие, доказал, что донесения осведомителей нередко более ценны, чем самые на вид «секретные» документы.

Входит как-то раз в рабочий кабинет Николая II в Царскосельском дворце мой отец Алексей Павлович и застает царя, с лупой в руке рассматривающего громадный лист ватманской бумаги со сложной схемой, озаглавленной: «Мобилизационный план германской армии».

— Вот Сухомлинов просил меня убедиться в подлинности подписи на этом документе самого Вильгельма.

Мы заплатили за этот документ один миллион рублей, — жалостливо сказал Николай II.

Документ оказался прекрасно выполненной фальсификацией, одной из тех, на средства от продажи которых работала германская разведка. Только наивные люди, подобные Николаю II, могли подумать, что план мог быть подписан самим императором. Невольно возникал вопрос: кто из соотечественников мог поделиться такой богатой добычей?

Говорят, что в мире существует много не объясненных еще наукой явлений. Тайные дела тянут за собой другие подобные же дела, и человек, которому удалось случайно заключить одну сделку по негласной разведке, притягивает к себе, как магнит, новых, совершенно посторонних людей с подобными же предложениями. Установленный мною принцип не злоупотреблять гостеприимством страны, при которой я аккредитован, помог мне во всей последующей работе: Копенгаген стал для меня столь же безопасным городом, как и Петербург.

В этой незаметной для постороннего глаза деятельности каждый человек должен работать согласно своему темпераменту.

Так для меня общение с подонками человеческого общества, с предателями своей страны, не только не расшатало, а скорей укрепило во мне значение того великого рычага, что представляет собою во всякой человеческой работе доверие!

— Знаете, — сказал мне как-то один из моих иностранных осведомителей, — когда я в первый раз уезжал от вас с поручением и занял место на пароходе, то подумал: «Зачем я влез во всю эту историю?» Но вспомнив нашу беседу и почувствовав в кармане выданный вами небольшой аванс, решил: «Нет! Поздно. Я такого человека подвести не могу».

Все налаженное мною дело осведомления, а главное — связи России с заграницей на случай войны, было провалено моим преемником из-за глупейшей неосторожности. Среди визитных карточек, собиравшихся им на подносе в передней, он случайно забыл карточку с адресом своего тайного представителя в другой столице. Нити были открыты. Россия вступила в мировую войну, задушив сама себя закрытием границ без единой отдушины во враждебные государства.

Дело негласной разведки в соседних странах для военных агентов было делом побочным. Прямой их обязанностью было держать в курсе свой генеральный штаб о состоянии сил той страны, где они находились, что, кроме очередных донесений о виденных учениях, маневрах, посещениях войсковых частей, заключало в себе в конечном итоге пересоставление книги «Вооруженные силы такой-то страны». Книги эти переиздавались главным управлением генерального штаба как «не подлежащие оглашению». Кроме того, военные агенты должны были доставлять все вновь выходящие уставы и книги военного и технического содержания, а некоторые, более усердные, составляли еще ежемесячные сводки о прессе; это мне казалось особенно важным после уроков, полученных когда-то в Париже от итальянского военного коллеги. Начальство мое не учитывало при этом, что всю эту работу мне приходилось производить для трех стран, то есть, как говорится, «в кубе», и что от увеличения числа дивизий и бригад размеры уставов не изменяются.

Трудно вообще поверить, насколько мало заботился Петербург о своих военных представителях за границей. В отличие от германских военных атташе, которые пользовались услугами не только посольских канцелярий, но имели и по два, по три помощника в лице перелицованных в гражданские атташе офицеров, — русские военные агенты были предоставлены самим себе и переписывали от руки свои донесения. Свой собственный кабинет приходилось обращать в канцелярию.

Подсаживается как-то к моему письменному столу наш хороший приятель, австро-венгерский посланник граф Сэчэнь, и вздыхает.

— Слушай, — говорит он, — что же мы будем делать в этом скучном городе, если наши страны надумают воевать? Вообрази только: ведь нам тогда не придется больше встречаться.

А я сижу и думаю: а что произойдет, если вдруг моему приятелю придет мысль приоткрыть ближайший ящик письменного стола? В нем он сможет, пожалуй, найти как раз такой документ, который уже и сейчас порвет нашу дружбу. Страшно встать и отойти от стола.

Пришлось произвести большую революцию в высоких петербургских сферах, и мои коллеги должны были

низко мне поклониться за те кредиты, которые были с великим трудом испрошены на заведение несгораемых сейфов и пишущих машинок. Для печатания бумаг я использовал в каждом городе псаломщиков посольских церквей, благо богослужения в этих церквах совершались не часто.

Впрочем, принцип экономии давно уже проводился царским правительством не только в отношении военных, но и дипломатических представителей. Невольное чувство обиды за Россию охватывало меня при всяком посещении германского посольства в Копенгагене: на первой площадке лестницы высился грандиозный портрет Петра в преображенском мундире. Немцы наняли лучшее помещение в центре города — старинный дворец, где когда-то останавливался Петр и где по традиции размещалось много лет русское посольство. Теперь русский посланник нанимал скромную квартиру в каком-то частном доме.

Свою работу в Копенгагене мне пришлось начать с разбора оставленного моим предшественником наследства в виде тетрадей и бумаг, сваленных без всякого порядка в ящик, хранившийся в посольской канцелярии. Хотя мой недолгий служебный опыт мог бы уже меня приучить, насколько у нас в России не придавали значения одному из важнейших условий работы — преемственности при передаче дел, — все же копенгагенский урок заставил меня на всю жизнь уважать этот принцип, в особенности при сдаче заграничных постов. Предшественник не только может в двух словах обрисовать положение каждого вопроса, над которым он работал, но и передать своему преемнику то, что ни за какие деньги в короткий срок приобрести нельзя: у себя дома — живые характеристики подчиненных, а за границей — связи, знакомства и портреты главных политических и военных деятелей. Можно с уверенностью сказать, что без хорошо обеспеченной преемственности нельзя ожидать от военного агента интересных донесений ранее четырех — шести месяцев.

Собственные коллеги — дипломаты — мало могут в чем помочь: в тех странах, где они языка не понимают, как, например, в скандинавских, знакомства их ограничиваются дипломатическим корпусом, а в больших государствах они вращаются среди того общества, которое стоит далеко от военных вопросов.

Единственным и очень ценным осведомителем моим в Копенгагене оказался мой французский коллега, майор Хэпп. К сожалению, он не нравился моей жене из-за грязных ногтей и подозрительного цвета воротничка. Но за ним было то главное преимущество, что мать его была норвежкой, и это позволяло ему без словаря переводить тексты с любого из скандинавских языков. Сядет, бывало, Хэпп в засаленной пижаме за машинку и начнет без устали печатать.

«Два барабанщика. Три капрала. Один лейтенант. Один капитан. Шесть унтер-офицеров. Десять капралов...»

— Да кому это интересно, — спросил я своего коллегу, — знать, сколько капралов в датской обозной роте?

Хэпп обиделся.

— Это же самое главное, — объяснял он. — Это кадры, поймите, кадры.

«Так вот с чем недостаточно считались у нас в России», — про себя подумал я, и слово «кадры» приобрело для меня особое значение.

Франко-прусская война была выиграна не только Мольтке, но и германским унтер-офицером, сельским учителем, а американская техника обязана не только Фордам, но и высококвалифицированным, опытным рабочим.

Нет человека без слабостей, и у такого на вид невзрачного человечка, как майор Хэпп, была тоже страстишка — болезненное преклонение перед орденами. Посмотрит он, бывало, на мою широкую колодку на груди мундира и сразу напомнит мне, что пора запросить для моего союзника очередного Станислава или Анну.

Он не оставался у нас в долгу. Я встретил его после мировой войны во Франции генералом. Он потерял в бою ногу, и ему было поручено, как инвалиду, приведение в порядок кладбищ на фронте.

— Я о ваших специально позаботился, — доложил мне мой бедный бывший коллега, увешанный орденами, — разрыл могилы и переложил покойников согласно полученным ими при жизни «георгиям» первой, второй или третьей степени.

Пример Хэппа побудил меня как можно скорее изучить языки тех стран, в которые я был послан. Первой обязанностью военного атташе является возможность говорить на одном языке с той армией, при которой он

состоит. Уставы, книги, журналы — все может быть прочтено в России, но они получают особый смысл для человека, живущего в атмосфере, где составляются эти печатные документы.

В определенную эпоху уставы всех стран похожи друг на друга, но объяснить, почему именно некоторые слова написаны жирным шрифтом, некоторые объяснения особенно пространны, может только тот, кто ознакомлен с качествами и недостатками той или другой армии, с ее духом, привычками и традициями. Уже поэтому военный атташе, как и всякий иностранец, живущий вне пределов его страны, обязан одухотворять печатное слово живым наблюдением, общением с населением, знакомством с его бытом, нравами и вкусами. Только при этих условиях он способен и видеть и, что еще важнее, предвидеть.

В первый же день моего приезда в Копенгаген я убедился, что даже самая простая фраза, произнесенная по всем правилам разговорника, непонятна для жителя этого города. Выйдя из отеля, я самоуверенно назвал шоферу такси адрес нашей миссии, предусмотрительно заученный в Петербурге.

— Брэдгадэ-сю, — сказал я.

— Ик-кэ фэрсто, — ответил мне датчанин. — Не понимаю.

Пришлось звать на помощь портье гостиницы и выучить на слух новое произношение: вместо Брэдгадэ — Брейгей.

Ничего не поделаешь: глотают датчане последние слоги. Это потомки моряков-парусников и, подобно англичанам и норвежцам, говорят они на том языке, на котором их предки умудрялись перекликаться при сильном морском шторме с носа барки до рулевого на корме.

Язык — одно из наиболее ярких отражений истории страны, и при чтении газет моих трех государств я вспомнил, как, например, Дания в свое время была большим государством, распространив свои владения и на Норвегию и на Швецию, — все три языка имели много общих корней. Я остановился на изучении шведского языка как языка самой крупной из «моих трех армий» и наиболее близкого к немецкому. Через шесть месяцев я мог читать первые страницы газет и объясняться в поездах и гости-

ницах, через год — читать уставы и объясняться со шведскими офицерами, а через два года — выражать по установленному в Швеции обычаю коллективные благодарности гостеприимным хозяевам дома за великолепный обед.

— Неужели вы до сих пор помните шведский язык? — спросила тридцать лет спустя жена шведского военного атташе, встретив меня на Красной площади на первомайском параде.

Мне пришлось, кроме изучения неведомых мне дотоле языков, с первых же дней приезда познакомиться с нравами и обычаями новых для меня стран. Прежде всего надо было в кратчайший срок нанять квартиру, соответствующую по размерам, а главное — по кварталу моему служебному положению. Это оказалось нетрудным. На той же пустынной площади Марморн-плац, посреди которой возвышалась громоздкая мрачная Марморн Кирке с ее заунывным звоном колокола, отбивавшего часы, располагалась и канцелярия нашего посольства, а в соседнем доме нашлась обветшалая, но довольно просторная квартира. Ни дворников, ни швейцаров в Копенгагене не существовало, и единственным затруднением было найти хозяина дома. Цена показалась мне очень дешевой, и я сразу попросил заключить договор на три года.

— У нас договоров на квартиры не существует. Нам достаточно вашего слова, — заявил мне старик-датчанин. Плохо понимая его гортанные звуки, я с трудом поверил его ответу. К такому доверию я в России не был приучен!

Вскоре прибыла из Петербурга прислуга: камердинер, он же буфетчик, только что окончивший службу лейб-гусар, горничная и повар. Для обслуживания дома, а главное, для подачи к столу, русского персонала не хватало, и пришлось нанять еще молодого, юркого, белобрысого датчанина, у которого оказался только один недостаток: в поданной им от полиции справке значилось, что больше половины его содержания я обязан удерживать на покрытие «алиментов» трем женщинам. Бедный Фриц — ему было тогда всего двадцать шесть лет!

Бибиков приоткрыл мне завесу над той стороной жизни, которая для меня, как для женатого, была недоступна.

— Здесь для женщин закон простой. После шестнадцати лет ни одна девушка не имеет права оставаться без определенного места работы или службы. Этим, с одной стороны, упраздняется проституция, а вместе с тем женщина уравнивается в правах с мужчиной. А что касается материнства, то датский суд неизменно отдает преимущество голосу матери, считая, что, как бы низок ни был ее нравственный облик, все же к вопросу о ребенке она будет относиться более правдиво и глубоко, чем мужчина.

Вот тебе и королевство: насколько же его законы впереди порядков не только царской России, но и республиканской Франции!

Как только квартира была устроена, надо было организовать новоселье — первый дипломатический обед, от успеха которого, по мнению русского посланника, князя Кудашева, зависело чуть ли не все наше положение в Копенгагене. Предшественники Кудашева сделали в последующем блестящую карьеру: Моренгейм, посол в Париже, организовал франко-русский союз, Извольский стал министром иностранных дел. Но Ванечке Кудашеву, как звали его бывшие однополчане-конногвардейцы, мечтать о подобной карьере не приходилось, хотя он и пытался не отстать от своего уже великого в те дни свояка Извольского и считал себя его преемником по изучению вопроса о нейтралитете Датских проливов. Нового в этом он, конечно, ничего открыть не мог и приложил все усилия для тщательного ознакомления с дипломатическим этикетом — этой важной и неразрывной частью работы иностранных представителей за границей. Мой первый посланник оказался и моим первым учителем на этом поприще.

Хотя мы с женой и навидались в домах наших родителей обедов с приглашенными, но, вспоминая парижские приемы, я знал, что заграничные порядки сильно отличаются от русских. Прежде всего нет водки, нет закусок. Гости садятся за стол голодными и не довольствуются двумя-тремя блюдами. Надо составлять меню, для которого существует освященная традициями всех стран схема. На первое — суп (русских пирожков никто не ест), на второе — рыбное, на третье — основное мясное блюдо — ростбиф или окорок телятины, баранины, ветчины с овощами, на четвертое — куры или дичь с салатом, на пятое — «примёры»: спаржа, артишоки, цветная ка-

пуста, трюфеля и, наконец, сладкое, а после него сыр, фрукты, петифуры, конфеты. Основным качеством обеда является скорость подачи: на подобном обеде гости не должны сидеть больше сорока пяти — пятидесяти минут за столом. Кудашев каждый раз проверял это по часам. Если второе блюдо холодное, то третье должно быть горячее, если третье горячее, лучше, чтоб четвертое было холодное, и т. д. Если на первое блюдо соус светлый, то на второе надо подать блюдо с темным соусом. Вкус, цвет, температура — все должно быть разнообразно и заранее предусмотрено. С меню обеда надо согласовать и сорта вин: после супа — мадера, портвейн или херес, после рыбы — белое вино холодное, после мяса — красное «chambré» [1], перед сладким — шампанское холодное, после сыра — сладкое десертное. Бутылки с вином, разумеется, на стол ни в каком случае не ставятся: вино или наливается прислугой, или в крайности подается в графинах. Церемония обеда на этом не кончается, так как, перейдя в гостиную, гости должны еще получить кофе, ликеры и сигары.

Этот сложный церемониал, унаследованный буржуазией XIX века от эпохи роскошных придворных приемов французских королей XVIII века, составил часть тех условностей, которыми живет дипломатический мир и до наших дней. Впрочем, приглашение на обед, места за столом — все представляет значение не только в дипломатическом, но и во всяком буржуазном обществе. И вот на этом-то я и не выдержал своего первого экзамена у Кудашева. Пригласив его с супругой на новоселье, мы хотели блеснуть перед ним нашими первыми достижениями — списком приглашенных: английский посланник, чопорный Джонсон с моноклем в глазу, датский гусарский капитан граф Мольтке с женой, австрийский секретарь граф Шёнборн и, как свой человек, на самом последнем месте — Бибиков.

На следующее утро, встретив меня в канцелярии, Кудашев не скрыл своей обиды.

— Как это вы умудрились испортить столь прекрасный обед, пригласив этого Джонсона? Вы правильно сделали, посадив его, как иностранца, по правую руку от вашей супруги, а меня — по левую, но для первого обеда

[1] Комнатная температура.

ваш собственный посланник должен занять первое место, и для этого надо было приглашать только лиц, стоящих ниже его по положению за столом!

Вот чем жили, да еще, пожалуй, и сейчас живут дипломаты.

Простота отношений, демократический дух датского народа производили на большинство из них удручающее впечатление. Прежде всего для передвижений и прогулок надо было всякому дипломату сделаться велосипедистом.

«Сегодня фонари зажигаются в шесть часов вечера», — прочел я в первый же день моего приезда на первой странице газеты «Политикен» и, расспросив обывателей, узнал, что это касается специально велосипедистов.

«Вчера король на своем велосипеде нечаянно налетел на лоток продавщицы пряников, извинился и заплатил десять крон. Неужели наш король так беден, что не смог заплатить больше?» — перевел я на уроке чтения той же газеты через несколько дней.

Все решительно проезжие дороги имели параллельные бетонированные дорожки, по которым катил и стар и млад, и богач и бедняк, что придавало жизни ту внешнюю прелестную простоту, которой нигде в Европе нельзя было встретить. Помню негодование американского миллионера, катившего в богатом автомобиле и вынужденного остановиться в пути, заночевав в какой-то скромной деревушке. После десяти часов вечера движение автомобилей в стране прекращалось: они не должны беспокоить мирный сон датских крестьян.

Хорошим воспитательным приемом для снобов-дипломатов являлись посещения знаменитого «Тиволи». Почтенные посланники в смокингах и их супруги в парижских туалетах должны были привыкнуть к мысли, что более веселого места во всей Скандинавии не имеется; при свете разноцветных фонариков, катаясь верхом на деревянных карусельных львах, они в конце концов находили совершенно нормальным узнавать в соседке, сидящей на спине тигра, свою собственную горничную.

На всем укладе датской жизни лежал отпечаток систематической борьбы за свои права низших социальных классов. Все перегородки между ложами в театрах были давно снесены. Когда я приезжал в гости к графу Раабену в его старинный замок «Ольхольм», мне казалось, что я попадаю в какой-то особый мир. Древней

высокой решеткой отделялся он от всего окружающего. Семья и приглашенные коротали день в прогулках по буковым лесам, составлявшим украшение и гордость датских островов. Вековые деревья, сплетаясь ветвями у самых вершин, напоминали легкие своды готических соборов. По вечерам таинственный громадный замок оглашался нежными звуками органа, на котором играла сама очаровательная хозяйка дома, графиня Нина Раабен.

Но вот воскресное утро. Хозяйка предлагает гостям покинуть замок и переселиться неподалеку в импровизированный палатный лагерь на морском берегу. С двенадцати часов дня старинные ворота решетки замка должны быть открыты, и население имеет право пользоваться весь день парком с его тенистыми уголками.

— Никогда я не пойму этих датских порядков, — возмущался князь Кудашев.

Русскому помещику не приходило в голову, что на таких подачках народу только и могли сохранять на Западе свое положение имущие классы.

Будничная жизнь русской дипломатической миссии в Копенгагене нарушалась ежегодным приездом в августе вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Для встречи «ее величества» посланник и оба секретаря облачались в расшитые золотыми позументами придворные мундиры и белые штаны, и только я не должен был страдать от жары, являясь на пристань в походной форме при серебряном шарфе и шашке. Вновь установленную парадную форму с кивером и саблей императрица находила столь уродливой, что просила меня никогда в ней не показываться. Реформа Сухомлинова успеха у нее не имела.

Величественно входила в небольшой копенгагенский порт темносиняя красавица — яхта «Полярная звезда», окаймленная по борту массивным золотым канатом. Перед ней бледнела ее соперница, стоявшая тут же на рейде, — яхта английской королевы Александры, сестры Марии Федоровны.

Радостно билось каждый раз сердце при виде родных русских людей — гвардейских матросов, таких могучих загорелых ребят с обнаженными шеями и лихо зало-

мленными набекрень фуражками с георгиевскими ленточками.

— Здорово, братцы! — и в этом русском приветствии и в дружном ответе откликалась родная сторона.

Срок службы во флоте был в ту пору семилетним, и потому каждый год встречались те же лица. Быть может, и этим русским ребятам казалось приятным встречать за границей все того же «своего офицера», и я постепенно стал ощущать при встрече с ними те же чувства, что когда-то в своем уланском эскадроне.

Эту идиллию разрушил мой коллега Петров, знавший в совершенстве морские порядки.

— Вот посмотри на этих людей; они к-как будто веер-но-по-од-данные (Петров, от природы заика, любил шутливо бросаться установленными монархическими трафаретами), а-а в ду-уше он-и-и уже х-хорошо под-г-о-отов-лены к-к революции. Императрица по приходе в Копенгаген отправится, как ты знаешь, со своей сестрицей-королевой на дачу в Видёрэ и будет счастлива забыть на время всякие придворные и служебные дела. Но на «Полярной звезде» будет не до отдыха. На нее будут свозиться сотни и тысячи ящиков с заморскими винами и самыми дорогими парижскими консервами, благо на них в Дании пошлины нет. Все эти ценные грузы поставляются крупными датскими торговыми фирмами и оплачиваются банками, в которых открыты текущие счета для всей придворной челяди, до горничных и выездного бородача-казака включительно. Все они являются контрагентами питерских и московких магазинов Смурова и Елисеева, и мы с тобой подозревать не будем, угощаясь на Морской французским сыром и дорогим ликером, что все эти заморские деликатесы доставила к нам «Полярная звезда». Ее экипаж, все эти здоровенные гвардейские молодцы, вернувшись из плавания и пришвартовавшись к набережной в Кронштадте, должны будут на своих спинах проносить контрабанду мимо таможенного чиновника, заявляя, что все эти тысячи тонн консервов предназначены для «ее величества». Они ответят улыбкой на многозначительную улыбку таможенного чиновника — блюстителя интересов нашей русской казны.

— Но ведь это же возмутительно! Что же смотрит начальство на яхте? Я пойду сам с ним объясняться, — заявил я.

Старший офицер на яхте — этот истинный хозяин всякого военного судна — капитан 2-го ранга Заботкин разделил отчасти мое негодование.

— Таможня-то таможней, — сказал он, — но ведь мы, кроме того, ежегодно рискуем потерять самое яхту на обратном рейсе. Из-за перегрузки она садится в воду чуть ли не до самого золотого каната, и волна гуляет, как хочет, по палубе. Я просил императрицу разрешения установить хотя бы какую-нибудь норму для всякого пассажира, но получил категорический отказ: «Что это вы вздумали ломать установленный порядок», — оборвала меня императрица.

— Вот видишь, — злорадствовал Петров, — я был прав. Опять один, хоть, правда, и небольшой, тупик. Сами ведем революционную пропаганду.

Глава шестая

В ШВЕЦИИ

Выезжать из Копенгагена в Стокгольм приходилось вечером. В порту на пристани было темно и неуютно; там дул вечный ветер, предвещавший хорошую качку в течение двухчасового морского перехода до шведского порта Мальмё. Лучшим местом на пароходе оказывалась пароходная столовая, где можно было пить маленькими глотками коньяк, не обращая внимания на покрякивание ветхого датского суденышка.

Швеция встречала чистотой и порядком, царящими и на вокзале и в поезде. Везде простой, здоровый и отличный от европейского континента комфорт, без лишней роскоши, без единого лишнего предмета; вместо ковров подозрительной чистоты — морские маты, вместо оконных занавесок, рассадников пыли, — прочные, добротные шторы.

Заснув в грубоватом, но чистом белье, просыпаешься только утром и сразу чувствуешь, что поезд уже далеко увез тебя от берегов дождливой Дании, от серых ландшафтов европейской зимы. Стройные ели, припорошенные снегом, напоминают близость родной стороны, а ослепительное февральское солнце переносит мысли в детство, в далекий, но навсегда дорогой Иркутск. Воздух так чист

и прозрачен, что, несмотря на мороз, выходишь подышать на открытую площадку вагона, не надевая пальто. Не раз думал я, путешествуя по Швеции, Норвегии и Финляндии, насколько легко молодежи этих стран побивать мировые рекорды по зимнему спорту; а вот попробовали бы они заняться этим делом в наши трескучие морозы или в промозглую оттепель на питерских болотах!

При выходе с вокзала в Стокгольме меня озадачила надпись на фонаре с названием площади: «Torg». Торг — да ведь это же русское слово. Торг — торговля. Не варяги ли занесли его нам, обучая торговле моих предков? На площади «Торг» скупали лен и хлеб, а для порядка ставили посреди «Столпе» — столб.

Такси быстро помчало нас по очищенным от снега и гладко вымощенным улицам в лучшую в городе гостиницу «Гранд-Отель». В противоположность Копенгагену Стокгольм произвел впечатление столицы хотя и небольшого, но высококультурного государства. Об истории его напоминал не только древний королевский замок на высокой скале, но и бесчисленные памятники, разбросанные по скверам и площадям. Большинство из них во всех шведских городах изображает небольшую, щупленькую фигуру Карла XII, и уже это показывает, насколько несправедливо оценивают потомки своих предков. Казалось бы, шведы должны были больше всего прославлять создателей величия их страны — Густава Вазу и Густава-Адольфа, этого великого полководца, перенесшего войну на континент и павшего смертью героя в последнем выигранном им сражении при Летцене. Но это были типичные представители своей эпохи и своего государства, тогда как нервный до истеричности Карл XII, этот военный авантюрист, растерявший под ударами Петра многовековое владычество Швеции на Балтике, повидимому, сильнее воздействовал на воображение своих потомков: он был совсем на них не похож.

В прекрасном номере гостиницы меня уже ждала горячая ванна, которой я поспешил воспользоваться. Но при этом пришлось сразу познакомиться с одной из характерных черт шведского быта: не успел я раздеться и опуститься в воду, как предо мной предстала молодая, цветущая здоровьем горничная и, не спрашивая разрешения, намылила мочалку и усердно стала меня обмывать. Это было сделано так просто и решительно, что я и

протестовать не посмел. Роль банщиков в Швеции выполняют исключительно женщины, они же заменяют французских гарсонов в кафе и невинно флиртуют со шведскими офицерами.

Радушие и любезность к иностранцам, объясняемые желанием представить свою страну в наилучшем свете, — все эти шведские качества были нам показаны уже в полдень. В роскошном ресторане «Гранд-Отеля» шведский посланник в Дании Гюнтер, приехавший на побывку в Стокгольм, пригласил нас с женой завтракать с представителями шведского гарнизона. Он познакомился с нами еще в Копенгагене и уже тогда обещал затмить датские обеды знаменитыми шведскими закусками «Smörgas».

Представители шведской гвардии своей выправкой и воинственным видом невольно воскрешали в памяти то славное сражение, после которого Петр, по выражению поэта, «и славных пленников ласкает и за учителей своих заздравный кубок подымает». Вот прообраз русского преображенца — высокий сухой великан, блондин, капитан 1-го гвардейского полка «Sveagarde», в черном однобортном мундире с желтыми кантами и серебряными пуговицами, вот представитель семеновцев — «Cötagarde», в таком же мундире только с красным окладом, и даже кавалергарды — «Lifgarde till häst», в их нежноголубых мундирах и медных касках прусского образца. Самым почетным гостем был начальник штаба гарнизона, полковник генерального штаба граф Роозен, известный спортсмен. (Генеральный штаб в Швеции, как и в Германии, был в почете, и в него стремились вступать представители самых родовитых семейств.)

Разговор велся на французском языке. Говорили на нем шведские офицеры вполне корректно, но в таком замедленном темпе, что невольно хотелось досказать за них каждую фразу. Шведы — люди серьезные и даже в веселой компании никогда не позволят себе улыбнуться, если не поймут вполне какого-нибудь анекдота, рассказанного на иностранном языке.

Один из кавалеристов, носивший весьма распространенную в шведском дворянстве фамилию графа Гамильтона, прекрасно говорил по-русски. Он был женат на русской и первый предложил мне выпить на «ты». Подобно своему земляку Маннергейму, он считал Россию хорошей дойной коровой, ценил русского солдата, но преклонялся

перед германским офицером. В первый же день после начала мировой войны он, как и некоторые другие шведские офицеры, выступил против России в рядах германской армии. Шведская культура дворянских феодальных классов была сродни немецкой.

Новые знакомые показали себя утонченными знатоками французских вин и вообще непревзойденными соперниками по той военной дисциплинированности во хмелю, которая отличала во все времена хороших кавалерийских офицеров.

В высокие окна грандиозного зала стали уже врываться лучи заходящего солнца, и только тогда хозяева наши стали спешить, чтобы в первый же день доставить нам как можно больше развлечений. Как бы по мановению волшебного жезла, у подъезда оказались верховые лошади и крошечные нарты, вернее спортивные лыжи, скрепленные маленьким сидением, на которое предупредительные кавалеры усадили мою жену. Один из стройных лейтенантов стал за ее спиной и, перекинув через ее голову легкие длинные вожжи, уверенно двинул вперед своего кровного строевого коня, запряженного в нарты. Меня подсадили на спину другого коня, и кавалькада, спустившись на лед морского залива, понеслась широким галопом. Хорошо, что я оказался кавалеристом. Подобные прогулки были излюбленным развлечением шведского военного мира; занятно бывало обгонять верхом идущий в Россию пароход: он шел по пробитому во льду каналу в десяти шагах от всадника. Лед, покрывающий море, благодаря своей гладкой поверхности и упругости представляет идеальный грунт для лошадей, подкованных на острые шипы, а с наступлением теплых дней верховые прогулки принимают еще более спортивный характер: лед становится так тонок, что иначе как галопом по нему ехать опасно. Скачешь и слышишь за собой треск пробитого копытами тончайшего ледяного покрова, но он разрывается медленнее, чем движение коня. При подобных прогулках приходилось только на время расставаться со своей спутницей, бесстрашной шведской амазонкой, приглашая ее скакать на интервале не менее десяти шагов друг от друга. Кони инстинктивно чувствовали опасность оказаться на дне морском.

День закончился в королевском театре «Opernhuset», куда нас пригласил мой морской коллега, старший лей-

тенант Петров. Он от души обрадовался моему приезду и старался как можно скорее передать мне все завязанные им знакомства с военным миром. В антрактах он то и дело представлял мне элегантно одетых молодых людей во фраках — сухопутных и морских офицеров. При одном слове «Överst» — полковник — они низко передо мной раскланивались, сохраняя под штатским платьем военную выправку, но при этом сгибались только в пояснице, не наклоняя головы, что нам казалось несколько смешным.

Так и не успел я за первый день исполнить своих обязанностей — нанести официальные визиты, а с них-то и начались мои первые служебные неприятности.

На следующее утро я был разбужен в гостинице резким телефонным звонком.

— У телефона полковник граф Роозен.

Я пробовал выразить ему восхищение от вчерашней встречи, но куда девалась его мягкость и любезность в обращении?

— Вчера вы просили меня испросить аудиенцию у командующего войсками генерала Варбурга, но вчера же вечером позволили себе оскорбить моего высокого начальника, выразив согласие на посещение без его разрешения одного из подчиненных ему полков. Это ставит меня в необходимость просить вас предварительно дать объяснение вашему поступку. Ставлю вас в известность, что лейтенант Гилленштерн уже арестован.

В первую минуту, да еще спросонья, я был ошеломлен: какой такой лейтенант? Но тут же вспомнил, что один из представленных мне в театре молодых людей, фамилию которого я даже не разобрал, действительно говорил мне что-то невнятное про посещение его полка. Это я принял за любезность и ответил тоже какой-то любезностью.

— Послушайте, — сказал я Роозену, — я, с своей стороны, могу считать приглашение лейтенанта только знаком уважения его к русской армии, а никак не проступком, готов принять вину на себя, но не намерен являться вашему генералу, прежде чем не узнаю, что офицер освобожден от ареста.

Инцидент был исчерпан, и после обеда я уже сидел в полной парадной форме в служебном кабинете генерала

Варбурга, ни словом не обмолвившегося о шумихе, поднятой его чересчур нервным начальником штаба.

Этот сам по себе ничтожный инцидент помог мне во многом: слух о нем разнесся с быстротой молнии по всем полкам маленького стокгольмского гарнизона, что сразу привлекло ко мне симпатии всей военной молодежи; пришлось, однако, и самому взвешивать в будущем каждый свой шаг. Не знаешь, чем обидишь этих на вид твердых и сильных людей. Память о великой когда-то Швеции, владычице всей Балтики, не изгладилась в их умах, и это побуждало их относиться с болезненной подозрительностью к иностранцам, и в особенности к русским, из опасения, что кто-нибудь недостаточно посчитается с их национальным достоинством.

Никакой придворный этикет не мог сравниться с тем строгим ритуалом, которым сопровождалось любое собрание, любое развлечение в этой стране — характерной хранительнице древних феодальных порядков. Когда от них бывало невмоготу, мы ехали отдыхать в наш скучноватый, серенький, но такой здоровый своей простотой Копенгаген. Вкусы бывают разные, и шведы сами считали этот город самым веселым в скандинавских странах и часто его посещали.

Чтобы загладить неприятное впечатление от нашей первой служебной встречи, граф Роозен пригласил нас к себе на парадный обед: кавалеры во фраках, дамы в открытых вечерних платьях и брильянтах. Нас предупредили, что опаздывать нельзя ни на минуту, но когда мы вошли на лестницу, то увидели сидящих на ступеньках разодетых дам со своими мужьями: они приехали слишком рано и ждали, чтобы стрелка часов дошла до указанных в печатном приглашении семи часов вечера.

Мне как иностранцу было предложено, подав руку хозяйке дома, вести ее к столу. Хотел я по европейскому обычаю сесть за стол, как почетный гость, направо от хозяйки, но графиня указала мне место налево от себя.

— Таков у нас обычай, — объяснила она, — ближе к сердцу.

(Позднее я усвоил, что и движение на улицах направляется по левой стороне и что дверные ключи отмыкают двери поворотом не слева направо, а справа налево. Все наоборот, чем в других странах.)

Как только начался обед, каждый из приглашенных стал поднимать бокал и, обращаясь по очереди сперва к дамам, а затем к кавалерам, ко всем по старшинству, проделывать следующую церемонию: поймав взгляд нужного лица, он поднимал полный бокал, принимал самый серьезный вид, смотрел прямо в глаза и тихо произносил: «Скооль!», с той же серьезностью выпивал вино, после чего снова поднимал уже пустой бокал и, не спуская глаз с отвечавшего ему теми же жестами лица, весь превращался в счастливую, очаровательную улыбку.

Запомнив сложный ритуал, я решил было не ударить лицом в грязь, выпил «Скооль» за хозяйку дома и поднял бокал за самого хозяина дома. Но в этот момент мне захотелось провалиться сквозь землю: весь стол покатился со смеху с криками: «Десять стаканов! Десять стаканов!» Оказалось, что это штраф за нарушение установленного порядка: никто за здоровье хозяина пить не имеет права, и только после сладкого блюда почетный гость должен встать и от лица всех приглашенных поблагодарить хозяев за прием и выпить их здоровье. Любопытнее всего было, что почти тот же строгий ритуал соблюдался на самых маленьких товарищеских обедах, без дам, которые мы с Петровым устраивали время от времени с целью сближения со шведскими офицерами армии и флота.

Первое дипломатическое приглашение мы с женой получили, как ни странно, от японского посланника, женатого на скромной и милой маленькой японке. После великолепного завтрака, на который японский представитель собрал исключительно полезных для меня гостей — высший шведский командный состав, — мы остались с хозяином дома вдвоем, раскуривая сигары в его кабинете.

— Мне даже неловко, господин министр, что вы в мою честь устроили столь большой и блестящий прием.

— Что вы, что вы, — ответил хозяин, — война наша позади, и мы обязаны с вами показать иностранцам, насколько улучшились отношения наших стран. А что касается расходов, то я в них не стесняюсь. Мы, правда, получаем меньше жалования, чем другие наши коллеги, но зато все приемы оплачиваются шведским банком — корреспондентом нашего государственного банка. Мы посылаем ему фактуры, а копии представляем в Токио, прилагая при этом, в виде оправдательного документа,

только список приглашенных. Это просто и удобно,— сказал японец, вскинув глаза к потолку и пустив глубокомысленно очередной густой клуб сигарного дыма.

Дипломатический корпус в Стокгольме был в гораздо большем фаворе, чем в Копенгагене; оно, впрочем, и понятно: дворянство тянется к дворянству, а в Швеции оно было в ту пору еще в полной силе и, хотя обедневшее, не уступало своего места разбогатевшей буржуазии, хранило свои традиции, свою обособленность и связанный с этим внешний блеск. Обеды бывали особенно нарядны: всякий уважающий себя швед и даже офицеры надевали в этих случаях фраки цветов своего семейного герба — синие, белые, фиолетовые, розовые, черные короткие штаны и шелковые чулки. Эта мода была занесена в Швецию из Англии.

Нас с Петровым светские выезды интересовали только постольку, поскольку благодаря им можно было расширить быстро образовавшийся круг военных «друзей» (Гудавеннер), поскольку этим в свою очередь можно было парализовать враждебные к России настроения, обеспечивая тем самым нейтралитет на случай надвигавшейся на Европу грозы.

Пробным камнем для шведско-русской дружбы спокон веков являлся финляндский вопрос. Чуждая шведам и по национальности и по языку, но близкая им и по культуре и по своей природе и даже климату, Финляндия оставалась для Швеции воспитанной ею «приемной дочерью», похищенной могучей восточной соседкой.

Дипломаты наши в Стокгольме в лице двух престарелых баронов, посланника Будберга и секретаря Сталя, боялись произносить даже слово «Финляндия»; подобно русским дипломатам в Копенгагене, писавшим донесения о нейтралитете Датских проливов, стокгольмские много лет писали свои соображения о нейтралитете Аландских островов. Мы же с Петровым чувствовали, что чем ближе мы сойдемся со шведским миром, тем вероятнее натолкнемся на острый вопрос о наших отношениях к финнам. В этом случае надо было заранее выработать общую для нас обоих точку зрения и уже твердо ее держаться: от начальства нашего ждать указаний не приходилось.

— Отчего вы, русские, не имеете особых симпатий к финляндцам? — готовились мы получить вопрос.

— Оттого, — условились мы ответить, — что, будучи обязаны вам, шведам, всей своей культурой, они показали себя плохими шведскими подданными Dåliga Sweaska Underdanner (Долига Свенска Ундерданнер). Тут можно было припомнить и о наполеоновском золоте, предложенном Александру I для разрешения финляндского вопроса, а о славных походах Кульнева, Ермолова и Буксгевдена помолчать.

Все, казалось, было предусмотрено, но мне пришлось испытать на себе плоды руссификаторской бобриковской политики в Финляндии скорее, чем я мог предполагать. На одном из балов в «Гранд-Отеле», в присутствии всей королевской семьи (она запросто участвовала во всех светских и спортивных увеселениях), я в перерыве между танцами заметил сидящую в стороне красивую, уже немолодую брюнетку с задумчивыми темными глазами. В Стокгольме я на подобных балах уже знал в лицо всех дам и барышень и потому принял ее сперва за иностранку.

— Это графиня Гамильтон, — объяснил мне на ухо шведский офицер, — только ты лучше к ней не подходи. Нарвешься на скандал: она слышать не может про русских.

Меня, конечно, это еще больше заинтриговало. С трудом убедил я своего приятеля представить меня брюнетке и, забыв про танцы, увлекся с ней разговором. Графиня оказалась вдовой шведского помещика в Финляндии!

— Это моя настоящая родина, я люблю ее так же, как и Швецию, куда приезжаю погостить к родственникам. Я неплохо пою, и вот за это меня преследуют ваши русские власти в Гельсингфорсе.

— Как? почему? — спросил я.

— Ах, вы не поймете! Я увлечена финляндским освободительным движением и пою на благотворительных спектаклях финляндских студентов. Они так любят свою страну, свой язык, свой народ! За что, за что ваш царь их так угнетает?

Горько было слушать подобные рассказы. Как еще недавно стоял я на линейке пажеского лагеря в Красном Селе и переговаривался с соседом, дневальным «Финска-Штрелька-Батальон». С какой гордостью носили эти замечательные стрелки свои национальные синие канты

вместо русских малиновых, а за бортами мундиров — целую цепочку отличий за отменную стрельбу.

Расформировать финляндские войска — им доверять нельзя, — лишить финнов права служить в русской армии и даже запретить мирному населению носить традиционные финские ножи — вот была политика «мудрых» царских правителей, оскорбивших национальное чувство этого трудового народа если не навсегда, то надолго.

К графине Гамильтон формулировка, выработанная с Петровым, была, конечно, неприменима, и я постарался привлечь симпатии этой экспансивной женщины к нашему миролюбивому русскому народу, объяснив притеснения бобриковщины временным последствием реакции после нашей революции.

— Нет, нет, — возразила графиня. — Вы, русские, не учитываете, какое вы производите впечатление, ну, скажем, лично на меня. Когда я была совсем маленькой и капризничала, няня моя только и повторяла: «Перестань, вот придет «Рюсска бэрэн» (русский медведь) и тебя заест».

Это было уже легко обратить в шутку и доказать безопасность русского медведя, пригласив «революционную графиню» на очередной тур вальса.

На балах вообще бывало удобно заводить знакомства, а подчас и вести такие разговоры, которые трудно было начать не только при официальных визитах, но даже на обедах. Мне всегда были по душе многолюдные собрания: на них тонешь среди толпы и потому чувствуешь себя свободнее. Один из таких балов во французском посольстве мне и пригодился как раз по финляндскому вопросу. В это утро в нашей миссии была получена телеграмма, от одной расшифровки которой последние седые волосы на голове бедного Сталя встали дыбом. Двадцать пять лет провел старик в этой стране, но более страшного поручения за все это время не получал. Его шеф Будберг, тоже испытанный дипломат, провел всю жизнь членом русского посольства в «опасной» Вене, где окончательно позабыл русский язык; чтобы показать, например, свою близость с каким-нибудь коллегой, Будберг говорил: «Вы знаете, он заходиль ко мне как в собственный ватерклозет» (на его несчастье, бельгийский посланник в Стокгольме назывался Ватерс, а французский консул — Клозет). Телеграмма так взволновала баронов, что они

срочно вызвали к себе своих коллег с русскими фамилиями — Петрова и меня. В обычное время они прибегали к их услугам только тайком, для исправления русского языка в своих немудрых донесениях в Петербург. (Сталь, между прочим, показал себя столь добросовестным, что, будучи впоследствии назначен посланником в Вюртемберг, просидел два с лишком месяца в Стокгольме, чтобы переписать начисто все собственные черновики: он не хотел оставлять в делах следов наших поправок.)

Собрав нас в просторном кабинете Будберга, подслеповатый Сталь, надев пенсне, прочел, наконец, ужаснувшую баронов телеграмму:

«Постарайтесь осведомиться у шведского правительства об его отношении к вопросу объявления Финляндии в ближайшее время на военном положении и оккупации ее нашими войсками».

Идти с таким вопросом в шведское министерство иностранных дел бароны, разумеется, не смели и усердно просили меня, как военного представителя, им помочь. Я, с своей стороны, заявил, что шведский генеральный штаб все равно никакого ответа без разрешения своего правительства дать мне не сможет, и в заключение было принято мудрейшее решение: положить бумагу в сейф, дать ей отстояться.

Однако вечером на балу мысль об утреннем вопросе меня не покидала. Танцевать не хотелось, и я сидел в отдаленной гостиной, попивая виски с содовой водой. Случайно ко мне подошел министр иностранных дел барон Троллэ в сиреневом фраке, и, налив себе стакан, подсел к моему столику. Зная, что барон женат на дочери одного крупного прибалтийского помещика, тоже барона, я стал расспрашивать о его последней поездке в этот край. От прибалтийских губерний было уже совсем близко перевести разговор и на Финляндию. Как легендарный французский герой Грибуй, который бросился в воду, чтобы спастись от дождя, я решил задать министру вопрос, поставленный в утренней телеграмме.

— Если это случится, — ответил министр, — то мы примем все меры к сохранению нейтралитета; мы даже объявим все порты и нашу северную границу на военном положении, чтобы не пропустить в Финляндию ни одного револьвера, ни одного волонтера. Об одном только я буду просить ваше правительство: предупредить нас об этом за

двадцать четыре часа до выполнения вашего решения, а не через двадцать четыре часа после вступления ваших войск в Финляндию.

В ту пору мой разговор показался мне большим дипломатическим успехом, и только после революции ответ Троллэ представился мне в своем истинном свете: шведские бароны, как и прибалтийские помещики, одинаково были заинтересованы в подавлении какой угодно ценой всякого революционного движения в их бывших провинциях, перешедших под власть России.

Петербургский запрос явился, кроме того, для меня естественным развитием всех тех закулисных интриг, которые вел штаб Петербургского военного округа для искусственного создания нового северного фронта. Это давало карьеристам, и, к сожалению, некоторым моим коллегам по генеральному штабу, право приравнять свой округ к числу пограничных, Варшавскому, Виленскому и Киевскому, которые пользовались особыми преимуществами по службе. Для этого надо было не только сделать из Финляндии опасного внутреннего врага, но и обратить Швецию во внешнего врага, чуть ли не заключившего тайный союзный договор с Германией. Вот против этого я и не переставал протестовать, доказывая, что при всякой политической комбинации Швеция останется нейтральной. Это создало для меня в Петербурге немало врагов среди друзей, но не только первая, но и вторая мировая война показали, что господа шведы «не подвели» бывшего у них когда-то русского военного агента.

Когда приходится отстаивать свое мнение против мнения большинства, хорошо иметь при себе единомышленника, друга, у которого можно проверить во всякую минуту правильность своего суждения. Таким человеком в Стокгольме оказался мой морской коллега.

Хотя Алексей Константинович Петров был моложе меня и по чину и по летам, хотя он и не прошел всех уроков маньчжурской войны, но он все же имел передо мной большое преимущество: ему довелось получить строевую подготовку не в мирной обстановке гвардейского полка, а в суровых условиях боевой службы в военное время. На крейсере «Россия», одном из лучших русских судов 1904 года, он участвовал в том геройском неравном бою, который выдержала владивостокская эскадра при своей попытке прорваться в Порт-Артур.

«Рюрик» погиб, а «Россия» и «Громобой», нанеся урон противнику, вынуждены были вернуться. Сам Алексей Константинович получил восемнадцать осколков разорвавшегося японского снаряда.

— М-ма-алень-к-кие, — говорил он, как обычно, заикаясь, — с-а-ам повы-к-ковырнул. Сре-дние, ччт-о не-глубоко застряли, вы-нул моло-дец судовой врач, а остальные ввот ношу нна память. Вот сегодня, по моему счету, через большой палец правой ноги намеревается вылезти номер двенадцатый, оттого и хожу с палочкой, оттого и вышел вчера на несколько часов из кильватерной колонны, а подводя пластырь, пришлось, разумеется, его хорошенько смочить.

Петров никогда не забывал народной мудрости — «пей, да дело разумей», хотя и считал право на выпивку одной из привилегий хорошего моряка.

Ни при каких условиях он не терял выправки старого гардемарина и с гордостью показывал мне свою фамилию в списке старых воспитанников морского корпуса: Петров XVII; «значит, до меня было выпущено в русский флот уже шестнадцать Петровых, и в том числе мой отец и мой дед», — добавлял он.

Особенно меня поражало в Алексее Константиновиче, при общей большой начитанности, глубокое до мелочей знание морского дела.

— Вот смотри, — сказал он мне как-то, сидя в воскресный день за кружкой пива на живописной горе километрах в десяти от Христиании. — Сейчас на рейд входит французское учебное судно «Жан-Бар».

Он узнал его невооруженным глазом, по одному профилю.

Совместная работа с Петровым представляла отражение той ломки междуведомственных перегородок между военным и морским ведомствами, которую проводили моряки-«младотурки» в России. В Скандинавии это особенно пригодилось.

Уезжая из Стокгольма в Копенгаген, я мог поручить своему морскому коллеге текущие дела, а по возвращении получить «рапорт» о поведении шведов, как говорил Петров.

Со своей стороны, он поручал мне заменять его при встрече и приемах то тех, то других военных судов, заходивших в скандинавские порты.

— Смотри, — учил он меня, — требуй строгого соблюдения морского регламента. (Петров был большим знатоком и поклонником петровских регламентов.) — Ты подполковник, штаб-офицер, тебе полагается подходить к правому борту, и тебя должен встречать вахтенный офицер. Капитаны входящих на рейд иностранных военных кораблей обязаны первыми наносить тебе визит в парадной форме.

Пришлось нам как-то встречать в одном из шведских портов большую русскую эскадру адмирала Эссена и самим ехать представляться четырем адмиралам.

После визитов и завтрака в кают-компании Петров повел меня показывать наш флагманский броненосец.

— Тяжелы условия жизни экипажа на современном корабле, — объяснял он. — Тесно, темно, команда живет, как в тюрьме. Уж лучше служить на миноносце. Там хоть и треплет, хоть и работы по чистке больше, да зато привольнее — начальства меньше. А вот скажи мне, о чем, по-твоему, может думать вот этот матрос? — спросил Петров, незаметно приоткрывая дверь в бронированный отсек, в котором стоял, как в карцере, часовой у затвора громадного морского орудия; он неподвижно смотрел в щель поверх орудийного дула.

— О своей далекой деревне, — ответил было я.

— Да и еще, пожалуй, кой о чем, — многозначительно заметил Петров.

Я, впрочем, знал, что и сам Петров уже много «кой о чем» думал. Иначе я мог бы поверить впоследствии тем белогвардейцам, которые четверть века спустя хотели меня уверить, что Алексей Константинович убит на их фронте, а не на нашем. Он не был убит и после гражданской войны читал лекции в нашей Военно-Морской академии в Ленинграде. Оба мы были счастливы не обмануться друг в друге.

Совместная работа в Стокгольме оказалась особенно полезной для изучения шведских вооруженных сил. В генеральном штабе нас принимали крайне любезно, но мы старались по возможности ограничиться разговорами о текущих делах: командировках наших офицеров, приходах судов, маневрах, посещениях полков. Вся переписка велась на французском языке. Мы чувствовали, однако, что какой-либо запрос об организации армии мог вызвать у наших милых коллег, шведских генштабистов, беспо-

койство даже в тех случаях, когда эти сведения можно было найти в их уставах или журналах. Швеция сразу исцелила меня от той болезни, которой страдали многие коллеги — военные атташе, пытавшиеся, при всяком удобном случае, открывать Америку и всякое сведение или иностранный документ причислять к разряду «весьма секретных». Важно только не посылать в свою страну даже таких обыкновенных документов, как уставы, без основательной их проработки, предварительно, в той стране, где они изданы.

Один только вопрос представлял, как и везде, большую трудность: определение численности и качества армии в военное время, зависящее в большой степени от численности и степени военной подготовки различных возрастных классов людского запаса. Для Швеции этот вопрос имел особое значение, так как армия мирного времени, силою всего только в шесть дивизий, комплектовалась в значительной степени волонтерами и сверхсрочными, представлявшими идеальные кадры для развертывания в военное время первоочередных и второочередных формирований. Долго мы ломали с Петровым над этим голову и, наконец, решили получить эти сведения, как ни странно, из Италии. Там существовал международный статистический институт, издававший ежегодно толстенные тома со сведениями о рождаемости и смертности населения всех стран мира по годам. Выписав эти книги за двадцать лет и взяв за исходные данные публикуемые цифры призывных военнообязанных (Вернплихтига), мы выяснили размеры этих контингентов на протяжении тех лет, когда они подлежат призыву в военное время. Картина получилась поучительная. Оказалось, что благодаря тяжелым условиям труда и климата, в особенности северных горных районов, смертность шведского населения была больше, чем в большинстве стран, только до возраста в двадцать семь лет, но зато люди, перешагнувшие этот опасный возраст, больше как будто и не умирали. Для Дании результаты оказались обратными: условия сельского труда для молодежи были легче, чем для горняков и заводских рабочих, но люди, не закаленные смолоду, быстрее старели и скорее помирали до сорокалетнего возраста.

Балтика, этот театр минувших и грядущих войн, призывала также нас с Петровым к изучению совместных

действий армии и флота. Нам казалось, что шхеры, окружавшие берега Швеции и Финляндии, не потеряли своего значения со времен Петра, сумевшего благодаря им бороться на гребных судах против могучего парусного шведского флота. Современная морская и сухопутная техника могла только изменить тактику.

Шведские маневры как нельзя более кстати подтвердили некоторые из наших предположений, доказав, что в случае занятия шхер пехотой с полевой артиллерией флот может считать себя хозяином шхерного морского района; жизнь на палубах вражеских кораблей становится невозможной. Шхеры продолжают и сейчас являться союзниками слабых, но активных флотов против более сильных.

Ознакомившись с печатными материалами, захотелось убедиться на деле, как применяются уставные правила и доктрины в самих войсках. В Европе «Драгомировых», обучавших войска по собственным уставам, не бывало, и потому разница в боевой подготовке, существовавшая в русской армии, иностранцам была неизвестна. А между тем поездка русского военного атташе в направлении Хапаранды уже сама по себе могла обеспокоить шведов. Каждый год читал я в военном бюджете о суммах, ассигнуемых на укрепление на Крайнем Севере крепости Бооден. Подальше от Боодена, подальше от нашей сухопутной границы, от Финляндии, и потому, предвосхищая желание шведского генерального штаба, я просил меня направить не на север, а на запад, поближе к Норвегии, где расквартирован пехотный полк «Далларнрегимент». Для ознакомления с артиллерией и кавалерией я получил разрешение отправиться на юг в Сканию, поближе к Дании.

Наши усилия с Петровым установить дружеские отношения с шведской офицерской средой принесли свои плоды. Слухи о переменах настроения стокгольмского гарнизона по отношению к русской армии докатились и до провинции. Я вошел в просторный зал офицерского собрания пехотного полка под звуки русского гимна; стены и обеденный стол были украшены русскими и шведскими флагами. Один из офицеров полка произнес тост на прекрасном русском языке, а мой ответ по-шведски вызвал гром аплодисментов. Таких приемов даже в союзной Франции мне встречать не приходилось!

С семи часов вечера до полуночи пили крепко, но с семи утра до заката солнца меня угощали молоком и — даже в пехоте — верховой ездой на прекрасных кровных конях. Как было не завидовать спортивной, истинно военной выправке всех меня окружавших, от полковника до рядового. Ни одного брюшка, ни одного плохо застегнутого воротника или невычищенного сапога. С утра до ночи пощелкивают выстрелы на стрельбищах, отдаваясь эхом в тихих бесконечных хвойных лесах.

Это сближение с армией — былой нашей соперницей — не могло ускользнуть от внимания некоторых иностранных дипломатов. Германия не имела военного атташе при своей миссии в Стокгольме и командировала ежегодно своего представителя, майора или подполковника генерального штаба, на осенние большие маневры. Ему обыкновенно предоставляли место в одном автомобиле со мной, и мы, как обычно при подобных поездках, высказывали друг другу больше впечатлений о природе, чем о войсках. Случайно пришлось как-то раз остановиться, чтобы пропустить через узкую дорогу небольшую колонну, и этим воспользовались офицеры оказавшегося на привале того же Далларнского полка: они окружили наш автомобиль, чтобы выразить самым милым образом свою радость встретить меня, «их старого доброго друга».

В отчете об этих маневрах я доносил, что можно ожидать в ближайшем будущем назначения в Стокгольм постоянного германского военного атташе. Новый год мы уже встречали вместе с нашим новым коллегой и его красавицей женой.

При посещении полков в Скании — этой шведской Украине и житнице всего полуострова — пришлось не только испытать чувство зависти, но и построить в голове целый план подражания шведской культуре для исцеления своей родины от самой страшной ее болезни — бездорожья. Подобно всей центральной части России, в плодородной черноземной Скании нет камня, но это не мешает ей быть покрытой сетью прекрасных шоссе из гранитной щебенки. Секрет простой. С давних пор в центральной Швеции, изобилующей озерами и гранитными скалами, всю зиму идет работа: ломают гранит и сваливают его на баржи и плоты, с наступлением весны его сплавляют помаленьку на юг, в Сканию, по каналам. А у нас-то — и Ладога, и Онега, и Мариинская система,

но и тверское бездорожье и та грязь, о которой мог иметь представление в то время только русский мужик, земский врач и сельский учитель.

Пребыванию в Швеции я обязан и первым моим знакомством с военной промышленностью. В довоенное время во всех армиях о ней имели представление только артиллерийские и инженерные управления, а военные агенты помещали о ней лишь скромные сведения на предпоследней странице сборников об иностранных армиях. Армия — это дело военных, а промышленность — дело инженеров. «Какую дадут технику, — говаривали военные, — такую и ладно». В Швеции меня, однако, заинтересовал Бофорс — завод, который мог сам, без помощи всесильных тогда Круппа или Виккерса, вооружать шведскую армию и флот самым современным для той поры вооружением.

Возможность осмотреть этот завод доставил мне один из «врагов» военных атташе — изобретатель. Этот инженер уверял меня, что может показать беспламенный порох, но что для этого он должен испросить моего согласия отправиться в Бофорс. Всякому позволено влюбиться в женщину, кавалеристу разрешается влюбиться в коня, а инженеру — в хороший завод. Мне и пришлось узурпировать это право у инженеров и навсегда сохранить в памяти затерянный среди скал и лесов живописный и такой чистый и стройный Бофорс. Секрет этого завода заключался в том, что выплавка стали производилась на нем в электрических печах, питаемых водной энергией от соседнего водопада. Ни ударов прессов, ни грохота прокатных станов, а главное, ни одной угольной порошинки.

С наступлением темноты меня повели в лощину, где расположился заводской испытательный полигон; опорой для мишеней служила отвесная скала, по которой и стали стрелять из шестидюймового тяжелого орудия. Эффект получался действительно потрясающий: откуда бы я ни смотрел, ослепляющая вспышка выстрела заменялась как будто только красным фонариком.

— Ведь это так важно не только для армии, но особенно для флота при отбитии ночных атак миноносцев, когда вспышка выстрела ослепляет наводчика, — объясняли мне наперерыв местные инженеры.

Где-то и когда-то я слышал, что беспламенность пороха достигается прибавкой к нему баритовых солей,

дающих сильный дым, а потому, во избежание пререканий по этому поводу, я предложил повторить опыт на следующее утро. Для верности я просил запечатать тут же несколько мешков с пороховыми зарядами и снести их в мою комнату. Добросовестные шведы положили мешки под кровать, и, «заснув на порохе», мне казалось, что я как нельзя лучше выполняю новые для меня обязанности.

На следующее утро изобретатель экзамена не выдержал, и маленькое стрельбище покрылось облаком белого дыма. Инженеры Бофорса предлагали, однако, съездить за свой счет и повторить опыты из наших орудий в Кронштадте, что мне показалось приемлемым, так как ничем нас не связывало. Не так посмотрело на это наше артиллерийское управление, которое сделало еще более разумное, но, к сожалению, невыполнимое для меня предложение:

«Военному агенту надлежит раздобыть (читай: «стащить») некоторое количество пороха, который артиллерийский комитет мог бы сам исследовать и открыть его состав», — гласил полученный мною ответ.

Не везло мне в жизни с изобретателями!

Немалой помехой в разнообразной работе моей в Швеции явилась, как ни странно, русская придворная атмосфера, созданная браком второго сына короля Густава с великой княжной Марией Павловной («младшей», как ее называли в отличие от жены Владимира Александровича).

Оставшись сиротой после смерти матери, жены Павла Александровича, Мария Павловна получила воспитание у своей тетушки Елисаветы Федоровны в Москве и, как сама признавалась, вышла замуж главным образом, чтобы бежать из московского «монастыря». За примерами привольной жизни ходить было недалеко, достаточно было взглянуть на своих двоюродных братьев Владимировичей, и она, приехав в Швецию, действительно сорвалась с цепи. Небольшого роста, мало интересной наружности, но зато талантливая и острая на язык, она была заражена необычайным самомнением, основанным прежде всего на своем близком родстве с самодержцем «всея великия, малыя и белыя Руси и проч...» Уже в силу этого маленькая, по ее мнению, Швеция должна

была целиком оказаться у ее ног. Подобный взгляд не вполне отвечал разрешению той придворно-дипломатической задачи, ради которой был устроен этот брак.

Родственные связи между монархами издавна считались одним из главных средств для улучшения отношений между государствами.

Свадьба справлялась в Царском Селе, причем шведы сделали все возможное, чтобы примениться к своеобразным русским церковным церемониалам. С русской стороны королю Густаву был тоже оказан подобающий почет, так как для встречи его в Ревеле был командирован родной брат царя, Михаил Александрович.

Петров, как морской агент, сопровождал короля из Стокгольма на шведском броненосце, а мне надо было выехать из Петербурга вместе с Михаилом Александровичем, что позволило поближе познакомиться с этим незадачливым преемником царя. Как только поезд отошел от Балтийского вокзала, я был приглашен с другими чинами свиты на чашку чая в салон-вагон великого князя.

Совершенно непохожий на старшего брата, высокий, статный, с открытым лицом, Михаил производил, как военный, скорее благоприятное впечатление. Один только взгляд его наивных глаз выдавал ту недалекость, которая проявлялась с первых же его слов. Мне казалось странным, например, что, едучи встречать шведского короля, мой собеседник тщательно избегал бесед о Швеции; каждый раз, когда я пробовал с этой целью привести пример из военной жизни шведской армии, брат царя переводил разговор на высоту прыжка того или другого коня на конкур-иппике в Михайловском манеже. Подобно брату, он был неразговорчив, застенчив и искал слов.

По установленному этикету, при короле должны были состоять: генерал-адъютант (ввиду значения для Швеции флота был назначен Дубасов), свиты генерал, флигель-адъютант, военный и морской агенты. Но для меня с Петровым помещения ни в одном из царскосельских дворцов не нашлось, и я предложил одному из придворных разбить для нас на снегу палатку! Это возымело свое действие. Я еще никак не мог привыкнуть к тому, что офицеры, не носившие на погонах свитских вензелей, допускались ко двору только по крайней необходимости, и то с черного хода.

Свадебная церемония воскресила в памяти казавшиеся уже далекими воспоминания о старой придворной службе камер-пажом, но насколько же она была скромнее по своим размерам, чем отошедшие навсегда в вечность московские коронационные торжества или петербургские придворные балы! Царь был уже узником в своем Царском Селе, и королю Густаву стоило трудов, чтобы устраивать свои поездки в столицу, где вдали от придворного этикета он мог свободно проводить часы в Эрмитаже, восторгаясь не только Рембрандтами, но и коллекциями монет. По сравнению с нашими царями мне казалось уже симпатичным, что королевская особа может интересоваться и быть знатоком хотя бы в нумизматике. Король давал мне по вечерам уроки игры в бридж — это была обязательная наука всякого уважающего себя дипломата.

В Стокгольме все поначалу шло гладко. Царь на средства романовской «вотчины» построил для своей двоюродной сестры великолепный дворец. Это ей очень пришлось на руку, так как кронпринц, то есть наследник и старший брат ее мужа, жил на очень скромной даче.

Родившегося на следующий год сына Марии Павловны крестили по лютеранскому обряду в старинной дворцовой часовне стокгольмского дворца, и русская миссия присутствовала на этой церемонии в полном составе. Особый интерес представили для меня большие цепи, составленные из различных эмалированных знаков, «воздетых», как выражался Петров, по случаю церковного торжества «на выи» всей шведской королевской семьи. Оказалось, что по наследству от французского маршала Бернадотта, первого шведского короля этой династии, все ее члены состояли франкмасонами. Хотя франкмасонская ложа в Стокгольме и помещалась в громадном доме, как раз насупротив моей квартиры, но никто не пожелал меня познакомить с ее тайнами. Со значением франкмасонов в политике буржуазных государств мне пришлось ознакомиться лишь много позже в Париже.

Мария Павловна считала, что с рождением сына долг матери ею был выполнен, и пустилась в пляс. На несчастье, все члены русской миссии были холостяками, и моя жена оказалась единственной русской подружкой Марии Павловны.

— Она предложила мне выпить с ней на «ты». Как быть? — спросила меня как-то жена, чуявшая мою корректную отдаленность от романовской семьи.

— Будь осторожна, — ответил я. — От них всегда можно ожидать самых невероятных капризов.

Этого ожидать пришлось недолго.

— Я хочу сегодня танцевать с вами мазурку, — сказала мне на одном из зимних вечеров Мария Павловна.

Разобрать из подобного обращения, где кончалась дружеская простота и где начиналось великокняжеское высокомерие, было невозможно.

— Вы знаете, эта дура (вот так именно и сказала), кронпринцесса, меня ревнует к шведским офицерам, которые от меня без ума. И вот я решила ей показать, кто я такая. Мы условились с офицерами конной гвардии «Лифгардэтилль-хэст» устроить верховую прогулку через столицу. Они будут меня сопровождать, а вы, как представитель «нашей» армии, поедете рядом со мной, конечно, в военной форме!

Пробовал я обратить это в шутку, пробовал доказать неуместность подобной демонстрации. Мария Павловна, упрямая и своенравная девчонка, настаивала на своем.

— Я как русская великая княгиня имею право, наконец, вам приказать, — покраснев от гнева, сказала она мне.

Пришлось тоже, несмотря на неподходящую обстановку, перейти на официальный тон и шепотом ответить:

— Успокойтесь, ваше высочество. Поймите, что я здесь, на своем посту, могу исполнять повеления только государя императора, а не ваши.

Разговор был исчерпан, мы больше не танцевали, но при разъезде с бала ко мне подошел известный в Стокгольме бретер и дуэлист, граф Роозен, брат начальника штаба, и заявил:

— Вы оскорбили нашу шведскую принцессу, она плачет, мы этого допустить не можем.

— Замечания от вас я получать не намерен и о вашем поведении донесу завтра же вашему военному министру, — спокойно ответил я, надевая на голову шелковый цилиндр.

На следующий день, на зимних скачках, большинство офицеров избегало уже мне кланяться, и пришлось ехать уже не к военному министру, а к самому королю.

— Я уже слышал, — сказал мне Густав, — и сделал нагоняй своему сыну за поведение его молодой жены. Вы знаете, как мы вас ценим, и вы должны простить молодую принцессу. Она так странно воспитана. Сын просил вам передать, что ждет вас с женой завтра к себе на чашку чая.

«Чашка чая» по приказу короля все поставила на свое место: кавалькада не состоялась, а шведские офицеры стали кланяться, пожалуй, еще с большим почтением.

Недолго Мария Павловна давала примеры воспитания романовской семьи встретившим ее с такой любовью и вниманием шведам. Натешившись над ними, она тотчас после моего отъезда военным агентом во Францию бежала из Стокгольма при содействии вновь назначенного посланника Савинского — креатуры графа Ламсдорфа и нижайшего царедворца. Она оставила на попечение своему несчастному и ни в чем не повинному супругу своего малолетнего сына и вспомнила о нем только после революции, когда для популярности среди парижских белоэмигрантов она решила использовать свои родственные связи со шведским двором. Расчеты ее не оправдались: сын, которому уже было около двадцати лет, не пожелал возобновлять знакомства с подобной матерью.

Все эти неприятности, доставленные Марией Павловной русской миссии в Стокгольме, оказались, впрочем, ничтожными по сравнению с той серией настоящих скандалов, которые были вызваны ответным визитом, нанесенным Николаем II шведскому королю. Приезд русского царя в Швецию явился небывалым событием для этой когда-то великой, а в мое время уже такой скромной страны. Это был первый пример в истории.

Церемониал приема, казалось, мог быть особенно хорошо налажен благодаря той генеральной репетиции, которую представил приезд как раз за год до этого Вильгельма II. Германский император и в этом случае хотел как будто предвосхитить дипломатический успех бедного «Ники». Все мы при этом присутствовали; я лично оценил любезность, с которой Вильгельм поздоровался со мной, как с представителем русской армии, а наши бароны еще целый год после этого усердно переписывались с Петербургом, разрабатывая до мелочей порядок приемов собственного монарха. Наконец, наступил давно жданный день.

Жарким июньским утром садилась наша миссия на шведский катер, поднявший русский посольский флаг (трехцветный, с черным орлом на желтом поле), и в ту же минуту стокгольмский рейд огласился пушечным салютом со всех военных судов и древних крепостных верков. Петров был доволен шведами, воздавшими достойные почести русскому посланнику, и, стоя на корме катера, чувствовал себя в своей стихии. Торопиться было некуда, так как мы встали спозаранку, а до Ваксгольма, морской крепости, прикрывающей с моря Стокгольм, и условленного места свидания было не больше двух-трех часов ходу. Однако, остановившись перед краснобурыми скалами Ваксгольма, мы уже стали беспокоиться о нарушении установленного церемониала. Стрелка часов давно перешла за полдень, а «Штандарт» — царская яхта — все не появлялся. Мы продолжали томиться под раскаленным от солнца тентом катера: несчастные наши бароны в своих тяжелых золоченых мундирах, я в полной парадной форме, а жена — в туалете, специально выписанном из Парижа. Вокруг нас шныряли шведские миноносцы, рапортуя то и дело Петрову о положении царской эскадры. Она, как полагается, запаздывала.

Вдруг лицо моего коллеги передернулось.

Высокий темносиний нос «Штандарта» в эту минуту уже показался из-за скалы.

— С яхты передают: «Посланника на борт не принимать!» — передает по-шведски командир одного из шведских миноносцев.

В мягкой форме Петров передает это «повеление» Будбергу. Самолюбивый, но дисциплинированный барон молчит и только еще пуще багровеет. Держим морской совет и решаем идти в кильватере за «Штандартом», что не особенно приятно из-за поднимаемой им волны.

Как впоследствии выяснилось, нас не хотели допускать к высочайшему завтраку.

Так принимал своего представителя Николай II, но не так понимал свое ремесло Вильгельм. За год перед этим яхта «Гогенцоллерн» остановилась, чтобы принять на борт германского посланника. Вильгельм вышел к трапу, снял фуражку и на глазах шведской эскадры трижды облобызал своего представителя.

При входе на стокгольмский рейд послышались новые салюты, означавшие, как нам объяснили, переход короля

на борт «Штандарта». Мы поняли, что к встрече монархов, как это было предусмотрено церемониалом, мы опаздываем, и нам оставалось только постараться причалить на хорошей волне к левому борту. Прошло еще несколько томительных минут, пока по кухонному трапу, заваленному листьями свежей капусты, мы, наконец, влезли на палубу. Петрову эта операция была затруднительна из-за очередного осколка, «выходящего» через ногу, жене моей — из-за ее модного длинного платья, а баронам — из-за их преклонных лет.

Зная придворные порядки, я старался не лезть на глаза и стал в сторонке у мачты. Но и тут себе покоя не нашел. Какой-то безусый гвардейский мичман, не взяв даже под козырек и не упомянув моего чина, дерзко буркнул:

— Здесь стоять не место!

Пришлось резко призвать его к порядку. Не успел я «отделать» мичмана, как ко мне подошел король Густав и пригласил за ним следовать.

— Мне не удавалось до сих пор вас представить королеве, — сказал он. — Она ведь часто находится в отсутствии из-за своего слабого здоровья.

Вновь пришлось очутиться в глупом положении, так как королева разговаривала как раз с Александрой Федоровной, «моей когда-то царицей», а ей-то я еще не успел в этот день представиться. Быть может, она чувствовала, что я уже не был ее прежним камер-пажом. Она протянула мне, как полагалось, руку для поцелуя, но не промолвила ни слова. Все прошлое уже было навеки похоронено: я никогда больше с ней не встречался.

Обижаться членам нашего посольства, впрочем, не приходилось, так как при встрече монархов не присутствовал даже сам русский министр иностранных дел — Извольский, ожидавший с утра, что его пересадят с «Полярной звезды», шедшей конвоиром, на «Штандарт». Это уже грубое нарушение дипломатического этикета было подчеркнуто самим королем: ведя под руку к обеду во дворце царицу и заметив стоявшего у дверей зала Извольского, он извинился перед своей дамой и бросился пожимать руку русскому министру.

Он, как конституционный монарх, считался с министрами.

Вернувшись из дворца и собравшись у Будберга, мы все только думали об одном — когда кончатся эти испытания.

Рано утром я был вызван на «Полярную звезду» к начальнику походной канцелярии, генералу князю Орлову, за получением орденов для шведской армии согласно составленным мною заранее спискам. Царь был приглашен королем в гости в его загородный замок, расположенный далеко от всякого жилья. Там, конечно, коронованные особы могли проживать спокойно, но по случаю появления русского царя бедным шведам пришлось принять чрезвычайные меры по охране: они послали для этого целый пехотный полк, который выставил заранее настоящее боевое охранение. Их-то особенно пришлось наградить.

Когда в условленный с Орловым час я подъехал к королевской пристани, то на ней уже ждал знакомый мне по Копенгагену катер с «Полярной звезды». Команда дружно ответила на мое приветствие, но когда я дал приказ отваливать, какой-то незнакомый гвардейский лейтенант со «Штандарта» самовольно задержал катер и прыгнул в него. Не представляясь, он меня спросил:

— Скажите, господин подполковник, отчего посланник не выехал нас вчера встречать с лоцманами?

— Посланник встречал царя, а не вас, — оборвал я молодого гвардейца, оказавшегося любимцем двора, Саблиным.

А в миссии нашей в это самое время шло волнение из-за неполучения приглашения моей женой к высочайшему завтраку на «Штандарте».

— Будьте наготове, — звонил ей то и дело Будберг,— вот-вот позовут, — но он тогда еще не знал, что по интригам все той же Марии Павловны имя моей жены было вычеркнуто из списка приглашенных. Больше всех возмущался этим Петров, который, сославшись на рану, отказался явиться на завтрак.

— Пу-усть не от-говариваются, ч-что места не хватило, — заявил он Будбергу.

После завтрака гофмаршал Бенкендорф подошел ко мне и просил вызвать из кают-компании Петрова.

— Он обещал нам, — сконфуженно сказал Бенкендорф, — прийти по крайней мере выпить чашку кофе.

Я передал это приглашение через камер-лакея.

Царский престиж для Петровых был уже хорошо поколеблен.

Наконец, в четыре часа состоялся отъезд.

Для раздачи орденов мне было предписано идти на «Полярной звезде», и я был рад очутиться подальше от атмосферы «Штандарта». Обе яхты стояли на внутреннем стокгольмском рейде, окруженном набережными, заполненными любопытными. Ко мне подошел Извольский и, жалуясь на слишком короткое пребывание в столице, просил хоть с яхты познакомить его с достопримечательностями этого города-красавца. Я ответил, что спрошу разрешения старшего офицера подняться на мостик, предназначенный специально для прогулок. Капитан Заботкин, хорошо знавший меня по Копенгагену, рассмеялся над моей морской дисциплинированностью и любезно пригласил Извольского подняться. Не успел я, однако, начать свой доклад, как был поражен громким приказом, переданным по рупору матросом со «Штандарта»:

— Адмирал Нилов приказывает: «Пассажиров с мостика убрать»!

Звук рупора отдался эхом по всему рейду. Заботкин покраснел до ушей, Извольский пожал плечами, а гвардейские матросы с «Полярной звезды», привыкшие уже, вероятно, к выходкам вечно пьяного адмирала, многозначительно переглянулись. Приказ был, конечно, выполнен без промедления. Придворная камарилья со «Штандарта» по грубости своей была уже подготовлена к признанию Гришки Распутина.

Светлая северная ночь сменила жаркий тяжелый день, и «Полярная звезда» бесшумно двигалась среди тихих шведских шхер. На безлюдной палубе спящего судна сидели двое военных и почти шепотом вели беседу. Это был я и не известный мне дотоле полковник Спиридович, оказавшийся начальником тайной охраны царя. Свидетелей не было. Рыжеватый высокий блондин с бегающим взглядом и хотя грубоватыми, но вкрадчивыми жестами говорил умно и со знанием дела. От общих вопросов по агентурной разведке мы перешли к его личной деятельности. Я был так далек не только от успехов, достигавшихся с каждым днем революцией, но и от всех дворцовых

интриг, что сгущали атмосферу царского двора! Слова Спиридовича мне показались откровением.

По его мнению, столыпинская реакция не погасила революции в России; сам он за десять лет вперед чувствовал ее неизбежность.

Глава седьмая

В НОРВЕГИИ

На высокой горе Хольмен-Кольмен, сплошь покрытой здоровым хвойным лесом, построен из красной сосны громадный дом с большими окнами, с широкими верандами и огромным центральным залом — холлем. Стены пахнут смолой, в широком камине приветливо потрескивают круглые сутки поленья, сложенные плашмя. В холль то и дело входят представители обоего пола и всех наций, кроме русской (русские были не охотники до спорта), в спортивных лыжных костюмах. Здесь никто не говорит о политике, о биржевых бумагах и даже о деньгах, между тем как самый облик посетителей выдает их принадлежность к богатым классам, у которых эти темы являются основными для всякой беседы.

В эту страну, в эту гостиницу приезжают только отдыхать. Забывая европейскую изнеженность, встают чуть ли не на рассвете, спешат в темный подвал, где берут бурую ванну, настоенную на древесных иглах, и, оценив простую здоровую норвежскую кухню, бегут вдыхать несравненный ни с чем горный и смолистый воздух. Одни парочки уходили на весь день тренироваться на лыжах, а другие, менее спортивные, упражнялись на скатывании с гор. Усадив даму на узкие легкие деревянные салазки и вооружившись для управления длинной палкой, кавалер, встав на колени за спиной своей спутницы, летел на санках стремглав по извилистой снежной накатанной дороге. Наибольший риск заключался, естественно, в возможности налететь на ствол одной из окружающих дорогу сосен, но в большинстве случаев катастрофы кончались веселым смехом завалившихся в снежный сугроб неопытных иностранцев. Снежная дорожка доходила почти до предместья не то города, не то деревни — Христиании, нынешнего Осло. Оттуда можно было или

подниматься напрямки пешком на гору, а для лентяев сесть на «фуникулер», поместив салазки или лыжи за специальные решетки, расположенные, как правило, вдоль наружных стенок всякого городского трамвая.

Зимний спорт составлял неотъемлемую часть всей общественной жизни Норвегии; лыжники, поставившие рекорд по прыжкам, пользовались такой же известностью, как тенора в Италии или тореадоры в Испании. Ежегодные состязания для окончательного установления рекорда по прыжкам на лыжах представляли большое событие в жизни страны. Никакой мороз, никакая метель не могли отменить этого торжества. Толпы народа собирались в окрестностях столицы, где в глубокой лесной долине строилась небольшая ложа, сбитая из досок. В нейто и запирались люди в элегантных шубах и цилиндрах на голове — дипломатический корпус, или, как мы его сами называли, «зверинец». Где-то рядом, в еще меньшей ложе, стоял король с королевой, а с другой стороны снежной дорожки, на которую должны были вспрыгивать лыжники, задувал ужасные марши крошечный духовой оркестр. Совсем как в Питере на Фонтанке, на Семеновском катке. Влево, на высочайшей горе, вершины которой снизу не было видно, то и дело показывались человеческие фигуры, отрывавшиеся от земли и летевшие по воздуху, описывая чуть ли не дугу. Приземляясь, эти фигуры то падали, зарываясь в снег, то, под гром аплодисментов окружавшей долину толпы, заканчивали прыжок красивым заворотом на лыжах. Оркестр играл туш. Часы шли, люди продолжали летать в воздухе, было скучно, а главное, очень холодно. Все анекдоты между дипломатами были давным-давно рассказаны, но они продолжали стоять, исполняя служебный долг.

С наступлением лета в эту же страну наезжали любители белых ночей и полярного солнца, среди которых прибывал на своей яхте «Гогенцоллерн» верный посетитель норвежских фиордов — сам германский император Вильгельм. От этого распорядка в своем отдыхе Вильгельм не считал себя вправе отказываться даже в трагические минуты начала первой мировой войны.

Дипломатический мир в летнее время от спортивных обязательств был освобожден, но с закрытием единственного в столице театра дипломатам оставалось только, смешавшись с толпой всех возрастов, в виде развлечения

добираться до зеленых народных театров, в те же долины, в которых они мерзли зимой. Большинство дипломатов смотрело, впрочем, на Норвегию как на место отдыха от европейской суеты, а сама страна и население казались для них странными и даже непонятными.

— Объясните, — обратился как-то к одной норвежке вновь назначенный в Скандинавию мой французский коллега, — отчего в вашей стране птицы не поют?

Стояла поздняя осень, и нáша собеседница обиделась, не желая даже объяснить, что птицы в это время года уже улетели в теплые края.

— А почему коровы у вас комолые? Это так некрасиво, — не унимался мой француз.

Пришлось заступиться за норвежских коров. Французы, впрочем, казались самыми несчастными из всех дипломатов: они никак не могли отрешиться от обычаев своей родины.

Желая услужить своему новому французскому коллеге, не понимавшему ни слова по-норвежски, я раздобыл для него истинный клад — молодого лейтенанта, окончившего Сен-Сирскую школу в Версале и к тому же сына единственного в Норвегии генерала (все остальные старшие чины имели звание не выше полковника). Свидание я устроил в местном «Тиволи», столь же демократическом, но еще более скромном, чем в Копенгагене. Лейтенант мой чувствовал себя на седьмом небе, имея возможность похвастаться своим французским языком, и в конце вечера пригласил нас от чистого восторженного сердца в дом своего отца. Мой коллега запротестовал, ссылаясь на усталость, и мне с трудом удалось его увлечь за собой. Генерал с семьей оказался в отсутствии, и лейтенант, усадив нас в его кабинете, побежал разыскивать достойное своих высоких гостей угощение.

— Слушайте, — сказал я своему бывшему союзнику, — когда лейтенант вернется, заведите с ним разговор про организацию обороны шхерных районов и в особенности Нарвика. Мне, как русскому, неудобно его об этом расспрашивать.

Французский коллега обещал, но тут же чуть не провалил всего дела. Лейтенант вернулся с драгоценной, запыленной от времени бутылкой тяжелого бургонского вина.

— Как после полуночи пить подобное вино! — воскликнул француз. — Нет, это святотатство! Уже поздно, нам надо ехать домой.

Не помню, ущипнул ли я «союзника», или просто так на него взглянул, что он сдался, глотнул, поморщившись, вина и завел желанную для меня беседу. Норвежцы, несмотря на препирательства рыболовов трески, не видели в России своего врага, тем более что все помыслы их были направлены в ту пору к обороне против Швеции: они праздновали еще медовый месяц своего освобождения от ненавистной для них унии с этой страной.

— Наша армия слабее шведской, — говорили мне не раз норвежские генштабисты, — но разве шведы могут с нами сравниться и по стрельбе и по яростному штыковому удару нашей пехоты.

Франция представляла для лейтенанта вторую родину, и потому он подробно излагал нам принципы обороны Трондьема, Бергена.

— А дальше к северу у нас никаких укреплений больше нет, но мы, — объяснял он, — организовали надежную местную оборону, возложив ее на местное население, которое прекрасно освоило стрельбу из пулемета (пулеметы считались тогда еще новинкой на вооружении европейских армий).

— Да какое же там может быть население? — изумлялся француз.

— Неужели же вы не знаете лапландцев, — обиделся наш хозяин. — Они ведь идеальные стрелки.

— Нет, нет, — волновался мой коллега. — Никогда вы меня не уверите, что лапландцы способны стрелять из пулеметов!

Французы, как и немцы, часто грешат тем, что недооценивают ни своих врагов, ни своих друзей, особенно в военном деле.

— Скажите, — задал мне вопрос в мировую войну будущий маршал Петен, в армию которого временно входила наша русская бригада, — неужели ваши солдаты выучились стрелять из нашей винтовки Лебеля?

Этот высокомерный генерал принимал нас тоже почти за лапландцев.

— Наша трехлинейная винтовка сложнее и лучше вашей, — ответил я тогда Петену.

Вопросы осведомления о норвежской армии проще всего разрешали англичане. Норвегия жила на английском угле, и уже в силу этого мой только что назначенный английский коллега чувствовал себя в этой стране, как у себя дома.

Мы встретились с ним на зимних маневрах под самой столицей в присутствии короля. Для представителей великих держав маневры казались, правда, легкой забавой, так как из-за милиционного характера норвежской армии генеральный штаб мог вывести на них только один сводный батальон с парой батарей. Для меня, конечно, представляли интерес лыжники, которые в русской армии существовали только в пехотных охотничьих командах.

Военных атташе поместили в жарко натопленной уютной даче, хорошо кормили, а с утра подавали к крыльцу верховых лошадей и предлагали ехать следить за ходом маневров. Случайно я оказался старшим в чине среди собравшихся военных атташе — «дуайеном», и как только мы сели на коней, мой английский коллега обратился ко мне с дружеской просьбой.

— Послушайте, дорогой полковник, что мы станем делать в этакую снежную пургу? Нам ведь надо только встретить конунген, как они здесь называют своего короля. Вот вы и скажите, что мы хотим его разыскать, а после этого вернуться сюда и устроить хороший бридж; германский коллега — отличный партнер.

— Но, милый майор, — ответил я, — нам все же придется представить своему начальству какой-нибудь отчет об этих маневрах.

— Я это уже предвидел, — убеждал меня мой хладнокровный коллега, — и заранее предложил норвежскому штабу составить для меня обстоятельный доклад. Я с удовольствием дам вам его переписать.

Английское посольство в Христиании, как, впрочем, и на всем земном шаре, умело всегда лучше всех устроиться, располагая собственной виллой с обширным садом, тогда как канцелярию германской миссии было уже трудно разыскать. Русская же миссия существовала в полном смысле этого слова на средства своего посланника, богатейшего бессарабского помещика Крупенского. Мои редкие наезды в Христианию доставляли ему истинную радость, так как давали лишний предлог затмить

всех коллег своим подчас слишком подчеркнутым восточным хлебосольством.

Служебные обязанности русского посланника не были обременительны: интересы России в Норвегии исчерпывались в ту пору соблюдением рыболовной конвенции. Она нарушалась, правда, из года в год предприимчивыми норвежскими рыболовами трески и охранялась ввиду этого русскими вооруженными канонерками.

В противоположность двум другим моим посланникам, людям отменно воспитанным и боявшимся собственной тени, Крупенский со свойственной этой семье южной экспансивностью обращался не только со своим единственным секретарем, но и с норвежскими чиновниками, как с собственными крепостными.

— Il est terrible votre ministre, — жаловались мне норвежцы. — Il vient au ministère — cravache à la main! [1]

Повидимому, сменивший в это время Извольского на посту министра иностранных дел Сазонов был тоже невысокого мнения об этих посланниках. При первом же свидании со мной в своем служебном кабинете этот маленький подвижной человек поразил меня своим несколько фамильярным нервным тоном.

— Ну, как поживают ваши посланники? — спросил он. — Какого вы о них мнения?

Привыкнув считать посланников за своих хотя и не прямых, но все же начальников, я замялся, а Сазонов тогда задал мне уже прямой вопрос:

— На какие посты они, по-вашему, были бы годны?

— Для всех трех вижу, к сожалению, только один пост: послами в Мадрид.

Испания не играла еще в ту пору политической роли, но по старой традиции занимала в отношении дипломатических представителей положение наравне с великими державами: посланники почитались там послами.

Пророчество мое себя оправдало. Кудашев и Будберг по очереди оказались достойными представителями русского царя при испанском короле, но Крупенского Сазонов имел неосторожность послать в Италию. Скандал был неминуем.

---

[1] Он ужасный человек, ваш посланник! Он приходит в министерство с хлыстом в руке!

Этому восточному сатрапу не могла быть по душе демократическая, свободолюбивая Норвегия. Помню, как он возмущался моим рассказом о первом приеме в гарнизонном собрании в Христиании.

Меня пригласили туда к восьми часам вечера, но при входе в невзрачный на вид частный домишко я был встречен каким-то человечком в поношенном пиджаке, оказавшимся офицером, вежливо попросившим обождать в приемной. В зале шел доклад, на который он меня, к сожалению, пропустить не мог. Хотел я было обидеться, но решил не оскорблять хозяев, предупредивших заранее, что они приглашают на дружескую кружку пива. Велико, однако, было мое удивление, когда из крошечного зала вышел высокий, довольно красивый молодой человек в таком же скромном штатском пиджаке, как и окружающие: я узнал в нем самого короля Гаакона. Он любезно пожал мне руку, и мы спустились в подвальное помещение, где при слабом свете свечей и должно было происходить «гулянье», как называли русские гусары всякую попойку. Ничего общего с ней этот скромный ужин не имел. Как знак особого отличия и для меня и для короля нас посадили за один из многочисленных небольших дубовых столиков без скатертей, без приборов, и хорошенькие норвежки в национальных костюмах с белыми накрахмаленными чепчиками быстро стали нас угощать пивом и разными закусками. Разговор коснулся, конечно, маньчжурской войны, которой, как я узнал, и посвящен был доклад. Вероятно, нас там сильно пробирали, а потому и решили в последнюю минуту в залу не допускать. Об этом, впрочем, я мог догадаться по тому тону, которым задал мне вопрос один из офицеров, сидевших за нашим столиком.

— А скажите, господин подполковник, правда ли, что Куропаткин при каждом удобном случае приказывал служить молебны? Они, видно, вам мало помогли, — с нескрываемым сарказмом добавил капитан.

И припомнился мне молебен перед сражением на Шахэ, и приоткрылась завеса, отделявшая русскую религиозность от остального европейского мира, но мировоззрение, воспитанное с детства, еще жило в моей душе, и слова норвежца в ту пору все же меня покоробили. Конечно, я не показал виду и замял любезно разговор, тем более что король, приглашенный на престол только два

года тому назад, был тоже, повидимому, смущен обращением с иностранцем своих «новых подданных». Они, впрочем, поступали с ним без больших церемоний, и Крупенский не раз возмущался, как смело правительство запретить королеве, родственнице английского короля и большой спортсменке, держать больше одной верховой лошади. «Верноподданные» берегли государственную казну и «удельных» земель своему монарху не предоставляли.

В противоположность Швеции офицерство не играло никакой роли в жизни буржуазного общества Норвегии. На улицах нельзя было встретить ни одного военного, и потому пришлось ограничиться установлением добрых отношений с двумя-тремя капитанами генерального штаба, составлявшими центральный аппарат этой оригинальной армии силою в пять бригад. Для того чтобы ее видеть, надо было выхлопотать разрешение на посещение одного из лагерных сборов, производившихся периодически в каждом из пяти военных округов. Много пришлось в жизни видеть лагерей, но ни в одном не окунулся я в столь напряженную трудовую военную атмосферу, как там, в бараках, затерянных среди скал и лесов Норвегии.

Стоял жаркий август. Хлеба уже были убраны, и в лагерь по тропам и дорожкам шла со всех окружных деревень молодежь с винтовками за плечами: одни пешком, другие верхом на своих здоровенных, тяжелых конях, выпряженных из плугов. В лагере они мгновенно переодевались в походную форму из серого сукна и уже на следующее утро, разбившись на взводы, шли на занятия.

Подымали меня с петухами и не давали отдыха до заката солнца. Круглый день посвистывание пуль, окрики команд, топот, изредка «ура». Среди дня только три кратких перерыва для еды и часового отдыха.

Прикомандированный ко мне лейтенант, представитель милиционной армии, ошеломлял своими разъяснениями меня, представителя царской армии.

— Удивляюсь, как ваши люди могут выдерживать столь напряженную работу.

— Конечно, нелегко, — объясняет лейтенант, — но нам приходится заканчивать подготовку пехотинцев в один месяц с небольшим, а кавалеристов — в три месяца. Это возможно благодаря тому, что люди приходят, как вы сами убедились, хорошими стрелками, и в конце концов

стрелковые общества представляют у нас основу обучения солдата. Вас, наверно, неприятно поражают тоже наши крестьянские кони, но они выносливы, неприхотливы и вполне нас удовлетворяют. Галопом ходят, правда, плохо, но в горах ведь скакать не приходится.

Здесь вы видите только подготовку новобранцев, но эти люди будут еще отбывать и повторные сборы. Больших маневров у нас не бывает: они слишком дорого обходятся. Снаряжение у нас хранится большей частью в крупных деревнях или в соседних с ними городках. Всякий норвежец знает, кто его взводный, кто его ротный, помнит номер своей винтовки, и потому наша мобилизация будет произведена скорее, чем в Швеции, несмотря на ее систему постоянной армии. Наши войска займут позиции на границе через два-три часа после объявления войны.

И, поживши несколько дней среди этих свободолюбивых патриотов, я сам начинал верить, что действительно они не только займут границы, но и не дадутся даром любому врагу, посягнувшему на их суровую страну.

В ту же пору, составляя донесение о всем виденном и слышанном, я сознавал, что пример этой маленькой армии едва ли сможет внести много полезного в воспитание русской армии: слишком уж была противна духу царизма сама идея милиционной армии и то доверие к населению, на котором эта система была основана.

Шел пятый год моей службы в Скандинавии, и хотя работа военных атташе никогда не может считаться законченной, мне все же она стала казаться мало производительной; к тому же все окружавшие иностранные дипломаты, за исключением совсем уже затертых судьбой, вроде моих баронов в Стокгольме, смотрели на свои посты в этих странах как на временные.

Перечитывая в канцеляриях наших миссий копии донесений послов с континента (скандинавов мы все считали островитянами), мы уяснили, что в Европе назревают величайшие противоречия между великими державами, и обидным казалось сидеть в стороне от событий. Жизнь била во мне ключом; все поручавшиеся мне дела казались слишком легкими. Приняв за правило не отрываться от своей страны и армии, мы с Петровым умудрялись бывать под разными предлогами не менее двух

раз в год в Петербурге. Для нас обоих наступала пора отбывать командный ценз, но начальство, которому мы об этом заикались, каждый раз под разными предлогами спроваживало нас обратно к своим постам. Наконец, в начале 1912 года, я решил использовать назначение на пост начальника генерального штаба вместо Палицына генерала Жилинского и откровенно доложить о своем желании или переменить пост, или вернуться в строй. Службы в центральных управлениях я опасался как огня; я уже достаточно с ними познакомился по переписке из-за границы.

— Вами у нас очень довольны, — сказал Жилинский, — я наметил для вас большое повышение. Не согласились бы вы поехать в Вену?

Вена — яблоко раздора для великих держав, центр всех германских интриг на Балканах.

Вена — пост, на котором за последнее время опалили себе крылья мои лучшие старшие коллеги по генеральному штабу.

Предложение Жилинского показалось мне крайне лестным, и я уже наметил себе план использовать те связи, которые были завязаны за последние годы у меня, а особенно у жены, с знатнейшими представителями австрийской и венгерской аристократии, игравшими в ту пору еще очень большую роль в политической и военной жизни этой феодальной империи. Недолго суждено мне было оставаться кандидатом на Вену.

— Очень сожалею, — заявил мне через два дня тот же Жилинский. — Министерство иностранных дел категорически протестует против вашего назначения. У вас слишком славянская фамилия.

Видно, не всем нашим дипломатам было по душе вспоминать, что главная улица в Софии носит до сих пор имя моего дядюшки Николая Павловича.

— Недобросовестное объяснение, — сказал на это встретивший меня на Морской невозмутимый Федя Палицын.

Пришлось было и на этот раз собираться обратно в путь в серый Копенгаген, как неожиданно накануне отъезда я был срочно вызван по телефону снова к начальнику генерального штаба.

— Я слышал, — сказал мне Жилинский, — что вы собираетесь совсем нас покинуть и подать рапорт об отчис-

лении в строй. А вот что вы на это скажете? Прочтите, — и он пододвинул ко мне небольшую бумагу, один формат которой показался мне настолько знакомым, что не хотелось верить. Когда же я увидел родной уже для меня заголовок «военный агент во Франции», то невольно взволновался и для успокоения несколько раз перечитал бумагу.

«Прошу отчислить меня от должности военного агента во Франции по семейным обстоятельствам и предоставить мне командование кавалерийской бригадой. Генерал-майор граф Ностиц».

— Что вы на это скажете? — спросил Жилинский.

— От Парижа не отказываются, — ответил я своему высокому начальнику.

— Быть может, вы посоветуетесь с семьей?

— Никак нет. Я согласен. Советоваться не стоит.

— Ну, в таком случае через неделю ваше назначение будет оформлено высочайшим приказом.

Приказ 12 марта 1912 года разрешил мою дальнейшую судьбу на много лет!..

Когда по случаю назначения мне приходилось проходить вдоль стеклянных перегородок, за которыми, как в клетках, сидели и писали бумаги мои коллеги, делопроизводители и помощники делопроизводителей главного управления генерального штаба, то мне казалось, что в России нет офицера, который бы не мечтал об этом почетном посту в союзной стране.

Но как бы и меня самого ни тянуло в мой милый Париж, где уже, верно, пахло весной и где на Елисейских полях зацветали рододендроны, все же я считал, что не имею права покинуть поста в Скандинавии до приезда заместителя. Я хотел представить его лично всем королям и министрам и передать все свои гласные и негласные связи и знакомства. Только в таком случае я считал свой долг выполненным. Пришлось долго ждать, так как никому не было охоты меня заменить, пришлось выдержать перекрестный огонь телеграмм из Петербурга и Парижа, требовавших моего срочного выезда, но все это не помешало привести в исполнение задуманный мною план.

Непредвиденная задержка случилась только накануне окончательного отъезда из Стокгольма. Вещи были уже сложены, прощальные визиты проделаны, и, чтобы проститься с ближайшими приятелями из шведской военной

молодежи, я, по обыкновению, отправился в конце дня в место, служившее клубом, — бани на Стюрэгатан. Там после омовений и душей бывало приятно, да и не бесполезно, посидеть в купальном халате в комфортабельном кресле, распивая с приятелями «сода-виски». В самом спокойном настроении духа вышел я на темную и плохо освещенную улицу и не подозревал, что в этот момент могло случиться то, что является самым ужасным для всякого военного атташе:

«Грэв Игнатьев спион! Грэв Игнатьев спион!» — кричали пробегавшие мальчишки, размахивая какой-то газетой. Поймав одного из них, я увидел свой портрет в военной форме и действительно крупный заголовок сенсационной статьи:

«Грэв Игнатьев спион!»

В первый момент я заподозрил тайную немецкую интригу, направленную против моего назначения во Францию. Михельсон уже давно мне говорил, что я имею честь быть записанным в германском генеральном штабе на «Шварце таффель». Таких офицеров, русских и французских, было немного, и их, между прочим, было запрещено допускать под каким бы то ни было предлогом на маневры германской армии. Вероятно, по мнению немцев, эти офицеры слишком хорошо умели разгадывать германские военные загадки. Я боялся найти фамилии, связанные с моей агентурной работой в Дании, как, например, того же старика Гампена, про которого впоследствии я читал в воспоминаниях бывшего начальника австрийской разведки, но, пробежав газетную статью, убедился, что это местная шведская утка, пущенная каким-то репортером для дешевой рекламы собственной газеты. Тут был и фиктивный рассказ о моем летнем путешествии в окрестностях крепости Карльскрона, тут были и пикантные подробности о флирте моей жены с чересчур доверчивыми шведскими офицерами... Не теряя ни минуты, я побежал к вновь назначенному посланнику Савинскому и, ошеломив его газетой, заявил, что мне необходимо уехать отсюда не только с реабилитацией, но и с почетом.

— Звони сейчас же к состоящему при короле личному камергеру и проси через него короля еще раз дать мне аудиенцию под любым предлогом, а я устрою сам через своих приятелей обед в мою честь от всего стокгольмского гарнизона.

Через два-три дня в модном загородном ресторане «Хассель бакен», где пришлось провести столько веселых вечеров, я сидел на громадном банкете. Мой фрак украшала врученная мне накануне королем генеральская награда — звезда, а на столе, утопавшем в цветах, пестрели голубые шведские и трехцветные русские бумажные флажки. Было выпито много шампанского, произнесено немало тостов, а на следующий день было напечатано еще больше газетных описаний русско-шведского торжества.

Честь русского военного атташе была спасена.

Глава восьмая

НА ОТВЕТСТВЕННОМ ПОСТУ

Осуществилась моя заветная мечта. Я ехал на службу в ту страну, которая была мне уже знакома, переселялся в тот город, где ключом била жизнь, где каждый день и каждый час могли представлять новый и самый разнообразный интерес.

Я сознавал ответственность поста военного агента в одной из великих держав, но, конечно, не мог предвидеть тех полных трагизма событий, которые пришлось пережить в столь любезной моему сердцу Франции.

Овладев уже техникой работы военного атташе, я чувствовал под собой, наконец, твердую почву, зная, что основанием всей моей будущей деятельности будет служить франко-русский союз; при бешеном росте военной мощи Германии он приобретал особенно важное значение, хотя, как известно, и не был оформлен дипломатическим актом. Этого оформления, между прочим, тщетно добивались французы, всегда косо смотревшие на наши «традиционно дружественные», по выражению Сазонова, отношения с Германией. Существовал лишь секретный протокол заседания начальников генеральных штабов 1885 года, периодически дополнявшийся в присутствии только двух свидетелей: русского военного агента в Париже и его французского коллеги в Петербурге.

Этот документ предусматривал автоматическое вступление в войну каждой из договаривающихся сторон в случае нападения Германии на одну из них. Об Австро-

Венгрии, находившейся в открытом союзе с Германией, совсем не упоминалось, и это было слабым пунктом для России, особливо с постепенным обострением наших отношений с Веной из-за балканского вопроса. Возьмись одна из сторон за оружие для защиты своих прав без прямого участия Германии, и франко-русский союз терял свою силу: французы могли бы в подобную минуту попросту умыть руки.

Таким образом, в обязанности русского военного агента во Франции входило не только блюсти союзный договор, но и стремиться подвести под него непредусмотренный им случай вооруженного столкновения между Россией и Австро-Венгрией. Обо всем этом я надеялся подробно переговорить с моим предшественником, генерал-майором графом Ностицем, ожидавшим моего приезда в Париж.

Гришок, как звал Ностица весь Петербург, несмотря на свой высокий чин, как вежливый человек встретил нас с женой на Северном вокзале, с иголочки одетый в штатский сюртук и цилиндр, с большим букетом роз в руке.

Загадочным человеком долгое время казался мне Гришок. Я был еще юным корнетом, а он уже полысевшим раньше времени генштабистом, которого я встречал или в кавалергардском полку, где он начал службу, или в домовой церкви у бабушки, куда почему-то допускался его отец, давно нигде не служивший генерал. Он был известен тем, что занимался фотографированием не только своего роскошного дворца в Крыму, но и красот далекой Индии, куда он совершал специальные путешествия.

Старик Ностиц рано овдовел, был несметно богат и, конечно, мог дать единственному своему сыну блестящее образование. Выходило, однако, так, что все, к чему готовил себя Гришок, как раз не соответствовало или его призванию, или его вкусам. Избалованный домашним воспитанием, от природы непригодный к военной, а в особенности кавалерийской службе из-за своей крайней близорукости, Гришок, окончив Московский университет, стремится сделать военную карьеру, но вместо хороших коней он заводит яхту и чувствует непреодолимое влечение к морскому делу. Все питерские мамаши бегают за этим женихом-миллионером, но невестам он почему-то не приходится по вкусу. Он отлично оканчивает Академию генерального штаба, исправно маневрирует на полях Красного Села, все сослуживцы находят его милым, вид

в пенсне имеет он серьезный, а подчас даже таинственный, особливо когда он хочет заинтересовать собеседника какой-нибудь военно-придворной интригой, до которых он большой охотник.

Богатство, дающее ему самостоятельность, открывает ему доступ к самым высоким царским сановникам, но в царскую свиту он не попадает и довольствуется постом, правда временным, военного агента в Берлине. Это-то и подготовило ему ту катастрофу, от которой ему пришлось пострадать в Париже.

Старый холостяк и на вид смиренный монах, наш Гришок теряет голову при встрече с одной эффектной американкой, женой видного берлинского банкира, разводит ее, женится на ней, но, чувствуя трудность ввести ее в высший петербургский свет, ищет назначения за границу. Интригуя через великого князя Николая Николаевича, он добивается поста в Париже. Там, в этом современном международном Вавилоне, его жена может блеснуть брильянтами, а Ностиц — затмить самого посла роскошными приемами.

Париж лишний раз смог разинуть рот и позавидовать богатству «бояр рюсс», но Париж привык тоже быть свидетелем быстрого и бесследного исчезновения тех богов, которым он еще вчера поклонялся. Так случилось и с Ностицем. С немалым, впрочем, трудом удалось мне восстановить истинную причину его вынужденной просьбы об увольнении. Оказалось, что для вящего блеска своего парижского «двора» он взял к себе в адъютанты красивого гусара, правда, не гвардейского, но Александрийского полка, шефом которого была сама Александра Федоровна. При таком муже, как Гришок, этому молодчику в красных чикчирах и с серебряными бранденбургами удалось иметь успех у супруги своего начальника. Дело ограничилось бы «семейными обстоятельствами», если бы французский генеральный штаб неожиданно не довел до сведения министра иностранных дел о подозрениях, падающих на этого гусара за преступную связь его с Берлином. Высоко метили на этот раз германские вербовщики!

Все это мне было известно при моем приезде в Париж, но, считая Гришка за серьезного генштабиста, я все же надеялся получить от него какое-нибудь деловое наследство. Каково же было мое изумление, когда тут же, по до-

роге с вокзала, Ностиц извинился за невозможность говорить со мной о делах ранее двух-трех дней.

— Я хочу перед отъездом посетить некоторые полки, — объяснил он мне. — Знаешь, после сдачи должности это удобнее сделать.

В чем заключалось удобство, я не посмел допрашивать генерала; лучше поздно, чем никогда, — только подумал я, но понял, что данных о состоянии союзной армии мне получить от него не удастся, и решил терпеливо ждать возвращения Ностица.

Я встретил его в совсем расстроенных чувствах.

Он только что вернулся из поездки в Венсен — предместье Парижа, где квартировал 37-й драгунский полк; всякая армия имеет такие полки и учреждения, которые считаются образцовыми и навсегда обречены на парадирование перед почетными иностранцами.

— Я ужасно сожалею, милый друг, — сказал мне Ностиц, — что с первого же дня вынужден просить тебя распутывать случившуюся со мной возмутительную историю. Представь себе, поначалу все шло великолепно. Встретили меня драгуны с соответственной почтительностью, лошадь дали смирную, хорошо выезженную (это мне напомнило милых бывших полуштатских товарищей по кавалергардскому полку), проделали по плацу конное учение и предложили сняться во дворе, в казармах, общей конной группой. Но в эту минуту адъютант полка попросил моего разрешения пригласить сняться с нами и русского офицера, осматривавшего в тот же день этот полк. Отказать было невозможно, но мне в голову не приходило, для кого я устроил посещение полка. И вот передо мной предстал крохотный человечек в смокинге и вечерней накрахмаленной рубашке, но в желтых дневных ботинках и с зеленой дорожной кепкой на голове. Он представился мне штаб-ротмистром не то Изюмского, не то какого-то другого полка и казался особенно жалок среди сопровождавших его двух драгунских офицеров в их громадных медных касках с конскими хвостами. Я до того растерялся, — как всегда скороговоркой закончил Ностиц, — что мог только по-русски сказать: «Подождите, потом, потом. Явитесь к нашему новому военному агенту, полковнику Игнатьеву».

— Хотел сделать как можно лучше, — объяснял мне дня через два вызванный мною виновник происше-

ствия. — Смокинг на шелку надел вместо парадного мундира, желтые ботинки считал более боевыми, чем лакированные, а кепка ближе подходила к русской военной фуражке, чем штатский котелок.

Бедному ротмистру были незнакомы условные порядки ношения штатской одежды за границей, не менее сложные, чем указанные в русских военных уставах «формы одежды».

Пришлось, как ни странно, начинать свою деятельность лаконическим приказом, вывешенным при входе в мою канцелярию, который гласил:

«От восхода до заката солнца ношение военнослужащими вечерней одежды — фраков и смокингов — строго воспрещается».

Пока Ностиц продолжал знакомиться с французской армией, я изучал оставленное им деловое наследство. Астрономические цифры исходящих номеров могли произвести сильное впечатление, но — увы! — большинство бумаг оказалось вполне невинного содержания: их без труда мог бы составлять любой писарь штаба дивизии. Но у Ностица во Франции такого писаря не было, и ему приходилось за эту работу «очень дорого», как он мне объяснял, «платить личному секретарю».

«При сем представляется» устав, или газетная вырезка, или интересная статья, — гласила бумага, но ни одна не сопровождалась каким-либо комментарием и даже копией отправленного в Россию материала.

Были, впрочем, среди копий бумаг и менее безвредные, начинавшиеся обычно словами: «У меня явилась мысль...» К числу подобных «мыслей» самой дорогой для Гришка оказался проект сооружения в маленьком французском городке Живэ памятника русским солдатам, умершим там в госпитале в 1814 году.

— Я уж очень прошу тебя закончить это важное дело, — повторял мне несколько раз Гришок, — ознакомливая меня с обширной перепиской и с походной канцелярией «его величества» в Петербурге и с каким-то таинственным для меня, но не для Ностица светлейшим князем Голицыным:

— Очень скупой старик, проживающий часть года на Ривьере, где он построил себе роскошный дворец, — объяснял Гришок. — У него только семейные дела немного запутаны, масса детей от нескольких браков, и те-

перь он женат на молодой цыганке. Но богатства у него несметные, и мне страшно было трудно его уломать пожертвовать тридцать тысяч франков на памятник; я обещал ему за это очередную высочайшую награду. Он очень их ценит.

Деньги эти имели свою историю. Как ни противно мне было хранить частные деньги, пожертвованные на казенное дело, как будто уж Россия была так бедна, все же пришлось положить эту сумму в банк и открыть специальный счет, на который во время войны стали вноситься миллионы казенных денег, предназначенные на военные заказы. Мне, конечно, было в ту пору не до памятника, он был недостроен, но сумма продолжала числиться в бухгалтерских книгах. Тем временем неведомый мне Голицын умер. Революция лишила прожигателей русских денег за границей источников пополнения их доходов, и тогда-то вдова Голицына вспомнила о деньгах, пожертвованных на памятник в Живэ. Угрожая судом, она потребовала их возврата, и мне пришлось, по соглашению с французским правительством, вернуть ей злополучные деньги.

Вторым вопросом, который очень интересовал Ностица, а главное, льстил его самолюбию, являлось его положение председателя франко-русской комиссии по радиосвязи с Россией.

— Очень неприятно, — говорил он мне, — что с моим уходом эту должность будет выполнять наш морской коллега, капитан первого ранга Карцов (будущий начальник морского корпуса), как старший тебя в чине.

По существу же ни Ностиц, ни Карцов, ни я ничего не понимали в длине волн, посылаемых башней Эйфеля, и только подписывали протоколы, составленные скромным французским секретарем комиссии, майором Картье.

Для меня осталось навсегда неясным, насколько Ностиц пользовался доверием во французском военном мире. С одной стороны, его любезное обращение и большой служебный такт несомненно подготовляли благоприятную для меня атмосферу, но с другой — казалось странным, что впоследствии никто в разговорах при мне не упоминал его имени. Положению русского военного агента во Франции содействовали, впрочем, больше всего изменения в самой европейской обстановке. Далеко позади остался тяжелый 1906 год — времена Лазарева; для его преемников двери французского генерального

штаба открывались сами собой, и, пожалуй, роскошные приемы Ностица вызвали только подозрение в военных кругах. Французский военный мир, а в особенности генеральный штаб, состоял из таких скромных и небогатых людей, что их нельзя было соблазнить, подобно немецким и шведским офицерам, ни раздушенными салонами, ни ослепительными дамскими декольте. Дипломатические приемы в каждой стране должны сообразоваться с ее собственными вкусами и обычаями.

Приступая к исполнению своих обязанностей, я, конечно, не собирался конкурировать по части приемов с моим предшественником, но все же надо было организовать прежде всего свою штаб-квартиру, достаточно представительную и в то же время отвечающую всем служебным потребностям военного атташе.

Кто в течение долгих четырех лет мировой войны не знал адреса русской военной миссии во Франции: 14, Авеню Элизе Реклю, в новом тогда квартале на Марсовом поле, у самого подножья Эйфелевой башни? Но кому могло прийти в голову, что в длинном темном холле первого этажа, где во время войны дожидались приема сотни посетителей, когда-то беззаботно танцевала молодежь, что обширный кабинет начальника военной миссии, военного агента, со створчатыми окном и дверями, выходившими прямо в сад, представлял в мирное время розовый салон хозяйки дома, а секретариат в соседнем кабинете — столовую. Никто, бывало, не хотел верить, что в небольшом втором этаже, сообщавшемся с первым внутренней лестницей и состоявшем из двух спальных комнат и канцелярии, могли во время войны разместиться все службы, через которые прошли сложные многомиллионные военные заказы. Правда, кровать начальника оставалась на месте — в отделе бухгалтерии, а машинки стучали в ванных комнатах.

Мне казалось, что война требует жертв всякого рода и что союзный военный агент, живший за счет французского военного займа, должен показать пример экономии в расходовании казенных средств. Глядя иногда на разрушение созданного с такой любовью своего парижского гнезда, я утешал себя мыслью, что не затрачиваю на себя и свою работу ни одного русского рубля.

Одним из главных удобств парижской квартиры было наличие трех выходов, допускавших одновременный прием в обоих этажах посетителей, которых неудобно было знакомить друг с другом. Большую прелесть представляла дверь, выходившая в небольшой палисадник, из которого в свою очередь можно было выйти, не пользуясь парадным ходом, непосредственно на верховую дорожку Марсова поля. Туда по утрам мне подавали мою верховую лошадь.

В первые дни пребывания в Париже мне казалось, что ничего не изменилось за те шесть лет, что я покинул этот город. Так же, как тогда, сквозь прозрачную утреннюю дымку зеленели ровные, как скатерть, газоны, обрисовывались пышные контуры цветущих каштанов. Так же, как и тогда, утренняя тишина нарушалась только мелодичными дудками уличных продавцов. Все носило хорошо мне известный и освященный традициями парижский распорядок жизни. Но когда, около полудня, я очутился на знакомых мне Елисейских полях и попробовал нанять извозчика, то к моим услугам нашлись только небольшие красного цвета такси. Это были те знаменитые такси, на которых в сражении на Марне генерал Галлиени перевез на фланг германской армии, и неожиданно для нее, целую пехотную дивизию. Шофером такси оказался старичок, в котором без труда можно было узнать бывшего «коше де фиакр» — извозчика.

— То ли дело были мои две старые нормандки, — вздохнул старик, разделяя вполне мои собственные мысли.

Он с шумом и лязгом переводил скорость, дымил и шипел, въезжая в поток медленно двигавшихся машин самого разнообразного вида. Как пережиток старины, высоко тротировали в ногу парные упряжки упрямых парижских консерваторов. Копоть от горючего отравляла воздух, жгла свежую листву деревьев; Париж вскоре лишился и лип и каштанов, замененных грубыми кленами. С приближением к центру города поток разнокалиберных повозок двигался все тише и, наконец, на первом же перекрестке окончательно остановился под ругань шоферов и кучеров. Регулировать уличное движение полиция еще не обучилась, и старому Парижу с его узкими уличками и переулками никогда не удалось вполне примениться к бешеному росту техники, как трудно было ему сохранить

свое французское лицо среди все более и более его наводнявших иностранцев всех национальностей.

— Не судите Францию по Парижу; Париж больше не Франция, — не раз говаривал мне сам генерал Жоффр.

В этом международном городе можно было прожить, не заводя знакомств с французами, и я почувствовал, что одной из трудных задач для меня явится установление связей с теми людьми, которые представляют истинное лицо этой страны.

Но, с другой стороны, Париж, с каждым годом, становился тем центром, где завертывался клубок международной политики; не ухватить хотя бы самую тонкую ниточку этого клубка значило не предвидеть своевременно его возможной трагической развязки.

Официальные визиты начались, естественно, с представления собственному послу, Александру Петровичу Извольскому. Принял он меня в том же громадном кабинете на улице де Гренелль, где когда-то я являлся к старику Нелидову, и был настолько любезен, насколько это позволяла его крайне нелюбезная и потому отталкивающая на первый взгляд внешность. Этот человек не умел смеяться, не в силах был выразить, например, искреннего сочувствия даже в том случае, если бы он его и таил в своей душе. Ему как будто особенно нравилось представлять из себя сфинкса, с моноклем в глазу, безупречно одетого по последней английской моде. Как убежденный англофил, он, быть может, находил, что своей замкнутостью он лучше всего подражает английским лордам. Верхом блаженства считал приглашение в какой-нибудь английский замок, презирая не только французскую буржуазию, но даже русскую аристократию.

— Вы, дорогой граф, — не выдержал как-то в споре со мной на политические темы Извольский, — как всякий истинно русский человек — социалист и революционер!..

К какому сорту русских людей причислял себя сам гофмейстер «двора его величества» — определить было трудно. Характерной была только его визитная карточка: не «российский посол», как обычно писали его предшественники, а «императорский». Для членов романовской семьи Извольский делал исключение и не знал, как бы стяжать благоволение даже самых молодых ее членов: забывая свое высокое положение посла, он выбегал на улицу провожать до машины Кирилла и Бориса. Далеки

были времена бывшего посла в Париже, генерала князя Орлова. (Он, между прочим, потерял глаз в турецкую кампанию и импонировал черной повязкой, наглядно говорившей о его военной доблести.)

Узнав о непристойных оргиях молодых царских сыновей, Владимира и Алексея, Орлов предложил им на следующий же день возвратиться в Россию, написав вдогонку такое письмо Александру II, после которого до самой смерти этого царя гуляки-сыновья не смели показывать носу в Париже.

Извольский вместо миллионов Орлова имел за собой одни долги, так как получаемого жалования (сто тысяч франков в год) не могло, конечно, хватить на все расходы, связанные с представительством. Если для частного человека долги представляют в капиталистическом обществе самую тяжелую сторону жизни, то для дипломата, а в особенности для посла, долги могут вызывать самые нежелательные толки. Я никогда не хотел верить басне, что Титони, итальянский посол в Париже, мог путем материальной заинтересованности влиять в желаемом ему направлении на политику Извольского, но мне с горечью приходится вспоминать, каким доверием пользовался при Извольском такой пролаза, как Николай Рафалович, племянник Артура. Живя в Париже, этот господин имел почему-то самые тесные связи с итальянским банком «Кредито Итальяно».

Извольский пробился в люди, затратив на это немало труда, претерпел, как всякий незнатный чиновник, немало унижений, а потому и дрожал за достигнутое под старость дней высокое положение.

Сам он, впрочем, опровергал это, объясняя мне не раз подробности боснo-герцеговинского инцидента, стоившего ему поста министра иностранных дел. Он справедливо считал аннексию Австро-Венгрией этих двух славянских провинций началом всех последующих европейских интриг вокруг Балканского полуострова.

— Напрасно «Новое время», а за ним и вся Россия считали, что мой австрийский коллега Эренталь меня провел, что я не показал достаточной твердости в защите славянских интересов. Зная, насколько сильна позиция Австро-Венгрии в этом вопросе (Босния и Герцеговина находились под протекторатом Австро-Венгрии по Берлинскому договору 1878 года), я перед отъездом на свидание

в Бухлау зашел к нашему военному министру и поставил ему простой вопрос: готовы ли мы к войне, или нет? И когда он мне объяснил, что русская армия еще не успела залечить маньчжурских ран, я понял, что, кроме дипломатической лавировки, мне ничего не остается делать и я ничем не смею угрожать. Вот и весь секрет. Я предпочел пожертвовать собой, принять на себя потоки грязи, которыми меня и до сих пор усердно поливает господин Пиленко в том же «Новом времени», чем рисковать втравить Россию в войну с Германией. Реабилитировать себя перед историей мне едва ли удастся, — заканчивал обычно этот черствый на вид человек свой рассказ. Так, впрочем, и случилось. Извольский умер нищим и всеми покинутым в парижской больнице вскоре после нашей революции.

Сознавая нашу военную немощь после русско-японской войны, нельзя было не войти в положение русского представителя на свидании в Бухлау и не смягчить в большой степени ту жестокую репутацию, которая была создана Извольскому после босно-герцеговинского провала. Его объяснения казались мне тем более правдоподобными, что, встречая Эренталя в бытность его послом в Петербурге, я уже мог вынести представление о его крайне ограниченных способностях, тогда как от Извольского нельзя было отнять глубочайшей дипломатической и исторической эрудиции, знания им всех тонкостей балканской политики на протяжении многих десятилетий; еще молодым дипломатическим секретарем разграничительной комиссии после русско-турецкой войны 1877 года Александр Петрович объехал верхом границы всех балканских государств.

Всю жизнь он много читал на всех языках, имел выдающуюся по своей ценности личную библиотеку, но для дипломатических справок ему пользоваться ею не приходилось: он знал почти наизусть содержание любого дипломатического трактата. Мне не пришлось присутствовать при длинных беседах Извольского с Пуанкаре, занимавшим в год моего приезда в Париж пост министра иностранных дел, но я убежден, что большая часть времени при этих беседах уходила на уроки, которые давал русский посол французскому премьеру в балканских вопросах. Совместная деятельность в течение первых месяцев балканской заварухи связала личные интересы этих двух

людей, и они направляли в зависимости от этого внешнюю политику своих государств.

Как начальник Извольский имел репутацию недоступного и придирчивого человека. Всех своих сотрудников он считал за слепых исполнителей своих указаний, и мне до сих пор кажется еще невероятным, что в трагические минуты этот бонза мог усаживать перед собой в кресла, правда, только двух сотрудников: советника посольства Севастопуло и меня. Двери при этом наглухо закрывались, и доступ в кабинет даже для секретаря был строго воспрещен.

Длинновязый Севастопуло, богатейший одессит греческого происхождения, утонченного воспитания, всю жизнь провел за границей и никакого представления о русском народе не имел. Это был, пожалуй, его главный недостаток. Он принадлежал к той категории русских чиновников, которые честно служили России, сознавая выгоду быть ее представителями, но в душе оставались типичными иностранцами.

Остальные парижские коллеги действительно большого интереса не заслуживали. Как ни падки французы на титулы, даже баронские, они тем не менее едва ли находили для себя приятным иметь русское союзное посольство, составленное, как на смех, исключительно из немецких фамилий: барон Унгерн-Штернберг, граф Ребиндер, граф Людерс-Веймарн. Истинное свое лицо они выявили лишь в первые дни войны.

Оценка Извольским военных агентов была особой. У него с ними остались старые счеты по службе в Японии, где его донесения о вероятности русско-японской войны резко расходились с мнением военного агента. Впоследствии, как министру иностранных дел, венские провалы моих коллег тоже доставили ему немало хлопот, и потому на мой приезд в Париж он, вероятно, смотрел только как на избавление от неприятных воспоминаний о моем предшественнике. С первых же слов я почувствовал, что посол смотрит на меня как на лицо вполне правомочное и самостоятельное, которому он готов оказывать только нужное содействие. Такова, к сожалению, была установка во всех русских посольствах: военные агенты с болезненным служебным самолюбием охраняли свою независимость, а в результате эта междуведомственная борьба приводила, как показал опыт, к самым трагичным последствиям; она

ставила перед Петербургом неразрешимый вопрос: кому верить — послу или военному агенту? Между тем в Париже в мае 1912 года достаточно было прочитать утром десяток газет, чтобы понять, что международная обстановка осложняется с каждым днем и что, не разбираясь в ней, военный агент не может выполнить своей основной задачи: предвидеть войну и своевременно известить о ее вероятности.

— Я в большой европейской политике, а особенно во внутренней французской, новичок, — обратился я к Извольскому, после того как выслушал его рассказ о последнем разговоре с Пуанкаре. — Разрешите поэтому те донесения, в которых придется касаться этих вопросов, предварительно вам показывать.

— Пожалуйста, пожалуйста, — смущенно пробормотал не ожидавший подобного обращения Извольский и, как всегда в подобных случаях, поправил свой неизменный монокль.

Лед недоверия был надломлен, и вскоре посол уже давал мне на прочтение все свои важнейшие донесения не после, а до отправки их курьером в Петербург.

Посольство в тот же день устроило мне прием у президента республики Фалльэра. В просторной гостиной крошечного Елисейского дворца, видевшего в своих стенах и Александра I и Наполеона III, у громадного окна, выходившего в вечнозеленый сад, стоял только один, и то не знакомый мне, господин в элегантном штатском сюртуке. При виде моего парадного мундира при всех орденах неизвестный немедленно пошел мне навстречу и почтительно представился:

— Германский военный атташе подполковник Винтерфельд. Очень счастлив познакомиться. Я, как видите, тоже являюсь к президенту, чтобы поднести ему по поручению императора вот этот ценный исторический труд о Наполеоне.

Не думал я в эту минуту, что с этим красивым, слегка седеющим коллегой, столь отличным от обычного типа самодовольных немецких генштабистов, будет связано у меня столько памятных воспоминаний. Надо было отдать справедливость Берлину, что на этот раз он выбрал, наконец, располагавшего к себе военного представителя: кроме наружности, в которой особенно выделялись умные проницательные глаза, сама манера обращения, прекрас-

ный, без всякого акцента французский язык позволяли моему коллеге заслужить широкие симпатии.

Вероятно с целью отвлечения внимания Франции от австро-русских конфликтов, Вильгельм последнее время всячески заигрывал с нашими союзниками, и ни для кого не было секретом, что на приемах военных атташе в Потсдаме император подчеркивал перед всеми свои симпатии к французскому военному атташе полковнику Пэллэ, с которым подолгу разговаривал.

Когда после ухода Винтерфельда меня ввели в кабинет президента республики, я очутился перед очень тучным стариком самого добродушного вида, точь-в-точь таким, каким он был изображен накануне в веселом театральном «ревю».

«Папá Фалльэр» — иначе его никто в Париже не называл — был совершенно лишен той рисовки, которой заражены не только все французские министры, не только осколки старой аристократии, но и большинство буржуазии.

На хорошем, но не изысканном языке, с небольшим крестьянским южным акцентом, старик сказал мне примерно следующее:

— Я очень рад с вами познакомиться, полковник, но, к сожалению, я кончаю скоро свои семь лет президентства и, конечно, буду рад уехать в свою деревню. У нас ведь там виноградники, я сам с отцом на них работал и просто не понимаю, чем заслужил высокую честь представлять перед светом, и в особенности перед вашей великой страной, мою родину. Я так мало этого достоин. Я сохранил самые светлые воспоминания о моем путешествии в Россию. Прошу вас, полковник, познакомиться поближе с французским народом и с нашей армией, и я уверен, что вы их полюбите.

Я был растроган.

Вечер того же дня мне пришлось провести в обществе скромных профессоров Сорбоннского университета, далеких от всякой политики, которые из вежливости расспрашивали меня про первые впечатления от их города. Я рассказал им про приятное впечатление, вынесенное от приема меня президентом республики.

— Что вы, что вы, это вы нарочно хотите нам сказать приятное, — смущенно возражали мои собеседники. —

Нам даже совестно, что вам пришлось являться к такому неуклюжему толстяку.

— Уверяю вас, — продолжал я со всею искренностью, — мне пришлось видеть уже на своем веку и царей, и королей, и всяких министров, а вот такого скромного слугу своего народа и такого гордого своей страной правителя мне еще встречать не пришлось.

Для военного агента весьма важным являлось установление отношений с военным министром.

Большинство русских военных недоумевало, каким образом во Франции штатский человек мог управлять военным министерством, и, когда я объяснял, что эти люди в пиджаках имеют больше авторитета, чем наш собственный военный министр во всем блеске генерал-адъютантского мундира, приближавшего его к самому царю, мне не верили. Между тем, доказывая как-то Сухомлинову необходимость для него вмешаться в дела артиллерийского снабжения, я получил следующий знаменательный ответ:

— Вы правы: по закону все главные управления мне подчинены, но если бы я вздумал заглянуть в главное артиллерийское управление, то настоящий хозяин, великий князь Сергей Михайлович, и разговаривать со мной не пожелал бы. Вот тут и отвечай за снабжение, — закончил, вздохнув, Сухомлинов.

Наоборот, во Франции военный министр был снабжен никем из военных не оспариваемой полнотой власти, и это составляло главную, да, пожалуй, и единственную положительную сторону военного аппарата. Как член правительства военный министр нес ответственность перед парламентом, от которого вместе с тем зависели все штаты военных подразделений и, с чисто французской мелочностью, все кредиты, до последнего сантима. Какой же был бы для меня прок говорить даже с самим начальником генерального штаба о малейшем нововведении, когда все вопросы зависели от гибкости, изворотливости и авторитета военного министра перед военными комиссиями сената и палаты депутатов.

Кто же, как не свой, то есть парламентарий — штатский человек, мог лучше знать все пружины, от которых зависел результат голосования в этих комиссиях.

Пробовали за это дело браться и некоторые генералы, но они были только игрушками в руках выдвинувших их

партий и не смели проявлять своего военного мужества в горячих ночных словесных схватках. Кроме того, им труднее было отказывать членам парламента в ответах на бесконечные запросы, большинство которых сводилось к карьеристским интересам их авторов.

— Мы тратим две трети нашего времени на составление ответов депутатам и сенаторам, — жаловались мне на ушко близкие друзья из военного министерства.— Один просит перевести в лучший гарнизон какого-нибудь рядового, сынка влиятельного кабатчика — депутатского выборщика, другой, чтобы получить больше голосов на выборах, просит повысить цены на закупку фуража интендантством и т. п.

Разумеется, военные министры тщательно скрывали от русских военных агентов всю эту внутреннюю политическую кухню. Но и на военных агентов это налагало обязанность не показывать вида, что они в курсе борьбы политических партий. В этом отношении один из моих предшественников, Муравьев-Апостол, оставил нам, своим преемникам, поучительное наследство.

Это произошло в тот бурный период французской внутренней политики, который был создан так называемым делом Дрейфуса и последствия которого докатились и до моих дней. Капитан генерального штаба Дрейфус был обвинен в продаже секретных документов Германии. Дело получило огласку, и приговор военного трибунала, присудившего Дрейфуса к позорному лишению военного звания и вечному заключению, возмутил все либеральные и левые политические круги. Такие писатели, как Золя и Анатоль Франс, открыли кампанию для доказательства невиновности Дрейфуса. Франция разделилась на дрейфусаров и антидрейфусаров. Непримиримая ненависть этих враждебных лагерей перенеслась и в армию. Часть командиров стояла за Дрейфуса, а другие, в особенности аристократия, продолжали настаивать на предательстве этого еврейского выходца. В военном министерстве были введены секретные личные карточки на офицеров с отметкой о политической благонадежности, начались административные увольнения в отставку и ничем не объяснимые повышения по службе. Нельзя было придумать более наглядного опровержения столь дорогого для французов лозунга: «Армия вне политики», но нельзя было

дать в руки германского командования лучшего средства для ослабления мощи противника.

В конце концов защитники Дрейфуса — всесильное франкмасонство — добились полной реабилитации безвинно оклеветанного капитана. И вот в эту-то минуту к новому военному министру — генералу Андрэ, ставленнику дрейфусаров, явился в полной парадной форме русский военный агент Муравьев и заявил, что начавшиеся уже в армии репрессии против антидрейфусаров могут повлиять на дружественные отношения к Франции русской царской армии.

Коротка была беседа Муравьева с генералом Андрэ, но еще короче была и развязка: по требованию собственного посла князя Урусова, Муравьев был принужден в тот же вечер навсегда покинуть свой пост и сломать свою служебную карьеру.

Не следовало, конечно, вмешиваться в чужие дела, но нельзя было, однако, не интересоваться политической физиономией каждого военного министра. За два года, проведенные мной во Франции, их сменилось шесть человек; правда, Лебрэн — бывший инженер из Донбасса и будущий президент республики, характерное политическое ничтожество — провел на этом посту только один день!

Да, Дрейфус был оправдан, дело его было ликвидировано, но ограждение союзной армии от борьбы политических партий вменялось в обязанность военному министру.

Являться по случаю моего назначения и начинать работать мне пришлось с самым интересным из всех виденных мною военных министров, Александром Мильераном. Угрюмый, с копной седеющих волос на голове, он избегал смотреть собеседнику в глаза, что крайне затрудняло всякое с ним общение. Несмотря на свою компетенцию по многим государственным, и в частности военным, вопросам, Мильеран, как политическая фигура, не представлял, правда, особого исключения из той плеяды в два-три десятка депутатов и сенаторов, которая служила источником для пополнения министерских постов после падения предшествующих кабинетов.

Как более правые, подобные Мильерану, так и более левые, подобные Бриану, — все они начинали свою политическую карьеру как передовые люди, социалисты,

защитники интересов рабочего класса, и кончали тем, что становились предателями его.

Первые разговоры с военным министром велись, как ни странно, не на военные, а исключительно на политические темы: вопросы внешней политики, связанные с балканскими событиями, невольно заставляли военного министра смотреть на русского военного атташе исключительно как на агента связи. Ты русский, да еще присланный к нам полковник, значит ты должен знать и рассказать, что делается в России, как там относятся к текущим событиям, — так рассуждал всякий француз, а не только военный министр.

Но о том, что делалось у себя дома, я в течение всех долгих лет, проведенных во Франции, как раз меньше всего знал. Неприятно было, например, узнать в 1913 году из серьезного французского официоза «Тан» о сформировании трех новых русских корпусов и просить свое начальство объяснить эту «газетную утку», которая оказалась как раз не «уткой», а правдой; германский военный агент, конечно, мог бы лучше об этом осведомить французский генеральный штаб, чем его русский коллега во Франции. Тяжелее было первые пять недель мировой войны провести без единого сведения о германских силах, находившихся на русском фронте. Недопустимо было в течение всей мировой войны получать русские коммюнике только после оглашения их во французской прессе, но еще трагичнее было получить сведения о Февральской революции только через три дня после того, как она уже совершилась. Полное отсутствие всякой связи с родиной после Октябрьской революции повело уже к тому драматическому положению, которое и хочется мне успеть еще объяснить моим читателям.

Русское правительство всегда мало считалось со своими заграничными представителями и предпочитало зачастую вести дела непосредственно с иностранными представителями в России.

А между тем мой приезд во Францию совпал с началом таких исторических событий на «полуострове к югу от Савы и Дуная», что от отношения к ним России зависела судьба Европы.

Я был назначен в Париж 12 марта 1912 года, то есть через несколько дней после заключения сербско-болгарского союза — этого барьера против австро-германской

экспансии на Балканах. Тот же союз представлял непосредственную угрозу Турции. С этого момента события развивались с молниеносной быстротой. 30 сентября того же года началась первая балканская война, причем решительные победы союзников над турками вызвали на свет давно таившиеся империалистические аппетиты всех европейских держав. Военным агентам пришлось на время превратиться в военных дипломатов.

Поначалу французы отнеслись к турецко-славянской войне легкомысленно, обвиняя славян в нарушении мирного европейского жития. Неприязнь к славянам объяснялась еще и теми крупными интересами, которые связывали Францию с Турцией. Успехи славян вызвали, наконец, настоящую биржевую панику вследствие падения турецких бумаг.

Но как только обозначились первые серьезные успехи тех же самых славян, вся торгашеская французская пресса стала выражать им свои симпатии по очень простой причине: турки были вооружены пушками Круппа, а сербы и греки — французскими орудиями Шнейдера (Крезо). У военных промышленников уже потекли слюнки из-за возможностей легкой и скорой наживы, которую сулила война, и это вскружило голову хозяевам главных органов французской прессы — «Комитэ де Форж». Французы вдруг стали настолько воинственны, что в своей защите славянских интересов против поползновений на них со стороны Австро-Венгрии превзошли даже своих союзников — русских.

Обстановка до крайности осложнялась.

«Приподнятый тон французского общественного мнения не соответствует вполне тем проявлениям миролюбия, которые Россия сделала на Лондонской конференции», — доносил я в своем очередном рапорте от 2 января 1913 года.

Против подымавшейся волны воинствующего милитаризма восстала партия социалистов с Жоресом во главе; эти люди, несомненно, чувствовали опасность, нависшую над Францией, и мечтали отвратить ее приближение; трудно поэтому бросить в них камень за то, что через несколько месяцев, при грубом вторжении вильгельмовских полчищ в их страну, они все же выступили на ее защиту.

4(17) декабря 1912 года Генеральная конфедерация труда пыталась провести всеобщую забастовку для выра-

жения протеста против войны. Это было вызвано обострением австро-русского конфликта.

Успехи Сербии, захват ею Албании и выход к побережью Адриатического моря крайне обеспокоили Австро-Венгрию, опасавшуюся создания на своих южных границах сильного Сербского государства. Она настаивала между прочим на независимости Албании и получила дипломатическую поддержку своей союзницы — Германии.

Париж снова нервничал, и потому я не был изумлен телефонным звонком начальника военного кабинета Мильерана, приглашавшего меня заехать к министру.

Я застал последнего еще более мрачным, чем в обычное время.

— Получена телеграмма от генерала Лагиша (французский военный атташе в Петербурге), — заявил Мильеран, — в которой он извещает со слов вашего генерального штаба, что частичная мобилизация, проводимая австрийской армией, не вызывает с вашей стороны каких-либо мероприятий. Так вот что, дорогой полковник, нашему правительству необходимо знать, намерены ли вы и впредь оставаться безучастными зрителями проникновения Австро-Германии на Балканы, или, точнее говоря, насколько дороги вам интересы Сербского государства.

— Господин министр, я не уполномочен объяснять вам линии нашего политического поведения и запрошу инструкции; так ведь обязан ответить всякий дипломат, — сказал я Мильерану, желая этим полушутливым тоном, который может себе позволить военный полудипломат, смягчить общий агрессивный характер беседы.

Но это на Мильерана не подействовало, и он продолжал вызывать меня на дальнейшие объяснения. Привожу их текстуально:

Мильеран. — Какая же, по-вашему, полковник, цель австрийской мобилизации?

Я. — Трудно предрешить этот вопрос, но несомненно, что австрийские приготовления против России носят пока оборонительный характер.

Мильеран. — Хорошо, но оккупацию Сербии, вы, следовательно, не считаете прямым вызовом на войну для вас?

Я. — На этот вопрос я не могу ответить, но знаю, что мы не желаем вызывать европейской войны и принимать меры, могущие произвести европейский пожар.

Мильеран. — Следовательно, вам придется предоставить Сербию ее участи. Это, конечно, дело ваше, но надо только знать, что это не по нашей вине; мы готовы; необходимо это учесть... А не можете ли вы по крайней мере мне объяснить, что вообще думают в России о Балканах?

Я. — Славянский вопрос остается близким нашему сердцу, но история выучила нас, конечно, прежде всего думать о собственных государственных интересах, не жертвуя ими в пользу отвлеченных идей.

Мильеран. — Но вы же, полковник, понимаете, что здесь вопрос не в Албании, не в сербах, не в Дураццо, а в гегемонии Австрии на всем Балканском полуострове.

Из всех этих рассуждений самое большое значение представили для меня только два слова Мильерана: *мы готовы.* Мне было хорошо известно в тот момент, насколько французская армия была «готова», но я, конечно, не стал вступать в пререкания по этому вопросу, а просто сказал:

— Господин министр, ваши слова имеют столь важное значение, что я вынужден просить вашего разрешения, во избежание недоразумения, тут же при вас их записать.

Мильеран рассвирепел. Грива на голове взъерошилась, лоб насупился, и он сухо пробормотал:

— Пожалуйста, пожалуйста, можете записать.

— Обещаю вам, — в заключение сказал я, подымаясь со стула, — немедленно запросить ответы на поставленные вами вопросы, — и замял разговор в обычных, ни к чему не обязывающих дипломатических любезностях.

Помню, с какой быстротой я домчался до своей канцелярии, чтобы отправить в тот же день сперва шифрованную телеграмму, а затем подробный рапорт с точным воспроизведением текста разговора. Не думал я тогда, конечно, что через много лет прочту этот текст перепечатанным не один раз в различных советских печатных органах как доказательство миролюбия России. Исторический ход событий зачастую дает новую оценку не только людским делам, но подчас и словам.

Помимо давления со стороны Мильерана, мне еще приходилось выдерживать напор и лавировать между

представителями непосредственных участников Балканской войны: болгарским посланником в Париже Станчевым и сербским посланником Весничем.

Каждый из них по-своему защищал интересы своей страны, но не только мне, а и ученым мужам всего мира не под силу было определить, какие македонские вилайеты (округа) населены болгарами, а какие — сербами. Используя популярность в Болгарии моего дяди Николая Павловича, Станчев со свойственной этому дипломату дерзкой настойчивостью считал, что его мнение, как болгарина, для меня закон, что я попросту сам наполовину болгарин, и, конечно, он был отчасти прав, так как заложенное с раннего детства чувство симпатии к болгарскому народу не могли иссушить никакие политические предательства правителей этого государства.

Естественно, что в памятный для славян день 26 марта 1913 года Станчев вызвал меня к телефону рано утром, чтобы объявить великую радость — взятие союзниками Адрианополя. Путь к Царьграду — столице Турции — казался открытым для славян, а в моем тогдашнем представлении — косвенным путем и для России. Ни для кого не было секретом, что турецкая армия имела германских инструкторов, что на нейтралитет проливов, столь строго охранявшийся во все времена Англией, уже посягала Германия, пролагавшая себе путь в Малую Азию. Deutschland über alles! — уже звучало в ушах всей Европы. Славянский же союз представлялся мне высшим достижением русской политики и естественным нашим союзником в европейской войне.

С такими мыслями входил я в обычный час в кабинет Извольского, который повел со мной немедленно спор: является ли Адрианополь стратегическим ключом для Константинополя?

— Ваш генеральный штаб (именно «ваш», а не «наш») всегда меня в этом убеждал, а теперь вот Пуанкаре имеет сведения, что это не так. Никогда нельзя полагаться на мнение военных авторитетов, — раздраженно закончил Извольский.

(Русская дипломатия больше всего боялась, что вопрос владения проливами разрешится без ее участия.)

На мое счастье, этот неприятный разговор был прерван телефонным звонком.

— Ах, это вы, Станчев... Я ничего против не имею. Посольская церковь открыта для всех.... Да, но это я не могу... вы поймите — душой я с вами, но наш нейтралитет... Ах, граф Игнатьев, вот он как раз сидит у меня... Хорошо, я ему передам... да, да, непременно.

— Этот надоедливый Станчев хочет устроить торжественный благодарственный молебен по случаю одержания победы, и я обещал вас просить заехать к нам в церковь. Только так, знаете, в пиджаке, а то прочитают в газетах, выйдет неприятность, — раздраженно объяснял мне посол.

— В пиджаке или в мундире — меня все равно заметят, — доказывал я.

Когда на следующий день, надев парадную форму, я вошел в посольскую церковь на Рю Дарю, союзные посольства, тоже в мундирах и регалиях, уже были построены и не начинали церковной службы, дожидаясь меня. На правом фланге стоял Станчев, рядом с ним Веснич, затем румынский посланник Лаховари и, наконец, греческое посольство. Из алтаря вышел настоятель церкви протоиерей Смирнов и, обратившись к толпе молящихся, состоявшей из смуглых брюнетов — обитателей балканских стран, заявил, что, по желанию представителей союзных государств, он предлагает прежде всего провозгласить вечную память русским воинам, павшим за освобождение славян в 1877 году.

«Хорошо, что я здесь, — подумал я, — раз уж пошел на риск скандала с Извольским, надо идти до конца», — и по настоянию посланников двинулся первым к кресту после молебствия. Обернулся и попал в объятия незнакомого господина с седеющей бородой.

— Простите, — сказал взволнованный старик, — это от полноты славянских чувств. Я доктор Массарик, член австрийского рейхстага (при слове «австрийского» меня невольно покоробило) и пришел разделить общеславянскую радость.

Радость, как известно, была непродолжительна.

Австрийская дипломатия оказалась и на этот раз сильнее русской и сумела использовать дележку турецкого наследства, натравив на болгар всех их прежних союзников. Началась вторая балканская война, но она уже ничего не могла изменить в том соперничестве, которое по-

родили между австро-германским и франко-русским блоком последние месяцы 1912 года. Болтовня на Лондонской конференции показала, что голос дипломатов уже недостаточен для разрешения европейских проблем. Франция позднее, чем другие страны, но зато с бо́льшим напряжением воли решила отточить свое оружие.

Главой тех политических и финансовых кругов, которые решили разбудить усыпленный продолжительным миром французский народ, явился Пуанкаре. Для достижения этой цели надо было возбудить воспоминания 1870 года, освежить черный креп, покрывавший по традиции аллегорические статуи Страсбурга и Метца — утерянных столиц Эльзаса и Лотарингии. Статуи эти стояли среди других, окружавших центральную городскую площадь Конкорд, и, как почти все памятники во Франции, изображали женщин. Они так мало привлекали внимание проезжавших, что рассеянные парижане могли постепенно забыть про символическое значение черного крепа, спускавшегося с голов этих двух статуй.

С первого же дня, когда Извольский представил меня Пуанкаре как министру иностранных дел, последний произвел на меня то впечатление, которое я сохранил навсегда. Трудно было себе представить более заурядную наружность, чем та, которою наградила природа этого будущего вершителя судеб послевоенной Европы. «Francais moyen» — средний француз — определение, которое как нельзя более подходило к внешности Пуанкаре.

Небольшого роста, с лысой головой на неподвижной шее, с маленькими щелочками для бесцветных и холодных глаз, с красненьким, приплюснутым носиком и крошечной неопределенного цвета бородкой клинышком — таков был этот невзрачный человек; зато, как только он начинал говорить — в скандированной речи и авторитетном тоне чувствовалась не то воля, не то упрямство и во всяком случае абсолютная самоуверенность и самовлюбленность. Этот блестящий оратор мог быть адвокатом в гражданских процессах, но никогда не имел доступа к человеческому сердцу. Он являлся полной противоположностью своему сопернику по ораторскому искусству — Аристиду Бриану, истинному народному трибуну. Пожа-

луй, лучшую характеристику этим двум своим политическим противникам дал впоследствии полный старческого сарказма Клемансо.

— Войдите в мое положение, — говорил он, — мне приходится считаться с двумя людьми, из которых один все знает и ничего не понимает, а другой ничего не знает, но зато все понимает! (Под первым он разумел Пуанкаре, под вторым — Бриана.)

Да, Пуанкаре — это была живая энциклопедия буржуазного государственного права и истории своей страны.

Уроженец Лотарингии, то есть той восточной части Франции, через которую веками проходили орды иностранных захватчиков, Пуанкаре впитал с молоком матери глубокую ненависть к германской расе, и когда, соответственно «поправев», Пуанкаре заслужил доверие всех без исключения правых парламентских группировок, последние стали выдвигать этого всезнающего оратора на министерские посты.

Одной из причин успехов этого министра являлось отсутствие торопливости, этого основного недостатка не только политических, но и многих ученых людей Франции.

Упрямый лотарингец, Пуанкаре не бросал раз поставленной себе задачи и терпеливо ждал благоприятного момента для подготовки всегда витавшего в парижском воздухе реванша за 1870 год.

Эту воинствующую предвоенную политику Пуанкаре, стяжавшую ему прозвище «Пуанкаре-война» (Poincaré la guerre), его политические враги припоминали ему не раз и после мировой войны, как раз в тот момент, когда он собирался вернуться к власти. Франция в то время чувствовала себя еще столь усталой от войны, что всякое упоминание о ней отталкивало всю нацию от людей, напоминавших ей о тяжелых годинах. Вот при каких условиях Пуанкаре вспомнил после 1920 года про меня как про одного из живых свидетелей его деятельности, несмотря на то, что в глазах французов я представлялся в ту пору уже «матерым большевиком». Связаться со мной Пуанкаре пришлось через одну общую знакомую даму (женщины всегда играли во Франции роль удобных политических посредников), которая мне сказала:

— Президент (во Франции все высокие чины сохраняют свои звания, подобно военным, даже после выхода в отставку) хочет с вами встретиться и просит передать,

чтобы вы не опасались этого свидания. Только дураки, прибавил президент, не способны к эволюции в своих политических взглядах.

Я принял это предложение в надежде найти могучую поддержку в вопросе скорейшего установления дипломатических отношений с СССР. Но я ошибся. Мелочную душонку этого ставленника капитала могли интересовать только вопросы личной карьеры. После горячего рукопожатия и ни к чему не обязывающего приветствия, со слащавой, как у всякого воспитанного француза, улыбкой, Пуанкаре принял особый деловой тон, характеризующий любого политического деятеля этой страны.

— В ваших архивах, генерал, должны сохраниться копии донесений Извольского, и они могли бы доказать, что незаслуженной репутацией я обязан извращению вашим бывшим послом моих слов.

Извольский к тому времени уже сошел в могилу, и опровергать правильность его донесений я, конечно, не собирался, тем более что знал, насколько добросовестно этот заправский дипломат относился к каждому выражению.

— А знаете, господин президент, я в этом отношении нахожусь в еще более тяжелом положении, чем вы. Представьте себе, каково мне будет оправдываться перед Советской страной в моей деятельности в вашей стране. «Какой это Игнатьев?» — спросят столь страшные для вас большевики. «Ах! да это тот самый, что участвовал в подготовке преступной империалистической войны, который изо всех сил стремился вооружить Францию». А у меня ответ уже готов.

— Это очень интересно, — не выдержал мой собеседник, — как же вы сможете оправдаться?

— А я возьму с собой только одну небольшую папку (Пуанкаре не выходил на трибуну иначе, как развертывая перед собой толстенное досье с документами), в которой будут собраны данные о лихорадочной подготовке к войне Германии с тысяча девятьсот восьмого по тысяча девятьсот четырнадцатый год, и, огласив эти цифры, спрошу, кто из товарищей не сделал бы того же, что делал я, то есть ежечасно, ежеминутно думал только об одном: усилении военной мощи своего союзника. А вас, господин президент, палата при подобном выступлении может проводить только аплодисментами.

Я знал, конечно, наперед, что Пуанкаре на подобное выступление не способен, но разговор этот доказывает, что в довоенное время я не мог не сочувствовать политике Пуанкаре, представлявшей для меня интерес как противовес надвигавшейся германской угрозе.

Сделавшись министром иностранных дел и используя сочувствие идее войны со стороны металлургов, Пуанкаре не трудно было направить французскую прессу в соответствующее русло во главе с самым ответственным органом, газетой «Тан», органом объединения французских металлургов, знаменитого «Комитэ де Форж».

Сколько лет в Париже и за границей я считал священным долгом читать эту пространную газету, сколько раз, как многие дипломаты, сладко засыпал над бесконечно длинными и подчас такими скучными ее статьями. Но, несомненно, в мое время это была единственная французская газета, освещавшая, правда по указке своих хозяев, но документально, не только всю внутреннюю французскую политическую жизнь, но и события, происходившие на всем земном шаре.

Естественно, что в предвоенный период русские дела заняли в этой газете одно из первых мест, и это дало мне случай сблизиться с другим будущим нашим политическим врагом, Андрэ Тардье.

Тардье сделал свою блестящую карьеру журналиста на передовицах газеты «Тан» в течение тех двух лет, которые отделяли мир от первой империалистической войны. Почти каждый раз, как я выходил из кабинета Извольского, я встречался на маленькой внутренней лестничке, существующей и поныне, с Тардье. Это был тогда дышащий здоровьем, несколько тучный, холеный, безупречно выбритый человек лет тридцати пяти — сорока. Я уже знал, что во внутреннем кармане черной ласточки он несет на просмотр послу гранки очередной передовицы, а от него надеется получить какую-нибудь короткую заметку о событиях в России. Через три-четыре часа эта заметка уже будет фигурировать на последней странице газеты, в отделе «Дэрниэр нувелль» («Последние известия»).

Все читали этот отдел, посвященный последним известиям, раньше других из-за его краткости и содержательности и относились к нему с особым доверием. Во главе

заметки петитом будет напечатано только одно слово «Санкт-Петербург», и никто не сможет подозревать, что эти новости переданы не по телеграфу, а в конвертике русского посольства в Париже. Французские деньги к тому же печатались с особым изяществом на тончайшей бумаге и потому места в конвертах занимали мало. Полагаю, однако, что частица русских займов во Франции тоже переводилась автоматически на текущий счет в банк господина Тардье. Он, впрочем, мог свободно обойтись и без них: сыну председателя Общества международных вагонов можно было себе позволить заниматься международной политикой исключительно из интересов собственной карьеры. Парижская жизнь и дорого стоившие женщины могли нарушить любой бюджет убежденного холостяка.

У всякого встреченного на жизненном пути человека, даже самого отрицательного типа, можно чему-нибудь поучиться. Андрэ Тардье я навсегда остался обязан за то, что он мне объяснил, каким надо быть циником, чтобы пройти в депутаты французского парламента, используя освященный французской революцией лозунг «Свобода, равенство и братство». После маньчжурских поражений и беспросветной столыпинской реакции смысл этих слов, равно как и самый мотив «Марсельезы» сделались для меня полными большого значения. Урок Тардье послужил мне на пользу в минуты нашей собственной революции.

Журналистская карьера Тардье так быстро подняла его на уровень политических деятелей, что, вероятно не без совета Пуанкаре, он решил баллотироваться в депутаты, и вот, когда в его кармане уже лежал депутатский мандат, близкие его друзья — Мажино, тоже депутат (будущий военный министр), Анри Робэр, блестящий адвокат, Робэр де Флэрс, виднейший драматург, все почти сверстники, — пригласили и меня, как уже хорошего приятеля, чествовать Тардье ужином. Сидели мы в отдельном кабинете ресторана «Лаперуз». Тишина, пожелтевшие от времени художественные росписи на стенах, сохранившиеся от времен XVIII века, стеариновые свечи с колпачками на канделябрах — все располагало к интимной, дружеской беседе. При этом все собравшиеся были хорошими знатоками старинных французских вин.

— Сперва, как вы знаете, — рассказывал Тардье, — я пытался пройти от партии национальных республиканцев в одном из городов на восточной границе. Думал

сыграть на чистом патриотизме, вызванном в этом районе непосредственной германской угрозой.

— Но откуда же вы были известны избирателям? Вы же чистокровный парижанин, — осторожно и наивно попробовал я расспросить Тардье.

Все дружно рассмеялись и выпили лишний стакан за политическое просвещение полковника.

— Истратил я там немало денег и на местную газету и на здоровые выпивки симпатизировавших мне посетителей «бистро». Просто грабеж, но хорошо еще, что мои секретари, на разъезды которых пошло тоже немало денег, сообщили мне в предпоследнюю минуту, что позиция моего соперника, какого-то местного врача, радикал-социалиста, настолько сильна, что мои шансы не обеспечены. Поймите мое положение — не мог же я рисковать, а потому немедленно вернулся в Париж, где мой приятель, помощник префекта полиции в Версале, ручался обеспечить мне успех на выборах тут же под Парижем, а я, конечно, обещал ему в будущем повышение по службе. Терять времени было нельзя, но и самому пришлось все же поработать. За один день приходилось выступать по десяти раз. Хотите потерять все, что вы вложили в русские займы? Не хотите? Голосуйте за меня, так как только мы, истинные друзья России, мы можем вас спасти. О войне с Германией говорить даже и не приходилось, а социальные реформы этих спекулянтов на капусте и зеленых бобах, конечно, не интересовали. Все это оказалось не так сложно, как я думал, — вздохнул Тардье; быть может, и он в эту минуту вспомнил об улетевших уже далеко идеалах университетских годов.

Каждые четыре года Франция проводила три-четыре месяца в предвыборной кампании, описанной Тардье. Народ пил за счет будущих депутатов, а кандидаты изощрялись в ораторском искусстве. Для сенаторов и этого не требовалось, выборы же в президенты республики хотя и требовали созыва национального собрания, но по существу являлись простой формальностью. Кандидат намечался заранее неофициальным подсчетом голосов палаты и сената, а требования, предъявляемые будущему президенту, были скромные: быть удобным и знать тайны парламентской кухни.

Выборы Пуанкаре 17 января 1913 года представляли исключение из этого правила. Балканская война быстро

разожгла политические страсти, и Пуанкаре, а через него и франко-русский военный союз стал страшилищем для всех левых партий как непосредственная угроза европейскому миру. Политика вошла в моду, о ней говорили даже во всех салонах еще недавно беспечного веселящегося Парижа.

Выборы Пуанкаре заинтересовали всю Францию, и вот почему 17 января живописная дорога от Парижа до Версаля обратилась с утра в непрерывный поток машин, спешивших доставить к завтраку весь Париж.

День выдался теплый, солнечный, в лесу зацветали первые темнолиловые фиалки. В модном ресторане «Резервуар» столики к завтраку были уже давно расписаны, надо было иметь хорошие связи, чтобы попасть в число счастливцев. Каждый стол старался получить к себе верного осведомителя если не министра, то по крайней мере депутата или сенатора. Столы утопали в цветах и окружены были сплошным бордюром из дамских шляп необычайно больших размеров — такова была тогдашняя мода.

Ресторан помещался в двух шагах от исторического Версальского дворца, один из залов которого был приспособлен для заседаний Национального собрания, составленного из тех же членов палаты и сената.

— Ах, и вы здесь? — спросил меня пробивавшийся к своему месту Извольский. Ему, повидимому, не особенно было приятно, что военный агент сумел так скоро стать парижанином. Ведь это был «его» день, день выборов его ближайшего единомышленника.

— Это «моя» война, — сказал будто бы Извольский в день разрыва дипломатических отношений с Германией.

В разгар завтрака, состоявшего из самых изысканных блюд, политых лучшими винами, в зал ресторана то входили, то выходили с озабоченным и деловым видом «осведомители». Газетные репортеры с не менее озабоченным видом ловили их при каждом удобном случае.

— Памс! Памс! — все чаще слышалось со всех сторон.

Осторожно, не желая выдавать себя за круглого невежду, спрашиваю соседку, залезая для этого под поля ее соломенной шляпы (парижанки, чтобы предвосхищать моду, начинают носить соломенные шляпки зимой, а меха — летом).

— Кто такой Памс?

— О, он очень богат, — объясняет мне соседка. — Гораздо богаче Пуанкаре.

Оказалось, что это и был кандидат левых, ставленник никогда не выходивших из моды радикал-социалистов, этих истинных торгашей своими политическими убеждениями. Голоса разделились, что вносило большое оживление в группы хорошо закусивших посетителей ресторана «Резервуар» и усилило торжество победы Пуанкаре, получившего четыреста двадцать девять голосов против трехсот двадцати семи Памса.

Короткий зимний день склонялся к вечеру. Толпы народа, запрудившего громадный двор и широчайшие проспекты Версаля, опьяненные успехом уже популярного главы правительства, кричали «Vive Poincaré!» — а он во фраке ехал в открытой коляске, окруженный эскадроном кирасир в хорошо начищенных стальных кирасах. Они должны проводить его до Елисейского дворца в Париже, где «папа́ Фалльэр» его встретит, обнимет и, как атрибут высшей власти в республике, наденет на его плечо широкую красную ленту с орденом Почетного Легиона.

Судьба Франции решена на долгие семь лет. Франко-русский союз обеспечен. Сомнения, вызывавшиеся во мне колебаниями внутренней политики, тоже изжиты.

Можно работать исключительно над усилением военной мощи нашей союзницы.

Глава девятая

СОЮЗНАЯ АРМИЯ

Сегодня пятница — курьерский день, отправка в Россию дипломатической почты, накопившихся за неделю бумаг. Для посольских коллег горячка подобного дня происходила только два раза в месяц, у меня же набиралось столько материала, что пришлось устраивать себе эту горячку каждую неделю, отсылая для ускорения все несекретные бумаги — уставы, инструкции, отчеты о прессе и т. п. — с французским курьером, отправлявшимся как раз через неделю после русского.

С раннего утра, запершись в своей крохотной канцелярии, для которой была отведена часть моей квартиры, я собственноручно переписывал все секретные бумаги,

снимал под специальным прессом с них копии в книгу с пронумерованными страницами из прочной папиросной бумаги и с особым наслаждением вдыхал сургучный дым, научившись мастерски накладывать красные, незакопченные печати на подбитые коленкором конверты. Каждый удар печати вносил какое-то нравственное удовлетворение и успокоение: она ведь, эта печать, должна сохранить и донести в неприкосновенности на родину плоды твоих трудов, самые важные и, как самому себе казалось, срочные сведения.

Никому не доверял я и доставки своих бумаг в посольство. Поезд с Северного вокзала уходил поздно вечером, но пакеты полагалось сдавать не позже шести часов господину Шлаттери, доверенному канцеляристу посольства. Этого времени, как мне казалось, было достаточно, чтобы успеть перлюстрировать мои бумаги в находившемся в двух шагах от посольства секретном отделе французского генерального штаба. Слишком уж много лет состоял Шлаттери на нашей службе, слишком много знал наших секретов, и его вкрадчивое раболепие меня не пленяло. Он, впрочем, это скоро почувствовал, стал вежливо мрачен и после первых неприятных объяснений по поводу запаздывания «du courrier de l'Attaché Militaire» (почта военного агента) принимал почтительно из моих рук пакеты, выражая только удивление все возраставшему их числу.

Я любил свою работу, столь отличную от обыкновенной штабной, не подчиненную присутственным часам, которые высиживали мои коллеги в России со стаканом спитого чая, за беседами о будущем производстве, орденах, интригах и глупостях начальства; мне всегда казалось скучным выполнять лишь то, что приказано, что предписано, без проявления малейшей личной инициативы. Тут же, на посту военного агента, я был сам хозяином своего времени, своей работы. Всю неделю, и днем и ночью, как пчела, собираешь мед, встречая все новые и новые источники осведомления, раскладываешь добытый материал по ячейкам, составляя то телеграммы, то рапорты, то служебные, то частные письма начальству. Терять время на бесплодное просиживание стула в канцелярии не приходится.

После ранней утренней верховой прогулки в Булонском лесу, где тебе посчастливилось заговорить то с тем,

то с другим из французских военных товарищей (генералы мало разговорчивы), ты, вернувшись домой, опытным глазом рассмотришь десяток газет, помечая интересные места карандашом; с десяти часов выполняешь текущую переписку с французским генеральным штабом, ожидая в то же время соотечественников, являющихся по самым разнообразным вопросам.

После завтрака, почти всегда связанного, по парижскому обычаю, с деловым свиданием, спешишь в посольство, в военное министерство, с пяти часов — на светские приемы, где встречаешь опять же нужных тебе людей, а вечером ловчишься убежать пораньше домой, чтобы в тиши кабинета заняться очередной крупной работой.

Много времени отнимали командированные русские офицеры, тем более что, отправляясь за границу, они не имели представления о прямой своей подчиненности военным агентам и быстро утрачивали военную дисциплинированность.

Подхожу я как-то утром к своему рабочему столу и вижу большой лист розовой промокательной бумаги, служащей мне бюваром, сплошь исписанный вкось и вкривь тут же лежащим синим карандашом.

«Мне необходимо получить завтра же разрешение на осмотр военного арсенала в Бурже, а на понедельник — снаряжательной мастерской в Венсене. Кроме того, организовать осмотр частных заводов. Собрать все секретные инструкции по снарядам, трубкам и т. д.». И, наконец, где-то в углу неразборчивая подпись: «Костевич».

Весь, значит, мир уж должен знать, кто такой Костевич — капитан, член главного артиллерийского комитета.

В данном случае Костевич, впрочем, имел основание предполагать, что и личность и даже чин его мне известны: вся европейская печать на протяжении нескольких недель печатала сенсационные подробности об аресте в Германии русского капитана Костевича, обвиненного в шпионаже, и о вызванном этим дипломатическом инциденте.

По настоянию нашего посольства в Берлине он был в конце концов выпущен, и ему было предложено продолжать свою «научную командировку» в других странах, а мне поручалось организовать во Франции реабилитацию этого самого Костевича.

Не успел я еще опомниться от первого взрыва возмущения за военную невоспитанность своего соотечественника, как он сам появился в дверях моей канцелярии и совершенно по-штатски собирался поздороваться, протягивая мне руку.

— Скажите, капитан, — обрезал я, — вы имеете представление о воинской дисциплине и чинопочитании? Благоволите прежде всего официально мне представиться.

Невзрачный на вид курносый человек, с плохо выбритым лицом, был ошеломлен и, вспомнив, верно, свои кадетские годы, встал «смирно» и тоном надутого, но провинившегося парня объяснил свое вчерашнее вторжение в мою канцелярию в неприсутственные часы и порчу моего бювара стремлением сэкономить упущенное время.

Окончив блестяще артиллерийскую академию, Костевич был оставлен при главном артиллерийском комитете и командирован за границу как специалист по трубкам; успехи попросту вскружили ему голову, он считал, что все ему позволено. Париж его протрезвил лучше, чем германская тюрьма, а наша встреча привела к совсем неожиданным для нас обоих последствиям.

Совершенно случайно Михаил Михайлович Костевич оказался снова проездом в Париже в те дни, когда мне пришлось в начале мировой войны разрешать задачи организации материальной помощи русской армии из-за границы.

Вот тогда-то я нашел в этом грубоватом и мало воспитанном капитане бесценного, неутомимого и высококвалифицированного помощника. Помимо этого, он был глубоко честным русским человеком, страдавшим за участь русской армии и разделявшим все мои взгляды на необходимость самой срочной помощи из-за границы. Недаром всевластный тогда начальник артиллерийского снабжения, Сергей Михайлович, говорил окружавшим его в Петербурге льстецам:

— С Игнатьевым справиться трудно, с Костевичем тоже, но переносить сотрудничество этих двух людей — невыносимо!

Нас разлучили, к сожалению, навсегда, так как, завладев этим выдающимся специалистом после войны, английская армия использовала его в своей интервенции на севере России.

Другим моим техническим осведомителем еще в мирное время явился постоянный военный приемщик на заводе Шнейдер-Крезо, тоже высокообразованный артиллерист, полковник Борделиус.

Артиллерия в эту эпоху завоевывала во всех армиях особенно важное значение.

Еще с маньчжурской войны я полюбил этот род оружия, постиг всю его мощь в современном бою, а этим двум русским артиллеристам остался навсегда благодарен за те практические уроки по химии, баллистике и металлургии, которые мне так пригодились в мировую войну.

Вздыхал неразговорчивый Борделиус, показывая мне во всех деталях заводы Крезо, где до войны существовали еще устаревшие прокатные прессы с откатом на холостом ходу. Первоклассные мастера и рабочие, образованные инженеры и наряду с этим устарелое оборудование, грязь в цехах и во дворах — вот картина этого главного металлургического и военного завода Франции до мировой войны.

За роскошным банкетом, устроенным, как полагается, дирекцией завода, только и было разговора что про русскую артиллерию. Фирма Шнейдер-Крезо считала себя государством в государстве и чуть ли не враждебно относилась к казенным французским заводам. Ее гораздо больше интересовали иностранные заказчики, с которых можно было драть любую цену, чем собственная французская армия. Директора Крезо доказывали, между прочим, что руководящей программой своего артиллерийского отдела они считали программу русской артиллерии. Такова, видно, была вечная судьба нашей отечественной техники в прошлом: все ее передовые идеи осуществлялись иностранной промышленностью и перехватывались иностранными армиями.

Но, кроме артиллерии, мне было необходимо во Франции ознакомиться и с новым, как я доносил в то время, *«пятым»* родом оружия — авиацией. Верная своим традициям, Франция всегда была застрельщиком во всех новинках техники — первые пароходы, первые паровозы, первые автомобили и первые аэропланы. Но после первых дерзостных опытов и связанных с ними жертв она отказывается от дальнейшего развития нового изобретения, и Германия первая использует его в широких размерах.

Французская же армия относилась всегда с особым недоверием к новинкам и создание за два года до войны зачатка специальной авиационной инспекции уже считала за великое достижение. Военная авиация находилась при этом с первых же шагов ее создания и до конца существования Третьей республики в полном плену у частных авиационных фирм, которые в предвоенное время росли как грибы. Каждая из них убеждала в преимуществах своих машин, и глаза разбегались на аэродроме в Виллакублэ между серебристыми металлическими «Дюпердюсеннами», грандиозными, как тогда казалось, «Морис Фарманами» и считавшимися верхом достижения техники «Вуазенами». Каждая фирма вывозила для осмотра из своего ангара машину точь-в-точь, как коня из скаковой конюшни.

Такая же конкуренция и неразбериха царили и в автомобильном деле, и мне стоило больших трудов добиться от французского генерального штаба ответа на личный запрос Сухомлинова о сравнительной оценке автомобильных фирм. Эта табличка считалась секретным документом, как могущая нанести ущерб той или другой частной фирме. Французам, впрочем, не было нужды этого опасаться, так как выбор наш был уже навсегда сделан: фирма «Рено» через услужливого и ловкого полковника Секретева, любимца Сухомлинова и даже самого царя, задолго до войны захватила монополию на автомобили в русской армии. Против этого, как и против многих других монополистов, мне и суждено было «вести войну» во время мировой войны.

Вся эта зарождавшаяся военная техника с великим трудом воспринималась французской армией. Офицеры, интересовавшиеся ею, были наперечет. Армия, несмотря на свой республиканский характер, жила обособленной от окружающего ее мира жизнью и лучше всего воплощала тот дух консерватизма, который характеризует французскую нацию.

«Cela se fait ainsi! Cela se faisait toujours ainsi!» [1] — можете вы слышать и сейчас от любого мастера, от любого чиновника.

И когда, по прошествии шести лет, мне пришлось вернуться к изучению французской армии, то я с ужасом

---

[1] Так делается! Так всегда делалось!

заметил, что она не только не сделала прогресса, не только не использует всех достижений техники, но что вообще военная мощь нашей союзницы к началу 1912 года шла на убыль.

Постоянной причиной этого явления было, конечно, неумолимое падение рождаемости: французы из экономии не позволяли себе иметь более одного ребенка, а в результате число призывных с каждым годом уменьшалось.

Идеи Жореса об упразднении вообще постоянных армий и замене их вооруженным народом казались соблазнительными, и потому мне было очень интересно познакомиться с главой французской социалистической партии. Жорес, с своей стороны, прослышав о моей службе в Норвегии, не погнушался для подтверждения своих взглядов познакомиться с военным представителем ненавистного для него царского режима. Свидание наше устроил один наш общий знакомый депутат в ныне уже не существующем ресторане «Жюллиен» на Больших Бульварах, служившем тогда местом сбора многих журналистов. Редактор созданной им в 1907 году газеты «Юманите» оказался плотным человеком среднего роста с рыжей седеющей бородой лопатой. Взгляд его светился доброжелательством и прямотой.

Как у истинного парижанина и журналиста, у Жореса была куча самых неотложных дел, и, пожирая с аппетитом завтрак, запивая каждое блюдо красным вином, он забрасывал меня вопросами, как будто желая завербовать в моем лице лишнего союзника против задуманного удлинения сроков службы во французской армии.

— Нет, нет, вы не можете допустить, чтобы такие люди, как французы, s'abrutissent (одурялись бы) бесполезным сидением в казармах и сабельными приемами на казарменных дворах!

Он был в восторге, когда я согласился с его мнением в отношении вредного пристрастия французов к казарменной подготовке, но, к сожалению, я, с своей стороны, не получил того впечатления от Жореса, которого ожидал. Вождь социалистической партии представлялся мне грозным обличителем, сосредоточенным мыслителем, а не только симпатичным, горячим идеалистом, и недаром лучшей надгробной речью на его похоронах оказались

слова, брошенные из толпы плакавшим навзрыд французским рабочим:

— Какое несчастье! Это был такой добрый человек!

Еще в 1905 году под влиянием Жореса сроки службы были уменьшены до двух лет без соответственного усиления постоянных кадров волонтеров и сверхсрочных, что понижало с каждым годом и уровень боевой подготовки и численный состав мирного времени. (На 1 января 1913 года во французской армии состояло под знаменами 559 592 человека против 750000 германской армии.)

Наконец, и что самое важное, в последующие годы дисциплина в армии пошатнулась: антимилитаристическая пропаганда делала свое дело.

«Слухи о проекте увеличения службы под знаменами на один год вызвали уже в армии беспорядки, которые носили во всех случаях характер уличного, громкого выражения протеста. Генерал Жоффр, у которого я был на днях, казался мне несколько нервным, но убеждал меня не придавать крупного значения этим беспорядкам», — вот в каких выражениях было составлено мое секретное письмо от 9 мая 1913 года на имя генерал-квартирмейстера Юрия Данилова.

«Число уклонившихся от воинской повинности возрастало с каждым годом и достигло к 1911 году 10 000 человек, то есть 5% годового призыва, а число дезертиров — 2 600 человек в год», — доносил я в другом рапорте в конце 1912 года.

Такова была мрачная картина состояния союзной армии к моменту начала балканских войн и грозного вооружения германских армий.

Крутой поворот внутренней политики с приходом к власти Пуанкаре имел своим прямым последствием лихорадочную работу по усилению военной мощи Франции. С этой минуты на мою долю выпадала задача следить за этой работой, с тем чтобы в каждый данный момент иметь возможность дать должную оценку в степени подготовленности к войне нашей союзницы.

Казалось, главным источником осведомления должен был являться французский генеральный штаб, куда я имел свободный доступ. Однако мне вскоре пришлось убедиться, что любезные приемы высокого начальства никогда не дают военным атташе обоснованного и четкого ответа и реального осведомительного материала.

— С тысяча восемьсот семидесятого года не было еще сделано так много, как за этот год, — сказал мне осенью тысяча девятьсот тринадцатого года начальник генерального штаба генерал Жоффр.

Конечно, я привел эти слова в своем очередном донесении, но о том, что именно сделано, мне пришлось узнавать из других источников.

Еще в скандинавских государствах я привык относиться с особым уважением к толстым томам, заполненным на первый взгляд мертвыми цифрами — военным бюджетом. Во Франции эти цифры дополнялись печатными комментариями докладчиков парламентских комиссий; на них мне удалось подписаться с первого же дня моего приезда.

Когда знаешь общую структуру армии, а главное, ее недочеты, бюджетные цифры постепенно оживают при сравнении с цифрами предшествующих лет, получают еще большее значение и в конце концов если и не дают полного осведомления, то во всяком случае намечают те вопросы, которым тебе следует уделить особое внимание. Бюджет — это душа всякого дела.

Такой же кабинетной работы потребовал и ряд так называемых «законов о кадрах», стремившихся привести в какую-нибудь стройную систему нагроможденные за долгие годы отдельные и подчас противоречивые циркуляры и инструкции.

«Основанием организации французской армии до 1912 года служил закон о кадрах от 13 марта 1875 года», — так за два года до мировой войны начинал я свой обширный доклад о реорганизации пехоты.

Я, конечно, в ту пору не мог предвидеть, что до начала великого испытания в распоряжении Франции оставались уже не годы, а месяцы, что казавшиеся мне грандиозными военные реформы начнут осуществляться буквально за несколько недель до мировой войны. Я просто считал, что нам необходимо знать во всех подробностях работу союзной армии не только для учета ее сил, но и как материал для реформ собственной нашей армии; я знал, с какими трудностями бывали сопряжены всякие нововведения в России.

На мое счастье, военным министром после Мильерана был назначен мой старый знакомый еще по командировке 1906 года, всегда приветливый и приятный в обращении

господин Этьенн. Он не раз уже занимал этот пост и считался «верным другом армии». Чтобы заслужить эту репутацию, он специализировался на военных вопросах, все равно как какой-нибудь другой из его коллег депутатов, по профессии адвокат, занялся бы финансами, колониями или изящными искусствами.

К нему-то я и обратился с просьбой помочь мне получить во всех подробностях проект закона о чрезвычайных военных расходах, внесенный после длительной разработки в палату депутатов. Небывалая по тогдашним временам цифра в полтора миллиарда золотых франков объяснялась в этом законе лишь кратким перечнем статей и для отвода глаз — подробными историческими справками.

— Вам надо по этому вопросу поговорить с Клемантелем, — ответил Этьенн при очередном свидании. — Вы ведь с ним знакомы. Я помню, мы с вами встретились на свадьбе его дочери в Версале.

— Да, я знаю, что Клемантель состоит в настоящее время докладчиком военной комиссии палаты, но мне бы хотелось, чтобы вы его предупредили, — настаивал я. — Так будет солиднее.

Я чувствовал, что не только Жоффр, но и сам военный министр не решаются открыть мне официально секретную программу вооружения, и это еще больше возбуждало мое нетерпение.

Ждать пришлось, правда, недолго. Не я, а сам Клемантель пригласил меня позавтракать в модном ресторане у «Larue» на Рю Руаяль.

В общем зале я его, однако, не нашел и, зная парижские порядки, поднялся во второй этаж, где помещались отдельные кабинеты, предназначавшиеся не только для любовных, но подчас и для деловых свиданий.

— Кабинет господина Клемантеля? — спросил я дежурного гарсона на верхней площадке лестницы.

— Тут, тут, — как всегда с некоторой таинственностью, ответил мне полушепотом опытный гарсон и бесшумно пропустил меня в одну из окружающих площадку дверей. Но вместо Клемантеля передо мной предстал высокий почтенный старик с большой седой бородой и, как все французы, представляясь, неразборчиво назвал свою фамилию:

— Я друг господина Клемантеля, он депутат нашего города.

Стол был накрыт на четыре прибора, и старик пригласил меня заранее занять почетное место на диванчике.

Едва я успел узнать, что незнакомец является хозяином крупной фирмы каучука в Клермон-Ферране, как в кабинет, с обычной для французских деловых людей поспешностью, влетел и сам депутат Клемантель. Он был очень красив, знал это и с особой тщательностью расчесывал свои усы стрелкой.

Никто не мог бы предположить, что под лощеной, полупарикмахерской наружностью Клемантеля, как нельзя более подходившей к типу парижского ловеласа, скрывались поразительная работоспособность и усердие.

— Министр немного опоздает и просит его не ждать.

О фамилиях министров всегда предоставлялось догадываться: называть их считалось дурным тоном и недостатком почтительности. Мне хотелось верить, что Клемантель намекает на Этьенна. Посидеть за хорошим завтраком и распить бутылку старинного бордо с военным министром и докладчиком военных бюджетов мне, как военному агенту, представлялось большим достижением.

Однако как до приезда Этьенна, так и при нем разговор вертелся исключительно вокруг интересов фирмы «Бергуньян», из чего я понял, что это и есть фамилия старика, занимавшего меня разговором.

«У вас там в Риге царит германская фирма «Треугольник». Она снабжает калошами всю Россию. Дело это блестящее, но в случае войны русская армия будет поставлена в безвыходное положение: она останется без автомобильных шин, поставляемых ей тем же «Треугольником». Как же вам не поддержать стремление французской фирмы «Бергуньян» стать помощником вашей армии? Ее шины в техническом отношении, конечно, не уступают немецким».

Вот та тема, которую на все лады развивали мои собеседники, взяв с меня в конце концов обещание передать в Россию предложение господина Бергуньяна.

Господин Этьенн спешил на заседание в сенат, не допил своей чашки кофе, извинился и только тогда, пожимая руку и мне и Клемантелю, спросил:

— Вы договорились о свидании?

— Да, да, все будет исполнено, — поспешно успокоил своего друга-министра Клемантель.

В это время старик с бородой вынул из кармана сюртука бумажник и, не просматривая сложенного надвое счета, подложил в него крупный банковый билет. Подоспевший гарсон понял, что клиент сдачи не просит, и почтительно склонился.

На следующее утро Клемантель уже сидел в моей канцелярии, разложив на столе толстую рукопись; он постоянно в нее заглядывал, объясняя мне постатейно новые спешные ассигнования. Сидя напротив моего собеседника и не спуская с него глаз, я покрывал карандашными записями один за другим запасенные заранее листки писчей бумаги. Клемантель в свою очередь делал вид, что не замечает моей работы.

Опытный докладчик бюджетов с целью облегчить членам палаты проглатывание горькой пилюли начинал свои объяснения с экономии, произведенной новым законом в прежних, уже утвержденных парламентом ассигнованиях.

«Чрезвычайные расходы в 500 миллионов франков на техническое оборудование армии сокращались на 80 миллионов вследствие исключения из них расходов на полевые гаубицы», — доносил я на основании разговора с Клемантелем в рапорте 27 марта 1914 года.

Смешными кажутся теперь подобные цифры, трагичным, однако, тогда показалось мне это сокращение. Ведь уже четыре года до этой минуты, еще сидя в Копенгагене, мне удалось раздобыть из опытной германской артиллерийской комиссии в Шпандау полную коллекцию рабочих чертежей полевой гаубицы, вводившейся тогда на вооружение нашего общего с французами противника. Сколько раз, на основании опыта маньчжурской войны, доказывал я французам значение крупных калибров в полевой войне; если мы не могли разбить глинобитной стенки в Сандепу, то что же смогут сделать полевые орудия против любой европейской деревушки, построенной из камня!

Я сам разделял их влюбленность в семидесятипятимиллиметровую пушку, глядя, как четырехорудийная батарея, без малейшего смещения лафетов, давала свободно сто выстрелов в минуту. Не мог я, однако, соглашаться даже с таким авторитетом, как сам генерал Жоффр, по словам которого, «это орудие способно разрешать любую задачу в полевой войне».

Из экономии французы долго пытались добиться от этого орудия более крутой траектории, приближавшей его к гаубице, путем навинчивания на снаряд пресловутого кольца Маландрэн, но я продолжал скептически к этому относиться и потому, не вдаваясь в длинные споры по этому вопросу с Клемантелем, все же счел долгом влить каплю яда в розовые мечты докладчика военного бюджета.

— Да, но зато мы увеличиваем боевой комплект снарядов полевой артиллерии до тысячи пятисот выстрелов на орудие и по двести запасных, — не без гордости утешал меня мой собеседник.

Но вместо утешения эта цифра заставляет содрогнуться при мысли о родной армии; вспоминается нехватка снарядов под Ляояном, встает в памяти мой приказ: «Стреляйте до последнего» — перед атакой Путиловской сопки. Наверно, — думаю я, — у нас такого количества не запасено, но размышлять долго не приходится. Клемантель сыплет все новыми и новыми цифрами.

Ура! Наконец-то пятнадцать миллионов на походные кухни!

Еще восемь лет тому назад убеждал я французов, что разводить костры и варить суп в походных котелках на войне не удастся, а они меня уверяли, что французы индивидуалисты и предпочитают готовить суп по своему вкусу!

Присутствуя на больших маневрах 1912 года, наш будущий главнокомандующий, Николай Николаевич, тоже был возмущен этим французским ретроградством и по возвращении в Россию выслал через мое посредство в подарок союзной армии все образцы наших походных кухонь. До Северного вокзала в Париже кухни доехали благополучно, но сколько же хлопот доставили они мне при перевозке их в город и подыскании для них достойного помещения. Ни один из родов оружия не считал их для себя полезными, а потому и лошадей для перевозки не отпускал. В конце концов мои кухни много месяцев стояли во дворе Высшей военной школы, но долгое время мне никого не удавалось ими заинтересовать.

А вот и новый вздох облегчения вырывается из груди: тридцать три миллиона на создание неприкосновенного запаса новой формы обмундирования серо-голубого защитного цвета. После смелых атак французской пехоты в мировую войну немцы прозвали французских пехотин-

цев «голубыми дьяволами». Прощай традиционные красные штаны, которые можно было разглядеть за сто верст! Потребовалось тоже десять долгих лет, чтобы учесть опыт русско-японской войны.

Рука устает записывать, но усердный Клемантель уже разошелся: в 1918 году должно быть закончено оборудование больших лагерей по расчету один на каждый из двадцати одного существовавших в ту пору во Франции корпусов. К сожалению, война нагрянула в том же 1914 году, и большинство полков могло готовиться к бою только на небольших гарнизонных плацах да на дорогах. Сходить с них и топтать не только посевы, но даже луга войска не имели права. Частная собственность охранялась лучше, чем права нации на самооборону.

Дойдя до цифры сто тридцать миллионов, ассигнованных на переоборудование пяти сухопутных крепостей, Клемантель прерывает чтение и задает мне деликатный вопрос:

— Я слышал от сопровождавшего вас нашего генштабиста, что при посещении крепостей Верден, Туль и Бэльфор вы нашли их очень устаревшими, даже как будто никуда не годными?

— Что вы, что вы! — успокаиваю я. — Это не совсем так. Просто мне показалось, что в них еще много кирпича и недостаточно бетону.

— Да, но вы не видели Мобежа, — защищается Клемантель.

— Пытался, — говорю я, — взглянуть на это чудо техники; о нем мне говорит генерал Жоффр всякий раз, как я позволяю себе ему напомнить о работе моего предшественника Лазарева и о вероятности германского наступления через Бельгию.

— Они в этом случае упрутся в Мобеж, — возражал мне всегда начальник генерального штаба, но когда, очутившись случайно на пограничной станции Мобеж, я в ожидании парижского поезда пожелал взглянуть на эту крепость, то под разными предлогами меня до нее не допустили.

Ассигнованные на крепости миллионы израсходовать не пришлось: чудо техники — Мобеж был в первый же месяц войны обойден германскими армиями и сдался 3-му резервному германскому корпусу после кратковременной осады, а за устарелость Вердена заплатили те

сотни тысяч храбрецов, что пали под его стенами в 1916 году.

Пространные рапорты и доклады, составленные на основании многочасовых бесед с Клемантелем, показались мне недостаточными. «Величайшим нашим несчастьем, — говорил мой коллега по генеральному штабу, Федя Булгарин, — является то, что мы гораздо больше пишем, чем читаем». А мне хотелось, чтобы добытые мною сведения не только были подшиты к делу, но и использованы для намечавшейся у нас программы всех наших вооруженных сил.

Не мог я, конечно, определить срока грубого нарушения Германией всех договоров и вторжения этих современных гуннов в цветущую Францию и потому, несмотря на все недочеты, считал французскую программу грандиозным достижением.

Хотелось это закрепить, поскорее реализовать и подогнать наших союзников сообщением им хоть чего-нибудь из того, что делалось у нас, и я поехал в Петербург.

Я чувствовал, что предстоит выдержать бой с начальством.

— Ну, что там опять выдумали твои французы? — тоном нескрываемого пренебрежения спросят меня коллеги по генеральному штабу, и, конечно, мне придется затратить все свое красноречие, чтобы доказать начальству необходимость ответить доверием на доверие.

«При отсутствии взаимного доверия всякий военный союз является только ненужным и даже вредным бременем для армии», — так заканчивал я в свое время один из своих рапортов.

Но это был глас вопиющего в пустыне. Начальник генерального штаба Жилинский, сам же назначивший меня в Париж, был всегда как будто чем-то раздражен; я позднее только понял, что это объяснялось ненавистью его, заклятого монархиста, к республиканскому режиму. После двукратной, но бесплодной беседы с ним мне пришлось заявить, что возвращаться с пустыми руками к своему посту мне просто невозможно.

— Ну, переговорите с Беляевым. Он в курсе дела, а потом перед отъездом можете еще раз зайти ко мне, — отделался от меня Жилинский.

Беляева, будущего военного министра, я знал по маньчжурской войне. Там ему, полковнику генерального штаба,

не нашли лучшего применения, как заведовать полевым казначейством. Он привозил нам из тыла кипы желтых рублевых бумажек — наше жалованье; бумажки мы прозвали «чумизой», а Беляева — «мертвой головой» из-за его лысого и лишенного всякой жизни черепа. Как я мог предполагать, что именно этому усердному кабинетному работнику, давно оторванному от армии и военной жизни, суждено будет сделать столь блестящую карьеру?!

От природы застенчивый и боявшийся собственной тени, Беляев знал в свое время маньчжурских «зонтов», остерегался их едких язычков и потому, несмотря на свой генеральский чин, относился к ним всегда с некоторой опаской. С какими душевными муками пришлось ему выполнять поручение своего высокого начальства и передавать мне, старому «зонту», сведения о нашей большой программе!

— Западные крепости, как вы знаете, решено упразднить, — начал Беляев, — и отнести район сосредоточения подальше от границы.

— Но ведь крепости, как нас учили в академии, и должны прикрывать развертывание армии, — возражал я, пытаясь получить объяснение на этот волновавший французов вопрос.

— Ну, это уже решено самим военным министром, генералом Сухомлиновым, — невозмутимо объясняла «мертвая голова», оставляя для меня навсегда неразрешенным вопрос, где кончалось недоумие и где начиналась измена.

Перешли к пехоте. Вспоминая свою службу в полку, вечную нехватку людей в строю, безобразный процент запасных, вливавшихся в маньчжурские первоочередные полки, я обращал внимание Беляева на сильный состав французских рот мирного времени, доведенных, подобно германским, почти до численности военного времени.

— У нас тоже приняты меры, — объяснял Беляев. — Например, сувалкская пограничная стрелковая бригада будет иметь штаты военного времени, а пехотная дивизия в Вильно будет иметь одну бригаду более сильного, а другую — более слабого состава.

— Я вперед отказываюсь командовать подобной дивизией, — попробовал я пошутить. — Ведь ее полки даже на параде друг другу в затылок не поставишь! Да и боевая

подготовка в отдельных полках будет на разном уровне. Неужели же нужна такая пестрота?

Беляев не нашел нужным реагировать и продолжал:

— А в кавалерии мы решили изъять из дивизии четвертые казачьи полки и придать их заранее пехотным дивизиям.

«Уж и так казаки отстают в строевой подготовке, а тогда окончательно останутся без призора», — подумал я, но оспаривать Беляева уже себе не позволил.

— Главная же реформа коснется артиллерии: вместо восьмиорудийных батарей мы сделаем шестиорудийные, что увеличит число батарей.

— Это же полумера, — возмутился я. — Правда, выставлять восьмиорудийные батареи на одну позицию опасно. К ним легко пристреляться, но мы в Маньчжурии делили их пополам, вот и все. Если уж проводить реформу, так проводить ее до конца и делать батареи четырехорудийными. Если этого не позволяет скорострельность наших орудий, так надо заменить их новыми, хотя бы французского образца. Для чего, спрашивается, все же эта полумера?

Ответ Беляева характеризовал не только его самого, покорного и удобного прислужника последних дней царского режима, но и всю тяжелую русскую предвоенную атмосферу.

— Дорогой Алексей Алексеевич, скажу вам по секрету — это желание генерал-инспектора артиллерии, великого князя Сергея Михайловича, желающего ускорить во что бы то ни стало производство офицеров своего рода оружия. Увеличивая число батарей, мы увеличиваем и число подполковничьих вакансий в артиллерии!..

Самым же страшным, как я и ожидал, оказался вопрос боевого комплекта боевых снарядов.

— У нас сейчас приходится около шестисот снарядов на орудие, и мы считаем, что, увеличивая это число до девятисот, из коих часть будет в разобранном виде (одна часть в Самаре, а другая часть в Калуге, — подумал я про себя), мы вполне обеспечим нашу артиллерию.

О французской цифре — тысяча пятьсот — Беляев и слышать не хотел, Жилинский тоже, и все мои доводы получили вполне определенный отпор:

— У них так, а у нас так, — изрек мой высокий начальник.

Он не мог предвидеть, что именно на меня и выпадет во время войны тяжелая задача восполнить этот пробел в нашей собственной неподготовленности к войне.

— Как же мне поднести весь этот багаж французам? — спросил я одного из своих ближайших коллег по генеральному штабу.

— Ну, на то ты и дипломат, — ответил он.

С этой кличкой, слышанной мной впоследствии не раз и от советских товарищей, мне не придется, вероятно, расстаться до конца моих дней.

Чудес на свете не бывает, и если свою победу на Марне французы называли чудом, то, конечно, это должно было найти свое объяснение в том балансе положительных и отрицательных данных об иностранной армии, который военные агенты обязаны подводить еще в мирное время.

Запоздалый закон о чрезвычайных кредитах, раскрывая главные недочеты в подготовке Франции к мировой войне, не мог дать представления о боевых качествах союзной армии, зависящих всегда и больше всего от организации высшего управления.

— Рыба с головы воняет, — говаривал частенько Михаил Иванович Драгомиров.

Главным преимуществом высшего французского командования по сравнению с нашим являлось существование в мирное время так называемого «Conseil supérieur de guerre» — Высшего военного совета. В то время как в России военный совет представлял складочное место для престарелых и не годных для действительной службы генералов, Высший военный совет во Франции был составлен из будущих командующих армиями, при которых состояли уже заранее назначенные их ближайшие сотрудники — ячейки полевых штабов. Половину времени эти генералы инспектировали войска тех корпусов, которые в военное время должны были войти в состав их армий, а другую, большую часть времени сидели как ученики за решением стратегических и тактических задач, связанных главным образом с маневрированием и железнодорожными перевозками вне поля сражения. Руководил этими занятиями начальник генерального штаба Жоффр, будущий главнокомандующий. Он придавал особенное значение полевым поездкам генерального штаба, на которых

значительное место уделялось использованию в военное время железных дорог. Зная, что основной слабостью русской армии, так ярко выраженной в маньчжурской войне, являлось неумение управлять крупными военными соединениями, мне хотелось во что бы то ни стало использовать эту сильную сторону подготовки союзной армии. Начать это дело я думал с командирования нескольких русских генштабистов на секретные полевые поездки высшего французского командования, и после некоторых затруднений мне удалось заручиться на это согласием Жоффра. Разочарование ожидало меня в Петербурге: едва я попробовал заикнуться о моем проекте, как один из самых влиятельных генералов на Дворцовой площади стал убеждать меня отказаться от этого намерения.

— Подумайте, — сказал он, — придется после этого на правах взаимности пригласить к нам французов, а последние полевые поездки в Виленском округе окончились таким провалом, что открывать это союзникам никак нельзя.

Французов в свою очередь крайне беспокоил вопрос о том, кто будет назначен в случае войны русским главнокомандующим, и, не добившись на это ответа от своих представителей в Петербурге, сами решили назначить нам такового. Жоффр и его окружение иначе и не титуловало великого князя Николая Николаевича.

Никто не мог предполагать, что Жоффр сможет заслужить ту популярность, которую он себе стяжал в мировую войну. Тучный, но еще вполне бодрый старик, только что перешедший предельный возраст шестидесяти лет, Жоффр совершенно был отличен от того трафаретного типа французских генералов, которые так ценят внешний блеск и склонны к самовлюбленности. По своей молчаливости, замкнутости и безграничной способности владеть своими внутренними переживаниями он больше всего напоминал мне Кутузова. Трудно было вести с ним беседу: он долго присматривался к собеседнику и, даже уверившись в нем, не выражал ему никаких внешних признаков симпатии. О завоеванном мною постепенно доверии я мог судить только по числу удовлетворенных им просьб и по отрывочным разговорам с его ближайшим окружением — двумя-тремя порученцами. По этим офицерам можно было легко оценить главное качество Жоффра, характеризующее всех крупных военных и государственных людей:

умение выбирать своих сотрудников и знание людей, доходящее до проникновенности.

Выбору лиц даже на самые мелкие посты Жоффр придавал первостепенное значение. Как-то раз, перед приездом во Францию Николая Николаевича, он спросил моего мнения о лицах, выбранных им для сопровождения великого князя на маневры. Последним в списке стоял не известный мне тогда капитан Вейган.

— Он хоть и гусар, но замечательно серьезный офицер. Вы обратите на него особое внимание, — сказал Жоффр.

В другой раз, исполняя мое желание посетить один из пехотных полков, Жоффр направил меня в 100-й пехотный полк, стоявший в небольшом городке Бар-ле-Дюк. Полк ничем особым не отличался, учиться ему было трудно из-за местности, сплошь возделанной под ягодные огороды (Бар-ле-Дюк всегда славился своим вареньем), стрельбище полк имел на дистанцию только в двести метров, но командовал этой частью полковник Бертело, умнейший из умных генштабистов, будущая правая рука Жоффра в первые месяцы мировой войны.

К сожалению, назначения высшего командного состава мало зависели от Жоффра; это была привилегия военного министра, и этим можно объяснить, что во время войны французский язык был обогащен новым глаголом limoger — «лиможэ», соответствующим по смыслу — «уволить, прогнать». В город Лимож направлялись десятки генералов, уволенных Жоффром за неспособность командовать. Для смягчения толков об их судьбе и был выдуман этот новый глагол.

Другим качеством Жоффра была независимость его суждения о подчиненных. Жоффр был франкмасон, то есть принадлежал к той могущественной тайной политической организации, одной из задач которой являлась борьба с дворянскими предрассудками и клерикализмом. Жоффр, несмотря на это, не только переносил, но и высоко ценил военные качества такого яркого представителя католицизма и врага франкмасонов, как его ближайший помощник еще в мирное время, генерал Кастельно. Хотя военные и не пользовались титулами, но все знали, что Кастельно является отпрыском древней французской семьи графов и маркизов Кюри де Кастельно. Ничего, впрочем, кроме религиозности, являвшейся его личным делом,

и военной доблести, он от своих предков не унаследовал. Его живой мозг был направлен только на военное дело, а свои чувства патриотизма он доказал в минуту, когда в разгар войны ему доложили о потере четвертого и последнего из его убитых сыновей.

— Ах, и он убит! Господа, продолжаем наше дело! — обратился он к присутствующим на военном совете под его председательством.

Кастельно, как впоследствии и Фош, являл, между прочим, пример истинно военной вежливости, не допускающей слащавости и подобострастия, но далекой от напыщенности и недоступности. Для этих людей я прежде всего являлся полковником, потом русским и, наконец, по каким-то печатным справочникам, дипломатом. Обижаться на это не приходилось, до того это было искренне и по-военному.

— Bonjour, Ignatieff! (Здравствуйте, Игнатьев!) — кричит, бывало, во весь голос Кастельно, обгоняя меня галопчиком на утренней проездке в Булонском лесу. Он успевает при этом поднять руку к козырьку, а мне остается только для порядка салютовать ему штатским котелком, отвечая вдогонку:

— Bonjour, mon général! Здравствуйте, мой генерал! — (Приставка «мой» во французской армии употребляется только при обращении младших к старшим.) Военное чинопочитание, даже в штатском платье, соблюдалось, а военную форму я имел право носить только при торжественных приемах и церемониях.

Трудно определить, чем объясняется отношение иностранцев к дипломатам: одни приходятся ко двору, другие нет, одни хороши для одной страны и совсем непригодны для соседней. Одному верят, а слова другого заранее вызывают сомнение.

Из долголетнего опыта службы за границей я пришел к заключению, что секрет заключается в том чутье, которое подсказывает иностранцам, насколько дипломат отражает лицо своей страны и насколько ему по вкусу нравы и обычаи чужеземной страны. Я всегда любил Францию, любил ее народ, и, вероятно, поэтому французские генералы, за редкими исключениями, еще до мировой войны считали меня «своим». При этом мне не приходилось затрачивать столько усилий, расточать столько любезностей, как, например, в Швеции. Французский генеральный штаб

умел ценить всякую работу и знал, что для меня вся она направлена для подготовки отпора германскому империализму. Он уже привык выслушивать от меня и острую критику и требование уважения к своей стране.

Еще при своем назначении в Париж я заявил своему начальству, что организовать агентурную работу, подобную той, которая была мною создана в Дании, я считаю не только бесцельным, но даже вредным. Мне уже было известно, что агенты-профессионалы привыкли доить вместо одной сразу двух коров, продавая те же сведения по дешевке французам и втридорога русским. Кроме того, при пропуске через границу одни агенты могли предавать других и вносить большую путаницу в руководство разведкой. Поэтому я предложил всемерно использовать агентурную разведку союзной армии и начать это с организации обмена уже существующими секретными документами.

— Ну, попробуйте, едва ли это вам удастся, — ответило мне тогда мое начальство. Оно было, пожалуй, по-своему право, так как в продолжение долгих лет французы имели большие подозрения, что их сведения могут попасть не только в Петербург, но через Петербург и в Берлин.

Рассчитывать на инициативу в этом вопросе с нашей стороны я тоже не смел, вспоминая маньчжурские неудачи с Харкевичем и Гидисом. Выбирая из двух зол меньшее, решил все же преодолеть недоверие французов и считал для себя большим праздником тот день, когда запечатал пятью печатями конверт с краткой препроводительной запиской: «При сем представляется первый список агентурных документов, предлагаемых нам на правах обмена французским генеральным штабом».

Начало было положено, и этим я обязан дружескому сотрудничеству со стороны своего нового французского знакомого, тогда только майора, Дюпона. Несмотря на свой невысокий чин, он ведал уже всей агентурной разведкой, сосредоточенной в особом отделе, подчиненном 2-му бюро генерального штаба. Для того чтобы только видеть Дюпона, надо было добиться права ходить в генеральный штаб не только с парадного, но и с черного хода, а для этого заручиться доверием и Жоффра и Кастельно.

Основной работой, кроме рассмотрения годовых бюджетов, уставов, инструкций, являлись у меня отчеты о больших маневрах. В них, кроме описания самого хода маневров, было удобно сделать выводы о боевой подготовке армий на основании сведений, собиравшихся постепенно из разных источников в течение круглого года. Неутешительными кажутся лежащие передо мной пожелтевшие от времени листы моего рапорта за № 433 от 5 декабря 1913 года о больших маневрах.

«Из разносторонних отраслей боевой подготовки пехоты, — писал я, — наиболее страдают те, кои вообще представляют слабые стороны французской пехоты, а именно: стрельба и ведение пехотного боя в сфере ружейного огня. Французы в этих вопросах положительно не проникнулись достаточно опытом русско-японской войны... Мыслящие офицеры сознают, что пехоте придется многому переучиться под огнем. На это необходимо ответить вопросом: ценою каких жертв?»

«Кавалерия, как и везде, является наиболее яркой носительницей консервативных идей, что во французской армии особенно заметно вследствие присущей нации ненависти к изменениям существующих и освященных временем обычаев. Езда и действие холодным оружием — вот главные основания обучения французской кавалерии... Все отрасли обучения, не связанные непосредственно с конной атакой, находятся в пренебрежении. Для характеристики отношения кавалерии к стрельбе достаточно сказать, что весь курс стрельбы проходится в три дня, а в некоторых полках и в два дня в году».

«Артиллерия сделала наибольшие успехи по сравнению с другими родами оружия, и французская полевая артиллерия, вооруженная 75-миллиметровыми орудиями, представляет совсем другую силу, чем японская и наша в 1904—1905 годах; мощность ее действия настолько выше этих артиллерий, что она должна рассматриваться как совершенно другой тактический элемент... Одно из зол, с коим артиллерии еще не удалось справиться, — это пренебрежение к телефону, следствием чего в бою является слабая связь батарей между собой и с пехотой».

В трагических последствиях, которые имело это пренебрежение телефоном, мне пришлось, к сожалению, убедиться очень скоро в настоящем сражении на Марне, где

передовые роты французской пехоты полегли, скошенные собственными мелинитовыми снарядами.

Нелегко мне было и до войны, исполняя свой долг, писать эту тяжелую правду о французской армии сухим канцелярским языком и не выразить словами того, что воспринимается только живым свидетелем: духа войск и нации. В России этому все равно бы не поверили.

Вероятно, во избежание всегда возможной провокации со стороны Германии большие маневры 1913 года производились не на восточной, а на испанской границе, в районе Монтобана. В этом живописном, утопающем в зелени городке сохранились развалины средневековой крепости, один из бастионов которой и был обращен в столовую для иностранных военных атташе.

Новые времена ввели и новый распорядок дня для иностранных представителей: вместо верховых лошадей можно было передвигаться в не очень блестящих, но все же каких-то автомобилях, дававших возможность с раннего утра до поздней ночи объезжать, как всегда, обширный район военных действий и даже видеть войска. Так же, как и тогда, в 1906 году, с поражающей выносливостью совершала французская пехота сорокаверстные марши, как и тогда, прямо с походных колонн, без остановок и привалов, развертывалась и неудержимо наступала, напоминая наполеоновские времена. Чувствовалось, что охватившая страну волна воинственного патриотизма докатилась и до армии, что люди выполняют свой долг не за страх, а за совесть. Я знал тоже, что тренировка в маршах составляла основную часть воспитания французского пехотинца того времени, но мой германский коллега Винтерфельд не мог воздержаться от восхищения. Он, вероятно, чувствовал какую-то перемену в духе войск.

— Ils sont merveilleux ces hommes là! (Эти люди чудесны!) — повторял он мне.

Вечером того же дня, выходя из столовой, он отвел меня в сторонку и сказал:

— Послушайте, мой милый Игнатьев, вы будете, конечно, составлять отчет об этих маневрах. Окажите же услугу Германии. Попросите, чтобы некоторые из ваших выводов были бы тем или иным способом доведены до сведения нашего императора. Он окружен такой компанией сорви-голов (des têtes brulées), что они нуждаются

в хорошем холодном душе. Я чувствую, что с некоторых пор моим донесениям в Берлине не доверяют. А Петербург может это сделать.

События показали, что переданные мною слова моего германского коллеги и его высокая оценка французской армии желаемого действия не произвели.

Эта ночная беседа с Винтерфельдом явилась последней до мировой войны, заставшей его в той самой французской деревушке, с окраины которой мы наблюдали накануне за французскими маневрами. Катастрофа, жертвой которой оказался Винтерфельд, произошла на следующий день утром.

Мне частенько приходилось слышать, что мне в жизни везло, но в этот день мне действительно повезло. Военные атташе рассаживались по машинам, соблюдая строгое старшинство в чинах. На задних местах — генералы и полковники, на передних — подполковники и капитаны. Мое место было во второй машине на заднем сидении, но посадка в машины задержалась из-за опоздания Винтерфельда, забывшего захватить бинокль. Желая соблюсти точный час выезда, один из сопровождавших нас французских генштабистов попросил меня сделать «союзническое» одолжение и занять место Винтерфельда в первой машине, на переднем, менее почетном месте, что я, конечно, и исполнил. При движении маршрут был все же вскоре нарушен из-за необъяснимого отставания от нас второй машины, а часа через два мы уже совсем остановились и, потрясенные совершившимся, бережно положили на берегу ручейка бесчувственное тело нашего германского коллеги. Его мертвенно бледное лицо еще не выражало страданий; оно только казалось особенно серым из-за окружавшей его яркозеленой травки. Оказалось, что вторая машина опрокинулась на повороте, но серьезно пострадал только Винтерфельд, сидевший как раз на моем месте. В течение долгих месяцев крохотная французская деревушка, в которой мы приводили в чувство Винтерфельда, сделалась местом паломничества всех врачебных знаменитостей Франции и Германии. Ранение оказалось настолько серьезным, что об эвакуации больного не могло быть и речи. Это был тот самый Винтерфельд, на которого после войны выпала унизительная обязанность подписать капитуляцию своей армии в вагоне маршала Фоша, в Компьенском лесу.

Катастрофа произвела тяжелое впечатление на всех коллег, а в особенности на мало повинных в ней французов. Мне она показалась символической.

В бастионе засиделись в этот вечер дольше обычного. На площади перед выходом стояла, как всегда, толпа и, несмотря на поздний час, ожидала выхода русского военного агента. Крики: «Vive la Russie! Vive les Russes»! (Да здравствует Россия! Да здравствуют русские!) — встречали меня, нарушая ночную тишину. Отведенная мне комната у местного нотариуса находилась на противоположной стороне маленького городка, и я шел, каждый день окруженный толпой, из которой то и дело протискивались женщины, одетые, как везде на юге Франции, в черное платье. Они хватали мои руки, стремясь их поцеловать, и, показывая меня детишкам, учили их: «Vois, mon gars! C'est un Russe! C'est lui qui va nous sauver!» (Смотри, малыш! Это русский! Он-то нас и спасет!)

Спасем ли мы? Вот над чем мог призадуматься в подобные минуты представитель союзной армии.

Глава десятая

AMIS ET ALLIÉS[1]

Из тьмы веков, через голову извечного общего врага, тянулись нити непонятной взаимной симпатии между Россией и Францией — странами, столь отличными и по своему характеру и по своей исторической судьбе.

Когда в мировую войну германские полчища вторглись во Францию и приближались к древнему городу Реймсу, угрожая чуду архитектуры — Реймскому собору, я просил французов спасти хранившийся там драгоценный памятник русской письменности — евангелие на славянском языке XI века нашей эры.

История этого рукописного документа такова: колыбель русской культуры — Киев стал уже в эту эпоху известен Европе, с ним начали считаться, и французский король Генрих I испросил себе в супруги дочь киевского князя Ярослава — Анну. Сделавшись французской королевой, она принесла присягу, положив руку на евангелие,

[1] Друзья и союзники.

привезенное из Киева. С тех пор все французские королевы приносили присягу на верность Франции на том же русском документе.

Наполеоновские войны, окончившиеся для Франции унизительной оккупацией Парижа союзными армиями, не могли разрушить симпатии французов к далеким «русским варварам». Австрийцы занимали южный сектор столицы, пруссаки восточный, а русские северный. Штаб русской комендатуры размещался в рабочем предместье Парижа — Сен-Дени. И вот когда русские войска, восстановив ненавистную для французов карикатуру старой монархии, покидали Францию, жители Сен-Дени поднесли военному коменданту, генералу Нарышкину, благодарственный адрес за исключительно гуманное отношение оккупационного корпуса к местному населению. Другие союзники таких адресов, конечно, дождаться не могли.

Страх перед революционной заразой побудил русских царей построить солидный барьер, отделявший Россию от «вольнодумного» французского народа. Заключенный во время освободительной войны с Наполеоном союз трех монархий — русской, прусской и австрийской — продолжал на протяжении почти всего XIX века препятствовать какому бы то ни было военному сближению России и Франции. Российская империя Николая I и Александра II систематически онемечивалась, и немцы имели основания смотреть на нашу страну как на собственный «хинтерланд», выжимая из нас все с большей и большей наглостью необходимые для себя материальные ресурсы. Навязанный России и вечно возобновлявшийся хлебный договор, кормивший немцев дешевым русским хлебом, как нельзя лучше характеризовал надетое на царскую Россию германское ярмо.

Немалую роль в изменении курса русской политики в сторону сближения с Францией сыграл, между прочим, бывший русский посол в Париже барон Моренгейм. Этот хороший маклер, еще будучи посланником в Дании, сумел устроить свадьбу Александра III и датской принцессы Дагмары (будущей императрицы Марии Федоровны). Попав в Париж, Моренгейм использовал этот брак для обработки русского увальня Александра III и его молодой супруги, истинной датчанки, не простившей

разгрома Бисмарком ее родины в 1864 году. Нелегко было примирить этого заядлого реакционера, задержавшего на тринадцать лет своего царствования всякое прогрессивное движение в России, с мыслью о союзе с презренным республиканским строем. Рассказывали, что, пригласив французского посла в Петергоф на парад конногренадеров, Александр III вынужден был впервые услышать «Марсельезу». Он не в силах был взять руку под козырек для отдания чести французскому гимну и, сделав вид, что умирает от жары, снял тяжелый конногренадерский кивер и стал обтирать пот с головы.

Жившая воспоминаниями о разгроме ее немцами в 1870 году, Франция 80-х годов видела в России свою спасительницу. Вот почему прием русской эскадры адмирала Авелана в Тулоне, первый приезд Александра III во Францию, грандиозный, ставший историческим, парад в его честь — все эти события медового месяца франко-русской дружбы врезались в памяти целых поколений, и воспоминания о них дожили до моих дней. Французский генералитет рассказывал мне об этом, захлебываясь от восторга.

В 1912 году одних восторгов уже не было достаточно, хотелось во что бы то ни стало использовать официальные посещения ответственных военных начальников прежде всего для развития взаимного понимания. Русские, например, принимали ни к чему не обязывающую французскую любезность в обращении за чистую монету, раздражались французской аккуратностью, казавшейся им ненужной мелочностью и придирчивостью, а французы не могли примириться с нашей беспечностью и давно уже характеризовали наши деловые отношения словами: «ничего...» и «сейчас...»

Эта разница культуры двух стран отражалась и на служебных отношениях. Особенно тяжелое впечатление производили периодические совещания начальников союзных генеральных штабов. Сядет толстяк Жоффр, насупивши брови, и ждет, что скажет сидящий против него накрахмаленный и цедящий слова сквозь зубы генерал Жилинский. Жоффр приехал в Россию и считает вежливым предоставить слово своему коллеге.

Разместившись на краю стола и разложивши перед собой протокол совещания, смотрю на сидящего против меня генерала Лагиша, французского военного атташе

в Петербурге. Этот сухой, чопорный старичок, гордившийся своим аристократическим происхождением, очень подходил к петербургскому высшему обществу. Он был достаточно скучен и консервативен:

— Какой номер вашего телефона? — спросил я раз Лагиша.

— Я его не имею и никогда не допущу, чтобы в мою спальню вторгался по телефонному проводу чужой и, быть может, вовсе мне не приятный голос. Я не лакей, чтобы меня вызывали по звонку.

До Петербурга Лагиш провел несколько лет на том же посту в Берлине, где карьеру ему сделала жена, болезненная, но очень неглупая женщина, обворожившая, как говорили, даже самого Вильгельма.

Начальники союзных генеральных штабов напоминали двух карточных игроков. Жилинский, не имея достаточно козырей, пытался их не разыгрывать, а Жоффр старался тем или иным путем их вытянуть у своего партнера.

Вот Жоффр приводит известные уже мне данные о производимых в его армии реформах, а Жилинский ни одной конкретной цифры, даже всем известной численности царской армии в мирное время в миллион двести тысяч штыков, не приводит, отделываясь общими местами. Рассказывая об усовершенствовании французской железнодорожной сети, Жоффр, явно стремится навести разговор на недостатки наших железных дорог, но Жилинский делает вид, что французские железные дороги его совсем не интересуют, а развитие собственных зависит от министра путей сообщения.

Доходим до самого деликатного вопроса — сроков мобилизационной готовности, естественно, более длинных для России, чем для Франции. Тут приходится назвать какое-то число дней, но Жилинский не может понять, что Жоффр, как всякий француз, предпочитает смотреть правде в глаза, чем мириться с неясностью.

— Без обозов эти войска, конечно, могли бы быть готовы к такому-то дню, ну, а с обозами вопрос другой, — объясняет Жилинский; прения затягиваются, и мы с Лагишем долго не можем добиться, сколько же дней надо записать в протокол.

Наконец, армии мобилизованы, начинается обсуждение планов сосредоточения, для которых, казалось,

надо было бы учесть возможные планы противника. Но об этом в протоколе за долгие годы умалчивалось, и только на последнем совещании в 1913 году Жоффр, наконец, решил попытаться открыть и эту последнюю карту. Жилинский, намечая в общих чертах план развертывания русских армий, вероятно, с целью сделать удовольствие Жоффру, особенно напирал на крупные силы, которые будут выставлены против Германии (Австро-Венгрия для французов не представляла большого интереса). Но к великому моему удивлению, Жоффр, водя пухлой рукой по разложенной на столе карте нашей западной границы, вместо одобрения наступательных тенденций Жилинского, стал убеждать его в опасности вторжения в Восточную Пруссию.

— Это самое невыгодное для нас направление, — доказывал он. — C'est un guet-apens (ловушка), — несколько раз повторял он.

И, слушая в первые дни войны о разгроме в Восточной Пруссии армии Самсонова, брошенной в этом направлении тем же Жилинским, передо мной лишний раз вставал неразрешимый вопрос — где кончается недоразумение и где начинается предательство.

Если уж совещания начальников генеральных штабов не могли наметить, хотя бы в общих чертах, совместного плана войны, то, конечно, этого нельзя было ожидать от свиданий других высоких представителей союзных армий.

Неприятное впечатление, которое производил всякий раз на французов Жилинский, мне удалось, между прочим, смягчить при посещении Парижа Сухомлиновым. Он был одним из тех приятных собеседников, в разговоре с которыми не только можно не замечать их собственных недостатков, но и не настаивать на уточнении излагаемых ими положений.

Приехал Сухомлинов в Париж частным лицом, со своей супругой, но охотно исполнил мою просьбу посетить и Жоффра и военного министра. Надо же было чем-нибудь возместить мою собственную неосведомленность о русских делах.

Один вечер, проведенный с ним в Париже, пролил для меня некоторый свет на причины его будущей позорной репутации. Я чувствовал, что ему хотелось показать своей жене веселящийся вечерний Париж, и решил пригласить

их ужинать в только что тогда открытый, а потому и самый модный ночной ресторан «Сиро». Цены в нем были баснословные, и, когда гарсон подал мне счет, Сухомлинов сказал:

— Этого еще не хватает, чтобы военный агент платил за своего министра. А впрочем, Алексей Алексеевич, это уж не так несправедливо, как кажется. Какие наши с вами оклады жалованья? Почти одинаковые, а расходы на представительство мне ведь тоже никто не возмещает... Как вы счастливы жить в таком городе, — задумчиво сказал мне мой министр, глядя на окружающих декольтированных красавиц и танцующих с ними элегантных кавалеров во фраках. — Ей-богу, — шутя, как мне показалось, добавил он, — я рад был бы поменяться с вами должностями.

Я невольно улыбнулся.

— Вот вы не верите, — продолжал Сухомлинов, — если бы вы знали, как мне тяжело, до чего хочется свободно вздохнуть — пожить, наконец.

Рядом со мной сидела и флиртовала его не столько красивая, сколь обворожительная супруга. Мне стало понятно, что этот человек в самом опасном возрасте — переходе к старости — попал под полное влияние этой привлекательной авантюристки; какая громадная пропасть лежала между его частной жизнью и служебным долгом, который уже отходил в его уме на второй план. Он переставал сознавать всю ответственность, возложенную на него за судьбы его страны, и, быть может, всерьез был бы не прочь обратиться из генерал-адъютанта в молодого полковника генерального штаба, променять служивый Петербург на веселящийся Париж!

Гораздо бóльшим испытанием явились для меня приезд на маневры в 1912 году Николая Николаевича и ответный визит Жоффра в следующем году в Красное Село. Эти поездки, как когда-то приезд царя в Стокгольм, не укрепляли, а расшатывали мой служебный авторитет за границей, заставляли снова краснеть за некоторых представителей своей страны. «Скажи, с кем ты знаком, и я тебе скажу, кто ты такой», — и о высоких лицах чаще всего судят по их окружению. Жоффр, отправляясь в Россию, собрал вокруг себя весь цвет генерального штаба, лучших специалистов по всем родам оружия до службы железных дорог включительно. Ему за них краснеть не

приходилось даже при попытках нашего офицерства спoить союзников. (Толстяк Бертело ответил за всю французскую армию: его не свалили, и он выходил с попоек на своих могучих ногах.)

Чем руководствовался Николай Николаевич, привезя с собой кучку генералов, снабженных баронскими титулами и немецкими фамилиями, объяснить невозможно. Лучшим доказательством ничтожности всей его свиты на французских маневрах явилась мировая война: ни один из этих генералов ничем в ней не отличился.

Церемониал приезда нашего будущего главнокомандующего был разработан еще моим предшественником и включал в себя, между прочим, бесконечные осмотры древних замков на Луаре, входивших в район маневров. Мне же было дано единственное оригинальное поручение — оказать содействие командированному за три месяца до маневров в Сомюрскую кавалерийскую школу наезднику великого князя Андрееву. Он должен был выбрать и специально объездить верховую лошадь для «лукавого». Мне казалось, что этим могли заняться сами французы, но Андреев мне объяснил, что «его высочество изволит непрерывно толкать лошадь левой ногой и что к этому ее надо заранее приучить». Зачем понадобилась лошадь, когда все высокие начальники давно уже следили за ходом маневров из автомобилей, — понять было трудно. Я, признаться, забыл бы про эту деталь, если бы при первом же выезде в поле не увидел на одной из лужаек построенных верховых лошадей. Жоффр взгромоздился на своего рыжего лысого коня, а для Николая Николаевича, вероятно с целью угодить, Андреев подготовил своего старого мерина серой гусарской масти. Не успел я еще пригнать себе стремян, как оба будущих главнокомандующих двинулись шажком, направляясь на ближайшую полевую дорожку; на этом наша конная прогулка и закончилась: разбитый на передние ноги старый скакун по препятствиям, не чувствуя своей высокой ответственности, споткнулся, задев копытом о небольшую кочку; этого было достаточно, чтобы долговязый всадник, бывший генерал-инспектор русской кавалерии, сперва съехал к нему на шею, а затем, потеряв равновесие, и совсем слез на землю. После этого решено было продолжать объезд войск на машинах.

К вечеру я сделал новое для себя и страшное открытие в отношении военных способностей «лукавого»: как ни старались французские генштабисты объяснять ему быстро сменявшуюся маневренную обстановку, он, привыкший к нашим мертвым схемам, не был способен в ней разбираться.

«Путаник», — подумал я.

Очень мне также казалось обидным, что никто из соотечественников, сопровождавших Николая Николаевича, не задавал мне ни единого вопроса; то ли они считали меня полным невеждой, то ли хотели показать, что вся эта новая незнакомая обстановка для них вполне ясна и что их ничего не поражает. Как же мне было не скорбеть душой за русских, когда французы, сопровождавшие Жоффра в Красное Село, забрасывали вопросами не только Лагиша, но и меня. Это ни на чем не основанное русское зазнайство лишний раз доказывало, что уроки маньчжурской войны ничему нас не научили.

Особенно странное впечатление должна была производить на церемонных французов своей истеричностью жена Николая Николаевича, дочь черногорского князя.

— Зачем вы вернулись? — кричала она на меня, выскочив из вагон-салона. — Как вы смели оставить великого князя одного!

Повидимому, страх перед покушениями, ставшими у нас обычным явлением, ни на минуту ее не покидал.

Самовластию этой самодурки, сыгравшей уже немалую роль в разложении царского окружения, рекомендовавшей такой же истеричке, как и она, Александре Федоровне то Бадмаева, то Гришку Распутина, не было пределов. На маневрах она решила разыграть роль сверхфранцузской патриотки и, к великому смущению французского правительства, пожелала совершить специальную поездку на границу в Эльзас, что являлось настоящей нескромностью и провокацией. Бедный Извольский чуть не разбил при этом известии своего монокля. Черногорка, ни с кем не считаясь, разыграла на границе настоящую комедию: она стала на колени у ног французского пограничника, протянула руку на германскую сторону и, захватив горсточку земли, стала ее целовать. Она стяжала этим большой успех у дешевых репортеров парижских бульварных газет.

При посещении Жоффром Красного Села для меня приоткрылась завеса над истинным настроением русских солдатских масс. При объезде лагеря гвардия действительно кричала еще верноподданно «ура», но в авангардном лагере, где стояла какая-то армейская пехотная дивизия, приказ приветствовать «обожаемого монарха» выполнялся только передними шеренгами. В задних же рядах, столпившихся между бараками, некоторые солдаты демонстративно молчали, другие, опустив глаза в землю, не желали даже смотреть на процессию. Как бы этого не заметили французы! Неужели никто из русских не хочет этого видеть? Не с кем было поделиться впечатлениями, как будто все окружающие заткнули ватой уши и надели себе повязку на глаза.

Первые дни Жоффру приходилось обращаться ко мне по всем вопросам; сопровождавшая его русская свита, с каким-то ничем себя не проявившим генералом во главе, совершенно не соответствовала своему высокому назначению; особенно хорош был выбор личного адъютанта, доверенного лица Николая Николаевича, — Сашки Коцебу, полного невежды в военном деле и обязанного во многом в своей служебной карьере исполнению цыганских романсов под гитару. Они были в большой моде в России.

Но постепенно Жоффр заметил, что сам-то царь, которого приходилось встречать ежедневно то на Военном поле, то в царской столовой, ни разу не только не заговорил со своим военным атташе, но даже не поздоровался. Подобное обращение монарха, привычное уже для нас, русских, но совершенно непонятное для французов, указывало Жоффру, что в России надо считаться только с ближайшим царским окружением, с романовской семьей. Результаты сказались по возвращении в Париж.

Не успел я там приняться за обычную работу, как прибыл генерал-квартирмейстер Данилов. Он лично был приглашен генералом Жоффром, но тот, вероятно, про это забыл и принял его, даже не предложив сесть; в рабочем штатском пиджаке Жоффр стоял, опершись на свой письменный стол, а перед ним, в парадной форме, с лентой через плечо, стоял, вытянувшись, русский генерал. Пренебрежительное отношение царя и его ближайшего окружения ко всем, кто не носил царских вензелей на плечах, окончательно сбивало с толку французов, а

царский двор так им кружил голову, что русским представителям в Париже приходилось каждый раз после их возвращения из России «наводить на них порядок».

Проводив своего возмущенного прямого начальника до гостиницы, я немедленно вернулся в генеральный штаб, где задал настоящую головомойку дежурному порученцу Жоффра. (Французский юмор позволяет высказывать самые неприятные вещи в легкой и веселой форме.)

Случайно на следующее утро я встретил «провинившегося» на похоронах какого-то важного французского генерала (это тоже входило в мои обязанности). Склонившись с присущей ему манерой как-то набок, Жоффр сконфуженно жал мне руку и просил помочь ему загладить неприятное впечатление, произведенное им на Данилова; мы решили предоставить ему разрешение присутствовать на маневрах пограничного XX корпуса, считавшихся секретными.

Гораздо более могучим средством для сближения армий, чем эти официальные «налеты», должны были бы явиться ежегодные взаимные шестимесячные командировки офицеров в войска.

К сожалению, они ограничивались смехотворным числом — три офицера от каждой из армий.

В первый год, организовав это дело, я имел неосторожную мысль устроить у себя дружескую встречу французских и русских офицеров-стажеров и пригласил их к себе на завтрак. Сели за стол, выпили водки, закусили русской кулебякой и стали обмениваться впечатлениями.

— Не нравится мне Париж, — заявил вдруг почтенный русский капитан. — Грязно у вас здесь. То ли дело Берлин. Вот где чистота!

...Пришлось впредь отказаться от дерзкой мысли устраивать подобные встречи.

От русских командированных во Францию офицеров я получил немало ценных сведений о быте и боевой подготовке наших союзников, но для некоторых французских офицеров русская армия осталась непонятной. В этом мне пришлось убедиться после революции, когда начальником 2-го бюро оказался полковник Фурнье, проходивший как раз перед войной стажировку в одном из наших пе-

хотных полков. К великому моему огорчению, он явился одним из злейших врагов Октября. Это объяснялось просто: он видел Россию и солдатскую долю из окон офицерского собрания.

Все это показывает, что не только настоящего сотрудничества между союзными армиями на случай войны не было подготовлено, но и взаимного понимания между Россией и Францией не было установлено.

Рекорд в непонимании чувств французского народа побил один из самых верных клиентов парижских кабаков, великий князь Борис Владимирович. Франция являлась вообще излюбленным местом для проматывания денег не только всех монархов, но и их некоронованных родственников. Первое место в этой компании занимала, конечно, семья Романовых, «освещавшая» ежегодно, как выражался один мой приятель, «парижский небосклон звездами большой и малой величины». Все они проживали здесь частными людьми и нисколько не интересовали французские правительственные круги, но Борис решил использовать оживление франко-русских отношений в целях собственной популярности, благо в России и русской армии он давно потерял всякое к себе уважение. (Назначение его в мировую войну атаманом всех казачьих войск, эта оплеуха, нанесенная казакам, доказала ту окончательную аморальность, которая характеризовала последние месяцы русского царизма.)

В Париже Борис начал подготовлять свое «политическое» выступление, как оказалось, еще при Ностице, используя с этой целью слабость моего предшественника к памятникам. Я как раз никогда не принадлежал к их особым поклонникам, считая, что дела и творения людей говорят за себя лучше всякого каменного изваяния.

Борис чувствовал, вероятно, что у меня слишком много другого и более важного дела, и потому продолжал действовать за моей спиной, подыскав для этого весьма подходящего исполнителя в лице старого парижанина, полковника Ознобишина, или, как он себя называл, «Д’Ознобишина». (Этой приставкой буквы «Д» большинство русских не титулованных дворян стремилось подчеркнуть во Франции свою принадлежность к аристократии, не учитывая, что эта приставка для французских дворян произошла от родительного падежа названия того замка,

который принадлежал данной семье. Замка «Ознобишин», конечно, в России не существовало.)

Ознобишин во многом напоминал мне моего старого маньчжурского знакомого, Ельца. Оба они в свое время кончили Академию генерального штаба, отличились в «войне» против полузарубежных китайских боксеров, оба были талантливы, но, покинув генеральный штаб, предпочли, сохраняя военный мундир, обратиться в Молчалиных при высочайших особах. Ознобишин числился состоящим при герцоге Лейхтенбергском, проживавшем большую часть года во Франции. Известный в мое время сатирик Владимир Мятлев в своем стихотворении «Чем гордятся народы?» после упоминания других стран недаром посвятил строки тем герцогам, что жили на счет русского народа:

А мы — самодержавием,
Поповским православием,
Саксонскими, Кобургскими
И даже Альтенбургскими...

Фамилия «Лейхтенбергский» плохо рифмовала и потому в эту плеяду не попала.

От безделия Ознобишин, по поручению Бориса, объехал все места сражений кампании 1814 года, ознакомился с воздвигнутыми на них памятниками в честь русских воинов и составил подробный доклад о необходимости их реставрации. После этого он позвонил мне однажды по телефону и просил принять по «крайне срочному делу».

— Я являюсь к тебе, Алексей Алексеевич, — торжественно объявил мне Ознобишин, — по поручению его высочества Бориса Владимировича, он приказал ознакомить тебя вот с этой бумагой, — и положил передо мной напечатанный на великолепной веленевой бумаге рапорт Бориса не больше и не меньше как на имя самого царя!

Это заставило меня углубиться в изучение пространного документа, но, по мере того как читал, я все больше находил его невероятным.

— Слушай, Дмитрий Иванович, ты что это? Пошутить лишний раз захотел? — смеясь, спросил я. (Ознобишин не лишен был остроумия и очень хорошо, как подобало приятному царедворцу, распевал цыганские романсы под рояль.)

— Нет, нет! Это уже вопрос решенный, — обиделся Ознобишин. — Мы только хотели заручиться твоей формальной поддержкой. Как видишь, мы предполагаем включить вопрос о памятниках в общую программу чествований в будущем году столетия кампании тысяча восемьсот четырнадцатого года против Наполеона. Борис Владимирович прибудет во Францию во главе делегаций от всех полков, принимавших участие в этом походе; на площади Конкорд, на том самом месте, где была воздвигнута трибуна для союзных монархов, мы устроим, как и тогда, сто лет назад, торжественное молебствие.

— Ну, так знайте же, — прервал я, не будучи в силах сдержать себя, — что если вы вздумаете предлагать всерьез подобную нелепость, то я немедленно подам со своей стороны рапорт по команде и буду категорически протестовать.

Как ни был слаб Николай II, он все же не внял просьбе своего двоюродного брата и положил следующую краткую резолюцию:

«Разделяю мнение военного агента».

Немного, конечно, находилось в царской России таких косных людей, как Борис, но все же в культурных слоях столицы судили о Франции в общем так, как судил я сам, высадившись впервые на Северном парижском вокзале. Аристократия болтала по-французски, как болтал я и сам когда-то, но языка не знала. Петербургская знать посещала по субботам Михайловский театр, где играла постоянная французская труппа, но до франко-русских отношений и их желательного развития никому не было дела. Париж в этом отношении шел впереди Петербурга.

Искусство во все времена являлось лучшим средством пропаганды, а русское искусство и русский гений буквально завоевали в мое время Францию без всякого содействия и вмешательства в это дело царского правительства.

Одним из самых близких мне домов была семья Мельхиора де Вогюэ, известного переводчика наших классиков и инициатора основания французской школы в Петербурге.

Основоположники русской современной музыки, эта непревзойденная пятерка — Бородин, Римский-Корсаков, Мусоргский, Лядов и Серов, явились истинными вдохно-

вителями таких современных композиторов, как Дюкас, Морис Равель и Дебюсси.

Такой колосс, как Шаляпин, создал свое имя за границей тоже при мне в Париже. Я помню его дебют в «Борисе Годунове», постановкой которого открывался только что построенный театр Елисейских полей. Когда поднялся занавес, когда полились родные мелодии и грянул русский хор под трезвон московских колоколов, появилась могучая фигура Шаляпина. Он, как никто из певцов, мог отображать в мелодии ее текст. У меня забилось сердце от чувства бесконечной гордости за свою страну, за ее гений, за ее несравненный язык.

«Смотрите! Слушайте!» — хотелось крикнуть декольтированным, усыпанным брильянтами дамам и лощеным кавалерам во фраках, представлявшим «весь Париж», съехавшийся на невиданный спектакль. Он в рекламе, впрочем, не нуждался. Театральный зал, забывший на минуту всякую светскую условность, как один человек кричал, аплодировал, не давая опуститься занавесу.

С таким триумфом можно было впоследствии сравнить только появление в Париже нашего Красноармейского ансамбля песни и пляски, затмившего все, что было показано на Международной выставке 1937 года.

Не меньшим успехом пользовался в предвоенном Париже и русский балет. Он был, однако, совершенно отличен от традиционного балета Мариинского театра. Для заграницы надо было создать нечто артистически целое: танцы, наглядно отображающие музыкальный замысел автора, танцы, пластическая экспрессия которых идет в унисон с музыкой. Пионером в этом новом жанре хореографического искусства выступил Дягилев. Сын кавалергардского офицера, поначалу только талантливый дилетант, он быстро достиг высокой эрудиции в области искусств и сумел составить свою труппу из таких первоклассных артистов, как Павлова, Карсавина и неподражаемый Нижинский. В России места для этого новатора не нашлось. Консервативный императорский балет не мог примириться с революцией в театральном искусстве. Использованная Дягилевым музыка Римского-Корсакова, Черепнина, Прокофьева, Стравинского требовала новых, полных смелой оригинальности постановок, декораций Бакста, Рериха, Бенуа и не только классических танцоров, но и высокоталантливых исполнителей.

Париж ахнул, Париж потерял голову: в России — темная реакция, а в Париже — ballets russes (русские балеты), представляющие для искусства дерзкий отрыв от прошлого и смелый прыжок к новому и неизвестному.

Чем-то далеким от всего земного запечатлелась в памяти французов и бессмертная Анна Павлова в исполнении «Смерти лебедя» Сен-Санса.

Совершенно обособленный характер носили «Концерты танцев» — эти песни без слов, как их называли французы, — нашей соотечественницы Наташи Трухановой. Они соревновались со спектаклем Дягилева в отношении исполнения танцев в новой концепции, но использовали исключительно современных французских композиторов.

Казалось бы, что все подобные торжества русского искусства должны были стать прежде всего центром внимания со стороны многочисленных русских, издавна избравших Париж своим постоянным местожительством. (Внук писателя Фонвизина, приехавший в Париж на три дня, остался в этом городе на всю жизнь.) Однако даже манифестации русского искусства не могли их спаять. Русских колоний, подобных тем, которые естественно образуют представители других наций в каждом большом заграничном центре, не существовало. Средостения, царившие между различными общественными классами в России, еще сильнее проявлялись в Париже; на правом берегу Сены проживали состояния русские богачи, а на левом берегу прозябала царская эмиграция. Только после Октября среди моря враждующих между собой белоэмигрантов создались островки — советские колонии. Революция перековала русских людей, создала новые понятия о родине.

Я поставил себе задачей войти как можно глубже во французскую жизнь и встречал русских только по царским дням в посольской церкви, служившей уже тогда не столько религиозным, сколько светским центром.

Единственным русским, с которым меня связала судьба в эти годы, оказался мой бывший посланник в Стокгольме, Кирилл Михайлович Нарышкин. Он сменил там Будберга и за короткое свое пребывание в Швеции особенно близко сошелся с Петровым и со мной. Он вышел в отставку одновременно с моим назначением во Фран-

цию и, вернувшись в родной ему Париж, из симпатии ко мне нанял квартиру насупротив моей канцелярии. Ему-то, этому мало кем оцененному, уже старому человеку, обязан я многим для познания Франции и французов.

При знакомстве с этим оригиналом прежде всего бросалась в глаза его неприглядная внешность, заросшее волосами лицо, подслеповатые глаза, но с первых же слов в нем чувствовался высококультурный русский человек, гордящийся своей родиной, своим происхождением, тонко воспитанный и опытный дипломат.

Кирилл Михайлович получил воспитание в Пажеском корпусе и часто вспоминал, что был фельдфебелем строевой роты и по своей должности состоял камер-пажом при Александре II.

Следующий эпизод хорошо характеризовал как Нарышкина, так и этого представителя семьи Романовых, считавшегося среди русских царей одним из самых воспитанных и гуманных.

В пасхальную ночь, после продолжительного богослужения в дворцовой церкви и парадного выхода, царская семья собралась, по традиции, в Малахитовом зале Зимнего дворца на разговение. Уже светало, когда царь вышел из зала и, увидев ожидавших дежурных камер-пажей, подошел к Нарышкину, похристосовался и в виде милой шутки сказал:

— Что ж, молодежь, по усам текло, а в рот не попало? — Он намекал на продолжительную придворную службу камер-пажей без возможности закусить.

— Для Нарышкиных всегда найдется чем закусить во дворце вашего императорского величества, — ответил Нарышкин, напоминая этим царю, что его семья, хотя и не титулованная, всегда гордилась своим родством с царем Петром Великим, мать которого была, как известно, из рода Нарышкиных.

Престарелый уже тогда Александр II не забыл полученного им урока от своего камер-пажа и, христосуясь с ним на следующий день как с фельдфебелем шефской роты, прибавил:

— Ну, христос воскресе, бунтарь!

Было действительно в этом аристократе, как во многих русских людях, что-то бунтарское, какое-то глубоко критическое отношение ко всему окружающему миру. Это, вероятно, всеми чувствовалось и потому и создало для

Нарышкина так много врагов среди его коллег и так много друзей среди всегда и все критикующих французов.

Строевая служба в Петровской гвардейской бригаде, куда, по семейной традиции, вышел в офицеры Нарышкин, его не удовлетворяла. Он немедленно подал в отставку и устроился одним из многочисленных атташе при парижском посольстве. За долгие годы, проведенные на этом посту, он соответственно обленился, но внедренная с малых лет военная дисциплинированность и служебная аккуратность сделали из него в конце концов полезного сотрудника для всех сменявшихся в Париже русских послов. Дослужившись до советника посольства, ему пришлось покинуть Париж. Он был назначен посланником при Ватикане. Там, между прочим, секретарем посольства оказался в то время Сазонов — «опасный человек», — так характеризовал всегда Нарышкин будущего министра иностранных дел. Политика царского правительства последние месяцы до мировой войны доказала правильность подобной оценки.

— Прежде всего, — учил меня Кирилл Михайлович, — русский дипломат не должен допускать, чтобы какой бы то ни было иностранец смел наступить ему на ногу, чем бы то ни было не посчитаться с достоинством России. Мы оба с вами любим французов, но знаем также их склонность к зазнайству. Если вы провели день, не «осадив» хорошенько какого-нибудь француза, то должны считать свой день потерянным.

Однажды мы спускались с Нарышкиным в метро, и какой-то француз, после неудачной попытки протолкнуться в толпе, сказал Нарышкину: «Вы меня толкаете, сударь!», на что Нарышкин, не задумываясь, ответил: «Нет, извините, я только вас отталкиваю!» Французы прощают всякий ответ, лишь бы он был остроумен.

Давая мне советы о сношениях с французским правительством, Кирилл Михайлович считал, что никакая из моих письменных просьб без удовлетворения оставаться не могла.

— Ведите заранее переговоры, преодолевайте затруднения, но не пишите бумаг без уверенности в благоприятном ответе. После первого же отказа ваше положение пошатнется, после второго — вам придется вести самые неприятные объяснения, а после третьего — вам не

останется другого выхода, как покинуть ваш пост, передав его более опытному преемнику. Вместе с тем вы должны зорко следить за формой всякого полученного вами официального письма. Малейшее пренебрежение в отношении вашего звания или положения может повлечь за собой самые неприятные для вас и для вашей страны последствия.

Этот совет мне особенно пригодился после революции, когда французы, стремясь незаметно и безболезненно лишить меня дипломатической неприкосновенности, пробовали, как бы по ошибке, пропустить в официальных письмах звание военного агента и тем свести к нулю мое соглашение с ними о русских капиталах, действительное до признания Францией советской власти. В ответ я немедленно закрывал мой казенный счет во французском государственном банке и этим на следующий день восстанавливал свои права.

У Нарышкина на почве переписки произошел следующий характерный для него инцидент с зазнавшимися римскими кардиналами. В Ватикане дипломатическая переписка велась, как обычно, на французском языке, но итальянские кардиналы попробовали не считаться с международным правилом, особенно в своих сношениях с православной и уже поэтому им враждебной Россией. Они написали русскому посланнику Нарышкину бумагу на итальянском языке. Тот обратил внимание на эту некорректность при первом же визите к кардиналу, ведавшему у папы иностранным отделом. Итальянцы извинились, но продолжали писать по-итальянски. Тогда Нарышкин решил их проучить и составить ответ на русском языке. Для этого потребовалось, однако, разыскать в архивах Ватикана единственное в своем роде письмо папе, составленное Петром I на русском языке. Этот документ разрешил возникшее было затруднение — правильное титулование папы на русском языке:

«Ваше высокое святейшество», — писал Петр I.

Урок этот был кардиналом усвоен.

Неприятные бывают последствия для дипломата от одного вырвавшегося подчас лишнего слова, но еще опаснее для него является иногда самая маленькая неточность выражения в официальной переписке. С этой-то наукой не только излагать в письменной форме на иностранном языке свои мысли, но и обходить в вежливой и

удобоприемлемой форме все препятствия и стал меня знакомить Кирилл Михайлович с первых же дней моего приезда в Париж. Мне казалось, что я знаю в совершенстве французский язык, а на деле вышло, что надо не только переучиваться для ведения переписки с французами, но и совершенствоваться, так же как и в родном языке, до конца дней. Как нельзя измерить глубину человеческого мышления, так нельзя установить предел овладения каждым отдельным человеком словом, выражающим точно его мысль.

Поводом для первого урока в составлении служебных бумаг явилось выполнение невинной на первый взгляд бумаги нашего генерального штаба: мне поручалось получить через французское правительство рабочие чертежи бронированной башни завода Сен-Шаман, принимавшего участие в сравнительных опытах, производившихся в Севастополе. Я знал, что опыты эти представляли действительно громадный интерес для артиллерий всех стран. Никому, кроме нас, русских, не пришло в голову проверить на опыте теоретические выводы о степени сопротивления броневых башен артиллерийскому огню. С этой целью мы предложили крупнейшим иностранным фирмам — английской «Виккерс», германской «Крупп» и французской «Сен-Шаман» — построить на песчаных берегах Крыма свои башни рядом с нашими собственными, Путиловского и Балтийского заводов, вывели в море свою Черноморскую эскадру, да и начали разрушать с различных дистанций, не жалея снарядов, эти башни. Французские показали наибольшую прочность, и казалось, что можно было тут же договориться с этой фирмой о технической помощи. Но наше начальство, не открывая мне всей подоплеки, решило использовать на этот раз союзнические отношения с Францией и получить эту помощь самым дешевым способом, «без расходов от казны», — через своего военного агента и французское правительство.

— Деликатное дело, — сказал Кирилл Михайлович, прочтя полученную коротенькую бумажку.

Я сам вспомнил о моих юных похождениях с японским осадным парком, строившимся как раз той же фирмой, но на этот раз хитроумные дипломатические выверты моей длиннейшей ноты французскому министру, составленные под диктовку Нарышкина, возымели свое

действие: через несколько дней к парадному подъезду моей квартиры подкатила большая французская военная двуколка, и два обозных солдата начали втаскивать ко мне в канцелярию тюки с драгоценными чертежами.

Нарышкин был для меня еще особенно ценен потому, что, оставаясь русским, то есть посещая церковь и нанося визит послу по высокоторжественным дням, он привык жить жизнью парижанина. Куда только мы с ним не попадали: то в студенческий квартал на «Буль Миш» [1], где слушали очень занятные даровые лекции по истории России, то, смешавшись с парижской толпой, смотрели на многолюдную ежегодную процессию к стене французских коммунаров на кладбище Пер-Лашез.

Несмотря на отдаленность этого исторического события, подвиг борцов за лучшее будущее человечества пленял даже чуждых их идеям людей. Не мог и я думать, что близок уже день, когда идеал Парижской Коммуны будет воплощен в действительность и сольется для меня с понятием о своей родине и достойным этого высокого идеала русским народом.

А по воскресеньям в цилиндрах и с полевыми биноклями через плечо отправлялись мы со всеми парижанами, и бедными и богатыми, на скачки на один из многочисленных ипподромов. На тотализаторе мы редко и мало играли, но скачки были интересны тем, что на них можно было встретить и совершенно непричастных к скаковому делу людей.

— С кем это вы только что разговаривали? — спрашивает меня Нарышкин, глядя вслед небольшому человечку, обращавшему на себя внимание своей природной косоглазостью.

— Ах, вы еще не знакомы? Это мой новый помощник — улан Крупенский.

В эту минуту со всех сторон раздались звонки, оповещавшие об открытии касс тотализатора для следующей скачки. Нарышкин отошел, но скоро снова отыскал меня в толпе.

— Этому молодому человеку я даю сроку на пребывание в Париже не более шести месяцев, — внушительно заявил он. — Ваш улан стоит у кассы пятисотфранковых

[1] Студенческое название бульвара Сен-Мишель.

билетов, а на подобную высокую игру никаких бессарабских имений не хватит.

Предсказание Нарышкина, конечно, сбылось. Он уже привык без ошибки определять русских прожигателей жизни в Париже.

От подобных офицеров, командированных в мое распоряжение, я мог требовать только ежедневной явки в присутственные часы в мою канцелярию: они никакого содержания от казны не получали и жили на собственные средства. Они вскрывали почту и записывали в журнал входящие бумаги.

— А знаешь, Алексей Алексеевич, что такое бумаги? — сказал мне как-то благодушный Крупенский, еще не выспавшийся от вчерашнего ужина на Монмартре. — Бумаги — это ведь только осложнение жизни.

Частенько вспоминались мне эти наивные слова при разборе почты; много в ней действительно встречалось «осложнений жизни».

Посещая скачки, я открыл, что Нарышкин был единственным русским человеком, состоявшим членом французского аристократического и спортивного Жокей-клуба. Он имел поэтому право входа в «паддок» для осмотра лошадей и в почетную ложу, откуда можно было следить за всем ходом скачек. Мне, как любителю чистокровных лошадей, поневоле приходилось ему завидовать. Состоять членом какого-нибудь фешенебельного клуба вошло в обычай всех дипломатов в Париже и Лондоне. Принадлежность к клубу выделяла их из общей массы иностранцев, населявшей эти интернациональные столицы, закрепляла их положение, расширяла круг знакомств и полезных для службы связей. Клубам в свою очередь было лестно иметь в своих списках представителей иностранных держав, и потому баллотировки их сводились в большинстве случаев к простой проформе. Единственным исключением являлся Жокей-клуб, куда дипломаты, как и всякие другие иностранцы, не принимались в постоянные члены, а только во временные, для проверки. Через год, после того как их могли уже раскусить, они получали право при желании вторично баллотироваться в постоянные члены. Вот на этот-то искус никто из дипломатов не решался. А это как раз мне было на руку.

«Подальше от всяких иностранцев, поближе к французам» — было моим постоянным девизом в Париже, и я,

по совету Нарышкина, решился на этот рискованный шаг: поставить свою кандидатуру в Жокей-клуб.

Я, конечно, не мог в то время предполагать, что этот не то спортивный, не то попросту светский задор мог иметь последствия в самые тяжелые для меня времена после нашей революции.

— Как это вам удалось удержаться в Париже? — задают мне нередко вопрос советские люди. — За одни ваши симпатии к Октябрьской революции против вас должны были восстать все силы буржуазии.

Они и восстали, но одна уже буква «J», стоявшая за моей фамилией во всех справочниках, заставляла задуматься эту самую буржуазию. По ее понятиям, человек не мог состоять членом подобного клуба, если бы совершил какой-либо позорящий его имя поступок. А что касается его политических взглядов, то в принципе клубы во Франции заниматься политикой не имеют права. Их уставы должны быть утверждены правительством.

Помню, с какой торжественностью Нарышкин, после выборов меня во временные члены, ввел своего крестника в первый раз в раззолоченные и сплошь покрытые пушистыми коврами залы Жокей-клуба. Было пять часов вечера. В сюртуке, с цилиндром в руках, он представлял меня, обходя один за другим карточные столы, за которыми в этот час играли в модную коммерческую игру — бридж. За столами, где играли по крупной, сидели те представители аристократии, которые уже были завербованы международным капиталом, и их фамилии служили рекламой для банков и крупнейших промышленных предприятий. Только два неприятных на вид старичка играли в углу в устаревший преферанс, а какой-то маниак,— очень злой на язык, как шепнул мне Нарышкин, — не примирявшийся с внедрением капитала в королевскую аристократию, раскладывал в одиночестве пасьянс. Азартные игры со времен крупных скандалов, характеризовавших эпоху Наполеона III, были строжайше воспрещены.

В соседних залах у пылающих каминов сидели небольшие компании, распивавшие чай. Их тоже пришлось все обойти. Особое внимание обращал на себя высокий, видный мужчина лет пятидесяти, Иоахим Мюрат, председатель скакового общества, непосредственно связанного с Жокей-клубом. Прямой потомок наполеоновского

маршала, Мюрат для сохранения своего княжеского достоинства, по примеру многих дворянских родов, породнился с европейским капиталом, женившись на богатейшей приемной дочери эльзасского банкира Эттингера. Для приглашенных в свой загородный за̀мок Мюрат высылал коляску, запряженную четвериком цугом, с жокеями вместо кучера, разодетыми в цвета неаполитанского короля (светлоголубой и желтый).

В клубной затемненной зелеными абажурами библиотеке сидели за отдельными письменными столиками старички, составлявшие письма с таким усердием, что то и дело справлялись в одноязычных французских словарях, стремясь подыскать наиболее подходящее слово или выражение. Этот культ родного языка представлял всегда основную черту французской интеллигенции, унаследованную ею от старинной, изысканной в эпистолярном мастерстве, аристократии.

Через громадные окна библиотеки светились электрические фонари парижских бульваров и витрины роскошных магазинов. Там гудели автомобильные гудки, раздавались крики бегущих продавцов последнего выпуска вечерних газет, а тут, перейдя порог клуба, ты мог пользоваться абсолютным покоем и тишиной.

Такая же тишина царила и за обедом.

В середине столовой был накрыт большой круглый стол на двенадцать приборов, напоминавший стол «короля Артура», за которым восседали только старшие члены и завсегдатаи клуба, а остальные выбирали по своему вкусу маленькие столики, вытянутые во всю длину зала, — «дилижанс», как их называли. Не сразу стали меня приглашать садиться за почетный стол, над которым, как дерзкий вызов французской живописи, высилась во всю стену картина Сверчкова «Охота». На первом плане две густопсовых борзых, вытянувшись, готовы схватить серого зайчонка, а на косогоре скачущий русский охотник в сером чекмене и папахе. Без русских и Жокей-клуб не обошелся, и картину эту, как мне объяснили, подарил один из основателей его, Демидов, бывший владелец Магнитки.

В течение первого года я вполне освоился с жизнью клуба: бывало очень удобно не возвращаться из города домой в свой отдаленный квартал и использовать клуб то для деловых свиданий, то для срочной отправки коррес-

понденции, то просто для уединения на часок-другой, чтобы отдохнуть от шума парижской жизни. Отношения с клубными коллегами настолько наладились, что мне стало даже неудобно оставаться на положении временного члена, не пользующегося, например, правом участия в баллотировке. Зная, какому риску подвержены выборы в постоянные члены клуба, при которых один черный шар уничтожает двадцать белых, Нарышкин воздерживался от какого-либо совета, но, конечно, пришел в восторг, когда я самостоятельно принял решение баллотироваться. Имена кандидатов выставлялись всегда в течение целой недели при входе в залы клуба, но обычай требовал, чтобы сами кандидаты не появлялись в эти дни и не мешали своим присутствием могущим возникнуть о них разговорам. Нарышкин, наоборот, клуба, конечно, не покидал, и только в четверг, то есть за сорок восемь часов до баллотировки, с тревогой сообщил мне, что среди некоторых влиятельных коллег поползли какие-то неблагоприятные обо мне слухи. Я имел право заранее снять свою кандидатуру; провал при баллотировке мог сделаться известным немедленно в городе, после чего оставаться на посту военного агента могло быть неудобным: большая часть членов клуба состояла из военной молодежи или из их родственников, тоже отставных французских военных.

— Нет, — сказал я Кириллу Михайловичу, — ни слов, ни решений своих назад брать не привык.

Он дружески пожал мне руку и пошел уведомить о моем решении второго моего «крестного отца», начальника кавалерийской дивизии генерала де Лепе.

В субботу, обычный день баллотировки, громадные старинные залы Жокей-клуба, как мне потом рассказывали, представляли необычную картину. Их переполнила толпа провинциальной молодежи, съехавшейся со всех концов Франции. Все это были офицеры, которым генерал де Лепе послал краткую телеграмму:

«Баллотируем нашего русского товарища, полковника такого-то. Прошу прибыть в Париж».

Под напором военной молодежи притихли любители парижских сплетен, и в семь часов вечера ликующий Кирилл Михайлович позвонил мне по телефону, чтобы сообщить о единогласном выборе меня в постоянные члены клуба.

Тогда только уже стало возможно открыть и виновника поднятой против меня кампании. Он оказался маркизом Альбюферра, молодым сравнительно человеком, обладателем прекрасной машины, которой сам правил. Французский генеральный штаб, чтобы похвастаться своим демократизмом, воспользовался призывом маркиза на повторную службу и назначил его личным шофером Николая Николаевича на маневрах 1912 года. Там я и познакомился с этим отпрыском наполеоновской аристократии. (Она резко отличалась своей мужиковатостью от жалких остатков королевского дворянства.) На следующий год «maréchal de logis» (сержант) превратился в гостеприимного хозяина и пригласил нас с женой в свой за̀мок на большой провинциальный бал. Парижские гости съехались туда засветло, и перед обедом хозяин убедительно просил меня полюбоваться его образцовой кухней и приготовленными заранее столами на ужин. Я имел неосторожность согласиться, чем, как оказалось, и совершил преступление: перед выборами в клуб Альбюферра, желая, вероятно, похвастаться своим близким знакомством со мной, рассказал про это одному из брюзжащих старичков, который снабдил эту ничего не значащую деталь нелестным для меня комментарием: иностранец позволяет себе совать нос даже в нашу французскую кухню!

Вот какого рода мелкими интригами могли жить последние обломки старой аристократии.

Общество Жокей-клуба, как и наш петербургский свет, отличалось одной и той же особенностью: аристократия утратила навсегда умение веселиться. Люди, как бы из страха унизить свое достоинство перед перераставшими их новыми общественными классами интеллигенции и буржуазии, добровольно надевали на себя шоры и возводили в культ самый отвратительный из всех человеческих недостатков — ханжество и лицемерие.

Минутами хотелось вспомнить свои молодые годы, сбросить и фрак, и мундир, и ордена и провести хоть несколько часов равным среди равных, встретить и мужчин и женщин, живущих вне предрассудков официальности. По пятницам, то есть в курьерский день, покидая свою полную табачного и сургучного дыма канцелярию, я бежал, конечно, не в чопорный Жокей, а в скромный

артистический клуб «Les Mortigny», куда-то в отдаленный от центра квартал, Рю де Прони, 63. Клуб представлял собой громадное ателье художника, где собирались раз в неделю, по вечерам, художники, скульпторы, молодые писатели, начинающие скромные актеры и актрисы, будущие парижские звезды. Инициаторами и вдохновителями этого дела оказались, конечно, несколько русских парижан. По карману большинства посетителей готовился и обед. Потом раздавались крики: «Colonel, au piano» — и так как другого полковника, кроме меня, не было, то я обращался на несколько минут в дарового тапера. (Армия во Франции пользовалась таким уважением, что военное звание сохраняло преимущество над всеми прочими, а титулы изгнал из армии 1789 год.)

Тем временем на крохотной сценке готовилась импровизация — недельное театральное и политическое обозрение. Костюмы допускались только из бумаги или коленкора. Шелк был изгнан из гардероба, как порочащий славные традиции клуба. Талантливость режиссера и полная свобода в выборе им как темы, так и трактовки служили гарантией успеха. Никто из присутствующих не смел отказываться от исполнения предназначенной для него роли, и Шаляпин от души смеялся, увидев меня с опущенным на лоб чубом, изображавшего его в классической «Дубинушке». Он, как и многие проезжие знаменитости, любил посидеть за стаканом самого дешевого «пинара» и отрешиться хоть на время от своей самовлюбленности. В «Мортиньи» это бы не прошло. Его даже и петь не просили, но зато поражались его талантом, когда, закрыв глаза, он проделывал свой немой номер — полусонного портного, пришивающего себе оторванную от пиджака пуговицу.

Эти скромные вечеринки связывали людей прочнее, чем суровые баллотировки. Как отрадно бывало встречать своих друзей по «Мортиньи» где-нибудь в грязных окопах то под Реймсом, то под Аррасом, но как горько было недосчитаться большинства из них после войны. Мировая бойня погубила цвет французской интеллигенции, подготовила почву для прихода на ее смену новой, оголтелой фашистской молодежи, а Париж лишила навсегда тех дешевых, но полных французского юмора радостей, которыми славился когда-то этот вечный город.

Война разлучила меня навсегда и с моим парижским другом Нарышкиным. Задерганному предвоенной лихорадочной работой, мне в течение последних дней перед объявлением Германией войны не приходилось его встречать. Но вечером этого рокового дня он зашел ко мне и совершенно спокойно сказал:

— Ну, Алексей Алексеевич, позвольте мне вас на прощание обнять.

Я подумал, что в предвидении опасности Нарышкин, как и многие парижане, собирается выехать с семьей куда-нибудь подальше, на юг Франции, и с трудом поверил, когда, заметив мое недоумение, Кирилл Михайлович решительно мне объяснил:

— Когда наступают дни, подобные тем, которые нам приходится переживать, каждый должен вернуться на родную сторону.

— Но у вас в России нет ни родственников, ни друзей, — пробовал я возразить.

— Это ничего не значит. Вы, полковник, должны оставаться защищать интересы нашей родины здесь, а я обязан вернуться домой.

На следующее утро он собственноручно запер на ключ свою прекрасную квартиру и, забрав болезненную жену и двух дочерей, уехал в Москву.

Когда произошла революция и семья собиралась вернуться в Париж, Кирилл Михайлович не пожелал ее сопровождать. Поняв гибель своего класса, он не хотел стать эмигрантом, взял свою любимую толстую трость и вышел пешком из Москвы в неизвестном направлении. Он, видимо, хотел умереть на родной земле. Так кончил жизнь старый русский парижанин.

Глава одиннадцатая

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Весна 1914 года была последней весной для предвоенной Европы. Она явилась и для меня последним видением прежней парижской жизни и вместе с тем этапом в моем революционном самосознании.

Рано и как-то особенно ярко залило в этот год весеннее солнце парижские бульвары, рано и буйно зацвели

каштаны на Елисейских полях. Парижский сезон обещал быть особенно интересным и блестящим.

Никогда еще за последние годы политический горизонт не казался столь безоблачным: на Балканах уже отгремели пушки, и только где-то в далеких горах Македонии изредка пощелкивали курки каких-то неспокойных повстанцев. Так представляла положение французская пресса, всегда стремившаяся подладиться под общественное мнение.

Пуанкаре старался подогревать чувства воинственного патриотизма факельными шествиями войск — «les retraites aux flambeaux» и военными оркестрами, исполнявшими марш «Sambre et Meuse». Парижане смотрели на них по субботам только как на красивые зрелища. Стройные компактные колонны пехоты, окруженные победным пламенем факелов, говорили о мощи армии — надежной защитницы мира, а совсем не о грядущей опасности войны. Законы о трехлетнем сроке службы и о каких-то дополнительных миллионах на оборону были приняты парламентом — значит, можно было спокойно позабыть про тревогу последних месяцев и пожить в свое удовольствие.

Так рассуждал во всяком случае правящий класс — крупная буржуазия; накопленные ею богатства позволяли превратить собственную жизнь во время парижского сезона в один сплошной праздник.

Не послевоенные бумажные кредитные билеты, а настоящие золотые луидоры текли в карманы парижских промышленников и коммерсантов. Для всех хватало заказов и работы. Автомобильные фабрики не успевали выполнять наряды на роскошные лимузины, задерживая выпуск военных грузовиков. Автомобили давали возможность богатым людям, не довольствуясь парижскими особняками, давать приемы и в окрестностях, как, например, в таком историческом замке, как Лафферьер, принадлежавшем Эдуарду Ротшильду. Между прочим, в этом замке располагалась в войну 1870 года германская главная квартира, и когда мне предложили расписаться в «Золотой книге» почетных посетителей, то не преминули похвастаться собственноручными подписями Бисмарка и Мольтке.

Не видно было в ту пору на бульварах длинных послевоенных верениц такси, безнадежно поджидающих се-

доков. Жизнь била таким ключом, что уличное движение, как казалось, дошло до предела; в голову не могло прийти, что всего через несколько недель те же улицы, те же площади опустеют на несколько долгих лет.

Портные и модистки могли брать любые цены за новые, невиданные модели весенних нарядов и вечерних туалетов. Пресыщенный веселящийся Париж уже не довольствовался французским стилем: в поисках невиданных зрелищ и неиспытанных ощущений его тянуло на экзотизм, и «гвоздем» парижского сезона оказались костюмированные персидские балы. Когда и это приелось, то был устроен бал, превзошедший по богатству все виденное мною на свете: бал «драгоценных камней». Принимавшие в нем участие модницы заранее обменивались своими драгоценностями и превращались каждая в олицетворение того или другого камня. Платье соответствовало цвету украшавших его каменьев.

Красные рубины, зеленые изумруды, васильковые сапфиры, белоснежные, черные и розовые жемчуга сливались в один блестящий фейерверк. Но больше всего ослепляли белые и голубые брильянты. После наших с «нацветом» желтых петербургских брильянтов они подчеркивали лишний раз гонку русских богачей за количеством и размером, а не за качеством.

Светало, когда я вышел с бала и с одним из приглашенных пошел по улицам уже спавшего в этот час города.

— Мне кажется, — сказал я своему спутнику, — что этот бал — последний на нашем веку.

— Почему вы так думаете? — удивился мой собеседник.

— Да только потому, что дальше идти некуда.

Я не знал, что это простое предчувствие окажется пророческим предсказанием конца старого мира.

Вся эта атмосфера последнего парижского сезона, казалось бы, меньше всего предрасполагала к тому решающему в жизни моменту, который представляет внутреннее перерождение человека. А между тем для меня оно свершилось и оказалось столь глубоким, что я впоследствии называл его «моей собственной революцией».

В те дни, когда это произошло, я не отдавал, конечно, себе ясного отчета, каким образом могла произойти такая перемена в столь короткий срок, но теперь, когда из политически безоружного, беспомощного аристократа я превратился в советского гражданина, мне стало ясно, что для «моей собственной революции» требовался в то время уже только хороший внешний толчок. Глухое сознание многих несправедливостей русской жизни, созревавшее с молодых лет, крушение в маньчжурской войне понятия о величии и непогрешимости царского самодержавия, болезненное сознание превосходства европейского демократического строя над отсталой царской Россией представляли к этому времени такое накопление горючего материала, что требовалась только спичка, чтобы его воспламенить и сжечь на этом костре целую серию предрассудков, которыми я еще тогда жил. Предрассудок объясняется часто силой привычки: нету у тебя, например, никакого молитвенного настроения, хочется поехать на веселый французский водевиль, но привычка — эта вторая натура, это невольное рабство — тянет в церковь, ко всенощной. Никакого чувства уважения к великим князьям, подобным Борису, у меня уже давно не было, но светло-голубая лента ордена Андрея Первозванного, получаемая ими при рождении, отделяла их в моих глазах от остальных смертных. Я давно осознал ничтожество Николая II, чувствовал даже весь вред, приносимый его царствованием моей родине, но не в силах был отделить личности царя от понятия о России.

При моем полном тогдашнем политическом невежестве кто бы, казалось, как не просвещенный революционер мог мне открыть глаза на те ничтожные сами по себе перегородки, которые закрывали для меня доступ к свободному, самостоятельному мышлению.

На деле же, «рассудку вопреки, наперекор стихиям», своим перерождением я обязан встрече с одной из первых парижских артисток — Наташей Трухановой.

Я встретил ее на большом балу в театре «Опера». Она была в платье из мягкого шелкового бархата цвета красной герани, с широкой брильянтовой диадемой на голове. Лучистые глаза и осветившая для меня в эту минуту весь мир улыбка сразу мне сказали, что она родная, русская. Но мало ли у меня было в жизни увлечений, но

мало ли встречалось в Париже красавиц! Однако после первых двух-трех бесед я понял, что это не случайная встреча, а решение моей дальнейшей жизненной судьбы. Почва для этого была, впрочем, уже давно подготовлена.

Вот уже восемь лет, как я был женат на очень милой барышне, принадлежавшей к высшему петербургскому обществу, в котором идеалом мужчин было: достигать в жизни всего с затратой наименьших усилий, а в понятии женщин жизнь была создана для удовольствий.

В Париже моя молодая жена сразу завоевала успех в том обществе, где эти принципы особенно ярко процветали. Общество это, или, как его называли, «весь Париж», не было чисто французским: в него входили все, кто имел или очень большие деньги, или хоть какой-нибудь титул. Титулы продавали себя деньгам, а деньги поклонялись титулам. Нигде нельзя было легче поддаться искушению смотреть на жизнь как на сплошной беззаботный праздник. Работа для представителей этого общества была уделом специально обреченных на это людей, но сами они о ней не желали иметь понятия.

Зачем тратить время на скучные писания рапортов, когда в тот же вечер можно попасть и на интересный спектакль и на веселый бал? Разве не приятнее видеть свою фамилию ежедневно в рубрике великосветских приемов парижских газет, чем безнадежно ждать одобрения своей работы от далекого питерского начальства? К чему тратить время на домашнее хозяйство, когда на это есть прислуга?

От семейного очага оставалась лишь та лицемерная видимость, с которой примирялось как с совершенно нормальным явлением не только парижское, но и всякое так называемое высшее общество.

Это мировоззрение после нелегкой борьбы и разрушила во мне прежде всего Наталия Владимировна.

Происхождения она была незнатного: отец — небезызвестный русский артист Бостунов, мать — дочь французского крестьянина-виноградаря, получившая хорошее образование. Отец бросил семью, когда Наталии Владимировне было всего тринадцать лет, и потому она особенно непримиримо относилась ко всему, что могло разрушать семейное счастье.

— Неужели вы можете примиряться со всем окружающим вас лицемерием? — постоянно спрашивала она.

Наталия Владимировна смолоду познала нужду и с пятнадцати с половиною лет начала уже зарабатывать. Труд являлся для нее не только долгом, но и жизненной целью, а на этом и я сам был с детства воспитан.

Она давно покинула Россию, где ей пришлось близко познакомиться с жандармскими и полицейскими российскими порядками. Она характеризовала их словом, равно ненавистным для нас обоих: *самоуправством.*

Наталия Владимировна не знала ни одной молитвы и часто повторяла: «Неужели для того, чтобы веровать, вам нужна какая-то церковь?»

И неутоленная жажда правды, хотя бы и самой суровой, но неизведанной, тянула меня в этот тихий, удаленный от шумного Парижа уголок на острове святого Людовика, где в одном из уцелевших старинных дворцов эта непохожая на остальных молодая женщина устроила свою квартиру. Я встретил здесь обстановку безупречного вкуса, богатейшую французскую и русскую библиотеку, а на письменном столе развернутый томик стихов Бодлэра: Là tout est beauté, calme, ordre et volupté...[1]

Живя в атмосфере греческих классиков, французского искусства, театра, поэзии, хозяйка дома продолжала чувствовать Россию своей родиной, совершенно не считаясь, как вся левобережная интеллигенция, ни с царем, ни с романовской семьей.

Разлетелись в прах многие предрассудки, я почувствовал себя свободнее и самостоятельнее. Я не предвидел еще ожидавших меня в будущем революционных потрясений, но уже тогда знал, что приобретал в жизни того друга, рука об руку с которым перешагну через любые жизненные испытания. Я был готов перенести любую грозу.

В те памятные для меня дни я еще жил под впечатлением своей последней поездки в Россию и приема у царя. За все долгие годы моей службы за границей Николай II ни разу не «соизволил» назначить мне аудиенцию, как это

[1] Там все красота, покой, порядок и упоенье...

было принято для всех военных агентов при великих державах, и я перестал даже записываться, как полагалось, на царские приемы в ту книгу, что лежала с этой целью в генеральном штабе. Но на этот раз меня заставил это сделать мой новый начальник, генерал-квартирмейстер, не знакомый мне до того времени человек с очень громким голосом, широкими генеральскими лампасами и громадными звонкими шпорами.

— Ты не смущайся, — утешали меня мои коллеги по генеральному штабу, когда я вышел из генеральского кабинета. — Он ничего в делах не понимает, его перевел из Киева Сухомлинов, у него богатая жена, но он долго у нас не продержится.

К большому моему удивлению, на этот раз уже через двадцать четыре часа, я получил приглашение на прием в Царское Село. Представлялось много старых генералов по случаю получения очередной награды: ордена Белого Орла, Александра Невского или просто Анны 1-й степени, и несколько полковников — командиров армейских пехотных и казачьих полков. Я оказался, как младший, на левом фланге длинной шеренги, огибавшей зал с трех сторон.

— Ваше императорское величество, командир такого-то пехотного полка полковник такой-то представляется по случаю приезда в город Санкт-Петербург, — рапортует мой сосед, уже седеющий полковник.

Царь молча подает руку, треплет аксельбант и после минутной паузы, поднимая глаза на полковника, спрашивает:

— Ну, как вы, довольны расквартированием?

Вероятно, он знает места расквартирования каждого полка, удивляюсь я, и не ошибаюсь.

— Я помню, — продолжает Николай II, — что два батальона размещены у вас по казармам, а два по квартирам.

Полковник сияет от восторга. Память, эта единственная сильная сторона семьи Романовых, сослужила им немалую службу.

— Ну что ж, передайте от меня полку спасибо за верную службу.

Те же слова я уже слышал и в беседе с предшествующим усатым казачьим полковником.

черед за мной, и, перечисляя все свои чины, титулы и должности, я замечаю, как из-за спины царя и незаметно для него бесшумно приближаются в своих мягких чувяках без каблуков безучастно стоявшие до этой минуты посреди зала три-четыре человека царской свиты. Из них мне особенно запомнилась щуплая фигурка в красном чекмене командира царского конвоя Трубецкого; я знал этого офицера еще по службе в конной гвардии как большого интригана.

«Держи ухо востро, — подумал я. — Всякое мое слово станет известным в тот же день в Яхт-клубе на Большой Морской, этом гнезде германской агентуры».

— Ну что вы думаете о Франции? — спрашивает меня Николай II.

Желая помочь ему формулировать интересующий его вопрос, я отвечаю:

— Ваше величество, за последние месяцы там творится так много нового, что мне приходится затрагивать в своих рапортах самые разнообразные вопросы.

— Я все ваши донесения читаю, — говорит мне царь. — Они очень интересны. (Я не оспариваю, хотя знаю, как составляются сводки из моих донесений.) Но скажите, какого вы мнения о французской армии?

Замечаю, что стоящая за спиной царя свита насторожилась. Меня охватывает чувство негодования: какая бестактность, как можно задавать мне такие вопросы на людях! Разве я вправе раскрывать при этих клубных сплетниках тайны большой французской программы вооружения и объяснять техническую отсталость союзной армии. Но надо выходить из положения.

— Французская армия напоминает мне человека не очень сильного, но твердо решившегося нанести удар своему могущественному противнику. Я могу ручаться, что союзная армия и французский народ это выполнят, — твердо и решительно заявляю я.

— О, какой вы оптимист, — слегка улыбнувшись, отвечает царь. — Дал бы бог, чтобы они продержались хоть десяток дней, пока мы успеем отмобилизоваться и тогда как следует накласть немцам.

На этом аудиенция закончилась, но мне пришлось вспомнить об этом разговоре пять месяцев спустя, после победы на Марне, и еще, к сожалению, не один раз в течение несчастной для России мировой войны.

Вернувшись в Париж, я в своем очередном рапорте так охарактеризовал эту лихорадочную работу, что велась во французском генеральном штабе по проведению в жизнь большой программы вооружения: «Окна на Сен-Жерменском бульваре светятся подолгу в необычные ночные часы...»

Генеральный штаб работал, Париж танцевал на вулкане, а в Петербурге царило общее благодушное самодовольство.

Ярким подтверждением этих пагубных настроений явилась постигшая меня по возвращении из Петербурга неожиданная служебная неприятность.

Наладив отношения с военными журналистами, или, как их называли в Париже, редакторами военных статей важнейших французских газет, я получил от них приглашение на обычный годовой банкет в зале сравнительно скромной гостиницы «Лютеция». В назначенный для этого день утром мне телефонировали из военного кабинета президента республики с просьбой, в виде особого исключения, быть вечером в военной форме; объяснили мне это намерением Пуанкаре присутствовать на банкете во фраке и с лентой Почетного Легиона. Это уже меня несколько смутило, как смутил также при приезде в гостиницу и оркестр национальной гвардии, готовившийся встретить «Марсельезой» президента республики. Скромный банкет журналистов принимал вполне официальный характер.

Войдя в зал и здороваясь с собравшимися, я до последней минуты надеялся найти среди них или Извольского, или хоть кого-нибудь из французского высшего командования, но никого не нашел.

Меня несколько успокоило то неофициальное место в конце президентского стола, которое мне было отведено: оно освобождало меня от каких бы то ни было выступлений, а я к ним совершенно не был подготовлен. Все испортилось с минуты, когда, отвечая на банальные тосты, произнесенные председателем синдиката военных журналистов, Пуанкаре встал и среди воцарившейся тишины начал свою красивую, но, как всегда, несколько растянутую речь. На этот раз она была определенно воинственна. Перечислив все, что делается Францией в предвидении войны, Пуанкаре неожиданно обернулся

в мою сторону; все присутствующие последовали его примеру.

— Я знаю, — сказал президент, — какие большие усилия делает и наша союзница Россия. Присутствующий здесь ее военный представитель сможет вам это подтвердить. — «Франция исполнила ныне великую задачу усиления военной мощи, что дает ей право на уважение со стороны врагов и дружбу и доверие со стороны ее друзей» — вот дословный перевод последних слов речи президента.

Других «друзей» среди присутствующих, кроме меня, не было, и все взоры обратились на меня. Пришлось взять слово. Ответ мой был самый краткий. Поблагодарив президента республики за выраженные им чувства к русской армии, я в нескольких теплых словах сказал, что и Россия высоко ценит те жертвы, которые приносит в данную минуту Франция для усиления своей военной мощи. Ни гром аплодисментов, ни комплименты по моему адресу меня в эту минуту не трогали, так как единственной моей заботой было проверить стенограммы моего импровизированного выступления: не сказал ли я чего лишнего.

Редактор газеты «Тан» был крайне любезен и, как только мы встали из-за стола, показал мне переписанный в соседней комнате на машинке вполне корректный и безобидный текст статьи о банкете с приведенными в нем речами.

Не раз приходилось возмущаться непониманием моим начальством заграничной обстановки, но полученный мною некоторое время спустя запрос о банкете превзошел всякую меру.

«Главное Управление Генерального Штаба предлагает вам дать объяснения по поводу приложенной при сем статьи» — гласила краткая бумага, сопровождавшая вырезку из какой-то черносотенной столичной газеты. В ней газетный репортер после описания банкета приводил мои слова и возмущался, давая следующие мотивы для охватившего его патриотического негодования: «Позорно для русского военного представителя унижаться подобным образом перед французами. Россия сама по себе достаточно сильна, чтобы не нуждаться в помощи каких бы то ни было союзников».

Я ответил:

«На № такой-то. Приведенные газетой мои слова вполне точно передают смысл моего выступления, и полагаю, что генеральный штаб сам изыщет способ защитить с достоинством своего заграничного представителя».

На этом вопрос был исчерпан.

Заключительным днем в парижском весеннем сезоне было то воскресенье, когда на яркозеленых скаковых дорожках Лоншанского ипподрома разыгрывался «Grand Prix» — «Большой приз президента республики», сто тысяч франков, — доходивший вместе с подписными чуть ли не до полумиллиона. Эта скачка была заключительной для всей серии предшествовавших ей испытаний чистокровных жеребцов и кобыл и представляла спортивный интерес не только для Франции, но и для всей Европы. На этот приз допускались и заграничные лошади.

В 1914 году воскресенье «Grand Prix» пришлось на 28 июня. День вышел как на заказ. Несмотря на жару, все старались разодеться как можно наряднее: мужчины в цилиндрах и черных сюртуках, а женщины готовили для этого торжества заранее заказанные туалеты и шляпы. Лоншанский ипподром являлся местом соревнования не только тренеров, жокеев и коней, но и дамских модных портных и парижских модниц.

От входных ворот до президентской ложи, представлявшей отдельный двухэтажный павильон, стояли в медных касках с конскими хвостами солдаты республиканской гвардии. Они сдерживали толпу любопытных, бросавшихся при воинственных звуках «Марсельезы» навстречу президенту республики.

— Vive Poincaré! Vive le Président! — кричала толпа, пока он, торжествующий и сияющий, пожимал руки членам «Комитета поощрения чистокровной лошади».

Скачки, как всегда за границей, так быстро следовали одна за другой, что в перерывах с трудом можно было найти время и рассмотреть лошадей и сделать выбор среди последних «créations» (моделей) дамских туалетов.

— Третья скачка! Третья скачка! — выкрикивали шнырявшие тут же люди в кепках, отрывая поминутно из тетрадок листки тончайшей папиросной бумаги с кабба-

листическими цифрами. Игроки, однако, хорошо их понимали и могли по ним следить не за скачками, а за ходами игры в тотализаторе; им интересно было знать, какая лошадь в каждый данный момент пользуется успехом у публики, с тем чтобы предугадать, какая может быть на нее выдача в случае выигрыша ею скачки. И вдруг такие же люди в кепках стали кричать:

— Убийство герцога Фердинанда!

Схватив у одного из них листок, я прочел:

«Сегодня утром в Сараеве выстрелом из револьвера убиты наповал проезжавшие в коляске наследник австрийского престола эрцгерцог Фердинанд и его супруга».

«Война!» — мелькнуло у меня в голове, но тут же я подумал, что прежде всего надо решить, к чему обязывает меня самого это известие. Сомнений в его правильности быть не могло, но хотелось все же услышать подтверждение от компетентного лица.

Я быстро вышел из ворот, нашел свою машину и велел себя везти к своему австрийскому коллеге, полковнику Видалэ.

Он жил где-то в скромном квартале за Домом инвалидов, сам открыл мне дверь и, повидимому, был поражен моим появлением с официальным визитом в цилиндре. Его молчаливое долгое рукопожатие подтвердило мне правильность сообщения агентства Гавас.

— Я пришел выразить вам, дорогой коллега, соболезнование по поводу потери австро-венгерской армией ее главнокомандующего, — начал я.

Усадив меня в своем кабинете, Видалэ в первые минуты все еще не мог справиться с собой и, наконец, ответил:

— Я никак не ожидал, что именно вы первый окажете мне это внимание. Потеря эрцгерцога незаменима для нашей армии... — И он стал подробно излагать мне план эрцгерцога создать, под влиянием его жены чешского происхождения, западное, чисто славянское государство, которое могло бы сговориться с восточными славянами. О тесной дружбе Фердинанда с императором Вильгельмом Видалэ, конечно, не заикался.

— Но самое плачевное, — заявил он, — это отсутствие достойного преемника эрцгерцогу Фердинанду.

— А герцог Рудольф? — спрашиваю я.

— О! Это настоящий Габсбург.

— А что вы подразумеваете под словом «настоящий Габсбург»?

— Габсбург — это человек, который способен просидеть целый день над обсуждением вопроса, какого цвета — желтого или синего — должны быть канты у стрелкового батальона...

На том мы и расстались.

В тот же вечер я обедал у Наталии Владимировны, где случайно собралось несколько друзей и в том числе известный парижский пустоцвет, но очень неглупый и тонкий, граф Бони де Кастеллан — олицетворение снобизма и моды.

Разговор, естественно, вращался вокруг убийства в Сараеве, обсуждались его возможные последствия, и мне, как военному агенту, приходилось мало говорить, а больше слушать мнения окружающих. Зато хозяйка дома упорно настаивала на неизбежности европейской войны.

— Политика никогда не входила в область Терпсихоры, и во время войны музы смолкают, — заявил Кастеллан, не находя других мотивов для отстаивания своего убеждения в том, что «все устроится».

Он, как большинство французов, питал столько же симпатии к Вене, сколько антипатии к Берлину.

Мнение Кастеллана о том, что «все устроится», как нельзя лучше характеризовало ту политическую атмосферу, которая создалась в Европе после сараевского инцидента. Заскрипели снова перья дипломатов, пытавшихся предотвратить общий европейский пожар.

Мне, однако, пришлось тут же убедиться, насколько уже были натянуты отношения между Австро-Венгрией и Россией и насколько они были непоправимы. На следующий день после визита к Видалэ я должен был, как член дипломатического корпуса, заехать «расписаться», то есть внести свое имя в книгу, лежавшую в передней австро-венгерского посольства. Не успел я взять перо в руку, как из внутренних покоев старинного дворца, в котором размещалось посольство, вышел сам посол, граф Сэчэн. Он много выезжал в свет, и я частенько встречался с ним на парижских балах.

— Ах, как вы любезны, дорогой полковник, — обратился ко мне посол. — Прошу вас зайти ко мне в кабинет.

Это было верхом учтивости, и отказаться от подобного приглашения мне, конечно, было невозможно.

Считая Сэчэна за весьма ограниченного светского человека, характерного представителя венского двора, я полагал, что визит к нему ограничится выражением мною обычного дипломатического соболезнования. Он любезно предложил мне папиросу, что означало его желание задержать меня еще на пару слов. Спокойно и обстоятельно начал было излагать посол все подробности убийства эрцгерцога, потом, теряя постепенно равновесие, стал говорить о подготовке этого злодеяния сербами и, наконец, уже совершенно утратив самообладание, повел атаку против русской политики в славянском вопросе вообще:

— Мы не позволяем себе вмешиваться в ваши дела, когда узнаем об убийстве ваших сановников и великих князей, по какому же праву ваше «Новое время» позволяет себе вести неприличную кампанию против нас за арест в Галиции какого-то безвестного попа?

Давно еще, со времен маньчжурской войны, имел я зуб против авторитета суворинской газеты: ее стратеги подарили нам Линевича, ее дипломаты — Сазонова, а ее политики — всю ту плеяду русских премьеров, что систематически подготовляли справедливый взрыв народного негодования. С момента босно-герцеговинского инцидента господин Пиленко на столбцах этой газеты решил сделать себе карьеру на безответственной травле русской дипломатии, недостаточно энергично, по его словам, защищающей то братьев-славян, то чуть ли не само достоинство России. Этому борзописцу не было дела ни до внутренней, ни до внешней слабости его страны. Цензура все пропускает, а царь читает только «Русский инвалид» и «Новое время».

Графу Сэчэну все это, вероятно, было хорошо известно, и потому мои объяснения, что «Новое время» не является официальным правительственным органом, могли лишь представить для нас обоих возможность вежливо, но и навсегда расстаться.

От писаний господина Пиленко нашей стране не удалось освободиться и после революции, так как, продавши себя столь же продажной газете «Матэн», он оказался ее осведомителем в советских делах, а потому одним из самых злостных наших врагов.

Последним предвоенным видением в Париже явился для меня «Парад 14 июля» — день национального праздника, установленного в память взятия революционным народом Бастилии.

Как когда-то большой придворный бал в Зимнем дворце 1904 года был последним в России, так и парад на Лоншанском поле 1914 года оказался неповторимым во Франции. Во время войны на Лоншанском ипподроме паслись гурты скота для фронта, а после войны национальный праздник окрасился в новые и чуждые для меня, как и для многих французов, цвета: Франция-победительница, по мнению ее правящей верхушки, должна была выкинуть из своей памяти всякие воспоминания о революции, и празднование взятия народом оплота королевской власти должно было замениться празднованием победы, торжеством реакции над поднимающейся волной рабочего движения. «Парады 14 июля» были сведены к прохождению победных знамен и нескольких рот и батарей, представительниц особенно отличившихся в мировой войне полков, перед могилой Неизвестного солдата, вокруг Триумфальной арки. Для главного участника и ценителя прежних парадов — парижского народа — места не было, и для меня — тоже.

До войны этот народ направлялся на парад еще накануне, с вечера, целыми семействами и ночевал под сенью Булонского леса: с рассвета каждый стремился занять место поближе к его опушке, окаймлявшей с трех сторон ипподром. Он был расположен в низине и с окружающих холмов был виден как на ладони. Громадные скаковые трибуны отводились только для «избранной» публики, по протекции.

Из-за страшной жары, отмечавшей обычно во Франции это время года, во избежание утомления войск и солнечных ударов парад назначался в необычный для подобной церемонии час: в семь часов утра.

К этому времени весь этот участок Булонского леса напоминал подобие военного лагеря с тлеющими остатками ночных костров, с выходящими с разных сторон войсками всех родов оружия, белеющими то тут, то там белыми флагами с красным крестом у пунктов скорой помощи.

Военные атташе собирались по традиции у «Ветряной

мельницы»; в XVIII веке она составляла часть тех folies (безумий), которые строил брат короля, граф д'Артуа, как декорацию для игр пресыщенных жизнью аристократов, изображавших пастухов и пастушек.

Тут, отдельно от построенных уже в ряд казенных лошадей, предназначенных для военных атташе, стоял и мой чистокровный гнедой конь, приобретенный незадолго до этого у старинной скаковой конюшни Омон. К нему так шла отличная от французской нарядная русская седловка с медным переносьем и подперсьем! (Форменная седловка представляла, на мой взгляд, одно целое с военным мундиром.)

Войска уже были построены в ожидании объезда командовавшего парадом военного губернатора Парижа, но стояли «вольно», а ближайшие к нам стальные каре кирасирских дивизий спешились.

Среди офицеров 1-го полка я имел много приятелей и для проминки своего нервного коня пошел к ним ровным «кэнтером» по чудному грунту скакового круга. Как часто напоминали мне кирасиры о моем коне при моих посещениях фронта в мировую войну. Они тогда уже сидели спешенными в грязных окопах, а лучший мой друг Девизар, когда-то доставивший мне эту лошадь, погиб геройской смертью храбрых в самом начале войны.

Через несколько минут все громадное поле огласилось звуками «Марсельезы», звучавшими, как мне казалось, особенно воинственно в этот день:

Aux armes, citoyens!
Formez vos bataillons!
(К оружью, граждане!
Стройтесь в ряды!)

Как долго эти слова сохраняли для меня свой первоначальный смысл — призыв народа к защите революции! Но в это июльское утро беззаботный парижский народ не думал о войне. Он просто искренне любовался своей армией, выражая восторги громкими приветствиями по адресу каждой проходящей части.

На первый взгляд все военные парады похожи друг на друга: тот же порядок объезда, та же последовательность в родах оружия при прохождении церемониальным маршем. Однако всякому военному человеку должны бросаться в глаза те небольшие различия в порядке движе-

ния, которые являются характерными не только для армии, но и для нации.

В ту, не так уж отдаленную, но столь отличную от теперешней, эпоху на парадах проходили люди, но не проносились машины, трещали барабаны, но не гремели неуклюжие танки.

Никакие революционные потрясения не в силах лишить революционную армию тех военных традиций, которые всегда были дороги солдатам, составляли гордость армии и отличали ее от армий других наций. Кто мог более величественно, чем королевский тамбурмажор, подбрасывать высоко свой жезл, кто мог звончее, чем наполеоновские фанфары, перекликаться с собственным оркестром и покрывать его пронзительными звуками вскинутых и перекинутых в воздухе труб! В какой стране кавалерия, даже на парадах, не признавала другого аллюра, как широкий галоп, и как могли потомки «санкюлотов» не сохранить от рыцарских времен для своих начальников красивых и театральных салютов шпагой! Как вечный вызов тяжелому гусиному шагу своего врага — пруссака французская пехота проходила нарочито ускоренным, легким коротким шажком. Традиционные густые пехотные каре казались благодаря этому полными жизни и свойственного нации живого темперамента.

Этот же темперамент ярко выразился и в момент моего отъезда с парада. Опасаясь возможности враждебных выкриков по адресу германского военного атташе, меня просили сесть с ним в один и тот же открытый автомобиль. Не знаю, впрочем, насколько было ему, однако, приятно услышать вырывавшиеся со всех сторон крики толпы: «Vive la Russie! Vive les russes!»

Так же как и на маневрах в Монтобане, в этих возгласах слышалась уже не простая овация, а слепая вера парижан в свою могучую восточную союзницу.

В тот же вечер я выехал в Петербург для встречи там Пуанкаре, собиравшегося нанести визит царю и другим иностранным монархам по случаю своего выбора в президенты. С целью избегнуть проезда через Германию Пуанкаре совершал свое путешествие морем. Это меня,

как военного агента, освобождало от сопровождения его, и я мог остановиться дня на два в Берлине, чтобы повидать своего нового коллегу, русского военного агента в Германии, полковника Базарова, заменившего Михельсона. Я знал Павла Александровича еще по маньчжурской войне.

Стоял я в Берлине всегда в той же первоклассной, хоть и устаревшей гостинице «Бристоль», на Унтер-ден-Линден, в двух шагах от нашего посольства.

В отношении выбора гостиниц я всегда поступал вопреки поговорке и предпочитал быть последним в городе, чем первым в деревне, то есть находил практичнее занимать самую дешевую комнатушку в первоклассном отеле, чем за ту же цену хорошую, но во второклассном.

Было ровно десять часов утра, когда тихая в это время Унтер-ден-Линден огласилась необычайной для уха музыкальной сиреной автомобиля.

— Это наш кайзер едет во дворец, — с почтением объяснили мне в гостинице. — Никто, кроме него, не имеет права в Германии пользоваться подобным гудком.

Внешняя рисовка Вильгельма II представляла тот гипноз, который действовал не только на его подданных, но и на иностранцев.

Вот он ежедневно гудком автомобиля оповещает всех своих врагов о проезде по столице, вот с сухой от рождения рукой галопирует в Тиргартене, заговаривая то с тем, то с другим офицером берлинского гарнизона или иностранным военным атташе, вот он в форме адмирала произносит речь на спуске нового броненосца в Киле, а вечером в скромном синем сюртуке генштабиста успевает показаться то на театральной премьере, то на концерте. Он находит даже время после верховой прогулки запросто заезжать пить утренний кофе в русское посольство, где его принимает молодящаяся супруга посла, графа Павла Андреевича Шувалова. Только после падения всех европейских империй мне довелось, со слов одного из близких друзей Шуваловых, узнать, какого рода дела устраивались за этими интимными беседами на Унтер-ден-Линден. Впав в бедность после революции, вдова Шувалова искала в Париже покупателя на железнодорожные акции прусских железных дорог, подаренных ей Вильгельмом, как рассказывали, в обмен на небольшую услугу: по-

стройку стратегических железных дорог на нашей западной границе сообразно видам германского генерального штаба.

Среди бесцветных монархов начала века типа Николая II Вильгельм, несомненно, выделялся природной талантливостью, скованной узкими монархическими идеалами, и при своей опасной фантастике служил хорошим прикрытием для совсем не фантастического развертывания дерзких планов германского империализма. Надо было быть очень прозорливым дипломатом, чтобы угадать, где кончалось фиглярство кайзера и где начиналось выполнение им роли, выработанной окружавшей его воинствующей кликой.

Так же трудно было угадать, что за красивым и на вид безопасным фасадом, который представлял собой гвардейский вахтпарад, проходивший под окнами моей гостиницы с оркестром музыки, скрывалась лихорадочная подготовка страшной мировой бойни и что эта внешняя муштра составляла часть системы боевого воспитания не только армии, но и всего немецкого народа.

Вензеля русского императора Александра I на белых погонах прусских гвардейцев напоминали об общих боевых традициях русской и германской армий после совместных походов против Наполеона, но бывший «Священный союз» уже рушился на моих глазах, а ближайшее будущее, повергнув в прах все три империи, входившие в союз, доказало искусственность и слабость политических комбинаций, построенных на монархических началах. Они давно уже пережили сами себя.

Картина мрачного и, быть может, близкого будущего открывалась всякий раз в беседах с моими берлинскими коллегами. Про численность германской армии в мирное время — семьсот пятьдесят тысяч — говорить уже не приходилось. Спокойный и такой уравновешенный Базаров лишний раз подтвердил мне те астрономические цифры, которые определяли размеры развертывания германской армии при мобилизации и численность обученного запаса. Оба мы при этом сходились в мнении, что все резервные корпуса будут мобилизованы одновременно с действующими, и уже это одно увеличит силу первого германского удара почти вдвое против того, на чем упорно продолжал строить расчеты наш генеральный штаб.

Павел Александрович знал про мою работу в Копенгагене и разделял мое мнение, что качество резервных полков будет не ниже, а, пожалуй, даже и выше действующих, что и подтвердилось первой мировой войной: немцы поздно развиваются, и юноши — почти дети — девятнадцати — двадцати лет менее выносливы, чем резервисты двадцати девяти — тридцати лет, гордившиеся при этом возможностью вступить в ряды своих же старых полков, как это предусматривала система мобилизации.

Старые маньчжурцы, мы оба могли себе ясно представить, сколь ужасна по своим размерам может быть мировая война, а потому таили надежду, что Германия в последнюю минуту не решится на роковой шаг.

В Петербурге на Дворцовой площади спокойно продолжала работать наша грузная и сложная штабная машина. Сенсационной новостью являлось назначение нового начальника генерального штаба, Янушкевича. Злые языки говорили при этом, что этому высокому посту Янушкевич обязан своим умением развлекать царя веселыми рассказами за скучными попойками в гвардейских полках. Мне это его качество не было известно, и новый начальник генерального штаба представлялся мне просто удобным человеком для Сухомлинова, как не мечтавший, подобно своим предшественникам, о самостоятельном и не подчиненном военному министру положении.

Я помнил Янушкевича еще по академии, где ему были поручены практические занятия по военной администрации с одной из самых слабых групп. В ту пору он ничем не выделялся.

Встретил меня новый начальник весьма просто и, как мне показалось, с оттенком того уважения, которым я не был избалован в России. После моего доклада о выполнении французами «большой программы» Янушкевич спросил:

— Скажите, Алексей Алексеевич, много нас опять будут «мучить» французы?

— Не думаю, — успокаивал я. — Специальных военных представителей Пуанкаре с собой не везет. Хорошо иметь только на всякий случай под рукой для справок военную конвенцию.

— А где же она находится? — не без тревоги спрашивает меня сам хранитель этого не имевшего копии документа.

— Да вот тут, в вашем сейфе, — указываю я на угол кабинета.

— Там ничего нет: Жилинский, уезжая в Варшаву, все с собой забрал, заявив, что это только его личные бумаги. Не хранится ли этот документ во французском отделе? — успокаивает себя Янушкевич.

Разумеется, что начальник отдела и в глаза не видал этого архисекретного документа, на поиски которого были мобилизованы все ответственные работники генерального штаба. Он так и не нашелся, и Россия вступила в войну, не имея в своих руках никакого письменного обязательства своего союзника.

Для встречи Пуанкаре надо было ехать в Петергоф и ожидать его на пристани в нижнем парке. Там к назначенному часу собралась вся царская свита, выросшая за последние годы до небывалых размеров: в целях развития верноподданнических чувств всякий командир гвардейского полка зачислялся в свитские генералы, а адъютанты полков — во флигель-адъютанты. Задержка в подобном «монаршем благоволении» считалась чуть ли не оскорблением для полка.

История показала, что в день отречения от престола Николая II из всей этой украшенной царскими вензелями компании ему остался верным только один его друг детства, совершенно бесцветный, но принципиальный Валя Долгорукий.

Тогда же на пристани эти привилегированные военные держали себя как настоящие хозяева положения; многие, знавшие меня раньше по гвардейской службе, попросту игнорировали этого отщепенца, полудипломата в форме генерального штаба. Сказался вреднейший обычай, о котором говорит русская пословица: «С глаз долой — из сердца вон».

Не желая дискредитировать в глазах французов своего положения и памятуя уроки, полученные еще в Швеции от контакта с русским придворным миром, я все три дня пребывания Пуанкаре держался в тени, в задних рядах, стремясь не попасть на глаза никому из русских. Тяжело было видеть при этом, из каких ничтожеств умудрился Николай II составить ближайшее окружение

Пуанкаре. Ответственные разговоры с французами позволял себе вести только глава состоявшей при них свиты, ничем нигде не отличившийся и какой-то мало известный генерал-адъютант. Царь, разумеется, сопровождать президента в собственную столицу не смел, а потому на долю генерала выпала нелегкая задача занимать французов при переезде на пароходе из Петергофа в Петербург. Слухи о рабочих беспорядках произвели глубочайшее впечатление на наших союзников, и ядовитый талантливый французский премьер Вивиани всю дорогу уничтожал несчастного генерала своими расспросами. Русская свита президента была возмущена: затрагивать подобные дела считалось в петербургском высшем обществе верхом бестактности; полиция, жандармы, а главное, царская гвардия служили еще достаточно прочной стеной, чтобы изолировать правящие классы от «черни». Хитрые французы, повидимому, этой уверенности уже не имели.

— Le Président est un peu inquiet; ce n'est pas trop sérieux, n'est ce pas? (Президент несколько обеспокоен; это не слишком серьезно, не правда ли?) — спросил меня почти на ухо на следующий день один из ординарцев Пуанкаре, улучив для этого совсем не подходящую минуту на параде войск в Красном Селе.

Парадный обед в честь Пуанкаре состоялся в Большом петергофском дворце. Стоял чудный теплый вечер, через открытые окна зала доносился шум воды, извергавшейся могучим «Самсоном». В виде особой бестактности, а может быть, просто по недомыслию, меня посадили за обедом рядом с германским военным атташе. Разговор, естественно, ограничивался обменом впечатлений о сравнительных красотах Петергофа и Потсдама. Но когда Николай II встал и начал свою речь, мне хотелось тут же провалиться на месте. Я никак не мог предполагать, что вопрос войны уже настолько назрел. Одно дело, когда Пуанкаре говорил о значении нашего союза среди собственных журналистов, и другое — когда царь при всем дипломатическом корпусе указывает без обиняков, против кого направлен этот союз.

— Небось немцам жарко стало, — сказал мне после обеда какой-то раболепный царедворец.

Как жаль, что я не могу точно воспроизвести речь царя, но ясно помню, что весь следующий день я провел под впечатлением тех выражений, которые непосред-

ственно задевали Германию. Мне было известно, что речи подобного рода всегда составляются и согласуются с министрами иностранных дел, и очевидно, что тонкий Вивиани постарался вложить в речь царя все, что желал, но не хотел сказать Пуанкаре, ограничившийся красноречивым и не компрометирующим его ответом.

Разговор царя с глазу на глаз с президентом состоялся только утром последнего дня в том же Большом петергофском дворце. Николай II для этого специально приезжал из Александрии, где он летом и зимой жил с семьей. Какие вопросы были подняты, никто из бродивших по парку чинов свиты догадаться не мог; я знал только, что текст военной конвенции для этого не потребовался: бедный Янушкевич еще лишний раз шепнул мне на ухо все то же знаменательное слово:

— Не нашли!

Смутное и невеселое впечатление осталось от обеда, данного Пуанкаре в честь царя на броненосце «Франс», стоявшем на Кронштадтском рейде и готовом к отплытию. Корабль не был создан для подобных приемов, и, несмотря на иллюминацию, гости после обеда болтались в полутемных проходах между грозными орудиями башен верхней палубы. Как бы в тумане мелькнули передо мной в последний раз силуэты царя и царицы...

Тиха и пустынна была набережная могучей Невы, когда я возвращался пешком от пристани Николаевского моста до Литейного моста, вблизи которого находился опустевший родительский дом. Мать с семьей ожидали меня в Чертолине. Глухое предчувствие чего-то зловещего, которое охватывало меня в эту тихую летнюю ночь, меня не обмануло: я увидел вновь эту набережную и золотой шпиц Петропавловской крепости только семнадцать лет спустя.

Когда я засыпал, в ушах еще звенели звуки «Марсельезы» и «Боже царя храни»; эти гимны так мало были созвучны, но оба звучали как сигнал военной тревоги. Я не мог только предполагать, что этот же сигнал меня разбудит на следующее утро: еще в кровати мне подали номер «Нового времени», где на первой странице я прочел австрийский ультиматум Сербии. «Война!» — уже твердо решил я на этот раз и помчался на Дворцовую площадь, прямо в отдел секретной агентуры, к Монкевицу. Этот генерал был в постоянном контакте с мини-

стерством иностранных дел и мог лучше других знать, что происходит в высших сферах.

Тонкий был человек Николай Августович; он был со мной всегда очаровательно любезен, но прочитать его мысли было тем более трудно, что он мог их хорошо скрывать за своей невероятной косоглазостью. Невозможно было угадать, в какую точку он смотрел. Помощником себе он взял Оскара Карловича Энкеля (будущего начальника генерального штаба финской армии), тоже умевшего скрывать свои мысли. Оба они держались обособленно от остальных коллег, совершенно не считались с их мнением и своим обращением со мной ясно давали понять, что они являются хотя и косвенными, но единственными непосредственными начальниками военных агентов.

Они держали себя европейцами, людьми, хорошо знакомыми с заграничными порядками, и вместо плохой штабной столовой всегда приглашали запросто позавтракать в «Отель де Франс» на Большой Морской; там по крайней мере ни вызовы начальства, ни вопросы посетителей не могли помешать интимной беседе.

Много таинственного и необъяснимого, в особенности в русских делах, оставила после себя мировая война, и первые загадочные совпадения обстоятельств начались для меня именно в это памятное утро 24 июля. Чем, например, можно объяснить, что во главе самого ответственного, секретного дела — разведки — оказались офицеры с такими нерусскими именами, как Монкевиц, по отчеству Августович, и Энкель, по имени Оскар? Каким образом в эти последние, решительные дни и часы почти все русские военные агенты находились везде, где угодно, только не на своих постах? Почему и меня в это утро Монкевиц и Энкель так упорно убеждали использовать отпуск и поехать к матери в деревню?

— Вы, дорогой Алексей Алексеевич, вечный пессимист. Австрийский ультиматум Сербии — это только небольшое дипломатическое обострение, — объясняли они мне.

— Не стану утверждать, что это война, но все же считаю, что в такие тревожные минуты каждый должен быть прежде всего на своем посту. Там будет видно, — и, прицепив саблю, я поехал на Невский проспект в отделение спальных вагонов брать билет на норд-экспресс, уходивший в Париж в тот же день в шесть часов вечера.

В дверях я столкнулся с моим коллегой, военным агентом в Швейцарии, полковником Гурко.

— Ты куда так спешишь? — спросил он меня.

Я повторил ему доводы, только что высказанные Монкевицу, о необходимости для нас, военных агентов, срочно вернуться к нашим постам.

— Пошел ты к черту! Что я там буду коптеть. Я здесь рассчитываю на днях получить в командование полк, — ответил мне неглупый, но известный своей сказочной рассеянностью коллега.

Это легкомысленное отношение к своим служебным обязанностям Гурко имело роковые последствия: в его сейфе в Берне, ключ от которого он по рассеянности где-то забыл, были заперты все адреса нашей секретной агентуры в Германии, и мы оказались отрезанными от нее в самые роковые часы первых дней германской мобилизации и сосредоточения. Швейцарская граница с Францией была в это время уже закрыта, и мне пришлось, по приказу из Петербурга, затратить немало времени и хлопот, чтобы пропустить через нее одного из моих парижских сотрудников. В конце концов драгоценный сейф пришлось взломать.

После мимолетной встречи с Гурко я долго еще должен был упрашивать агента спальных вагонов устроить мне место в норд-экспрессе. Все билеты были уже проданы, и мне в виде особого исключения предоставили купе проводника. В нем я устроил и своего посла, Извольского, который уже никакого себе места в поезде не нашел.

Торжествующий от достигнутого успеха, я вернулся к Монкевицу, чтобы сообщить о своем отъезде.

Шел уже второй час дня.

— Сейчас в Красном Селе закончилось экстренное совещание министров под председательством самого государя, — объявил мне Монкевиц. — Военный министр только что телефонировал и, узнав, что вы собираетесь вернуться в Париж, просил вас немедленно съездить в Красное Село. Ему необходимо видеть вас перед отъездом.

— До поезда мне остается около четырех часов времени и, чтобы успеть обернуться, надо как-нибудь получить машину, — ответил я, взглянув на часы.

Военный автомобиль мог предоставить только, как особое личное одолжение, начальник автомобильной роты, полковник Секретев. Обделывая в Париже свои дела с фирмой «Рено», он старался быть особенно со мною любезным.

— Господин полковник подойти к аппарату не могут. Они только что вышли с молебствия по случаю ротного праздника и в настоящую минуту в офицерском собрании, садятся за стол, — ответил мне дежурный офицер автомобильной роты.

«Тут война, а они справляют молебны и ротные праздники», — подумал я не без возмущения. Я еще не предвидел, что «мирное житие» будет продолжаться в русском тылу и на протяжении всей кровавой войны!

Открытую машину «Рено», со слегка выпившим лихим шофером, я все же получил и в исходе четвертого часа уже подлетел к царской палатке в Красном Селе. Здесь мне представилось необычайное зрелище: на шоссе и на прилегающей к палатке небольшой площадке были выстроены пажи и юнкера, а в середине каре толпилась царская свита, генералитет и иностранные военные атташе. Первыми бросились в глаза блестящие шишаки касок германских военных представителей.

Война, участь России, была решена слетевшимися в Красное Село Сазоновым, Сухомлиновым и царем за одно утро (посла союзной страны они даже не нашли нужным об этом уведомить), а после хорошего завтрака этот безвольный царь превратился в настоящего вояку и как дерзкий вызов Германии досрочно производил юнкеров в офицеры.

Германский военный атташе, конечно, хорошо меня знал в лицо, и мое внезапное появление могло только подчеркнуть, как мне казалось, быстрый темп нарастающей угрозы. К тому же все присутствующие были в походной форме, защитных фуражках, при шашках, а я, не успев переодеться, приехал в городской черной фуражке и при сабле. Поэтому, соскочив с машины, я незаметно забежал за ближайший к палатке деревянный фрейлинский флигель и, улучив минуту, знаком вызвал к себе одного из помнивших еще меня стариков камер-лакеев.

— Иди, — сказал я, — доложи осторожно военному министру, что я здесь и его жду.

Через несколько минут, покинув свиту, торопливой легкой походкой подошел ко мне Сухомлинов в сопровождении Янушкевича.

— Как хорошо, что вы уезжаете, — сказал он. — Подбодрите как следует там французов. Предупредите, однако, их, что мы общей мобилизации не объявили, а только частично мобилизуем корпуса, находящиеся на границе Австро-Венгрии.

Зная прекрасно, что частичная мобилизация по плану № 2 была предусмотрена только на случай оккупации Финляндии, а что мобилизовать часть корпусов вне общего плана мобилизации мы не могли, я из осторожности позволил себе проверить, точно ли я понял «его высокопревосходительство», и получил подтверждение.

«Война, значит, не решена, но почему же Сухомлинов с таким неподдельным волнением меня обнимал на прощание, почему Янушкевич не менее сердечно со мной прощался, как будто они расстаются со мной навсегда?» — Вот с какими мыслями мчался я обратно в Петербург — прямо на Варшавский вокзал.

На поезд я поспел, лег и проснулся, уже подъезжая к пограничной станции Вержболово. Там я сразу прошел в кабинет начальника жандармского управления полковника Веденяпина, с тем чтобы переодеться в штатское платье.

За долгие годы моей заграничной службы он уже хорошо меня знал: мало ли по каким делам приходилось прибегать к содействию этого всесильного представителя наших пограничных властей! На этот раз я застал Веденяпина потерявшим уже обычную для него уверенность в себе:

— Посоветуйте, Алексей Алексеевич, как мне поступить? — растерянно спрашивал он. — Могу вам сообщить по секрету: все полки получили срочный приказ вернуться из лагерей в свои постоянные гарнизоны, очевидно для мобилизации.

«А Сухомлинов-то меня убеждал, что ни Виленский, ни Варшавский округа не мобилизуются», — подумал я про себя, но, конечно, промолчал.

— У меня же, — продолжал Веденяпин, — никаких распоряжений на случай войны не имеется. В ста шагах, как вы знаете, уже пограничная речка. Немцы могут

вторгнуться в любую минуту. Что же мне делать со станцией? Разрушать ее или нет?

Какой я мог дать совет? Запросить начальство? Но оно, казалось бы, должно было подумать о пограничных станциях за много лет до войны!

Так и оставил я Веденяпина в неведении, а впоследствии узнал, что все случилось, как он и предвидел. Немцы заняли Вержболово. Сжег ли Веденяпин станцию, или, наоборот, оставил ее в неприкосновенности, мне объяснить не могли, но твердо уверяли, что он кончил самоубийством в Вильно. Как бы он ни поступил, при отсутствии инструкций его легко можно было обвинить в измене.

В Эйдкунене, германской пограничной станции, я встретил знакомую и обычную обстановку, разве только таможенные и железнодорожные служащие показались мне особенно предупредительными.

Естественно, что весь день я не отрывался от оконного стекла, стремясь заметить хоть малейшие, но хорошо мне знакомые еще с академии признаки предмобилизационного периода: удлинение посадочных платформ, сосредоточение к большим станциям подвижного железнодорожного состава и т. п. Но уже темнело, а мне все еще ничего не удалось заметить.

Горькую истину, подтвердившую неизбежность войны, пришлось узнать только в Берлине, где к нам в купе вошел поверенный в делах, выехавший встретить Извольского.

На мирном, тихом Унтер-ден-Линден, перед зданием русского посольства, уже гудела негодующая толпа. Возбуждение против России дошло до предела.

Извольский от волнения то и дело поправлял свой спадавший с глаза монокль; он еще надеялся на свои дипломатические способности для улаживания конфликта. Для меня же с минуты расставания с Сухомлиновым жребий был брошен.

— Это ведь для тебя, — указав на стенку, добродушно сказал французский проводник, принимая вагон от своего немецкого коллеги на бельгийской границе. На стенке продолжала висеть сабля с красным анненским темляком и надписью «За храбрость».

Гроза приближалась. Стало темно на душе. Раскатов грома еще не было слышно, но первые молнии уже проблистали.

Я возвращался в Париж со смутным предчувствием ожидавших меня там трудностей всякого рода, но я, конечно, не мог предполагать, что никогда уже больше не увижу тех, от кого зависела не только моя собственная служба, но и судьба моей родины, что страшная, невиданная еще в мире война выведет Россию на новые пути, а предстоящая мне служба во Франции перекует меня в того, кем я стал в настоящее время.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

КНИГА ВТОРАЯ

КНИГА ТРЕТЬЯ

Редактор А. Воинов

Оформление художника И. Кричевского

Технический редактор Ж. Примак

Корректор А. Типольт

Сдано в набор 23/X 1954 г. Подписано в печать 2/III 1955 г. А-00476. Бум. 84×103 1/32. 37 печ. л.=30,34 усл.-п. л. 31,12 уч.-изд. л. + 3 вкл. = 31,27 л. Тираж 75 000 экз. Зак. 1683. Цена 11 р. 50 к.

Гослитиздат
Москва, Ново-Басманная, 19

Министерство культуры СССР. Главное управлечие полиграфической промышленности. 2-я типография «Печатный Двор» им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.



А. А. Игнатьев в форме полковника генерального штаба русской армии. 1914 г.



Корнет Игнатьев в парадной форме кавалергардского полка. 1902 г.

Прибой

ГОСЛИТИЗДАТ
19[illegible]